

мастера современной прозы

# АЛЬФРЕД АНДЕРШ





**МАСТЕРА  
СОВРЕМЕННОЙ  
ПРОЗЫ**



**МОСКВА «РАДУГА»**

**1987**

**Редакционная коллегия:**

**Анджапаридзе Г. А., Андреев Л. Г., Барабаш Ю. Я., Засурский Я. Н.,  
Затонский Д. В., Мамонтов С. П., Марков Д. Ф., Палиевский П. В., Че-  
лышев Е. П.**

**АЛЬФРЕД АНДЕРШ**

**ВИНТЕРСПЕЛЬТ**

**РОМАН**

**ОТЕЦ УБИЙЦЫ**

**ПОВЕСТЬ**

**РАССКАЗЫ**

**ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО**



ББК 84.4Ф

А64

Составление *Н. Литвинец*

Предисловие *И. Млечиной*

Редактор *Е. Приказчикова*

**А64 Андерш А.**

**Избранное: Сборник. Пер. с нем./Составл. Н. Литвинец;  
Предисл. И. Млечиной.— М.: Радуга, 1987.— 624 с.— (Мас-  
тера современной прозы)**

Альфред Андерш (1914—1980) занимает видное место среди тех писателей ФРГ, для которых преодоление прошлого, искоренение нацизма всегда было главной общественной и творческой задачей. В том его избранных произведений вошли последний роман «Винтерспельт», в котором выражен объективный взгляд на историю, на войну, показана обреченность фашизма, социальная и моральная; повесть «Отец убийцы» (1980), которую можно назвать литературным, духовным и политическим завещанием писателя, и рассказы разных лет.

А 4703000000—394  
030(01)—87 70—87

**ББК 84.4Ф  
И (ФРГ)**

## ПРОШЛОЕ НЕ УМИРАЕТ

Работа над переводом романа Альфреда Андерша «Винтерспельт» ввела меня в живой, полный драматической напряженности мир его героев, рождающий чувство глубокого уважения и симпатии к личности самого автора. Перевод—это особое соприкосновение с творческим миром художника, открывающее тайники, часто невидимые при простом чтении. Переводчику выпадает возможность увидеть писателя, так сказать, не из зрительного зала, а заглянуть за кулисы, попасть в гримерную. Такое рабочее общение может, наверно, вызвать и разочарование, а может—если речь идет о мастере,—необычайно усилить ощущение глубины и обаяния его мысли, подтвердить яркость его индивидуальности. Переводить «Винтерспельт» было, при всей прозрачности андершевской прозы, трудно; но работа была и увлекательной, доставляла удовольствие. Книги Андерша я читала и раньше, знала все или почти все, что он написал, но этот роман произвел впечатление совершенно исключительное. Хочется привести мнение Константина Симонова, назвавшего «Винтерспельт» «очень хорошей книгой», написанной «очень хорошим человеком».

Находясь в октябре 1976 года в командировке в ФРГ, я позвонила Андершу в Цюрих и сказала, что перевожу его роман и хотела бы встретиться, чтобы задать несколько вопросов по тексту. «Послезавтра вас устроит?—отозвался Андерш.—Буду ждать во Фрайбурге, в гостинице «Виктория», в восемнадцать часов...»

Не стану подробно рассказывать, как, приехав в назначенный день в небольшой старинный город Фрайбург на юге ФРГ, неподалеку от швейцарской границы, я, еще до встречи с Андершем, увидела в фойе гостиницы «Виктория» человека, чье лицо было мне знакомо по многочисленным фотографиям: Зигфрид Ленц, известный писатель, оказался здесь проездом. Он собирался на следующий день в Цюрих—выступать перед студентами университета на тему «Литература и политика». Узнав, что я жду Андерша, он радостно улыбнулся. «Не может быть! Подумать только: мы с Андершем старые друзья и не виделись много лет...»

Ровно в восемнадцать часов, прямо с вокзала, расположенного по соседству с гостиницей, появился Андерш—сухощавый, сдержанный, немногословный. Сразу выяснилось—бывают же совпадения!—что и ему завтра выступать в том же университете на ту же тему и что они с Ленцем уедут ранним утренним поездом в Швейцарию.

Мы разговаривали с Андершем много часов подряд, до поздней ночи. Поначалу несколько скованный, он оказался интереснейшим собеседником, с замечательным чувством юмора. Он охотно ответил на вопросы, с любопытством проглядел приготовленный мною список военных реалий, которые хотелось уточнить, нарисовал в моем блокноте головной убор героя «Винтерспельта» майора Динклагге, поскольку немецкое слово «Mütze» не объясняло, шла речь о пилотке или о фуражке. Андерша очень обрадовало, что его роман выйдет на русском языке.

Уже тогда он был тяжело болен, но этой темы не касался, только раз, за ужином, упомянул, что вынужден очень ограничивать себя: «Почки!..» Через год с небольшим ему сделали операцию, он почувствовал себя лучше, работал, был полон творческих планов. В феврале 1980-го его не стало...

\* \* \*

История литературы знает немало примеров, когда подлинное значение художника для культуры его страны, мировой культуры в целом вырисовывалось со всей очевидностью лишь после его смерти. Контекст времени, события истории позволяют яснее увидеть вклад писателя в литературу, его воздействие на общественное сознание. В определенном смысле это относится и к Альфреду Андершу. Хотя известность пришла к нему еще при

жизни, а сам он с конца 40-х годов воспринимался антифашистской, прогрессивной общественностью ФРГ как одна из ключевых фигур культурной жизни, все же оценить по-настоящему масштабы его творчества, его реальную роль в формировании демократической литературы этой страны можно лишь с определенной временной дистанции. За годы, истекшие после преждевременной кончины писателя, с особой определенностью выявилась важнейшая позитивная функция писательского слова, противопоставляющего идеологии милитаризма и насилия, идеям фатализма и социального пессимизма веру в человеческий разум и гуманистические духовные ценности.

Андерш не любил громких слов, пышных выражений. И все же, вступая в противоречие с его собственной стилистикой, хочется назвать его выдающимся современным просветителем и человеком высокой ответственности. Это ни в коей мере не означает, что его произведения отличались дидактичностью, а сам он был склонен к нравованию: ничто так не было ему чуждо, как желание поучать других. Речь не о том: в наше сложное, полное опасных противоречий и конфликтов время он был убежден в возможности плодотворного воздействия писательского слова на общественные умонастроения. Он отказывался считать литературу беспомощной, не желал признавать пресловутый тезис о «бессилии духа». Он сохранял уверенность, что на человека и общество можно и нужно влиять, стимулируя то самое чувство ответственности, которое занимало столь важное место в его собственной системе нравственных координат и которое, по мере приближения человечества к третьему тысячелетию, все ощутимее становится одной из ключевых этических ценностей.

Альфред Андерш принадлежит к тому поколению писателей ФРГ, для которых узловым моментом творчества, определившим писательские судьбы, стало осмысление трагического опыта, связанного с фашизмом и войной. Борхерт, Бёль, Шнурре, Рихтер, Айх — вот лишь несколько имен из этой плеяды, составившей славу литературы ФРГ. Уже в 50-е годы в их произведениях зазвучала нота разочарования и тревоги; мотив «преодоления прошлого» все заметнее вытеснялся мотивом «непреодоленного прошлого»; западногерманская социально-политическая реальность поставляла все больше аргументов для горького вывода о несостоявшейся демократической и антифашистской перестройке.

Как и всякий крупный художник, Андерш, естественно, видел события недавней истории по-своему, находил свои подходы, свой угол зрения. Изображая войну, он не рисует батальных

сцен, не описывает сражений, выстрелы на страницах его книг звучат крайне редко. Его интересует другое: типы человеческого поведения, столкновение позиций, выбор решений. Если искать доминанту его творчества, ею окажется, скорее всего, интерес к острым ситуациям, требующим от человека жесткого определения своего пути.

К темам, так или иначе связанным с войной и фашизмом, Андерш обращается едва ли не во всех своих крупных прозаических сочинениях: романах «Занзибар, или Последняя причина» (1957), «Рыжая» (1960), «Эфраим» (1967), во многих рассказах и стихотворениях. Об этом и два его наиболее значительных произведения: автобиографическое эссе «Вишни свободы» (1952) и роман «Винтерспельт» (1974); одно знаменует начальный, другое — завершающий этап его творчества.

«Вишни свободы» — исповедь молодого немца, вовлеченного фашизмом в войну и актом дезертирства из гитлеровского вермахта осуществившего свой приватный расчет с преступным режимом. Перед нами произведение, несущее на себе печать заметного увлечения автора экзистенциализмом. В послевоенный период экзистенциалистские идеи оказались весьма притягательными для западноевропейской интеллигенции, сыграли важную роль в процессе духовной переработки опыта минувших десятилетий. Этот опыт выдвигал на первый план вопросы, связанные с виной и ответственностью, с поведением человека в сложных жизненных ситуациях, с выбором моральных ценностей.

Философско-лирический монолог Андерша, составляющий художественную ткань «Вишен свободы», предельно искренен. Со сдержанным лаконизмом повествует автор об этапах своей биографии: детство и отрочество в доме националистически настроенного офицера первой мировой войны, вступление в Коммунистический союз молодежи Германии, «травматический шок», вызванный приходом к власти Гитлера, арест и заключение в Дахау, позднее — гестаповский надзор, «уход в себя», в «парк эстетики и культуры» как реакция на фашизм.

Отчет о собственной жизни сочетается с размышлениями о войне и фашизме, о недавней истории Германии. Дезертирство из вермахта предстает как акт сопротивления нацизму, крайняя форма самозащиты от крайнего принуждения, как реализация идеи свободного выбора. «Задача этой книги, — пишет Андерш, — показать, что я... в определенный момент выбрал поступок, придавший моей жизни смысл и ставший той осью, вокруг которой с тех пор вращается колесо моего бытия... Эта книга хочет лишь сказать правду, абсолютно приватную и субъектив-

ную правду. Но я убежден, что всякая приватная и субъективная правда, если только она действительно правда, способствует познанию объективной истины».

Подлинное чувство ответственности, как его понимает автор «Вишен свободы», проявляется не в слепом повиновении и рабски покорном служении нацистскому «воинскому долгу», а в полном разрыве с системой, подавляющей и уничтожающей личность, в «уходе», «бегстве», равнозначном выбору собственного варианта судьбы. Это и есть тот «миг свободы», которым, по мысли Андерша, определяется подлинное величие человека. Бросив июньским днем 1944-го года оружие и перейдя линию фронта в Италии, солдат Андерш оказывается на ничейной земле, в маленькой низинке, где растет дикая вишня. Впереди плен, лагерь, неизвестность, но сейчас, набрав горсть незрелых плодов, «вишен свободы», он ощущает на мгновение счастье осуществленного выбора.

Уже в этом произведении (сюжетно и по настроению ему близок помещенный в настоящем томе ранний прозаический фрагмент «Бегство в Этрурии») отчетливо обозначены некоторые центральные мотивы творчества Андерша: разрыв с прошлым, поиск неизведанного, постоянное стремление к самостоятельному, никем не навязываемому, выбору жизненного пути, определяемому лишь собственным чувством ответственности и совестью. Если в «Вишнях свободы» эти понятия трактуются преимущественно в духе противоречивых экзистенциалистских философов, то позднее, наиболее отчетливо в романе «Винтерспельт», Андерш выходит на широкий простор художественного осмысления прошлого и настоящего с позиций историзма.

Впрочем, необходимо заметить, что и в экзистенциализме его привлекала прежде всего идея индивидуальной ответственности, обязанности человека в сложной ситуации самому решать, на чьей он стороне. К тому же в «Вишнях свободы» писатель уже демонстрирует гораздо более глубокий и исторически обоснованный взгляд на войну, на феномен фашизма, нежели другие писатели ФРГ, разделявшие философские послышки экзистенциализма. Уже здесь Андерш связывает размышления о войне с ее причинами и четко называет виновных: реакционные силы Германии, прежде всего фашизм. Позднее коллега Андерша, писатель Петер Хэртлинг, вспомнит: в то время как многие западногерманские авторы, изображая период войны и фашизма, занимались своего рода «инвентаризацией», Андерш «полемизировал», недвусмысленно и темпераментно выражая свою общественно-политическую позицию.

«Вишни свободы» появились в период, когда в ФРГ уже ясно обозначились тенденции милитаризма и реваншизма, когда начала пользоваться спросом «оправдательная литература» — мемуары гитлеровских генералов, сочинения, прославляющие доблести германского солдата, обеляющие вермахт. Андерш долго не мог найти издателя для своей книги, и, когда она все же вышла, антифашистская интеллигенция ФРГ увидела в «Вишнях свободы» одно из самых честных и беспощадных произведений, важнейший литературный документ времени.

Последовательно антифашистскую позицию Андерш занимал, собственно говоря, с юности; выражением этой позиции и был описанный в «Вишнях свободы» разрыв с фашистской системой. В 1946—1947 годах, вернувшись из американского плена, Андерш был одним из создателей и руководителей журнала «Дер руф», сыгравшего важную роль в консолидации демократических сил в западных зонах послевоенной Германии. Он вошел и в первоначальное ядро «Группы 47», которая объединила антифашистски настроенных литераторов, стремившихся к демократическому переустройству и духовному обновлению страны. Позднее Андерш назовет конец 40-х годов «эрой демократических иллюзий», «демократического оптимизма»: «Впервые в жизни мы чувствовали себя избавившимися от фашизма и свободными...» Но «стрелки уже были поставлены»: очень скоро в западной части Германии развернулась «реставрация капитализма», начиналась эпоха «холодной войны». Именно тогда многие писатели ФРГ вступили в публицистическую битву против политики правящих кругов. Публицистическую войну против реставративных тенденций начал в те годы и Альфред Андерш.

В конце 40-х и в 50-е годы Андерш активно сотрудничает в прессе и на радио, становится открывателем литературных талантов (в том числе М. Вальзера и Г. М. Энциенсбергера), поддерживает духовно и материально многих своих коллег, давая им возможность публиковаться; издает в середине 50-х годов литературный журнал «Тексте унд цайхен», непримиримо настроенный против «культурного провинциализма» ФРГ и «аденауэровской реставрации». От летнего дня 1944-го, когда солдат Андерш узнал вкус «вишен свободы», прочерчивается четкая линия в будущее: она ведет к антимилитаристским, антифашистским выступлениям писателя, к знаменитому стихотворению 70-х годов «Параграф 3/3» — возмущенному отклику на позорную практику «запретов на профессию». Неприятие правых тенденций в развитии ФРГ с самого начала определило отношение

Андерша к западногерманскому государству, хотя последовательные политические выводы он сделал значительно позднее. Одним из таких выводов было решение покинуть ФРГ; с 1958 г. он жил в Швейцарии; в 1973 г. принял швейцарское гражданство.

В романе «Винтерспельт», выразившем исторически зрелый взгляд писателя на войну, показана обреченность фашизма — социальная, политическая, моральная. Все это, естественно, вызвало озлобленную реакцию консервативной, откровенно правой прессы, нападки на роман и автора. В защиту Андерша выступила демократическая литературная общественность. Известный писатель Вольфганг Кёппен отозвался о «Винтерспельте» как о произведении, которое «лишит читателя сна». Споря с противниками Андерша, он высказал убежденность, что «всякая критика романа «Винтерспельт» оборачивается против критикуемого».

Герои Андерша часто сталкиваются с необходимостью жизненно важных решений. В трудный час им приходится делать выбор: оставаться соучастниками преступной системы или вырваться из нее, оказать сопротивление. Перед такой дилеммой оказывается и герой романа «Винтерспельт» майор вермахта Динклагге. В октябрьские дни 1944 года — накануне сражения в Арденнах, этой отчаянной попытки гитлеровского командования повернуть ход войны, — Динклагге задумывает сдаться вместе со своим батальоном в плен американцам.

Местом действия Андерш делает деревушку Винтерспельт, затерявшуюся в отрогах Эйфеля; расквартированный здесь немецкий батальон отделен от американских позиций лишь небольшим клочком ничейной земли. Исподволь вызревающая у майора мысль «выйти из игры» обретает реальные контуры и становится планом лишь после того, как он делится своими соображениями с Кэте Ленк, молодой учительницей, нетерпеливо ожидающей момента, когда можно будет покинуть Германию, ставшую ей ненавистной с тех пор, как фашизм и война лишили ее близких, всего, что ей дорого. Кэте становится мотором действия. Именно она ищет конкретный способ помочь майору осуществить задуманное. Позднее Андерш скажет, что Кэте воплощает столь важную для него мысль о необходимости действовать. Ее стараниями в план оказываются вовлеченными два других главных действующих лица: коммунист Хайншток, недавний узник нацистского концлагеря, и живущий на ничейной земле Шефольд, искусствовед, эмигрировавший из фашистской Германии. Этих людей свела война. В острой драматической ситуации на карту поставлена жизнь заговорщиков, проходит испытание их готов-



ность действовать, проверке подвергается воля и характер.

Среди главных персонажей приходится назвать и ефрейтора Райделя. Сформированный нравами фашистской казармы, он относится к тому типу людей, которые, по словам упоминавшегося уже В. Кёппена, «убивают, когда война дает для этого возможность»,— на таких, как он, опиралась нацистская диктатура. Райдель, комментирует автор,— «жертва и инструмент фашистской системы... Свою неполноценность он пытается компенсировать тем, что становится образцовым солдатом, идеальным ландскнехтом». Перед нами характерный продукт немецкой истории— обыватель, мелкий буржуа, готовый в любую минуту присоединиться к самым темным и реакционным силам. Этот социальный слой, из которого на определенном этапе рекрутировались пособники и соучастники фашизма, издавна находил блестящее отражение в немецкой литературе, чаще всего сатирическое— вспомним хотя бы Генриха Манна с его «Верноподданным».

Главным в романе оказывается не столько само действие, сколько столкновение жизненных установок, воплощаемых участниками этого действия. Перед нами роман позиций. «История повествует, как было. Литература проигрывает возможные варианты»,— пишет Андерш. В романе действительно «проигрываются» возможности человеческого поведения. Однако индивидуальное действие не замыкается на самом себе: четкая линия соединяет поступок с его общественными последствиями. В романе прослеживается взаимосвязь избираемой человеком позиции и сложного комплекса событий и обстоятельств общественной значимости.

И тут мы подходим вплотную к вопросу о построении романа, которое делает особенно явным это подчеркиваемое Андершем сопряжение человека и истории. Роман складывается из трех слоев: он начинается и завершается тщательно составленными и точно продуманными подборками документов; между этими внешне «тонкими», а по сути, чрезвычайно весомыми и мощными слоями выстраивается непосредственное действие, которое, по словам Андерша, представляет собой новеллу, понимаемую («в духе Клейста») как рассказ о «неслыханном происшествии». «Неслыханное происшествие»— это в широком смысле все, что происходит в романе, а если говорить более конкретно— это история гибели самого мирного и самого привлекательного из героев, который оказывается принесенным в жертву. Конец, комментирует автор, получился трагическим, но в этом был замысел: «показать отношения между людьми», оказавшимися в

такой сложной, напряженной ситуации.

«Неслыханное происшествие» в деревушке Винтерспельт — это еще не все, о чем хотел поведать Андерш. Трагический эпизод обретает глубокий смысл на фоне реальных событий недавней истории. Вот почему Андершу в этом романе недостаточно вымысла и нужны факты. Документы ставят происходящее в четкий исторический контекст; благодаря им соотносительность человеческого деяния и его общественных последствий становится ясной и наглядной. Сам Андерш скажет позднее, что назначение вмонтированных в текст документов — четко обозначить историко-политическую ситуацию, сложившуюся на исходе войны перед началом битвы в Арденнах и после нее. Но и этим их функция не исчерпывается. В документах как бы отражена и несостоявшаяся «военно-политическая акция» майора Динклагге, поведение которого находит историческое соответствие в действиях лица вполне реального: генерал-фельдмаршала Рундштедта, который в 1944 году, впад в немилость у Гитлера и оказавшись в отставке, послал, после разгрома немецких танковых соединений под Фалезом, телеграмму верховному командованию вермахта с призывом немедленно заключить мир, а два месяца спустя с готовностью принял от фюрера новое назначение и, возглавив войска на Западе, начал сражение в Арденнах.

Динклагге, выходец из добропорядочной буржуазной семьи, стал военным, рассчитывая, что служба в вермахте позволит ему пережить национал-социализм, «не запятнав себя». Он разделяет, таким образом, известный тезис, согласно которому германское офицерство — избранная рыцарская каста, находящаяся вне политики. Это заблуждение роковым образом скажется в решающий момент.

План Динклагге, продиктованный осознанием неизбежности военного краха, с самого начала носит чисто умозрительный характер. Колебания, непоследовательность майора четко обнаруживают в нем пленника сословных представлений, более всего опасющегося быть исключенным из «интернационала офицеров», оказаться «предателем», нарушившим «присягу». Предоставим слово еще раз такому авторитетному судье, как В. Кёппен: Динклагге, считает он, ищет алиби, которое оправдывало бы крушение его плана; похоже, что майор просто «играет в мятежника, а на самом деле, будучи рабом своей офицерской чести, ненавидит всякий бунт». Динклагге прочными цепями прикован к той системе исторически скомпрометировавших себя норм и представлений, которую с такой внутренней убежденностью и полемическим пылом разоблачает автобиографический

герой «Вишен свободы», а в «Винтерспельте» — испытанный антифашист и коммунист Хайншток.

Заметим сразу, что ту же кастовую мораль демонстрируют, за немногими исключениями, и американские военные — они тоже причастны к «интернационалу офицеров» и склонны осудить немецкого майора уже за одно только намерение сдаться в плен, да еще вместе с целым батальоном. Логика их рассуждений свидетельствует о том, что противник, фанатично готовый защищать преступный режим, занимает на их шкале ценностей место более высокое, нежели человек, осознавший бессмысленность войны и не желающий более служить преступным целям. Противоречия внутри американской армии, столкновение позиций занимают автора романа почти в такой же степени, как и конфронтация жизненных взглядов его соотечественников. Эти противоречия среди американцев особенно явно проявляются в отношении к Советскому Союзу. И снова точнее других видит суть дела коммунист Хайншток. «Американцы,— считает он,— вступили в войну только потому, что не хотели рисковать», допустить, чтобы «русские одни побили Гитлера».

То, о чем рассказывает в романе Андерш, подтверждает прочную спаянность германского вермахта с нацистской системой, раскрывает полнейшую тенденциозность буржуазных историков, пытавшихся обелить германское офицерство как якобы находившееся в оппозиции к гитлеровскому режиму. С не меньшей наглядностью выявляется обозначившаяся уже к исходу войны расстановка сил на мировой арене, обретает идеологическую плоть зревшая за океаном доктрина «сдерживания», пресловутого «защитного вала», призванного обезопасить Запад от «красной угрозы». Вымышленные события вводятся, как видим, в четкую систему исторических координат, частная жизнь обретает историческое измерение.

На передний план в романе выдвигается столь актуальная сегодня идея ответственности каждого за судьбы мира и предотвращение войн. «Винтерспельт», комментирует писатель,— это «не пацифистская книга», она направлена «против философии генерал-фельдмаршалов». В автобиографическом эссе «Вещевой мешок», откуда взяты эти слова, далее следует поразительное признание: «Когда я писал роман, я заплакал — монтируя документы о Рундштедте, Клюге и Вицлебене». «Философия генерал-фельдмаршалов» была одной из ключевых причин трагедии, пережитой человечеством по вине фашизма,— трагедии, не миновавшей и самих немцев.

Альтернативу пассивности и нерешительности, фаталистиче-

ским настроениям Андерш обозначает четко: «Действовать, бороться против фашизма!» Война в романе изображается в контексте ее уроков, в широком смысле роман содержит отклик писателя на ситуацию в современном мире. Андерш не устает напоминать, что войны не возникают сами по себе, что у них всегда есть зачинщики. Вся эта «камерная история», говорит писатель, строится вокруг одной мысли: «Нельзя принимать историю как данность. Никогда». О том же и почти теми же словами говорит в романе Хайншток, персонаж, четче и глубже других осознающий смысл происходящего. Мысль эта многократно варьируется в произведениях Андерша, составляя, по сути, идейно-художественный центр его творчества.

«Винтерспельт» — это драма решений, в основе которой, по словам автора, «конфликт между познанием и действием». Андерш дает своему роману самые разные определения; они могут показаться противоречивыми и даже взаимоисключающими, но на самом деле отражают разные стороны и аспекты этого многопланового произведения.

Так, в одном из своих поздних эссе он предлагает рассматривать «Винтерспельт» не как «роман о войне», а как «роман о любви», разыгрывающийся на сценической площадке войны. Это и в самом деле горькая, полная драматизма история любви, написанная в сдержанных, почти суровых тонах, но не утрачивающая при этом ни мощного внутреннего накала, ни обаяния. Другое определение, данное автором своей книге — «оргия композиции», — звучит парадоксально и относится к художественной организации текста. Все пропорции в романе выверены с удивительной точностью. Это касается и упоминавшегося уже «трехслойного» построения, где документ и вымысел вступают в органическое взаимодействие, и самого новеллистического сюжета, где каждый ход одновременно и подготовлен предыдущим и неожидан, и точности психологических и социальных мотивировок характеров, и «игрового» элемента, включающего «варианты» судеб и исторических поворотов.

Более всего Андерша, как всякого настоящего художника, занимают люди. Интерес к человеку означает для него и стремление понять «загадку», которая есть в каждом. Это не до конца разгаданное, непознанное обладает для писателя особой притягательностью; ему не интересны люди, в которых «все до конца ясно». «Меня вообще привлекают в процессе письма только те фигуры, о которых я не в состоянии сказать точно, каковы они, — признается Андерш. — Человек, о котором я могу определенно сказать, как его следует оценивать, то есть которого

я знаю в банальном смысле, меня уже не занимает...» Речь не о том, что писатель считает в принципе невозможным понять человека, вникнуть в его психологию. Формула Андерша выражает неприятие всякого схематизма, уважение к бесконечной сложности и противоречивости человеческого характера. При этом он подчеркивает важность точных психологических мотивировок, «психологической достоверности».

Андерша привлекает «многомерный» человек, он ищет способов показать личность в разных измерениях, всегда признавая за ней право на «загадку» и сохраняя между собой и своим персонажем вполне ощутимую дистанцию. Автор не отождествляет себя ни с кем из героев «Винтерспельта». Его сердцу милее и ближе легкая остротенность, достигаемая и сдержанностью интонации, и демонстративной суховатостью языка, временами нарочито педантичного, как бы бюрократизированного, приближенного к стилю военных документов, и слегка проглядывающей, а то и весьма острой иронией. Художественный диапазон этой прозы велик: от жесткости и холодноватости документального стиля до изящной, прозрачной «игры», где особую значимость приобретают полутона, легкая недоговоренность, тончайшие языковые, образные нюансы.

Андерш обозначил стиль романа понятием «пуантилизм», заимствованным из живописи и подразумевающим письмо мелкими мазками, из которых, при взгляде с определенной дистанции, возникает образ, картина. Работа «мазками» подразумевает, по мысли Андерша, и вовлечение читателя в сам процесс создания произведения—с целью стимулировать читательские раздумья, критическую работу ума.

Роман действительно складывается из отдельных фрагментов, деталей, штрихов, совокупность которых рождает поразительное ощущение художественной целостности, несмотря на внешнюю раздробленность повествования и кажущуюся разнородность элементов. Аналогия с живописью в определении стилистики «Винтерспельта» оправдана еще и потому, что роман отличается яркой образностью, тем более ощутимой, что она возникает на фоне необычайной точности и выверенности детали. В авторе «Винтерспельта» соединились ученый-историк, освоивший огромный фактический материал, и художник, умеющий насытить зрительный образ глубиной мысли. Читатель обратит внимание на пейзажи Винтерспельта, на изображение горных склонов, поросших лесом, тихих деревенских улиц.

В Винтерспельте Андерш бывал, навещая там жену, художницу Гизелу Андерш, оказавшуюся в годы войны в этих местах, на

западной границе Германии; она находилась там и в дни битвы в Арденнах. Правда, сам Андерш был в это время уже очень далеко—в США, в лагере для военнопленных. Но рассказы жены, ее впечатления были важным дополнением к тем серьезным документальным штудиям, которые осуществлял писатель, готовясь к работе над романом. Особенно важны были ее рисунки, этюды, наброски, запечатлевшие эти места. «Из одной ее ранней картины,—рассказывает писатель,—и возникла моя книга: дождевые облака над землей, бесконечными холмистыми волнами бегущей к западу...» На этом пейзаже видна и затерявшаяся среди лесистых склонов деревушка Винтерспельт.

Литература, эта «археология души», замечает Андерш, «занимается раскопками»; она исходит из того, что «прошлое современно». Эта мысль выражена уже в предпосланных роману словах Фолкнера: «Прошлое не умирает, оно всегда остается с нами». Для Андерша это не декларация, не эффектный афоризм; художественное произведение, убежден он, «рождается из определенного исторического опыта и должно влиять на другой исторический опыт». Речь идет, таким образом, о высокой общественной миссии литературы: осмысляя прошлое, она призвана оказывать духовное воздействие на людей настоящего и будущего. Вынесенные в эпиграф слова делают еще более очевидным тот факт, что импульсом к «раскопкам прошлого» стали для автора настоятельно требующие решения ключевые вопросы современности.

События, разыгрывающиеся в октябре далекого 1944 года в маленькой эйфельской деревне, интересны и значительны сами по себе. Но, оказавшись спроецированными на день сегодняшний, они обретают новый, философский смысл. Представленный в романе «контрпроект» немецкой истории (то есть размышления о том, как могли бы повернуться судьбы Германии, Европы, мира, если бы немецкие офицеры вместо слепого повиновения «монстру» продемонстрировали чувство ответственности, оказав ему реальное сопротивление) выводит «проигрываемые варианты» за рамки событий «местного значения». Обращенный к людям наших дней роман требовательно напоминает о возможности и необходимости избавить человечество от новых трагедий.

Андерш сказал о себе: «Я не написал ни одной неполитической книги». Эти слова не следует понимать так, что в каждом из его произведений изображаются политические события. Имеется в виду другое: мировоззренческая позиция, четко выраженная и в произведениях, сюжетно весьма далеких от политики и касающихся самых частных сторон человеческой жизни. Читатель

убедится в этом, прочитав собранные в настоящем томе рассказы Тематически многие из них связаны с тем же комплексом проблем, что и романы Андерша. Они повествуют о попытках человека обрести внутреннюю свободу в бесчеловечных условиях «третьего рейха», о ненависти к войне и фашистской диктатуре, о дезертирстве как прорыве к освобождению, о плене, избавляющем от нацистского рабства, о буднях «общества потребления», не снимающих с человека груза трудных решений. Снова и снова, как в рассказах «Любитель полутени», «Беспредельное раскаяние», «Cadenza finale», «Вместе с шефом в Шенонсо» и других, столь разных по материалу, сюжету, тональности, остро ставится вопрос о позиции человека перед лицом сложных, нередко трагических обстоятельств. Раскрывая лучшие стороны дарования автора, подлинный гуманизм его творчества, рассказы отличаются столь характерной для Андерша строгой сдержанностью, точностью в передаче оттенков, тончайших поворотов настроения, в изображении индивидуальных кризисов и душевных бурь. Писатель говорит тихо, не повышая голоса, но сказанное им волнует.

Андерш повествует о людях, остающихся чужими в их собственном неуютном мире. Желание его героев «уйти», вырваться из сковывающих обстоятельств никогда не равнозначно «бегству от жизни», а всегда есть «бегство в жизнь». Отзвуки этих мотивов слышны и в самой загадочной, артистичной новелле Андерша «Мое исчезновение в Провиденсе». Обращаясь к игровой форме, пародийно-детективному сюжету, автор вовлекает читателя в размышления о литературе, ее особенностях и назначении, о писательском мастерстве. Этот рассказ, выходящий за пределы традиционной для автора повествовательной манеры, раздвигает читательские горизонты ожидания по отношению к Андершу, показывая широту его творческих интересов и возможностей. Сознательная непроясненность, желание сохранить некую завесу тайны — дань избранному жанру. Опробуя разнообразные, непривычные повествовательные возможности, автор ставит, по сути, коренные вопросы, характерные для его творчества: поиск индивидуальной свободы, «альтернативных» вариантов бытия, бегство из подавляющей узости буржуазного существования, неприятие навязываемых норм и догм.

Новеллистический дар Андерша, глубина художественного анализа истории вновь подтвердились в его последнем, опубликованном уже посмертно, произведении — повести «Отец убийцы». Писатель заметил как-то, что, оглядываясь назад, человек чаще всего вспоминает лишь отдельные моменты собственной

биографии — из них складывается цепь прожитой жизни. Об одном таком моменте и идет речь в повести, основу которой вновь составляет столь важная для Андерша мысль о «современности прошлого».

Мюнхенская гимназия, 1928 год. Четырнадцатилетний Франц Кин, автобиографический герой Андерша («мое второе «я»»), попадает в драматическую ситуацию; заунывный, скучный урок греческого превращается для него в трудное жизненное испытание. В класс неожиданно приходит директор Рекс. Перед испуганными гимназистами возникает грозная, властная, устрашающая в своем холодном педантизме, в своем казарменном рвении фигура, воплощение муштры и бездуховности. Андерш легкими штрихами, без нажима, создает выразительный образ — лишенный гротескных черт, но оттого не менее опасный и бесчеловечный «учитель Гнус» новейшего образца, мелкий тиран, способный наносить непоправимые духовные увечья.

Перед нами специфически немецкая разновидность «воспитателя» — такие, как он, много десятилетий подряд калечили юные поколения, подавляя все яркое, самобытное, унижая человеческое достоинство своих подопечных, в тупом и злобном усердии готовили послушных исполнителей приказов, безропотное «пушечное мясо». В одном из эпиграфов к повести есть слова о немецкой школе, где систематически убивают душу ребенка. Перед нами разворачивается картина такого «убиения души», грубого подавления личности подростка.

Андерш продолжает в своей повести богатую традицию немецкой гуманистической литературы, запечатлевшей этот процесс растаптывания личности, изображавшей формирование бездумных, не рассуждающих исполнителей приказов, — традицию, связанную с такими выдающимися именами немецкоязычной литературы XX века, как Т. Манн, Г. Манн, Г. Гессе, Р. Музиль, Э. М. Ремарк и др. Прусский учитель был прямым предшественником учителя нацистской школы, усердно снаряжавшего своих подопечных для будущей завоевательной «миссии». Когда-то Гитлер заявлял, что воспитает молодежь, перед которой содрогнется весь мир. Выйдя из школьного класса, одурманенные шовинистическими и милитаристскими идеями, уверенностью в своем расовом превосходстве, молодые немцы становились бездумными исполнителями воли фюрера. Для милитаризации и фашизации немецкой школы, развернувшейся после прихода Гитлера к власти, почва была подготовлена — «убиение душ» началось гораздо раньше, на уроках, подобных тому, о котором рассказал в своей повести Андерш.



Директор гимназии, почтенный специалист по классической филологии, демонстрирует циничное изуверство: правила грамматики превращаются у него в орудия пытки, а сам урок — в унижительный допрос, который приводит к печальному повороту в судьбе юного героя. Франц Кин становится жертвой Рекса не потому, что плохо выучил заданное на дом, а потому, что не желает подчиняться, приспособливаться. В нем живет дух непокорства, а непокорство — в этом Рекс убежден — надо истреблять. К тому же с Францем Кином можно особенно не церемониться: его отец беден. Вот вступить в конфликт с кланом местных аристократов Грайфов, отпрыск которых на свой лад демонстрирует неповиновение, куда рискованнее.

В этой повести, как чаще всего у Андерша, смысл изображаемого выходит за рамки частного эпизода. И дело не только в мастерском раскрытии самого механизма насилия над неокрепшей душой, в точной передаче конфликта между личностью и буржуазным аппаратом подавления, воплощенным в фигуре Рекса. За камерной школьной драмой отчетливо вырисовывается общий политический и социальный климат Германии тех лет, уже характеризующийся грубым антикоммунизмом. Увидев у одного из гимназистов самодельную свастику на лацкане школьного пиджака, Рекс требует эмблему снять, но отнюдь не потому, что испытывает особую неприязнь к нацистской символике. Тут другое: если не распорядиться убрать свастику, то, может случиться, кто-либо из учеников заявится в класс «с советской звездочкой». И Франц Кин понимает: при виде красной звезды Рекс не удовольствовался бы приказом снять ее, тут последовали бы жестокие репрессии. Впрочем, Франц не знает в школе ни одного ученика или учителя, в котором можно было бы «заподозрить большевика», зато «апостолов свастики» в школе немало. Так скупыми, но четкими штрихами обозначена политическая атмосфера Германии конца 20-х годов, крайняя враждебность бюргеров к «красным», ставшая питательной почвой набирающего силу фашизма.

И все же «политической бомбой» делает эту повесть другое. Суть ее в том, что директора гимназии зовут Гебхард Гиммлер. Он отец убийцы, отец кровавого рейхсфюрера СС, одного из самых чудовищных преступников в истории человечества. «Характеристика «убийца» для Генриха Гиммлера слишком мягка», — комментирует Андерш. Это не просто особо опасный преступник, «он превосходил всех когда-либо существовавших истребителей человеческой жизни». Гиммлер-сын покажет себя позднее, но его зловещая тень как бы присутствует на страницах повести. А

Гиммлер-отец предстает как часть системы, в которую через очень недолгое время органически впишутся преступления его сына. Для читателя, вооруженного знанием истории, события выстраиваются в одну цепь и будущие злодеяния нацизма незримо вписываются в рамки маленькой школьной драмы. Будущее, о котором знает читатель, проецируется на изображаемое настоящее.

Автор ничего не упрощает, не пытается доказать, что у такого отца с роковой неизбежностью должен был вырасти именно такой сын. Было ли старому Гиммлеру «предназначено судьбой» стать «отцом убийцы»? — спрашивает автор в послесловии, обращенном к читателям. И признается, что не знает ответа, более того, что не стал бы рассказывать историю времен своей юности, знай он точно, как, каким образом «изверг и педагог связаны друг с другом». Вспомним размышления Андерша о «человеческой загадке»: он и здесь говорит о своем интересе к «незавершенным» фигурам. Если бы все было просто и ясно, замечает Андерш, было бы скучно писать.

И все же, продолжает писатель, нельзя не задуматься над тем, что величайший «истребитель» человеческого рода, один из главных заправил нацистского рейха, приводивший в действие гигантский механизм уничтожения, вышел не из люмпенов, не из среды уголовников, а из вполне благопристойной, респектабельной бюргерской семьи, из «очень старого верхнерейнского городского патрициата», принадлежностью к которому так гордился его отец. И что старый Гиммлер был не бродягой, а директором классической гимназии и «поклонником Сократа». Названием повести Андерш зафиксировал не столько частный, сколько исторический факт, опровергающий известные утверждения о том, что преступления фашизма исходили лишь от «кучки политических уголовников», людей «без роду и племени».

Не выпрямляя линий, соединяющих прошлое с настоящим, Андерш сумел показать нерасторжимость самого феномена национал-социализма с немецкой буржуазией, с реакционными силами Германии. Так раздвигаются стены школьного класса, рассказанный писателем эпизод выходит на сцену Истории. В умении вместить глубокий исторический контекст в изображение школьного урока сказалось мастерство Андерша, раскрывшего здесь и свой талант тончайшего психолога-аналитика.

Послесловие «К читателям» проясняет некоторые существенные особенности повествовательной манеры Андерша. Зачем понадобился ему здесь, как и в некоторых более ранних рассказах, Франц Кин? Почему в «Вишнях свободы» он рассказы-

вает эпизоды своей жизни от первого лица, а в последней повести, столь же явно связанной с его собственной биографией, «выталкивает» на авансцену Франца Кина? Причина, объясняет писатель, не только в том, что «самое сокровенное» сказать легче, обращаясь к форме третьего лица, дающей особую «свободу повествования», важнее другое: такой рассказ позволяет быть «максимально честным». Авторское послесловие к «Отцу убийцы» не только проясняет идейный замысел повести, выраженные в ней исторические взаимосвязи, но и подтверждает, как серьезно, глубоко, тщательно работал писатель.

Разные критики приписывали Андершу разных учителей. Одни называли Стендаля, другие Флобера, третьи Т. Манна; упоминали Дж. Конрада, Фолкнера, Хемингуэя, других американских романистов XX века. Несомненно одно: Андерш брал уроки у лучших учителей, и эти уроки не прошли даром. Но главное было в нем самом: живой интерес к человеку.

В романе «Эфраим» есть фраза: «Почти все люди интересны». Писатель не раз говорит о «поразительности и ценности внутренней жизни» человека. Способностью раскрывать душевный и духовный мир личности и определяется, по мысли Андерша, значимость романного жанра, его привлекательность для писателей разных времен и народов. Сам Андерш не присоединялся к тем, кто прокламировал «гибель» романа, кто твердил об «исчерпанности» традиционных жанров. Он всегда был в стороне от модных крайностей подобного рода, честно и ответственно продолжал работать, когда иные его коллеги призывали «покончить» с литературой.

Он обладал активным гражданским темпераментом, не позволявшим ему отмалчиваться, когда политические события требовали от художников Европы веского слова. В программном публицистическом сочинении «Бумага, окрашивающаяся в красный цвет» Андерш со всей определенностью высказывается об общественной роли писателя, призванного «участвовать в создании мирного мира». Он не раз подчеркивал, как тревожит его имеющий весьма широкое хождение среди западноевропейской интеллигенции тезис: «Сделать ничего нельзя». Об опасности подобного взгляда для судеб современного мира им сказано немало тревожных, предостерегающих слов. Демонстрируя в своих произведениях модели поведения вымышленных персонажей в исторически конкретных обстоятельствах, Андерш призывает своих читателей: выбирайте! Выбирайте линию поведения, позицию, способ действия, твердо помня об исторических последствиях личных решений.

Осталось упомянуть еще одно публицистическое сочинение Андерша, раскрывающее его интерес к Советскому Союзу, советской литературе. Эссе «Открытое письмо советскому писателю, касающееся того, что устарело» адресовано Симонову и написано после возвращения Андерша из Москвы, где он побывал в октябре 1975 г. как участник международной встречи писателей на тему «Вторая мировая война и литература».

С разговора об этой поездке и началась наша беседа с Андершем во Фрайбурге. «Вы не бывали в России?—спросил Андерш Ленца и тут же добавил:—Поезжайте непременно, очень советую. Там доброжелательные, гостеприимные люди. А уж русский лес в октябре—непередаваемая красота». (В письме Симонову он говорит о «невыразимом золоте октябрьского леса под Бородино».) Рассказывая о поездке, сдержанный Андерш употреблял самые эмоциональные эпитеты: «сказочно», «захватывающе»... И позже, когда мы говорили о романе «Винтерспельт», он вспоминал Москву, Одессу, встречи с людьми, покорившими его своей душевной щедростью. Андерш очень хотел приехать снова...

В «Открытом письме» он рассказывает, как обрадовался приглашению и как в то же время испытывал смущение и растерянность при мысли, что его приглашают люди, о которых он «ровным счетом ничего не знает». Он вдруг понял, что почти не имеет представления о советской литературе, и ощутил «тяжесть своего незнания». Он пишет о том, что после двенадцати лет нацистского господства—периода духовной изоляции и разрыва связей с мировой культурой,—при всем стремлении передовой интеллигенции ФРГ наверстать упущенное, советская литература для западных немцев продолжала оставаться «неизведанной землей». В 60-е годы книги «авторов из России» стали постепенно издаваться, но отбор их нередко был тенденциозен, а тиражи незначительны. Литературная мода заметно диктовалась потребностями «холодной войны», и средства массовой информации, в значительной мере определяющие судьбу книг, игнорировали тех советских писателей, из творчества которых нельзя было извлечь спекулятивного политического капитала.

Прочитав «Живых и мертвых» Симонова, Андерш обнаружил, что Синцов, Маша и другие—для него «вовсе не чужие люди», что это «гуманистические герои», знакомые и близкие ему не меньше, чем герои Гёте и Толстого. И вся «история отчуждения», целенаправленно укореняемого в сознании западных немцев

стратегами «холодной войны», показалась ему чем-то безнадежно устаревшим, изжившим себя и, собственно говоря, смешным. О том, что «безнадежно устарело», он и говорит в письме к своему советскому коллеге.

Так началась дружба этих двух писателей, которым было что сказать друг другу и людям. Симонов ответил Андершу; он соглашался с ним в главном: в мысли о необходимости лучше знать и понимать друг друга. Он рассказывал в своем письме, что на писательской встрече, где обсуждалась «сложная и драматическая тема» — уроки второй мировой войны и долг писателя, — Андерш вызвал всеобщее уважение бесстрашием своего взгляда на «трагическое прошлое».

На этом переписка не оборвалась, хотя ей и не суждено было оказаться длительной. В августе 1978 года Симонов послал Андершу письмо, в котором с большой теплотой отзывался о романе «Винтерспельт», появившемся на русском языке. Андерш благодарил в ответном письме за внимательный, тонкий и глубокий разбор романа, рассказывал, какой постыдной травле подвергся за эту переписку со стороны неонацистской прессы...

Симонов и Андерш, участвовавшие в войне по разные стороны линии фронта и писавшие о ней очень по-разному, считали необходимым напоминать об уроках войны и об ответственности за будущее. Сейчас, с дистанции времени, их диалог предстает как духовное завещание, обращенное к последующим поколениям, как непримиримое осуждение войны, напоминание о важности добрососедства, как призыв к гуманности, к миру на земле.

*Ирина Млечина*

# ВИНТЕРСПЕЛЬТ

Роман

Перевод И. Млечиной



# *WINTERSPELT*

Roman

© Diogenes Verlag AG, Zürich, 1974

© Перевод на русский язык издательство «Художественная литература», 1979

*Посвящается тому самому лицу,  
которое упомянуто на с. 34 и извест-  
но автору как лицо исключительно  
надежное*



Было холодно, лил дождь, дул почти ураганный ветер, и перед нами стеной стояли черные леса Шнее-Эйфеля, где обитали драконы.

Эрнест Хемингуэй. 49 репортажей

Прошлое не умирает; оно всегда остается с нами.

Уильям Фолкнер. Из газетного интервью

## **ПОЛОЖЕНИЕ ПРОТИВНИКА — В ПЛАНЕ ВОЕННОМ**

### ***На Западном фронте без перемен***

«Западный театр военных действий. (Боевые действия с 25 сентября по 9 октября 1944 г.) В районе Ахена шли бои местного значения, постепенно, однако, усиливающиеся; в районе горного массива Эйфель и на мозельском участке фронта было спокойно». (Военный дневник [ВД] Верховного командования вермахта [штаб оперативного руководства] вели Хельмут Грайнер и Перси Эрнст Шрамм, т. IV, с. 400.)

### ***Гитлер, или Недостаточная глубина***

«Фюрер рассчитывал, что осенью погода на какое-то время исключит действия вражеской авиации и тем самым будет уменьшено ее превосходство. Оперативное наступление фюрер считал необходимым уже потому, что французам нельзя было давать возможности укреплять свои соединения; по его мнению, семидесяти соединений, которыми, по-видимому, располагали англо-американцы, было недостаточно для фронта в 700 км. Поэтому он считал, что свои силы на этом фронте надо сосредоточить таким образом, чтобы в полосе наступления они превосходили силы противника. Сначала полагали, что в качестве исходного района следует выбрать Бургундские ворота и Голландию. Штаб оперативного руководства должен был в середине третьей декады сентября представить необходимые расчеты соотношения сил.

Но теперь речь шла уже не об операции, проводимой с марша, когда можно использовать бреши в обороне противника или глубокие фланговые удары, а о наступлении с линии стабильной обороны, постоянно наблюдаемой противником с воздуха,—о наступлении с целью прорвать уже укрепленную противником линию фронта, то есть об операции, которая требовала длительной подготовки и силы для которой—поскольку войска Западного фронта были истощены—можно было изыскать лишь за счет пополнения старых и формирования новых соединений. Времени в результате потребовалось больше, чем можно было предположить первоначально: от разработки первоначальных планов до последнего приказа перед наступлением прошло ровно два с половиной месяца.

Руководство в этот период целиком оставалось в руках фюрера, который не только давал указания и принимал решения, но и вникал во все детали и при этом увязывал подготовку наступления с обороной, которую на Западном фронте приходилось вести одновременно.

К концу сентября—началу октября в качестве наиболее подходящего участка для прорыва определился район восточнее Льежа. Поскольку в мае 1940 года там уже был осуществлен прорыв, пришлось затребовать из вывезенных в Лигниц архивов материалы о тогдашних операциях 6-й и 4-й армий. Материалы были высланы 5 октября. К сожалению, в архивах оказались пробелы, так как важные документы сгорели во время пожара 1941 года. Тем не менее обнаружились полезные записи, прежде всего оценка местности, датированная январем 1940 года, из которой следовало, что в Люксембурге и южной Бельгии условия для продвижения гораздо благоприятнее, чем на территории северного соседа, поскольку число участков с глубоко эшелонированной системой обороны и укрепленных районов, препятствующих наступлению, там меньше, а сама местность и возможности передвижения по ней благоприятнее, чем в северной части Арденн.

Для проведения запланированной операции необходимы были следующие условия:

удержание позиций на Западе, включая Нидерланды (плотины в устье Шельды);

стабилизация положения на Востоке с целью не отвлекать силы, находящиеся в распоряжении КВР (командующего войсками резерва.— *Авт.*);

обеспечение Западного фронта свежими людскими и материальными ресурсами;

10—14-дневный период плохой погоды, что могло бы компенсировать отсутствие поддержки с воздуха;

быстрое уничтожение противника по всей линии фронта с целью возместить недостаточную глубину прорыва». (ВД, 1944, т. IV, кн. I, раздел 4, Франкфурт-на-Майне, 1961.)

### ***Брэдли, или Восемь километров***

«Некоторое время в районе между Триром и Моншау на фронте протяженностью около 120 км мы имели всего три дивизии. Держать здесь больше четырех дивизий нам никогда не удавалось. Не только мой штаб постоянно и тщательно занимался этим вопросом, но и сам я неоднократно беседовал об этом с Брэдли. Мы пришли к выводу, что в районе Арденн мы подвергаемся значительной угрозе, но считали неправильным прекращать наступательные действия на всем остальном фронте, исходя лишь из соображений безопасности, и ждать, пока из Штатов прибудет пополнение и наши силы достигнут максимальной мощи.

При обсуждении этой проблемы Брэдли четко указал на те обстоятельства, которые, с его точки зрения, говорили в пользу продолжения наступления на его участке. Я согласился с ним по всем пунктам. Прежде всего он указал на то, что в смысле потерь для нас возникали относительные преимущества. Противник в среднем ежедневно терял в два раза больше, чем мы. Далее, Брэдли считал, что Арденны—единственный участок, где противник мог предпринять серьезное контрнаступление. Но оба пункта, в которые мы стянули войска двенадцатой группы армий для наступательных операций, располагались на флангах этого района. Одна часть войск, подчиненная Ходжесу, находилась непосредственно к северу, другая, под командованием Паттона,—к югу от него. Поэтому Брэдли считал, что для массированного удара нашими силами по флангам возможного немецкого наступления в Арденнах наша диспозиция исключительно благоприятна. Кроме того, он полагал, что противник, при внезапном наступлении в Арденнах, будет испытывать серьезные трудности со снабжением, если решит осуществить прорыв к Маасу. Если ему не удастся захватить наши большие склады материально-технических средств, он быстро попадет в сложное положение, особенно если одновременно начнет успешно действовать наша авиация. Брэдли показал на карте тот рубеж, которого, по его мнению, могли достичь немецкие передовые части. Прогнозы эти

оказались удивительно точны: нигде он не ошибся более чем на восемь километров. В районе, куда, как он считал, мог прорваться противник, Брэдли разместил лишь очень небольшие склады. У нас, правда, находились крупные запасы в Льеже и Вердене, но он был убежден, что так далеко противник не продвинется». (Dwight D. Eisenhower. *Crusade in Europe*. New York, 1948<sup>1</sup>; цит. по немецкому изданию, Амстердам, 1950.)

### **Директива генерал-фельдмаршалу фон Рундштедту**

«3.10. главнокомандующему войсками «Запад» передано сообщение, что 5.10. ему, для использования на спокойном участке фронта, будет переброшена из Дании 416-я пехотная дивизия. 4.10. было дополнительно сообщено, что фюрер приказал отвести с фронта моторизованную дивизию и заменить ее 416-й пехотной дивизией». (ВД, т. IV, с. 449.)

### **Бедный генерал Мидлтон**

«Не вызывает удивления, что четыре ослабленные пехотные дивизии, растянутые в Арденнах по фронту в 75 миль, были сломлены мощью вражеского наступления. Несмотря на интенсивный заградительный огонь, который предшествовал наступлению и который некоторые приняли за «свой», люди продолжали считать, что находятся на спокойном участке, почти на отдыхе, где необстрелянные части, не подвергаясь большой опасности, могут свыкаться с трудностями фронтовой обстановки. Из трех дивизий американского VIII корпуса под командованием генерала Мидлтона две, 4-я и 28-я, во время жестоких осенних сражений на северных участках фронта подверглись мощным ударам и понесли тяжелые потери. Они невероятно устали, многих мучил «окопный ревматизм», кашель и другие недуги. Третья дивизия, 106-я пехотная, после изнурительной переброски в сильный холод на грузовиках через Францию и Бельгию, за четыре дня до этого сменила на линии фронта 2-ю пехотную. Это была необстрелянная дивизия. Ей была придана 14-я кавалерийская группа, патрулировавшая весьма уязвимый стык шириной в

---

<sup>1</sup> Дуайт Д. Эйзенхауэр. Крестовый поход в Европу. Нью-Йорк, 1948 (англ.).

восемь миль между VIII и V корпусами. И, наконец, на правом фланге находилась 99-я пехотная дивизия V корпуса. Это была неопытная, но хорошо обученная дивизия. Она показала свои возможности». (R. W. Thompson. *Montgomery The Field Marshal*. London, 1969, p. 243<sup>1</sup>.)

## **Этапы превращения документа в художественный вымысел**

### **1**

Сумела ли немецкая 416-я пехотная дивизия также показать свои возможности, установить не удалось. В перечне войсковых единиц (ВД, Эллис, фон Мантойфель), приведенных в боевую готовность для участия в Арденнском наступлении, она не значится. Вероятно, перед началом наступления ее отвели с передовой и вновь заменили моторизованной дивизией.

И уже чистой догадкой является то, что в октябре 1944 года она находилась на том участке фронта, который стал ареной изображаемых в дальнейшем событий, а также и то, что в числе ее батальонных командиров был майор по имени Йозеф Динклагге.

Вследствие этого 416-я пехотная дивизия вправе считать, что все, о чем здесь рассказывается, вообще не имеет к ней никакого отношения. С другой стороны, для подобного повествования нужна именно такая дивизия, как 416-я. В какой-либо танковой дивизии, в отборных соединениях, как, например, 2-я и 9-я, или, напротив, в одной из так называемых народно-гренадерских дивизий, коим уже по самому их названию, сколь бы храбро они ни сражались, отводится место в нижних ярусах войсковой иерархии, события, зафиксированные в секретном документе «Дело Динклагге», не хранящемся ни в одном военном архиве, выглядели бы заведомо недостоверными. Но в обычной пехотной дивизии — в 1944 году простое название «пехота» звучало странно и архаично — такие события при определенных обстоятельствах вполне возможны, и призрачное появление и исчезновение подобной дивизии на участке фронта, подчиненном главнокомандующему группы армий «Запад», более чем вероятно.

---

<sup>1</sup> Р. У. Томпсон. Фельдмаршал Монтгомери. Лондон, 1969, с. 243 (англ.).

Однако ни в 416-й пехотной дивизии, ни во всей немецкой армии—ни в 1944 году, ни ранее, ни позднее—не было офицера, который вынашивал бы планы, подобные тем, что приписываются здесь майору Динклагге. Вследствие этого не только 416-я пехотная дивизия, но и немецкая армия в целом могут считать, что все изложенное здесь не имеет к ним никакого отношения.

По указанным выше причинам данное произведение могло быть создано в одной-единственной форме: как художественный вымысел.

### ***Georgia on my mind<sup>1</sup>***

Да простит 106-я американская пехотная дивизия автору настоящего повествования, что он заставляет ее появиться на фронте уже в конце сентября 1944 года. Как известно (см. Томпсона и другие источники), она заняла свои позиции лишь за четыре дня до начала Арденнского наступления, то есть 12 декабря. Но то, что ее 3-й полк (точное название: 424-й полк) находился на правом фланге, то есть юго-восточнее Сен-Вита, является фактом. (О действительной линии фронта смотри главу «Уточнение главной полосы обороны».) Закрепилась ли 3-я рота одного из батальонов этого полка вокруг деревни Маспельт и была ли она в ней расквартирована, документально не подтверждено, но вполне вероятно. Однако безусловным вымыслом является то, что командиром роты был некий капитан Джон Кимброу. Одному богу известно, почему он родился на юге штата Джорджия, вырос в маленьком городке Фарго, который с трех сторон окружен болотом Окефеноки. Большинство солдат 106-й дивизии—это опять-таки подтверждается документами—были набраны в штате Монтана.

### ***Небольшая поправка***

Некое лицо, проживавшее с 1941 по 1945 год в Западном Эйфеле и известное автору как исключительно надежное, хотело

---

<sup>1</sup> С мыслями о Джорджии (англ.).

бы склонить последнего к пересмотру утверждения, содержащегося в пункте 2 главы «Этапы превращения документа в художественный вымысел». Это лицо уверяет, что неоднократно слышало разговоры немецких офицеров, обсуждавших планы, сходные с планом майора Динклагге. Правда, на вопрос о том, выходили ли эти планы когда-либо и каким-либо образом за рамки разговоров и были ли они осуществлены или хотя бы доведены до начальной стадии осуществления, лицо это отвечает отрицательно.

### ***Ящик с песком***

История свидетельствует о том, как было.

Повествование проигрывает возможные варианты.



## ПОЛОЖЕНИЕ ПРОТИВНИКА — В ПЛАНЕ «ДУХОВНОМ»

**Фон Рундштедт, Модель, Бласковиц, фон Мантойфель, Гудериан, Бальк, Хаузер, Шульц, Томаль и т. д.**

«С другой стороны, следует учитывать, что у командующих была лишь одна возможность — «продолжать действовать». Несмотря на недостаточную осведомленность в общей обстановке, они знали, что при тесной связи западных держав с СССР сепаратное перемирие немыслимо, а возможна лишь полная капитуляция. Но согласиться на нее означало бы обречь три с половиной миллиона человек, стоявших на Восточном фронте, на советский плен — мысль об этом вызывала тяжелые переживания даже у участников заговора 20 июля. Для тех, кто не принадлежал к их числу, оставалась только одна возможность — продолжать войну — со слабой надеждой, что еще произойдет «чудо», а это значило: беспрекословно повиноваться, как и прежде». (ВД, Введение — Роль командующих группами армий и армиями.)

### **Черчилль**

«П.-м. (премьер-министр, то есть Уинстон Черчилль. — *Авт.*) вопреки обыкновению не в форме и весьма мрачен. Однако боевой его дух, как всегда, на высоте; он сказал, что, будь он немцем, он заставил бы свою маленькую дочь подложить первому попавшемуся англичанину бомбу под кровать; своей жене он посоветовал бы подождать, пока какой-нибудь американец не

наклонится над умывальником, и как следует дать ему скалкой по голове, а сам лежал бы в засаде и стрелял без разбора в американцев и в англичан. (Arthur Bryant. Triumph in the West. 1943—1946<sup>1</sup>. С использованием дневников и автобиографических записок фельдмаршала виконта Алана Брука. Лондон, 1959. Запись Алана Брука от 2.11.1944.)

## **Красная Армия**

Разделял ли майор Динклагге заботы командующих группами армий и армиями, а также тяжелые переживания участников заговора 20 июля, вызванные опасностью советского плена, прояснить сегодня уже невозможно, как, впрочем, и многое другое в потускневшем от времени образе этого сложного человека. Известно лишь, что он ни дня не находился на Восточном фронте и неизменно пускал в ход все рычаги, чтобы предотвратить отправку в Россию, и что это ему всегда удавалось благодаря ссылке на развивавшийся с 1942 года артроз правого тазобедренного сустава, подтверждаемый соответствующими справками, которые выдавались военным врачом. Это тем более примечательно, что обычно он всегда отклонял любые попытки как-то принять во внимание его болезнь. Открытым остается вопрос, указывает ли такое поведение на какую-то принципиальную черту характера Динклагге, на заложенную в нем склонность проявлять себя с загадочно-противоречивой стороны—как это, например, имело место при его роковой встрече с Шефольдом,—или на его политические убеждения, или, может быть, на его чисто эмоциональную неприязнь к солдатской жизни на Восточном фронте. Возможно, что определенную роль играли все три названных мотива, вместе взятые.

С Красной Армией он соприкоснулся лишь в Винтерспельте, да и то в столь ранний час, что не мог точно распознать, действительно ли это русские, потому что было еще темно, когда они проходили по деревенской улице. С тех пор как Динклагге был в Винтерспельте, он наблюдал за ними почти каждое утро. Он стоял, опершись на палку, у окна канцелярии, где—дабы не нарушить инструкцию по светомаскировке—нельзя было зажигать лампы. Поскольку он регулярно просыпался около четырех и из-за болей в тазобедренном суставе уже не мог спать, одним из способов убить время, пока в штабе батальона не начнется

---

<sup>1</sup> Артур Брайант. Победа на Западе. 1943—1946 (англ.).

жизнь, стало для него наблюдение за тем, как русские идут на работу в крестьянские дворы. Под охраной двух солдат из ландштурма, пожилых людей с винтовками через плечо, они довольно плотной колонной появлялись справа, со стороны холма под названием Хельд. Они расходились по дворам, два человека в каждый, направо и налево, так что колонна становилась все меньше. Когда она доходила до двора Телена, находившегося напротив того дома, где разместился штаб батальона, в ней оставалось всего человек десять. Эти русские принадлежали не к депортированному гражданскому населению, а были обычными военнопленными. Их разместили в сарае на холме. Динклаге отметил, что на ногах у них вместо ботинок грубые деревянные башмаки и портянки, обмотанные веревками. Шинелей у них, по-видимому, не было. Динклаге спрашивал себя, как они в такой одежде продержатся зимой. То, что у Динклаге мелькала подобная мысль, означало, среди многого другого, и следующее: он предполагал, что война протянется всю будущую зиму.

Двое пленных, работавших у Телена, прошли к дому. Когда они открыли дверь, на какой-то миг стало видно, что в доме горит свет. Сразу после этого луч света мелькнул снова—обе дочери Телена или одна из них вместе с Кэте Ленк вышли из дому и взялись за работу во дворе, загромыхали молоточными бидонами, стали качать воду.

Штабс-фельдфебель Каммерер, как-то утром подойдя к Динклаге и тоже поглядев в окно, объяснил, что происходит. «Сейчас иваны завтракают,—сказал он,—а девицы начеку. Если часовой придет проверять, одна его задержит, а другая побежит в дом и прогонит парней в амбар». «Ах, вот как!»—Динклаге засмеялся. «Дело в том, что крестьянам запрещено подкармливать русских,—пояснил Каммерер,—но никто с этим не считается». Судя по всему, он не одобрял смеха Динклаге. «Русские жрут не хуже самих крестьян». «Ну, Каммерер,—сказал Динклаге,—вы себе представляете, что они получают там в своем сарае? А потом им целый день приходится выполнять тяжелую работу. Надо же крестьянам как-то их поддерживать».

«Господин майор,—сказал штабс-фельдфебель упрямо,—иваны жрут такое, о чем наши солдаты и думать забыли. Яйца, сало, масло». «И все же, Каммерер,—предупредил Динклаге,—по этому поводу никаких рапортов!» «А я и не собирался, господин майор»,—сказал Каммерер.

В обращении со штабс-фельдфебелем Динклаге был энергичен, приветлив. Между ними никогда не возникало трений. Главное—тотчас отреагировать, если этот малый вновь обнару-

жит образ мыслей, характерный для умалишенных. Каммерер состоял в партии, но, судя по всему, в 1944 году он уже не рассчитывал извлечь из этого пользу.

## **Военные и крестьяне**

В самом штабе жил только Динклаге. Все прочие штабисты квартировали у крестьян. Каммерер был внимательный наблюдатель. Уже на третий день их пребывания в Эйфеле он сказал Динклаге: «Здесь крестьяне нас не жалуют». В подтверждение он привел слова старого Телена, который, когда Каммерер в какой-то связи обратился к нему и сказал: «Вы как немецкий крестьянин...» — тут же его прервал и заявил: «Я не немецкий, я эйфельский крестьянин». И Динклаге, сам родом с Эмса, подумал о том, не стоит ли этому выходцу из Тюрингии и протестанту, с мундира которого в один прекрасный летний день в Дании исчез партийный значок, прочесть лекцию о некоторых особенностях строго католических крестьянских районов, но потом решил, что не стоит. Он ограничился тем, что предупредил возможный донос со стороны Каммерера, сказав ему: «Ну, пока старик говорит такие вещи только вам, он еще не рискует головой». Он знал, что может положиться на преклонение Каммерера перед субординацией: Каммерер никогда не предпринял бы ничего, что, по его предположению, могло не понравиться непосредственному начальнику.

## **Игра в тайну**

— Но я надеюсь, ты не станешь доверяться ему, когда речь пойдет о твоём плане, — сказала однажды Кэте Ленк майору Динклаге. — Тогда его готовности к повиновению тут же придет конец. Если ты только намекнешь Каммереру, ты пропал.

Динклаге, не привыкший получать тактические советы от женщины, коротко ответил:

— Если все получится, для Каммерера это будет такой же неожиданностью, как для всего батальона.

В соответствии с вышесказанным Каммерер не будет играть в данном повествовании почти никакой роли, если не считать эпизода в разделе «События в батальонной канцелярии». Из всего личного состава 4-го батальона 3-го полка 416-й пехотной дивизии («людей Динклаге») только обер-ефрейтору Райделю

доведется получить кое-какое представление о том, что затевает майор.

### ***К западу от защитного вала***

При сравнении майора Динклаге с капитаном Кимброу сразу же обращает на себя внимание то обстоятельство, что некоторые аспекты, касающиеся первого, невозможно охарактеризовать с той же степенью точности, как соответствующие аспекты, относящиеся ко второму. Они остаются расплывчатыми. Если, к примеру, номер дивизии Кимброу — дивизии, к которой он не принадлежал, — может быть назван достоверно, то номер дивизии Динклаге можно только предполагать. Почти так же обстоит дело и с некоторыми взглядами обоих офицеров. Для Динклаге характерно, что его представления о возможной капитуляции на Востоке так и остались непроясненными; между тем Кимброу, если бы ему стало известно, как повел бы себя Черчилль, будь он немцем, лишь покачал бы головой. Оторвавшись от чтения записи фельдмаршала Алана Брука, он сказал бы Бобу Уилеру, начальнику разведки полка: «Значит, будь Черчилль немцем, он повел бы себя именно так, как хочется Гитлеру!»

Воображаемый ответ Уилера звучал бы так: «Я полагаю, что победить нацистов может лишь тот, кто способен перенять их образ мышления. Если, конечно, это можно назвать мышлением», — уточнил бы он, правда, при этом.

«Не думаю, — возразил бы Кимброу. — Их можно победить лишь в том случае, если принципиально не принимать их образа мышления». С язвительной иронией, которую он иногда пускал в ход (его штатская профессия — адвокат), он бы добавил: «Кстати, немцев бьют не англичане, а мы и русские».

При дальнейшем изложении этого разговора можно отказаться от сослагательного наклонения, поскольку он действительно состоялся. Кимброу пересказал его сам, а именно во время той беседы с Шефольдом, когда ему пришлось признаться, что полк, после переговоров с дивизией, отказался принять план Динклаге.

— Вы ведь знаете, что я дружен с майором Уилером. Он был вместе со мной у полковника. Едва мы вышли, он сказал мне: «Послушай, Джон, ты делаешь ошибку. Ты воображаешь, будто мы находимся здесь, чтобы избавить немцев или кого-то другого от этого монстра». Он начал доказывать мне, что мы, американцы, находимся в Европе вовсе не потому, что

какой-то европейский народ выбрал себе в качестве формы государственного правления диктатуру. Я перебил его и сказал, что никогда и не предполагал этого. Он был весьма удивлен и спросил меня, как я себе представляю, почему мы здесь. Я ответил: «Потому что нам просто приятно вести войну». «Это, разумеется, чепуха»,—сказал он. И в очередной раз доказал мне, что он профессор, знаток средневековой немецкой литературы. «Мы здесь потому, что мы римляне двадцатого столетия,—сказал он.—Мы не столь утонченны, не столь образованны, как греки, которых мы защищаем, но мы, несомненно, сумеем воздвигнуть защитный вал». Я спросил, кто те варвары, против которых он собирается воздвигать вал, и он тут же ответил: «Русские». Теперь у меня одной причиной больше считать, что нам не следовало сюда приходить,—сказал Кимброу Шефольду.

### ***Аплодисменты не с той стороны***

— Он рассуждает последовательно, этот американский профессор,—сказал Хайншток, когда Шефольд на следующий же день сообщил ему о разговоре с Кимброу.—Он мыслит, конечно, категориями надстройки. Они это называют гуманитарной наукой. И тем не менее...

Для старого марксиста Венцеля Хайнштока характерно, что он реагирует на высказывание Уилера, в то время как замечание Кимброу об удовольствии вести войну он попросту игнорирует, так что даже не передает его Кэте Ленк, которая—это можно предположить—не раздумывая согласилась бы с утверждением человека из Джорджии.

### ***Наречие и прилагательное***

Из разговора между Венцелем Хайнштоком и Кэте Ленк. Когда он объяснил ей теорию империализма, она возразила:

— Но здесь что-то не так. Капиталистические государства сегодня объединились с Советским Союзом, чтобы разбить Гитлера. То есть: монополистический капитализм вместе с социализмом против фашизма, представляющего собой, по твоим словам, не что иное, как форму государственного правления, к которой прибегают монополии, когда начинается экономический кризис.

— Эта война,—сказал Хайншток,—война душевнобольного.

Гитлер стал непригоден для капитализма. Он дискредитирует буржуазный общественный строй, слишком обнажает его основы.

Она была учительница немецкого языка, последнее место службы—гимназия Регино в Прюме. Ее шокировало слово «непригоден».

— Ты имеешь в виду «непереносим»,—сказала она.

— Пусть так,—сказал он раздраженно.

— Это большая разница,—сказала она,—считают ли кого-то непригодным или этот кто-то стал непереносим. Для моего отца, например, Гитлер был непереносим.

Ее отец сумел даже сделать так, что ее освободили от дежурств в союзе германских девушек, позднее он посоветовал ей как-нибудь увильнуть от вступления в нацистский студенческий союз. Он был агентом фирмы, производившей металлообрабатывающие станки, то есть человеком, которого сама профессия заставляла прислушиваться к тому, что говорят вокруг, приноравливаться к самым разным людям, искать взаимопонимание не только на словах, но и на деле. При этом он вовсе не отличался терпимостью; в памяти Кэте он остался скорее человеком строгим, суховатым, полным скепсиса. Ее матери, наверно, не всегда было с ним легко; словно что-то призрачное было в нем, когда он, сутулый, уже почти горбатый, с газетой в руке шел по дому на Ханильвег в поисках сигары, забытой в одной из многочисленных пепельниц. Мать ее была стройная, темноволосая, красивая, всегда готовая рассмеяться.

Когда Кэте вспоминала своих родителей, ей трудно было представить себе, что действия главного монстра обнажали основы мышления обыкновенных бюргеров.

### ***Стратегический этюд***

— Как бы то ни было,—заметил Хайншток, выслушав рассказ Шефольда о разговоре Кимброу с Уилером—или, может быть, заканчивая свою дискуссию с Кэте по поводу ленинского тезиса об империализме?—...Как бы то ни было, американцы вступили в войну только потому, что не хотели допустить, чтобы русские одни разбили Гитлера.

### ***Не лезть в чужие дела***

Инстинктивно отвергая фантазии Черчилля по поводу того, как бы он себя вел, если бы был немцем, Кимброу исходит

вовсе не из личных соображений. Среди его предков нет немцев. О немецкой истории и культуре, или антикультуре, он знает мало. Фамилия его указывает на то, что он выходец из шотландских переселенцев.

Маленький городок Фарго находится, как уже отмечалось, на юге штата Джорджия. Штат Джорджия принадлежит к южным штатам США. Этой своей «принадлежностью к южным штатам» Кимброу мотивировал, почему, с его точки зрения, американцам «не следовало приходить сюда».

— Мы, жители южных штатов, считаем, что США не должны позволять втягивать себя в мировые распри,— сказал он однажды Шефольду.— Мы изоляционисты. Не знаю, почему мы изоляционисты. Возможно, просто потому, что янки—противники изоляционизма. Кроме того, мы демократы,— продолжал он.— Я родом из старой семьи демократов. В Фарго все голосовали за Рузвельта. Теперь мы очень разочарованы тем, что Рузвельт впутал нас в эту войну.

— А я не разочарован,— сказал Шефольд.— Не будь Рузвельта, Гитлер дожил бы до девяноста лет.

— Разделяйтесь со своим Гитлером сами!— сказал Кимброу, не грубо, но с холодностью юриста.

Шефольд не мог понять, почему именно этот изоляционист готов был пойти на определенный риск ради затеи Динклагге, в то время как вышестоящие офицеры, которые, вероятно, лучше разбирались в военных намерениях Рузвельта, начисто отклонили план майора.

## **Не о Шефольде ли?**

«Битва в Арденнах была выиграна и врагу нанесено тяжелое поражение—благодаря отличной работе штабов, которая на поле боя была подкреплена способными военачальниками, благодаря героической обороне, особенно под Сен-Витом и Бастонью, и благодаря быстрому приведению в боевую готовность и подтягиванию резервов. Все эти подвиги воспеты и навсегда останутся в военных анналах, но срывали планы врага, тормозили темп их осуществления, от чего противник уже не мог оправиться, безымянные люди, безымянные группы (stragglers<sup>1</sup>), не имевшие твердых целей,—люди, чьи дела навсегда останутся неизвестными». (R. W. Thompson. *Montgomery The Field Marshal*. London, 1969, p. 244.)

<sup>1</sup> Солдаты, отставшие от своих подразделений (англ.).



# МАЙОР ДИНКЛАГЕ

## *Биографические данные*

Йозеф Динклаге родился в 1910 году в Меппене (на Эмсе), единственный сын владельца кирпичного завода Йозефа Динклаге и его жены Амалии, урожденной Виндтхорст, католического вероисповедания, окончил гимназию в Меппене (1929 г.), с 1930 по 1936 год учился в Гейдельберге, Берлине, Оксфорде (политэкономия, языки), короткое время работал в промышленности (стажировка в качестве экономиста на предприятиях фирмы «Демаг», Дуйсбург). После обстоятельных бесед с отцом, который, основываясь на том, что происходило в его отрасли (конъюнктура, связанная с сооружением «Западного вала»), мог информировать сына о подготовке к войне, двадцативосьмилетний Йозеф Динклаге решает стать офицером, чтобы, как он выражается, «пережить национал-социализм, по возможности не замарав себя». (Динклаге-старший, убежденный католик, отговаривает его. «Отправляйся-ка ты лучше снова в Оксфорд! — говорит он. — Или, еще лучше, в США! Уж я позабочусь, чтобы здешний сброд не стал мне из-за этого поперек дороги». Но сын не принимает этого предложения.) С 1938 года — различные военные школы, к началу войны — фенрих, весной 1940 года — лейтенант (Верхнерейнский фронт), в 1941—1942 годах оберлейтенант и капитан (Африка), в 1943 году Рыцарский крест и звание майора (Сицилия), с осени 1943 по осень 1944 года в составе оккупационных войск в Париже и Дании.

Не женат, но скорее потому, что не представился подходя-

щий случай, вследствие слишком частых переездов с места на место. В семнадцать лет у него начинается связь с замужней крестьянкой из графства Бентхайм, которая старше его на пять лет; длится эта связь три каникулярных лета. Воспоминания о ней мешают ему завязывать обычные отношения с сокурсницами, особенно в первые университетские годы. Случайные встречи, иногда серьезные, но мимолетные.

Ростом Динклагге 1,72, то есть чуть ниже среднего; довольно строен, просто потому, что у него не откладывается ни грамма жира («жилистый»). Темно-русые гладкие волосы, глаза серые, прямой нос с широкой переносицей, но тонкими ноздрями, рот удлинённый, глаза, нос и рот пропорционально распределены на худом, покрытом ровным загаром лице. К еде равнодушен, пьет и курит крайне умеренно.

## Эпизоды

Плавно спускающиеся к Темзе meadows<sup>1</sup>. Вечера за чтением в Bodleian Library<sup>2</sup>. Дискуссии о возникновении национального дохода, шумные споры о Кейнсе в семинаре профессора Тэлбоя, пока свет за окнами Мертонского колледжа превращается из серо-зеленого в серо-голубой. Если бы он вернулся в Оксфорд, англичане в начале войны на какое-то время интернировали бы его, потом отпустили бы. Он мог бы в спокойной обстановке завершить свою работу об изменении функции денег в XVI веке. Тишина, шуршание бумаги, безмолвие размышлений, перезвон колоколов над Хай-стрит.

Все это он мог себе представить. И не мог себе представить. Глядя из окна кабинета, где они беседовали с отцом, на печи для обжига кирпича, он сказал: «Лучше я стану офицером.—И, пытаясь выказать благоразумие, добавил:—Уж если военным, то лучше офицером, чем серой скотинкой».

Восемь лет спустя, в Винтерспельте, Кэте Ленк сказала ему, что ей хочется в Линкольншир. Простота и решительность, с какой она это произнесла, вдруг заставили его подумать, что отказ от Англии был величайшей ошибкой его жизни. Она не объяснила, почему обязательно в Линкольншир, рассказала только, как она наткнулась на это название. Поскольку он однажды

---

<sup>1</sup> Луга (англ.).

<sup>2</sup> Бодлеанская библиотека (англ.)—название библиотеки Оксфордского университета.—Здесь и далее примечания переводчиков.

ездил в Линкольншир, он начал описывать ей эти места, но оборвал свой рассказ, заметив, что ей не интересно.

— Мне надо было поселиться в Линкольншире и ждать там тебя,—сказал он.—Ты бы приехала.

Она промолчала, не дала понять, хотелось ли и ей встретить его там.

«Но, если бы я остался в Англии,—опроверг он мысленно самого себя, возвращаясь к логике,—я не встретил бы Кэте Ленк».

Это переплетение случайностей предстало перед ним в ту минуту—вопреки его обычным убеждениям—как сама судьба.

Заметив, что на Кэте, хотя она и ненавидела войну, произвел впечатление его Рыцарский крест, он сказал:

— Северо-западнее Сиракуз нас атаковала крупная танковая часть американцев. Я опять находился на левом фланге,—он помолчал.—Я всегда оказываюсь на левом фланге, левый фланг преследует меня. Собственно, эта танковая часть,—продолжал он,—была настолько мощной, что оставалось только ретироваться. Но у меня в роте был взвод пулеметчиков, и эти парни просто остались в своих окопах и нанесли сопровождающей пехоте такие потери, что танки вдруг остановились, а затем повернули назад. Собственно, Рыцарский крест надо было вручить командиру взвода пулеметчиков обер-фельдфебелю Бендеру. Я пришел на позиции взвода, когда самое страшное было уже позади, и мог только поздравить Бендера. Но в нашей лавочке награды всегда получает кто-нибудь из начальства. Когда я потребовал орден для Бендера, командир батальона устало отмахнулся. «В районе боев,—сказал он весьма снисходительно,—ваш левый фланг, господин Динклаг, отбил чрезвычайно опасную атаку». Вот история, как я получил эту железяку,—закончил Динклаг свой рассказ.—У вас, штатских,—добавил он,—совершенно превратные представления о распределении наград. Мне выделяют каждый квартал столько-то Железных крестов на батальон, и, конечно, я раздаю их в первую очередь унтер-офицерскому составу, потому что мне надо поддерживать в этих людях боевой дух. Вот так какой-нибудь унтер-офицер с кухни становится кавалером Железного креста первой степени.

— Я, будучи человеком сугубо штатским,—сказала Кэте,—искренне желаю, чтобы награждали не снайперов, а поваров.

Динклаг не переставал удивляться тому, что всегда—вот и теперь в Винтерспельте—ему доставался левый фланг. Еще мальчишкой, во время стычек между «бандитскими шайками»,

для которых так подходила территория кирпичного завода, он всегда оказывался главарем левого подразделения «своей банды» — роль предводителя ему уступали потому, что именно он, с разрешения отца, предоставлял в распоряжение «банд» арену для военных действий (после окончания работы); и он вспоминал, как в сопровождении затаивших дыхание, вооруженных жердями и палками мальчишек крался вдоль стен расположенных в левой части двора печей и сараев, как подстерегал противника за уложенными слева четырехугольниками сохнувшего или уже обожженного кирпича. С прозрачного неба над болотами вдоль реки в проходы, обрамленные желтизной глины и краснотой кирпича, падал вечерний сумрак, так что казалось, что светится кирпичная пыль; благодаря этому свету стычки между «бандами» заканчивались сравнительно благополучно, он превращал их сражения в игру, в бой с теньями. Предостережения отца Динклагге, чтобы они не очень-то озорничали, были излишни.

Что до политики, то Динклагге никогда не замечал за собой левых завихрений. Во время пребывания в Оксфорде он, насколько мог, избегал дискуссий о войне в Испании, которая тогда (зимой 1936/37 г.) достигла кульминации. Он был настолько далек от леваков, что даже защищал Советский Союз, когда английские студенты критиковали его за то, что он не ввел в Испанию свои войска, как Германия и Италия, а только поставлял оружие. «Русские принимают в расчет более длительные промежутки времени», — говорил он. Упреки, что он тем самым защищает тех, кто бездействует, он глотал молча.

Кстати, об Эмсе: конечно, Динклагге очень оживился, когда Кэте рассказала ему, что во время своего путешествия на запад познакомилась и с долиной Эмса, даже «плутала», как она выразилась, по Буртангскому болоту.

— В Меппене вы тоже были? — спросил он. (Разговор происходил на очень ранней стадии их знакомства, когда Динклагге и Кэте еще не перешли на «ты».)

Она кивнула.

— Мне кажется, я была всюду, — сказала она.

— Если вы из Меппена направились в сторону болот, то вам должны были броситься в глаза большие кирпичные заводы. У дороги на Везуве.

Она пожала плечами. Возможно, она шла по другой дороге.

— Они принадлежат моему отцу, — сказал он. — Жаль, что мы познакомились только теперь. Вы могли бы навестить моих

родителей, пожить у них.

Она не знала, что ответить. Если она не ошибалась, ей было сделано предложение, первое из двух предложений, которые сделал ей Динклаге, как она поняла позднее. Первое было сделано слишком рано, второе — слишком поздно.

— Меппен — красивый город, — сказал он. — Вы видели ратушу и церковь при гимназии? Один из самых изящных архитектурных ансамблей в северной Германии!

Она так и не отважилась сказать ему, что места вроде Меппена (и других городов, где она останавливалась на своем пути) напоминают ей разве что о котлетах, слепленных из остатков овощей, манной похлебке, хлебе со свекольной ботвой, пиве, эрзац-кофе, затхлых комнатах, стены которых выкрашены бурой или зеленой краской, безмолвных вечерах, когда она слишком рано укладывалась спать.

Зато она не избавила его от рассказа о тех странных местах, в которых оказалась, блуждая по болотам вдоль Эмса. Там она натолкнулась на вооруженные патрули, которые проверили ее документы и без указания причин заставили повернуть обратно, по той же дороге, по какой она пришла. Когда она рассказала ему, как используют его родные места, он, словно читая своеобразную литанию, принялся перечислять:

— Бёргское болото, Эстервеген, Ашендорфское болото, Нойсуструм<sup>1</sup>, — и закончил все словом «аминь», но оно прозвучало как проклятие.

Африка, Сицилия, Париж ошеломили его. Хотя он и собирал впечатления, но запрещал себе заниматься туризмом. В офицерских экскурсиях в Киренаику, в Сегесту или Шартр он не участвовал, предпочитал оставаться в палатке или казарме, при разговорах на археологические или искусствоведческие темы резко вставал с места; когда в его присутствии рассказывали становившиеся все более плоскими анекдоты о «бюро путешествий» под названием «Германский вермахт», даже не улыбался. Он полностью сосредоточился на службе. Однажды в Африке командир батальона, наблюдавший за ним в течение целого вечера в казино, сказал ему:

— Знаете, лейтенант Динклаге, о вас не скажешь, что вы умеете наслаждаться жизнью!

---

<sup>1</sup> Названия концлагерей в районе Эмса, где нацисты заставляли заключенных осушать болота.

Однажды, после сражения под Бенгази (это было 5 февраля 1941 г., он запомнил дату), случилось так, что он вдруг не смог удержаться от смеха, наблюдая за тем, как несколько солдат его роты, лежавшие на песке и окутанные пылью, которую взвихрили танки, не сразу смогли подняться и потом долго отряхивали песок с мундиров. Он пришел в себя только тогда, когда заметил, что солдаты, стоявшие рядом, растерянно смотрят на него, решив, что он смеется над павшими. Участие в бою не было для него боевым крещением, он давно привык видеть мертвых; но тогда его потрясло внезапно возникшее чувство нереальности происходящего. Позднее приступы такого рода возникали по более безобидным поводам, чаще всего сопровождалось ощущением *déjà-vu*<sup>1</sup>. Например, палатки под пальмами у Мартубы в течение десяти странных минут не просто казались игрой воображения: он их уже однажды видел, только не помнил когда. Улица деревеньки близ Рагузы, состоявшая не из разваливающихся сицилианских домиков, а словно из какого-то невесомого, призрачного вещества — и это несмотря на то, что он прочесывал ее во главе штурмовой группы, — напоминала ему другую, точно такую же улицу, на которой он никогда не бывал прежде, даже во сне. Он философски проанализировал свое состояние и пришел к выводу, что никогда не испытывал приязни к идеалистически-романтической системе мышления, принимающей действительность за мираж. Он всегда был реалистом.

В Париже он посоветовался с военным врачом, о котором шла молва, что это человек, сведущий и в психиатрии. При виде Рыцарского креста Динклагге врач сперва был крайне осторожен, но, прощупав своего собеседника, в конце концов все же соблаговолил объяснить:

— Конечно, у вас премиленький неврозик, господин камрад. Но по нынешним временам он скорее является признаком здоровья. Меня больше тревожат те господа, у которых его нет, потому что все, что с ними происходит, они считают абсолютно нормальным. А душевные травмы, к которым это приведет? Нет уж, увольте!

Динклагге понял: врач сообщил ему, что он страдает коллективным неврозом. Они договорились о следующей консультации, но Динклагге больше не пошел, потому что врач на прощание сказал ему:

— Если позволите, пока один совет: найдите себе симпатичную приятельницу, если вы этого еще не сделали!

---

<sup>1</sup> Уже виденного (франц.).

«Значит, он слишком недооценивает мой случай»,—подумал Динклагге. Он не знал, что д-р К., когда Динклагге ушел, записал в истории болезни: «Шизофренические сдвиги с 1941 г.». Судя по всему, это был ошибочный диагноз. Галлюцинации, о которых рассказал врачу Динклагге, не свидетельствовали о начинающемся расстройстве психики. Динклагге был не шизофреником, а шизоидом, то есть просто чересчур впечатлительным человеком.

Против артроза тазобедренных суставов, начавшегося тоже в Африке, Динклагге вот уже несколько недель принимал новый кортикоидный препарат, который опробовал на нем дивизионный врач д-р Х. Препарат помогал ему, хотя бы днем избавляя от болей. Он избегал принимать свое лекарство в канцелярии батальона, чтобы не просить для этой цели воды; впрочем, он знал, что фельдфебель и писарь замечали, когда он на кухне наливал воду в стакан и шел с ним наверх, в комнату, где распорядился поставить себе походную кровать.

Всякий раз, в одиннадцать часов утра, когда он глотал свои таблетки, до него доносился отчетливый гул самолетов. Динклагге подходил к окну, открывал его. Воздушные армады летели на большой высоте к востоку. Динклагге пытался прикинуть, сколько эскадрилий истребителей-перехватчиков понадобилось бы, чтобы рассеять такие мощные соединения бомбардировщиков. «Если бы у нас еще были истребители,—думал он,—они должны были бы перехватить американцев уже над Бельгией. А так они запросто могут себе позволить летать без прикрытия истребителей». Динклагге не испытывал волнения, размышляя о состоянии дел в небе, потому что уже пережил все это в 1943 году на Сицилии и в начале нынешнего года во Франции. Он только удивлялся, что слова «если бы у нас еще были истребители» и имя «Герман Геринг» до сих пор вызывали у него ожесточение. «И это вместо того, чтобы радоваться всему этому чертовскому хаосу,—думал он.—Уже само по себе выражение «у нас» здесь абсолютно неуместно. Я должен был бы совершенно автоматически думать: „У них нет больше истребителей“».

Глядя в небо над Винтерспельтом, он, прежде чем закрыть окно, всякий раз думал о том, что хорошо было бы вернуться в Данию. В Дании небо было пустым. Тактические занятия под Раннерсом проходили как в сказке. Командирам рот можно было дать понять, чтобы учения заканчивались на пляжах тихих проливов Балтийского моря. Самому можно было в это время побродить по аллее, воображая, что остаток войны удастся

провести, разглядывая соломенные крыши и цветущие флоксы.

Флоксы отцвели довольно быстро, но даже известие о 20 июля не вырвало Динклагге полностью из его иллюзий, хотя после этого полковник Хофман становился все несноснее. (Командир дивизии генерал фон Ц., держа речь перед офицерами, старательно избегал слова «предатель». Он говорил лишь о «безответственных элементах», и к тому же в таком тоне, словно производил разбор очередных маневров.) Мечты, фантомы. 416-й пехотной дивизии, в которую Динклагге весной перевели из Парижа, не было суждено оказаться забытой в Дании.

Полугородской дом на одну семью, покрытый серой штукатуркой и безликий среди выбеленных крестьянских домов и сараев из грубого бутового камня деревни Винтерспельт, был реквизирован и превращен в штаб-квартиру еще той частью, которую они сменили. Эта часть, входившая в 18-ю мотодивизию, проделала весь путь отступления через северную Францию и Бельгию, пока в начале сентября не остановилась буквально в первой же немецкой деревушке у границы. По каким-то причинам американцы прекратили преследование.

— Я полагаю, у них трудности со снабжением,—сказал майор, которого сменял Динклагге.—А ведь они могли бы гнать нас до самого Рейна, настолько мы выдохлись.

И он начал рассказывать истории о котле под Фалезом, из которого 18-й мотодивизии едва удалось вырваться.

Он был в мрачном настроении, потому что его часть, как он утверждал, разумеется, ничего точно не зная, отправляли в Россию. Он поздравил Динклагге.

— Здесь как осенью тридцать девятого. Вы где тогда были?

— На Верхнем Рейне.

— Ну, тогда вам всё известно. Немножко разведки, время от времени перестрелки, а в остальном... Смешная тогда была война. Вы не находите?

Динклагге согласился.

— Меня бы не удивило,—сказал майор Л.,—если бы война кончилась так же смешно, как началась. Если вам повезет, господин камрад, вас застанет здесь перемирие.

Динклагге посмотрел на него так, словно перед ним был сумасшедший, и переменял тему.

— Не думаю,—сказал он,—что вас отправят в Россию. На сколько я знаю, ваша дивизия остается в составе пятьдесят третьего армейского корпуса.

Динклагге говорил наугад—просто хотел сказать что-то при-



ятное. Когда его предсказание сбылось и 18-я мотодивизия отправилась не в Россию, а всего лишь в Кобленц (приведение в боевую готовность для операции, которая тогда, в целях секретности, еще называлась «Вахта на Рейне»), майор Л. несколько дней подумывал о том, не донести ли на Динклагге за безответственное разглашение известного ему, очевидно, приказа об операции (нарушение недавно вновь подтвержденного приказа фюрера № 002252/42 о соблюдении секретности), но потом решил этого не делать, поскольку он, во-первых, боялся, что Динклагге, оправдываясь, будет всячески обыгрывать легкомысленно употребленное им слово «перемирие», а во-вторых, был от природы человеком, любящим покой.

Когда Динклагге в беседе с другими офицерами иногда говорит о своих солдатах: «Моих людей надо лучше снабжать продовольствием» или что-то в этом роде, в его устах притяжательное местоимение звучит так, словно он употребляет его в кавычках. Командир полка, все замечающий полковник Хофман, уже однажды отчитал его за это. («Я запрещаю вам подобный тон, господин Динклагге!» — «Слушаюсь, господин полковник!» — «Эти люди — действительно ваши люди. Я требую, чтобы вы это поняли!» — «Я исправлюсь, господин полковник».)

— Если бы я был женат, — сказал он однажды Кэте, — я бы воздерживался от слов «моя жена».

— Конечно, это произвело на тебя впечатление, — заметил Хайншток, когда Кэте передала ему слова Динклагге. — Он хорошо знает, чем можно произвести на тебя впечатление. — Обычно Хайншток избегал показывать свою ревность.

Слово «враг» Динклагге употребляет с такой же опаской и сомнением, как и притяжательные местоимения. Ему нравится, что полковник Хофман никогда не говорит о *враге*, а всего лишь о *противнике*, кроме тех случаев, когда не может обойтись без таких терминов, как «вражеские позиции».

— Вам достаточно знать обстановку противника в непосредственной близости от вас, — говорит он, например, майору Динклагге, когда тот начинает критиковать авиацию. — Ваши люди занимают высоты на восточном берегу Ура, американцы — на западном. Вам отнюдь не возбраняется установить, каковы силы и точные позиции противника. Я даже настаиваю на том, чтобы вы своих людей в этом смысле подстегнули.

А как раз в этом смысле Динклагге не подстегивал «своих»

людей; учитывая позицию батальона (передний край обороны отделен от противника рекой), он считал действия разведгрупп рискованной и бессмысленной игрой в индейцев; иногда он высылал разведгруппу в плохо просматриваемую лесистую долину, которой пользовался Шефольд, когда хотел перейти линию фронта.

— Не стоит ли взорвать виадук под Хеммересом, господин полковник?—спросил он.

— Я предлагал это дивизии,—ответил Хофман,—но есть категорический контрприказ армейского корпуса. Эта штука должна остаться.

— Ага,—сказал Динклагге.

Майор мог позволить себе такую вольность, придав этим двум гласным, разделенным одним согласным, иронический, почти презрительный оттенок, потому что тон, каким говорил полковник, не вызывал сомнений относительно того, что он думал об оперативном замысле, благодаря которому должна была уцелеть «эта штука». Подобное единодушие между ними заставило Хофмана резко повернуть разговор.

— Вы, кажется, иногда забываете, что вам запрещено делать выводы, господин Динклагге,—сказал он и отвернулся.— Кроме того,—добавил полковник,—я радуюсь каждому уцелевшему мосту.

К вопросу о дисциплинарном проступке майора Динклагге,—проступке, который имел в виду полковник Хофман: «Согласно приказу начальника штаба группы армий «Запад», унтер-офицеру Рудольфу Драйеру из оперативного отдела штаба сегодня были даны инструкции относительно работы по переписыванию, которую ему поручено осуществлять. При этом унтер-офицер Драйер был строго предупрежден, что ему категорически запрещается разглашать то, что он услышит или будет переписывать, а также делать выводы из услышанного или переписываемого». (Подполковник генштаба В. Шауфельбергер. Секретность, дезинформация и маскировка на опыте немецкого наступления 1944 г. в Арденнах. Цюрих, 1969, с. 30.)

— У меня есть сведения,—сообщил Динклагге,—что отдельные американцы спускаются к Уру и ловят там форель.

— Гм!—Хофман повернулся и пристально посмотрел на него.—И как реагируют ваши люди?

— Мне кажется, им было бы нелегко обстрелять людей, которые удят рыбу.

— Ну и порядочки! — Полковник даже хихикнул от возмущения. — Господин Динклагге, — сказал он, — не позднее послезавтрашнего дня батальон доставит мне пару-другую форелей. И тогда это безобразие прекратится!

— Ручаюсь вам, господин полковник, — сказал Динклагге.

Его эта рыбная ловля действительно раздражала. Иногда он всерьез подумывал о том, чтобы как следует отчитать по радио американского офицера, который позволял своим людям такую расхлябанность. (Полк имел взвод связи, который непрерывно засекал частоты американцев. Но в октябре 1944-го переговоры по радио на Западном фронте были строго запрещены.)

— Вот тебе, пожалуйста, — сказал Хайншток, когда Кэте сказала ему о желании Динклагге вступить в контакт с командиром противостоящей ему американской части. — Этот господин все еще мечтает о войне, которую ведут между собой одни офицеры.

Но он удивился, что Динклагге вообще обсуждает военные проблемы с женщиной. Возможно, подумал он, это просто трюк, чтобы заполнить Кэте.

В Уре водилось огромное количество форели. Судя по всему, война пошла урской форели на пользу. Рыболовы 3-й роты — большинство солдат 106-й пехотной дивизии были родом из Монтаны, края сверкающих горных рек, — возвращались с баснословным уловом. Кимброу завидовал им. Хотя он и вырос в деревне, рыболовом он не был; отец огорчился, поняв, что мальчика невозможно научить ловить рыбу.

Когда удильщики из его роты в конце концов все-таки попали под сильный обстрел, Кимброу испытал почти облегчение; он построил роту и запретил впредь спускаться в нейтральную зону в долине Ура, кроме как для боевых действий, которые он лично распорядится провести. Ему предстояло позаботиться о том, чтобы история с рыбной ловлей не получила огласки. Командир батальона майор Картер разнес бы его в пух и прах и заставил бы отвечать за то, что его солдаты из-за расхлябанности, которую он, Кимброу, должен был предотвратить, угодили под обстрел. Но никого не ранило, и он надеялся, что дело удастся замять.

Райдель был вне себя, когда его не взяли в группу, которая получила задание изгнать американских рыболовов с берега Ура. Его рапорт отклонили. Он подал жалобу. Фельдфебель Вагнер пожал плечами и сказал:

— Очень сожалею, Райдель, но на сей раз у вас номер не пройдет.

И потом Вагнер, к безмерному удивлению Райделя, выбрал самых больших болванов в части (3-й взвод 2-й роты), сплошь зеленых юнцов — и среди них Борека, — которые в жизни еще не видали движущейся цели.

— Задание для новобранцев, чтобы могли проявить себя, — сказал Вагнер, слегка смущенный. — Приказ из батальона.

Когда молокососы вечером вернулись в расположение, Райдель спросил:

— Ну, скольких уложили?

Он слышал пальбу, стоя в своем окопе, — он был очень зол, что ему не дали участвовать в стрельбе по мишеням. Вместо него выбрали этих болванов!

— А мы не знаем, — ответил один из них.

По их физиономиям он понял, что ни одного попадания у них не было.

Шефольд обрадовался, когда эта рыбная ловля на Уре кончилась. Он привык рассматривать долину, где находился Хеммерес, как нейтральную зону — «моя нейтральная полоса», говорил он Кимброу — и потому относился к американским солдатам, стоявшим неподалеку от деревни среди прибрежного кустарника и удившим рыбу, с неодобрением, как к воюющей стороне, вторгшейся в какую-нибудь Швейцарию, пусть даже только для того, чтобы заниматься браконьерством. Они нарушали его мир. Теперь они исчезли, и двор и луга казались еще более пустынными, чем обычно, под осенним солнцем, падавшим в долину, которую обступили тенистые склоны. Только из отверстий туннеля по обеим сторонам виадука давно заброшенной железной дороги Сен-Вит — Бургрейнланд, что в северной части пересекала долину, иногда показывались, словно кукушки в распахнувшихся створках старинных часов, крошечные фигурки людей: слева — в мундирах цвета хаки, справа — в серо-зеленых, — появлялись и снова исчезали в черноте. «Хлоп! — думал Шефольд, когда чернота смыкалась за ними. — Жаль, — думал он, — что не звонят при этом колокола, как на башне замка в Лимале».

— Майор Динклагс с большим интересом слушает, когда Кэте Ленк рассказывает ему, что Венцель Хайншток — марксист. Он очень хотел бы познакомиться с ним, но по соображениям личного характера, а также по причинам, связанным с техникой политической подпольной работы, встреча Динклагс с Хайнштоком так и не состоится. (Хайншток не в восторге от того, что

Кэте вообще назвала майору его имя. «Ни одно звено в цепочке,—говорит он,—не должно знать никаких других имен, кроме тех, с кем оно непосредственно связано. Ну, да ты, конечно, об этом понятия не имеешь,—добавляет он.—Да и откуда тебе знать, как вести себя на нелегальной работе. Если бы ты мне сказала хоть слово, прежде чем...» Он умолкает, ибо видит, что Кэте закрыла лицо руками.)

Поскольку первая половина студенческой жизни Динклагге пришлось еще на период Веймарской республики — об Оксфорде и говорить не приходится — и поскольку он занимался политэкономией, он, разумеется, изучал и марксизм. Маркса, наряду с Рикардо и Вальрасом, он считал ученым, который представил законы развития капитализма в наиболее чистом виде, настолько чистом, насколько это вообще возможно, ибо вполне естественно, что всегда остается нечто такое, чего нельзя объяснить. Описание этого «остатка» — психологического стимула страстей, приводящих в движение экономику, — Динклагге нашел у Парето. Он все время колебался между циничным учением Парето об «остатках» и гуманистической идеей Маркса о самоотчуждении человека. Он охотно присоединился бы полностью к последней, но не мог убедить себя, что самоотчуждение может быть устранено лишь путем изменения формы собственности на средства производства.

Он не обманывал себя относительно заинтересованности крупных предпринимателей в большом бизнесе, связанном с войной. (Его отец был в этом смысле белой вороной. Да и кирпичные заводы семьи Динклагге, видит бог, не относятся к крупной промышленности.) И все же Динклагге не считал, что война, подобная этой, входила в намерения предсказанных Марксом монополий. (С весьма актуальным развитием Марксовой теории накопления капитала в ленинских тезисах об империализме ему уже не довелось познакомиться.) При всем своем потрясающем уме господа, которые ими правили, были столь недалекими, что воображали, будто может существовать военная конъюнктура без войны. Они хотели съесть пирог и в то же время оставить его целым. Но если не считать подобного рода субъективного алогизма, то мировая война — так полагал Динклагге — не соответствовала интересам и тенденциям крупного капитала. Им скорее соответствовала — если уж мыслить марксистскими категориями — становившаяся все более изощренной эксплуатация, так сказать, мировая культура эксплуатации, мирная жизнь в рабстве, исполненном наслаждения, в условиях широкой свободы мысли, но никак не катастрофа.

Но если эта война возникла не в результате якобы автомати-

чески действующих законов экономики, то в результате чего же? Динклагге, перед которым вставал этот вопрос, не искал глобального ответа, он отступил: человек — это существо, воплощающее и детерминированность, и случайность. Он — плод происхождения, среды, воспитания, биологической конституции и заложенных в нем физических комплексов. Внутри этого заранее заданного сочетания факторов господствует чистейшая случайность, больше того: сами эти факторы — результат случайных обстоятельств. То, что какой-то мужчина двести лет назад встретил какую-то женщину, именно эту, а не другую, было случайностью, но повлияло на жизнь потомка двести лет спустя. Социальный упадок или травматический шок, вызванные случайностью, неверной реакцией на обесценение денег или на пожар, через многие поколения еще сказывались на так называемых судьбах. Даже внешне совершенно свободные поступки — кто-то решил подняться на гору или прочитать книгу — представляли собой условные рефлексy. Но об этом еще можно было спорить, а вот то, что появление фигуры, подобной Гитлеру, было результатом возведенного в квадрат нагромождения наследственных данных и слепого господства того вида случайностей, который именуют мировой историей, — вот это не вызывало ни малейшего сомнения. Но как именовать то бытие, в котором перепутались, непостижимо переплелись естественные закономерности и чистый произвол? Оно именовалось хаосом. Динклагге сознавал существование хаоса. Только хаос мог ему объяснить, откуда берутся монстры.

Конечно, даже среди хаоса и монстров возможны были этические решения, выбор между добром и злом, существовала совесть. Это было последнее, что сохранил Динклагге из своего католического воспитания. «По-видимому, — с иронией думал он, — это тоже связанный с Эмсом условный рефлекс».

Однажды с ним приключилось следующее: присутствуя вместе с другими офицерами на служебном совещании, он указательным пальцем правой руки, которой ухватился за стул (потому что его мучили боли), незаметно для других написал на нижней стороне сиденья какое-то слово, возникшее в разговоре, ну, допустим, слово «батальон». (Какое это было слово, значения не имеет.) Он делал это уже не раз, и у него стало чуть ли не манией писать слова, причем всегда прописными буквами и так, чтобы другие не могли понять, что он пишет, но на этот раз ему вдруг показалось, будто происходящее сейчас со временем не исчезнет, даже в бесконечности. Невозможно было вообразить, что всякий

след надписи и создавшего ее усилия будет начисто уничтожен и забыт. Еще во время совещания он записал на бумажке дату и время (3 октября 1944 г., 11.20), рядом то самое слово («батальон»?) и сунул бумажку в левый нагрудный карман своего мундира.

Ночью ему приснилось, что он оказался возле рыночной площади великолепного средневекового города. В глубине виднелись дома, полные загадочного величия, с уложенными наискось балками — темно-коричневая касается белой: ему снились цвета. Когда он захотел выйти на площадь, чтобы поближе ее рассмотреть, двое вооруженных солдат с винтовками наперевес, в мундирах какой-то современной, но неведомой армии преградили ему путь. Пришлось удовольствоваться малым — обойти площадь по краю, где расположились кукольники со своими театрами, на сцене которых полно было марионеток и всякой мишуры.

Во время ночных обходов, которые Динклагге никогда не передоверял командирам рот, он, поднявшись в сопровождении унтер-офицера и связного на вершину холма, останавливался и осматривал местность. Ночи были ясные, небо усеяно звездами. На его участке все было спокойно, и южнее, там, где располагалась соседняя дивизия, тоже царил тишина и ничего не было видно. Где-то поблизости вполголоса переговаривались из своих окопов двое солдат. Чуть севернее, по ту сторону Ирэнской долины, где фронт 416-й дивизии поворачивал к востоку, поскольку американцы захватили выступавший вперед — если смотреть с их позиций — гребень Шнее-Эйфеля, иногда вдруг взлетала осветительная ракета и снова гасла. Только далеко с севера, из-за Шнее-Эйфеля, до них доносился грохот артиллерии и виднелись вспышки света. Что это было? Отблески пожаров? Проектора? Сброшенные с самолетов сигнальные ракеты, которые, промелькнув, рассеивались, превращаясь в призрачные отсветы? Как сообщали, какая-то американская часть медленно пробивалась там к плотине, перегораживающей долину Урфта. Здесь же, где находились Динклагге и его подчиненные, деревья и лес были окутаны непроглядной, лишенной всяких цветовых нюансов тьмой. Порой, стоило майору Динклагге подумать о том, что здесь в черноте ночи, бесшумно или под грохот артиллерийской канонады, противостоят друг другу две огромные армии, ему начинало казаться, что не только разведгруппа его подразделения, действовавшая, вопреки желанию полковника Хофмана, весьма вяло, но и вообще весь комплекс присущих войне и

предписываемых уставом действий есть не что иное, как гигантская игра в индейцев. Сражения мальчишек во дворе кирпичного завода — не больше! Он вполне мог себе представить, что сотни тысяч людей, которые сейчас, переговариваясь шепотом в темноте или почти засыпая, стоят в своих окопах, поднимутся оттуда и под усеянным звездами небом разразятся ужасающим смехом, прежде чем отправятся домой, к своим школьным заданиям.

Химеры! Впрочем, они не помешали Динклагге устроить такой разнос ближайшему часовому, у которого он, подойдя ближе, заметил огонек вспыхнувшей спички, что у того, как одобрительно сказал позднее унтер-офицер связному, душа в пятки ушла.

Когда после такого инспектирования Динклагге возвращался на квартиру, он заходил иногда в свою рабочую комнату, прежде чем зажечь свет, убеждался, что светомаскировочные шторы на окне опущены, закрывал дверь, на которой штабс-фельдфебель Каммерер велел повесить табличку с надписью «Командир», садился за письменный стол, раскладывал карты Германского рейха, листы 107 а и 119 б, изданные в 1941 году имперским ведомством топографической съемки в Берлине (так называемые карты Генерального штаба), а также подробную бельгийскую топографическую карту (масштаб 1:10 000) района южнее Сен-Вита и при свете карманного фонаря, поскольку лампа под потолком была не лучше коптилки, в который раз изучал позиции своего батальона.

Он по-прежнему находился на крайнем левом фланге дивизии, на участке, дальше всех выдвинутом на запад, причиной чему была та самая американская часть, что занимала Шнее-Эйфель с востока; 416-я пехотная дивизия окружала южный фланг американцев (севернее были позиции народно-гренадерской дивизии), и батальон Динклагге находился в мешке, образованном петлей реки Ур, на крайнем западе; он был почти отрезан от дивизии густо поросшей лесом и абсолютно непроходимой с севера на юг долиной реки Ирен, так что связь поддерживалась только через связных и иногда через разведгруппы. Связь с соседней дивизией на юге также была слабой. Всякий раз, когда Динклагге снова убеждался в том, насколько изолирована его часть, кончик карандаша, который он держал в правой руке, начинал кружить в конусе света от карманного фонаря вокруг хутора Хеммерес, расположенного в долине Ура. Стоит какой-нибудь достаточно сильной американской части переправиться по еще уцелевшему железнодорожному виадуку у Хеммереса через Ур, достичь, миновав деревню Эльхерат, шоссе



Сен-Вит—Пронсфельд и продвигаться по нему на юго-восток, батальон легко может быть отрезан и уничтожен или, если он, Динклагге, это допустит, взят в плен.

Во время одного из таких (или многих?) ночных бдений над картами, когда при свете карманного фонарика и тусклой лампы, мучимый болями—потому что он стоял выгнув ногу, в крайне неудобной при его болезни позе,—он непрерывно вертел карандаш, Динклагге, видимо, и принял решение сдать свой батальон в плен, причем сдать его не только в случае подобной американской операции, но даже не ожидая ее и пренебрегая тактическими соображениями, связанными с проблемой обороны.

Размышляя над тем, каким образом он мог бы претворить свою идею в действие, Динклагге наталкивается на две непреодолимые трудности:

1. Простую мысль о том, что сам он в почетной—ибо это соответствовало старым военным правилам—роли парламентаря, сопровождаемый унтер-офицером с белым флагом, перейдет через Ур и появится перед оборонительной линией американцев, следовало с самого начала отвергнуть. Стоило ему обнародовать свое намерение, штабс-фельдфебель Каммерер с помощью командиров рот тут же арестовал бы его и сообщил в полк. Мгновенно прибыло бы подразделение военной полиции, а с ним и лично полковник Хофман, для которого с точки зрения престижа полка было бы крайне важно самому руководить первым допросом и без промедления передать Динклагге соответствующему полевому суду. (Только тем обстоятельством, что 416-й пехотной дивизии по каким-то причинам—видимо, просто из-за нехватки кадров—не были приданы нацистские офицеры, ведающие подобными делами, можно было бы объяснить то, что дело майора Динклагге дошло бы до военно-полевого суда.)

2. Абсолютно нереальной оставалась и возможность тайно связаться с противником, хотя Динклагге—и это как раз типично для него—эту мысль полностью не исключал.

Прежде всего, захватить врасплох целый батальон, почти полностью укомплектованный по штатам военного времени (примерно 1200 человек), одному-единственному человеку, пусть даже его командиру, было почти неразрешимой тактической задачей. Из четырех рот батальона две (первая и рота снабжения) находились в Винтерспельте, две другие—в деревнях Вальмерат и Эльхерат, откуда они выставляли посты в тщательно продуманном Динклагге порядке—двумя линиями, расположенными уступом друг за другом. В день «икс» (или в ночь «икс»!)

Динклаге пришлось бы под каким-нибудь предлогом (но под каким?) вызвать из расположения главные силы, снять всех с постов и, по возможности безоружных, собрать в определенном пункте, где их легко было бы окружить. Впрочем, можно было неожиданно объявить ночью учебную тревогу с последующим смотром батальона, и, так как Динклаге предполагал у американцев интерес и способность к играм в индейцев, этот план, особенно если повезет, имел известный шанс на успех.

Но, поскольку у Динклаге не было никакой возможности вступить в контакт с противником, он не видел путей для реализации своего плана.

По тому, как Динклаге сформулировал этот вывод—он изложил свой план так, словно речь шла о математическом уравнении,—Кэте Ленк сразу поняла, что сдача батальона в плен для него чисто абстрактная идея. Нельзя сказать, что он относился к ней несерьезно, нет: он был занят ею столь же серьезно, как бывают заняты гипотезой, превратившейся в навязчивую идею. Кэте предпочла бы, чтобы в его речи время от времени вспыхивало волнение, ощущалось возбуждение, даже элемент авантюризма, потому что, в конце-то концов, и это должно присутствовать, когда офицер, которому всего лишь тридцать четыре года, готовит дерзкую военную операцию. А тут что? Одна холодная абстракция.

— О,—сказала она,—если дело только в этом! Я знаю человека, который может установить связь с американцами. На него ты можешь положиться.

— Если намерения этого господина,—сказал Хайншток, когда Кэте посвятила его в план Динклаге,—не имеют никакой поддержки среди подчиненных, то ему лучше не лезть в это дело. Подобные ситуации имела в виду партия, когда говорила об отсутствии опоры в массах.

(Хайншток привык говорить о Коммунистической партии Чехословакии и Коминтерне всегда в форме «перфекта», второго прошедшего времени, которое иные ученые-грамматисты называют также завершенным настоящим.)

Как повлияет его акция на ход войны, Динклаге предугадать не может. Он не знает, да ему и безразлично, используют ли американцы возникшую в результате захвата батальона брешь для общего прорыва или просто перенесут вперед, через Ур, свою линию обороны, чтобы тем самым уменьшить давление на

фланг своих войск в районе Шнее-Эйфеля, где, по мнению как Динклагге, так и Кимброу, они занимают невыгодную позицию. Вследствие почти полного отсутствия воздушной разведки майор Динклагге так же мало знает о силе американцев и глубине их обороны, как и дивизия, армия, группа армий и командующий Западным фронтом.

## ***В двенадцать часов дня***

Может показаться, что, раскрыв план Динклагге, автор лишил повествование сюжетной пружины. Это совсем не так. В данном сочинении не придается никакого значения рассказу о том, удастся или не удастся (и каким образом) майору Динклагге сдать американцам почти полностью укомплектованный по штатам военного времени немецкий батальон. Хотя местом действия здесь выбран и в самом деле дикий в то время Запад, автор не решается превратить это повествование в вестерн. Не будет здесь и мрачного ангела, который в конце подходит к метафизическому негодяю и на полсекунды раньше того вытаскивает свой смит-вессон.

Было бы прекрасно, если бы это чудовище, война, это воплощение хаоса, в конце концов лежало бы распластанным на деревенской дороге близ Винтерспельта под изумленными взглядами избавленного от него, против собственной воли, батальона; но, как известно, во время второй мировой войны и, быть может, всех войн, кроме тех, что велись ландскнехтами, никогда не случалось, чтобы командующий батальоном офицер сдал его врагу. Даже в случае неудачи такое событие было бы отмечено в военных архивах и с точки зрения военной истории стало бы настолько уникальным, что о нем уже было бы написано множество книг, вероятно, прежде всего союзниками.

Нельзя допустить, чтобы вымысел завел повествование так далеко. Достаточно будет игры на ящике с песком.

Пожалуй, проще всего было бы избавить это повествование от петли вымысла, заявив: так как майора Динклагге не существовало, его пришлось выдумать. Но эта фраза лишь в том случае обретет смысл, если начать ее с конца: поскольку Динклагге был придуман, он теперь существует.

Ведь писать — не значит набрасывать на объект лассо авторского замысла.

## Профессиональная однобокость

В этом повествовании не делается и попытки исследовать причины, побудившие майора Динклагге совершить покушение на войну. Тут нет намерения группировать повествование вокруг размышлений Динклагге, строить все действие вокруг него, создавая подобие вихря, центром которого могло бы быть принятое в одиночку решение «этого господина» (как любит называть его Хайншток). Литературы о деле Динклагге пока еще нет, но есть уже необозримое множество работ о попытках восстания немецких офицеров против Гитлера, в которых скрупулезно систематизируются размышления, мировоззренческие мотивы, доводы и чувства этих трагических персонажей и, главное, то, насколько часто и глубоко испытывали они угрызения совести. Из этих работ можно почерпнуть все необходимое, чтобы дополнить картину, рисующую причины задуманного майором Динклагге плана.

Дабы убедиться, что для своего поступка Динклагге имел все возможные политические, экономические и метафизические основания, достаточно вспомнить, что в ответ на рассказ Кэте Ленк о ее переживаниях у Буртангского болота он перечислил названия всех концлагерей на Эмсе и закончил эту литанию словом «аминь», которое его собеседница восприняла как проклятие. Однако к своему решению он пришел прежде всего по чисто военным соображениям. Известно, что осенью 1944 года большинство немецких офицеров разделяло точку зрения Динклагге, что война проиграна и потому должна быть немедленно прекращена; но Динклагге был единственным среди них, кто проявил готовность все эти военно-научные соображения реализовать в конкретном действии на уровне командира подразделения. Сделал ли упомянутый в сборнике документов подполковника швейцарского генштаба В. Шауфельбергера унтер-офицер Рудольф Драйер выводы из того, что он слышал в канцелярии командующего группой войск «Запад», сделал ли он их вопреки полученному приказу или нет — неизвестно; Динклагге же такие выводы сделал. Возможно, у него было особенно сильно развито профессиональное упорство, известная *déformation professionnelle*<sup>1</sup>, присущая всем людям, которые изучили какое-то ремесло и специализировались в нем.

Примечательно, что между Динклагге и Кэте Ленк никогда не возникало разговора о причинах, побудивших его принять такое

---

<sup>1</sup> Профессиональная деформация, искривление (*франц.*).

решение. Они считались сами собой разумеющимися.

Собственно, только один капитан Кимброу хотел точно знать, что привело Динклагге к такому решению. Возможно, в нем проснулся адвокат, защитник по уголовным делам, и потому он заинтересовался мотивами, двигавшими Динклагге.

— What makes him tick?<sup>1</sup>—был его первый вопрос, после того как Шефольд передал ему с той стороны эту удивительную новость.

Шефольд пожал плечами. Он этого не знал. И у него не было никакого желания нагонять скуку на молодого американского капитана выдержками из той «оправдательной» литературы<sup>2</sup>, которой тогда еще и не существовало.

---

<sup>1</sup> Здесь: что им движет? (букв.: что заставляет его тикать?) (англ.)

<sup>2</sup> Имеются в виду написанные после войны воспоминания гитлеровских генералов и другие книги, авторы которых считали необходимым оправдываться, заявляя, что предпринимали что-то против Гитлера.

# ГЛАВНАЯ ПОЛОСА ОБОРОНЫ

## *Воронье гнездо*

Точка, с которой Венцель Хайншток каждый день обозревает местность,—это вершина холма, с северной стороны отвесно спускающегося к его каменоломне, а на юге, востоке и западе образующего более или менее пологий известняковый склон с очень сухим травяным покровом, где пасется скот и потому не растет кустарник; здесь же видно довольно много выветрившихся известковых глыб. На холме есть несколько высоких сосен, и их кроны скрывают Хайнштока от пролетающих самолетов. Когда он подходит вплотную к откосу, глубоко внизу, под известняковой стеной, он видит рабочую площадку каменоломни, где давно уже не ведутся работы; в углу ржавеет цоколь крана и несколько точильных станков. К стене прислонена деревянная лестница высотой метров в тридцать, перекладки которой Хайншток время от времени обновляет,—она доходит примерно до середины стены. Между дорогой—ведущим из Винтерспельта в Бляйальф проселком, покрытым щебнем с песком,—и карьером растет полукругом буковый кустарник, почти закрывший будку для строителей, в которой живет Хайншток; виден только конек покрытой рубероидом крыши. Тоненькая палочка—радиоантенна. Хотя Хайншток старается вести себя по возможности тихо, он пугает галок, внимательных и очень шустрых птиц, обитающих в верхней части известнякового утеса; вспорхнув, они издают пронзительный крик, но в осеннем воздухе не слышно эха.

Травянистые склоны принадлежащей ему горы Хайншток предоставил жителям Винтерспельта для выпаса скота и сделал это не тогда, когда лежащие к западу земли из-за сооруженных на них оборонительных позиций стало уже невозможно использовать под пастбища, а значительно раньше, несколько лет назад; он заинтересован в том, чтобы каменистая почва склонов хорошо просматривалась, не была скрыта кустарником. Кроме того, ему нравится редкая флора известняковых пастбищ, чертополох без стеблей и ятрышник, любка и дикая гвоздика, к которым не прикасаются овцы, привычные к луговым травам, ледвенцу и овсянице. Всякий раз, когда Хайншток поднимается вверх по тропе, протоптанной им вдоль восточного края карьера, он прежде всего смотрит, где сейчас находятся овцы, стадо примерно в сотню голов. Иногда он обменивается несколькими словами с нанятым общиной пастухом, хотя с трудом понимает его айфельский диалект. Хайншток поселился в этих местах летом 1941 года, но и по сию пору, спустя три с лишним года, он еле разбирается в некоторых особенно трудных формах здешнего диалекта.

Привычка ежедневно обзирать местность вокруг Винтерспельта с вершины своего карьера появилась у Хайнштока во второй половине августа, когда он, сначала по радио из Кале<sup>1</sup>, потом с некоторым опозданием по имперскому радио, услышал известие о битве под Фалезом и взятии Парижа.

*12 октября 1944 года (четверг), около 11 часов.* Хайншток, по обыкновению, взял свой полевой бинокль (подарок Маттиаса Аримонда, как, впрочем, и многое другое, например, свобода и каменоломня), чтобы, если удастся, увидеть, как Шефольд появится в лесистой части холма на западном берегу Ура и начнет спускаться вниз по косогору, отличавшемуся от склона холма, на котором стоял Хайншток, только тем, что на нем бурно разрослись можжевельник, лещина и бирючина; но Хайншток так и не воспользовался биноклем, ибо даже при взгляде невооруженным глазом подтверждалось то, что он уже знал: тот участок на западе, где сейчас, в десять часов утра — если только он последовал совету Хайнштока, — должен был находиться Шефольд, лежал за пологим южным склоном Эльхератского леса, зарослями красного бука, который в эту сухую и безветренную осень еще не сбросил обильную темно-красную листву.

---

<sup>1</sup> Речь идет об английской радиостанции, которая вела передачи, предназначенные для солдат вермахта.

*Десятью минутами позже.* Хайншток считал, что пригнаться заставляла его вовсе не трехкратная мощь их машинного рева; он съеживался потому, полагал Хайншток, что они всегда летали так низко — казалось, вот-вот разобьются вдребезги об утес. Или по крайней мере сбреют верхушки сосен, под которыми он стоял. Вероятно, он ошибался, вероятно, главным здесь было все же фортиссимо ревущих моторов, к которому он не мог привыкнуть. Но, в чем бы ни заключалась причина, всякий раз, как они удалялись, он злился на себя за то, что снова позволил себе втянуть голову в плечи, прижать руки к груди и согнуть колени. Возможно, он не уклонялся от этих атак на свою нервную систему только потому, что надеялся научиться когда-нибудь сохранять самообладание. Но это ему так и не удалось. После ухода самолетов проходило несколько секунд, прежде чем он слышал в тишине крик растревоженных галок, терявшийся за звуковым барьером осени.

Сегодня, по его подсчетам, был одиннадцатый день с тех пор, как американские истребители-бомбардировщики перестали пускать в ход свое бортовое оружие, совершая патрульные полеты над дорогой, соединяющей Бляйальф и Винтерспельт, над карьером, делая петлю над Винтерспельтом и исчезая затем на юго-востоке, над шоссе, ведущим в Пронсфельд. Время от времени они более или менее успешно сбрасывали свои маленькие бомбы, которые рвались всегда так же неожиданно, как гранаты, вздымая серые фонтаны с белыми пенистыми гребешками, но стволы пулеметов, торчавшие из их застекленных кабин, оставались немymi. Как Хайншток понял несколько дней спустя, после 2 октября они уже не находили целей.

*2 октября 1944 года (понедельник).* Плохо замаскированная полевая кухня в большом амбаре у околицы Винтерспельта сегодня утром исчезла. Можно считать чудом, что ее до сих пор не разбомбили. И только сам амбар, нескладный, четырехугольный, из бутового камня, с шиферной крышей, еще стоит на месте, заброшенный и одинокий.

Из всей деревни Винтерспельт, лежащей от Хайнштока по прямой примерно в двух километрах, он, собственно, может разглядеть только этот амбар, несколько сизо-серых крыш да верхушку колокольни, поскольку Винтерспельт расположен в низине.

Главную дорогу, ведущую к северо-западу, в направлении Сен-Вита, Хайншток видеть не может. Ее закрывает тянущаяся параллельно холмистая местность — луга, убранные поля, купы



деревьев; местность эта то вздымается холмами, то обрывается ложбинами. По ту сторону дороги высится цепь гор, с гребня которых Хайнштоку открылась бы долина Ура, если бы он имел возможность туда подняться. Но там — оборонительные позиции, и гражданским лицам доступ в эту зону строго запрещен. Хайншток может обозревать ее от Ауэля на юге до того места, где косой склон Эльхератского леса закрывает ему обзор.

Расстояние от наблюдательного пункта Хайнштока до этого склона составляет от двух с половиной до четырех километров. В свой бинокль «хензольдт диагон», дающий пятнадцатикратное увеличение — у него только тот недостаток, что он слишком тяжел, и из-за этого видимые в нем предметы, несмотря на сильные руки Хайнштока (Кэте Ленк: «Послушай, у тебя не руки, а стальные тросы!»), через несколько секунд начинают дрожать, — Хайншток может наблюдать за солдатами, как они поднимаются по склону, чтобы сменить часовых в окопах, а чуть позднее, смененные, устало бредут по домам в деревни Винтерспельт, Вальмерат, Эльхерат. Они приходят и уходят маленькими группами, которые легко обнаружить.

Сегодня утром Хайншток не видит ни одной такой группы. На всем пространстве от Ауэля на юге до Эльхератского леса не заметно никакого движения. Склоны гор над Уром пологи и как бы затянуты покрывалом из пустырей, хлебных полей и серозеленых лугов. Ничто не шелохнется на матовой при октябрьском освещении поверхности — такими, как сегодня, Хайншток эти склоны давно не видел.

Справа под ним — галдеж галок и хлопанье крыльев, когда он появляется на краю каменоломни, — тоже ничего не происходит. Пустота.

На проселочной дороге из Винтерспельта в Бляйальф никогда не бывает сильного движения. (Ее можно использовать только до Грослангенфельда, потому что Бляйальф находится у американцев.) Иногда появляется «кюбельваген»<sup>1</sup> с офицерами, отправляющимися в соседнюю часть. Или грузовик с боеприпасами. Время от времени, причем довольно регулярно, показывается обоз с продовольствием — три запряженных лошадьми фургона. (Лошади и повозки реквизированы у крестьян.) Часто подолгу вообще никого, кроме связного на велосипеде.

Сегодня Хайнштоку кажется, будто здесь пусто не на какое-то время, а будет пусто всегда. Сосновый лес по ту сторону дороги, из которого иногда выходит Шефольд, сегодня еще более

---

<sup>1</sup> Грузовой автомобиль повышенной проходимости.

неподвижен и мрачен, чем когда-либо.

Когда патруль из трех истребителей-бомбардировщиков скрылся из виду, Хайншток распрямился, поднял голову и разогнул колени, подавив раздражение, вызванное тем, что снова не выдержал и присел; он заметил, что сегодня не горит кустарник на обочинах дороги, не взлетают в воздух обломки грузовиков с боеприпасами, не вздыбливается в пламени и не догорает ни один легковой автомобиль. Не слышно криков раненых, которым он часто оказывал первую помощь. Не видно человеческих тел, лежащих в неестественных позах на песке и щебне. Свою машину, старый «адлер», в котором он часто возил раненых на перевязочный пункт в Винтерспельт, он мог оставить в каменном сарае, расположенном через дорогу, напротив въезда в каменоломню, который так зарос, что его почти не было видно, и к тому же забаррикадирован каменными глыбами.

И на противоположной стороне, на склоне горы вдоль реки Ур, тоже ничего—нет, как обычно, этих распластанных теней, совсем маленьких, несмотря на пятнадцатикратное увеличение; Хайншток опознавал их лишь по тому, что пятнистые маскировочные куртки были чуть темнее земли, на которой они лежали, и когда самолеты исчезали, вокруг них собирались другие, вертикальные тени.

Итак, сегодня—ничего. Все выглядит как в те времена, когда Хайншток еще не начал подниматься сюда каждый день. Как летом или прошлой осенью. Пустынные склоны, поля, серозеленые луга, на которых ничто не шелохнется, даже когда выхваченные из них биноклем круги через двадцать секунд начинают дрожать. (Только зная эти места так хорошо, как Хайншток, можно было понять, что это кожа, покрывающая живое тело.)

Хайншток отводит бинокль и смотрит вслед улетающим самолетам, которые подтягиваются к югу от Винтерспельта, объединяются в группы. Только теперь ему становится ясно, что сегодня не было обычных последствий шквального многослойного огня из их пулеметов. Сегодня ландшафт под ними не прострочен огненными швами.

В том же квадрате неба, где они только что появились, группы снова соединились в авиаэскадру. Она поднялась в воздух в Мальмеди или где-то еще дальше к западу. «Даже на таком расстоянии и на такой высоте,—думает Хайншток,—ее не спутаешь со стаей птиц».

Кэте, придя к нему вчера (в воскресенье) после полудня, сообщила, что прошлой ночью новая часть сменила прежнюю.

— Мы всю ночь не сомкнули глаз,— рассказывала она.— У нас теперь другие постояльцы, но старый Телен опять устроил так, что они не заняли ни одного помещения в самом доме. Видел бы ты, как он сидит себе и, даже не глядя на унтер-офицера, который пришел расквартировывать солдат, говорит: «В этом доме один старик, три девушки и четыре каморки». А Элиза, Тереза и я стоим рядом. Но унтер-офицер оказался вежливым. Я его даже пожалела. Потом Элиза показала ему двор, и он разместил четверых солдат в пристройке к сараю.

— Но теперь Терезе надо быть какое-то время еще осторожнее,— сказал Хайншток.

Кэте кивнула. У Терезы была любовь с одним из русских, работавших в хозяйстве Телена.

Когда Хайншток ближе к вечеру 3 октября отправился в Винтерспельт купить продукты, он, дойдя до главной дороги, заметил, что теперь и на холмах слева от нее появились позиции, то есть он, конечно, не увидел никаких позиций, а только на середине склона, недалеко от проселочной дороги, разглядел пулеметную точку, а потом еще одну в тени деревьев, у сеновала, принадлежавшего крестьянину Мерфорту. Разыграв полнейшую наивность, он попытался подняться к Мерфортовой полосе луга, но тут же кто-то—он не видел, кто именно,—окликнул его и приказал не сходить с дороги. Это настроило его невесело. Появление оборонительной линии на холмах восточнее дороги означало, что фронт приблизился к нему. Некоторые позиции—он обнаружил их на следующее утро в бинокль—находились не далее чем в километре от его горы. Самое удивительное было то, что он со своей высоты не заметил, как они появились.

О том, что полевая кухня, расположенная в очень уязвимом месте—в амбаре у околицы деревни, исчезла, он уже знал, но никак не ожидал, что деревенская улица окажется совершенно безлюдной. Деревня Винтерспельт тянулась вдоль дороги, и эта пепельно-серая дорога—теперь, в сумерках, она приобрела медный оттенок,—пустынная и безжизненная, то есть такая, какой была до тех пор, пока в Винтерспельте не расположились военные, спускалась к центру деревни, единственному месту, где дома стояли тесно и беспорядочно сгрудившись, а по ту сторону низины, безлюдная и бесшумная, снова шла вверх и потом скрывалась за площадью, на которой высилась церковь. Хайншток был поражен. Все, что Кэте Ленк однажды назвала

«лагерем Валленштейна» (это выражение перенесло Хайншток в его родную Богемию), исчезло с улицы. А ведь раньше в этот час, когда проводилась вечерняя поверка, в «лагере Валленштейна» было особенно оживленно: солдаты группами выходили на улицу и шли на площадку за домом Мерфорта, где было достаточно места, чтобы построить роту. Возможно ли, что больше не было вечерней поверки, этого священного военного ритуала, этого отрывистого рывканья, этого «По-порядку-номеров-рас-считайсь!», этого «Вправо-влево-разомкнись!», всей этой идиотской муштры взрослых людей, с которой Хайншток познакомился еще в императорско-королевской армии? Трудно было в это поверить.

В пивной при гостинице Нэкеля, которая всегда была битком набита солдатами, у стойки стояли два унтер-офицера, жаждавших рассказать Хайнштоку, что они прибыли из Дании и как там прекрасно.

— Занесло же нас сюда, к черту в задницу,— заметил один из них, уставившись в кружку с пивом.

Йоханнес Нэкель взглянул на Хайнштока. Хайншток ответил на его взгляд, но не мог не признать, что унтер-офицер в чем-то прав; пивная Нэкеля, как и большинство эйфельских пивных, настраивала на меланхолический лад, это было плохо освещенное, нетопленое помещение, оклеенное набивными обоями цвета сырой печенки.

По пустынной улице Хайншток дошел до лавки Вайнанди. Арнольд Вайнанди, который мог вести свое дело, потому что в 1942 году в России лишился ноги, кивнул в сторону улицы.

— Удивляетесь, а? — сказал он.

— Что здесь, собственно, происходит? — спросил Хайншток. — Винтерспельт словно вымер.

Вайнанди, который охотно изображал из себя специалиста по военным делам, пояснил, что новый командир, кавалер Рыцарского креста, знает, как поступать, когда фронт рядом. «Фронт рядом,— подумал Хайншток,— этим словом они хотят скрыть от самих себя, что фронт уже здесь». Он смотрел, как Вайнанди отрезает хлебные талоны от протянутой ему продовольственной карточки. Хотя, кроме них, в лавке никого не было, Вайнанди добавил шепотом:

— Если они не передумают насчет маскировки, может, деревня и уцелеет.

«Если только этот новый командир не доведет маскировку до того, что придется эвакуировать Винтерспельт»,— думал Хайн-

шток, возвращаясь домой. В темноте с холмов не доносилось ни звука, он ни разу не услышал даже лязганья затворов. В августе винтерспельские крестьяне сумели отбиться от эвакуации, уведомив национал-социалистскую партию, вермахт и государство, что они готовы уйти, но только вместе со своим скотом. Со стороны партии, вермахта и государства ответа на это не последовало. Капитулирует ли перед крестьянской хитростью новый командир, человек, который оказался способен отменить вечернюю поверку?

Тогда, в конце августа, Кэте и Хайншток решили, если приказ об эвакуации будет приведен в исполнение, снова перебраться в пещеру на Аперте.

Действительно, 7 октября полковник Хофман спросил майора Динклагге, не считает ли он целесообразным очистить деревни в главной полосе обороны от гражданского населения. Он сослался на соответствующий запрос штаба дивизии.

— А жилье для крестьян подготовлено? Скот есть где держать? — спросил Динклагге. — Транспорт обеспечен?

— Господин Динклагге, — сказал Хофман, — все это сентиментальный бред. Да нас это и не касается. Вы мне приведите военные аргументы!

Динклагге сказал:

— Кроме того, эти люди мне вообще не мешают.

— Благодарю вас, — сказал Хофман, — этого достаточно.

На следующий день он ответил на запрос дивизии отрицательно.

Уже 7 октября майор Динклагге был не в состоянии представить себе, что в случае эвакуации гражданского населения из Винтерспельта пришлось бы отправить и Кэте Ленк. Во время беседы с полковником он, вообще-то говоря, не мог думать ни о чем другом.

*5 октября (четверг).*

— С тех пор как здесь появился этот новый человек, войны больше нет, — сказал Хайншток вчера вечером Кэте Ленк.

— Его зовут Динклагге, — сообщила она.

Этот майор Динклагге полностью изменил облик войны. Нет, он не изменил ее облик: он словно по мановению волшебной палочки как бы заставил ее исчезнуть. Это был фокус. Этот Динклагге был фокусник. Хайншток ни на миг не давал ввести себя в заблуждение. Война не исчезла. Она только стала

невидимой. С тех пор как в Винтерспельте хозяйничал этот Динклаг, в здешних местах появилось нечто незримое.

Но Хайншток и представить себе не мог, что это незримое настолько коснется его лично, что сегодняшний день уже будет не просто одним из безоблачных дней, которые обычно стояли здесь каждый год с конца сентября почти до самого ноября. С высоты, где он находился, открывался прекрасный вид на Шнее-Эйфель и северо-западнее—на территорию Бельгии, вплоть до Высокого Фенна. Он напряженно рассматривал голубой гребень Шнее-Эйфеля—ведь туда уже продвинулись американцы. Если бы каменоломня находилась всего пятью километрами севернее, то в ночь с 17 на 18 сентября ему не пришлось бы тщетно ожидать их прихода. Бляйальф, всего в двух часах ходьбы от его хижины, был тогда ими занят. Если бы он жил там, он был бы уже свободен.

— Сегодня у меня впервые появились сомнения насчет того, что, живи я в Бляйальфе, все было бы уже позади,—сказал он, незаметно наблюдая за сычом, поскольку он знал, что Кэте его боится.—Я предчувствую, что это еще не конец,—добавил он,—все это еще цветочки, а ягодки впереди.

Он заметил, что она не слушает.

Она сказала:

— Между ним и мной что-то произошло.

— Между тобой и кем?—спросил Хайншток. Но он уже понял, о ком шла речь.

— Динклаг,—сказала Кэте.

— Боже мой, Кэте!—сказал Хайншток после небольшой паузы.

Подумать только, его даже не насторожило, когда Кэте сказала ему, что этот майор Динклаг, возможно, вовсе не такой, каким он, Хайншток, его себе представляет. Вероятно, он старается только предотвратить потери. Такое выражение, как «предотвратить потери», офицерская фразеология в устах Кэте! И он не обратил на это внимания! Лишь теперь, глядя на мрачные сосны в долине, он понял, что она могла слышать эти слова только от самого Динклага.

Он проводил ее до первых домов Винтерспельта, как проводил обычно ночью; теперь это было особенно необходимо, потому что ей предстояло пройти мимо новых позиций у дороги; и она по обыкновению поцеловала его на прощание, разве что

поцелуй ее был не только дружески-нежным, как обычно, но еще и печальным, в нем чувствовалось даже отчаяние, если он не ошибался.

Хайншток решил пока больше не доводить дело до поцелуев.

Приход Шефольда был для него очень кстати, ибо прервал размышления о Кэте Ленк. Он все равно намеревался поговорить с Шефольдом всерьез. Массивная фигура Шефольда возникла из-за соснового занавеса, он посмотрел сперва направо, потом налево — словно сделал два легких поклона — и тут же, высокий, крупный, направился через луг по ту сторону дороги к карьеру. Хайншток покачал головой. Два легких поклона Шефольд считал, очевидно, достаточной жертвой на алтарь осторожности.

— Вам следовало оглядеться прежде, чем выходить из лесу, а не тогда, когда вы уже из него вышли, — сказал он, как только они встретились у хижины.

— Неужели я так поступил? — удивился Шефольд. — Вы знаете, я всегда точно чувствую, грозит мне опасность или нет.

— Хотел бы я знать, — сказал Хайншток, — какое значение будет иметь это ваше чутье для патруля военной полиции, если он окажется поблизости.

— Надеюсь, ваша сова сидит спокойно, — сказал Шефольд, еще не войдя в хижину. — Терпеть не могу, когда она начинает хлопать крыльями.

— Это не сова, это сыч, — ответил Хайншток, — и на сей раз вы его вообще не увидите.

Птица успокоилась с тех пор, как он соорудил ей нечто вроде башни из нагроможденных друг на друга ящиков; она сидела там же, где и час назад, на верхнем, закрытом от света ящике, и только раз взмахнула крыльями, почувствовав на себе мимолетный взгляд Хайнштока.

Хайншток нашел сыча, серо-бурый комок перьев, у километрового столба несколько дней назад, когда возвращался после поездки на Лаухский карьер. Он затормозил, вышел из машины. Сначала он решил, что птица мертвая, но когда взял ее в руки, то почувствовал, что сердце у нее бьется. Он поехал в Пронсфельд, к ветеринару д-ру Бальману, который сказал, что птицу, вероятно, отбросило в сторону автомобилем и что она отделалась сотрясением мозга: Хайнштоку придется выхаживать ее недели две, а потом отпустить на волю.

Никогда еще Хайншток не встречал более пугливого суще-

ства. То, чего боялись Шефольд и Кэте, было всего лишь попытками птицы удрать. Сначала Хайншток пребывал в полной растерянности, потому что сыч помышлял только об одном: бежать. И так как птица не находила в хижине никаких укромных уголков, Хайншток боялся, что в результате все новых и новых попыток к бегству она себя изувечит. Два дня назад ему пришла в голову мысль построить для нее убежище.

Хайншток довел огонь в маленькой железной печке, обогревавшей хижину, до яркого пламени, подбросил еще два полена, положил на место конфорки и предоставил печку в распоряжение Шефольда, чтобы тот приготовил кофе. Не успев набить трубку, он отложил ее в сторону и, стараясь подчеркнуто точным обращением придать своим словам особую суровость, сказал:

— Господин доктор Шефольд, я решительно и категорически советую вам немедленно вернуться в Хеммерес и сидеть там до тех пор, пока все не кончится. Еще лучше было бы, если бы вы скрылись в Бельгию.

Только после этого он раскурил трубку. Он смотрел, с какой легкостью грузный Шефольд орудует эмалированным чайником и фаянсовым кофейником. Во время третьего посещения Хайншток Шефольд взял приготовление кофе в свои руки.

— Странно, господин Хайншток,— сказал он тогда,— хоть вы и родом из тех мест, что входили в старую австро-венгерскую монархию, вы понятия не имеете, как варить кофе.

Хайнштоку пришлось признать, что так, как Шефольд, кофе не умеет варить никто—ни он сам, ни кто-либо другой из тех, у кого ему доводилось пить кофе до сих пор. Всякий раз, наслаждаясь им, он жалел, что Кэте не может испытать этого удовольствия. Правда, совсем недавно она сказала ему:

— Мне досадно, что у тебя всегда есть настоящий кофе. Я ненавижу себя за то, что не могу отказаться, когда ты предлагаешь выпить чашку.

Вероятно, даже высокое качество шефольдовского кофе не избавило бы ее от угрызений совести. Но Хайншток сумел сделать так, чтобы она никогда не встречалась с Шефольдом. На тот случай, если Шефольда арестуют, будут допрашивать, пытаться, очень важно, чтобы он знал как можно меньше людей, как можно меньше имен. Уже и то, что он, Хайншток, рассказал Кэте про Шефольда, было, в сущности, недопустимо: он нарушил правила подпольной работы. Ибо и для Кэте еще не все было позади, дом Телена в Винтерспельте давал ей лишь относительную безопасность.



Глаза Шефольда с холодной деловитостью следили за происходящим на плите — голубые глаза на красном лице, где четким прямоугольником выделялись английские усики, серое поле между верхней губой и носом. Хайншток полагал, что ростом он метр девяносто, а весит килограммов сто; просто он казался тяжелым, массивным, хотя живота у него не было, и вопреки его грузности руки двигались легко, словно играя предметами. Собственно, даже не вопреки, потому что между тяжестью его тела и легкостью движений не существовало противоречия. В его движениях было что-то плавное.

Проделав несколько сложных операций — ополоснув кофейник, он прогрел его, потом налил воды, — Шефольд повернулся к Хайнштоку.

— Но почему же? — спросил он. — Если верно то, что вы сказали, а именно что днем ни один служивый не показывается на дорогах, значит, я могу совершать свои прогулки гораздо спокойнее, чем до сих пор.

— Сейчас здесь стало опасно, — сказал Хайншток. — Раньше было больше расхлябанности. Теперь здесь стало опасно.

— Я догадываюсь, что вы имеете в виду, — сказал Шефольд. — Эта новая часть никак не проявляет себя, и потому она опаснее, чем прежняя. — Он помолчал. — Конечно, это бывает, — продолжал он, — бывают художники, которые буквально прячут какую-нибудь краску на картине, чтобы она производила более сильный эффект.

— С живописью это вообще не имеет ничего общего, — сказал Хайншток.

«Как глупо, — подумал он, — что я позволил себе прийти в такое раздражение». Насколько он знал Шефольда, теперь последует лекция, которая продлится минут пятнадцать и будет содержать точное доказательство того, что *это* имеет много общего с живописью. Он немало удивился и почувствовал облегчение, когда Шефольд продолжил разговор по существу.

— В прифронтовые деревни я все равно не захожу и никогда не заходил, — сказал он. — Я хожу в Айгельшайд, Хабшайд, Хольних.

Это правда: Шефольд избегал главной полосы обороны. Следуя советам Хайнштока, он использовал лесистую долину ручья восточнее Хеммереса и таким образом обходил немецкие рубежи. Хайншток нехотя дал ему такой совет; только поняв, что этого человека невозможно удержать от прогулок по немецкой территории, он показал ему по карте путь через лес, на опушках которого размещались оборонительные позиции. Лишь иногда

его прочесывали разведгруппы, но, вероятно, лишь до того места, где кончались красные ели и начинался ольшаник. Всякий раз, когда появлялся Шефольд, Хайншток первым делом смотрел, не намокли ли его брюки от влажной почвы ольшаника, но они всегда были сухими: человек легкомысленный, Бруно Шефольд выбирал сушь соснового леса, вместо надежной, хоть и влажной, чащи в долине. Так он доходил до дороги, ведущей в Бляйальф, наносил визит Хайнштоку, потом оказывался в Айгельшайде, или Хабшайде, или еще дальше в тылу.

— Меня очень беспокоит Шефольд,— сказал как-то Хайншток Кэте; это было, когда Динклагге еще не появлялся на горизонте, а в Винтерспельте и окрестностях царил 18-я мотодивизия, это воплощение расхлябанности.— Пока все здесь было неустойчиво, он мог разгуливать сколько душе угодно. Но теперь, когда фронт установился, его поведение просто безумно. И ведь он даже не шпион союзников. Для этого он слишком приметен и к тому же слишком безобиден. Он расхаживает просто так.

— Должно быть, он очень странный человек,— заметила Кэте.— Ведь ему уже удалось уйти отсюда. По-настоящему уйти.— Она помолчала.— Он был далеко на Западе,— добавила она.

— Ну, Бельгия не так уж далеко отсюда,— сказал Хайншток.— Она совсем рядом.

— Для меня она очень далеко,— сказала Кэте.— И уж меня ни за что на свете не удалось бы затащить обратно, если бы я только сумела забраться так далеко.

— Айгельшайд— менее чем в трех километрах от переднего края,— сказал Хайншток,— и вы даже не представляете себе, насколько любое изменение линии фронта ощущается в тылу.

— Но тамошние жители меня знают,— сказал Шефольд.— Почему они должны относиться ко мне иначе, чем раньше?

Хайншток повертел в руке чашку— кофе был отличный, как всегда, но внушить Шефольду представление об опасности, которая отныне невидимой сетью будет стягиваться вокруг него, казалось совершенно безнадежным.

В один прекрасный летний день Шефольд вот просто так вошел к нему, представился и сразу же рассказал свою биографию— в этом был он весь.

Хайншток тогда посмотрел на него и спросил:

— Что, собственно, побудило вас рассказать мне все это?

— Люди,— сказал Шефольд.— Я слышал, как говорят о вас

люди. Кстати, говорят совсем неплохо. О вас говорят—ну, как бы это объяснить?—как о запасной карте, которую игрок приберегает на всякий пожарный случай.

Хайншток рассмеялся, и доверие между ними было установлено. Никогда прежде люди не были с ним так откровенно щедры, и щедрость людская, лившаяся если не потоком, то по капельке, оседала у него в виде кульков с настоящим кофе, пакетиков с маслом, пачек табака и бутылок вина, этих запасных карт, которые в недалеком будущем, когда понадобится свидетельство Хайнштока, могут дать прикуп, за что Кэте, зная, что он все это принимал, считала его взяточником.

Конечно, у Хайнштока имелись и другие способы убедиться, что Шефольд не шпион. Кстати, слово «безобидный» не отражало самой сущности поведения Шефольда. Он был беззаботен, легкомыслен, быть может, наивен в своей широте и в той небрежности, с какой ходил по деревням, общался с людьми в трактирах, вел разговоры, полагался на документы, которые носил при себе и которые Хайншток считал ничего не стоящими в случае серьезной опасности,—но никак не безобиден. Хайншток не мог найти слово, которое точно охарактеризовало бы манеру поведения Шефольда.

Он проводил его до дороги, посмотрел ему вслед, а тот, перебросив через правое плечо плащ, который всегда носил с собой, пошел в направлении Айгельшайда. Предостережения Хайнштока явно на него не действовали; по его грузной и в то же время плавной походке видно было, что он наслаждается хорошей погодой, безлюдной дорогой и тем, что война куда-то исчезла.

Если его арестуют, главное для Хайнштока—вовремя узнать об этом, чтобы скрыться, прежде чем Шефольд начнет давать показания. Хайншток рассчитал, что в запасе у него в таком случае останется три дня, потому что сразу после ареста, пока Шефольд будет сидеть в каком-нибудь полицейском карцере округа Прюм, его пытать не станут. Пытать его начнут только после перевода в кёльнское гестапо.

Случалось, конечно, что под пытками интеллигенты молчали, а рабочие-металлисты (или каменотесы) после первых же ударов начинали давать показания, но обычно бывало не так. Обычно с интеллигентами справлялись быстрее, чем с рабочими-металлистами (или каменотесами).

Хайншток вынул завернутый в бумагу кусок сырой печенки, которую Кэте принесла ему вчера с теленского двора, развернул

и положил перед сычом. Птица не притронулась к еде, испуганно отодвинулась.

Вчера вечером, прежде чем они отправились в путь, чтобы вместе дойти до первых домов Винтерспельта, Кэте посмотрела на башню из ящиков и сказала:

— Строить тайники—твоя специальность, Венцель.

— Похоже, это у нас общее с майором Динклагге,—ответил он.

Она напомнила ему о пещере на Аперте, желая тем самым сказать нечто большее, чем просто несколько дружеских слов. Но рана, которую она ему нанесла, была еще слишком свежа. Впредь он будет держать себя в руках.

Она промолчала и по дороге в Винтерспельт не взяла его под руку.

Раскурив трубку, он сел за стол, спиной к тому подобию скалы с расселинами, которое он создал из ящиков, благодаря чему птица могла наблюдать за ним и в то же время считать, что ее не видят, придвинул к себе газету, которую с тех пор, как ему перестали доставлять почту, покупал у Вайнанди, прочитал заголовок «Героические оборонительные бои в Карпатах», а под ним сообщение, из коего понял, что Красная Армия скоро вступит на чешскую землю, потом отложил газету.

Только теперь у него мелькнула мысль, до чего же необъяснимо то, что именно вчера вечером, почти следом за известием, сразившим его—Кэте не могла этого не знать—напавал, как не могло сразить ничто другое, она напомнила ему о пещере на Аперте, о том забытом базальтовом коридоре, который в дни после 20 июля, когда они из нужды сделали добродетель (не очень, правда, добродетельную), служил им «приютом любви» — слова эти Хайншток употреблял только в разговорах с самим собой, ибо не сомневался, что Кэте вспыхнула бы, если бы он выразился так при ней.

— Я тебя и не люблю вовсе,—сказала она ему как-то.—Ты просто мне приятен.

Почему же вдруг вчера вечером этот намек на пещеру? Одной из трудных черт характера Кэте было то, что она тщательно взвешивала слова—и чужие, и свои собственные.

Хайншток решил, что хватит размышлять об этом: гораздо важнее теперь разобраться в том, к каким последствиям приведет переход Кэте на сторону противника, хотя в личном плане эта мысль была невыносима, а в политическом и вовсе невозможно было представить себе такое.

Чтобы все же додумать до конца невыносимую и невероятную

мысль, нужно было прежде всего отсечь все неясные выражения («это сразило меня наповал, как не могло сразить ничто другое», «рана, которую она мне нанесла») и найти для случившегося точное определение.

Кэте была теперь в связи с этим майором Динклагге. Она спала (возможно, уже спала или будет спать) с офицером фашистской армии.

Она самым конкретным образом перешла в лагерь врага.

Хотя эти фразы в смысле ясности не оставляли желать лучшего, они показались Хайнштоку неубедительными. Они не принесли ему того удовлетворения, какое обычно приносил удачный политический анализ обстановки, и не потому, что ему не понравился результат его исследования. Анализ поражений мог давать такое же удовлетворение, как и анализ побед. Иногда даже большее. Но у него было чувство, что в этом случае он не учел какие-то ему не известные факторы.

Или это чувство тоже было всего лишь иллюзией?

По царапанью, рывкам и жадным глотательным звукам он понял, что сыч набросился на печень.

Недавно Хайншток сказал Шефольду:

— Берите пример с этого сыча! Он прячется. Он видит все, но следит, чтобы его самого никто не видел.

— Чепуха! — отмахнулся Шефольд. — Вы его прекрасно видите. Вы только держитесь так, что он может вообразить, будто вы его не видите.

Не дав Хайнштоку возразить, он добавил:

— Было бы совершенно неверно, если бы в трактирах я садился в самый темный угол, не говорил ни слова, молча выпивал свое пиво и исчезал.

— Этого, видит бог, вы не делаете, — сказал Хайншток.

— Да, потому что иначе я наверняка привлек бы к себе внимание, — сказал Шефольд.

Хайншток несколько раз встречал его летом в трактирах Айгельшайда и Хабшайда. Нет, он никогда не забивался в уголок, а стоял на виду, у стойки, болтал с местными жителями, его приглашали выпить, он сам ставил всем по кружке.

— Но вы хотя бы не угощали американскими сигаретами в фирменной упаковке, — сказал Хайншток.

— О, неужели я это делал? — На сей раз Шефольд действительно был смущен.

— Да, — сказал Хайншток, — я уж подумал, не обманывают ли меня собственные глаза.

Если Шефольду и это сошло с рук, то лишь потому, что он так держался: людям и в голову не приходило расспрашивать его.

Возможно, Шефольд был просто существом, не ведающим страха, и потому действительно нельзя было сравнивать его с той божьей тварью, что за его спиной жадно пожирала сейчас кусок печенки? Но этому противоречило то обстоятельство, что он поселился на хуторе Хеммерес, расположенном в недоступном месте. В темной речной долине, в этом типичном обиталище филинов. И, очевидно, живо сознавал грозящую ему опасность, иначе не принес бы ему однажды сверток, в котором находилась ценная картина, с просьбой, чтобы Хайншток, знаток надежных мест (как он выразился), спрятал ее.

Шефольд отличался от сыча только тем, что демонстрировал весьма редкую как в природе, так и среди людей систему поведения: он пытался себя обезопасить, себя же подвергая опасности.

*12 октября 1944 года.* Правда, никогда еще он не вел себя так безумно, как сегодня. О безопасности уже не могло быть и речи. И то, что он, Хайншток, пришел сегодня на это место под соснами, над известняковым обрывом, чтобы, если удастся, увидеть, как Шефольд выйдет из лесу на краю гористого западного берега Ура и начнет спускаться вниз по пустынному склону, отличавшемуся от склона той горы, на которой стоял он сам, только тем, что на нем густо разрослись можжевельник, лещина и бирючина, было, собственно, невероятно, если учесть, что совсем недавно, всего неделю назад, в четверг — да, только в прошлый четверг — он пытался предостеречь Шефольда от прогулок по немецкой территории, более того: запретить их ему. И вот теперь Шефольд — притом по его, Хайнштока, наущению — показался на линии фронта. Вместо того чтобы по долине ручья, по сосняку и ольшанику сравнительно безопасно выйти в тыл врага, Шефольд, даже не пытаясь укрыться, появился у первой из двух линий майора Динклагге — и не потому, что вдруг спятил, а следуя его, Хайнштока, просьбе и согласно его указаниям. Это было невероятно. «Должно быть, я сам спятил, когда посылал его на такое», — подумал Хайншток, испытывая едва ли не благодарность к южному склону Эльхератского леса за то, что склон этот, как он и предполагал, не позволил ему увидеть в бинокль Шефольда.

Незадолго до этого, стоя в своем окопе и ожидая появления истребителей-бомбардировщиков, гул которых он всегда слышал

своевременно, обер-ефрейтор Райдель занимался тем, что мысленно снова и снова поносил начальство, неправильно разместившее передовые посты боевого охранения. Нельзя рыть окопы на середине склона. Хотя склон был довольно пологий, но именно эта пологость позволяла атакующему быстро пересечь его, спуститься вниз по сухой земле, поросшей желтой низкорослой травой и даже не заминированной. Достаточно, чтобы в атаку пошла всего одна рота, и через три минуты от передней цепи постов останется мокрое место. Пока враг не приблизится, каждый мог из своего окопа подстрелить двух-трех атакующих — не больше. Этого недостаточно, чтобы остановить атаку. Правильно было бы рыть окопы там, наверху, — их, правда, пришлось бы на время артиллерийской подготовки оставить, а потом, как только артиллерия умолкнет, снова занять. Райдель был уверен, что знает, как рассуждало батальонное начальство: задача передовой позиции — только сбить темп вражеского наступления, чтобы к главной полосе обороны, к цепи холмов по ту сторону дороги, где располагались пулеметные точки, противник продвигался уже медленнее, рассредоточеннее. Передовой позицией они жертвовали. Эшелонированная оборона — так это у них называлось. Райдель ни в грош не ставил эшелонированную оборону. Он считал, что существует только три надежных вида обороны: 1. Внезапный огневой удар с полностью замаскированных, не обнаруженных вражеской разведкой позиций; 2. Массированное использование танков, в том числе и для отражения атаки; 3. Нападение. Поскольку он знал — притом не только с тех пор, как двенадцать дней назад прибыл на Западный фронт, а уже в России, — что возможности 2-я и 3-я отпадают, войну он считал проигранной. Приносить себя в жертву он не собирался. Уж он-то сумеет смыться с передовой, к тому же невыгодно расположенной, прежде чем дело будет совсем дрянью. А пока он еще питал надежду, что на этом участке, где он находится вот уже двенадцать дней и дважды в сутки по четыре часа стоит на посту, вообще никогда ничего не произойдет.

Истребители-бомбардировщики приблизились. Если они сегодня тоже дадут пару очередей по склону, то этому парню, шпиону, который лежит на земле рядом с его окопом, можно считать, крышка.

Майор Динклаг, разумеется, тщательно продумал расположение передовых постов на переднем крае обороны. Он рассчитывал на то, что, вопреки обычной практике, на его участке американцы предпримут наступление только силами пехоты, так

как через заросший кустарником густой лес на склонах Ура они не смогли бы провести свои танки. Во всяком случае, это было бы непросто. Массированная же атака пехоты неизбежно захлебнется в ложбине между склонами Ура и следующей за ними цепью холмов. Переносить передний край обороны на высоты вдоль Ура нельзя: там, наверху, его трудно было бы замаскировать и он изо дня в день подвергался бы атакам с воздуха. Зато склоны используемых под сельскохозяйственные угодья лесистых холмов севернее Винтерспельта с их овражками и каменными амбарами вполне годились для обороны. Редкая цепь постов на склоне по эту сторону Ура явилась бы неожиданностью для американцев, сковала бы их наступательный порыв — с потерями в этой цепи приходилось мириться. Если же американцы все-таки двинули бы танки, тут уж ничего не поделаешь. Другим противотанковым оружием, кроме ручных гранатометов, Динклагге не располагал. Полковник Хофман отказался выделить ему хотя бы одно из имевшихся в полку противотанковых орудий.

— Они понадобятся нам на Шнее-Эйфеле, — сказал он. — Когда американцы спустятся с Шнее-Эйфеля, у них будут танки.

Еще до того, как Динклагге, проведя не одну ночь за чтением карт, пришел к радикальному, хотя и умозрительному решению, он твердо намеревался сразу же отступить, как только перед его позициями появится крупное танковое подразделение. Во всяком случае, именно так истолковал Венцель Хайншток одну реплику Динклагге, которую ему передала Кэте. Проявить благоразумие, насколько это возможно в рамках военной структуры, — вот то небольшое, что он еще способен сделать на этой войне, сказал Динклагге Кэте. Он добавил, что риска тут особого нет.

— В этом он прав, — заметил тогда Хайншток и объяснил Кэте, что, если командир пехотного батальона, оснащенного обычным оружием, докладывает о прорыве танков противника, полку, дивизии ничего другого не остается, как принять это к сведению.

Он напряженно ждал, не выскажется ли Кэте по поводу обывательской болтовни Динклагге о военной структуре, благоразумии и о том немногом, что он еще способен сделать на этой войне, и не был разочарован.

— По-моему, чушь все это, — сказала она.

Пренебрежительно отыываясь о чем-то, Кэте легко переходила на берлинский диалект.

Беседа между Кэте и Динклагге, в ходе которой майор произнес ту самую фразу, состоялась во вторник 3 октября. А в



пятницу 6 октября Динклагге сообщил ей нечто такое, что ни она, ни Хайншток уже не могли считать чушью.

Капитан Кимброу наверняка улыбнулся бы, если бы узнал, что майор Динклагге ожидает с его стороны наступления, да еще «массированного». Уже упомянутый начальник разведки полка сообщил Кимброу, что его роте противостоит хотя и плохо вооруженный, но зато полностью укомплектованный батальон. Шефольд подтверждал эту информацию, всякий раз говоря о «батальоне на той стороне». Кимброу однажды попытался выспросить его о расположении позиций, но на этот счет Шефольд ничего толкового сказать не мог.

— Послушайте, капитан,— сказал он,— во-первых, я не знаю, где они расположены, просто не знаю. Конечно, мне надо было попытаться разведать для вас их позиции, в том, что я этого не делаю, есть известная непоследовательность, но я не могу. Стоит мне только подумать, что вы откроете по этим позициям артиллерийский огонь или укажете координаты вашим самолетами...

— Ладно,— перебил его Кимброу,— забудем об этом!

Он был вынужден растянуть свою роту на участке фронта в восемь километров. В штабе полка в Сен-Вите он слышал тревожные и возмущенные разговоры о том, что сто двадцать километров фронта от Трира до Моншау удерживают всего три дивизии и что за ними ничего нет—территория до Мааса лишена оперативных резервов. Он часто поднимался на высоты по берегу Ура и, скрытый кустами орешника, смотрел в бинокль на восток, разглядывал убранные поля, лес, пустынные склоны, гребень Шнее-Эйфеля на северо-востоке, дома из бутового камня. Ему не удавалось обнаружить ни одной позиции, заметить хоть малейшее движение противника. Он смотрел вслед эскадре Ц-47, летевшей над ним к востоку в голубом небе, здесь, в этих краях, будто затянута пеленой отфильтрованного воздуха, и издававшей глухой, отдаленный гул. Местность казалась невероятно пустынной даже Кимброу, который со времени Фарго и болот Окефеноки привык к пустынным местам. Отдельные группы деревьев, буки или дубы, красные и желтые и совсем оголенные, казались неподвижными в матовом свете. Кимброу считал опасным, что другие два полка дивизии выдвинуты вперед, к самому Шнее-Эйфелю. Он был рад тому, что его рота входит в полк, который располагается дальше к юго-западу, за Уром и еще в Бельгии. (У него были основания радоваться, потому что этот полк в декабре избежал клещей Мантойфеля, когда полковник Р.,

не ожидая соответствующего приказа, отвел его в Сен-Вит, в то время как оба полка на Шнее-Эйфеле попали в плен.)

Опустив бинокль и повернувшись, он взглянул на шиферные крыши деревни Маспельт, что лежала в ложбине, и на полого поднимающийся за нею лес Арденн. Все он себе представлял, только не это почти мирное существование, которое они тут вели. Дежурство на посту, чистка оружия, проверки, спортивные занятия, кино, различного рода нагрузочная терапия. Поскольку у немцев, похоже, больше не осталось самолетов, незачем было даже особенно тщательно маскироваться. Почему они не капитулировали, если их авиации крышка?

В общем, бестолковая война. Кимброу нравилась таинственная тишина этого пустынного пространства.

*17—18 сентября 1944 года.* Вот уже четыре недели, с тех пор как пришли известия о битве под Фалезом и взятии Парижа, он каждый день неотрывно смотрит на запад, в сторону Бельгии, разглядывает в бинокль предгорья Арденн по ту сторону Ура, ожидая появления первых американских танков. Он заключает пари с самим собой: они появятся сегодня. Нет, завтра.

Бесконечная череда дней, а в бинокле — ничего, кроме отступающих немецких войск.

— Опять одни наши,— сказала как-то раз Кэте, стоя рядом с ним.

— Это ваши войска, фройляйн Ленк? — спросил он.

Там, на бельгийской территории,—шиферные крыши Маспельта, дома под ними словно затаили дыхание. Выше — сплошная стена леса, отбрасывающая непроницаемую тень, которая вдруг задрожала и словно разорвалась: на дороге, ведущей из Груффланге в Маспельт, появилось на большой скорости поддужины бронированных машин. Разведывательные бронеавтомобили? На радиаторах — белые пятиконечные звезды.

Действительно, это была его первая мысль: разведывательные бронеавтомобили — ведь в Груффланге от основной дороги Мальмеди — Люксембург ответвляется дорога на Маспельт; и лишь потом он подумал: это американцы.

Только опустив бинокль, потому что пентаграммы в нем начали дрожать, он мысленно произнес: «Американцы», а потом сказал вслух: «Американцы». Здесь, наверну, лишь сосны могли услышать, что он сказал.

Разведывательные бронеавтомобили въехали в Маспельт и больше не показывались.

Он не двинулся с места. После полудня появились наконец главные силы: несколько грузовиков с солдатами, дивизион полевой артиллерии, тяжеловозы, танки. Он насчитал тридцать танков—один за другим появлялись они в узкой прорези, которую белая дорога делала в почти черной стене леса. До него не доносилось ни звука: перемещение происходило в пяти-восьми километрах от того места, где он находился; к тому же восточный ветер, благодаря которому день был прохладным, а видимость хорошей, уносил лязганье гусениц туда, откуда шли машины. Беззвучно продвигались колонны в круглом поле зрения его бинокля к ложбине Маспельта.

Этому не было конца. Когда ничего уже нельзя было различить, он пошел вниз. Ночь в хижине. Он ждал. Он бы услышал, если бы американцы появились в деревне, где находилось не более взвода пехотинцев, арьергард какой-то вконец измотанной бегством из северной Франции и Бельгии дивизии, основные силы которой ушли на восток.

Он подумал, не сходить ли в Винтерспельт и не предложить ли Кэте перебраться к нему, но сказал себе, что это бесполезно. Она хочет присутствовать при появлении американцев и не откажется от этой возможности.

Но они не пришли. Когда Хайншток выходил из хижины, ночь по-прежнему была тихая, притом как-то по-особенному тихая—только с севера, откуда-то издалека, доносились артиллерийские залпы, то более мощные, то приглушенные раскаты, разбивавшиеся о тускло мерцавшую в свете полумесяца известняковую стену.

Когда рассвело, он снова поднялся наверх. Он успел как раз вовремя: увидел, что американцы уходят. Их танки, моторизованная пехота, орудия двигались назад по дороге, по которой пришли вчера; машины одна за другой на какой-то миг показывались перед длинной черной волной лесного моря, которое тут же заглатывало их. Он сразу подумал, что иначе и быть не могло: между Маспельтом и Винтерспельтом нет дороги через долину Ура, только дорожка, вернее, почти заросшая тропка, да деревянный мостик у хутора Хеммерес, где жил Шефольд; так как дороги не было, им бы не помог и мост через пограничную речку.

Он все понял. Он был безмерно разочарован. Он проклинал неизвестного ему американского генерала, который заставил танковый полк, или что бы там ни было, в нерешительности медлить у границы. Разве этот господин не знал, что по главной дороге от Сен-Вита можно спокойно проехать по крайней мере до Пронсфельда? Или он не способен систематизировать данные

воздушной разведки, которой вот уже сколько недель не препятствовал ни один немецкий самолет? Глядя на вновь опустевшую дорогу, что вела из Маспельта в Груффланге и, к сожалению, кончалась тупиком, Хайншток с ожесточением подумал: вылазка.

Позднее он узнал от Шефольда, что та американская часть оставила в Маспельте роту пехотинцев. Шефольд установил также, что дивизия, в которую входила эта рота, была перебросена на западный берег Ура прямо из Соединенных Штатов. «Они только в начале сентября прибыли в Гавр,—сообщил он, подразумевая солдат в Маспельте,—и даже командир роты, некий капитан Кимброу, не имеет боевого опыта».

Чего нельзя было сказать об этом майоре Динклагге.

*12 октября 1944 года.* Если бы американский генерал приказал тогда навести под Штайнебрюком понтонный мост через Ур, в чем ему никто бы не помешал, а затем прошел бы со своими полками по автострате до Пронсфельда—по крайней мере до Пронсфельда,—в чем ему также никто не помешал бы, то Хайнштоку не пришлось бы стоять сегодня здесь наверху, тщетно пытаясь увидеть, как Шефольд покажется на лесистой кромке западного берега Ура. «Тогда эта сумасбродная, просто безумная затея, которую я согласился активно поддержать, никогда бы не осуществилась»,—подумал Хайншток. Шефольд, Кэте, он сам были бы уже свободны, занимались бы уже налаживанием жизни после краха фашистской диктатуры, а не впутались бы в эту отчаянную авантюру безумца офицера.

Однажды, когда он описывал Кэте, как все было бы, если бы американцы продвигались вперед быстрее, решительнее, она сказала:

— Знаешь, я не думаю, что, говоря об исторических событиях, уместно пользоваться условными предложениями.

Ему всегда необходимо было какое-то время, чтобы приноровиться к ее системе мышления, основанной на лингвистическом анализе—привычке учительницы немецкого языка.

Поняв, что она имеет в виду, он отреагировал раздраженно.

— Это самая реакционная точка зрения, с какою я когда-либо встречался,—сказал он.—Отказываясь представить себе, как могли бы повернуться события, отказываешься вообще представить себе лучшую возможность. То есть принимаешь историю так, как она складывается.

— Если она сложилась так, а не иначе, то остается лишь принять ее,—возразила Кэте.

Она заметила, что ее ответ произвел на него гнетущее впечатление, и всячески пыталась пойти на попятный, но он не дал ввести себя в заблуждение. Стало быть, все его попытки посвятить ее в основы изменяющего мир мышления оказались напрасны. Преподанный им курс диалектического понимания истории она завершила признанием своей склонности к фатализму.

Вспоминая этот разговор сейчас, когда он долго и тщетно разглядывал темно-красную кулису Эльхератского леса в неподвижном осеннем воздухе и наконец отказался от надежды увидеть Шефольда, Хайншток вдруг подумал, что, будучи сторонником теории и практики изменения, он, однако же, отклонял повод, заставивший Шефольда пуститься в сегодняшнюю авантюру, то есть не одобрял этого в самой своей основе, в то время как Кэте не устраивало лишь то, что на эту авантюру отправился именно Шефольд. В остальном же не кто иной, как именно она, был мотором всей операции. О фатализме здесь не могло быть и речи.

## **Биографические данные**

Венцель Хайншток родился в 1892 году в Аусергефилде (ныне Квильда), в Богемии, и был младшим из трех детей и единственным сыном ремесленника Франца Хайнштока и его жены Фанни, урожденной Крехан. Крещен в католической вере; отошел от церкви в 20-х годах. Его отец, который содержал мастерскую по изготовлению иглол, где работало два подмастерья, умер в 1907 году, оставив семью без средств. Как все дети, вышедшие из пролетарских семей или ставшие пролетариями, Хайншток выбирает себе профессию скорее случайно, чем по склонности; с 1908 по 1910 год он изучает в карьере у юго-восточного подножия Миттагсберга все операции по добыче открытым способом и по обработке твердых природных камней, рыхлых пород и минералов (обучение ремеслу каменщика и каменотеса). После обучения он служит срок в пехотном полку императорско-королевской армии в Пильзене. В 1912 году, двадцати лет, вступает в социал-демократическую партию Австрии; читает «Коммунистический манифест». Затем — годы скитаний. Работает на различных предприятиях, главным образом в Нижней Австрии, посещает как вечерние курсы по специальности, так и (в Вене) лекции Отто Бауэра об (австро-)марксизме. Зимой 1913/14 года, скопив достаточно денег, проходит трехмесячный

курс прикладной геологии в Высшем горном училище в Леобене; одновременно участвует в организации борьбы за повышение заработной платы рабочим Рудных гор. Мобилизованный в самом начале войны, он уже в сентябре 1914 года, будучи на фронте в Галиции, попадает в плен к русским и проводит первую мировую войну в Сибири. Так как он бегло говорит по-чешски (его бабушка по материнской линии — чешка), ему предлагают вступить в чехословацкий корпус, который формируется в России; он отказывается. В феврале 1918 года Хайншток возвращается в Аусергефилд; по пути из Сибири в Богемию ему не удастся увидеть в русской революции ничего, кроме «беспорядков». Во время войны умирает его мать. Он сдает экзамен на звание мастера. В 1920 году, когда полиция недавно созданного чехословацкого государства занимает Народный дом в Праге, он агитирует за всеобщую забастовку. В 1922 году Хайншток выходит из винтербергской (ныне Вимперк) секции социал-демократической партии и вступает в Коммунистическую партию (ЧСР). В последующие годы Хайншток работает по специальности, отказывается от депутатского мандата, который предлагает ему партия. Несмотря на то что его политические взгляды известны предпринимателям и везде, где он работает, его выбирают в рабочие советы, он тем не менее становится техническим директором крупной каменоломни на Верхней Влтаве. В период мирового экономического кризиса (1931—1934 гг.), оказавшись без работы, занимается активной партийной деятельностью. После победы фашизма в Германии (1933 г.) Хайншток с огорчением замечает, что в дискуссиях внутри КП ЧСР начинает преобладать национальный вопрос; заходя по делам в штаб-квартиру партии на Гибернской улице в Праге, он чувствует, что чешские товарищи испытывают к нему некоторую неприязнь, потому что он чешский немец. До той поры выражение «судетский немец» было ему чуждо, даже непонятно; он всегда называл себя «чехом с окраины». Понимая, с другой стороны, что Гитлер разрушит сосуществование немцев и чехов в Чехии, он решает в 1935 году перебраться в Германию, чтобы вести там подпольную политическую работу; какое-то время он действует в качестве курьера и инструктора Центрального комитета Коммунистической партии Германии, который находился в это время в Праге. Безрассудная затея, потому что в юго-западной Чехии Хайнштока-коммуниста знает каждая собака. Уже во время второй поездки, летом 1935 года, его арестовывают и отправляют в концлагерь Ораниенбург, из которого он выходит весной 1941 года, потому что один из членов правления

имперского объединения нерудной горнодобывающей промышленности, Маттиас Аримонд («руководитель военной промышленности»), добился его освобождения. Аримонд берет его с собой на запад и назначает смотрителем нескольких законсервированных каменоломен, принадлежащих акционерному обществу «Туф и базальт» (читай: Аримонду) в Майене, хотя они не содержат ни известкового туфа, ни базальтовых лав, а лишь толстые пласты доломита или известняка и мергеля. Аримонд предлагает Хайнштоку служебную квартиру в Прюме, но он поселяется на винтерспельтском карьере, в домике с электричеством и водопроводом.

Через год после возвращения из России двадцатисемилетний Хайншток женится на двадцатилетней дочери почтового чиновника; через два года он расстается с ней из-за непреодолимой мелкобуржуазной неприязни жены к его деятельности агитатора-коммуниста; из-за этого она часто устраивает ему сцены. В 1923 году брак расторгается, его бывшая жена снова выходит замуж. От брака с ней у Хайнштока есть сын, который, как она пишет ему в 1943 году (на письме марка, имеющая хождение внутри страны, Чехия составляет теперь часть Германского рейха), пропал без вести после битвы под Сталинградом. В последний раз Хайншток видел мальчика, когда тому было пятнадцать лет. С 1930 года у Хайнштока любовная связь с одной чешской коммунисткой на пятнадцать лет моложе его, которая в 1933 году осталась во Франции, куда поехала учиться. На его долю порой неожиданно выпадает мимолетное счастье. После освобождения из концлагеря вплоть до встречи с Кэте Ленк, то есть с 1935 по 1944 год, у него не было связей с женщинами. Обе его сестры все еще живут в Аусергефильде, у обеих большие семьи, одна уже овдовела; он готов к тому, что ему придется заботиться о них, когда их, как он предполагает, в будущем году выдворят из Чехии.

Рост Хайнштока — всего 1 метр 65 сантиметров. Упоминавшаяся выше студентка, с которой он часто играл в шахматы в кафе на Малой Стороне, заметила однажды, что он похож на маленькую шахматную ладью. Это было лет двенадцать тому назад или даже больше; с тех пор волосы Хайнштока сделались серо-стального цвета, но в целом он остался таким же маленьким, приземистым, прочным. Тело у него было крепкое; чтобы добиться не только мимолетнего, но и продолжительного счастья, ему, возможно, следовало быть чуть более гибким, но благодаря тому, что весь он был словно из стальных тросов, как утверждала Кэте Ленк, ему удалось выдержать несколько пыток, никого не

назвав, и около шести лет провести в концлагере, почти не подорвав здоровья. На его широком лице, покрытом бесчисленными горизонтальными морщинками, словно заштрихованном гравировальной иглой, сидят маленькие фарфорово-голубые глаза. Рот почти безгубый, тонкий, прямой; нос, напротив, широкий, похожий на грушу, перебит (ударом эсэсовского кулака в Ораниенбурге), так что теперь кончик его, чуть сдвинутый вправо, нависает над губами. К еде Хайншток безразличен, с тех пор как понял, что никогда больше не увидит кнедликов с салом или буженины с хреном. Зато он привык, сидя по вечерам один в своей хижине у винтерспельтской каменоломни, выпивать два-три стакана вина. Когда его угощают вином, он всегда надеется, что это будет сухое мозельское.

## **Отдельные эпизоды, или Геология и марксизм**

В один из дней конца июля, лежа возле пещеры на Аперте, Кэте сказала:

— Расскажи, как ты стал коммунистом!

Хайншток стоял у входа в пещеру, смотрел на нее и курил свою трубку.

— Когда я вернулся с военной службы, из Пильзена,—сказал он,—я опять стал работать в каменоломне на Миттагсберге. Кстати, это такая же каменоломня, как в Винтерспельте. Голубые известняки с прослойками сланцевитого мергеля. Никогда бы не подумал, что здесь все будет настолько похоже.

Помолчав, он добавил:

— Помню все, словно это было вчера. Я обрабатывал скампелью кромку оконного карниза, округлял ее.—Пауза.—Если я стану работать в винтерспельтском карьере, тоже придется обтесывать камень на месте. Я не буду поставлять сырые глыбы.

Она сидела все так же, не шевелясь.

— Всякий раз, поднимая голову от работы,—продолжал он,—я смотрел на стену каменоломни. Я это делал всегда, но в тот день мне показалось, что прежде я никогда ее не видел. Не знаю сам почему. Может быть, потому, что еще несколько дней назад я был в казарме. Видно, бывают такие дни. Так или иначе, когда я на нее посмотрел, я вдруг осознал с такой ясностью, как никогда прежде, что она кому-то принадлежит, принадлежит человеку, которого я видел раза два. Он ее владелец. Иными словами, есть эта обнаженная в горе каменная стена и есть человек, который может делать с ней, что хочет. Он один.



Она—его частная собственность. Не хочу утверждать, что эта мысль была для меня неожиданна, как гром среди ясного неба. Я и раньше читал работы авторов-социалистов, знал, что единственный товар, которым я владею, мою рабочую силу, я продаю капиталистам, а те извлекают из нее прибыль, и так далее. Но в социал-демократическую партию, которая в то время была революционной партией, я вступил, только когда понял, что капиталисты владеют природными богатствами, сырьем. Владеют природой, понимаешь?

Кэте промолчала, и он добавил:

— Это взбесило меня. Я смотрел на стену из камня, часть горы, часть земли. Тогда я еще не думал о том, что она должна принадлежать всем, а только считал—и это я точно помню,—что она не должна принадлежать никому. Я представлял себе, что она должна быть свободной. Свободной! Но она принадлежала некоему господину Печеку из Будвайса<sup>1</sup>!

Кэте еще немного помолчала, потом осторожно, будто адресуя свои слова в пустоту, сказала:

— Так же, как винтерспельтская каменоломня принадлежит теперь некоему господину Хайнштоку.

— В этом виноват только Аримонд,—ответил Хайншток.

5 июня 1941 года, холодным днем, его сняли в десять часов утра с дренажных работ, швырнули ему на вещевом складе сданный шесть лет назад костюм, старые ботинки. Вещи еще оказались впору—его фигура почти не изменилась, только волосы, которые все время заново сбривали, стали теперь серо-стальными. Его привели в кабинет коменданта лагеря. Стоя в дверях, прежде чем ему знаком приказали подойти к столу, он заметил справа в углу, в кресле, маленького седого толстяка—густые, как шелковая грива, белые волосы, полуприкрытые темно-синим пушистым пальто вытянутые ноги, на коленях серая шляпа, руки подняты к цветущему румяному лицу, ладони прикрывают рот и часть носа.

Хайнштока поманили резким движением указательного пальца. Вытянувшись в струнку и напрягши все мускулы, он стоит перед письменным столом.

— Если бы это зависело от меня, вы бы вышли отсюда не раньше, чем через десять лет.

Комендант лагеря тоже был маленького роста, как и незнакомец, как и сам Хайншток, но тощий, привыкший сидеть в седле,

---

<sup>1</sup> Теперь г. Ческе-Будеёвице (ЧССР).

рыжеволосый, с пятнистыми островками на лице, смахивавшими на мозоли; его черный мундир был идеально пригнан по фигуре.

— Вы были и остаетесь коммунистической свиньей. Так что же вы такое, Хайншток?

— Коммунистическая свинья.

— ...господин оберштурмбанфюрер.— Терпеливо, с шипением.

— Господин оберштурмбанфюрер.

— Ну, а теперь подойдите сюда, господин Хайншток! — сказал человек в глубине комнаты. Может быть, самым невероятным в этот невероятный день было то, что Хайншток сразу же расслабил мускулы ягодиц, бедер, икр и отвернулся от стола коменданта лагеря, потому что тон, каким было произнесено это «Ну, а теперь подойдите сюда, господин Хайншток», не оставлял сомнения в том, что он может рискнуть расслабить мускулы и отвернуться (повернуться спиной к коменданту лагеря!). Незнакомец уже встал и надел шляпу. Маленький, то есть почти такого же роста, как Хайншток, полный, розоволицый, темно-синий, в серой шляпе, которая прикрывала теперь его белую шелковистую шевелюру, он сказал: «Хайль Гитлер!», не поднимая правой руки, потому что схватил ею руку Хайнштока и потянул его к двери.

— Хайль Гитлер! — сказал комендант лагеря тоже равнодушно, не вставая из-за стола, уже почти не глядя в их сторону.

В коридоре маленький господин быстрыми шагами пошел впереди Хайнштока. Перед бараком ждали черный «мерседес» и шофер в серой ливрее, распахнувший заднюю дверцу. Незвестный пропустил Хайнштока, сам сел возле него, сказав шоферу, который уже успел сесть за руль:

— А теперь поскорей отсюда, Бальтес!

— Ясно, шеф! — ответил шофер. Это был худой человек с озабоченным лицом.

Когда машина проезжала мимо заключенных, с которыми он работал еще час назад, Хайншток прижался к спинке сиденья, потому что не хотел, чтобы товарищи его увидели.

Они миновали контроль у лагерных ворот. За оградой — деревья, в которых бушевал северный ветер, равнина, которую Хайншток знал, дома на горизонте. «Если бы это зависело от меня, вы бы вышли отсюда не раньше, чем через десять лет». Значит, его везли не просто на допрос. В пользу такого предположения говорили и маленький господин, и шофер в ливрее, тем не менее он решил проверить: покрутив ручку, опустил на несколько сантиметров стекло, в окно ворвался холодный ветер, и Хайншток сразу закрыл его. Никто ничего не сказал.

Хайншток не задавал вопросов.

Когда они выехали на Грайфсвальдское шоссе и двинулись по направлению к Берлину, незнакомец сказал:

— Неслыханно, просто неслыханно, такое обращение!

Хайншток не сразу понял, что имелось в виду, так как неслыханным в этот момент было лишь то, что он, скорее всего действительно освобожденный, сидел на заднем сиденье автомобиля и читал на дорожном указателе название населенного пункта—Биркенвердер.

— Это?—сказал он наконец.—Ах, да это что! К этому привыкаешь. Чепуха.

— Это было ужаснее, чем все, что я до сих пор слышал о лагерях,—сказал человек, сидевший рядом с ним. В тени, под крышей автомобиля, его лицо было уже не румяным и цветущим, а темно-красным, апоплексическим.

Только теперь он представился, предложил Хайнштоку сигарету, от которой тот отказался, объяснив, что до ареста курил трубку, а теперь, по правде сказать, не хочет начинать снова.

Хайншток смотрел в окно, когда ехали по Берлину, читал названия улиц, выхватывал названия районов: Виттенау, Веддинг, Штеттинский вокзал; смотрел, как люди пользуются всем этим—идут, например, по Инвалиденштрассе к Штеттинскому вокзалу (или останавливаются и разговаривают друг с другом, или просто останавливаются, поставив на землю сумки, или задерживаются у витрин, или поворачивают обратно, или как-то еще меняют направление).

— Прежде чем ехать в отель,—сказал теперь уже не совсем незнакомый господин своему шоферу,—остановитесь перед каким-нибудь шляпным магазином, Бальтес! Посмотрим, может, нам удастся раздобыть для господина Хайнштока шляпу.

Они нашли магазин в северной части Фридрихштрассе, и маленький господин в темно-синем пушистом пальто устроил так, что владелец магазина продал подошедшую Хайнштоку шляпу без карточки на одежду. Второй раз в этот день Хайншток констатировал неотразимость господина Аримонда.

— Но самый невероятный момент в тот день был тогда, когда я проезжал мимо канавы, в которой только что стоял, выгребая мокрый грунт,—рассказывал он Кэте.—Хотя я и прижался к спинке сиденья, в канаве я видел их всех: Дитриха, Зеннхаузера, Фишера и всех остальных. И они меня видели. Конечно, ни один не рискнул помахать мне. Невероятно и ужасно было то, что я сразу же почувствовал: я больше не принадлежу к их числу.

Человек, проезжавший теперь мимо них в автомобиле, был уже совершенно другим, не тем, кто недавно стоял в канаве. Конечно, тогда я так не думал, так я подумал только сегодня. Тогда я лишь хотел, чтобы они меня не заметили.

Следуя совету Аримонда, Хайншток не снял шляпы, когда они вошли в фойе «Кайзерхофа».

— После того как устроитесь в номере, можете спуститься уже без нее,—сказал он.

Судя по всему, портье в отеле не заметили в нем ничего особенного. Он был просто одним из тех, кто составлял свиту господина Аримонда, их многолетнего и высокочтимого гостя, которого здесь принято было окружать сердечностью—едва заметный оттенок этой чрезмерной сердечности или особого рвения промелькнул и тогда, когда Хайншток вместо удостоверения личности представил справку об освобождении из концлагеря Ораниенбург: и такое уже бывало в «Кайзерхофе»; Аримонд с каменным лицом стоял рядом. Он позаботился обо всем: комната Хайнштока находилась рядом с его комнатой, и Хайншток нашел там белье, галстуки, туалетные принадлежности, светлый плащ и чемодан. Аримонд не скрывал, что вещи были из его личного гардероба.

— Мне вас описали,—сказал он.—Я знал, что вы примерно моего сложения. Только жира моего у вас нет.—Он от души рассмеялся.

Когда он снял в комнате пушистое темно-синее пальто, Хайншток увидел на лацкане его пиджака золотой партийный значок. Он был одет с иголки—темно-синий костюм в едва заметную полоску облегал его полное тело, вероятно, такое же розовое, вымытое и ухоженное, как и его лицо. Белая шелковистая грива, больше не прикрытая шляпой, придавала ему вид маленького, хорошо приглаженного щеткой льва.

— Ты, наверно, хочешь знать, как выглядит Аримонд,—сказал Хайншток Кэте.—Однажды я был приглашен к нему на виллу в Кобленце, и когда мы сидели за столом, его жена, показывая на него, сказала: «Правда, он очень похож на Прёпхена Шика?» А он нисколько на нее не обиделся, абсолютно не был этим задет, а, наоборот, весело засмеялся.

— Прёпхен Шик!—воскликнула Кэте.

— Да,—сказал Хайншток,—он настоящий маленький рейнский пижон.

Слово «пижон» он тоже освоил только тогда, когда поселился в районе Рейнских Сланцевых гор.

Во время обеда в ресторане «Кайзерхоф» Аримонд просветил Хайнштока относительно той роли, которую он играл в нерудной горнодобывающей промышленности, сообщил, что завтра возьмет его с собой на Запад, и объяснил, чем тот будет заниматься. Делать там особенно нечего, сказал он, но ему нужен надежный специалист, каменоломни надо охранять, даже если они законсервированы. Умеет ли Хайншток водить машину? Хайншток ответил утвердительно. Аримонд предложил ему жалованье в 800 марок и бесплатное жилье. Они перешли на профессиональные темы.

— Да вы ничего не едите,—сказал Аримонд.—Ну, это придет.

Он протянул ему несколько купюр, извинился, сказав, что после обеда у него заседания. Хайншток поначалу решил остаться в своей комнате, потом все же вышел на улицу; надев плащ и шляпу, он отправился по Вильгельмштрассе и Унтер-ден-Линден к Опере, свернул направо, дошел до Жандармского рынка и через Моренштрассе вернулся к отелю. В киоске на Моренштрассе он купил газету и у себя в номере начал ее читать. Заметив, что всякий раз, когда в коридоре раздаются шаги, он прерывает чтение и прислушивается, остановятся у его двери или пройдут мимо, он спустился в фойе, сел в кресло, стал читать газету, листать журналы, лежавшие на столе, рассматривать лепные украшения на колоннах, панели из ценных пород дерева, люстры. Около шести часов он поднялся наверх, принял ванну, побрился, надел сорочку из оставленных Аримондом, повязал самый скромный галстук и, осмотрев себя в зеркале, остался доволен, что старый вельветовый костюм с накладными карманами все еще ему впору.

Только за ужином Аримонд помог ему разгадать загадку. Ужин вообще проходил приятнее, чем обед, потому что Хайншток внезапно ощутил аппетит и с наслаждением съел венский шницель и жареный картофель. Аримонд заказал бутылку рейнского, обратив внимание Хайнштока на марку и возраст вина. Потом рассказал, что весной был в Судетской области, участвовал в переговорах о присоединении тамошней промышленности к рейху.

— В каких же местах вы там были?—спросил Хайншток.

— В Райхенштайне, Винтерберге, Крумау и еще в нескольких таких же захолустных дырах,—сказал Аримонд.—А что?

— Значит, вы были в Шумава,—сказал Хайншток.—Судеты совсем в другом месте.

— В Шумава?—переспросил Аримонд.—Этого названия я никогда не слышал.

— Это чешское слово, так называют Чешский лес,—сказал Хайншток.

Он охотно рассказал бы Аримонду подробно о географии и населении старой Богемии, но не успел, потому что Аримонд сказал:

— Судеты или Шумава—не важно, но там по крайней мере я услышал о вас.

— Обо мне?—спросил Хайншток.—Обо мне там в лучшем случае могли бы говорить мои сестры, а с ними вы наверняка не встречались.

— Вы себя недооцениваете, мой милый,—сказал Аримонд.—Я как-то сидел вечером в трактире с коллегами, товарищами по профессии или как еще это называется, пировали мы отменно—у вас в Чехии еда превосходная,—и вдруг я услышал разговор двух мужчин, которые беседовали о том, что теперь куда приятнее работать—с тех пор, как некоторые сидят за решеткой. Были названы имена, первым—ваше. «Хайншток,—сказал один из них,—так это же тот самый, что попал в концлагерь еще до вступления наших войск?!» Другой подтвердил. «Он думал, что может запросто отправиться в рейх»,—сказал он и засмеялся. Я вмешался и спросил, о ком они говорят. «Выдающийся специалист,—ответили мне,—но красная собака». Я позволил себе заметить, что сформулировал бы эту фразу наоборот: «Красная собака, но выдающийся специалист».—Он энергичным жестом поставил на стол бокал, из которого собирался пить.—Извините, Хайншток,—сказал он.—Мне не надо было рассказывать вам этого. Вас сегодня уже обзывали зоологическими именами.

Увидев, что Хайншток улыбается, он продолжал:

— Эти господа были очень озадачены, когда я вытащил листок бумаги, записал ваше имя и сказал, что промышленность, собственно говоря, не может терять выдающихся специалистов—это слишком большая роскошь. По отношению к кому-нибудь другому они бы наверняка кое-что себе позволили, может быть, стали бы даже угрожать, но вот это затыкает любую глотку.—Он показал на свой золотой партийный значок.—Руководитель военной промышленности,—сказал он.—Ну, и вот вы здесь,—добавил он.—Больше всего времени ушло на то, чтобы выяснить, куда вас вообще запрятали. А уж потом-то все пошло довольно быстро.

И, переменяв тему, он заговорил о том, что Судетская область—он снова сказал «Судетская область», а не «Чехия» — кажется ему хоть и красивой, но весьма унылой, вслух стал рассуждать о будущем залежей графита и каолина на Верхней Влтаве, дал понять, что уже не очень заинтересован в присоединении промышленности бывшей Чехословакии к рейху, что руководство переговорами по этому вопросу передал другому человеку из имперского объединения нерудной горнодобывающей промышленности. Он приказал подать еще одну бутылку вина. Когда она появилась на столе и, уже открытая, стояла в ведерке со льдом, а кельнер ушел, Хайншток спросил:

— Значит, вы вытащили меня из концлагеря, потому что ищете специалиста по каменоломням, которому к тому же ничего не собираетесь поручать?

Аримонд раздумывал недолго. Он оглядел довольно пустой в этот вечер ресторан «Кайзерхоф», потом сказал, почти не понижая голоса:

— Послушайте, Хайншток, вы же знаете, что мы проиграем эту войну.

— Я ничего не знаю,—быстро ответил Хайншток.— Меня не было почти шесть лет.

— Браво!—воскликнул Аримонд.—Вы не дурак. Я, знаете, все время боялся, что вы окажетесь этаким политическим простаком. Или, что еще хуже, человеком сломленным, от которого мне не было бы никакого проку.

— О каком проке идет речь?—спросил Хайншток.

— Да так,—сказал Аримонд,—собственно говоря, ни о каком. Просто в один прекрасный день мне не повредит, если найдутся несколько человек, которые подтвердят, что я им помог. Вы видите, я совершенно откровенен. Я бы не хотел, чтобы вы считали меня альтруистом.

Если бы в этот момент Хайншток мог видеть себя, то заметил бы, что глаза его—из-за того, что зрачки их сузились,—стали еще более фарфорово-голубыми, чем обычно. Пристально и весело рассматривал он своими фарфорово-голубыми глазами господина Аримонда. Позднее он рассказывал Кэте, что в тот момент, впервые за весь день, почувствовал облегчение.

— По каким бы причинам вы ни вытащили меня оттуда, господин Аримонд,—сказал он,—я вам благодарен.

— Право, не за что,—ответил Маттиас Аримонд.

— В начале июня сорок первого года,—сказал Хайншток,—не так-то просто было предсказать, что войну Германия проигра-

ет. Ведь поход в Россию начался только через две недели.

— И что же,—спросила Кэте,—ты поможешь ему в один прекрасный день, как он помог тебе?

— Конечно,—сказал Хайншток.—Наверняка. Возможно, кое-кто в концлагерях и выживет. Но мне он спас жизнь.

— Золотой партийный значок, руководитель военной промышленности,—сказала Кэте.—Сколько он засадил, чтобы одного вытащить?

— Я расспрашивал людей. Ему вручили золотой значок просто для престижа. Ни от кого я не слышал, чтобы за ним числились какие-нибудь подлости.

— Он давал деньги. Он помогал все это финансировать. Ему, вероятно, пришлось здорово раскошелиться, иначе он не получил бы этого значка. И такого типа ты собираешься выручать!

— Но он не фашист, скорее наоборот. Он приспособился, он принял условия игры, увидев, какой оборот принимает дело. Он гангстер. Понимаешь? В своей абсолютно чистой форме капитализм—это система гангстерских синдикатов, они получают барыши, они вступают в сговор, но своей идеологии у них нет, они, собственно говоря, ненавидят всякую идеологию, потому что она мешает им обдѣлывать свои делишки.

— Вот к каким выводам приводит тебя твой марксизм,—сказала Кэте.—Иногда мне кажется, что марксизм—это только метод, позволяющий все объяснять.

— Да, все объяснять,—сказал Хайншток,—но не все прощать. И тем не менее я помогу Аримонду, если понадобится. Ты просто не представляешь себе, что со мной творилось в тот день, когда меня выпустили из лагеря, когда я сбросил полосатую робу...

— Отчего же,—перебила его Кэте,—это я понимаю.

— Я тебе вот что скажу,—продолжал Хайншток,—Аримонду не потребуется моя помощь. Поскольку революции не будет и поскольку с точки зрения буржуазной юрисдикции преступлений он не совершал, Аримонд просто останется у власти.

Хайншток увидел выражение недовольства на лице Кэте—она перестала возражать, у нее пропал интерес к этому разговору.

Тогда ночью он не мог уснуть. Часов около двух он подошел к окну, поднял маскировочные шторы, посмотрел на темную Вильгельмплац, различил черную приземистую глыбу рейхсканцелярии, справа от нее глыбу повыше—министерство пропаганды, железные памятники, словно серые тени под окном. Давно уже прошли те времена, когда кто-либо, глядя из окна «Кайзер-



хофа», думал: вот дворец Шуленбурга, или: вот дворец Ордена иоаннитов, или: Шверин, Ангальт-Дессау, Винтерфельдт, Кайт, Цитен, Зайдлиц. Во всяком случае, Хайншток, вне своей профессии каменотеса будучи человеком сугубо политического склада, уже и мысленно не произносил слово «Пруссия», а только — «фашизм»; впрочем, может быть, он и об этом не думал, может быть, в ту ночь 6 июня еще не превращенная в руины Вильгельмплац представлялась ему мрачной, тонущей в ночной мгле каменоломней истории; потом, надев пижаму господина Аримонда, он лежал в постели «Кайзерхофа», не веря внезапной перемене в своей жизни, а потом, будучи все же человеком политически достаточно закаленным, чтобы сознавать, что и в эту ночь, как и в предыдущую, он находится в логове фашизма, неподвижно смотрел на серый прямоугольник окна. Он забыл снова опустить светомаскировочные шторы.

Приблизительно раз в полгода Аримонд являлся к Хайнштоку. В один из октябрьских дней 1942 года, похожих на октябрьские дни 1944-го — та же прекрасная погода, легкая осенняя дымка светлой вуалью прикрывала винтерспельтский карьер, под которым они стояли, только войны в этих местах еще не было, не то что теперь, когда она казалась невидимой лишь благодаря стратегии майора Динклагге, — в один из таких дней Аримонд, широким жестом правой руки как бы обрисовывая контуры каменоломни, сказал Хайнштоку:

— Так вот, если хотите, она может быть вашей.

Могло показаться, что эти слова — лишь одна из внезапных идей Аримонда. Во всяком случае, не было прямой связи между этими словами и тем спором об общественных системах, который они только что вели в хижине. Они привыкли устраивать диспуты о капитализме и коммунизме, в ходе которых Хайншток твердой теорией поверял расплывчатые аргументы практика Аримонда и отвергал их.

Бесчисленные горизонтальные морщинки на лице Хайнштока слегка сдвинулись вверх, но рот оставался неподвижной тонкой полоской. Глаза, эти маленькие голубые камушки, стали еще меньше, чем обычно. Он не удостоил Аримонда ответом.

— Я не собираюсь вас разыгрывать, — заметил Аримонд.

— Предположим, я хотел бы ее приобрести, — сказал Хайншток, вдруг догадавшись, что собеседник говорит серьезно, и ошеломленный невероятными возможностями, которые таились в этом предложении. — Не могли бы вы в таком случае открыть мне секрет, где я возьму на это деньги?

— В банке,— мгновенно ответил Аримонд.

Хайншток сухо засмеялся.

— Вы же знаете, что у меня нет денег в банке,— сказал он.

— У меня такое впечатление, что я разговариваю с первобытным человеком,— сказал Аримонд.— Так вот: мы заключим договор о купле-продаже. Я вам продам каменоломню за двадцать пять тысяч рейхсмарок. Завтра утром мы отправимся в окружную сберегательную кассу в Прюме, которая на основе этого договора даст вам деньги.

— Вот так просто и даст!

— Не так просто, а за восемь процентов годовых, которые вы будете выплачивать дважды в год. Раз в полгода вам придется вносить тысячу марок. Вы это сможете делать, Хайншток, из того жалованья, которое я вам плачу и которое, конечно, буду платить и впредь, потому что вы, надеюсь, будете следить и за остальными каменоломнями.

— Вы хотите меня убедить, что окружная сберкасса в Прюме предоставит кредит в двадцать пять тысяч рейхсмарок на приобретение бездействующего карьера?

— Она предоставит его, чтобы вы в обозримом будущем сделали эту лавочку действующей. А кроме того, я дам вам поручительство.

— Ага,— сказал Хайншток.— В таком случае каменоломня будет принадлежать, во-первых, банку, а во-вторых, по-прежнему вам.

— Ох ты, господи,— сказал Аримонд,— пойдите к любому предпринимателю — здесь у нас или где угодно — и поинтересуйтесь, обходится ли он без банковских кредитов и поручительств. А потом справьтесь у него, чувствует ли он себя от этого менее предпринимателем. Главное, чтобы предприятие было рентабельным. Рентабельным оно должно быть, Хайншток! Чем рентабельнее станет со временем ваша каменоломня, тем больше кредитов вы будете брать. Чтобы расширять ее, делать еще более рентабельной! Я всегда знал,— добавил он,— что вы, коммунисты, понятия не имеете об экономике.

Он стал ругать Хайнштока, сказал, что, вместо того чтобы забивать себе голову мыслями о том, кому будет принадлежать право владения карьером, Хайншток должен был бы поторговаться с ним, но он, Аримонд, это предусмотрел и потому назначил предельно низкую цену, хотя, с другой стороны, и не слишком низкую; 25 тысяч винтерспельтская каменоломня стоит в настоящий момент, но позднее, когда Хайншток начнет ее эксплуатировать, окажется, что эта сумма была сущим пустяком;

он, Аримонд, даже думать не желает, сколько может дать винтерспельтская каменоломня, а иначе он взял бы свое предложение обратно.

Это была ложь. Оба они были достаточно компетентными специалистами и знали, что винтерспельтская каменоломня могла выдавать лишь ограниченное количество высококачественного камня, из которого делают подоконники, дверные карнизы, лестничные марши и тому подобное, что никогда из добываемого здесь бутового камня не будут строить дома и никогда эта каменоломня, в отличие от других, не будет поставлять такое массовое сырье, как щебень, строительный цемент, цементный известняк. Даже при налаженной эксплуатации винтерспельтской каменоломни потребуется не больше десятка рабочих. Для господина Аримонда это ерунда, мелкая рыбешка.

Углубившись в свой профессиональный разговор, глядя на каменную стену, уже скрытую тенью, которая приближалась и к ним, но их еще не достигла, стояли они рядом, два одинаково невысоких человека, освещенные светом этого октябрьского дня без войны, потому что, если не считать воздушных налетов на немецкие города, война тогда бушевала еще в степях восточнее Дона, на море между Исландией и Мурманском и у границ Египта, но не здесь, не в этом краю сумрачных деревень, хуторов, лесов, безмолвие которых нарушалось лишь криками канюка, краю, где скоро все покроется снегом; так что эти два подружившихся человека, один с шелковыми белыми волосами, отражавшими свет, другой с поглощавшими свет серостальными—они у него уже успели отрасти, но Хайншток оставил их короткими,—еще могли вести деловой разговор, переходя от проблемы движения капитала и кредитного баланса к проблемам обработки ракушечника остиолатового горизонта. Будущий майор Динклаге тогда еще был обер-лейтенантом в Киренаике, Шефольд занимался во дворце Лималь изучением творчества одного из мастеров фламандской миниатюры XIV века и не подозревал о существовании Хеммереса, и даже Кэте Ленк еще не появилась в Винтерспельте, а ходила по Берлину, брала уроки английского (каждую пятницу вечером) у фройляйн Хезелер на Доротеенштрассе и часто встречалась со своим тогдашним другом Лоренцем Гидингом.

На следующий день Аримонд и Хайншток поручили нотариусу Нёггесу в Прюме составить договор о купле-продаже, подписали его и отправились с этим документом в окружную сберегательную кассу, директор которой, получив поручительство Аримонда, санкционировал кредит—денег этих Хайншток

так и не увидел, ибо с помощью простейших бухгалтерских операций их перечислили на счет акционерного общества «Туф и базальт» в Майене; в тот же день они посетили бюро инвентаризации земельной собственности и подали ходатайство о переводе участка площадью ровно в два гектара севернее дороги из Винтерспельта в Бляйальф на имя Венцеля Хайнштока.

— Почему этот Аримонд попросту не подарил тебе свою каменоломню? — спросила Кэте Ленк, когда Хайншток рассказал ей эту историю.

— Он об этом говорил, — сказал Хайншток. — Он сказал, что такой подарок был бы нарушением добрых купеческих обычаев. «Кроме того, — сказал он, — если бы я подарил вам эту кучу камней, вы бы не чувствовали себя обязанным превратить ее во что-то стоящее». Впрочем, в качестве подарка я бы и сам ее не принял, — добавил Хайншток.

Но он готов был признать, что из диспутов о капитализме и коммунизме Аримонд вышел победителем, причем с помощью средства, которое философски образованная (интеллектуальная) Кэте назвала «индуктивным умозаключением» («установление общих правил и законов через частные факты, познание на основе опыта»): ему удалось сделать Хайнштока если не капиталистом, то, во всяком случае, собственником определенного вида полезных ископаемых.

Возможно ли, что Аримонд помог Хайнштоку стать владельцем винтерспельтской каменоломни не потому, что хотел довести *ad absurdum*<sup>1</sup> его марксистские убеждения, а совсем по другой причине: он заметил, что об этом известняковом карьере человек из Чехии говорит другим тоном, иначе, чем об остальных участках, за которыми должен был следить? Или он как-нибудь тайком, внезапно нагрянув, наблюдал за Хайнштоком, когда тот, закулив трубку и прислонившись к каменной глыбе на заброшенной площадке под утесом, рассматривал светлую стену, где ничего нельзя было разглядеть, тем более человеку, который жил под нею уже не один день? Этого мы не знаем и не можем судить о характере и причинах проявленной Маттиасом Аримондом чуткости. С прошлой зимы он больше не показывался в округе Прюм, по-видимому, у него было хлопот по горло — надо было подготовить имперское объединение нерудной горнодобывающей промышленности, собственные предприятия и самого себя к

---

<sup>1</sup> До абсурда (лат.).

тому, что он предсказывал еще в июне 1941 года, а такая штука, как близость фронта, была ему—это можно предположить—весьма и весьма не по вкусу.

«Средний девон. Кувенский ярус. Лаухские пласты. Песчаные породы имеются только с северо-восточного края мульды, от Мюльбаха до Дуппах. Речь идет о светлых, зеленовато-серых и голубоватых, частично рыхлых, тонкослойных, распадающихся сланцах. Только у кровли Лаухских пластов, на северной кромке, появляются известняки. Фауна весьма богатая; наряду с брахиоподами обильно представлены, особенно в песчаных пластах, моллюски, которые кажутся прикрепленными к этим песчаным фациям. Известняки имеются в западной части северного крыла (Винтерспельт?! ) и в южном крыле. Светло- и темно-голубые, содержащие песок, частично шпат, богатые окаменелостями известняки перерабатываются в больших каменоломнях (как Роммерсхайм, под Эльвератом и Оберлаухом) в строительные материалы. Содержание железа очень высокое и заметно по интенсивной голубой окраске, которой соответствует столь же интенсивный бурый цвет при выветривании. Шероховатая поверхность пород связана с выветриванием. Пласты, толщиной до 30 см, обнаруживают преимущественно скорлуповатое выветривание, и при пробивании хорошо заметны обесцвеченные—от периферии к центру—кружки. Имеются вкрапления темных сланцевых мергелей» (Хаппель, Ройлинг. Геология Прюмской мульды. Труды Зенкенбергского естествонаучного общества. Франкфурт-на-Майне, 1937).

Во всем этом прежде всего интересно было следующее: Людвиг Хаппель и Ганс Теодор Ройлинг, как указывалось на титульном листе, доктора геолого-палеонтологического факультета Франкфуртского университета, в те годы, когда он, Венцель Хайншток, был заключенным концлагеря Ораниенбург, безмятежно исследовали геологию Прюмской мульды. То есть существовала наука, которая развивалась, не переkreщаясь с политикой, более того: совершенно независимо от нее, и, что самое невероятное: против этого нечего было возразить. Вполне возможно, что Людвиг Хаппель и Ганс Теодор Ройлинг были еще и членами национал-социалистской партии или, наоборот, подпольщиками, борцами против господства этой партии, но в этом качестве они представляли, так сказать, сугубо приватно; впрочем, можно предположить, что они держались в стороне от всякой политики и их роль определяется только тем, что они выделили

четыре яруса девона Прюмской мульды и точно указали их местонахождение. Хайнштока, который знал, насколько тесно зависит наука от общественных перемен, неприятно задела мысль, что труд и история могут существовать независимо друг от друга. Он сразу же отогнал эту мысль.

Ему следовало быть благодарным Хаппелю и Ройлингу. Пока он сидел в концлагере, они изучили природу кувенского яруса среднего девона, так что теперь он мог разобраться в особенностях винтерспельтской каменоломни и объяснить самому себе, почему он так внимательно рассматривал ее или изучал ее строение, вследствие чего ему приходилось вновь и вновь менять подгнившие перекладки лестницы.

Несмотря на условную форму фразы: «Предположим, я хотел бы ее приобрести», Хайнштоку едва ли удалось скрыть, что он уже клюнул на приманку, которую держал перед ним Аримонд. Но почему он клюнул, почему был так захвачен невероятными возможностями, когда понял, что Аримонд, этот слабый теоретик, но тонкий психолог и искуситель, говорит всерьез? Не отрекался ли он? Нет, не так: не предавал ли он тем самым то, что понял тридцать лет назад, глядя на геологически очень похожую стену? И потому не был ли вопрос Кэте, заданный после того, как он заявил, что в качестве подарка он бы этот участок не принял, весьма уместен: «Почему же ты вообще его принял?»

На этот вопрос он не ответил, только пожал плечами, не стал рассказывать Кэте, как он, вернувшись из Прюма с договором в кармане, испытал поистине детскую радость, даже бросился ощупывать стену, приговаривая, что теперь она принадлежит ему.

«Самую высокую часть этого древнего горного массива Э. Зюс предполагает в районе Вогез и в нынешнем Фогтланде, обиталище древних варисков, потому-то он и назвал все это варисцийской складчатостью. В последующие, безмерно долгие периоды истории земли горный массив медленно, но непрерывно подвергался разрушению. Снова и снова море наступало на массив или отдельные его части и обтесывало их до основания, так что горы превращались в слабо расчлененную равнину, где после очередного отступления моря водные потоки прокладывали долины и в результате выветривания выступали твердые породы, так что теперь они возвышаются над мягкими в виде более или менее выраженных горных хребтов. Множество раз трескалась земная

кора, гигантские глыбы спускались в низины и поглощались морем, которое откладывало на них свои породы, закрывая их. В результате этих процессов сегодня мы видим лишь отдельные остатки основания бывших Варисцийских Альп, выделяющиеся на фоне более новых образований. К этим остаткам принадлежат, в частности, Судеты, Рудные горы, Гарц, старые горные породы Шварцвальда и Вогез и так называемые Рейнские Сланцевые горы. Частью последних и является Эйфель» (Проф. д-р Хольцапфель. Геологический эскиз Эйфеля. Изд. Эйфельским обществом, Трир, 1914).

Часть которого в свою очередь, в соответствии с существующими нормами буржуазного права, принадлежит ему, Хайнштоку. Возвысившаяся из Тетиса, этой системы древних морей, скала, пласт, образованный из окаменелых морских лилий, плеченогих, кораллов, аммонитов и крошечных ракушковых, насчитывающие миллионы лет осадочные горные породы, высящиеся на фундаменте из еще более древних пород,—теперь это его собственность, плюс один-два гектара известняковых пастбищных земель с редкой флорой—чертополох без стеблей, ятрышник, любка и дикая гвоздика, а также несколько сосен на самом верху, под широкими кронами которых он может стоять и наблюдать, что происходит вокруг его горы.

Вот дальнейшие размышления Хайнштока, приводимые здесь лишь в самых общих чертах.

Историю следует рассматривать как напластование осадочных горных пород.

Войны, революции—как складкообразование, процесс смятия пластов горных пород. Теперь самое важное, чтобы началось тысячелетие спокойного залегания пластов, которому ничто не помешает. Благое пожелание.

Он питал неприязнь к метаморфическим породам из недр Земли, а также к вулканам. Осадочные пласты, слоистые горные породы, лучше всего—образованные живыми существами, органические породы—вот что нужно.

Марксизм—тоже пласт (геологический).

Из геологической экспертизы, составленной когда-то по заказу Аримонда, он установил, что известняки винтерспельтской каменоломни содержат в качестве минералогических составляющих кальцит и доломит, а также вкрапления глинистых минералов—кварц, гидроокиси железа и битум. Он сразу же задался вопросом, какие составные части марксизма существенны,

а какие представляют собой вкрапления.

Несмотря на принятое им личное решение (в пользу владения винтерспельтской каменоломней), он принадлежал к марксистскому слою. Геологи будущего нашли бы его в этом слое («Я коммунистическая свинья»). Правда, они вряд ли возвели бы его в ранг руководящей окаменелости.

«Каледонское горообразование на границе между силуром и девоном подняло из моря северный континент, который на востоке тянулся до Богемии, а на западе — до северо-западной Германии. Арденны образовывали остров, как, впрочем, и так называемый Алеманский остров, который тянулся от Центрального плато, включал Шварцвальд и доходил почти до Богемии... Судетская складчатость означала конец так называемых граувакковых формаций и начало нового большого горообразования, того самого, которое присоединило к каледонской старой Европе новый венок горных хребтов: так называемые варисцийские горные хребты. Варисцийская складчатость, в которую впились гранитные массы, часть за частью присоединялась к южному краю северного континента. Мы находим ее следы в южной части Англии, в Бретани и Нормандии, в Рейнских Сланцевых горах и в Гарце, в восточной Тюрингии и западных Судетах... Как северный ствол с севера, так южный ствол опоясывает богемский стержень с юга и юго-востока» (Проф. д-р К. фон Бюлов. Геология для всех. Издание 9-е, Штутгарт, 1968).

Хайншток установил, что данные Хаппеля и Ройлинга подтверждаются. Известняки винтерспельтского карьера имели светло- и темно-голубую окраску. Шероховатая поверхность пород объяснялась выветриванием частичек верхнего слоя. Попадались и вкрапления темных, сланцевых мергелей. Фауна была весьма богатая; наряду с брахиоподами широко были представлены, особенно в песчаных пластах, моллюски. Свежевыломанные камни часто отливали темно-синим цветом из-за содержащегося в них мелкораспыленного сернистого железа. Выветриваясь, они становились столь же интенсивно бурыми. Прекрасные старые дома из бутового камня, которые он еще сравнительно часто встречал в этих местах, все были построены из материалов, добытых в винтерспельтском карьере. Хайншток узнал, что каменоломня эксплуатировалась еще в XVII веке. С 1932 года работы в ней не велись; мировой экономический кризис расправился и с ней. Поскольку здесь можно было добывать только камни неправильной формы, плохо поддающиеся обработке, она



не ожила даже в период подъема, вызванного сооружением Западного вала,—так рассказывал ему Маттиас Аримонд.

Когда тот поручил ему наблюдение за своими каменоломнями на западе округа Прюм, Хайншток выбрал эту светло-серую стену, иначе говоря, поселился в домике, предназначенном для рабочих винтерспельтской каменоломни. В остальных каменоломнях имелись мощные пласты доломитов, плиточного известняка или песчаника с содержанием кварца; эти карьеры были более ценными и до зимы 1940/41 года, когда и в них работы были прекращены, поставляли отличный строительный камень, цемент, дорожную щебенку. Хайншток выбрал винтерспельтскую каменоломню, во-первых, потому, что она находилась западнее других, ближе всего к границе; во-вторых, потому, что она лежала в стороне и давала возможность широкого обзора местности; в-третьих, потому, что она была очень похожа на тот известняковый карьер под Аусергефилдом, где он в течение трех лет изучал свое ремесло. В этой каменоломне он нашел фации тех же пород, какие обрабатывал в Чехии, и когда он поднимался к себе на гору и смотрел на Шнее-Эйфель, представлявший собой такую же гряду останцев из кварцита, как те, что располагались между Винтербергом и Оберпланом, когда следил взглядом за убегающими вдаль линиями покрытых лесами Арденн, спокойно, величественно простиравшихся друг за другом, такой же девонской цепью поднимаясь к Высокому Фенну, как лесистые холмы Аусергефилда и Срни к Миттагсбергу, ему казалось, что он спит и видит сон: он в Чехии.

Конечно, имелись и различия. Арденны были как бы более стертые, а потому более пологи, чем Чешский лес. Известняковые мутьды, в которых лежали деревни, были обширнее, нежели выкорчеванные островки Шумавы. Воздух был атлантический, более влажный, по сравнению с тем воздухом, которым дышал в юности Хайншток и который казался ему временами таким неподвижным, что у него возникало чувство, будто планета остановилась.

Маттиас Аримонд платил Хайнштоку 800 рейхсмарок в месяц за то, что он приглядывал за его заброшенными каменоломнями, другими словами: ничего не делал. Хайншток имел большие полномочия, поэтому для инспекционных поездок ему был предоставлен старый, но надежный «адлер»; он был один из немногих штатских в округе Прюм, кто на шестом году войны имел разрешение пользоваться автомобилем. За четыре года, проведенных в этих местах, он собрал примечательную коллекцию окаменелостей; самыми роскошными экземплярами в ней

были девонский, то есть очень древний, аммонит «климения», трилобит с большим фасеточным глазом и штуф с двадцатью четырехлучевыми кораллами, который он нашел на железистом горизонте одной из Лаухских каменоломен.

Кэте часто с восхищением смотрела на эту коллекцию. Но когда Хайншток хотел однажды подарить ей особенно красивый экземпляр — окаменелую чашечку морской лилии, она отказалась.

— Для меня она слишком тяжела. Знаешь, когда я буду уходить отсюда, багаж мой должен быть легким. Я не смогу тащить с собой камни, — сказала она.

### **Уточнение главной полосы обороны**

Вид с верхней точки каменоломни, принадлежащей Хайнштоку, приблизительно такой же, как с Урберга — холма, расположенного двумя километрами западнее, у проселочной дороги из Винтерспельта в Ауэль. Дорога между Винтерспельтом и Бляйальфом пересекает, правда, ряд холмов и долину реки Ирен, однако поблизости от нее нет ни одной высоты, похожей на Урберг. И описанной каменоломни там не обнаружишь; весьма маловероятно, чтобы кувенский ярус среднего девона существовал так далеко к западу от Прюмской мульды. Поросшая лесом долина, которую использует Шефольд, чтобы из Хеммереса обойти немецкие линии, несколько напоминает долину Ирена, однако Ирен впадает в Ур уже в километре выше Хеммереса. К тому же у Хеммереса Ур течет не через ущелье; только западный берег представляет собой обрывистый крутой склон, к востоку же тянутся хотя и высоко расположенные, но полого поднимающиеся пастбища. А вот хутор Хеммерес (тогда бельгийский) действительно был уединенным, каким он и запечатлелся в памяти; с тех пор он превратился в небольшую деревушку, которая уже перестала быть уединенной; деревянный мост и железнодорожный виадук исчезли. (До 1918 года Хеммерес был немецким, с 1918 по 1940 — бельгийским, с 1940 по 1945 — немецким, с 1945 по 1955 — бельгийским, в 1955 году Бельгия уступила его Федеративной Республике Германии.) Маспельт и его окрестности, где находится капитан Кимброу, изображены довольно точно. Самым большим изменениям подвергся Винтерспельт; деревня под таким названием лежит вовсе не в известняковой мульде, а в стороне — на холмистой местности, в районе западного склона Эйфеля, ближе к предгорью Арденн. Моделью

для Винтерспельта послужила деревня в восточной части округа Прюм. И, наконец, следует признаться, что даже линия фронта с исторической точки зрения воспроизведена неточно. Осенью 1944 года Винтерспельт находился вовсе не в руках немцев, а уже в руках американцев, в начале Арденнской битвы он был, по-видимому, у них отобран и в январе 1945 года снова захвачен ими. И если в начале октября мы еще оставляем американцев на западном берегу Ура, то лишь ради того, чтобы придать плану майора Динклаге большую топографическую достоверность. В отличие от истории, повествование (эта игра на ящике с песком) может позволить себе такую неточность.

### ***Конец главы о вороньем гнезде***

*12 октября 1944 года (четверг), вскоре после полудня.* Как раз в тот момент, когда Хайншток решил сойти вниз, он увидел Кэте, которая осторожно спускалась на велосипеде по песчаной ленте дороги. Отправляясь к Хайнштоку днем, она ради экономии времени одалживала у Терезы Телен велосипед, а сегодня Кэте, конечно, особенно торопилась. Ей приходилось быть внимательной, чтобы не наскочить на камень, поэтому она не могла заметить Хайнштока, махавшего ей сверху рукой. Он поспешил вниз, чтобы оказаться у хижины одновременно с ней.

## **Донесение о чрезвычайном происшествии на посту**

Хотя все утро Райдель размышлял о том, какие последствия может иметь для него рапорт Борека, он сразу же заметил среди сосен наверху какое-то движение, легкую тень, едва различимое цветное пятно, на которое мгновенно отреагировала его сетчатка. Светло-карие, почти желтые глаза Райделя даже не сузились. Они были настолько зоркими, что он редко щурился, вглядываясь в какой-либо предмет. Правой рукой, даже не шелохнувшись, Райдель подтянул карабин к бедру. У него еще оставалось время проверить, не выступает ли его каска над краем окопа, в котором он стоял, когда цветное пятно, мелькнувшее среди сосен, обрело четкие контуры—показался человек; он остановился и оглядел местность—лишенный деревьев пологий склон, лишь кое-где поросший можжевельником. Человек этот был в штатском, и выглядел он так невероятно, что Райдель буквально обалдел. Поскольку, однако, он терпеть не мог, когда его заставляли врасплох, и всегда бдительно следил за тем, чтобы ни в коем случае не остаться в дураках, он сразу же начал строить тактические предположения. Он очень надеялся на появление американского патруля, человек трех, с которыми управился бы тремя быстро следующими один за другим выстрелами в колени. Тогда он мог бы взять их в плен. Он сам пошел бы с санитарями и сдал раненых на КП батальона в Винтерспельте. Столь ловко проведенная операция была бы отмечена в приказе по дивизии; тем самым было бы покончено с рапортом

Борека. Но на такую удачу рассчитывать, конечно, не приходилось. Вероятно, какой-нибудь крестьянин из Винтерспельта или Вальмерата, движимый желанием взглянуть на свои хлебные поля, которые ему не разрешали обрабатывать, поскольку здесь, когда урожай уже был убран, прошла главная полоса обороны, заблудился и забрел на передний рубеж охранения. Но и это было маловероятно. Крестьяне хорошо ориентируются. Здесь вообще все было маловероятно. Ни ему, ни кому-либо другому из его роты не приходилось еще докладывать о чрезвычайном происшествии во время пребывания на посту, хотя бы о самом пустяковом. Только ежедневные налеты истребителей-бомбардировщиков да артиллерийские залпы на севере, приглушенно доносившиеся в ранние утренние часы,—это американцы пытались прорваться к дамбе, перегораживающей долину Урфта,—напоминали им, что идет война. Последние двенадцать дней—с тех пор, как Райдель снова находился на фронте,—он не слишком усердствовал, не то что недавно в мирной Дании, где тупая гарнизонная служба, налаженная командиром батальона, этим хромоногим кавалером Рыцарского креста, напоследок стала изрядно действовать ему на нервы. Сосунки вроде Борека не верили ему, когда он говорил, что на фронте будет куда легче.

И то, что сейчас перед окопом Райделя со стороны противника появился высокий и полный господин в свободном пиджаке из мягкого серо-коричневого материала, в выгоревших брюках, белой рубашке и галстук самого настоящего огненно-красного цвета, было не только невероятно, а просто невысказуемо. Верхняя пуговица рубашки у незнакомца была расстегнута, узел галстука ослаблен, через правое плечо небрежно перекинут светлый плащ. На крупном пунцовом лице выделялись пегие английские усики. Поскольку одним из свойств Райделя было считать реальным все, что он видит, он сразу же отогнал мелькнувшую у него мысль, что нельзя верить своим глазам. Прежде чем действовать, он решил составить мнение о незнакомце. Он выждал, пока тот, остановившись на опушке, в тени серо-голубых сосен, закурит сигарету. Возможно, все было наоборот; возможно, Райдель позволил человеку закурить сигарету не потому, что хотел составить мнение о нем, а наоборот: поскольку тот стал закуривать сигарету, Райдель решил составить мнение о нем. Не прищуриваясь, он следил своими чрезвычайно зоркими глазами за движениями этого господина: вот он сунул левую руку в карман пиджака, достал пачку сигарет и зажигалку, какое-то время спокойно подержал оба предмета в руке, не глядя на них, и только после паузы, показавшейся Райделю бесконечной,

правой рукой вытащил из пачки сигарету, зажал ее губами, мгновенно поменял местами зажигалку и пачку с сигаретами, какой-то миг сосредоточенно глядел на пламя маленькой серебристо-черной зажигалки и только потом, опустив эти предметы в карман пиджака, снова стал осматривать местность. Райдель отметил, что все движения прищельца отличались легкостью, хотя человек этот был очень массивен. Массивность — вот точное для него определение. Он вовсе не был толстым, не имел живота, тело его было именно массивным, но это не мешало ему совершать обычные движения легко, свободно. Райдель обостренно чувствовал красоту мужской пластики и потому не мог потревожить незнакомца, закуривавшего сигарету.

Он сделал два вывода: во-первых, незнакомец совершал прогулку, во-вторых, принадлежал к категории «клиентов». Он вел себя как человек, который во время прогулки остановился закурить, — стало быть, он действительно прогуливался. Но так как 12 октября 1944 года в главной полосе обороны, на участке фронта в Эйфеле, не было гуляющих — их не только не могло быть, их просто не существовало в природе, — то что-то тут было не так. И значит, человек, появившийся со стороны противника и приближавшийся к передовым постам, как бы непринужденно он себя ни держал, прежде всего и при всех обстоятельствах внушал самое серьезное подозрение.

Слово «клиент» имело для Райделя свой особый смысл. Он был сыном хозяина эльберфельдской гостиницы, отец заставил его досконально изучить гостиничное дело, причем в отеле первой категории в Дюссельдорфе, так что в результате Райдель приучился делить людей на «клиентов» и тех, кто их обслуживает. Он не сомневался в том, что человек, за которым он наблюдал, принадлежит к категории клиентов, останавливающихся в гостиницах высшего класса. Сразу же, с первой секунды своего появления, тот произвел на Райделя впечатление истинного аристократа, барина, и не только потому, что — если не считать огненно-красного галстука — был одет со столь неброской элегантностью.

Лишь придя к определенному выводу или просто насмотревшись вдоволь, Райдель поднял карабин, но не молниеносно, как намеревался, а очень медленно, очень осторожно. Незнакомец, скрестив руки на груди, уже не рассматривал лежавший перед ним склон, а вглядывался в даль. Время от времени он подносил ко рту сигарету, выпускал дым. Наконец он бросил окурочек. Когда оружие было у Райделя на уровне бедра, он быстро передернул затвор. Короткий металлический и очень громкий звук рычага,

засылающего патрон в ствол, ворвался в тишину прекрасного безветренного октябрьского дня. Райдель пожалел, что винтовку нельзя бесшумно снимать с предохранителя и ставить на боевой взвод. Расстояние между его окопом и соснами на холме он уже не раз измерил шагами. Он знал, что расстояние между ним и незнакомцем составляло тридцать метров.

Когда Шефольд выходил из лесу в долину южнее Хеммереса — обычным, рекомендованным Хайнштоком путем через линии немецкой обороны, — перед ним открывались пейзажи, знакомые ему по картине создателя тибуртинской Сивиллы. Характерные контуры, уходящие в перспективу и полные очарования уступы холмов, луга и лиственный лес — все это в точности соответствовало несколько суховатой живописи «Распятия», висевшего у ван Реетов в замке Лималь. Даже известняковая каменоломня Венцеля Хайнштока, белая и величественная, была изображена на этой картине, в правом ее углу. Шефольд всякий раз радовался поразительному сходству действительности и изображения, ибо оно напоминало ему, что из всех старинных работ, хранящихся в Институте Штеделя, картина, на которой тибуртинская Сивилла возвещает императору Августу о рождении Христа, нравилась ему больше всего. Кстати, у него был собран весь материал, позволявший исправить имя автора, установленное Фридендером. Поскольку Шефольд знал каждую картину в восточной Бельгии и Люксембурге — знания эти, кстати, спасли ему жизнь, — он почти не сомневался, что автором картины является некий Алберт ван Ауватер, который работал вместе с Дирком Баутсом в конце XV века в Лувене, или Лёвене, неподалеку отсюда. Прав он был или нет, но то, что во время своих первых прогулок по немецкой земле он оказался среди пейзажей мастера, которому великий Фридендер дал имя по одной из картин Института Штеделя, Шефольд рассматривал как знак своего удачного возвращения на родину. В его профессию входило верить в знаки. Хайншток неизменно предостерегал его. словно обладая способностью читать мысли, он однажды сказал:

— Вы вернулись слишком рано, господин доктор Шефольд. — И добавил: — Вы слишком много расхаживаете здесь. Побудьте еще несколько месяцев в Хеммересе! Там вы в безопасности.

Шефольду уже надоело быть в безопасности. Несколько крупных собирателей, владельцев коллекций в Бельгии, прятали его в своих замках, в своих городских дворцах; им казалось естественным защитить такого человека, как он. Его передавали знакомым — после оккупации Бельгии в 1940 году он жил по

очереди в Антверпене, Турне, Динане, потом в Валькуре, Комине и, наконец, в замке Лималь. Его снабдили даже бельгийским паспортом; ему не надо было бояться внезапных проверок со стороны вермахта, он мог бы свободно ходить повсюду — но он отказался, не из страха, а чтобы не подвергать опасности тех, чьим гостеприимством пользовался. Он составлял каталоги коллекций и библиотек, производил экспертизы. Сидя в частных архивах, окруженный гербами, картинами и первыми изданиями, он признавался себе, что эта призрачная жизнь в старых домах ему нравится. Торсы башен, ярусы фронтонов, жилища кастелянов, внутренние дворики из серого бентхаймского камня — в Хеммересе эта его тайная жизнь казалась ему тончайше выполненной гризайлью. Кроме того, везде была превосходная еда. Шефольд утверждал, что за хороший гуляш способен убить брата Авеля. У него не было брата. Он был единственным сыном франкфуртского участкового судьи.

С весны ему не сиделось на месте. Вести из Италии и с Украины подтверждали, что исход войны предрешен. После высадки союзников и битвы под Минском он уже не мог оставаться в Лимале. Господин ван Реет предостерегал его; как теперь Хайншток, он советовал не выходить слишком рано из укрытия, но Шефольда невозможно было удержать, он отправился в восточные пограничные области, некоторое время продержался у друзей ван Реета в Мальмеди, наблюдал за отступлением немецких войск, бродил в Арденнах, в буковых лесах. Как и все, он переоценивал темпы продвижения американцев и ждал их с нетерпением. От нетерпения он поселился в Хеммересе, что было крайне легкомысленно с его стороны. Однажды он был в Маспельте, соблазнился близостью Ура и решил осмотреть пограничную речку. Оказавшись на западной цепи гор над долиной, он увидел на немецком берегу два белых домика. Мужчина колот дрова, женщина сновала между домами, ребенок пас коров на лугу у реки. Может быть, Шефольда пленил деревянный мостик, который вел через мелководную черную речушку к домам. Он заговорил с человеком, коловшим дрова. С тех пор он там и поселился. Вероятно, их согласие длилось бы недолго, через какое-то не слишком отдаленное время хозяин попросил бы его исчезнуть или просто выдал бы его, но события развернулись очень быстро, американцы заняли Маспельт, немцы отошли за высоты на восточном берегу Ура. С середины сентября хутор Хеммерес находился на ничейной земле. Меж холмов, обрамлявших долину, два белых домика напоминали как бы взятую войной в скобки фразу о мире. Шефольд поздравлял себя.



Он выбирал вслепую, но выбрал правильно. Кроме того, его наполняло удовлетворением, что он вернулся на немецкую землю не в эскorte союзнических войск, а значительно опередив их. Это чувство удивляло его. С 1937 года, со времени своего бегства из Франкфурта, он отучал себя любить Германию. Слово «родина» не таяло у него на языке, в лучшем случае оно имело вкус крупинки соли.

Еда и в Хеммересе была отличная. Хозяева даже разрешали ему самому готовить, недоверчиво пробуя непривычные блюда, которые он приготавливал из мяса, яиц, картофеля, овощей. Время от времени он бывал в трактире в Сен-Вите, но не ради того, чтобы поесть — еда была там скверной, — а потому, что влюбился в официантку. Шефольд, 1900 года рождения, мужчина сорока четырех лет, еще не знал женщин, был вечно влюблен в какую-нибудь из них, притом долго и страстно; его принципом было не обнаруживать своих чувств ни единым взглядом, ни единым словом. Он называл себя радикальным последователем Стендаля. Всю первую половину 1944 года он был влюблен в жену ван Реета, семнадцатилетнюю девчонку из семьи брюссельских мелких буржуа: ее формы господин ван Реет открыто сравнивал с рубенсовскими. Поскольку Шефольду казалось, что он не может жить, не видя ее, то он часто колебался, стоит ли ему покидать Лималь. И вот теперь эта официантка. Шефольд считал, что ей лет тридцать пять. Пытаясь определить, в чем своеобразная привлекательность ее асимметричного худого лица, особого оттенка ее гладкой желтоватой кожи, он старался не думать о Мемлинге, хотя невозможно было не заметить прямого сходства между нею и портретом Марты Морель в Брюгге. Но когда речь шла о женщинах, Шефольд запрещал себе сравнивать их с живописными изображениями. Он только снова констатировал, как легко он менял типы своих увлечений. Трудно было придумать двух более разных женщин, чем веселое пышное создание, вся розово-золотая госпожа ван Реет и эта темноволосая валлонка, словно тень подходившая к его столу из глубины плохо освещенного ресторанчика и молча ожидавшая, пока он сделает заказ. Ради того, чтобы видеть ее — иногда он сомневался, удастся ли ему скрыть от нее, как обычно от других женщин, свои чувства, — он просил водителей джипов подвезти его в Сен-Вит. Через американские траншеи на высотах западнее Хеммереса он давно уже ходил как свой человек. Командование полка распорядилось, чтобы капитан Кимброу в Маспельте выписал ему пропуск. Он мог бы в любой момент вернуться в Лималь. Хайншток называл его глупцом за то, что он этого не

делал, правда, называл так лишь до тех пор, пока не впутал его в эту историю с Динклагге.

Утром 12 октября Шефольд размышлял, какой галстук ему надеть по случаю визита к майору Динклагге. Так как он взял с собой в Хеммерес один-единственный костюм, а именно старый твидовый пиджак и еще более старые вельветовые брюки, то из всех проблем, связанных с его гардеробом, оставалась одна: выбор сорочки и галстука. Сорочка подходила лишь белая: Шефольд твердо верил в магическое действие белых сорочек в светской игре между людьми его и Динклагге уровня; белая сорочка станет символом, который сразу объединит его и Динклагге. Пойдя на эту уступку, он выбрал зато огненно-красный галстук: надо было продемонстрировать Динклагге не только мирный белый цвет, но и вызывающий красный.

Глядя на себя в зеркальце для бритья—других зеркал в Хеммересе не было,—он тщательно пригладил щеткой свои английские усики; его не смущало, что они седые и старят его. Одевшись, Шефольд больше не думал о своей внешности. Он считал, что знает, как выглядит. Подойдя к открытому окну, он посмотрел на старые яблони, уже почти голые—через их безлистые ветви виднелась темная, блестящая на солнце река. Когда он явился сюда в июле, эти яблони были еще зелеными, по утрам на чисто выбеленные стены комнаты от них падал зеленоватый отсвет; позже, в сентябре, он стал красноватым. Лежа по утрам в постели и наблюдая за игрой света, Шефольд жалел, что он не художник, а только знаток живописи, но, смирясь с этим, снова погружался в дремоту, зеленоватую или красноватую дремоту, в сон со сновидениями. Вплоть до августа акварель Клее висела на стене против окна, напоминая, что такую картину мог написать только настоящий художник. Свои рукописи, все материалы для работы Шефольд оставил в Лимале—все, кроме этой картины. В середине августа он отнес ее Хайнштоку: если ее можно было надежно спрятать, то лишь у него; через несколько месяцев, когда война кончится, он возьмет из надежного тайника Хайнштока «Полифонически очерченную белизну» и с триумфом снова вернет картину во Франкфурт Институту Штеделя, откуда похитил ее в 1937 году, чтобы спасти. Он удивлялся, что не особенно жалел об ее отсутствии, но говорил себе, что расставание оказалось столь легким лишь по одной причине: он знал наизусть каждый квадратный сантиметр этой акварели.

Он вышел из комнаты, спустился в кухню, приготовил себе завтрак. В этот час дом был пуст. Он поджарил яичницу из двух

яиц так, что желтки остались желто-золотыми на белом фоне, обрамленном коричневой корочкой—нельзя допустить, чтобы края почернели,—съел два ломтя ржаного хлеба, намазанных маслом—не слишком толсто, не слишком тонко,—выпил крепкого черного кофе. У хозяев Хеммереса было все, Шефольду приходилось добывать только кофе. Они и в остальном неплохо на нем наживались; он платил им бельгийскими франками, а с недавних пор даже долларами, потому что в Сен-Вите появились валютчики, которые меняли—хотя и по фантастическому курсу—бельгийские франки на доллары. Когда Хеммерес уже не будет ничейной землей, у его обитателей окажутся деньги, которые чего-то стоят. Не очень много, ибо Шефольд не был богатым человеком, но поскольку в последние годы он вовсе не тратился на жилье и питание, то мог откладывать свои гонорары. Завтракая, он смотрел в окно кухни на коричневые мостки, которые приветливо скрипели, когда по ним кто-нибудь шел. По ту сторону, в Бельгии, раскинулся луг, принадлежащий хозяину Хеммереса. Шефольд просидел так довольно долго, выкурил первую сигарету, потом, против обыкновения, вторую. Жаль только, что здесь не было утренних газет. Прежде чем выйти из дома, он еще какое-то время поиграл с большим полосатым котом, разлегшимся на подоконнике. Шефольд обожал кошек.

Позднее, уже в лесу, взглянув на часы, он убедился, что вышел все же слишком рано. Часть пути он прошел в обычном направлении, пока не оказался в том месте, где сегодня ему предстояло свернуть направо и двинуться вверх, через буковый кустарник, лещину, через все эти дикие заросли, в гору. Он сел на пень и подождал. Он предпочел бы пойти прямо вдоль речки, по ровной, усеянной сосновыми иглами земле через темный высокий лес, до того места, где сквозь стволы просвечивала светлая стена каменоломни Хайнштока и откуда открывался вид, словно на картинах XV века. По причинам, которые он не понимал, потому что не имел ни малейшего представления о том, как ведутся войны, путь вдоль речки был самым надежным для пересечения немецких линий обороны: ведь пропуска у него не было. Хайншток показал ему на карте не только этот надежный путь, но и тот, по которому ему надлежало идти сегодня, даже вырезал кусок карты и дал ему с собой; сидя на пне, Шефольд рассматривал этот кусок бумаги, казавшийся таким же ненужным, как и позавчера, таким же бессмысленным, как и этот слишком ранний и неоправданный визит к Динклагге; надо только подняться по склону на высоту восточнее долины Ура—и он на месте. В тишине леса ему вдруг показалось невероятным, что

здесь противостоят друг другу два войска, самое это слово показалось ему столь абсурдным, что захотелось встать и вернуться в Хеммерес, даже в Лималь; но он понимал, что здесь речь, конечно, не о войсках. Здесь противостояли друг другу всего лишь рота Кимброу и батальон Динклаге.

Подъем был крутым, утомительным. При других обстоятельствах Шефольду показались бы приятными легкие тени сосен на возвышенности, сами сосны, но, так как здесь был единственный опасный участок пути, он не обращал на них внимания, а быстрым шагом продвигался между стволами деревьев вперед и только там, где они кончились, остановился, чтобы осмотреть склон, который теперь полого спускался перед ним. Хайншток тоже признавал, что это будет критический момент: ведь кто-нибудь из солдат, находящихся на середине склона в окопе, вполне может выстрелить в Шефольда, вместо того чтобы его окликнуть. Только постояв несколько секунд—он был словно оглушен,—Шефольд обрел способность внимательно оглядеть склон и с удивлением обнаружил, что склон пуст. Он заметил два окопа, но в них никого не было. Уже сосредоточившись, он разглядел небольшие неровности на почве, тени можжевельника—и больше ничего. То, что передний край немецкой обороны находился не там, где должен был находиться, нарушало его план. Он задумался, как быть дальше. Просто продолжать путь, пока где-нибудь не остановят? Он был растерян и в то же время почувствовал облегчение; подумал даже, не повернуть ли назад; что-то здесь было не так, ему надо получить новые инструкции от Хайнштока, которому в свою очередь необходимо заново получить информацию о тактике Динклаге. Шефольд закурил сигарету. С чувством облегчения он стал внимательно рассматривать дальний ландшафт. Здесь, наверху, он еще никогда не был. За серо-зеленым склоном следовали гряды холмов, покрытые полями и лугами, к югу они спускались, образуя низину, в которой лежала деревня Винтерспельт, неуклюжие белые дворы, только благодаря отдалению и свету связанные в единое целое—нечто плоское, состоящее из серых и светлых сегментов. Контуры, плоскости, сферы были здесь совсем иными, чем на картинах мастера тридентинской Сивиллы. Шефольд искал не сравнения, а образы этой реальности, как бы примеряя к ней имена Писсарро, Моне, отвергал их, наконец дошел до Сезанна. Он бросил сигарету.

Хотя он не был к этому готов, но отреагировал мгновенно, немедленно поднял руки, едва услышав сухой жесткий щелчок, металлический звук и команду «Руки вверх!», произнесенную

твердым и в то же время пронзительно высоким голосом; теперь Шефольд понял, откуда донеслась команда, ибо увидел каску, лицо, плечи, направленный на него ствол винтовки, совсем недалеко, всего в двадцати или тридцати шагах от того места, где он стоял. Значит, кто-то наблюдал за ним все это время. Кто-то невидимый. Ах, какое там! Почти одновременно со страхом его охватила досада на самого себя. Ослеп он, что ли?

Собственно говоря, Райдель был полон решимости стрелять. Он не стрелял с тех пор, как вернулся из России. Полигоны в Дании в счет не шли—они служили лишь для того, чтобы подтвердить его квалификацию снайпера высшего разряда. В марте его из-за желтухи отправили с русского фронта в Вестфалию, в лазарет резервных войск, оттуда перевели в Данию. Отправку в новую дивизию, формировавшуюся в Дании, он организовал себе сам—старые обер-ефрейторы, вроде него, знали, как пристроиться к нужному эшелону,—потому что Россия ему осточертела. Но Россия имела для Райделя одно преимущество—там он мог стрелять. А стрелять означало для него строчить из пулемета по живым, движущимся мишеням. Воспоминание о падающих на бегу или распластавшихся в своих укрытиях красноармейцах приводило его иногда просто в неистовство. В последнее время он часто приходил в состояние, которое—он, правда, этого не знал—называется депрессией. В такие периоды для него было невыносимо сознание, что он уже полгода не стрелял. Из всей серии ружейных приемов, предшествующих выстрелу, Райдель больше всего любил бесшумное, едва заметное движение, каким указательный палец правой руки подводит спусковой крючок к промежуточному упору. Дело не в том, что это казалось ему важнее, нежели все последующее: просто он доходил до исступления в этот миг, предшествующий выстрелу; солдаты из его части и начальники часто видели, как он берет оружие на изготовку. Им всякий раз казалось, что он тренируется. Однажды на полигоне стоявший рядом офицер, понаблюдав за ним некоторое время, сказал: «Райдель, вы одержимы стрельбой!»

Одержимость стрельбой и долгий вынужденный перерыв, когда он был лишен возможности стрелять,—этим просто и естественно объясняется, почему Райдель в первый момент испытывал сильное искушение сделать так, чтобы человек, стоявший наверху, на склоне, откинул копыта. Превратить его в решето. Поскольку обер-ефрейтор Хуберт Райдель был снайпером высшего разряда, он получил современный автоматический

карабин, один из немногих выделенных на дивизию. Он с презрением смотрел на тех, кто был вооружен обычными винтовками. Ему безумно хотелось разрядить наконец весь магазин одной-единственной очередью. Не скоро ведь представится еще такая возможность. На этом участке фронта было полнейшее затишье, возможно, тут никогда ничего и не произойдет. Жизнь Шефольду спасла другая особенность Райделя: его склонность мыслить тактически, что позволяло ему контролировать если не свои инстинкты, то, во всяком случае, степень пользы от тех действий, которые он намеревался совершить. Сперва он продумал аргументы, подтверждавшие целесообразность его намерения. Никто не притянул бы его к ответственности за такой поступок. «Докладываю: этот человек сделал движение, будто хотел схватиться за оружие». Такая фраза была неопровержимым аргументом, даже если бы потом выяснилось, что у убитого не было при себе никакого оружия. «Когда я его окликнул, он не остановился, не поднял руки вверх». Учитывая расстояние между убитым и окопом Райделя, на него бы только холодно посмотрели, стали бы задавать вопросы; нет, то, другое, объяснение явно лучше. Здорово и то, что здесь не будет свидетелей: на передовой сегодня почти никого нет, потому что утром для новобранцев назначены учения (движение на местности: перебежки, «ложись», ведение огня, отход, снова перебежки, все как на марше); вопреки его предсказанию, что на фронте будет легче, чем в тылу, батальонное начальство и на фронте изрядно подхлестывало этих необстрелянных молокососов. Фриц Борек вернется весь потный, бледный, обессиленный, до полевой кухни едва доберется, уныло сядет за пустой стол. Райдель охотно бы ему помог. Но этот болван, вместо того чтобы воспользоваться помощью, донес на него.

Не раньше чем спустя десять минут после автоматной очереди ефрейтор Добрин, этот остопоп, осторожно поднимется слева по склону, чтобы посмотреть, что случилось у Райделя. Райдель ничем не рисковал, если бы убил неизвестного. Необычная внешность последнего лишь несколько отодвинула осуществление его плана; теперь, когда Райдель составил себе мнение об этом человеке, выразив его столь разными понятиями, как «барин», «тип», «подозрительный» и «клиент», причин тянуть больше не было. Но Райдель подумал и о другом: повредит ему этот поступок или принесет пользу? Додумать эту мысль до конца ему помешало воспоминание об изможденном новобранце Фрице Бореке. Райдель готов был самому себе дать пощечину, когда вспомнил, как сглупил с этим Бореком. Совершить такую

нелепую ошибку, после стольких лет безупречного поведения! В 1939 году в бункере «Западного вала» он допустил единственный промах за все время службы в армии, в общем-то пустяк, которого, однако, было достаточно, чтобы на него подали рапорт; когда случается такое, ни один не упустит возможности подать рапорт. Его наказали—две недели строгого ареста—и, видимо, что-то записали в его документы, сделали какую-то пометку, которая с тех пор сопровождала его повсюду, оказываясь в любой части, куда его переводили за эти годы. Только так и можно объяснить, почему он до сих пор не стал унтер-офицером, фельдфебелем. Солдат его квалификации после семи лет службы обычно становился обер-фельдфебелем, командиром взвода. Попал ли уже рапорт Борека к командиру батальона? На фронте не так уж много инстанций—из взвода в роту, из роты в батальон. Вся компания сидела в одной дыре, в Винтерспельте. Почти не испытывая страха, он мысленно произнес: «военно-полевой суд», «штрафной батальон». Он смотрел правде в глаза. И все же он взвешивал, не окажет ли взятие шпиона живьем определенного влияния на отношение начальства к рапорту Борека. Скорее всего, нет; в конце концов, он только выполнит свой служебный долг, доставив подозрительного субъекта на командный пункт батальона. Но если есть хоть малейший шанс отделаться дисциплинарным взысканием—например, если командир и фельдфебель держатся различного мнения относительно того, передавать ли рапорт по инстанциям,—то чрезвычайное происшествие на посту, с которым он образцово справился, могло решить исход дела в его пользу. Особенно в случае, если человек, которому он приказал спуститься вниз, да еще с поднятыми вверх руками, действительно окажется шпионом.

Он правильно оценил его. Мужчина не был ни толстым, ни старым: он был просто массивным, при этом мускулистым, сильным. Райдель наблюдал, как быстро, упругим шагом шел он вниз по склону. Лицо его было красным, здоровым; седина усов ни о чем не говорила. Он носил английские усики, какие бывают только у определенного сорта господ. Руки он держал поднятыми, но казалось, будто делает это ради собственного удовольствия. Он шел улыбаясь, он действительно улыбался и потому походил на человека, отправившегося на веселую прогулку. Райдель одним прыжком выскочил из окопа. Взгляд его говорил все то же: «Ну, скоро этому шпиону будет не до смеха».

Он молниеносно выскользнул из своего окопа—серо-зеленое пресмыкающееся, превратившееся затем в низкорослого, худого

человечка, однако при всей своей ничтожности столь же твердого, решительного, столь же неумолимого, как короткий ствол оружия, нацеленный, словно стрела, в него, Шефольда. Первый, вполне естественный, испуг не проходил, превращаясь в устойчивый страх. Шефольду пришлось взять себя в руки, чтобы не повернуть назад, не побежать. Он пошел вниз — другого выбора не было. Хотя он еще не мог видеть глаз Райделя, он понял, что попал в ловушку.

Итак, это была ошибка — ввязаться в игру с захватом в плен. Нельзя было ограничиваться выражением своих сомнений в правильности подобной тактики, надо было поставить совершенно четкое условие, что он придет безопасным путем через долину, нанесет майору Динклагге визит как частное лицо и ученый-искусствовед. Человек, отправившийся на прогулку, к тому же имеющий поручение обеспечить сохранность художественных ценностей, снабженный для этой цели соответствующими документами, представляется офицеру, который вовлекает его в беседу, — вот как Шефольду рисовалось его появление у Динклагге. Но Динклагге, как сообщил ему Хайншток, которому в свою очередь эта инструкция была передана третьим лицом, чьего имени он не назвал, настаивал на том, что он «должен прийти через передовую». Однажды Хайншток проговорился, и Шефольд понял по крайней мере, что это третье лицо — женщина. Хайншток не был знаком с Динклагге. «Динклагге хочет, чтобы вы пришли к нему под конвоем его солдат», — сказал Хайншток. Шефольд воспротивился этому требованию, но потом Хайншток сказал: «Поймите же, майору нужны доказательства!» Этот человек из каменоломни походил на те минералы, которые он иногда ему показывал, — был тверд, не менялся. Серьезные сомнения вызывало одно: мог ли майор выдвигать такие требования, пока вопрос еще оставался открытым. Видимо, им двигало нетерпение, а возможно, и просто подозрительность.

Еще более неподвижными и бесчувственными, чем кристаллы или аммониты Хайнштока, показались Шефольду желтые глаза Райделя, когда он их увидел. Однако, подходя к нему, Шефольд продолжал улыбаться, он заставил себя сохранить улыбку.

Остановившись, он сказал дружелюбнейшим тоном:

— Я мирный человек.

— Заткни глотку! — рявкнул солдат.

Если кто-то утверждает, что он мирный человек, значит, наверняка никакой он не мирный. Но Райдель даже не разозлился на этого типа за то, что тот крутит ему мозги. Люди, которые



вот так сваливаются на голову, как этот, всегда финтят. Вzbесил Райделя тон, каким этот субъект изволил разговаривать. Именно так разговаривали постояльцы в отеле, когда им что-нибудь было нужно—свежее полотенце, завтрак в номер, газета,—так же дружески, мило, чтобы потом, уже протянув чаевые, равнодушно отвернуться и продолжить беседу с женщиной или с приятелем, сохранив заинтересованную участливую интонацию, словно беседа и не прерывалась.

«Я мирный человек».

Это звучало так же, как произнесенная дружески и со вздохом просьба какого-нибудь постояльца: «Мне нужно срочно принять ванну».

Задыхаясь от ненависти, Райдель крикнул: «Заткни глотку!»

Держа карабин на изготовку, он левой рукой обыскал незнакомца. Как он и предполагал, это был сильный человек, к тому же выше его ростом. Нащупав у него в пиджаке пачку с сигаретами и зажигалку, он вспомнил, как красивы были его движения, когда он закуривал. Оружия у него не было, в том числе и в плаще, который Райдель снял с его плеча и небрежно бросил на землю. В заднем кармане брюк торчал бумажник—Райдель решил вытащить его и как раз в этот момент услышал певучий звук, высокий, металлический и пока еще очень далекий.

Он шагнул назад.

— Истребители-бомбардировщики,—сказал он,—а ну ложись!

Шефольд смотрел, как солдат исчез в своем окопе. Серо-зеленое пресмыкающееся. Он продолжал стоять, хотя знал, что это такое. Однажды в хижине Хайнштока под каменоломней он уже пережил налет американской авиации.

— Эй ты, задница, ложись, я кому сказал!

Шефольд услышал в его голосе не только злобное шипение, но и озабоченность. Этот человек хотел, чтобы он лег, потому что и сам подвергался опасности, если летчики заметят Шефольда. Он использовал ситуацию.

— Могу я теперь опустить руки?—спросил он, глядя на Райделя сверху вниз—в прямом и в переносном смысле.

И, не дожидаясь ответа, все же бросился на жесткую траву возле окопа. Трава и земля пахли хорошо, чем-то сухим и диким. С конца сентября не было дождей. Стояли дни, словно сотканые из голубой, первозданной меланхолии, приправленной ароматами этих склонов. «Задница». «Заткни глотку». Он не ожидал таких слов, но уже начал улавливать их смысл; чувство, что он совершил величайшую ошибку, не проходило. Все получилось не

так, как было предусмотрено. План Динклаге не учитывал, что он может попасть в руки такого типа, как этот солдат. А хорошо разработанный план должен был учитывать каждый пост. Условие, чтобы он пришел «через передовую», оказалось уравнением со многими неизвестными. «И самое непостижимое то, что Динклаге настаивал на своем варианте, хотя знал, что я приду с пустыми руками»,—подумал Шефольд. Он посмотрел, как солдат подтянул и втащил к себе в окоп его светлый плащ, после чего стал совершенно незаметным—абсолютная мимикрия. Ободок его каски с точностью до сантиметра совпадал с уровнем окопа, вокруг которого не было, как обычно, круга светлой земли, выброшенной при рытье. Когда там стоял человек, ничто, кроме каски, не выдавало углубления, да и она была всего лишь неприметной выпуклостью на местности, вроде кротового холмика или скрюченного обрубка можжевельника, поскольку Райдель замазал каску невероятным месивом из красок, которые так точно соответствовали цвету склона, что Шефольд пришел к выводу: этот маленький, опасный солдат, взявший его в плен, мог бы помогать художнику-пейзажисту смешивать краски. Шефольд не знал, что командир взвода фельдфебель Вагнер во время контрольного обхода выразил недовольство, увидев образцовый окоп Райделя. Вагнер, считавший, что безопасность во время боя важнее маскировки, потребовал, чтобы Райдель сделал вокруг окопа бруствер, и тогда ему пришлось вытащить мешки с песком, на которых он стоял.

Он вырыл очень глубокий окоп и часть земли насыпал в мешки. Оставшейся землей укрепил бруствер окопа Борека. Борека, студент, изучавший философию, или как там у них называется это дерьмо, не мог, конечно, справиться со своим окопом. Когда подошел Райдель, парень беспомощно стоял возле смехотворно крохотной ямки; от получасовой возни с лопатой он окончательно обессилел. За двадцать минут Райдель сделал ему отличный окоп. В благодарность Борека теперь донес на него.

В случае атаки мешки с песком перед окопом не только лучше защищали, чем кучи земли, но и позволили бы солдатам, которые ростом были выше Райделя, использовать окоп, сменяя его. Они могли вытащить мешки и положить перед собой. Вагнер, покачивая головой, прошел мимо окопа, злясь и восхищаясь одновременно, ибо к тому, что делает этот солдат, который всегда держится особняком, не придерешься.

Шефольд перестал корить себя, что не сумел ничего обнару-

жить, когда осматривал склон. Не он был слеп, а тот, другой, был действительно невидим.

«Могу я теперь опустить руки?»

Все они такие. Втаптывают тебя в дерьмо. Они не скажут: «Пиво теплое»,—они говорят: «Вы когда-нибудь слышали о существовании холодильников?» Когда им по ошибке принесешь вчерашнюю газету, они говорят: «Но, любезнейший, я уже знаю, что мы выиграли битву под Танненбергом». Они считают себя очень остроумными. У них есть даже какое-то специальное слово, которым они обозначают свою манеру говорить, Райдель не мог вспомнить, какое именно, да, впрочем, ему плевать. Самое невыносимое, когда они говорят «любезнейший» или «приятель». Так и хочется дать им в морду. Он и этому типу даст в морду, если тот будет еще позволять себе такие вещи.

Непрерывное тихое унижение, насмешки и чаевые. Не для того он сбежал в февральский вечер 1937 года из гостиницы, чтобы когда-нибудь снова на это напороться. А как возмущенно выпучил глаза папаша, когда он ему заявил, что дал пощечину постояльцу из номера 23. Мать вскрикнула: «Куда же ты теперь, Хуберт?» Райдель не мог не ухмыляться, когда вспомнил об этом. Он знал, куда он хочет: на военную службу. Как-то ночью в дюссельдорфском отеле один офицер, который привел его к себе в номер, сказал: «Твое место не здесь, твое место в казарме». Слово «казарма» прозвучало у него так, словно он говорил о рае, и Райдель сразу понял, о чем речь. Может быть, этот совет так запал ему в голову потому, что офицер, капитан «Люфтваффе», был единственным «гостем», который, уходя под утро, не сунул ему денег. Казарма не разочаровала Райделя. Правда, и на военной службе были часы, когда тебя превращали в последнее дерьмо, и все же—Райдель это чувствовал—можно было оставаться самим собой; а когда часть дня, заполненная муштрой, бывала позади, тебя уже не трогали, если ты справлялся со службой; можно было даже отделиться от всех—у тебя был свой шкафчик, свой откидной столик, свое барахло; штатские и понятия не имеют, что на военной службе можно держаться особняком. Преимущество казармы заключалось не в том, что там ты находился исключительно в обществе мужчин. В этом смысле там не разгуляешься, наоборот, с 1937 года Райделю приходилось брать себя в руки, напряженнейшим образом следить за собой. Он маскировался, да так ловко, что другие солдаты были уверены, что он, как и они, бегаёт за бабами.

Время от времени офицеры, узнав, что он прошел выучку в

гостинице, пытались сделать его своим ординарцем. Он, стараясь изо всех сил, молодцевато вытягивался в струнку и просил не делать его ординарцем.

Шефольд вспомнил, как он обеими руками ухватился за скамью, на которой сидел, и впился глазами в Хайнштока, когда самолеты один за другим — первый, второй, третий — на бесконечную секунду повисли над каменоломней. «Ну-ну, все уже миновало, — сказал Хайншток, пряча собственный страх, — моя хижина их не интересует, да они, скорее всего, ее вообще не видят — кругом такие заросли. Они атакуют только движущиеся объекты». В наступившей тишине Шефольд снова увидел его — человека с сильной проседью, который сидел за столом и курил трубку. Стол — старая дверная филенка на деревянных козлах — был завален образцами горных пород, календарями, газетами, книгами, пепельницами, трубками, спичечными коробками, здесь же стояла пишущая машинка и керосиновая лампа. Сплошь неподвижные объекты.

Лежа сейчас на животе — чтобы летчики не увидели белую рубашку, — Шефольд заставил себя повернуть голову и следить за самолетами. Он решил больше не поддаваться страху, как тогда, в хижине Хайнштока. Испытание, которому он хотел себя подвергнуть, не состоялось, потому что самолеты не пролетели над склоном, на котором он лежал, а прошли гораздо восточнее — они стремительно промчались над дорогой, ведущей из Бляйальфа в Винтерспельт, три светло-серые, сверкавшие на солнце хищные рыбы, промелькнувшие в сияющем аквариуме этого октябрьского дня. Они не стреляли: видимо, на дороге никого не было. Шефольд вспомнил, что говорил Хайншток по поводу военной стратегии майора Динклагге: «С тех пор, как этот господин принял командование данным участком фронта, вермахт словно исчез с лица земли». При следующей встрече Шефольд сможет рассказать ему, с какой точностью выполняют солдаты приказы Динклагге о маскировке.

Еще когда самолеты проходили над деревней Винтерспельт, Шефольд подумал, не стоит ли воспользоваться воздушным налетом и сказать этому солдату в окопе какие-то слова, которые подтвердили бы, что он немец, человек, принадлежащий к немцам. Например, он мог бы показать на небо и воскликнуть: «Какие свиньи!», за чем последовали бы обычные и, кстати, подлинные истории о том, как обстреляли крестьян, работающих в поле, или женщин с детскими колясками. Шефольд слышал такие истории в пивных, куда заходил во время прогулок. Но

ему вдруг стало ясно, что от человека, с которым он сейчас столкнулся, он этих историй не услышит и что всякая попытка завязать с ним более дружеские отношения бессмысленна. Сознание, что ему не надо стараться завоевать доверие этого человека, принесло Шефольду облегчение и даже на какой-то миг сделало симпатичным врага, который снова стал совершенно невидимым — различить можно было лишь каску, вымазанную красками неопределенных оттенков.

У него еще как раз осталось время подумать, что самолеты, незадолго до того, как стали видны, должны были пролететь над каменоломней. Там, в хижине, у того самого стола сидел теперь Хайншток, курил трубку и ждал. «Когда вы попадете в Винтерспельт, я через четверть часа буду об этом знать», — сказал он. Шефольд предполагал, что он должен узнать об этом от женщины, которая связана с Динклаге. Но сознание, что есть люди, с участием следящие за его передвижением, почему-то не принесло ему успокоения.

Истребители-бомбардировщики, как всегда, летели над дорогой, но это не исключало, что они дадут несколько очередей из своих пулеметов и по склонам, находящимся справа и слева от нее. Дорога проходила всего лишь в трехстах метрах, в низине между двумя грядами холмов, на которых угнездился батальон. Бортовые стрелки знали, где находится противник, даже если они его не видели, — знали просто потому, что больше ему нигде было находиться, — и прочесывали огнем высоты, когда было желание или когда ничего не находили на дороге. Если сегодня они опять дадут несколько очередей по склону, то этому типу, шпиону, который лежит рядом с его окопом, можно считать, крышка. Райдель разозлился, подумав о такой возможности, ибо, случись это, его решение не пристреливать шпиона теряло всякий смысл.

Плащ, который Райдель все еще держал под левой рукой, был мятый, грязный на сгибе воротника, но это был плащ клиента, привыкшего жить в первоклассных отелях.

Шефольд мог бы сообщить, что плащу восемь лет, что он уже не годится ему по размеру, что он был куплен в магазине готового платья на Цайле во Франкфурте и по цене, доступной любому гостиничному служащему.

Но Райдель улавливал особый запах, характерный для господ, входивших в фойе отелей, господ, которым он подносил кожаные

чемоданы и которые рассеянно совали ему чаевые. Одежда этого шпиона была изношенная, но из дорогого материала, что Райдель заметил, когда обыскивал его; самые утонченные из этих подлецов никогда не носили новых костюмов и самые щедрые чаевые вынимали из подчеркнуто залоснившихся карманов, но все их вещи были, как и этот плащ, пропитаны особым запахом. Туалетная вода? Сигары?

Шефольд не употреблял туалетной воды, не курил сигар, только теперь стал курить американские сигареты. Правда, его твидовый пиджак был от лучшего брюссельского портного — он заказал его до войны, из озорства, по случаю весьма приличного гонорара за одну экспертизу и еще потому, что к тому времени располнел. Если бы кто-нибудь сказал ему, что его отнесут к категории людей, снимающих номера в роскошных отелях, он, наверно, расхохотался бы. Ему иногда приходилось бывать в подобных местах, чтобы встретиться с богатыми людьми и ответить на их вопросы по поводу тех или иных картин. Но по своему воспитанию он принадлежал к людям, в чьем лексиконе даже нет этих слов — «Grand Hôtel»; во время путешествий семья Шефольдов останавливалась в швейцарских, итальянских пансионах, баварских деревенских гостиницах; франкфуртский участковый судья никогда не заходил в отель «Франкфуртер хоф».

Затем, посмеявшись, Шефольд вспомнил бы свое пребывание в Валькуре, Комине, Лимале и, наверно, призадумался бы. «Но,—добавил бы он,—в этих замках я скорее принадлежал к персоналу, хотя и сидел за одним столом с хозяевами».

Если эти господа были такими же, как он, они пытались завязать с ним отношения. Чтобы выяснить, принадлежит ли он к их числу, им достаточно было определенным образом поглядеть ему в глаза. Жестко, бесстыдно поглядеть в глаза — в лифте, в номере. Обычно они были потрясены, захвачены врасплох той ненавистью, которую он вымещал на них, но такие встряски им нравились.

Самолеты с пронзительным воем пронесли над дорогой и скрылись из виду. Они не стреляли. Этому типу повезло. Он, кстати, не был таким. Райдель, обыскивая его, глянул ему в глаза, но незнакомец не отреагировал.

Через некоторое время Райдель вылез из окопа, швырнул Шефольда плащ и сказал:

— А ну вставай!

При этом голос у него был такой же злой, как и глаза.

— Потрудитесь не называть меня на «ты»,—сказал Шефольд. Он взял свой плащ, медленно и аккуратно поднялся. И тут же упал на колени, потому что Райдель ударил его сзади ногой.

Вот он опять, этот тон; удирая из отеля в армию, Райдель дал себе слово, что никогда больше не допустит, чтобы с ним так разговаривали. Если тебя распекают в армии—это совсем другое дело. Окрик в армии соединяет орущего с тем, на кого он орет. Рычание фельдфебеля звучит для построившейся роты, словно колокол. А вот нагоняй, который дают клиенты в отеле, сразу исключает тебя из их числа, напоминает, где твое место. Эта манера говорить тихо и холодно, когда их что-то не устраивает, от которой все сразу начинает ходить ходуном: «Извольте постучать, прежде чем войти!», «Вам не объясняли, что сначала надо поставить прибор даме?», «Потрудитесь не называть меня на «ты»!» Райдель подошел к поднимавшемуся с земли Шефольду и с такой силой ударил его сзади сапогом, что был удивлен, когда тот не рухнул всем телом, а лишь упал на колени.

— Вот что бывает, когда шпионы вроде тебя разрезают пасть,—сказал Райдель.

Он не собирался давать ему пинка, необычная уверенность в голосе Шефольда подсказывала ему, что не следует заходить так далеко, но он не мог сдержаться.

Поднявшись, Шефольд сказал:

— У меня назначена встреча с командиром вашего батальона майором Динклагге.—Он приподнял манжет, посмотрел на часы.—В двенадцать часов. Теперь будьте любезны отвести меня к нему. И если вы будете продолжать говорить со мной на «ты», оскорблять словами или действиями, то я пожалуюсь на вас майору Динклагге.

В его намерения не входило давать столь подробные объяснения первому же часовому, на которого он наткнется, он собирался назвать свою цель на более высоком должностном уровне, ибо справедливо предполагал, что простой солдат, который возьмет его в плен, не имеет полномочий вести его прямо к командиру батальона. Хайншток подтвердил это его предположение. «Солдат, к которому вы попадете, наверняка приведет вас к унтер-офицеру, тот — к командиру взвода или, если вам повезет, сразу к командиру роты; вероятно, один из командиров рот передаст вас Динклагге».— «Смешно,—заметил Шефольд.—Было бы гораздо проще сразу пойти к нему». Хайншток промолчал. Но этот солдат обращался с ним так, что Шефольд решил не ждать, пока

доберется до какой-либо более высокой ступени военной иерархии; этого нельзя больше терпеть ни секунды, необходимо немедленно изменить ситуацию, пустив в ход козырь, который заставит этого человека вести себя прилично.

К тому же он употребил слово «шпион». Было ли это просто болтовней, плодом его собственной грязной фантазии, частью его мышления, как пинки и слова «задница» и «заткни глотку», или он действительно ждал шпиона? Если его проинструктировали, что появится шпион, тогда все пропало. У Шефольда не было времени размышлять, что его ждет в таком случае, ибо последовавшие за этим слова Райделя доказывали, что его подозрение необоснованно.

То, что он все еще держал карабин направленным на Шефольда, перестало что-либо означать; теперь он был просто обслуживающий персонал, обязанный обращаться к этому господину на «вы». Он сделал слабую попытку исправить положение.

— Почему же вы сразу не сказали?—спросил он.

— Позвольте напомнить ваше требование, чтобы я заткнул глотку,—сказал Шефольд. И тут же почувствовал, что разговаривать с этим человеком в таком ироническом тоне неправильно.

Если то, что утверждает этот тип,—правда, если он его не дурачит, то было бы грубейшей ошибкой прикончить его. Допрос по этому делу вел бы сам командир, и, как бы он ни оправдывался, его положение в связи с рапортом Борека не улучшилось бы.

— Вы можете доказать, что вызваны к командиру?—спросил Райдель, делая последнюю попытку показать свою строптивость.

— Я не вызван к нему,—сказал Шефольд.—Нам надо посоветоваться.

Он вытащил свой бумажник и, достав письмо Института Штеделя, протянул Райделю. Про себя он молил бога, чтобы солдат не потребовал у него сам бумажник. Он представил себе, что сказал бы Хайншток—скорее всего, он бы ничего не сказал, а только внимательно посмотрел бы на него, прищурив глаза,—если бы знал, что в бумажнике Шефольда лежит несколько долларов и бельгийских франков; это было безумие—не вынуть их перед тем, как отправиться сюда; он вообразил, как присви-стнет сквозь зубы этот парень, если их обнаружит.

Во время прогулок по немецкой территории Шефольда ни разу не проверяла военная полиция. «Вам невероятно везет»,—



сказал ему как-то Хайншток. Каменоломня Хайнштока служила ему ориентиром. Когда он видел ее, белеющую среди темных сосновых стволов, он знал, что теперь может выйти из лесной долины, потому что немецкие линии уже далеко позади. Тогда он со спокойной душой поднимался на дорогу, уложенную из песка и щебня, заходил к Хайнштоку, потом по тропинке отправлялся в Ангельшайд, обходил все здешние места. И Хайншток, и скототорговец Хаммес иногда подвозили его в своих автомобилях, последний, впрочем, не подозревая, с кем он, собственно, имеет дело.

Если бы его стали обыскивать, он предъявил бы свое старое, но вполне безупречное удостоверение, а также то самое письмо Института Штеделя, которое сейчас читал Райдель. Институт уполномочивал его произвести регистрацию произведений искусства в округе Прюм и, по договоренности с местными военными комендатурами и гражданскими органами управления, обеспечить их безопасность. Только очень опытный глаз заметил бы, что в этом письме, вместо характерных для немецкого языка двух маленьких вертикальных штришков над гласными, обозначающих «умлаут», была использована буква «е», что оно, таким образом, было напечатано на машинке, в алфавите которой не было «умлаута». Даже Хайншток не обратил на это внимания; прочитав письмо, он заметил: «А вы предусмотрительны, господин доктор».

«Это не предусмотрительность,—возразил Шефольд.—Мне пришлось уезжать в большой спешке, и у меня в портфеле осталось несколько бланков. На протяжении многих лет они были для меня всего лишь сувенирами».

Он был абсолютно уверен в действенности этого письма. Никто в немецкой военной полиции не имел ни малейшего представления о том, что памятники искусства Рейнской провинции входят в компетенцию прусского министерства культуры в Берлине, и потому никто не стал бы задавать вопроса, какого дьявола франкфуртский музей искусств занимается инвентаризацией в западном Эйфеле.

Райделю до смерти хотелось посмотреть, что в бумажнике. Читая письмо, он раздумывал, не схватить ли бумажник. Какой он был идиот, что оставил его этому типу, и все из-за того, что появились самолеты. Тогда, в окопе, ему как раз бы хватило времени спокойно посмотреть, что он там прячет. А вот теперь... Правда, если бы там не нашлось ничего важного, ничего такого,

что служило бы уликой, то он, Райдель, потерял бы еще одно очко, выхватив у этого типа бумажник. Д-р Бруно Шефольд. Памятники искусства. Дерьмо. И именно ему он дал сапогом в зад! Да, у него сегодня явно плохой день. Вину за то, что это был для него плохой день, он приписывал истории с Бореком.

— Все в порядке,—сказал он и протянул письмо Шефольду. В одном отношении он был вполне доволен: письмо являлось оправданием для того, чтобы отвести Шефольда прямо к командиру батальона. Впрочем, он был и так полон решимости миновать промежуточные инстанции, чтобы его не лишили возможности самому сдать пленного—который теперь, собственно, и не был пленным—на КП батальона. В это время дня он мог добраться до канцелярии без помех, его бы никто не остановил: орава еще была на утренних учениях. Конечно, надо подготовиться к последствиям. Командир роты, обер-фельдфебель, наверняка устроит ему выволочку, когда узнает о его самоуправстве. Но он может теперь таинственно сослаться на документы, которые были у этого человека. «С каких это пор обер-ефрейторишка, вроде вас, судит о документах?» — «Осмелюсь просить господина обер-фельдфебеля осведомиться у господина майора, сделал ли я что-нибудь не так». Обер-фельдфебель повернется и уйдет, весь белый от бешенства. На этом дело и кончится. Райдель знал, как обходиться с начальством. Но, представляя себе этот разговор, Райдель невольно рассчитывал на то, что его прикроет сам шеф. Он не мог бы объяснить, почему считал, что майор возьмет его под защиту. Письмо было пустяковое, ничего не означало, вообще не имело никакого отношения к командиру. Но этот человек, Шефольд, кое-что значил. И он не врал. Исключено, чтобы он соврал. У него действительно есть договоренность с командиром. Райдель, в лексиконе которого не существовало слов «знание людей», безошибочно разбирался, когда человек врет и когда говорит правду.

Что может командир обсуждать с этим господином, появившимся из-за линии фронта со стороны противника, с этим насквозь подозрительным, даже более чем подозрительным субъектом? Райдель не стал терять время на раздумья. Повесив карабин через плечо, он подал Шефольду знак следовать за ним.

Шефольд, который не был знатоком людей, считал естественным, что Райдель повесил карабин через плечо и пошел впереди. Он не знал, что Райдель предпочел бы идти сзади с оружием на изготовку, предпочел бы не верить ему.

С чувством безграничного облегчения он взял письмо, сунул его в бумажник. Он не подозревал, что Райдель возненавидел его, потому что он, Шефольд, заставил его произнести слова «Все в порядке» так, как их произносит служащий гостиницы, возвращая паспорт постояльцу,—не то чтобы раболепно, но все же с почтением.

Райдель был одержим идеей проникнуть в приемную, а может быть, даже и к самому Динклагге, потому что не мог дожждаться момента, когда представится возможность вступить в контакт с инстанцией, от которой зависело, какие меры будут приняты в связи с рапортом Борека. Тем самым он действовал—и он это понимал—вразрез с основным армейским принципом, с правилом не привлекать к себе внимания, но он был сейчас не в силах притормозить себя. Он многого ждал от своего появления перед лицом начальства: вот он явится туда, напомним о своем существовании и продемонстрирует своим поведением, внешним видом, всей своей выправкой, что он—образцовый солдат. Это был нелепый, рожденный страхом самообман, нечто бесполезное, и Райдель понял бы это, если бы был способен поразмыслить о своем деле трезво, без иллюзий. Но он, к сожалению, не располагал такими словами, как «самообман», «без иллюзий»; поскольку в той среде, где он вырос, язык был примитивным, от его—предпринимаемых время от времени—попыток размышлять было мало толку. Слово «бесполезно» мелькнуло у него в голове, но он отреагировал на него примитивно: «Все равно пойду!»; слово «бесполезно» допускало примитивную реакцию, в то время как слово «самообман», возможно, могло бы полностью изменить положение Райделя. Способность распоряжаться богатствами языка спасла бы его; например, студент философского факультета Борека, наверно, не стал бы писать свой рапорт, если бы Райдель хотя бы попытался убедительно объяснить причины своего нападения на него. Но для этого Райдель должен был бы стать другим, не таким немым человеком. А если бы Райдель был другим человеком, он не напал бы на Борека, во всяком случае, не напал бы так. Условные придаточные предложения!

Райдель, солдат, в бою не знавший страха, со вчерашнего дня не мог думать ни о чем, кроме рапорта Борека. В логово льва его вело не мужество, а страх. Возможно, сдав Шефольда командиру батальона, он ничего не добьется; следовало даже быть готовым к тому, что батальонный фельдфебель даст ему нахлобучку за то, что он ушел с поста. Но если Шефольд не лжет, то можно рассчитывать, что командир оборвет фельдфебеля. Райдель уже

отчетливо слышал, как он говорит: «Ладно, Каммерер! Он действовал правильно».

— Почему вы здесь один? — спросил Шефольд. Он удивился самому себе: несмотря на пинок, он пытается завести дружеский разговор.

Райдель не удостоил его ответом. Когда он слышал подобного рода вопросы, ему приходило на ум только слово «выведывать» — результат казарменного обучения; действия в соответствии с разделом «Соблюдение секретности» устава сухопутных войск.

Следующий пост Шефольд заметил уже издалека. Между двух кустов можжевельника стоял солдат по грудь в окопе и смотрел на них.

Добрин — вот остолоп. Наверняка опять читал какую-нибудь паршивую книжонку и успел припрятать, потому что этот штатский его спугнул. Добрин день и ночь читал бульварные романы, из серии «Лора». Райдель читал исключительно газеты — в частности «Генераль-анцайгер», которую ему посылал отец. Он пробежал политические известия, сообщения с фронтов, долго изучал вуппертальские местные новости. Он вырезал фотографию, на которой была изображена разбомбленная гостиница его отца. Рассматривая эту фотографию, Хуберт Райдель всякий раз ухмылялся.

— Кого это ты ведешь? — крикнул Добрин. Видно было, что он совершенно обалдел от изумления.

— Не знаю, — коротко ответил Райдель. — Должен доставить в батальон. Приказ командира.

С каким холодным спокойствием он отшил своего товарища! Шефольд был неприятно удивлен. Неужели возможно, чтобы этот человек выполнял приказ? Он восстановил в памяти, как этот болван брал его в плен, как вел себя: нет, это было невозможно.

Добрин глазел на Шефольда.

— Ну и ну, — сказал он.

Этот тупица даже не спросил, каким образом Райдель получил приказ. А может, он не спросил просто потому, что боялся Райделя. Райдель был командиром его отделения и отвратитель-

нейшим парнем во всем взводе. От него лучше держаться подальше. Связываться с ним — почти всегда значило нарваться на неприятность.

Настоящего фронтового товарищества все равно больше не существовало. «Последние камрады лежат под Лангемарком». Это изречение, ходившее в армии уже несколько лет, Добрин повторял про себя снова и снова.

Кряхтя, он вытянул свои девяносто килограммов из окопа. Ему хотелось немного размять ноги.

Этот второй солдат, которого увидел Шефольд, был толст, но толст по-иному, нежели он сам. Шефольд заметил, что он с трудом несет свое грузное тело. Мундир не скрывал, как он расплылся. Каска придавала этому человеку с широким добродушным лицом столь воинственный вид, что хотелось расхохотаться. По его бровям, по волосам на жирных руках Шефольд понял, что он блондин. Почему Динклагге не выслал ему навстречу этого человека? Надо же было натолкнуться именно на такого несносного, просто устрашающего типа, как тот, другой!

Когда ефрейтор Добрин вынул из кармана бутерброд с колбасой и начал жевать, Шефольд почувствовал, что постепенно и к нему подкрадывается чувство голода. Он охотно пошел бы в Винтерспельт вместе с этим жующим солдатом. С ним у Шефольда нашлось бы о чем поговорить — например, о снабжении.

Интересно, позаботится ли майор Динклагге о том, чтобы его накормили. Он вдруг потерял уверенность, что с ним обойдутся хорошо...

— Пять минут тебе даю — и на место, — сказал Райдель.

Он сказал это так, что Шефольд понял: Райдель терроризирует не только его, но и любого другого. Шефольд заметил, как в светло-голубых глазах Добрин появилось угрюмое, обиженное выражение. Он не знал, что Райдель позволяет себе то, что вовсе не принято в немецкой армии: будучи обер-ефрейтором, отдавать приказы ефрейтору.

Свинья, педик проклятый. Этот сопляк Борек вывел его на чистую воду, теперь всем известно, что Райдель — грязный педик. Не позднее чем завтра командир батальона с ним разделается. Военный трибунал, наверняка трибунал. Вот здорово, что этот подгоняла наконец исчезнет. Добрин, сам по себе миролюбивый человек, желал Райделю всяческих неприятностей. Он сам, все их отделение, весь их взвод почувствовал бы облегчение, если бы

Райдель исчез. Самый большой карьерист в их отделении, с начальством подхалим, с солдатами злобная сволочь. Кто бы подумал, что он еще окажется и педиком?

Но, пока Райдель не исчез, надо быть осторожным. На военной службе никогда не знаешь, как повернется дело.

Райдель не подозревал, что весть о рапорте Борека обошла всех. С одной стороны, он тертый калач, прошел огонь, воду и медные трубы и потому редко в чем-либо ошибался, с другой — он был солдатом до мозга костей и потому сохранял уверенность, что через инстанции никакие сведения просочиться не могут.

Они выбрались на дорогу. Теперь они шагали рядом. Райдель шел очень быстро, но Шефольд не отставал. Он снова попытался нарушить молчание, показав на Железный крест первой степени, украшавший мундир Райделя.

— Железный крест первой степени,—сказал он.—У моего отца был такой же. Где вы его получили?

— Россия,—неохотно ответил Райдель.

— Мой отец получил его в семнадцатом году во Фландрии.

Он вспомнил, что отправленное осенью 1938 года письмо, в котором он сообщал отцу, что побывал во Фландрии, на полях сражений, было его последним письмом во Франкфурт. Вместо ответа отец окольным путем уведомил его, что целесообразно прекратить переписку.

В начале июля Шефольду удалось дозвониться до родителей — с почты в Прюме.

Он вдруг забыл про всякую осторожность.

— Когда мой отец в восемнадцатом году вернулся домой,—сказал он,—он говорил, что войн больше не будет.

Он вовремя сообразил исказить слова отца. Отец всегда говорил: «Такой войны, как эта, не должно больше быть никогда».

Возможно, он мог совершенно спокойно воспроизвести и эти слова. У Шефольда было впечатление, что Райдель его вообще не слушает.

Если бы только он не тронул этого Борека! Если бы то, что произошло вчера ночью, было сном! Если бы он не устроил так, что соломенный тюфяк Борека оказался рядом с его тюфяком! Наверно, он совсем спятил, когда схватил Борека.

Он Борека любил. Впервые он привязался к такому мальчишке. В гостиницах Райдель всегда был возлюбленным мужчин

старше его. Потом долгий перерыв, и вот теперь это. Надо же ему было клюнуть именно на такого хрупкого, прозрачного паренька, который все о чем-то думает...

Он вдруг вспомнил один эпизод. Какой-то человек в гостинице презрительно, с ненавистью—потому что Райдель сразу же, поспешно, встал и оделся—сказал ему: «Ты тоже когда-нибудь станешь таким, про которых нормальные говорят: „Этот гоняется за мальчиками!“»

Фука Райделя, державшая ремень карабина, сжалась в кулак, когда он вспомнил эти слова.

Что заставляло его снова и снова заговаривать с человеком, который ударил его ногой? Только стремление прервать злобное молчание? Или страх перед ним?

— А другие ваши ордена?..—Шефольд хотел было сказать, что не знает, как они называются, но, вовремя опомнившись, добавил:—Никак не могу запомнить их названия.

Он имел в виду значок пехотинца за участие в атаках, знак отличия за участие в рукопашном бою, медаль за снайперскую стрельбу. Не получив ответа, он сказал:

— Вы, наверно, отважный солдат.

Когда только этот тип заткнется? «Отважный солдат»—лопнуть можно от злости! Только последние идиоты так говорят. Откуда он свалился? «Отважные солдаты» были теперь разве что в газетах и по радио. Ни один человек в Великогерманском рейхе не произносил больше этих слов—«отважные солдаты».

«Благодарю, любезнейший, это вы отлично сделали!», «Фифи вас обожает, у вас просто какой-то особый дар в обращении с животными», «Вы, наверно, отважный солдат». Самое гнусное, что, когда они так говорят, на какой-то миг даже чувствуешь себя польщенным.

— А ваш майор—кавалер Рыцарского креста. Ваш батальон, по-видимому, принадлежит к отборным войскам.

Много он понимает! Три роты недоукомплектованы. Одни молокососы, пимпфы, с винтовками образца 38-го года. Большинство—если не считать Борека—недоумки, млеют от восторга, что попали на войну. Эти дадут себя загубить. Тяжелым оружием и не пахнет, ни танков, ни противотанковых орудий, по ротам ходила даже легенда, что командир с трудом заполучил несколь-

ко станковых пулеметов. В общем, самый жалкий пехотный батальон, который когда-либо попадался Райделю. Хотя командир и навел в нем порядок, все же это было стадо из каменного века. «Скоро они будут дубинами нас вооружать»,—сказал как-то Райдель фельдфебелю Вагнеру, показывая на старую винтовку модели 98 у одного из новобранцев. «Будьте осторожны, не болтайте лишнего»,—ответил Вагнер.

Только сейчас Райдель заметил, что Шефольд говорит о «железном галстуке» командира. Этим он хотел дать понять, что знаком с ним. Как будто Райделю есть до этого дело! Ему было совершенно все равно, знакомы эти господа друг с другом или нет; его занимал лишь один вопрос, каким образом они познакомились. Откуда человек, пришедший со стороны противника, знает, какие ордена носит командир? Если он живет на той стороне—когда и где он мог увидеть командира?

Райдель не задавал вопросов. В отелях его научили помалкивать. Он должен отвести одного господина к другому господину—и все тут.

Шефольд не подозревал, что, упомянув о Рыцарском кресте Динклагге, он только пробудил у Райделя подозрения. Военно-тактические соображения были ему чужды, он не мог себе представить, как сработает механизм мышления у Райделя. Если бы кто-нибудь объяснил ему, что происходит, он воскликнул бы с безмерным удивлением: «Но ведь так мыслят только дети, играющие в индейцев!»

Это восклицание напомнило бы ему разговор, во время которого Хайншток—не очень щадя его—сообщил, что, по плану Динклагге, он, Шефольд, должен прийти через линию. «Но, дорогой господин Хайншток,—запротестовал он тогда,—это же чистейшая игра в индейцев!»

«Конечно,—отозвался Хайншток и тут же спросил:—Вас это удивляет? Войны ведутся незрелыми людьми». Он прочел Шефольду небольшую марксистскую лекцию о возникновении войн и обществе будущего, которое станет разрешать свои проблемы и противоречия с помощью научных методов.

Хайнштоку было не так-то просто убедить Кэте Ленк в несправедливости ее возражений.

— Мне кажется, этот доктор Шефольд совершенно не пригоден для той роли, которую ты ему придумал,—сказала она.— Судя по тому, что ты мне о нем рассказывал, это ученый, далекий от жизни.



— Да уж не настолько он далек от жизни.— Хайншток попытался внести коррективы в тот образ, который он, похоже, внушил Кэте.— Чтобы поселиться в этом Хеммересе, нужно мужество. И потом, видела бы ты, как он расхаживает по деревьям, словно это вовсе не опасно!

Кэте никогда не выходила из Винтерспельта, разве что навестить Хайнштока в его каменоломне. После своего бегства из Прюма она чувствовала себя в безопасности только в Винтерспельте. Она никогда не встречала Шефольда.

— Может быть, он делает это лишь потому, что не знает, как это опасно,— сказала она.

— Знает,— сказал Хайншток.— Я обращал на это его внимание. Но он не слушает советов. У меня такое впечатление, что он хочет быть здесь, когда все произойдет, понимаешь, хочет быть при этом.— Помолчав, он добавил: — Он крупный, сильный человек. Он любит поест, охотно делится всякими кулинарными рецептами.

Он чувствовал, что не убедил Кэте. Лицо ее выражало несогласие со всеми его доводами. Она поправила очки. Когда Кэте была настроена критически, она как-то по-особому, решительно поправляла очки.

— Кроме того, у нас ведь нет никого другого,— сказал он.

Свое «ожерелье», как всем было известно, командир получил во время кампании в Африке. (В воображении всего батальона награда связывалась с кампанией в Африке. Рыцарский крест, полученный всего лишь за оборонительные бои в Сицилии, значительно снизил бы престиж Динклагге.) Собственно, было странно, что кавалер Рыцарского креста из Африканского корпуса до сих пор дошел всего лишь до майора. Почему ему не дали хотя бы полк? Правда, он хромот, ходил с палкой, но нынче это не причина, чтобы не повышать офицера в звании. Судя по всему, его не жаловало начальство. Похоже, командир не любил лизать задницы. Он, Райдель, тоже этого не любил. Когда понимаешь, что, хоть ты тут подохни, все равно тебя не повысят, то можно и не рваться в любимчики начальства. Он стал таким первоклассным солдатом только потому, что не хотел, чтобы его дурачили. Главным образом поэтому— ну и еще чтобы показать им всем, что он такое! Пусть видят, кому они не дают продвинуться выше обер-ефрейтора. Может быть, и майор по той же причине так настойчиво наводит порядок в батальоне?

Когда какая-то мысль будоражила его, Райдель упрямо продолжал копать дальше. Он сделал открытие, что они с майором,

пожалуй, действуют сходно, но по совершенно разным причинам. Разница между ним и командиром состояла в том, что он не лижет задницу начальству потому, что его не продвигали по службе, а командира не продвигали по службе потому, что он не лижет начальству задницу.

«Все считают тебя карьеристом, подгонялой, человеком, который перед начальством землю носом роет, а с нижестоящими груб и жесток. Но этого мало. Ты вызываешь у людей ужас!» Так выразился вчера этот много воображающий о себе Борек, когда Райдель попытался удержать его от подачи рапорта. «Ужас». Он и так знает, что солдаты и низшие чины его недолюбливают.

«Недолюбливают? Да они ненавидят тебя!»

«Ты, видно, рехнулся».

Но втайне он испытал чувство наслаждения, услышав то, что и сам знал. В конце концов, он ведь и стремился к тому, чтобы его ненавидели.

Шефольд молчал. На протяжении всего пути вниз по склону и потом по дороге ему удалось вырвать у этого человека одноединственное слово: «Россия». Ну, что ж, и на том спасибо.

Через Хайнштока, или, точнее, через неизвестную даму, которая посредничала между майором и Хайнштоком, майор гарантировал ему безопасность. Но безопасность, сопровождающаяся пинками и словами вроде «задницы», выглядела странно, а для майора Динклагге это наверняка будет еще и очень неприятно. Шефольд решил избавить его от этого чувства неловкости. Возможно, когда-нибудь, если все состоится, он расскажет ему со смехом, как с ним обошлись. Беспокоило его лишь то, что в расчеты майора могла вкратиться такая ошибка. Или он в своих расчетах не учел чего-то главного?

Этот зажавшийся пижон со своим гнусным красным галстуком. Райдель вдруг признался себе, что находит галстук не таким уж гнусным. Он обнаружил, что снова и снова поглядывает искоса на это светло-алое пятно.

Справа и слева от дороги стояли большие некрасивые крестьянские дома. Плавные линии холмов сбегали вниз, к этим домам, обрывались местами у редких лиственных деревьев, стоявших возле неоштукатуренных амбаров из бутового камня или на выгонах. Деревня, расположенная в известняковой мульде, словно в оправе из яри-медянки, как в Лотарингии, Валлонии, в горах Юры. Настоящий Курбе. Но без резкого

освещения, характерного для Курбе,—без этого блеска, напоминающего вороново крыло или живопись маслом. Скорее нечто меловое, плоские поверхности, не пронизанные желтоватым светом этого октябрьского дня, а лишь слегка окрашенные им, пленка краски, положенной шпателем на грунтовку. Тончайший слой. Стало быть, все же Писсарро? Или действительно Сезанн? Или никогда еще никем не нарисованный свет?

Поскольку его сопровождающий так упорно молчал, Шефольд, по привычке, стал мысленно сопоставлять открывавшиеся перед ним виды—первые дома Винтерспельта—с полотнами живописцев. Но ему удалось сосредоточиться лишь ненадолго—молчание Райделя отвлекало его. Каждая секунда молчания Райделя напоминала о грозившей ему опасности. Он перестал искать сравнения для Винтерспельта. Если Винтерспельт означал лишь опасность, то он не мог быть ничем иным, кроме Винтерспельта.

Теперь главное: чтобы кто-нибудь из начальства не перебежал ему дорогу, например фельдфебель Вагнер или оберфельдфебель. Эти прямо с ходу начнут затапывать его в грязь. «Как вы смели самовольно отлучиться с поста?», «Вы должны были ждать, пока вас сменят, и передать этого человека ответственному за боевое охранение», «Неслыханное нарушение дисциплины. Я вас отдам под трибунал, Райдель». И, конечно, они заберут у него пленного и сами отведут к командиру батальона.

Он должен из кожи вон вылезти, сделать все что возможно, лишь бы помешать этому. Тот же трюк, что с Добрином, только доложить ловко, молодцевато:

«Обер-ефрейтор Райдель с пленным, направляюсь в штаб батальона. Приказ господина майора».

Но они не такие тупицы, как Добрин.

«Да вы что, Райдель, вы мне тут не финтите! Как это вы получили приказ?»

«Осмелюсь просить господина обер-фельдфебеля осведомиться у господина майора».

Он представил себе, какое их охватит бешенство и как они будут смеяться. Они проводят его до канцелярии батальона, чтобы проверить правильность его утверждений и присутствовать при том, как его изобличат во лжи.

Но тут-то они здорово ошибутся. Сам майор возьмет его под защиту. Он будет оправдан, ибо человек, шедший рядом с ним, не лгал: командир его, безусловно, ждет. «Он действовал правильно». Может быть, майор даже начнет поучать их: «Мне

нужны солдаты, которые действуют самостоятельно. В сорок четвертом году от тупых исполнителей приказов нам мало толку, господа, запомните это!» Такие и похожие речи командир уже произносил после учений в Дании перед всем батальоном. «Мне нужны думающие солдаты». Это высказывание стало крылатым, после него в ход пошло много шуток и насмешек. Когда кто-нибудь делал что-то неверно, ему говорили: «А-а, вы, наверно, тоже из думающих солдат».

Смешно было только то, что этот человек, идущий рядом с ним, не лгал, что командир действительно ждет его. Это и в самом деле было чертовски смешно.

Конечно, лучше бы не встретить никого из начальства. К счастью, Райделю не надо проходить мимо командного пункта своей роты, чтобы добраться до дома, где размещается штаб батальона.

Если они начнут угрожать трибуналом, он будет сохранять хладнокровие. Его уже и так ждет трибунал. Очень-очень слабая надежда спастись от военного трибунала состояла в том, чтобы передать Шефольда командиру. Было у него такое смутное ощущение.

С Шефольдом происходило нечто странное. Перестав мысленно сравнивать открывавшиеся перед ним виды с полотнами живописцев, например первые дома Винтерспельта, дорогу, холмы с картиной Писсарро или с каким-нибудь не написанным еще полотном, он внезапно и совершенно серьезно подумал о том, не стоит ли ему расстаться со своей сдержанностью по отношению к женщинам.

Поводом для этого послужило то, что он вдруг испытал чувство радости при мысли о предстоящем посещении того трактира в Сен-Вите. Сначала он думал только о своем возвращении. Он вернется—мысль об этом помогала вынести разраставшееся в нем чувство, что происходит что-то ужасное. После беседы с Динклагге он во второй половине дня вернется в Хеммерес. Ближе к вечеру он сможет поговорить в Маспельте с Кимброу. Странно, что дом в Хеммересе, сад у реки, река в долине вдруг перестали казаться ему убежищем. Впервые он подумал о том, чтобы покинуть Хеммерес. Он снова почувствовал себя в безопасности лишь тогда, когда вспомнил жанровую картинку кабачка в Сен-Вите, его незамысловатую кухню. Покрытые стертым коричневым пластиком столы, на которых стояли пивные кружки. Маленькие, плохо вымытые окна, серые, как дома напротив. Старая эмалированная табличка—пивоварня

«Роденбах». Люди, входившие сюда и садившиеся за покрытые коричневым пластиком столы, были ничем не примечательные, с усталыми лицами. Приглушенными голосами они говорили о войне, о том, останутся ли американцы или вернутся немцы. Сегодня же вечером он поедет в Сен-Вит. Какой-нибудь водитель джипа подвезет его, после того как он переговорит с Кимброу. В Сен-Вите уже стемнеет, и трактир будет казаться пещерой, в которую проникает тусклый, просеянный сквозь паутину свет. Горький запах пива подтвердит ему, что его поход в Винтерспельт понемногу начинает превращаться в легенду, старую и уже не страшную.

Из сумрака она подойдет к его столу, словно сплетенная из теней. Он спросит ее: «Когда у вас свободный день?» Он скажет ей: «Я хотел бы познакомиться с вами». Эта совершенно невероятная для него мысль вдруг возникла сама собой, пока он шел рядом с Райделем на последнем участке дороги перед Винтерспельтом.

Она была темноволосая, суровая, с худым лицом цвета топаза, в ней была какая-то своеобразная прелесть. Она скажет: «Оставь-те меня в покое!»

«Но я обязательно хочу познакомиться с вами».

Он слышал, как произносит эту фразу — легко и в то же время взволнованно, а это как раз и необходимо в данном случае. Он чуть не сказал это вслух, но вовремя вспомнил о присутствии Райделя.

Возможно, что этот тип, этот шпион или кто он там есть, пожалуется на него Динклагге.

«Осмелюсь обратить внимание господина майора, что я должен был рассматривать этого человека как шпиона».

Такая отговорка не пройдет.

«Разве это повод обходиться с ним жестоко?» — спросит майор.

Лучше разыграть полную откровенность.

«Этот человек говорил вызывающим тоном».

Майор повернется к своему гостю с улыбкой и удивлением.

«Чем вы разгневали обер-ефрейтора, господин доктор?»

Тем самым он выиграет время, пар будет выпущен. Только после этого начнется: каждый будет говорить свое.

«Этого не следовало делать — давать ему чаевые», — услышал он голос женщины. Дверь была еще открыта; в руке он держал банкноту — три марки.

«Почему нет?» — спросил мужчина.

«Он же сын хозяина. У него был такой нелепый вид при этом».

«Ерунда! — Муж со смехом оборвал жену. Райдель все еще слышал его голос. — Он принадлежит к тому классу людей, которые берут чаевые».

У дверей швейцарской папаша в немом изумлении вынул глаза, когда он сказал ему, что дал оплеуху гостю из номера 23. Райдель повернулся и пошел. Мать вскрикнула: «Куда же ты теперь, Хуберт?» Она стояла в холле, собственно, это был не холл, а просто прихожая, оклеенная темно-коричневыми тисненными обоями, которые были похожи на кожаные. Высокая, как башня, прическа матери закрывала картину — трубящий олень на лесной поляне. Мать выглядела очень представительно.

Гостиница его родителей была не такая первоклассная, как в Дюссельдорфе, где он обучался. Но это было солидное заведение, в котором работала вся семья. Заведение с постоянной клиентурой. Отец писал ему: «После войны ты все отстроишь заново». Отец был маленький, цепкий, сложением Райдель пошел в отца. Иногда он спрашивал себя, есть ли в нем что-нибудь от матери, и каждый раз приходил к выводу: ничего. Она была чужая, представительная женщина с высоко взбитой прической. Он выполз из чрева чужой женщины. Чужая женщина обнимала, целовала его, придумывала ласковые имена.

Выйдя на улицу, он нащупал в кармане куртки бумажку — три марки. Он сунул ее туда, чтобы освободить руки, прежде чем дать тому типу по морде.

Он ударил его по желтоватой, будто кожаной морде, ударил сначала правой, затем левой рукой, так что тот покачулся в одну, потом в другую сторону. Какой-то коммерсант, приятель папаша. Он был так удивлен, что даже не защищался. Жена его громко закричала.

Наутро призывной пункт. Его посылали из одного отделения в другое. Наконец какой-то чиновник в штатском записал его анкетные данные. «Тысяча девятьсот пятнадцатый год рождения, — сказал он, — ну что ж, все равно скоро пришла бы ваша очередь». Он спросил Райделя, есть ли у него пожелания относительно рода войск.

— Авиация, — ответил Райдель.

Хотя по комплекции и благодаря исключительной остроте зрения он великолепно подошел бы для авиации, его через две недели после освидетельствования призвали в саперные подразделения пехотных частей в Зигене.

## КУРЬЕР С ОСОБЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

Проехав в этот прекрасный, хотя и прохладный осенний день часть пути на велосипеде, Кэте запыхалась, ей было жарко, но не до испарины. Ощущение сухого, умеренного жара, которое не доставило ей особого удовольствия.

Еще не успев прислонить велосипед к стене хижины, она сказала:

— Он прибыл точно, почти минута в минуту, в сопровождении солдата. Я подождала немного, потом поехала.

Ей понадобилось минут десять или чуть больше, чтобы добраться до хижины Хайнштока,—стало быть, Шефольд уже около получаса беседовал с майором Динклагем.

Когда они вошли, Кэте подождала, пока за ними с треском захлопнется старая дверь. В комнате было жарко от железной печки, и стекла ее очков сразу запотели. Она сняла их.

— Я действительно представляла его себе совсем другим,—сказала она.—Ты прав, он и в самом деле не похож на далекого от жизни ученого.

Протерев стекла и снова надев очки, она увидела сына и, совсем как Шефольд, почувствовала облегчение оттого, что птица, которая теперь сидела в верхнем ярусе своего убежища, не начала хлопать крыльями, когда она вошла в хижину.

Пока сын был один, он неприязненно смотрел своими черными глазами на дверь, через которую примерно час назад вышел Хайншток; когда в комнате появилась Кэте, он закрыл глаза, чувствуя, что она наблюдает за ним. Он ненавидел, когда за ним наблюдали. Прикрыв веки, он как бы уничтожал саму мысль о наблюдении.

— Ты уверена, что его привел простой солдат? — спросил Хайншток.

— Да, — сказала она, — обер-ефрейтор. Отвратительный тип. Она не стала описывать Хайнштоку движение головы, каким солдат приказал Шефольду подняться по ведущей в дом лестнице. Хайншток не придавал бы большого значения этой детали. Надо надеяться, она сумеет потом объяснить Динклагге, что было заключено в этом жесте, адресованном Шефольду.

Хайншток даже не отреагировал на «отвратительного типа», а только сказал:

— Странно. Я был уверен, что его приведет по меньшей мере фельдфебель.

— Знаешь, как он выглядит? — спросила Кэте. И, не дожидаясь ответа, сказала: — Как настоящий аристократ.

Она не обдумывала заранее, как ей охарактеризовать Шефольда, эти слова пришли ей на ум внезапно. Почти в тот же миг она спросила себя, нравятся ли ей люди, которые выглядят «как настоящие аристократы». И ответила отрицательно. Венцель Хайншток не был аристократом, но и Йозеф Динклагге не был им тоже, несмотря на свой Рыцарский крест и свой мундир.

— Я не знаю, что это такое, — немедленно и резко отозвался Хайншток. Он сожалел, что Кэте воспользовалась выражением из лексикона эпохи феодализма. Шефольд был вырвавшимся в сферу искусства сыном судьи, потомком энного количества поколений высших чиновников, этих квалифицированных слуг буржуазного государства. Что придавало ему, конечно, определенный стиль. Но в остальном он был скорее наивный человек. Он хорошо разбирался в картинах и плохо — в жизни.

Тем не менее Хайншток решил использовать то неверное, на его взгляд, представление, которое сложилось у Кэте.

— Надеюсь, ты успокоилась, — сказал он, — когда увидела, что он вовсе не похож на этих профессоров не от мира сего.

Он сам удивился, произнес эти слова: «Не от мира сего». Он нашел наконец для Шефольда точное обозначение, которое долго искал.



— Напротив,— сказала Кэте,— совершенно напротив. Он выглядел не только как настоящий аристократ, но и как аристократ, которого арестовали. Он шел рядом с этим солдатом, точно свергнутый властелин. Ты понимаешь, что я имею в виду? Он выглядел каким-то особенно незащищенным.

— Я пытался наблюдать за склоном, по которому должен был пройти Шефольд,— сказал Хайншток.— Но Эльхератский лес скрыл его.

— Сегодня утром Динклагге убрал с передовой всех новобранцев. Он сказал: «Чтобы не произошло ничего непредвиденного».— Тени в уголках ее рта стали глубже.— Вы оба действительно очень озабочены тем, чтобы с Шефольдом ничего не случилось,— добавила она.

— Когда он тебе это сказал? — спросил Хайншток.

— Рано утром.

«В постели»,— мысленно добавил Хайншток.

— Ты уже ела? — спросил он.

Она покачала головой.

— Может, приготовишь себе что-нибудь?

— Нет, спасибо, я сейчас поеду.

— Ну хоть чашку кофе?

— Нет-нет,— сказала она,— я и так нервничаю.

— Нет причин для волнения,— сказал Хайншток.— Все удалось. Через час Шефольд будет на пути к своему дому. После полудня я зайду к тебе узнать, когда он ушел.

Она возмутилась.

— Ты, наверно, не в своем уме,— сказала она.— В этот момент Шефольд разговаривает с Динклагге. А ты заявляешь: «Нет причин для волнения!»

— Как будто из этого может что-то выйти! — сказал он.— Ты, должно быть, все еще надеешься, что произойдет чудо и появятся американцы, притом сегодня ночью. Кроме того, нас это уже не касается,— добавил он.— Для тебя и для меня на этом история заканчивается. Для Шефольда она кончится через час или два. Все остальное должны решить между собой Динклагге и этот американский офицер.

«Который должен быть таким же идиотом, как и я, потому что он, вроде меня, поддался на идиотское предложение этого немецкого офицера»,— подумал Хайншток. Он действительно полагал, что для него и Кэте вся эта история заканчивалась с визитом Шефольда к Динклагге. Кэте знала, насколько опасной он

считал эту акцию. Он очень четко изложил ей свои соображения по этому поводу.

Она снова успокоилась. Венцель Хайншток не знал, что сейчас она в последний раз находится в его хижине. Вероятно, он прав, американцы, скорее всего, не придут, но независимо от того, будет ли толк от встречи Динклагге с Шефольдом, ясно, что ближайшая ночь — последняя, когда она еще может уйти, продолжить свой путь на Запад. Насколько она знала Йозефа Динклагге, если американцы не придут, он закроет единственный незащищенный участок фронта.

Она села на кровать. Хайншток стоял у стола — положенной на козлы старой двери — и набивал трубку. Кровать — железная раскладушка с тонким матрасом — была застелена тщательно сложенным одеялом. Она походила на кровать Динклагге. Кровати аскетов и военных. Хайншток — теперь она это знала — тоже был, в сущности, военным человеком. Он был надежный человек, седина его отливала сталью. Он всегда носил один и тот же костюм из серого жесткого материала в рубчик. Она знала его крепкое, недостаточно гибкое тело. Взгляд его был устремлен на инструменты, камни. Потом он о чем-то задумался и посмотрел на нее, Кэте. Она мысленно прощалась с ним, не подозревая, что Хайншток считает, будто она пришла к нему прямо из постели Динклагге.

Она была ему многим обязана. Защитой, ибо с тех пор, как в июне она бежала из Прюма в Винтерспельт, каждый знал, что у нее связь с непонятным человеком из каменоломни. Безопасностью во время больших облав после 20 июля, когда Хайншток прятал ее в пещере на Аперте. Знакомством с учением, которое казалось ей убедительным и имело то преимущество, что было запрещено. Кэте исполнилось двенадцать лет, когда это учение запретили. Услышав основные принципы, изложенные четким языком Хайнштока, она сразу поняла, что мрак в Германии как-то связан с тем, что это учение запрещено.

Внутри этих полных взаимной симпатии отношений, основанных на защите и поддержке, — неплохая основа для отношений между двадцатичетырехлетней женщиной и мужчиной старше ее на двадцать восемь лет, — внутри некоей сферы, окрашенной чувством, что Венцель Хайншток ей «приятен», существовали и какие-то тени, пятна, что-то непроясненное, мешавшее ей; например, то, что он принимал подарки от людей, которые, будь

ситуация иной, избегали бы даже общения с ним.

Когда она однажды заговорила об этом, он сказал примерно следующее: да, он действительно всегда располагает небольшим запасом кофе, вина и так далее, ибо кое-какие люди в здешних местах убеждены, что в один прекрасный день он окажется им полезным. Он принимает пустяковые подарки, которые ему делает буржуазия, без смущения и без благодарности, потому что знает: когда все будет позади, он действительно сумеет помочь кое в чем этим людям — торговцам, мелким фабрикантам, чиновникам, богатым крестьянам. То есть он повторил то, что уже говорил ей по поводу своих будущих отношений с Аримондом, только Аримонду — он это понимал — он был обязан, а «этим людям» — нисколько.

— Прежде чем они забудут меня в моей каменоломне, — сказал он, — прежде чем они снова начнут говорить обо мне как о замаскированном коммунисте — что они, впрочем, делают и сейчас, — я какое-то время буду самым полезным идиотом здешних мест.

— Стало быть, ты позволяешь себя подкупать.

— Что ты хочешь, — сказал он, — революции не будет, они договорятся.

— И ты с ними договоришься?

— Просто снова возникнут буржуазные нормы отношений.

— Но тебе, — сказала она, — тебе же не нужна их плата за молчание.

— Плата за молчание, — сказал он, — как это звучит! Я не буду покрывать ничьих преступлений. Только слабости. Но поскольку даже крупных преступников не будут заставлять расплачиваться за содеянное, то уж мелкие оппортунисты и вовсе имеют право улизнуть от расплаты. И я помогу им в этом.

— За кофе и вино?

— За кофе и вино, — сказал он. — Я уже все точнейшим образом обдумал. Мне предстоит жить с этими людьми еще лет двадцать или тридцать. Как это ни странно, тех, кто однажды принял у них четверть фунта кофе, люди предпочитают тем, кто ведет себя так, словно является воплощенной добродетелью.

— А зачем жить с ними вместе? — спросила она. — Уйди!

Не получив ответа, она сказала:

— Меня, во всяком случае, здесь не будет, когда вы начнете договариваться друг с другом.

Утверждение, что революции не будет, было одним из его обычных доводов. В глазах Кэте он приобретал тем самым

большое сходство с Динклагге. С тех пор как она познакомилась с Динклагге, она поняла, что Хайншток говорит о революции так же, как Динклагге о своем плане. Революция для Хайнштока и план для Динклагге были абсолютными и неосуществимыми истинами. Революция произойдет когда-то, но не при жизни Хайнштока; план Динклагге обречен на то, чтобы остаться игрой ума, оперативной схемой на карте. Только вот Динклагге совершил неосторожность, сделав участницей этой игры Кэте. Она хоть и интеллигентка, но одержима стремлением превращать абстрактные идеи в жизнь, теорию в практику, если ей представлялась для этого хоть малейшая возможность.

Во время того разговора она сидела, сжав кистью одной руки запястье другой — типичный для нее жест, когда она совершенно с чем-то не согласна, когда ей что-то очень и очень не нравится. Позднее она разжала руку — не потому, что ее убедили аргументы Хайнштока, а потому, что поняла свое бессилие; возможно также, просто потому, что решила закурить сигарету.

Этот разговор происходил, когда Динклагге еще не появился на горизонте. Хайншток уже тогда показал, что не готов выполнить моральные требования, которые предъявляет двадцатичетырехлетняя женщина.

Возможно, Хайншток недооценил Кэте. Поскольку она была учительницей и хоть и недолго, но все же занималась преподаванием, она, возможно, готова была признать, что чистота учения не обязательно должна воплощаться в учителе. И можно предположить, что она разделяла взгляд Хайнштока на людей, являющих собою ходячую добродетель, и что человек со слабостями, даже живущий в таком явном разладе со своими взглядами, как этот марксист и владелец каменоломни, казался ей более достойным любви, более интересным, чем какой-нибудь ограниченный и неуязвимый доктринер.

Только в прошлую субботу, 7 октября, в Хайнштоке вдруг появилось что-то сомнительное, что-то необъяснимо неприятное. Накануне вечером Динклагге рассказал ей о своем плане. Уже на следующее утро она была у Хайнштока. Вполне естественно, что он сначала полностью отверг как сам план, так и предложение участвовать в нем и пришел в ужас, узнав, что Динклагге вовлек в эту авантюру Кэте; можно было понять и то, что он нагромождал возражение на возражение, а потом, так и не будучи убежден, все

же согласился, видимо, только потому, что она, Кэте, этого хотела. Она не ожидала ничего другого, его возражения имели под собой почву — еще немного, и она сама начала бы колебаться.

Но потом! Она сказала:

— Это будет опасно для тебя. Насколько я понимаю, тебе придется курсировать между американцами и Динклагге по крайней мере дважды.

Она уточнила:

— То есть визиты к Динклагге я, конечно, беру на себя. В деревне все бы обратили внимание, если бы ты стал вести с ним переговоры.

— Но зато уже никто не обращает внимания, когда к нему ходишь ты,— сказал он.

— Венцель!— сказала она.

— Вероятно, в деревне просто подумали бы, что я потребовал от него объяснений по поводу тебя. Это была бы отличная маскировка.

Она взяла себя в руки, решила во что бы то ни стало заставить его не касаться личных проблем.

— Ведь я думала только о политической стороне дела,— сказала она.— Тебя знают во всей округе, знают, кто ты. Все просто удивились бы, что майор ведет беседы именно с тобой. Люди из деревни стали бы говорить об этом с людьми из окружения майора.— Да,— добавила она,— я действительно имею возможность в любой момент поговорить с Динклагге с глазу на глаз. Тут уж ничего не изменишь. Но для данного дела это только полезно.

— Хорошо,— сказал он,— я поговорю с Шефольдом.

Он уже несколько раз рассказывал ей о Шефольде как о каком-то курьезе. Судя по его описаниям, Шефольд был чужак, странный, далекий от жизни и при том легкомысленный индивидуалист. Она видела картину, которую по его просьбе хранил в тайнике Хайншток, и, вспоминая о «Полифонически очерченной белизне», она испытывала большую симпатию к Шефольду и желание познакомиться с ним. Она никогда не могла толком понять, почему Хайншток прячет от нее этого одержимого своим делом искусствоведа.

— С Шефольдом?— спросила она.— А он тут при чем?

— Но это же предельно ясно,— сказал Хайншток.— Он самая подходящая фигура, чтобы установить связь с американцами. Он у них свой человек.

— Как,— спросила она,— ты хочешь, чтобы этим делом занял-

ся такой человек, как он? Но ведь это же очень трудно и опасно.

В момент, когда разговор принял такой оборот, она поняла, что в рассуждениях Хайнштока о тактике содержится определенный смысл, и все же была безгранично разочарована. По причинам, которые потом она даже не могла вспомнить, Кэте считала естественным, что Венцель Хайншток возьмет на себя самую рискованную роль—если не считать той, что отводится Динклагге. Она считала, что он не захочет упустить возможность до крушения фашизма еще раз, самый последний, принять участие в подпольной борьбе. Это была бы его месть за Ораниенбург.

— Он говорит по-английски,—вполне резонно сказал Хайншток.—А я нет.

— Ты знаешь дорогу, по которой он приходит,—сказала она.—Ты говорил, что именно ты показал ее Шефольду, стало быть, знаешь. Пожалуйста, встречайся с ним на хуторе, где он живет, бери его как переводчика с собой к американцам. Но все остальное ты должен сделать сам. Ты всегда говорил, что он простодушен и действует опрометчиво. Он сделает ошибку. Ты ошибки не сделаешь. Он что-нибудь напутает. Ты ничего не напутаешь.

— Ему не надо делать ничего сверх того, что он делает всегда. Он дважды придет ко мне по этой почти безопасной дороге и передаст сообщение, которое я в свою очередь передам тебе.

— И наоборот,—сказала Кэте.

— И наоборот,—подтвердил он.—Сообщение, которое передашь мне ты, я передам ему.

Он попытался раскурить свою трубку.

— Вот так,—сказал он в перерыве между двумя неудачными затяжками,—я буду всего лишь почтовым ящиком.

Она почувствовала, что он доволен своими конспиративными методами. «И он мог бы привести еще более убедительные доводы,—подумала она,—например что Шефольд пользуется доверием американцев—хотя он и не выполняет поручений разведывательного характера, их секретные службы наверняка уже располагают всеми необходимыми данными о нем,—в то время как Хайншток им абсолютно не известен и еще надо проверять, не провокатор ли он. Пока они установят, что это не ловушка—если исходить из того, что они вообще примут предложение Динклагге,—уйдет драгоценное время». Кэте сдалась. Неприятен ей был лишь самодовольный тон, каким он говорил о взятой на себя роли «почтового ящика».

«Я буду всего лишь почтовым ящиком» — это было сказано с торжествующей скромностью, которой она терпеть не могла.

Совершая последнюю попытку оказать сопротивление, перепробовать его, она сказала:

— Удивляюсь, с какой легкостью ты втягиваешь в такое дело этого наивного человека.

Он молча пожал плечами.

Хайншток знал, что она неправильно поймет это пожатие плечами, что она истолкует, не сможет истолковать его иначе, как беспощадность, даже жестокость. Но он не хотел опять начинать все сначала, объяснять ей, насколько бестактно, по его мнению, поступал этот господин Динклагге, во-первых, вообще познакомив Кэте со своим планом и, во-вторых, не попытавшись всеми средствами удержать ее от активного участия в его реализации. По сравнению с этим маленькое курьерское поручение Шефольду было сущим пустяком.

Она решила больше не спорить об использовании Шефольда.  
— Хорошо,— сказала она,— тогда пойду я.

Он ответил на это предложение только сухим смешком, который ее ожесточил.

— Если ты показал дорогу Шефольду, ты можешь показать ее и мне,— сказала она.

В ней вдруг вспыхнула надежда, что она сможет продолжить свое путешествие, и, вероятно, он прочел это на ее лице.

Она деловито сказала:

— К тому же я говорю по-английски.

Он сел за стол, посмотрел на нее, пуская облака дыма, молча покачал головой. Она знала, что, когда он так качает головой, бесполезно пытаться переубедить его.

Кроме того, позднее выяснилось, что решение Хайнштока вовлечь Шефольда было единственно верным. В тот же день Динклагге не только одобрил его, но и сказал, что это — одно из условий осуществления его плана.

Действительно ли Хайншток, как предполагает Кэте, подумал: «Если она, как того требует план, совершит этот переход дважды туда и обратно, то она может совершить его и в третий раз? В одну только сторону — туда». Установить это трудно. Но даже если он и разгадал намерение Кэте, то следует предположить, что этот человек, чье лицо покрыто тысячами морщинок, словно на нем поработали тонкой граверной иглой, не предавал-

ся иллюзии, будто может удержать эту девушку, вбившую что-то себе в голову — например, не вернуться. Гораздо вероятнее, что он, хотя и признавал равноправие женщин — он никогда особенно над этим не размышлял, это была просто одна из посылок его мировоззрения, — все же думал: такие вещи не для женщин.

Как он и ожидал, Шефольд сразу же загорелся.

— Дружище, Хайншток, — сказал он, — наконец-то я могу что-то сделать. — И тут же, не переводя дыхания, добавил: — Кимброу страшно удивится.

— Так вы думаете, что американцы вообще пойдут на это предложение? — спросил Хайншток.

— А почему бы им не пойти?! — изумленно воскликнул Шефольд.

В ту субботу (7 октября), когда Кэте передала Хайнштоку план Динклагге и уговорила его участвовать в нем, хотя бы в роли «почтового ящика», Хайншток, пока она не ушла, поручил ей предупредить Динклагге, чтобы он немедленно приостановил всякую деятельность патрулей в лесистой долине восточнее Хеммереса и тем самым гарантировал безопасность Шефольда.

Ему доставляло удовольствие, что он может передать приказ офицеру фашистских войск, майору и кавалеру Рыцарского креста. При этом он действительно употребил такие слова, как «деятельность патрулей» и «гарантировать безопасность».

Вслед за разочарованием, причиненным Хайнштоком, еще и неприятный поворот событий, виной которому был Динклагге.

Она пришла к нему в два часа, потому что знала, что в это время в канцелярии никого нет. Он повел ее в свой кабинет, но оставил дверь открытой, чтобы сразу увидеть, если кто-нибудь зайдет в помещение. Они не делали попытки обняться. Они сидели друг против друга у его письменного стола. Кэте рассказывала ему о Шефольде. Она старалась правильно описать Шефольда; какова бы ни была политическая позиция Динклагге, ему как офицеру должно быть неприятно узнать, что в его линии обороны есть негерметичные участки и что есть люди, которые этим пользуются. Сотрудничать со шпионом он бы не стал. Ей удалось представить Шефольда в правильном свете.

— Отлично! — сказал наконец Динклагге. И тоном, каким договариваются о светской встрече, добавил: — После всего, что ты мне сказала, для меня будет удовольствием познакомиться с доктором Шефольдом.



— Для этого у тебя не будет возможности,— сказала Кэте. И объяснила ему, о чем договорились они с Хайнштоком:— Шефольд будет доходить только до Хайнштока, Хайншток— передавать принесенные Шефольдом известия мне, а я—приходить с ними к тебе.

«Две линии информации, которые на поворотном кругу сплетаются в одну,—подумала она.—Хватило бы одной. Три человека вместо одного. Если бы Хайншток показал мне дорогу, я бы провернула все это дело сама».

— Отлично,—повторил Динклаге.—Превосходно продумано. Хайншток—специалист по маскировке.

Она не стала сообщать ему, что та часть системы связи, которая касалась ее самой, была предложена ею. Умолчала она и о том, что представляла себе более удачное решение—операцию без сомнительного участия Шефольда. Так как Динклаге знал характер ее отношений с Хайнштоком—она не утаила их от него,—ей не хотелось даже намеком дать ему понять, что ей что-то не нравится в поведении Хайнштока.

Динклаге сам развеял все ее сомнения, связанные с использованием Шефольда.

— Самое лучшее во всем этом,—сказал он,—что Хайншток связан с человеком, который является доверенным лицом американцев. Боюсь, что я не смог бы удовлетвориться посредничеством одного Хайнштока.

Она пристально посмотрела на него. Хотя сам Динклаге в этот момент глядел в окно на пустую деревенскую улицу, он, очевидно, почувствовал ее взгляд, ибо стал объяснять ей, что имел в виду.

— Конечно, я доверяю Хайнштоку,—сказал он.—Но мне пришлось бы, разумеется, потребовать от него установления прямых контактов. Этого я требую и сейчас.

Он отвернулся от окна, посмотрел на Кэте.

— План должен быть изменен в одной своей детали,—сказал он.—Последнее сообщение должно прийти через линию фронта.

Она не поняла или, во всяком случае, подумала, что пока имеет право не понять его.

— Что ты хочешь этим сказать?—спросила она.

Несколько секунд она с нетерпением ждала ответа.

— Я ставлю на карту все.—Он начал перечислять, делая паузы после каждого слова:—Себя самого. Свой батальон.— («Впервые он назвал его своим»,—подумала Кэте.)—Даже тебя, Кэте!—Это прозвучало так, словно он разговаривал с самим собой.—И потому я вынужден требовать, чтобы и американцы

что-то поставили на карту,—продолжал он.—Немногое. Только то, что своего курьера, который принесет мне их окончательное решение, они отправят ко мне через линию фронта.

Теперь настала ее очередь выглянуть в окно. В этот субботний послеполуденный час деревенская улица, освещенная бесконечным, лишь слегка приглушенным дымкой светом октябрьского солнца, словно воплощала законченную картину безжизненности, принесенной сюда майором Динклагге с его системой ведения войны. Дом Телена напротив, свинцово-белый, лежал, словно окопавшись, отгородившись от мира послеобеденным сном.

— Так не пойдет,—сказала она решительно.—Это слишком опасно. Ты не можешь требовать такого от Шефольда.

— Я позабочусь о том, чтобы с ним ничего не случилось,—сказал Динклагге тоном офицера, готового принять решительные меры.

Она попыталась сделать простое, как ей казалось, и разумное предложение.

— Ну, хорошо,—сказала она,—мы можем устроить так, что он придет к тебе своим обычным путем. В таком случае он отправится от каменоломни по дороге в Винтерспельт. Или ты бы встретился с ним у Хайнштока... Это можно организовать.

— Ты не понимаешь, Кэте,—сказал Динклагге.—Его приход через линию фронта будет для меня единственным доказательством того, что американцы относятся ко всей этой истории всерьез.

Охваченная внезапным чувством, что все ее усилия бесполезны, она не стала предлагать ему другие решения. Дело не просто в том, что он вбил себе в голову эту мысль, от которой, как бы он ни упрявился, она в конце концов может его отговорить. Условие, поставленное им, было выражением определенных убеждений, определенного образа жизни и мышления, в котором доводы разума не находили опоры, скользили, как руки по голой стене.

— К вопросу о структуре,—сказала она Хайнштоку вечером того же дня (все это происходило 7 октября, в прошлую субботу), стоя в темноте у двери Телена.—Структура—нечто, не подлежащее изменению.

— Да какое там,—сказал Хайншток.—Это вроде той истории с рыболовами, когда ему больше всего хотелось обратиться к американцам по радио, чтобы они забрали своих людей с берега. Этот господин все еще воображает, будто среди офицеров существует некий кодекс чести.

Кодекс чести или что-то другое—во всяком случае, к концу

своего разговора с Динклаге она была подавлена и растеряна. Она подумала, не отказаться ли от этого плана, не объявить ли Динклаге, что при таких обстоятельствах его план неосуществим.

Она содрогнулась при мысли о Шефольде, о тех последствиях, которые это могло иметь для него; и все потому, что она, Кэте, вмешалась в авантюру, которая, не будь ее, осталась бы просто игрой ума. Полная страха, дурных предчувствий, она смотрела на Динклаге, заговорившего о чем-то другом, потому что кто-то вошел в канцелярию. Но она так и не сумела заставить себя настроиться на эту новую тему, не слушала, сидела молча, так что Динклаге пришлось встать и закрыть дверь. Когда он положил руку ей на плечо, она словно застыла; вполголоса она сообщила о пожелании Хайнштока, чтобы в ближайшие дни в лесистую долину восточнее Хеммереса не посылались патрули; она заметила, что он помедлил, прежде чем дал согласие: по-видимому, ему было не так-то легко отогнать от себя мысль о том, что на его участке фронта есть пробелы в обороне.

Несколькими часами позже она спросила Хайнштока:

— Не стоит ли нам отменить все это дело?

Он был перед этим у Вайнанди, купил продукты и газеты, она нашла его в большой комнате старого Телена беседующим с хозяином. Потом она вышла вместе с ним во двор. В темноте военной ночи, в которой спряталась деревня,—хоть глаз выколи—она передала ему разговор с Динклаге. Полугородской коттедж на другой стороне улицы, командный пункт батальона, был почти невидим—только серые контуры.

Хайншток сразу понял, что в этот миг и, по-видимому, в последний раз он держит в своих руках судьбу плана Динклаге. Если бы он сейчас ответил на ее вопрос решительным «да», то с этой ужасной, на его взгляд, идеей—сдать американцам немецкий батальон—было бы покончено. Но он не сказал: «Да» или: «Правильно! Покончим с этим, прежде чем мы за это взялись!», а сказал лишь:

— Слишком поздно. Я уже говорил с Шефольдом.

Логических оснований для такой реакции Хайнштока нет. Он сам признает слабость, даже ничтожность приведенного им довода, поскольку, когда Кэте возражает, что сейчас еще вполне возможно объяснить Шефольду, что акция не может состояться и по какой причине, он говорит:

— Конечно, я мог бы позвать Шефольда и дать отбой.

По поводу того, что он упорно не желает этого делать, о чем

говорит условная форма приведенной фразы и слово «конечно», могут быть высказаны следующие предположения:

1. Возможно, что за время, прошедшее с сегодняшнего утра, когда Кэте передала ему новость, он изменил свое мнение о плане Динклагге, понял, что, независимо от того, удастся операция или нет, речь идет о событии, имеющем в военной истории чрезвычайное значение.

2. Он действительно считает, что делу уже дан ход. Если Динклагге поговорил с Кэте, Кэте с ним, Хайнштоком, он с Шефольдом, Шефольд с этим американским офицером в Маспельте, то это значит, что события уже приняли такой оборот, что повернуть их вспять невозможно. Является это выражением тривиальной логики типа «взялся за гуж, не говори, что не дюж» или чем-то гораздо большим, остатком веры в неотвратимое у этого приверженца абсолютного просвещения,—кто знает?

3. Он увидел—не в самом плане, а в его осуществлении—результат любовной связи между Динклагге и Кэте и почувствовал, что результат оказался слишком весомым для этой связи и что ему достаточно поддержать одно, чтобы разрушить другое. Неудовольствие, даже страх Кэте, вызванный условием, поставленным Динклагге и касавшимся Шефольда, были для него первым знаком ее сомнений, той критики, которой она подвергла Динклагге. Все это, конечно, он ощущал весьма смутно, не очень отдавая себе в этом отчет. Однако нельзя упускать из виду, что и при таком характере, как его, ревность может привести к неожиданным действиям.

Но он не назвал ни одной из перечисленных здесь причин своего отказа «дать отбой», а ограничился технической стороной дела, сказав Кэте:

— Знаешь, если Динклагге гарантирует Шефольду безопасность при переходе через линию фронта, то для Шефольда это менее рискованно, чем все остальное.

Сознавал ли он, что тем самым принимает тот офицерский кодекс чести, который только что отрицал?

С помощью этого аргумента ему удавалось также поддерживать в Шефольде нужное настроение, хотя это было и не так просто.

Когда на следующее утро, в воскресенье 8 октября, Шефольд появился снова, настроение его заметно ухудшилось.

— Кимброу вел себя странно,—сообщил он.—Он меня выслушал, задал вопросы, но в ответ не сказал ничего, кроме того, что поговорит с командиром полка. Он добавил, что не представляет

себе, чтобы там пошли на это предложение.

— Ну, а я вам что говорил,—сказал Хайншток, но умолчал, что такое решение считал самым лучшим. Если бы американцы отказались играть в эту игру, Динклагге мог бы спрятать свой бессмысленный индивидуалистический план в ящик, а Кэте, Шефольд и он, Хайншток, спокойно дождались бы конца войны.

— Во-первых, сам Кимброу не обнаружил ни малейшего восторга,—сказал Шефольд.—Вы мне можете это объяснить?

— Интернационал офицеров—вот как это можно назвать,—сказал Хайншток.—Они не любят, когда кто-то из них нарушает общий порядок.

Шефольд покачал головой.

— Вы не знаете Кимброу,—заметил он.—Он совершенно не похож на стопроцентного офицера.

— Зато Динклагге—офицер на сто пятьдесят процентов,—сказал Хайншток и сообщил, какое условие придумал Динклагге для последнего этапа шефольдовской миссии.

Поначалу Шефольд решительно отказался выполнять это требование.

Хайншток наблюдал за ним, когда он в полном замешательстве выкрикнул:

— Нет! Это уж чересчур!

Багровое лицо Шефольда не обладало способностью бледнеть. Только в его глазах, тоже голубых—однако их голубизна была совсем иной, чем фарфоровая голубизна глаз Хайнштока,—появилась какая-то тусклость, замутненность.

Овладев собой, он сказал:

— Исключено! Я охотно сделаю все, но я не желаю попасть в руки нацистских солдат.

Хайншток не любил слово «наци», которое было в ходу на той стороне. Он впервые услышал его от Шефольда. Оно казалось ему слишком мягким по сравнению с тем, что оно обозначало. На его чешско-немецкой родине слово «наци» было сокращенной формой католического имени Игнац.

Вопреки своему намерению убедить Шефольда он сказал:

— Я, конечно, понимаю, что этому господину недостаточно получить все те известия, которые ему, возможно, передадут американцы, так сказать, в приватном порядке, через женщину...

Он осекся.

Шефольд тотчас зацепился за эти слова.

— О,—сказал он,—значит, тут замешана женщина. Кто она?

— Это вас не касается,—сказал Хайншток. Теперь он вымещал на Шефольде свое раздражение, вызванное тем, что допустил оплошность, упомянув Кэте.

Шефольд не дал увести себя от этой темы. Казалось, это даже заставило его на какой-то миг забыть о том возмущении, которое вызвало у него неслыханное требование Динклага. Он начал делать выводы из оговорки Хайнштока.

— Так, значит, все это затеяла женщина,—сказал он, не обращая внимания на то, что Хайншток пришел в дурное расположение духа.—Черт побери! Это должна быть необычайная личность, если она одновременно пользуется доверием майора и вашим, может служить связной между вами. А я представлял себе, что вы сами...—Он оборвал свою мысль, не договорив.—Я ломал себе голову, как вы вообще узнали о намерении Динклага, но не допытывался, потому что не хотел лезть в ваши тайны и думал, что когда-нибудь вы меня в них посвятите. Самое позднее, когда все уже будет позади. Кстати, Кимброу меня сразу спросил, каким образом вы узнали об этом плане. Теперь я могу ему рассказать.

Казалось, он не замечал, что Хайншток смотрит на него с раздражением.

— Она хорошенькая?—спросил он. И, не дожидаясь ответа, сказал:—Хотел бы я только знать, она выпрашивала майора по вашему заданию или...

— Боже милостивый,—сказал Хайншток,—замолчите же наконец!

По виду Шефольда нельзя было понять, обиделся он или нет. Он улыбнулся, но улыбка его скорее выдавала растерянность.

В этот момент он наверняка вспомнил о том, что, болтая о Хайнштоке, люди в трактирах Айгельшайда или Хабшайда—эти разговоры и побудили его в один прекрасный день посетить владельца каменоломни—упоминали и некую приятельницу Хайнштока, молодую учительницу, которая эвакуировалась в Винтерспельт. Он чувствовал неловкость, настаивая на продолжении этой темы. Он не был бы Шефольдом, если бы не начал сразу же романтизировать образ неизвестной ему Кэте. Представление о таинственных, смелых и красивых женщинах-подпольщицах волновало его. Он был ревностный поклонник Стендаля, и при мысли о женщине, даже если он ее никогда не видел, у него начинался тот самый, описанный Стендалем, процесс кристаллизации. Его не смущало, что сейчас предметом его страсти была

официантка в Сен-Вите. Возможно, мысль о том, что в операции принимает участие женщина, скорее побудила его согласиться на условие майора, чем утверждение Хайнштока, что переход через линию фронта будет для него менее рискованным, нежели все прочее, если майор гарантирует его безопасность.

Хайнштоку нечем было опровергнуть свои сомнения в том, что такая гарантия вообще возможна. Динклагге мог принять любые меры (издать приказ, запрещающий стрелять, сделать линию более разреженной, позаботиться о том, чтобы на ней дежурили только самые надежные и опытные солдаты), но момент, когда Шефольд появится на линии, все равно будет рискованным.

— А эта дама,—спросил Шефольд,—не может объяснить майору, что было бы гораздо проще, если бы я пришел в Винтерспельт по дороге? Я бы явился в его канцелярию, показал свое письмо,—вы о нем знаете!—и он, таким образом, принял бы уполномоченного по охране произведений искусства. Это было бы абсолютно естественно! При этом для меня риск был бы очень незначительным, а для него вообще никакого риска.

Хайнштоку не хотелось объяснять ему, почему Динклагге не устраивало такое предложение. Кэте уже излагала это майору, хотя и не уточняла деталей, но в ответ услышала только нечто о «доказательстве», в котором он нуждается.

Он решил отложить разговор.

— Я думаю, нам незачем ломать себе голову,—сказал он.—Американцы не будут участвовать в этой операции.

Но оказалось достаточно, чтобы из всех американцев в игре принял участие только капитан Кимброу, и вот Шефольд—в руках нацистских солдат, он идет сейчас рядом с одним из них, поверженный властелин, произведший на Кэте впечатление особенно незащитного человека. Если бы она знала, каков он на самом деле, она еще решительней воспротивилась бы тому, чтобы Динклагге и Хайншток использовали его для этой миссии.

В конце концов все свелось к тому, чтобы подвергнуть Шефольда испытанию на мужество. Она знала, что Хайншток не согласится с таким утверждением. «Ведь он мог отказаться»,—возразил бы он, если бы Кэте сформулировала свою мысль именно так. И действительно, еще вчера он ей сказал:

— Жаль, что он в конце концов все же не отказался.

Однако на ее вопрос:

— Но ты не намекнул ему на это? Почему ты просто не запретил ему?

Хайншток ответил:

— Вы же хотите, чтобы все осуществилось, ты и Динклагге? Или вы уже этого не хотите?

Она медлила, не уходила, ибо не могла отделаться от мысли, что никогда больше не увидит этой хижинки; она думала о том, какой шанс (завоевать ее расположение) упустил Хайншток, не запретив Шефольду его переход через линию фронта и тем самым не остановив всю операцию.

Позднее, когда она станет вспоминать хижину, первое, что возникнет в ее памяти, будет это существо, не принадлежавшее — сразу видно! — к перелетным птицам. Сжавшись, сидело оно наверху, в полутьме ящика, дитя ночи и зимы, существо, которое остается здесь. Удивительно, как время от времени оно резко поворачивало свою круглую голову; поскольку у него не было шеи, возникало впечатление, будто большая серая маска вращается на невидимом шарнире. Хайншток говорил Кэте, что у сов исключительно хороший слух. Снизу оперение сыча было грязно-желтым, с темными полосками; Кэте хотелось прикоснуться к нему, но она не решалась; сыч не был животным, которое позволяет себя гладить — разве что приучить его к этому.

В голове птицы еще гнездилась боль, голова кружилась, сыч плохо воспринимал окружающее. Заметив движущуюся тень, он пронзительно вскрикнул: «Кью-вик!» Потом снова какие-то чужие голоса. Он ощущал отсутствие зелени, шелестящей на ветру, твердой древесной коры, омывающего тело воздуха, плещущей воды, дупел, темноты. Однажды он вспомнил снег.

Возвращаясь на велосипеде в Винтерспельт, разгоряченная, но без всяких признаков испарины, Кэте размышляла о мужестве. Существовала большая разница между видами смелости. Смелость Шефольда, пошедшего через линию фронта, была совсем иной, нежели та, какую пришлось бы проявить ей, если бы она пошла к американцам и назад к Динклагге. Для этих одиноких прогулок через лесистую долину («провернуть это дело одной»), вероятно, вообще не нужно было никакой смелости, а нужно было нечто другое, чем она обладала: неудержимое желание вырваться, перебраться на новое место (сегодня ночью она это сделает), желание, которое она обнаружила в себе с того момента, как покинула Берлин.



В это время Шефольд...

Когда, почему, при каких обстоятельствах человек решается проявить мужество? Ведь даже то обстоятельство, что его подвергли испытанию на мужество, не является достаточной причиной. Хайншток был абсолютно прав: Шефольд мог отказаться.

Он должен был отклонить хотя бы этот, предварительный, вообще не предусмотренный программой визит. Никто не мог бы его за это упрекнуть.

# РОЖДЕНИЕ ПАРТИЗАНКИ

## *Кое-что проясняется*

### 1

Знакомство между Кэте и майором Динклагге состоялось так быстро—в первый же день появления Динклагге в Винтерспельте—потому, что ближе к вечеру 1 октября в доме Телена появился ординарец, который, смутившись при виде трех молодых женщин, спросил, не найдется ли у них ночника для майора.

В этой связи следует объяснить, что тот дом полугородского вида, покрытый серой штукатуркой и какой-то безликий среди чисто выбеленных крестьянских домов и сараев из бутового камня, дом, который реквизировали все части, стоявшие в Винтерспельте, и использовали как командный пункт, находился напротив двора Телена по другую сторону деревенской улицы и принадлежал ему. Старый Телен построил его для своего брата, священника, но тот умер, не успев выйти на пенсию. Если не считать сменявшихся в нем военных, дом стоял пустой. С тех пор как этот участок фронта перешел к 18-й моторизованной дивизии, здесь появилась желтая деревянная табличка с надписью «Командно-наблюдательный пункт батальона», которая у Кэте вызывала смех, не только потому, что батальон не участвовал ни в каких боях, но и потому, что, как ей стало известно, за этим столь значительным названием скрывалось не что иное, как обычная войсковая канцелярия. Поскольку дом принадлежал Телену и находился рядом, то получалось, что майор, когда ему что-то было нужно, первым делом посылал к нему.

Ефрейтор-ординарец, по-видимому, одновременно и денщик

Динклагге — догадка, подтверждение которой Кэте обнаружила за ужином на следующий день, — смущался все больше, потому что старик Телен, словно сплетенный из ржавой проволоки, сидел за столом со стаканом домашнего шнапса и угрюмо молчал, а девушкам доставляло удовольствие видеть растерянность ординарца, особенно Кэте, потому что тон, каким он изложил просьбу майора, свидетельствовал о том, что пользование лампой по ночам не вызывает у него ни капли сочувствия.

Конец этому молчаливому, даже враждебному оглядыванию ординарца положила Тереза.

— Лампа есть только у тебя, — сказала она Кэте. — Может, одолжишь ее господину майору?

— Но лампа мне самой нужна, — сказала Кэте. Она представить себе не могла, что лишится возможности читать вечерами в постели.

Когда солдат ушел, Элиза вспомнила, что в кладовке на чердаке у них есть еще одна лампа. Они втроем пошли наверх и стали искать; от мрачной нелюбезности, которую они проявили внизу, в комнате, не осталось и следа — их вдруг охватило смешливое, дурашливое настроение. Они нашли ночник, принесли его вниз, ввинтили лампочку, проверили, горит ли она, стряхнули пыль с ветхого лилового абажура.

Оставалось отнести лампу в дом напротив на «командно-наблюдательный пункт батальона», это поручили Кэте. Хотя старый Телен даже не взглянул на дочерей, а только пристально смотрел в угол, Тереза и Элиза в его присутствии не смели и думать о том, чтобы отправиться к майору, хотя сделали бы это с величайшим удовольствием. Элиза сослалась на работу в хлеву, а на лице Терезы появилось выражение, которое Кэте истолковала не только как робость перед отцом, но и как озабоченность — Тереза погрузилась в мысли о Борисе Горбатове, который сегодня, в воскресенье, не работал на дворе. Роман с русским вынуждал ее по возможности избегать встреч с немецкими солдатами.

Когда Кэте, держа в руках ночник, пересекала улицу, она спросила себя, почему и она, и обе дочери Телена вели себя в кладовке как девочки-подростки, хотя все три уже давно вышли из этого возраста.

## 2

В доме было тихо. Кэте, не постучав, отворила дверь канцелярии и увидела прямо перед собой Динклагге; он стоял у

письменного стола штабс-фельдфебеля Каммерера и тотчас поднял на нее глаза, оторвавшись от бумаги, которую читал. Он был один; наверно, в эти воскресные предвечерние часы отпустил писарей, чтобы те могли устроиться на квартирах.

— Это просто прекрасно,—сказал он, сразу сообразив, в чем цель ее прихода. И, взглянув на посетительницу и по ее внешности сразу же заключив, что она поймет смысл его замечания, добавил:—Это спасет мне вечера.

— Мы раскопали ее в кладовке. Я не могла уступить вам свою, потому что мне просто необходимо читать перед сном,—сказала Кэте; мысль о том, чтобы уступить этому человеку свою лампу, вдруг перестала казаться ей столь уж невероятной.

— Понятно,—сказал Динклагге.

Она нехотя призналась себе, что ей импонирует мрачный блеск его Рыцарского креста, и приписала сей эффект тому, что орден носят на шее.

Динклагге сказал:

— Давайте поднимемся вместе наверх! Проверим, работает ли лампа.

На это приглашение, конечно, следовало ответить: «Она проверена, она работает, в доме напротив такое же напряжение, как и здесь»,—но Кэте молча последовала за майором, который зажег свет в коридоре и, слегка хромя, как она заметила, пошел впереди нее по лестнице в мансарду, куда она, кстати, еще никогда не заглядывала. Тон, каким он предложил ей «подняться вместе наверх», не был непристойным, но и вполне безобидным не был: чувствовалось, что он просто ищет предлога, чтобы задержать ее.

На лестнице он остановился, повернулся к ней и спросил:

— Могу я узнать ваше имя?

— Ленк,—сказала Кэте.

— А я Динклагге, фройляйн Ленк,—сказал он.

Она посмотрела на него и засмеялась.

— Почему вы смеетесь?—спросил он.

— Потому что у вас смешной вид с этим ночником в руках,—сказала она.—Он не подходит к вашему Рыцарскому кресту.

— Судя по всему, у вас преувеличенное представление о тех, кто имеет награды,—сказал он.—Или, во всяком случае, о самих наградах.—Он тоже рассмеялся, похоже было, что он нисколько не обиделся.

Комната наверху была не очень большой, но и не выглядела как мансарда, хотя стены по обеим сторонам окна были скошены.

Здесь не было ничего, кроме походной кровати, двух стульев и двух выкрашенных в серый цвет ящиков, один из которых стоял возле кровати. Кровать как две капли воды была похожа на ту, что стояла у Венцеля Хайнштока. На ящике лежало несколько книг. Динклагге чуть отодвинул ящик—стала видна розетка, он поставил лампу на ящик, воткнул вилку в розетку: лампочка загорелась.

— Чудесно,—сказал он.—Спасибо.

Пока он возился с лампой, Кэте подошла к окну, тому самому, которое майор Динклагге, приняв свои таблетки, имел обыкновение открывать по утрам, чтобы понаблюдать за полетом американских бомбардировщиков, при этом он высчитывал, сколько нужно эскадрилий истребителей-перехватчиков, чтобы рассеять столь мощные боевые порядки, и мысленно произносил обрывки фраз, вроде: «Если бы у нас еще были истребители»,—за что позднее себя корил, ибо невольно употреблял первое лицо множественного числа. Сейчас, уже ближе к вечеру, не было слышно самолетов, и Кэте смотрела не в небо, а на сад за домом. Сад представлял собой четырехугольную площадку, где росло несколько старых яблонь, за которыми никто не ухаживал. Тем не менее яблоки, судя по всему, кто-то собрал. («Наверно, 18-я моторизованная их сожрала»,—сказал утром штабс-фельдфебель Каммерер майору Динклагге таким тоном, словно он действительно обиделся на 18-ю моторизованную за то, что она не оставила яблоки на деревьях для 416-й пехотной дивизии.) Листва на яблонях была красновато-бурой, как и положено в октябре. Трава на лужайке приобрела уже сероватый оттенок. За лужайкой полого поднимался склон—деревня находилась в низине. На склоне раскинулись пастбищные угодья, виднелись отдельные лиственные деревья, кроны их были ржавые и желтые, словно из расплавленного металла, застывшие от неподвижности.

Она услышала, как Динклагге сказал:

— Конечно, я мог бы обойтись свечами. Но это всегда так неудобно. Проснешься ночью, и надо ощупью искать спички. И потом, чтобы было достаточно светло и можно было читать, нужны по крайней мере три свечи.

Кэте обернулась в полутьму комнаты: зажженный ночник отбрасывал пятно лилового света. Ей показалось странным, что майор Динклагге не выбрал себе более подходящего жилья, чем эта почти пустая комната, к тому же без всякого подсобного помещения. Как правило, офицеры квартировали у богатых крестьян. Комендант гарнизона, которого сменил Динклагге, как сыр в масле катался в доме Мерфорта.

Динклагге не подошел к окну, а прислонился к стене у кровати и сказал:

— Я полагаю, вы не из Винтерспельта, фройляйн Ленк.

— Из Берлина,—ответила Кэте.—Я здесь всего лишь с июля, с тех пор как эвакуировали всех из Прюма. До июня я преподавала в гимназии в Прюме.

— А здесь, в Винтерспельте, вы тоже преподаете?

— Нет,—сказала она,—здесь школа закрыта. Я с лета уклоняюсь от работы. И у меня нет разрешения находиться здесь.

— Вам чинят препятствия?

— Сначала мне приходилось прятаться. Теперь меня оставили в покое. Здесь даже нет полицейского поста. А у местного группенлейтера сейчас другие заботы.

— Интересно,—сказал он.

Кэте показалось, что он всерьез задумался над той малосущественной информацией, которую она ему сообщила. Потом он сказал:

— Приходите ко мне, если у вас все же возникнут неприятности!

— Спасибо, но в этом не будет нужды.

В эту первую встречу с майором Динклагге Кэте была одета как всегда: черный джемпер с треугольным вырезом, узкая темно-коричневая юбка, тонкие серые шерстяные чулки, еще довольно крепкие туфли. Ей больше нечего было надеть, если не считать того летнего платья, что она купила в Прюме.

Вернувшись к себе, Кэте ужаснулась, что ни с того ни с сего доверилась Динклагге, рассказала ему о своем бегстве. Господи, ну почему она в его присутствии начисто забыла—хотя Хайншток не устал ей это внушать,—что она живет в мире, где всякое проявление доверия чревато доносом?

### 3

В деревне встают рано. Но то, что и майор Динклагге на ногах уже в четыре часа утра, в такую рань, когда еще темно, по существу ночь,—этого Кэте не предполагала. Утром в понедельник, в такой ранний час, он стоял по ту сторону дороги возле дома, опершись на палку. Иногда он, прогуливаясь по улице, исчезал из виду, потом появлялся снова, останавливался у лестницы, ведущей к дверям дома. Кэте стояла у окна в гостиной Телена, где не горел свет, так что Динклагге не мог ее видеть, несмотря на поднятую светомаскировку; из кухни доносился шум—там орудовала Элиза, готовившая завтрак обоим русским,

которые должны были вот-вот появиться. Тереза и старый крестьянин работали в хлеву. В отличие от других домов Винтерспельта, располагавшихся ближе к улице, дом Телена, вместе с надворными постройками, находился в глубине, и потому окно Кэте было довольно далеко от площадки, на которой стоял Динклагге. Но Кэте удалось разглядеть Динклагге, хотя его освещала не лампа, а лишь рассеянный слабый свет, излучаемый белыми стенами дома в ясной ночи; сейчас на их фоне он казался еще более миниатюрным, еще более аккуратно скроенным, чем днем,—четкий силуэт, фигура, словно отлитая из металла, прусский офицер, каким его изображают в книгах, в плотно пригнанном мундире, ладно сшитых бриджах и сверкающих сапогах, в этой униформе, которую Кэте ненавидела за ее надменность. На голове у него была пилотка. Он казался маленьким; разговаривая с ним, Кэте прикинула: он чуть выше ее, стало быть, его рост примерно метр семьдесят.

Она опустила шторы, вышла из дому и направилась к нему.

— Вы рано встаете, господин майор,—сказала она.

— Я ждал вас,—сказал он.—Много же вам понадобилось времени, чтобы прийти сюда.

Обе эти фразы он произнес четко, лишь слегка приглушенным голосом; они прозвучали так, словно он требовал объяснения от подчиненного, не выполнившего приказ.

Потом он вдруг разговорился.

— Я действительно рано встаю,—сказал он,—но только потому, что с трех часов не могу спать от боли. Вот уже два года я являюсь счастливым обладателем артроза правого тазобедренного сустава, если вы знаете, что это такое.

Кэте ответила отрицательно, и он объяснил:

— Это заболевание, собственно, даже не связано с войной. Возможно, война его только обострила. А началось все во время идиотской прогулки в Африку. Дивизионный врач хочет даже отправить меня из-за этого домой.

— Господи, надеюсь, вы не заставите его повторять это дважды,—сказала Кэте.

Слова эти сорвались у нее с языка неожиданно, но теперь ей хотелось узнать, что он на это скажет.

— Заставлял уже шесть раз,—сказал Динклагге.

Хотя Кэте избегала смотреть на него, она чувствовала, что его взгляд в темноте устремлен на нее.

— Дивизионный лекарь прописывает мне отличные пилюли. Днем я почти ничего не чувствую.—И тут же, почти без всякой паузы:—Надеюсь, я вас не обидел, фройляйн Ленк! На войне

иногда приходится спешить.

Кэте нашла эти слова совершенно правильными, а вложенный в них смысл — одной из немногих положительных сторон войны, однако она сказала:

— Ах вот как, воин привык к стремительности...

— За всю войну я не сказал ни одной женщине ничего подобного, — ответил Динклагге, — если вы именно это имеете в виду.

Кэте продолжала разглядывать дом Телена.

— В стеклах ваших очков отражается ночь, — сказал Динклагге. — Очки идут вам.

Она выслушала его молча. Очки она считала самым уязвимым в своей внешности, и не каждый мог себе позволить вот так просто заговорить с ней об этом.

На слова, содержавшие констатацию какого-то факта, можно было не отвечать. Да у нее и не было желания возражать ему, например, фразой: «Я нахожу, что мои очки отвратительны». В этот момент появились русские, и она почувствовала облегчение.

Около полудня вчерашний ординарец передал ей письмо майора, в котором он приглашал ее поужинать сегодня вечером. «К сожалению, всего лишь в канцелярии, — писал Динклагге, — и, к сожалению, всего лишь полевая кухня. Но доставьте мне удовольствие!» Почерк у него был аккуратный, правильный, не очень крупный, без нажима и волосяных линий. Под его подписью был постскриптум: «Ответа не требуется».

### **«Боже мой, Кэте!»**

Посыльный уже второй раз приходил именно в тот момент, когда она возвращалась от Венцеля Хайнштока; вчера, например, он появился во второй половине дня, когда она только что сообщила Венцелю, что прибыла новая часть и ночью расквартировалась в деревне, а сегодня... Что она, собственно, хотела рассказать ему сегодня?

За отсутствием свежих новостей она сказала:

— В деревне стало удивительно тихо. И почти не видно солдат.

Хайншток заговорил о своих первых наблюдениях; они касались главным образом мер по маскировке, которые осуществляла эта новая часть.

— Судя по всему, обстановка переменялась, — сказал он. — Новый командир, видимо, знает свое дело.



Кэте сразуотреагировала.

— По-моему, он порядочный человек,— сказала она.

И тут же взволнованно подумала, что отвечать, если Венцель прицепится к этой фразе и спросит, откуда она знает или почему так думает, и уже приготовила формулу: «Просто он выглядит порядочным человеком»,— но потом оказалось, что у Хайнштока на такие вещи нет никакого нюха или просто до него дошло не сразу, а лишь спустя какое-то время, может быть, как раз тогда, когда она читала письмо Динклагге.

— Ох уж эти порядочные офицеры,— сказал он только.— Они верно служат своему хозяину.

Он жестом показал на свою шею, как бы напоминая о Рыцарском кресте Динклагге, о котором Кэте рассказала ему еще вчера.

— Он хромает,— сообщила она.— Ходит с палкой.

— Как Фридрих Великий,— сказал он.

Казалось, он не заметил, что она не поддержала его иронический тон. Кэте не стала рассказывать ему, как вчера вечером относил майору Динклагге лампу, как сегодня под утро, до рассвета, разговаривала с ним.

Только через четыре дня, вечером 5 октября (в четверг, ровно за неделю до того дня, когда Шефольд перешел линию фронта), она посвятила Венцеля Хайнштока в суть дела, сказав ему:

— Между ним и мной что-то произошло...

До этого момента человек из каменоломни и представить себе не мог, что Кэте Ленк способна перейти в лагерь противника, как он сразу же охарактеризовал случившееся. В то утро и потом, когда Кэте ушла, у него не возникло на этот счет никаких подозрений. Он только удивился, что Кэте не расположена к ласкам, но это с ней иногда бывало. В таких случаях ее следовало оставлять в покое, что было ему не трудно, поскольку сам он становился активным лишь тогда, когда замечал, что этого хочет Кэте. Он умел держать себя в руках.

## ***Тирада о любви***

О любви Йозефа Динклагге и Кэте Ленк в дальнейшем будет упоминаться лишь в той мере, в какой события чисто личного характера будут переплетаться с событиями военной истории. Вне зависимости от последних она нас не интересует. Любовь достаточно представлена в литературе, к ее изображе-

нию трудно добавить что-либо новое. Механизм ее всегда один и тот же — своего рода конвейер, на котором собирается «конечный продукт»; стадии же этого процесса «сборки» — первые взгляды, знакомство, объятия. Вариации возникают лишь вследствие различия характеров, политических, социальных, религиозных факторов, которые на них воздействуют; условия эксперимента всегда разные, кроме того, существуют, конечно, различные степени поэтизации человеческих отношений. Но в остальном совершенно безразлично (то есть все равно), обратимся ли мы к изображению отношений между Динклаге и Кэте, или отношений Хайнштока к Кэте, или Терезы Телен к Борису Горбатову, Райделя к Бореку. Все одно и то же. Даже почитание Шефольдом часто меняющихся объектов, эти превратившиеся в «искусство для искусства» стендалевские процессы кристаллизации, не составляют никакого исключения. А раз так, иными словами: поскольку литература исчерпывающе отразила эту тему, нас сегодня уже не столь волнует вопрос, получит ли в конце концов Ханс свою Грету.

Таинственное в любви заключается не в том, как она функционирует, а в том, что она вообще существует и что те, кто охвачен этим чувством, считают его чем-то абсолютно новым и небывалым, даже если опыт подсказывает им, что они переживают лишь нечто такое, что уже переживали миллиарды людей с тех пор, как существует мир (или скажем так: населенная людьми земля). Право принимать это ощущение абсолютной новизны не только как иллюзию у них, безусловно, есть, потому что в их короткой жизни оно действительно ново (даже если в одной жизни оно повторяется несколько раз) и выражается в особом физическом и душевном состоянии, своего рода чрезвычайном положении, что может быть подтверждено даже медициной. Ссылки на инстинкт, на стремление к спариванию и продолжению рода ничего не объясняют; в своих внешних формах любовь ничего этого не признает; доказано также, что в момент наиболее сильного чувства сперма не поступает в семявыводящий проток. Но отчего же возникает это особое состояние (расширенные зрачки, учащенный пульс, повышенная нервно-физиологическая проводимость, погруженность в грезы) при встрече двух определенных лиц, которые до этого встречались с другими лицами и ничего с ними тогда не происходило? Вот это и есть чудо. Конечно, в каждом отдельном случае существует множество причин, позволяющих прокомментировать этот случай, но для факта, что майор Динклаге без памяти влюбился в Кэте в тот самый миг, когда она с лампой в руке вошла в

канцелярию, не существует ни малейшего объяснения. Он влюбился в нее, и все тут, а она, хоть и не без внутреннего сопротивления, влюбилась в него.

Последнее обстоятельство мешает рассматривать это событие лишь как следствие эротической привлекательности Кэте, потому что в таком случае страсть Динклагге к Кэте осталась бы, по сути, безответной. Такая безответность имела место в отношении к ней Лоренца Гидинга, Людвиг Телена и даже Венцеля Хайнштока. Она прошла через это—притом в течение полугода,—испытывая чувство сострадания, но не страдания. Старик Телен, который знал, что его сын—поклонник Кэте, и знал о ее связи с Хайнштоком, в один из следующих дней, наблюдая за тем, как она собирается на свидание к Динклагге, не без одобрения заметил на своем эйфельском диалекте—впрочем, применительно к Динклагге формула его была не точна: «Ну и девушка, всех мужиков к рукам прибрала!» Однако своим дочерям вести себя так он бы не позволил—отношения Терезы с русским три молодые женщины со всей возможной хитростью скрывали от него,—в то время как охотно давал отпущение грехов Кэте. Этот старый тиран даже любил, когда Кэте ему возражала. Ему нравилось, что она живет в его доме. Это к вопросу о том, сколь сильные симпатии вызывала Кэте. Конец тирады о любви.

## **Биографические данные**

Кэте Ленк родилась в 1920 году в Берлине, единственная дочь коммерсанта (главного представителя одного станкостроительного завода) Эдуарда Ленка и его жены Клары, урожд. Раймарус, протестантка, в 1938 году кончает гимназию Шиллера в Лихтерфельде, с 1939 по 1942 год (то есть во время войны) учится в Берлинском университете (философия, языки), курс не заканчивает, с начала 1943 года слушает лекции в Педагогическом институте в Ланквиге и работает внештатной учительницей в средней школе в Фриденау. Уезжая весной 1944 года из Берлина, она получает от ведомства по делам школ справку, действительную на всей территории рейха и удостоверяющую, что она является кандидатом на должность учителя в учебных заведениях повышенного типа (штудиенреферендар). С середины мая до начала июля 1944 года преподает в гимназии Регино в Прюме (немецкий язык и географию). Когда из Прюма эвакуируют гражданское население, она отказывается отбывать трудовую повинность в Кёльне и с помощью одного из своих учеников,

Людвиг Телена из выпускного класса, скрывается в расположенной у границы рейха деревне Винтерспельт.

Хотя Кэте еще школьницей пользуется успехом и очень многие назначают ей свидания, во время этих встреч важную роль играют велосипеды, парусные лодки на Хавеле, кино и изготовление шпаргалок (Кэте — отличница почти по всем предметам), лишь в двадцать лет, то есть уже студенткой, она вступает в связь с молодым художником Лоренцем Гидингом, тоже студентом; связь эта продолжается до 1944 года.

Кэте очень близорука и из-за этого вынуждена постоянно носить очки со стеклами минус девять; она предпочитает прозрачную роговую оправу, надеясь, что так очки будут менее заметны. Еще никто не сказал ей, что к ее почти всегда загорелому лицу больше подошли бы очки в массивной темно-коричневой оправе. Глаза у нее карие, временами зеленоватые. Она стройная, хотя и небольшого роста — всего метр шестьдесят пять, длинноногая, но не тощая, а крепкая, сильная, очень пропорционально сложенная. Походка у нее пружинистая, как у тренированной гимнастки; она скованна (втягивает голову в плечи), лишь когда чувствует, что за ней наблюдают. В Берлине играла в теннис и в гимназии Шиллера была первой по прыжкам в высоту (1,53 м без разбега). Голова у нее маленькая, черты лица тонкие и в то же время, несмотря на молодость, вполне сформировавшиеся, без юношеской расплывчатости, красивый нос; и все же голова эта, возможно, осталась бы лишь бронзовым овалом, сфероидом, орехом — или какие еще другие образы можно придумать, выражающие нечто завершено-округлое, выпуклое и полое, — если бы лицо не освещал глубочайший интеллект (заметить который не могут помешать никакие очки), если бы не теплота и блеск ее глаз. Жизнь становится еще живее, когда Кэте коснется ее своим взглядом, — это чувствовали многие люди, которые с ней сталкивались. Волосы у нее каштановые — скорее светлые, чем темные, гладкие, длинные, она стягивает их обычно в «конский хвост», падающий ей на спину. К ее огорчению, у нее нет ни помады, ни духов, она не знает, как их раздобыть на шестом году войны. Гардероб ее состоит из двух платьев, небольшого количества белья и плаща; Элиза и Тереза одалживают ей шерстяные вещи или фартуки для домашней работы. У Телена она взяла на себя уборку дома, поскольку считает, что ничего не смыслит в сельском хозяйстве.

Динклагге она рассказала эту историю гораздо подробнее. Хайншток узнал от нее только, что вечером 8 марта она не была дома в Ланквице, а отправилась на урок английского в город; в разговоре же с Динклагге она описала во всех деталях, как читала вслух своей учительнице начало 7-й главы «Bleak House»<sup>1</sup>, не подозревая, что это последний урок, который она берет у старой фройляйн на Доротеенштрассе.

— Я думала, что эти вечера по вторникам на Доротеенштрассе будут продолжаться еще долго-долго,— сказала она.— Сначала беседа, потом грамматика, потом чтение.

Она вспоминала и рассказывала Динклагге, как фройляйн Хезелер, услышав какую-нибудь особенно красивую фразу, прочитанную Кэте, отпивала глоток чая и лишь потом начинала поправлять ее произношение. «And solitude, with dusty wings, sits brooding upon Chesney Wold»<sup>2</sup>,— тонкие пальцы старой дамы тянутся к чашке с чаем.

В том, что она вообще стала рассказывать об этом, повинен был Динклагге. Он—как в свое время Хайншток—спросил, почему она уехала из Берлина. Они как раз закончили ужин; это было в понедельник 2 октября—канцелярия, походная кухня, но на столе стояло вино: ординарец, подававший еду, ушел, Кэте курила, майор тоже закурил сигарету—из числа тех, что выделял себе на день.

— Я потом нашла эту книгу в гимназической библиотеке в Прюме.

— Вы имеете в виду «Bleak House»?—спросил Динклагге.

— Да,—сказала она.—Но я не дочитала ее до конца. Я только открыла начало седьмой главы и вспомнила, как в тот вечер восьмого марта решила, что, когда приду домой, сразу же посмотрю в отцовском атласе, где находится Линкольншир.

У Динклагге хватило такта не перебивать ее и не начинать рассказа о том, как он бывал в этих местах. Это он сделал позднее. А пока молчал и ждал, когда она скажет главное.

В темноте улицы—серо-голубой мундир Лоренца Гидинга, как всегда во вторник вечером, в девять часов, когда она уходила

---

<sup>1</sup> «Холодный дом» (англ.)—название романа Чарлза Диккенса.

<sup>2</sup> И темнокрылое одиночество нависло над Чесни-Уолдом (англ.).

из дому. (Об этом она ничего не говорила ни Динклагге, ни Хайнштоку. Это их не касалось.)

Она сказала Лоренцу:

— Я хотела бы как-нибудь увидеть тебя вечером на улице, чтобы на тебя падал свет фонаря.

— Это можно,—сказал он, вынул карманный фонарик, который всегда носил с собой, и посветил себе в лицо. Она увидела его синие глаза за стеклами очков в черной роговой оправе.

— Нет,—сказала она,—это не то. Я имела в виду уличный фонарь.

Но тут кто-то закричал из темноты: «Погасите свет!»

Лоренц проводил ее до Потсдамерплац—дальше он идти не мог, так как ему надо было вовремя успеть в казарму. Они останавливались и, обнявшись, целовались—особенно когда шли через Тиргартен. Кэте нравилось в Лоренце все, кроме затхлого и в то же время какого-то металлического запаха его военной формы.

— Когда я шла по Заарландштрассе, завывали сирены,—рассказывала Кэте.—Налет я переждала в метро под Заарландштрассе. Он продолжался далеко за полночь, целых три часа, потом наконец дали отбой. Там, в центре Берлина, почти ничего не было слышно. А вы, собственно, знаете Берлин?—спросила она Динклагге.

— Я был там раза два-три,—ответил он.—Но почти не знаю города.

Она утаила от него, как утаила и от Хайнштока, что все время, пока сидела в метро под Заарландштрассе, думала о своем друге Лоренце Гидинге, бывшем студенте Академии художеств, ныне ефрейторе «Люфтваффе», который благодаря давно закрывшемуся туберкулезу и связям сумел до февраля 1944 года продержаться на безопасном месте в военной библиотеке. Но жить ему полагалось в казарме, а Кэте отказывалась уйти из родительского дома и снимать комнату. Они решали проблему по-иному: уезжали в гостиницу в Закров, когда Лоренц получал увольнительную на ночь. Родители Кэте не возражали против того, что она иногда не ночевала дома: в конце концов, ей двадцать четыре года, она уже преподавала и скоро должна была получить звание штудиенреферендара; это было им приятнее, чем если бы Лоренц, который иногда заходил к ним в дом и которого они находили симпатичным, проводил ночь в комнате Кэте. «Если бы мы поженились, я, может быть, получил бы

разрешение жить не в казарме, а на частной квартире»,— сказал как-то Лоренц. «Неужели ради этого»,— сказала Кэте, но даже не потрудилась добавить «стоит жениться».

— После отбоя я пошла на станцию Анхальтский вокзал, городская железная дорога уже снова работала, я сразу же села в поезд, шедший в Мариенфельде. Товарная станция в Мариенфельде была вся в огне, но над кварталом справа от Мариенфельдского проспекта, где мы жили, не было отсвета пожара.

Она вспомнила, какое испытала облегчение, увидев, что небо над тем кварталом, где она жила, такое темное, по нему плыли розоватые и песочно-серые облака, поднимавшиеся из пламени на товарной станции. Сейчас Кэте отчетливо видела, как свернула тогда на Ханильвег, как, все замедляя шаг, подошла к толпе, окружавшей то место, где стоял дом, в котором она жила со своими родителями.

— Спрашивать было не о чем,— сказала она Динклагге.— Если не осталось ничего, кроме груды обломков, то и вопросов не могло быть. Вы понимаете?! Что же произошло? А вот что: не стало родителей, вот так вдруг, просто не стало—и все. Ни отца. Ни матери. Вот что произошло. Вот что произошло. Вы понимаете?!

Динклагге ни на секунду не предавался иллюзии, что, настойчиво и ожесточенно повторяя слова «Вы понимаете?!», Кэте действительно имела в виду его, искала у него сочувствия. Она разговаривала сама с собой, самое себя призывала понять, потому что до сих пор не поняла и никогда не поймет, что произошло, потому что ни один человек не способен понять, почему такое может произойти, ибо для этого нет объяснения, нет ничего, что могло бы придать случившемуся хоть какой-то смысл. Даже такое старое и затасканное слово, как «судьба», не подходит, идиотское слово, только на то и годное, чтобы приукрашивать последнее дерьмо, давно пора вычеркнуть его из всех словарей, потому что судьбы нет, есть только хаос и случайность, из которых ученые глупцы извлекают статистические данные, полагая, что таким образом наводят порядок. «Родители Кэте вошли в статистику несчастных случаев, статистику хаоса»,— подумал Динклагге,—

— в число жертв империалистической войны, считал Хайншток; однажды он сказал это Кэте, притом в такой момент и таким образом (деловито, сухо), что она с этим согласилась.

Динклагге не находил слов, чтобы выразить свою мысль о хаосе. Он не мог сказать этой девушке, в которую влюбился до потери сознания, ни слова утешения и потому должен был молчать, но он так мучительно осознавал бессилие своего языка, что встал и, слегка прихрамывая, принялся расхаживать по канцелярии, нет, не по самой канцелярии, потому что стол был накрыт в соседней комнате, в той, на двери которой штабс-фельдфебель Каммерер повесил табличку с надписью «Командир». Время от времени он бросал взгляд на Кэте, опасаясь, что она начнет плакать, но Кэте не плакала.

«Нужно раз и навсегда перестать рассказывать о гибели родителей»,—подумала Кэте.

О том, какое действие разорвавшаяся фугасная бомба, возможно, даже средней мощности, может оказать на маленькую виллу, сложенную из клинкерного кирпича, Хайншток, как специалист по камню, а следовательно, и специалист по взрывам, конечно, знал, но свои знания он оставил при себе.

Ему, а не Динклагге, в разговоре с которым она теперь мучительно пыталась перейти на другую тему, Кэте рассказала и то, что с ней было потом.

— Одна соседка заговорила со мной, сказала, чтобы я осталась у нее жить. Но я повернулась и пошла обратно к станции Мариенфельде. Остаток ночи я провела на скамье в зале ожидания на Анхальтском вокзале.

Самым невыносимым из того, что ей предстояло еще осознать, сказала она Хайнштоку, был тот факт, что отец и мать вовсе не исчезли бесследно, а, по всей вероятности, превратились в бесформенное, расплющенное кирпичом месиво, которое, из-за опасности возникновения эпидемии, необходимо было на другое же утро раскопать и отскрести от обломков.

— Папа и мама стали очагом заражения. Ты понимаешь?

Она сказала, что когда вообразила себе это, то испустила крик, которого, однако, не услышал никто из сидевших в зале ожидания на Анхальтском вокзале.

— Я действительно закричала, но они вовсе не притворялись, будто не слышат моего крика, они его в самом деле не слышали.

— Ты кричала, конечно, но не раскрывая рта,—сказал Хайншток.

Она покачала головой, отказываясь принимать такое объяснение.



На Ханильвег Кэте Ленк больше не появилась ни разу. Ведомство по делам школы сразу же нашло для нее комнату. Она прервала работу только на один день. Поселившись в меблированной комнате в Штеглице, она сделала все что требовалось: захоронила останки родителей на городском кладбище на Альбоинплац, получила новые продовольственные карточки и документы, подала заявление в ведомство по возмещению убытков, добилась, что была признана—как единственная дочь своих родителей—единственной наследницей, перевела счет отца в коммерческом банке, на котором лежало чуть больше 25 тысяч рейхсмарок, на свое имя, уволилась из школы в Фриденау. 15 апреля 1944 года, через десять дней после пасхи, она покинула Берлин.

На следующий день после гибели родителей она, отбросив наконец сомнения, решила позвонить Лоренцу в военную библиотеку. Он спросил только, как все произошло, а вечером, когда они сидели в почти пустом кафе на Ноллендорфплац, сказал, глядя мимо нее: «Тебе не повезло». И только тогда она заплакала и, как ей показалось, проплакала несколько часов. Она всегда будет благодарна Лоренцу за то, что он в тот вечер спокойно вынес ее «многочасовые рыдания»—как она выразилась—и не пытался ее утешать. Он просто сидел рядом, отослал официантку, которая пыталась заговорить с Кэте, пил эрзац-кофе, давал ей возможность выплакаться. Когда она перестала плакать, он вытер очки, которые Кэте пришлось снять, и вернул ей.

Как-то, это было уже потом, во время прогулки по берегу Закровского озера, она спросила его:

— Ты случайно не знаешь, где находится Линкольншир?

— Нет,—сказал он, подумав.—Точно не знаю. Я только учил, что в городе Линкольне—один из самых прекрасных английских кафедральных соборов. А что?

Кэте уже написала фройляйн Хезелер, что больше не будет заниматься английским.

— В доме,—сказала она,—должен быть географический атлас, тогда это дом.

— Ах, вот ты о чем,—сказал Лоренц и, помолчав, добавил:—Когда война кончится, поедem в Линкольншир, Кэте! И в Лондон, и в Париж, и в Нью-Йорк.

Почти дословно то же самое сказал ей как-то майор Динклагге и удивился, почему встретил с ее стороны отпор.

— После войны мы с тобой будем бог знает где,— сказала Кэте майору. И, отклоняя его предложение—потому что она хотела защитить свои воспоминания о Лоренце,—еще холоднее добавила:—Я не буду дожидаться, пока какой-нибудь мужчина возьмет меня с собой в дорогу.

Она смотрела, как Лоренц рисует озеро—углем на большом листе белой бумаги, заросли камыша превращались у него в жесткие, яростные штрихи. У него были черные, гладкие, густые волосы; лицо смуглое, с крупным носом, напоминавшее чеканку на римских монетах. Синие глаза смотрели сквозь стекла очков в черной роговой оправе на озеро, на тростник.

Кэте с Лоренцем сидели на срубленной сосне, и она сказала ему, что через несколько дней уедет из Берлина.

Он закрыл блокнот, прижал его к груди, посмотрел на озеро.

— Майский жук, лети домой,—сказал он,—на войне папаша твой, а мамаша в Померании, там все сгорело в жарком пламени...

Три дня спустя он позвонил Кэте в школу и сообщил, что его переводят в авиационную дивизию, которая находится где-то на западе, севернее Парижа. Уезжал он уже на следующий день, так что им удалось встретиться только раз в комнате Кэте в Штеглице.

— По крайней мере я хоть повидаю теперь моих стариков,—сказал Лоренц, и Кэте почувствовала, что он сразу же пожалел о сказанном, ибо напомнил ей, что у него еще есть родители. Они условились, что Кэте попытается разыскать его, может быть в Кёльне, если ему дадут увольнительную. Они начали обсуждать, как ей, когда она будет в пути, получать от него письма, как узнать номер его полевой почты. Кэте казалось, что он, сам того не сознавая, испытывает облегчение, что не остается в Берлине. Он был возбужден и не мог скрыть, что радуется отправке во Францию.

Когда Кэте вернулась со своего последнего английского урока, на ней был коричневый шерстяной костюм, тонкие серые шерстяные чулки, довольно крепкие туфли, плащ. Ей дали талон на приобретение одежды, но она не купила ничего, кроме белья и черного джемпера. На протяжении нескольких месяцев она была даже довольна: не надо ломать голову по поводу того, что надеть. В поездку она взяла маленький коричневый чемоданчик, который ей подарили друзья ее родителей. Он почти ничего не весил.

Только в Прюме, когда уже настало лето, она купила себе летнее платье. В один из магазинов на Ханштрассе привезли несколько платьев из полосатого льна, без рукавов, и ей удалось достать одно. Старшеклассники буквально онемели, когда она явилась в нем на занятия. Кэте радовалась, что у нее загорелые руки и ноги: ей достаточно полежать час на солнце, чтобы стать коричневой, как кусок дерева. («Дерево—это хорошо»,—сказал как-то Хайншток, когда она употребила это сравнение, говоря о цвете кожи, и схватил ее руку.) Она села за кафедру и сняла очки, чтобы не видеть, какие взгляды устремлены на нее сегодня. Однако и без очков она заметила, что только Людвиг Телен смотрит в окно.

Тереза, увидев, что Кэте собирается на ужин к майору в летнем платье, настояла, чтобы она надела сверху одну из ее, Терезы, шерстяных кофточек.

— Ну и франтиха ты,—сказала она.—Ведь уже холодно. Такое платье не для октября.

Но денщик Динклаге затопил в канцелярии печку, так что она могла снять вязаную кофточку. Руки у нее были тонкие, Кэте считала, что они слишком худые, а Лоренц, художник, говорил иногда, что форма ее рук выше локтя слегка даже как бы вогнутая.

Дальнейшие детали, касающиеся ужина:

Он осведомился, как ее зовут, попросил разрешения называть ее по имени. Она, конечно, не возражала.

Он не просто не носил обручального кольца, но и действительно не был женат.

Один или два раза по комнате пролетел ангел. Почувствовав это, она умолкла и попросила Динклаге рассказать ей про Африку, Сицилию, Париж, Данию.

Он сказал, что в Сахару они прибыли тогда-то и тогда-то.

— Это меня не интересует,—сказала она.—Опишите Сахару!

Он посмотрел на нее и, к собственному удивлению, стал описывать Сахару.

Ей нравилось, что за столом ее обслуживают. Она вообще-то ожидала, что придется есть из котелка, но ординарец подал еду на тарелках.

— Давайте считать, что мы едим *irish stew*<sup>1</sup>! — сказал Динклагер.

Поскольку она не знала, что такое *irish stew*, то согласилась рассматривать не подлежащее определению блюдо как таковое. Вино они пили из стаканов. Раньше она считала, что офицеры едят не то же самое, что солдаты. Она не знала, что это просто причуда майора Динклага. Только вино он позволил себе сегодня, в честь ее визита. Что-то в нем — она не могла бы сказать, что именно, — подтверждало, что оброненная сегодня утром фраза: «За всю войну я не сказал ничего подобного ни одной женщине» — была чистой правдой. Не то чтобы он казался неопытным или скованным — просто у него, видимо, уже много лет не было женщины.

Почему-то — она не могла бы сказать почему — это было ей не очень приятно.

С другой стороны, она спрашивала себя, что было бы, если бы вместо нее лампу принесла Элиза или Тереза. Элиза и Тереза были, каждая по-своему, красивые девушки. Но ни одну из них майор не ждал бы на следующее утро, еще до рассвета, чтобы четким, лишь чуть приглушенным голосом сказать, словно ожидая объяснений от провинившегося подчиненного: «Много же вам понадобилось времени, чтобы прийти сюда!»

Эта его разочарованно-поучающая интонация ей не нравилась. Обычно он разговаривал совершенно нормально, спокойным, скорее низким голосом, но иногда у него вырывалось нечто покровительственное, вроде: «Давайте считать, что мы едим *irish stew*». Она сумеет добиться, чтобы он отвык от этой дурной манеры.

«Отвык, — подумала она с ужасом. — Как будто сама я собираюсь к нему привыкнуть!»

## 2

Прежде чем подняться наверх — а было совершенно ясно, что они пойдут наверх: своей фразой, сказанной сегодня утром в темноте, он дал понять, что она должна отклонить его приглашение, если считает невозможным лечь с ним в постель, но ей это

---

<sup>1</sup> Тушеная баранина с луком и картофелем (англ.).

вовсе не показалось невозможным,—итак, прежде чем пойти наверх, ибо на войне—да, кстати, и не только на войне—иногда нужно очень спешить, они ощутили потребность в какой-то паузе, и эту паузу нужно было чем-то заполнить, но только не пустой болтовней.

— Но как вы из Берлина попали именно сюда, в эту эйфельскую дыру?—спросил Динклагге.

— Этого не объяснишь,—ответила Кэте.—Я села в поезд на Ганновер. Почему я из Берлина отправилась на запад, не знаю. Мне вообще не приходило в голову, что я могу поехать на восток. Или на юг. Для меня речь могла идти только о западе, но причину этого моего решения я никогда не могла себе объяснить. Я даже не выбирала—в том смысле, в каком обычно употребляется это слово. Смешно, правда?

На этот вопрос Динклагге не ответил.

В миграции перелетных птиц, вообще во всяких инстинктивных совершаемых передвижениях, ничего «смешного» нет.

Ганновер оказался довольно сильно разрушенным. Она прошла по улицам и нашла, что город отжил свой век. Тяжелые фасады домов, пустых или еще населенных людьми, были словно из разбухшей кожи. Они не смотрели на Кэте. Ее снова поглотил вокзал, этот багровый монстр, над которым висело серое небо. Такие вокзалы могли только накликать войну.

— Поскольку мне не хотелось оставаться в Ганновере, я поехала в Хамельн. Мне понравилось это название. Когда поезд прибыл в Хамельн, было уже темно, я расспросила дорогу в центр города, пошла по длинной улице мимо старых домов.

Узорчатые фронтоны домов чернели на фоне ночного неба.

— Здесь было много гостиниц, и я нашла комнату.

В ресторанчике внизу—пожалуй, он был даже уютный—она съела овощные оладьи, прочитала газету; она боялась идти в свою комнату; за соседним столиком сидели какие-то почтенные господа, наверно местная знать.

— Комната была как кишка—длинная, узкая, на столике стоял таз для умыванья и кувшин с водой; открыть шкаф я не решалась.

Потушив свет и отворив окно, она увидела, что стена соседнего дома совсем близко, до нее, казалось, можно было дотронуться рукой, по стене тянулись серые трещины; лежа в постели, Кэте смотрела на эту стену.

— Представьте себе, я ничего не взяла с собой почитать! Нет, вы не можете этого представить. Я заставила себя провести в той комнате вторую ночь, потому что не хотела так быстро сдаваться, хотела проверить, может быть, Хамельн мне все же подойдет. В сущности, красивый город.

Она долго слушала звон колоколов на ратуше. В Везере отражались голые деревья.

— Потом я вернулась в Ганновер и через Бремен отправилась на Восточно-Фризские острова. Я вспомнила, что существует на свете море. Поезда были переполнены, еле тащились, из Бремена до Норддайха я ехала целую ночь.

В вагонах не было света, зато можно было из темного купе рассматривать ночной ландшафт; она заняла место у окна; облака, лунный свет над равнинами, кроны деревьев, вода, отливавшая лунным блеском. В один из дней она увидела город в огне. Люди сказали, что это Йевер. Ранним утром, дрожа от холода, она стояла на пустой набережной Норддайха. Значит, море действительно есть, и есть острова. Между набережной, где она мерзла, и островами море было серым, темнела береговая полоса, и небо над нею тоже казалось серым; между островами вода была темнее, с каким-то сланцевым оттенком.

— Когда начался прилив, с Юйста пришел пароход. Я была единственным пассажиром. На Юйсте я прожила неделю. Женщине, у которой я поселилась, было лет шестьдесят, она ткала ковры из овечьей шерсти. Ей очень хотелось, чтобы я осталась.

Однажды вечером хозяйка вошла в комнату к Кэте, села на край кровати, сказала:

«Оставайтесь, Кэте, дождитесь здесь конца войны!»

«Я изучила ваш атлас,— сказала Кэте.— Сюда мир приходит в последнюю очередь».

«Но здесь уже мир»,— сказала женщина.

У нее было аристократическое и алчное лицо. Впрочем, не из-за нее Кэте уехала с острова, ей нечего было бояться этой

женщины. Она уехала потому, что поняла, насколько бессмысленно пытаться провести воображаемую линию, соединяющую эти широкие песчаные равнины, дюны, по которым она подолгу прогуливалась в одиночестве, с Линкольнширом.

— В атласе я увидела, что Линкольншир находится прямо напротив, на другой стороне Северного моря. Но в действительности он находился оттуда дальше, чем от любой другой точки на материке. Я ничего не понимаю в вашем ремесле, господин майор, но у меня было такое чувство, что известие о конце войны на Юйсте долгое время будет восприниматься всего лишь как слух.

— Оставьте вы «майора», Кэте! — сказал Динклаг. — Иначе я начну называть вас «фройляйн штудиенреферендар». Кстати, вы не так уж не правы; я думаю, что англосаксы, когда они займут северо-западную Германию, даже и не поинтересуются Восточно-Фризскими островами. С военной точки зрения они не представляют никакого интереса.

Таким образом, Динклаг уже вторично давал понять Кэте, что считает поражение Германии в этой войне делом решенным. Впервые он сказал об этом сегодня утром. Глядя на русских пленных, чье появление прервало недвусмысленное признание, которое он сделал Кэте («Много же вам понадобилось времени, чтобы прийти сюда», «Вам идут очки»), он сказал: «Вот победители!»

И вполне возможно, именно эта фраза, которая тоже носила констатирующий характер, сыграла решающую роль в том, что Кэте приняла его приглашение на вечер.

И на сей раз, когда она снова, вторично, упомянула Линкольншир, он не стал вплетать свои воспоминания в цепь ее собственных. До вторника или среды он все старался понять, каков ход ее мыслей, потом попытался — бессознательно — к ним подключиться («Мне надо было обосноваться в Линкольншире и ждать тебя. Ты бы приехала»), но не получил ответа. Совершенно очевидно, что она вовсе не смотрела на него как на человека, способного заменить ей отца. Такого человека — если ей вообще это было нужно — она имела в лице Хайнштока.

Кстати, в разговоре с той женщиной, которая предлагала ей безопасное существование, она употребила слово «мир» очень неохотно. Мир ее не интересовал. Это слово ничего для нее не значило. Ее интересовало лишь окончание войны.

Она начала скитаться—отправилась на Эмс, потом в низовье Рейна. Теперь у нее была с собой карта, и она отыскивала на ней такие места, где, по ее предположению, война раньше всего подойдет к концу. Она моталась по Буртангскому болоту и графству Бентхайм, по Сальмурту и Баальскому каменному карьере, как человек, который, послушив палец, поднимает его, чтобы определить, откуда дует ветер. Она не находила ветра, которого искала. Впрочем, она не слюнила пальца, полагаясь исключительно на свое чутье.

Когда она упомянула про Буртангское болото, произошло следующее: Динклагге прервал ее и спросил, была ли она в Меппене, обратила ли внимание на кирпичные заводы семьи Динклагге, присовокупив к этому еще не осознанное им самим, но сразу же осознанное Кэте предложение вступить в брак («Вы могли бы заехать к моим родителям, остаться у них»),— предложение, сделанное слишком рано (второе, уже вполне явное, но последовавшее слишком поздно, он сделал к вечеру того дня, когда Шефольд перешел линию фронта),—и наконец, подведенный ею к этой теме, закончил свою литанию по поводу концлагерей на Эмсе словом «аминь», которое на мгновение повисло, словно проклятие, в плохо освещенной комнате с табличкой «Командир» на двери—комнате, где в честь сегодняшнего вечера с письменного стола были убраны все бумаги и вместо них стояли бутылка вина и два стакана.

Своими воспоминаниями о таких городах, как Меппен, Линген и Папенбург, Клеве, Эммерих и Кевелар, она с ним делиться не стала. Сказала только:

— Во всяком случае, теперь я могла читать в постели; та женщина на Юйсте дала мне с собой книги. Собственно, я быстро привыкла к такой жизни, не без удовольствия сидела по вечерам в небольших рестораниках, читала газеты, слушала известия по радио, болтала с хозяйками гостиниц. Может быть, мой отец, представитель станкостроительной фирмы, вел похожую жизнь?..

Она научилась экономно пользоваться сигаретами, которые получала по карточке. Раньше она курила редко. Сигареты были плохие, но они перебивали вкус еды, запах гостиничных комнат.

Как шло дальше путешествие Кэте на запад, вплоть до этой самой «эйфельской дыры», Динклагге так и не узнал—не узнал и в последующие дни, если не считать коротких, чисто фактических



сведений; вся история с Лоренцем Гидингом, например, осталась ему неизвестной, потому что в этот момент он вдруг решил все поставить на карту и сказал:

— Давайте пойдем наверх, в мою комнату!

Удивило ли его то, что Кэте не возразила? Вряд ли. С самого начала между Йозефом Динклагге и Кэте Ленк возникло полное понимание. Объятия и поцелуи были, конечно, еще до того, как они пошли наверх. Конвейер. Стадия изготовления продукта.

Наверху он сказал, показывая на свою кровать:

— Вот одно из немногих преимуществ офицера: тебе всегда готовят постель.

Значит, разница между его постелью и постелью Венцеля лишь в том, что свою Венцель всегда стелет сам.

Она заметила, когда они вошли в комнату, что ночник был уже зажжен: лиловое пятно в темноте.

В постели Кэте сразу поняла, что ее опасения по поводу многолетнего воздержания, которому подвергал себя Динклагге,— по какой-то причине, неясной для нее самой, это было ей не совсем приятно,—не имеют под собой никакой почвы. Трудно определить, на чем основан эротический дар Динклагге, его способность естественно выражать свои чувства. Может быть, дар этот был вызван к жизни той любовной связью семнадцатилетнего юноши с крестьянкой из графства Бентхайм, которая была хоть и старше его на пять лет, но все же очень молода? Или он был дан ему от природы и требовал потому столь ранней реализации? Оставим этот вопрос открытым, упомянем лишь талант Динклагге в любви быть беспечным, нежным, напористым—да и то упомянем лишь потому, что иначе не объяснить переплетение событий личного характера с событиями военной истории.

### 3

Итак, Кэте скиталась. Когда ей это надоело, она отправилась в Кёльн. Дату своего приезда, 15 мая, она запомнила навсегда. На главном почтамте ей вручили пачку писем от Лоренца. Было там и письмо от его отца, доктора медицины Фридриха Гидинга, из Мюнстера; Кэте не была с ним знакома, удивилась, что он знает адрес, о котором они договорились с Лоренцем, вскрыла его письмо первым, прочитала: «Глубокоуважаемая фройляйн Ленк, наш сын Лоренц погиб в начале мая в Италии. Он много о Вас говорил, когда был здесь, и дал мне Ваш

адрес — на всякий случай, как он сказал. Моя жена и я были бы очень рады, если бы Вы могли нас навестить».

Она ушла, держа в руках пачку писем. На улице было майское утро, теплое и голубое. В одиннадцать часов началась воздушная тревога, но ненадолго — час она просидела в подвале. Она пыталась представить себе мертвого Лоренца, но это ей не удавалось; единственное, что она поняла: его нет, нет больше. «Еще и это», — подумала она. И потом: «Теперь я свободна, как никогда прежде». Уже на пути к вокзалу она поняла, что ее первая реакция на известие о гибели Лоренца была эгоистической, ибо относилась не к Лоренцу, а к ней самой.

В поезде она прочла его письма. Дивизию, к которой его прикомандировали, сразу же, как только он приехал, перевели из Франции в Италию. Он описывал итальянские пейзажи. Места, которые он называл, цензура вымарала черной краской. Он жаловался, что Кэте совсем не пишет. Она согласилась, что с ее стороны было безответственно так долго медлить, прежде чем поехать в Кёльн. Вместо того чтобы поехать в Кёльн хотя бы из Юйста, она стала бродяжничать. Она действительно редко думала о Лоренце. Теперь у нее был номер его полевой почты. Со времени прощания в Берлине до его смерти он не получил от нее никаких известий, а сам написал ей десятка два писем. Описание итальянских пейзажей и тихие или бурные объяснения в любви, из-за которых она не могла переслать письма его отцу в Мюнстер.

Свекловичные поля, Ойскирхен, снова свекловичные поля. Она читала и читала. Кончив читать, она заметила, что ландшафт изменился. Она закурила, осторожно положила письма в чемоданчик, закрыла его. Первый поезд за долгое время, который был не переполнен, а почти пуст. На главном вокзале в Кёльне она снова стала изучать свою карту, теперь почти без всякой надежды. Ни на секунду у нее не возникло желания поехать в Мюнстер; наконец она взяла билет в Прюм, западный Эйфель. Ехать в Мюнстер означало бы ехать внутрь страны, ей же хотелось — ближе к границе! Как одержимая, она искала крайние точки: остров, Буртангское болото, низовья Рейна, все время в надежде, что попадет в открытую зону, в загадочные места, где можно переходить из одного мира в другой, на самую крайнюю, уже прозрачную кромку. Это ей не удавалось. За спящими плотинами материк, геометрически очерченные пастбища, а над ними контуры высоких дамб, водосборных сооружений.

Из окна поезда Кэте глядела на изменившиеся пейзажи — крупные гряды холмов, невысоких, но покрытых густой зеленью,

дороги, словно светлые канаты, протянутые в низинах, приземистые хутора, белые или из серого бутового камня, где ей сразу захотелось остаться, деревья, кроны которых напоминали облака. Как-то она увидела полуразвалившийся замок, расточительно огромный, в окружении других строений, грязные крепостные стены. Эти пейзажи заставляли Кэте думать не о плене, а о тайниках. Никакой идиллии; прохладный воздух старых яблоневых садов, забытых весен.

Кэте думала: эти пейзажи не для Лоренца, его как художника влекло другое. Она считала, что Лоренц мог бы стать большим художником. Показывая на рисунок, изображавший что угодно, только не Закровское озеро, он заявлял: «Потрясающая штука это Закровское озеро»,—хотя потрясающим был лишь сам рисунок, как бы отделившийся от этого озера в провинции Бранденбург, от всего, что с ним связано. Иногда ей становилось не по себе от его взгляда, в котором предметы словно сгорали дотла; как-то она поймала себя на мысли, что вовсе не уверена, действительно ли это ей подходит—стать спутницей жизни великого художника.

Она еще и потому не решилась ехать в Мюнстер, что не хотела беседовать с д-ром Гидингом и его женой о будущем их сына как художника; это только усилило бы ее отчаяние. А может быть, и нет—может быть, это оживило бы ее, придало ее печали какой-то смысл. В ее воспоминаниях Лоренц остался бы не просто павшим солдатом, а несвершившимся художником. Но в Мюнстере ей была бы отведена в высшей степени мучительная для нее роль женщины, пережившей возлюбленного. То, что она наделила Лоренца гениальностью, обязывало бы ее в течение нескольких дней играть роль его вдовы. «Все, только не это»,—думала Кэте. Она не могла представить себе, как будет участвовать в этих беседах оставшихся в живых. Все лето и осень в Эйфеле она уже не часто вспоминала Лоренца. Но когда вспоминала, то думала о нем не как о большом художнике, которым он мог бы стать, а как о мертвом солдате, которым стал. Как о человеке, о котором никто уже никогда ничего не узнает. Тогда ей становилось грустно и тяжело, ее охватывало ощущение беды, она должна была заставлять себя что-то делать. Из Прюма она написала д-ру Гидингу, посоветовала ему собрать рисунки и картины Лоренца для выставки после войны, сообщила адреса, где он, возможно, еще мог бы разыскать работы своего сына. Он поблагодарил ее, ухватился за эту идею. Несколько лучших листов Лоренца погубло вместе с ее комнатой на Ханильвег. У нее не осталось ничего, что напоминало бы о нем,—даже

фотографии. Лоренц терпеть не мог фотографий, у нее он тоже никогда не просил снимков.

О Лоренце Кэте разговаривала только с Хайнштоком. Что касается нынешней ситуации, то здесь Хайншток доказал, что у него нет ни малейшего чутья; с другой стороны, именно он однажды сказал ей: «Ведь у тебя в Берлине наверняка был друг», в то время как Динклагге никогда не пришло бы в голову строить такие предположения. А если даже он их и строил, то полагал, что высказывать их — бестактно. Или считал их незначительными, поскольку его любовь к Кэте и любовь Кэте к нему были чем-то настолько неслыханным и неповторимым, что прошлое сгорало в ней дотла, как Закровское озеро на рисунках Лоренца.

#### 4

С середины мая до середины июля — прюмский период. Два месяца Кэте преподавала немецкий и географию в выпускных классах гимназии имени Рёгино. «Коллеге из Берлина я могу со спокойной совестью доверить наших выпускников», — сказал директор. Но с конца июня занятий было мало, потому что ученики стояли у окон или на широкой площадке внизу; Кэте не мешала им, стояла вместе с ними, хотела видеть сама, как выглядит армия, спасающаяся бегством. Впрочем, она вовсе не бежала — колонны двигались медленно, педантично; в июне часто шли дожди, и армия, окутанная затяжным дождем и стойким унынием, просто двигалась куда-то, в какие-то другие места.

Скука. Кэте убедила учеников вернуться в класс и, движимая берлинским патриотизмом, начала вместе с ними читать «Шаха фон Вутенова»<sup>1</sup>, потом стала рассказывать о Бразилии, о колибри и кофе. Она чуть было не дала себя убедить, что передвижение армии на восток — лишь обычные маневры, но потом выяснилось, что население должно покинуть город. Еще прежде, чем директор объявил, что школа закрывается, ученики выпускных классов уже получили повестки с требованием явиться на призывные пункты. Несколько дней царил суматоха; Кэте наблюдала, как люди, стоя рядом с ворохом багажа, растерянно смотрели на свои дома, где уже были закрыты ставни и заперты двери. Скоро город превратится в нечто безымянное, в каменный объект ночных рекогносцировок, грабежей и артиллерийских обстрелов. Когда Кэте после окончания занятий оставалась одна в классной

---

<sup>1</sup> Повесть немецкого писателя Теодора Фонтане (1819—1898).

комнате, она чувствовала, как ее окружает одиночество; армия не просто шла куда-то, а освобождала территорию, оставляла за собой пустую землю, ничейную землю. В такие моменты у Кэте Ленк зарождалась надежда. Она получила распоряжение явиться в ведомство по делам школ в Кёльне для «последующего определения на работу».

Прюм находился в лесной котловине, со всех сторон окруженной горами. Кэте сразу же решила здесь остаться. Пробираться дальше на запад было уже невозможно. На просторной площади высилась церковь с двумя башнями, слишком большая для такого городка. Она была построена в стиле барокко, но покрыта серой штукатуркой. Через украшенный гербом старый портал школьники шли в массивные, такие же серые, соседние здания.

О гимназии имени Регино Кэте вспоминает не без удовольствия. Среди учителей этой школы было лишь два или три нациста, а в остальном—много католиков, несколько либералов. Как-то раз, когда она сидела одна в учительской, проверяя тетради, вошел преподаватель биологии, пожилой человек, сел рядом с ней, спросил:

- Вы ненавидите англичан?
- А надо?—спросила она насмешливо.
- Да нет, я просто так спросил,—сказал он.
- Почему вам пришла в голову такая мысль?
- Скорее всего, из-за ваших родителей.
- Я ненавижу войну.
- Тогда все в порядке,—сказал он.

Венцель Хайншток был первым, кто объяснил ей, что ненавидеть войну—этого еще мало.

Из симпатии к старому учителю естествознания она как-то отправилась вместе с классом на ботаническую экскурсию. С того дня началась ее дружба с Людвигом Теленом. Они шли в ложине, вдоль ручья, д-р Мор показывал ученикам, где растут волчник и прострел, фиалки и ландыши, Кэте немного отстала, а когда двинулась дальше, заметила, что Людвиг Телен ждет ее.

— Вам эти цветы тоже осточертели?—спросил он.

— Нет,—сказала она.—Объективно они прекрасны. Но в этом году нам, пожалуй, действительно не до них.

Они тотчас же углубились в разговор о том, почему поздней весной 1944 года цветы не производят обычного впечатления. Кэте сделала так, что через несколько минут они снова оказались

вместе с остальными. Через два дня Людвиг Телен положил ей на кафедру свою тетрадь для сочинений. Раскрыв ее, она нашла записку: «Сегодня в три часа на Роммерсхаймер-Хельд». Она посмотрела в его сторону, придав глазам холодное выражение, но он, как всегда, когда его что-то сильно занимало, смотрел в окно. Через несколько минут она подумала, что, собственно, у нее нет причин не встретиться с ним.

Роммерсхаймер-Хельд—одинокая высота у дороги, ведущей из Прюма на юг. Если подняться из лесной долины, в которой лежит город, вверх, то откроются пейзажи, где преобладают плоскогорья, холмы, тянущиеся до горизонта, леса или безлесные хребты, столовые горы, каменистые возвышения, деревни с шиферными кровлями. Возможно, Кэте не осталась бы в Прюме, если бы уже в первые дни своего пребывания там не обнаружила, какие виды открываются за поросшими буком склонами, меж которых прячется город. Она увидела просторы, бесконечными волнами убегавшие на запад. Здесь она несколько раз совершала с Людвигом Теленом дальние прогулки.

Он родился и жил в деревне, в Винтерспельте; обладал математическими способностями и потому попал в гимназию. Лицо его всегда было невозмутимо-сосредоточенно. Кэте ни разу не слышала, чтобы он повышал голос; он всегда разговаривал спокойно, уверенно. Иногда ей казалось, что он просто лишен темперамента.

Заметив ее пристрастие к пустынным горным склонам, он стал выбирать для прогулок маршруты, которые вели по известнякам, где походка становилась твердой, пружинистой. Они говорили о книгах и математике, о войне и его предстоящей службе в армии. Людвиг Телен считал войну своим будущим; в этом смысле он вполне соответствовал своему возрасту—ему было восемнадцать лет.

— Когда война кончится, вам будет столько лет, сколько было мне, когда она началась,—сказала Кэте.—Хорошо вам.

— В будущем году?—спросил он.—Вы действительно думаете, что она кончится в будущем году?

— Не позднее,—сказала Кэте.

Он так удивился, что даже не нашел слов для ответа. Правда, в тот день, когда происходил этот разговор, отступающая армия еще не дошла до Прюма. Все вокруг было еще спокойно, земля казалась неподвижной, только в воображении Кэте она напоминала бесконечные волны, бегущие на запад.

— Он аполитичен, этот мальчик, как и все здесь,—сказал Венцель Хайншток, когда Кэте однажды, много позднее, заговорила с ним о Людвиге Телене.—Они все получают католическое воспитание, инстинктивно терпеть не могут фашизм и рассматривают политику как стихийное бедствие.

— Я тоже,—быстро сказала Кэте,—я тоже рассматриваю политику как стихийное бедствие.

— Против которого ничего нельзя предпринять, не так ли?—спросил он. В этих словах должна была прозвучать строгая критика, но прозвучала лишь горечь.

— Войну надо было бы уметь вычислить,—сказал Людвиг Телен.—Точно вычислить. Я вот что не люблю в математике—она занимается только абстракциями. Прямоугольный треугольник! Простые числа! Почему она не занимается неправильными треугольниками? Наверняка же можно выводить аксиомы и из конкретных простых чисел!

Кэте неплохо разбиралась в математике и поняла, что он имеет в виду.

— По-моему, это великолепно,—сказала она,—что математика ограничивается структурами, имеет дело с абстракциями. В конце концов выясняется, что это вовсе не абстракция, а конкретные законы. Из чего состоит структура, если ее точно исследовать? Из прямоугильности. Из неделимости.

— Простое число семнадцать неделимо,—сказал он размеренно, спокойно,—но из этого следует, что оно состоит из остатка, который не поддается учету.

— И вы не хотите с этим мириться?

— Да, с этим я не хочу мириться.

Они лежали на низкорослой сухой траве пустынного склона, возле куста можжевельника, в бескрайнем небе плыли облака—Кэте видела их нечетко, потому что сняла очки. Во время своих прогулок они не встретили ни одного человека. Начиная с их третьей встречи Кэте стала надевать полосатое льняное платье без рукавов. Людвиг Телен не делал даже попытки прикоснуться к ней.

— Прюм—проклятая дыра,—сказал он.—Я бы никогда не решился прийти вечером к вам домой. А лежать с вами на лужайке у меня просто нет желания.

Кэте жила в меблированной комнате, на улице, где находились старые кожевенные заводы. Людвиг Телен жил у родственников.

— Но вы уже лежите со мной на лужайке,—сказала Кэте.

Он с обычной решительностью покачал головой. Ей достаточно было вспомнить записку, которую он вложил в свою тетрадь, чтобы понять, что он отнюдь не робкий. Ей лужайка не была так уж неприятна.

— Пожалуй, я могла бы предложить вам,—сказала она,—провести вместе конец недели в Кёльне или Трире. Ехать нам надо было бы порознь, но там мы могли бы встретиться, снять комнаты в одном отеле.

— Вот это здорово!—воскликнул он негромко.—Отличная идея! Давайте сразу же и поедem!

Она поднялась, надела очки.

— В следующую субботу я не могу,—сказала она.

Еще две субботы она устраивала так, что поездка тоже оказывалась невозможной, причем ее отговорки выглядели вполне убедительно; потом он получил повестку, а она—распоряжение явиться в Кёльн.

Она сказала ему, что ни в коем случае не поедет в Кёльн.

— Что же вы собираетесь делать?—спросил он.

— Не знаю,—ответила она.—Хочу исчезнуть, испариться.

У нее была смутная мысль поехать в Трир или в Ахен—города, расположенные у самой западной границы; говорили, что население оттуда уже выехало. Может, ей удалось бы остаться в пустом городе, если он достаточно большой и если повезет; лишь бы проникнуть в него, а уже дальше надо следить, чтобы не натолкнуться на патрули. Кэте представляла себе улицы, где не слышно ничего, кроме ее собственных шагов. Она взламывает какую-нибудь квартиру, продуктовый магазин. В Прюме она видела, как торговцы запирали лавки, где еще хранились товары. Романтические мечты об одиночестве и разбойничьей жизни. Впервые она попыталась точно высчитать, когда кончится война.

— Я отвезу вас к своим сестрам в Винтерспельт,—сказал Людвиг Телен.

Она знала, что две его сестры и очень старый отец ведут хозяйство в деревне, где он родился. Во время одной из прогулок он как-то показал на запад и сказал: «Винтерспельт находится в двадцати километрах отсюда. Я должен как-нибудь показать вам его».

— Ваши сестры будут вам ужасно благодарны,—сказала Кэте.—Кроме того, это вообще невозможно.

— Мои сестры будут вам рады,—сказал он уверенно.—И дело не только в том, что им нужны рабочие руки. Так почему же это невозможно?



— Например, потому, что я остаюсь без продовольственных карточек. Почитайте объявления! Кто не подчинится приказу об эвакуации, не получит продовольственных карточек.

Он только пожал плечами.

— У меня дома вы будете питаться лучше, чем когда-либо питались здесь.

— Меня станут искать,— сказала она.— Для ваших родных будет опасно держать меня в доме.

Он подумал.

— Группенляйтер в Винтерспельте — Йоханнес Нёкель, хозяин трактира,— сказал он.— Он теперь очень присмирел. Кроме того, я пойду к нему и припугну его как следует.

Было еще совсем темно, когда на следующее утро Кэте через лес ушла из Прюма. Чемоданчик у нее был все такой же легкий. На обочине дороги, недалеко от Роммерсхаймер-Хельд, она ждала Людвига Телена. В его распоряжении оставался еще день, ему следовало прибыть в Кобленц лишь завтра. Кэте же, наоборот, должна была еще вчера вечером явиться на Ханплац, ее включили в группу из двухсот человек, уезжавших на грузовиках в Кёльн. Она представила себе, как там пересчитывают людей, выкликают фамилии. Ей надо было решить, где надежнее всего провести оставшиеся несколько часов; она пришла к выводу, что в школе. Действительно, там никого не было, даже сторожа; может быть, он уехал с той самой группой, от которой она отбилась. Учительская была заперта, а классные комнаты открыты, она зашла в выпускной класс, положила на покрытый линолеумом пол свой плащ, легла и стала слушать гул, которым наполняла город отступающая армия. Около двух часов ночи она вышла из школы и, не встретив ни одного человека, нырнула в лес. Гул становился все слабее, черные стволы буков отгораживали ее от городского шума все более плотной стеной; наверху, на лесных прогалинах, где перед Кэте расстиралась лишь дорога, а над ней нависало ночное небо, уже ничего не было слышно.

## 5

Молодой Телен приехал на машине, за рулем которой сидел Венцель Хайншток. (Когда нужно было совершить такую поездку, обращались к Хайнштоку, у которого был старый «адлер».) Кэте представили ему, имени его она не разобрала, села на заднее сиденье. В течение полчаса, что они ехали до

Винтерспельта, все трое почти не разговаривали.

Иногда, вспоминая потом эту поездку, Кэте говорила:

— Только не думай, что я не заметила, как ты разглядывал меня в зеркало!

Он не отрицал, что по дороге в Винтерспельт то и дело поглядывал в зеркало, притом вовсе не из-за дороги. Голова и плечи Кэте даже закрывали от него дорогу сзади; собственно, он должен был сказать ей: «Отодвиньтесь немного в сторону!»

На ее вопрос: «О чем ты тогда думал?» — он обычно не отвечал. Однажды он сказал:

— Я думал, что пословица не точна.

— Какая пословица?

— «Чего не чаешь, то получаешь». Чаше всего как раз не получаешь.

Она помолчала, потом начала снова его поддразнивать.

— Но ты ведь просто высадил Людвиг Телена и меня возле дома, даже не вышел из машины, сразу уехал.

— Я же знал, почему ты приехала в Винтерспельт. Молодой Телен попросил меня отвезти в безопасное место его учительницу. Так что я знал, что мне еще придется с тобой встретиться.

— Великий капканщик, — насмешливо сказала Кэте. — Сидит себе спокойно и выжидает.

В доме Телена ее ждал почти такой же прием, как позднее того ординарца, что пришел просить ночник для Динклаге. Людвиг Телен был страшно смущен и сказал ей в утешение:

— Они поначалу всегда так. Но вы увидите, все будет в порядке.

Он оказался прав; когда среди дня он уехал, потому что на другое утро должен был явиться в Кобленц, умиравшие от любопытства Тереза и Элиза тотчас принялись сплетничать; позднее, когда им стало ясно, что в истории с Горбатовым можно положиться на Кэте, они стали неразлучной троицей. Весьма благоприятным оказалось и то, что письма, которые она получала от Людвиг — он писал сначала из гарнизона в Саксонии, потом с Восточного фронта, и поступал очень умно, посылая письма Кэте раз в две недели, а семье каждую неделю, — она спокойно давала читать сестрам и отцу; так что была хоть какая-то польза от того, что они остались с ним на «вы».

Но то первое утро было ужасным. Сидя на лежанке в большой комнате, она смотрела на исцарапанный стол, на стулья, с которых облезла коричневая краска. На дверцах встроенного в стену шкафа висели пожелтевшие открытки, прикрепленные

кнопками, фотографии. Дешевая, потрескавшаяся посуда в буфете. Рядом белый фарфоровый Христос на коричневой деревянной подставке. Жужжанье мух. Как и почему она попала сюда? Спросить Людвиг Телена, не может ли тот человек, который привез ее сюда, сразу же увезти ее отсюда, ей помешала, во-первых, абсолютная невозможность найти какое-то другое место, а во-вторых, упрямство. «Дело дрянь,—подумала она, взгляд ее скользнул мимо большой навозной кучи во дворе к покрытому серой штукатуркой безликому дому, командному пункту батальона, перед которым тогда оживленно суетились военные—известная своей расхлябанностью 18-я мотодивизия.— Дело дрянь, но я останусь здесь, мне некуда больше податься».

Прощаясь, Людвиг Телен сделал попытку остаться с ней наедине. Она отказала ему в поцелуе, на который он, очевидно, надеялся, но, вспомнив так называемую судьбу Лоренца Гидинга, впервые заговорила с ним совершенно откровенно.

— Увиливайте, где только можно, Людвиг!—сказала она.— Симулируйте, а не поможет—попытайтесь попасть в плен, если вас отправят на фронт. Надо выжить, вы понимаете («Вы понимаете!»), выжить!

Она обрадовалась, увидев, что в глазах его не появилось возмущения—только удивление.

— Я найду вас здесь, когда вернусь?—спросил он.

— Нет,—сказала она,—наверняка нет.

Через несколько дней Тереза зашла ранним утром к Кэте в комнату и сказала:

— Тебе надо на какое-то время исчезнуть из деревни!

Хозяйин трактира и местный группенляйтер Йоханнес Нэкель, сообщила она, вчера вечером наемкнул ее отцу, что в ближайшие дни Винтерспельт будут прочесывать, ищут людей, проживающих в деревне незаконно.

— Куда же мне деваться?—спросила Кэте.

— Пойдешь к господину Хайнштоку,—сказала Тереза. Увидев, что это имя ничего не говорит Кэте, она сказала:— Это тот человек, который привез тебя сюда.

Она рассказала Кэте все, что знала о Хайнштоке, описала дорогу к каменоломне.

— У вас будут из-за меня неприятности?—спросила Кэте.

— Ты думаешь, кто-нибудь на нас донесет? Такого здесь не бывает. Тому, кто бы это сделал, не поздоровилось бы. Да еще теперь, когда война скоро кончится!

Кэте вспомнила прием, который был ей оказан. Она живо представила себе, каково придется службе розыска, когда та

ступит во двор Телена. А семья Теленов была еще самой приветливой в этой эйфельской деревне.

Так Кэте пришла к Хайнштоку. Одного только ей не довелось узнать: что Хайншток, зайдя как-то в деревню, отозвал в сторону Терезу Телен и, когда та пообещала, что не скажет никому ни слова, шепнул: «Если у этой учительницы, что живет у вас, будут неприятности, присылайте ее ко мне!»

То есть Кэте была неправа, утверждая, что он сидел себе спокойно и выжидал.

### ***Наброски к сочинению о политическом сознании***

Отец Кэте характеризуется как (либеральный?) противник Гитлера. Если бы он был сторонником диктатора и членом его партии, удалось бы ему воспитать Кэте так, чтобы она стала юной национал-социалисткой?

Она же уютно чувствовала себя именно в родительском доме, не хотела его покидать.

Круг ее литературных интересов. Интеллектуализм как форма проявления личности.

Своим первым другом она выбирает художника и противника войны.

В ночь с 8 на 9 марта и позднее ей и в голову не приходит возненавидеть английских летчиков, сбросивших бомбу на ее дом. Дру Мору она говорит, что ненавидит войну, но следует предположить, что она имеет в виду тех, кто эту войну развязал. У ее отца и у Лоренца Гидинга нет ни малейших сомнений по поводу того, кто именно это сделал. Характерно для Кэте, что она принимает такого рода убеждения без малейшего протеста.

С родителями ей повезло.

Совет молодому Телену (представлявшему собой любопытную смесь приверженца католической веры и поклонника математики) дезертировать из вермахта был, собственно, ее первым активным шагом на пути политического сопротивления.

Потом она становится ученицей Хайнштока. Она выражает согласие со следующими составными частями его учения. Исто-

рия есть история борьбы классов. Причины возникновения самоотчуждения. Рабочая сила как товар; она продается и покупается; прибавочная стоимость. Буржуазная демократия как фикция политического равенства. Накопление капитала. Возникновение кризисов. Зарождение фашизма и возникновение империалистических войн. Социализм.

А это не так уж мало.

Она не могла заставить себя поверить в возможность возникновения бесклассового общества. Она обнаружила, что не испытывает ни малейшего желания размышлять об утопии. Диалектика вызвала у нее сомнения; этот закон тройного скачка казался ей каким-то механическим, законы движения она представляла себе по-иному. То, что идеи—это не субстанция, а лишь отражение соответствующих производственных отношений, может быть, и было правильно применительно ко многим идеям, но не ко всем... «Если все есть труд,—говорила она Хайнштоку,—значит, вообще не может быть противоречия между базисом и надстройкой».

Такие споры были имманентны учению. Четкий рисунок марксизма она нарушала лишь своими внезапными восклицаниями, вроде того, что, подобно молодому Телену, рассматривает политику как стихийное бедствие, или когда отказывалась обсуждать условные придаточные предложения применительно к истории.

И свое путешествие на запад, это «инстинктивное передвижение» или «миграцию перелетных птиц», как охарактеризовал его Динклагге, она отнюдь не рассматривала как *диалектическое* движение.

Но если не считать всего этого, то летом 1944 года Кэте Ленк, благодаря урокам Венцеля Хайнштока, обладала ясным политическим сознанием.

Лингвистическое влияние Хайнштока: та яростная убежденность, с какой он говорил о «фашистской банде». Его взгляд на политику как на преступление. Рассказы о концлагере.

Хотя она и влюбилась в майора Динклагге, следует считать невозможным, что она вступила бы с ним в любовную связь, если бы этот офицер оказался сторонником фашистской банды или просто бравым воякой и больше ничем.

Неприятие цели, которой он служит, лежит в основе жизни Динклагге на войне. Это делает его приемлемым для Кэте.

«Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание».

Размышляя над путем Кэте Ленк, можно было бы, пожалуй, сказать, что не общественное, а личное бытие определило ее сознание.

Ни модель общества, в котором она живет, ни условия производства, которым она подчинена, недоступны ее пониманию.

Хотя все ее переживания и действия связаны с войной, она отклоняет теорию, согласно которой причины возникновения войны носят экономический характер. Если война — «авантюра немецко-фашистской банды» (Хайншток), то она — стихийное бедствие, катастрофа человеческой природы.

Родителей она не выбирала. Но вот уже Лоренца Гидинга она выбрала сама. Путешествие на запад, потом Хайншток, потом Динклагге. Здесь действительно не увидишь ничего, кроме переплетения человеческих отношений. Но внутри этого переплетения она всегда осуществляет одинаковый, в политическом смысле, выбор.

Инстинктивно. На основе личного бытия.

Роль инстинкта в формировании политического сознания.

Решимость, проистекающая из личных симпатий и антипатий.

Партизанка без партии.

### ***Условия производства, доступные пониманию***

В начале августа опасность миновала. Кэте вернулась к Теленам, снова взялась за домашнюю работу. Каждое утро она протирала пол в комнатах мокрой тряпкой. Тереза и Элиза говорили, что делать этого не нужно, но ее нельзя было переубедить. Окунув три раза половую тряпку в ведро с водой, она меняла воду; она разработала метод наиболее рациональной

уборки помещения, но скрести пол, стоя на коленях, не захотела. Ей удалось добиться если не блеска, то, во всяком случае, устойчивой чистоты. Борьба с пылью. Приготовление обеда. Мытье посуды три раза в день. Раз в неделю стирка белья и глажение. Хотя все эти виды работ, за исключением двух последних, были ей отвратительны, она выполняла их с ожесточенным тщанием, внушая себе, что все это является так называемым уделом женщин и надо хоть раз проверить на себе, как действует механизм подобного предназначения. В родительском доме ей было достаточно делать вид, что она играет в эту игру. Вот, значит, что предстоит всем женщинам, чего от них ждут, даже от тех, у кого есть профессия или богатство, ибо даже если им не нужно выполнять все работы по дому самим, то все равно предполагается, что именно это и составляет содержание их жизни—следить за живым и мертвым инвентарем в доме, чистить его и содержать в порядке. Вокруг этой специфической формы эксплуатации, этого не прекращающегося с раннего утра до поздней ночи, не оплачиваемого тупоумия, которое техника может только смягчить, но не ликвидировать, вращается жизнь всех женщин. Всех, но не ее. Она будет единственным и абсолютным исключением. Она испытывала столь же мало желания задумываться над своей будущей жизнью, как и размышлять об утопиях, но она была полна решимости никогда больше не скрести пол, не чистить картофель, не гладить простыни. Пройдет совсем немного времени, и винтерспельтский период будет позади. Она использовала его, чтобы набраться опыта.

— Если ты не хочешь следить за порядком в своем доме, то это должен будет делать за тебя кто-то другой,—сказал марксист Хайншток, который в вопросах, касающихся женщины и хозяйства, был скорее реакционером.

— Разумеется,—отвечала Кэте, которую ничуть не тронуло это морализирование по поводу железных законов разделения труда.—Твоя хибара всегда прибрана по высшему классу. На твоём полу можно есть. Постель ты застилаешь безупречно. И вполне прилично готовишь. Для меня это, пожалуй, самые веские доводы, чтобы выйти за тебя замуж.

Хайншток был не такой человек, чтобы, зацепившись за эти слова, спросить, нет ли у Кэте и других, быть может не столь веских, но вполне достаточных оснований для подобного решения.

Сестры Телен научили ее печь хлеб.

Она со своей стороны вместо субботнего мытья ввела ежедневное. Для этой цели в кухне, где обычно стиралось белье,

натапливали бучковыми дровами печь, на нее ставили огромный котел с водой, потом, когда вода нагревалась, ее ведрами переливали в большой деревянный ушат. Все это требовало немалых усилий, но зато какое было удовольствие; когда пар становился густым, тела трех девушек, теряя четкость контуров, мягко просвечивали сквозь него. В этом тумане слабо светилось почти коричневое, как у таитянки, тело Кэте (результат солнечных ванн у входа в пещеру на Аперте); матовое, словно припудренное кирпичной пылью — Терезы; неопределенно светлое, почти белое — Элизы. Казалось, пар приглушал даже их голоса, их смех. Они терли друг другу спины. Кэте находила, что Элиза, которая была на два года моложе ее и Терезы, самая красивая из них. У нее были стройные длинные ноги, гордая посадка головы. Кэте говорила, что ей надо закалывать волосы на затылке, чтобы видна была красивая линия шеи, но Элиза не желала следовать ее совету.

Иногда в послеобеденные часы Кэте, подменяя сестер, пасла коров; это была легкая работа, собственно, даже не работа; можно было лежать на лугу и читать. Обычно ей никто не мешал; самолеты, даже низко летящие, еще никогда не стреляли в стадо коров. Оторвавшись на мгновение от книги, она слышала доносившуюся с севера канонаду; лощина, в которой она лежала, почти полностью поглощала этот далекий гул.

### ***Пока Кэте пасет коров***

«На фронте группы армий «Б» американские войска намеревались — в качестве необходимой предпосылки для наступления через Рёр к Рейну — расширить участок уже ранее осуществленного ими прорыва через «Западный вал» под Фоссенаком (юго-вост. Ахена), чтобы затем овладеть двумя большими плотинами на реках Рёр и Урфт. В ходе длительных многодневных боев эти попытки были сорваны контратаками противника. В качестве главной задачи выдвигалась подготовка к наступлению, и это особенно сказывалось на тяжелых оборонительных боях, которые велись на этом участке с середины сентября по ноябрь... Однако эти бои уже повлекли за собой тяжелые потери с обеих сторон» (Генерал Хассо фон Мантойфель. Битва в Арденнах 1944—1945 гг. — В кн.: Якобсен и Ровер. Решающие битвы второй мировой войны. Франкфурт-на-Майне, 1960).



Как уже упоминалось, лишь через четыре дня после того ужина на «командном пункте батальона» — он состоялся в понедельник 2 октября — Кэте набралась мужества сказать Хайнштоку о своих отношениях с майором. Что касается последнего, то ему она сообщила незамедлительно. Уже во вторник она сказала Динклагге:

— У меня здесь есть друг.

Она описала ему Хайнштока и рассказала, как возникла ее связь с человеком из каменоломни.

Они условились встретиться поздней ночью, когда Динклагге вернется после очередной ночной проверки передовых постов, и Кэте, услышав шум удаляющегося вездехода, еще подождала какое-то время и только потом вошла в дом напротив. Она чувствовала, с каким нетерпением Динклагге ждал ее, но начала говорить о Хайнштоке: она хотела, чтобы все уже было сказано, прежде чем она снова войдет в его комнату и разделит с ним ложе («ложе врага», как сказал бы Хайншток).

Хотя у него было совсем другое на уме, Динклагге сразу понял, что должен выслушать ее. Поначалу он проявил интерес к марксизму Хайнштока, упомянул о собственных штудиях в области политической экономии, заявил, что хотел бы познакомиться с Хайнштоком, что его давно привлекает возможность побеседовать с образованным коммунистом. Услышав слово «побеседовать», Кэте скорчила гримасу и, чтобы скрыть ее, стала протирать очки; если бы кто-нибудь спросил Кэте, почему она скорчила гримасу, она, вероятно, ответила бы то же, что сказала потом Хайнштоку по поводу высказывания Динклагге о «военной структуре», разумном поведении и том немногом, что он еще может сделать на этой войне. «Чушь все это», — сказала бы она.

Хайншток и майор так и не встретились. По соображениям, связанным с техникой политической подпольной работы, Хайншток был недоволен тем, что Кэте вообще назвала Динклагге его имя, но он перестанет упрекать ее, когда заметит, что Кэте закрыла лицо руками. Это произойдет ранним утром 7 октября, когда Кэте сообщит ему о плане майора и попросит его содействия.

Наконец, после достаточно долгой импровизации на тему о политэкономии, Динклагге сказал:

— Это, наверно, ужасно — потерять тебя!

— А кто сказал, что так должно быть? — сердито ответила Кэте. — Как у тебя могла возникнуть такая мысль?

В момент этого кризиса в их отношениях, который наступил так быстро, уже в начале третьей встречи, Динклагге выбрал единственно правильную линию поведения: он промолчал. Он даже не посмотрел на Кэте, а стал складывать бумаги на своем письменном столе.

— Разве одни отношения должны оборваться потому, что возникли другие? — сказала Кэте. — Это просто глупо.

Он поднял глаза, оторвавшись от своих бумаг.

— Да, пожалуй, ты права, — сказал он. — Поступай, как знаешь!

Хотел ли он тем самым доказать свою терпимость? Вряд ли. У него не было сомнений относительно того, чем все кончится. Поэтому он и мог позволить себе быть великодушным.

## **Пещера на Аперте**

### **1**

Возвращаясь к моменту, когда Кэте сказала Хайнштоку: «Расскажи, как ты стал коммунистом!» — следует внести одно уточнение: на ней при этом ничего не было. Она как раз принимала одну из своих полуденных солнечных ванн, лежа на поросшем мхом и травой клочке земли перед пещерой на Аперте. Как известно, Кэте достаточно полежать на солнце всего час, чтобы кожа ее приобрела смуглый оттенок, цвет, напоминающий прозрачную скорлупу каштана, если вообще существует нечто подобное.

Что касается Хайнштока, то он, будучи рабочим, который всю свою жизнь проработал на свежем воздухе и потому никогда не подумал бы принимать солнечные ванны, стоит одетый у входа в пещеру и, покуривая трубку, глядит вниз на Кэте — можно предположить, что она кажется ему индианкой, несмотря на очки. Прежде чем раздеться в первый раз — солнце светило так прекрасно, — Кэте спросила, не возражает ли он. Он ответил, что не возражает, но в душе удивился подобной вольности. Теперь же он наслаждается тем, что живет с девушкой, у которой такие свободные и естественные взгляды.

Аперт — назовем так высоту, холм, купол горы, у подножия которой при строительстве железнодорожной линии Прюм — Бляйальф — Сен-Вит в базальтовой жиле была обнаружена пуста вулканического происхождения. Предположим, что она находится в юго-западной части Шнее-Эйфеля, в районе, где, насколь-

ко хватает глаз—а с горной цепи здесь видно далеко,—нет ни деревень, ни крестьянских усадеб, ни одиноких хуторов, а только лес и склоны, поросшие можжевельником, и потому сведения об этой полости, каверне в горе, можно считать давно забытыми, притом забытыми раньше, чем началась война и эксплуатация железной дороги была прекращена.

Хайншток, геолог и специалист по тайникам, нашел пещеру на Аперте не случайно, а благодаря ссылке в книге Хаппеля и Ройлинга. Когда он стал разыскивать эту пещеру—ее действительно пришлось искать, потому что оба автора посвятили описанию ее местонахождения всего две строчки, набранных курсивом,—то нашел ее в трех часах ходьбы к востоку от Винтерспельта. Она оказалась вполне сухой, просторной, пригодной даже для длительного пребывания. Совершив несколько пеших походов—своим «адлером» он при этом не пользовался,—он натаскал в тайник продуктов и одеял. Он не доверял наступившему затишью, предполагал, что может возникнуть ситуация, когда его не спасет и покровительство Аримонда: хорошо организованная фашистская система, погибая, попытается уничтожить и своих последних, еще оставшихся в живых противников.

Когда Кэте 18 июля появилась у него в домике, он сначала уступил ей свою постель, а сам ночевал в спальном мешке на полу, но, несмотря на великодушное предложение, сделанное им Терезе Телен («Если у этой учительницы, что живет у вас, будут неприятности, присылайте ее ко мне!»), все же был в некоторой растерянности, не зная, как поступить дальше. У него было несколько очень надежных знакомых в тылу, которые, безусловно, откликнулись бы на его просьбу и спрятали бы Кэте у себя; подумал он и об Аримонде, о его вилле в Кобленце; но когда он заговорил об этом с Кэте, то натолкнулся на неожиданное и упорное сопротивление. Она наотрез отказалась перебираться в тыл.

— Я больше не вернусь туда,—сказала она.—Почему мне нельзя остаться здесь? Разве я вам мешаю?

Он мысленно спросил себя, следует ли считать это проявлением симпатии к нему. Во всяком случае, это явно доказывало, что жить с ним под одной крышей ей не так уж неприятно. Он ничего не ответил, только коснулся ее руки, и она при этом руки не убрала.

В тот же день, когда происходил этот разговор, то есть 20 июля, они, слушая передачу из Кале, узнали о покушении<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Речь идет о покушении на Гитлера 20 июля 1944 г.

Поскольку Хайншток рассказывал Кэте о своем политическом прошлом, она поняла, почему он встал и сказал:

— Нам надо немедленно уходить!

Пока они шли в темноте к пещере на Аперте—Хайншток нагрузил себя и ее продуктами, захватил спальный мешок, всякие другие вещи,—он объяснил Кэте, что теперь по всему рейху начнутся облавы, преследования. Каждый, кто известен как противник диктатуры, может подвергнуться аресту, даже если он сидел и был потом освобожден. (Хайншток правильно оценил положение: после 20 июля начались массовые аресты, но приказа о его аресте отдано не было. Главная полоса обороны, как оказалось, была не подведомственна гестапо.)

То, что в пещере на Аперте они спали вместе, было вполне естественно, объяснялось их зависимостью друг от друга, тем, что ночью на них обоих давили базальтовые стены, темнотой, защитой, которую Кэте нашла у Хайнштока, тем, что он так хорошо разбирался во всех вопросах, касавшихся человеческого тела.

Понятно поэтому, что пещеру на Аперте Хайншток воспринимает как «приют любви», особенно когда вспоминает такие сцены: лесистый склон напротив, на юго-западе, уже почти в тени, перед склоном ручей, из которого он, когда темнеет, берет воду, поодаль проржавевшие железнодорожные рельсы, рядом с ним, среди мха и травы, коричневая, как индианка, обнаженная и тонкая, подтянув ноги и закрыв глаза (очки она положила рядом на траве), лежит Кэте, а он, одетый, стоит у темнеющего входа в пещеру и курит свою трубку. Он говорит себе, что это была романтическая идиллия, они были словно заперты там, отгорожены от мира, в котором убивали, вешали, пытали, но он не испытывает угрызений совести, потому что уже больше десяти лет живет в мире, где убивают, вешают, пытаются, и еще потому, что эта девушка пришла к нему неожиданно.

И вот она говорит ему:

— Расскажи, как ты стал коммунистом!

Можно предположить, что Кэте мгновенно усвоила учение Хайнштока о принципиальной свободе природы. Ее природа тоже такова, что она никогда не согласилась бы стать чьей-либо собственностью.

Как-то позже, когда они уже вернулись к себе—она в дом Телена, он в свою хижину,—она сказала ему:

— А ведь я тебя и не люблю вовсе. Ты просто мне приятен.

Это было честно и потому ценно, но Хайншток предпочел бы еще раз в жизни быть любимым. На его долю выпадало лишь

скоротечное счастье, которое никогда не длилось долго.

Он часто ходил по ночам в Винтерспельт, чтобы разузнать у Арнольда Вайнанди, не разыскивают ли его или Кэте, но, даже убедившись, что опасности больше нет, затягивал их пребывание в пещере. Только в начале августа он покинул свое укрытие. Пошли дожди, стало холодно и сыро, Кэте, дрожа от озноба, сидела в спальном мешке.

## 2

Хайншток использовал пещеру, в частности, и для того, чтобы хранить там картину Шефольда; Кэте обнаружила пакет, спросила, что в нем, и, когда Хайншток ответил, умоляла показать ей, умоляла до тех пор, пока он не сдался и не разрешил вскрыть пакет, хотя Шефольд даже запечатал его сургучом и черной тушью написал: «Собственность Художественного института Штеделя, Франкфурт-на-Майне». Кэте извлекла картину из-под толстого слоя гофрированного картона и папирсной бумаги, стекло было в целости и сохранности, она понесла картину к выходу, чтобы получше рассмотреть; картина была в коричневой деревянной раме, с узким паспарту; покрытая красками поверхность была маленькая, не более двух или трех дециметров с каждой стороны, в левом углу — подпись, сделанная столь же изящным, сколь и решительным почерком: «Клее, 1930, Полифонически очерченная белизна».

Она вспомнила, что уже слышала имя этого художника, конечно же, из уст Лоренца Гидинга, но никогда не видела ни одной его картины. Она следила за движением тонов; хотя это движение было сосредоточено в горизонтально или вертикально расположенных прямоугольниках, оно каким-то образом блокировало белый прямоугольник в центре. Это движение от темных краев к светлой середине было действительно многоголосым, полифоничным, потому что художник сумел сделать тона акварельных красок взаимопроницаемыми. Прозрачность, текучесть света усиливалась к центру, пока не растворялась полностью в белом прямоугольнике, который, быть может, и был самым сильным источником света, а быть может, просто чем-то белым, ничем.

Кэте сразу поняла: это совершенно другой вид искусства, не тот, что знаком ей по рисункам Лоренца Гидинга, под взглядом которого предметы сгорали дотла; у этого художника Клее возникали совершенно новые, невиданные предметы.

— Чудесная картина,— сказала она Хайнштоку, смотревшему

через ее плечо. Он тоже видел картину впервые, пожал плечами, ничего не сказал.

Она тщательно упаковала ее снова—правда, печати были сломаны,—но потом, пока жила в пещере, еще дважды вынимала и смотрела. Она установила, что художник, используя шесть постепенно слабеющих цветовых тонов, направляет глаз зрителя в центр и оттуда снова к периферии, где сосредоточена наиболее сильная цветовая энергия. С помощью палочек, которые она сама нарезала—у нее не было рулетки, чтобы измерить,—она определила, что прямоугольники, их размер, распределение и расположение, были точно выверены, все они соотносились с центральным прямоугольником, варьировали его по математически-музыкальному принципу.

— Эта картина точна, как геометрическая фигура,—сказала она, но Хайншток и на эти слова никак не отреагировал.

Она заставила его рассказать историю Шефольда, ей хотелось с ним познакомиться, но Хайншток—по известным причинам—отказал ей в этом.

### 3

«Простое движение кажется нам банальным. Временной элемент необходимо исключить. Вчера и завтра совмещены. Полифония в музыке частично отвечает этой потребности. Квнтет в «Дон Жуане» нам ближе, чем эпическая тема движения в «Тристане». Моцарт и Бах современнее, чем музыка XIX века. Если бы в музыке временное могло быть преодолено проникающим в сознание движением вспять, то еще возможен был бы новый расцвет. Полифоническая живопись тем превосходит музыку, что время здесь выражается через пространство. И слияние времени проявляется еще богаче». (Из записок Пауля Клее о полифонии, 1917 г.)

### 4

— Если ты так хорошо знаешь здешние места, что даже показал ему дорогу,—заметила Кэте, когда Хайншток рассказал ей о жизни Шефольда между фронтами,—то почему мы не отправились к американцам, вместо того чтобы прятаться в пещере?

На этот вопрос Хайншток ответить не мог. Иногда он подумывал о том, что в случае реальной угрозы мог бы бежать к американцам, но всякий раз отвергал такое решение, поскольку

оно означало бы расставание с каменоломней. Ибо тогда—в то самое время, которое он считал решающим для себя и для каменоломни, то есть в первые месяцы после окончания войны,—он очутился бы в лагере для интернированных в Бельгии, может быть, даже во Франции, во всяком случае, где-то далеко. А для него главное заключалось в том, чтобы быть на месте, когда кончится война.

— Здесь мы в такой же безопасности,—сказал он.

Они сидели в пещере, и вход в нее казался в вечерних сумерках словно затянутым серой тканью.

Только позднее он вернулся к этой мысли, подумал о том, что американцы сразу же разлучили бы его с Кэте, отправили бы Кэте в женский лагерь, его—в мужской. Тогда они по-настоящему даже не узнали бы друг друга: наверно, у него осталось бы лишь смутное воспоминание о Кэте. Кэте же в тот вечер решила, что она уж как-нибудь выведает у Хайнштока тайный путь, по которому ходил Шефольд.

### ***Короткие заметки о связях Кэте***

Не сговариваясь, Динклаг и Кэте уже через сорок восемь часов перестали делать тайну из своих отношений. Динклаг незначем было играть в прятки: как-никак он был майором, командиром батальона, комендантом гарнизона, кавалером Рыцарского креста. А Кэте вообще все было безразлично: ведь она скоро так или иначе уйдет из Винтерспельта. Уже начиная со среды, они открыто разговаривали на улице, вместе совершали прогулки, встречались часто, насколько позволяла Динклаг служба, а Кэте—работа по хозяйству. Эти встречи у всех на виду побудили Кэте уже (или наконец) в четверг вечером избавиться от угрызений совести перед Хайнштоком: нельзя было допустить, чтобы ее опередил кто-нибудь из деревни.

У Динклаг была еще одна, совершенно особая, причина, объяснявшая, почему он не делал тайны из их отношений. Он сказал себе, что их связь превратится в чисто постельную, если Кэте всегда будет приходить к нему только поздно ночью. Этого он не хотел. (А она приходила к нему каждую ночь, во всяком случае, вплоть до пятницы.)

В разговоре с Хайнштоком она поняла силу своего чувства к Динклаг. Свобода, которой она хотела располагать («Разве одни отношения должны оборваться потому, что возникли другие?»),

оказалась нереальной, хотя Динклагге и выдал ей лицензию («Поступай, как знаешь!»). Существовали одни отношения, которые исключали другие отношения.

Кроме того, Хайншток, конечно же, не воспользовался бы этой возможностью.

— Боже мой, Кэте!

В его возгласе она почувствовала не только боль и отчаяние, но и быстрое примирение с чем-то неизбежным. Угасание света.

Он был не такой человек, чтобы делить ее с кем-то.

Он был надежный человек, его седеющие волосы отливали сталью. Она понимала, что было бы правильнее удовлетвориться им одним—на то короткое время, что она еще здесь. Не стоило начинать все это с Динклагге. Надо было держать себя в руках.

Она скрывала свое нетерпение—скорее уйти, вернуться в Винтерспельт, в дом, где ее ждал Динклагге.

Сначала они говорили о птице, которой Кэте боялась. Хайншток рассказывал ей, как живут сычи. Они летают в сумерках и в темноте по старым лесам, убивают полевых мышей, сгоняют маленьких птиц с ветвей, где те спят, проглатывают свою добычу вместе с шерстью или перьями, потом выплевывают клубки перьев и пуха.

— В зимние ночи можно услышать их любовные призывы,—говорил Хайншток.—Здесь в лесах много сычей.

— Я их уже не раз слышала,—ответила она.—В Берлине тоже масса сычей.

Она вспомнила, как прошлой зимой кричали по ночам сычи в садах Ланквица: низкое «ху-ху-ху», за которым следовало более высокое по тону, раскатистое, тремолирующее «у-у-у». Она и не подозревала, что это их любовные призывы.

— Зимой,—добавила она,—меня здесь и в помине не будет.

Он промолчал.

Уже позднее—когда они заговорили о мерах, принятых майором Динклагге,—он сказал:

— Сегодня у меня впервые появилось сомнение в том, что все было бы уже позади, если бы я жил в Бляйальфе.

Весь день он слушал с высоты над каменоломней тишину, всматривался в неподвижность—следствие мер, осуществленных майором Динклагге.

К чувству, которое испытывает Кэте—как по отношению к Хайнштоку, так и по отношению к Динклагге,—с самого же



начала примешивается критика. Она никогда не была влюблена «без памяти». Что касается Динклагге, то к нему она относится даже более критично, чем к Хайнштоку. Хайнштоку она могла сказать: «Я тебя и не люблю вовсе, ты мне просто приятен»; в отношении же Динклагге слово «приятен», как можно предположить, вообще неуместно: его она просто любила. Она была в состоянии наблюдать за собой и снова и снова обнаруживала, что ее критика неизменно превращается в желание быть с ним.

И тогда она была неприятна сама себе. Вообще она отличалась способностью к самокритике. Она всегда старалась помнить, что сама не лучше тех, кого критикует.

Но бывали моменты, когда Динклагге был ей очень приятен.

В один из дней следующей недели, когда план уже начал обретать конкретные очертания, он рассказал ей, как воспрепятствовал эвакуации Винтерспельта. Он не сказал — почему. Почему, собственно, он не сказал? Она бы обрадовалась.

— Тогда же я предложил полковнику Хофману, — сказал он потом, — взорвать виадук у Хеммереса. Мой план уже вполне созрел, и я знал, что этот виадук очень облегчит его осуществление, и все же я предложил взрывать. Можешь ты мне это объяснить?

Конечно, он вовсе не ждал, что она ему это объяснит, и Кэте промолчала, понимая, что операция может в последний момент очутиться под угрозой, если она скажет: «Это доказывает, что твой план для тебя — абстракция, навязчивая идея, нечто такое, чего ты на самом деле вовсе не хочешь».

Но он был ей очень мил, когда задавал себе такие вопросы.

Или когда произносил такие монологи:

— Я никогда не посылал карательных отрядов, никогда не участвовал в акциях против населения. Вот главная причина, почему я всегда отказывался воевать в России.

И он с удовлетворением похлопывал себя по правому бедру.

— Но, господи, — сказал он как-то, — до чего же бессмысленные вещи приходилось мне иногда делать. Я выполнял приказы — начать наступление или удерживать позицию, — которые с военной точки зрения были совершенно идиотскими, которые все, вплоть до командования дивизии, единодушно считали нелепыми во всех отношениях. Я видел сотни, нет — тысячи людей, мертвых и раненых, они погибли или оказались ранеными только потому, что какое-то дерьмо за письменным столом в штабе армии считало себя полководцем. Но я подчинялся, всегда.

Я никогда еще не позволил себе не выполнить приказа,— повторил он.

«Если удастся осуществить его план,—подумала Кэте,—это искупит его вину в том, что он выполнял все приказы».

Динклагге, этому человеку, пекущемуся об этике, раздираемому противоречиями, незачем было беспокоиться, что его отношения с Кэте ограничатся постелью. Ибо именно эта сторона их отношений, к его глубочайшему разочарованию, перестала существовать уже в ночь с пятницы на субботу, то есть с 6 на 7 октября.

Во всяком случае, этой ночью Кэте спала с ним в последний раз, притом уже не была поглощена им в той мере, как прежде. Замысел, который он раскрыл ей в канцелярии, в комнате с табличкой «Командир» на двери, еще до того, как они поднялись в его спальню, отвлек ее от всего остального.

Надо только представить себе эту сцену! Она нашла его склонившимся над картами, при тусклом свете висящей под потолком лампы, и он, очень естественно, без всяких вступлений — как шесть дней назад, когда она вошла с лампой в руках в канцелярию и он сказал: «Это спасет мне вечера», — заговорил о своем плане. Несколько раз, когда боль в бедре становилась невыносимой, он выпрямлялся, а потом при свете фонарика снова буквально впивался в карту. Кэте, стоявшая рядом, не следила за лучом света, она только делала вид, что ее интересует расположение хутора Хеммерес и кончающегося возле него виадука, над которым кружил кончик карандаша Динклагге; она прислушивалась к звуку его голоса, к интонации, с какой произносят математические формулы, ждала, когда в его речи появится возбуждение, взволнованность, пусть даже элемент авантюризма, ибо именно этого следовало ожидать от офицера, которому всего лишь 34 года и который задумывает неожиданную и смелую военную операцию. Но это возбуждение, взволнованность, авантюризм так и не появились.

Зато сама она пришла в крайнее волнение. Если план удастся осуществить, это будет великолепно. Ей хотелось схватить Динклагге за плечи и потрясти, чтобы заставить его сделать какой-то жест.

Легкость, с какой она сообщила ему, что знает кое-кого, кто мог бы связаться с американцами, почти небрежная интонация, с какой она произнесла: «О, если все дело в этом!», избавляя тем самым Динклагге от главной трудности, были абсолютно наигранными.

В действительности же она поняла, во что ее втягивали, и испугалась. Динклагге не противился тому, что она превращала его абстрактные размышления в конкретные, но, едва включившись в этот процесс, едва назвав ему (впервые) фамилию «Хайншток», едва заговорив о своем знакомстве с Хайнштоком (о подлинном характере их отношений она сообщила лишь на следующую ночь), Кэте уже обнаружила в себе следы раздумий о возможной ценности абстракций; пока, впрочем, это были лишь смутные, ускользающие мысли, нерасшифрованная морзянка сомнения.

Да уж, ввязалась она в историю! И, спросив себя мысленно, что же это за история, не нашла ответа; зато в памяти вдруг всплыло выражение, которое она часто слышала в Берлине: «Вот это номер!»

Просто подумала: «Вот это номер, а?»

Она и сама не могла бы ответить на вопрос, когда у нее созрело решение, что больше она не будет спать с Динклагге,—этой ли ночью, когда она уже не могла заставить себя думать только о ласках, а взволнованно размышляла о том, что надо предпринять сразу после рассвета, или во время разговора с Динклагге на следующий день, когда она была разочарована, неприятно поражена, полна дурных предчувствий из-за того, что Динклагге настаивал на своем требовании: Шефольд должен прийти через линию фронта, изобразив это условие как дело чести.

Вполне возможно, что, когда началась операция—а началась она, когда Динклагге раскрыл ей свой план,—Кэте, сама того не сознавая, стала вести себя как боксер, который перед боем предается воздержанию. Хотя почему, собственно, «сама того не сознавая»? Она, скорее всего, совершенно четко сознавала, что план, подобный этому, повелевает им обоим не расслабляться.

Впрочем, правильнее предположить, что именно во время того разговора 7 октября, именно тогда, в их отношениях возникла трещина. Изложенный Динклагге кодекс чести, его рассуждения о «структуре» привели к тому, что в чувствах Кэте произошло своеобразное перемещение центра тяжести: от любви к антипатии. И антипатия перевесила.

Его план взволновал Кэте, но ей хотелось вытряхнуть из него холодную абстрактность, с какой он о нем говорил, и она нашла для этого удобную форму, избавив оперативные схемы от той необязательности, которая была им свойственна, пока они оставались лишь игрой ума. Но на следующий день, сидя напротив Динклагге у его письменного стола и слушая, как он формулирует

свое условие, она обхватила запястье руки пальцами другой и застыла в этой позе, столь привычной для нее, когда она с чем-то была абсолютно несогласна, когда ей что-то очень и очень не нравилось.

Все остальные формы общения они сохранили. Они прогуливались вместе, сидели по вечерам в канцелярии, обнимались и целовались. Кэте проводила с Динклагге почти все свободное время, совсем забросила Хайнштока, забежала только на минутку в каменоломню, собственно, лишь для того, чтобы узнать новости, услышать, как разворачиваются события у Шефольда и американцев. Она пользовалась «почтовым ящиком».

В ее отношении к Динклагге появилась не то что натянутость, а какая-то неясность. Она не могла понять, чувствовал ли он себя уязвленным.

Как-то он рассказал ей о своем юношеском романе с той самой крестьянкой из графства Бентхайм, которая была хоть и молода, но все же на пять лет старше его.

— Элиза,— сразу же сказала она.— Элиза Телен— вот кто был бы для тебя подходящей женой.

И она рассказала ему о красоте Элизы, ее изяществе, ее спокойной уверенности в себе, выражавшейся в гордой линии ее шеи.

Посмотрев на нее, он сказал:

— А вот теперь ты говоришь пошлости, Кэте.

В его пользу говорили некоторые, брошенные мимоходом, фразы, вроде той, что он неохотно употреблял бы слова «моя жена», будь он женат. Она пересказала эту фразу Хайнштоку в надежде, что он по крайней мере поймет, что ее отношения с Динклагге совсем не такие простые, как он себе представляет, и была разочарована, когда Хайншток в ответ дал ей понять, что считает это замечание Динклагге просто ловким трюком.

Наибольшее впечатление на нее произвело, конечно, то, что Динклагге продолжал относиться к ней так, будто ничего не произошло. Прогулки, долгие беседы по вечерам, объятия, поцелуи. Какой мужчина это выдержит? Ей и самой было очень нелегко держать себя в руках.

Во всяком случае, утром 12 октября, когда Кэте приехала на велосипеде, чтобы сообщить, что Шефольд перешел линию

фронта и находится в Винтерспельте, у Хайнштока не было ни малейших оснований предполагать, что она появилась прямо из постели Динклагге.

С другой стороны, Хайншток не был настолько твердолоб, чтобы с четверга 5 октября (то есть со дня, когда Кэте сообщила ему, что полюбила офицера фашистской армии) до следующего четверга, 12 октября, то есть вплоть до того решающего дня, сохранять уверенность в том, что Кэте перешла в лагерь врага.

### **«За» и «против»**

По-видимому, уже в субботу 7 октября, когда ранним утром Кэте неожиданно появилась у него с невероятным сообщением о планах майора, его собственный тезис о «враге» перестал казаться ему абсолютно убедительным.

Его сомнения совпали с сомнениями Динклагге, в чем-то даже их дополняли.

— Как этот господин намеревается собрать всю свою ораву в одном пункте? — спросил он. — Батальон — это четыре роты, около тысячи двухсот человек, и они занимают участок фронта, протянувшийся от линии южнее Винтерспельта и до мест, находящихся севернее Вальмерата и Эльхерата. Те, кто свободен от дежурства, дрыхнут по квартирам, остальные — на постах. Под каким предлогом он отзовет солдат из окопов — оставит линию обороны без охраны? В таком большом подразделении среди младших офицеров есть определенный процент фашистов, и им покажется в высшей мере странным, что батальон в главной полосе обороны строится на вечернюю поверку без оружия. Конечно, я вовсе не склонен недооценивать дух слепого повиновения, но, как ни странно, стоит им учуять что-то неладное, что-то направленное против порядка, против фюрера и рейха, в них сразу появляется настороженность. Тут у них какое-то шестое чувство просыпается, и они отказываются повиноваться, чего в обычных случаях никогда не делают. Достаточно, чтобы одному фельдфебелю все показалось подозрительным, и тот сразу доложит в полк, как только командир на минутку отвернется. Уж хотя бы своего фельдфебеля он должен ввести в курс дела часа за два до ночной тревоги, иначе тот забастует, а тут все усилие командира батальона кончается; фельдфебель, даже если ничего плохого не заподозрит, потихоньку намекнет командирам рот,

стараясь, чтобы учение прошло лучше; а если заподозрит, то, как я уже сказал, доложит в полк, это я знаю.

На какое-то мгновение Хайншток погрузился в воспоминания о том, с каким чудовищным скрипом и скрежетом вращался заржавевший механизм ушедшей в небытие императорско-королевской<sup>1</sup> армии. Впрочем, функционирующий аппарат так называемой современной армии издает такие же отвратительные звуки. «Армии никогда не меняются»,— подумал Хайншток.

— Как-нибудь все это уладится,—сказал майор, когда Кэте рассказала ему, чего опасается Хайншток.—Во-первых, Каммерер не станет устраивать такие номера. Во-вторых, господин Хайншток упускает из виду, что я кавалер Рыцарского креста, либо он просто не знает, что это значит. Любой из командиров рот безоговорочно подчинится мне, если я распоряжусь арестовать Каммерера или кого угодно за невыполнение приказа.

— Хайншток считает,—возразила Кэте,—что Каммерер или еще кто-нибудь вполне может тайно связаться с твоим начальством.

— В этом случае полковник Хофман или начальник разведки прежде всего позвонят мне,—сказал Динклаг.—Я отвечу, что тот, кто их проинформировал, чего-то недопонял. Таким образом, я узнаю, кто мне путает все карты. Я согласен с господином Хайнштоком,—добавил он,—в том, что касается сбора батальона в одном пункте. Это действительно практически трудно осуществить. И самая большая трудность будет заключаться в том, чтобы привести в этот пункт американцев и чтобы они, приближаясь к этому пункту, вели себя правильно. Все зависит от того, насколько точно они будут следовать моим инструкциям и сумеют ли правильно прочесть схему местности, которую я им передам.

Кэте обратила внимание, что он не сказал: «которую я им передам через тебя», или: «через Хайнштока», или: «через Шефольда». (Впрочем, он наверняка сказал бы: «через господина Хайнштока» или: «через господина доктора Шефольда».) Может быть, он, сам того не замечая, не хотел признаваться себе в том, что его план осуществляют другие люди?

Он перестал обсуждать с Кэте военные детали операции. У нее создалось впечатление, что ему неприятно, когда она затрагивает подобные темы; во всяком случае, он быстро оборвал

---

<sup>1</sup> Имеется в виду армия Австро-Венгрии.

разговор, когда она решила предупредить его, чтобы он даже намеком не дал знать Каммереру о своем плане, ибо готовность последнего к повиновению сразу же окажется исчерпанной. Совершенно очевидно, что для него было непривычно получать тактические рекомендации от женщины. При этом у него каждый раз появлялась эта покровительственная интонация, это «ну-ну».

Дважды за время их отношений Кэте недвусмысленно дала ему понять, что не потерпит этой интонации.

А в один прекрасный день она спросила его абсолютно серьезно:

— Неужели твои брюки должны быть всегда так идеально отглажены?

Сперва он был крайне удивлен, потом засмеялся и ответил с той же иронической покорностью, какую уже однажды пустил в ход, разговаривая с полковником Хофманом:

— Я исправлюсь, фройляйн Ленк!

Проанализировав ситуацию с военной точки зрения, Хайншток изложил свои сомнения: ведь у Динклагге практически нет поддержки среди солдат и офицеров, нет опоры в массах и т. д.

— Все можно было бы сделать,—сказал он,—если бы этот человек (в виде исключения на сей раз он не сказал: «этот господин») мог опираться на сеть доверенных лиц или по крайней мере на действующую партийную ячейку в каждой роте. А так...

Он сделал рукой движение, которое должно было выражать безнадежность. Кроме того, признался себе Хайншток, он и сам совершил логическую ошибку. Ведь Динклагге мог бы опираться на доверенных людей, на партийные ячейки только в том случае, если бы обладал четким политическим сознанием, если бы был не просто господином, не просто человеком, а товарищем, коммунистом. Смешно даже предположить такое! А так—это всего-навсего бессмысленная акция одиночки.

— Здесь нет главного, основ,—сказал Венцель Хайншток Кэте Ленк.—А ты требуешь от меня, чтобы я поддержал это безумие.

В голове Кэте все больше зрела высокомерная мысль, что этот план стал исключительно ее делом.

Она вытащила Динклагге из сферы упражнений в области оперативного искусства, но, когда ей удалось превратить его

теорию в практику, он выдвинул это невероятное требование — чтобы Шефольд пришел через линию фронта.

Хайншток же, который, по существу, сначала отказывался от участия в этом деле, а потом, не переставая колебаться и не желая слишком рисковать, все же согласился в нем участвовать, упорно оставался где-то на заднем плане. А почему? Только потому, что нарушались правила борьбы против фашистских диктатур, разработанные его партией. Для Хайнштока Динклагге был всего лишь одиночкой, любителем, не придерживавшимся правил революционной борьбы. Кэте с неприязнью вспомнила о том, как в манерах, во всем поведении Хайнштока вдруг появилась такая удовлетворенность специалиста-конспиратора, когда он решил ограничиться ролью «почтового ящика».

«При этом он и как специалист абсолютно неправ,— подумала Кэте.— Было бы гораздо проще, целесообразнее и безопаснее, если бы к американцам отправилась я».

Обдумав все, она пришла к выводу, что Динклагге и Хайншток только тормозят осуществление операции.

Американец Кимброу и Шефольд, прогуливавшийся между фронтами, действовали решительно, без оглядки, не шли на попятный даже несмотря на то, что Динклагге вдруг загадочным образом потребовал контактов через курьера, притом потребовал тогда, когда еще никто не знал, что, собственно, надо обсуждать. С ведома Кимброу Шефольд перешел линию фронта, хотя еще ничего не было подготовлено и уже было ясно, что американская армия не проявляет ни малейшего желания взять в плен Динклагге и его батальон.

С немецкой стороны только она одна последовательно, решительно, непреклонно стремилась к осуществлению этого плана.

Но, думая о Шефольде, она мысленно уточняла: слишком последовательно, слишком решительно, слишком непреклонно.

Ей, правда, удавалось сдержаться, хотя порой и очень хотелось обрушиться с упреками на Динклагге или Хайнштока. Всякий раз, собираясь высказать им свое мнение, она вовремя вспоминала о собственном непреодолимом желании использовать ночь операции, чтобы бежать — по той дороге, которой пользовался Шефольд и которую она еще выведает у Хайнштока. Это ее право — осуществить свой план, когда операция будет в самом разгаре, и ей придется лишь ждать, удастся она или провалится. И все же Кэте не могла избавиться от чувства, что, выходя из игры именно в этот момент и следуя своей страсти к перемене



мест, она руководствуется соображениями личными и эгоистическими. Она казалась самой себе коварной; ее намерение в день «икс» (или в ночь «икс») выйти из игры ничем не отличалось от осторожности Хайнштока или от кодекса чести Динклагге.

В день, последовавший за тем роковым разговором 7 октября, Кэте сказала Динклагге:

— Я поняла наконец, где ошибка в твоих вчерашних рассуждениях. Ты сказал: «Я рискую всем. И потому я должен потребовать, чтобы и американцы пошли на какой-то риск». Ведь ты это сказал, не так ли?

Динклагге ответил утвердительно.

— А именно это как раз и неправильно,— сказала Кэте.— Ты ничего не должен ждать от американцев, ничего не должен от них требовать.

Она сразу же поняла, что в своем азарте действовала неумело. Она сформулировала свою мысль слишком прямолинейно. Ее слова должны были показаться ему невыносимо назидательными. Даже ей самой они показались такими. Вечно будет в ней сидеть эта проклятая учительница.

Испытывая страх, она все же надеялась, что он уступит. Вся закулисная сторона его плана изменилась бы, если бы он уступил и отказался от своего требования, чтобы Шефольд пришел через линию фронта.

Но переубедить его не удалось. Или, может быть, решение затребовать к себе Шефольда, когда время для этого еще не настало, должно было доказать ей, что он уже ничего не ждет от американцев?

Гипотеза относительно мотивов поведения майора Динклагге в период, предшествовавший принятию решения (мотивов, которые, возможно, не были ясны ему самому):

Когда полковник Хофман запросил его о целесообразности эвакуации гражданского населения из Винтерспельта, Динклагге, как известно, думал лишь о том, что это разлучит его с Кэте Ленк. Отсюда можно сделать вывод, что и все его поведение при осуществлении плана определялось лишь мыслью о том, что он может потерять Кэте, притом потерять как в случае благополучного, так и неблагоприятного исхода. В первом случае он оказался бы в плену у американцев, во втором—предстал бы перед военным трибуналом и был бы расстрелян.

Но если эвакуация Винтерспельта—к радости винтерспельтских крестьян—он предотвратил, то от своей операции не собирался отказываться.

Он сам создавал препятствия для ее осуществления, вставлял палки в колеса, как мысленно выражалась Кэте. Может быть, он затеял историю с Шефольдом (то, что Хайншток презрительно назвал «кодексом чести») лишь с одной целью — заставить Кэте примириться с тем, что план так и останется планом. Он надеялся, что в этом случае сумеет ее сохранить. Но все это он представлял себе не так уж ясно, да, в общем, тут и на самом деле нет никакой ясности.

Позднее, когда план уже начал осуществляться, он не мог, не хотел, не имел права не верить в успех. Он рассчитывал, что при благоприятном исходе он, пробыв год-два в плену, вернется к Кэте, которая будет его ждать.

Принимая во внимание особенности характера Кэте, вряд ли можно было рассчитывать на это с большой уверенностью.

### ***Слово чести по-американски, или Интернационал офицеров***

Кэте молчала, когда Динклагге решил объяснить ей, почему он намеревался взорвать железнодорожный виадук под Хеммересом. Она не хотела в последний момент ставить под угрозу операцию, демонстрируя свою принципиальность. Но она без малейших колебаний высказала ему все, когда поняла, что именно кажется ей сомнительным в его точке зрения, согласно которой американцы тоже обязаны чем-то рисковать. У американцев не было никаких обязательств — если он этого не понимал, значит, весь его план основан на совершенно неверных посылах.

Позднее она не избавила его и от необходимости выслушать последний аргумент, с помощью которого командир полка, где служил Кимброу, хотел объяснить, почему он считал почти решенным делом, что высшие американские штабы вообще не пойдут на предложение Динклагге.

Шефольд о Кимброу, во время своего последнего визита к Хайнштоку (во вторник 10 октября в 14 часов):

— Никогда еще не видел его в таком плохом настроении, как сегодня утром в Маспельте. Сначала он напустился на меня: чего, мол, я опять хочу, ничего еще не известно. Потом извинился, начал объяснять мне всякие сугубо военные вещи, чтобы я понял, почему ничего еще не решено. Вы будете недовольны мной, господин Хайншток, но того, что касается военной специфики, я не запомнил. Я обратил внимание только

на одно, а именно, что его полковник сказал напоследок: «Кроме того, мы вообще не желаем иметь дело с предателем». Если бы Кимброу не был так раздражен, добавил Шефольд, он наверняка умолчал бы об этом.

Не позже чем через час Хайншток передал Кэте это высказывание полковника Р.

Если Хайншток радуется чему-то—так было, например, в отеле «Кайзерхоф», когда он благодарил Маттиаса Аримонда,—голубизна его глаз становится еще светлее, чем обычно. Но едва Кэте, вернувшись к нему после обеда, сообщила, что передала Динклагге слова полковника Р. о «предателе», фарфоровая голубизна тут же исчезла, от испуга зрачки расширились и глаза стали совсем темными.

Он с ужасом посмотрел на Кэте.

— Черт побери, Кэте,—проговорил он,—это незачем было ему говорить.

— Я обязательно должна была сказать,—возразила она, ни капли не смутившись прозвучавшей в голосе Хайнштока неприязнью.—Я показалась бы сама себе обманщицей, если бы не сказала ему об этом. В конце концов, он имеет право знать *все*.

«Проклятье, проклятье, проклятье,—думал Хайншток.—Какое право имеет женщина подвергать мужчину таким испытаниям?» Впервые он почувствовал сострадание к человеку, который отбил у него Кэте.

— Как он отреагировал?—спросил Хайншток.

— Не знаю,—ответила Кэте.—Он ничего не сказал.—И добавила:—Он великолепно владеет собой.

— Но этим ты поставила под угрозу всю операцию,—сказал Хайншток.

— Ты же был бы этому только рад,—насмешливо возразила Кэте.—Ты же никогда в нее не верил и до сих пор считаешь все это бессмысленной затеей. Он просит тебя,—добавила она,—передать Шефольду, что ждет его послезавтра в двенадцать часов в штабе батальона. Вот,—она протянула ему листок бумаги.—Он нарисовал путь, по которому должен идти Шефольд. Конечно, через линию фронта. Без этого он ничего делать не будет.

Она смотрела, как Хайншток сразу же углубился в изучение эскиза Динклагге.

— Я перенесу это для Шефольда на карту,—сказал он.

Очевидно, ему даже в голову не пришло скомкать этот листок бумаги и швырнуть в огонь, горевший в маленькой железной печке в его хижине.

Теперь о Динклагге. И на другой день майор Йозеф Динклагге, командир батальона, кавалер Рыцарского креста и предатель, не отказался от своего плана.

### ***Из сокровищ Альбериха***

Хайншток смотрел вслед Кэте, которая отправилась на велосипеде обратно в Винтерспельт, чтобы не упустить момент, когда Шефольд выйдет из дома с нелепым названием «Командный пункт батальона». Волосы ее развевались, и колеса велосипеда, поблескивая, оставляли за собой белое облачко пыли, так как погода в первые дни октября стояла сухая и прекрасная.

Ближе к вечеру Хайншток собирался пойти в Винтерспельт, чтобы узнать у Кэте, когда ушел Шефольд и чем кончилась его встреча с Динклагге. А пока он вернулся в свою хижину и приготовил себе поесть. Он следил за тем, чтобы не спугнуть сыча, рассчитывал все свои движения — пусть сычу кажется, что его не видят. У Хайнштока эта пугливость птицы вызвала полное сочувствие, ибо то, к чему она так стремилась, было и его главным желанием: наблюдать, оставаясь незаметным. Он сожалел, что человеческий разум, который изобрел столько диковиных вещей, не сумел изобрести одного: шапки-невидимки.

## СОБЫТИЯ В БАТАЛЬОННОЙ КАНЦЕЛЯРИИ

Приближаясь к Винтерспельту в сопровождении Райделя, Шефольд искал глазами гребень холма, который с северной стороны обрывался к каменоломне Хайнштока, но ему не удалось его обнаружить, хотя с дороги у амбара, где раньше располагалась полевая кухня (того самого подразделения 18-й мотодивизии), он легко мог бы его увидеть. Отсюда, с юга, гора, где находилась каменоломня, казалась всего лишь пустынным склоном, по-осеннему рыжеватой, неяркой шкурой, натянутой над лугами, над жнивьем и в лесных прогалинах. Сейчас, в присутствии Райделя, Шефольд почувствовал бы себя спокойнее, если бы ему удалось обнаружить точку, откуда за ним, возможно, наблюдали, где заботились о его безопасности.

Но и Хайншток, к сожалению, не подумал посмотреть в бинокль, что происходит на коротком отрезке пути вблизи Винтерспельта; убедившись в том, что он знал и раньше, а именно: что между тем пунктом, где находится он сам, и местом, где Шефольд должен перейти линию фронта, высится багровая стена Эльхератского леса, он сдался, перестал наблюдать. Мысли его были сосредоточены именно на этой точке, единственной, по его мнению, где Шефольду угрожала опасность.

О прибытии Шефольда в Винтерспельт его ведь известит Кэте.

Ну, это уж слишком: тип, которого он захватил, останавливается и, сунув руки в карманы, преспокойно разглядывает ме-

стность — явно шпионит. Райдель торопился. Новобранцы, наверно, уже вернулись, а с ними унтер-офицеры и командиры взводов; во всяком случае, пока этот тип здесь валандается, возрастает опасность встретить кого-нибудь, кто, обалдев от удивления, потребует у него ответа: «Где вас носит, Райдель? Я полагаю, ваше место на посту!» — при этом голос у него будет масляный, как у всех этих паршивых чинов, которым в первый раз дали погоны с канителью, — они и начинают крутиться перед зеркалом, любуясь собой.

О том, чтобы пнуть под зад этого олуха, который ведет себя более чем подозрительно, и думать теперь нечего. Пока толком ничего не определилось, надо быть вежливым. Конечно, без этих гостиничных ужимок — хватит того, что он сказал ему: «Все в порядке», когда возвращал письмо, да еще с такой готовностью, словно портье, проверивший удостоверение постояльца, — кстати, письмо, которое предъявил этот тип, ничего не доказывает, подумал Райдель; достаточно, если он не будет говорить этому субъекту «ты», не будет обзывать его «задницей». Своим высоким резким голосом он прикрикнул на Шефольда:

— А ну поживей! Не то опоздаем.

Неслышно вздохнув, вынув руки из карманов, поправив правой рукой плащ, висевший на плече — зря он его взял при такой погоде, хотя, с другой стороны, без плаща он выглядел бы как-то небрежно, нельзя же просто так, в одном пиджаке, появиться перед майором Динклагем, — Шефольд стал размышлять о том, что вот он наконец входит в деревню Винтерспельт. Он не бывал здесь. Он знал Айгельшайд, Хабшайд и еще несколько деревень, расположенных за главной полосой обороны. Деревня Винтерспельт вытянулась вдоль дороги, только вниз, в лощине, куда некруто спускалась дорога, она разрасталась вширь. На первый взгляд Винтерспельт показался ему больше, богаче, чем те захолустные деревеньки, по которым он бродил, к неудовольствию Хайнштока. Богаче, но не красивее. Некоторые дворы были огромны, но это не придавало им ни внушительности, ни великолепия, а делало просто неуклюжими. Красивыми здесь были лишь несколько домов, сложенных из бутового камня; Шефольд полагал, что им лет двести, а может, и триста. Время от времени показывались и снова исчезали из виду — Райдель ускорил шаг — старые одноэтажные постройки. И снова, как всегда во время прогулок, Шефольд сказал себе, что ландшафт Эйфеля прекрасен, он воскрешал в памяти Алберта ван Ауватера или Писсарро, но поселки в Эйфеле не были красивы или хотя

бы милы, живописны. Они казались бесформенными, холодными. Не желая быть несправедливым по отношению к Винтерспельту, он стал рассматривать колокольню, расположенную на окраине деревни; башня, построенная в XIX веке, выглядела совсем безликой, но под ней находилась, как Шефольд знал, позднеготическая церковь, и, если судить по описанию, которое он читал, внутри она обещала быть интересной. Какими бы неудобными ни казались эти деревни, все они — довольно старые; самую старую церковь в Винтерспельте святил трирский архиепископ где-то в начале XI века. Более поздняя, позднеготическая, спряталась среди домов. Может быть, случится так, что ему удастся осмотреть ее — после разговора с майором, но, подумав об этом, Шефольд тут же покачал головой: после разговора нельзя будет терять время. Наверняка в ходе беседы он услышит нечто такое, о чем надо будет незамедлительно уведомить Кимброу.

Как узнает обо всем Хайншток? Это уже не его, Шефольда, дело. Известить его сумеет та неизвестная дама, которая пользуется доверием и Хайнштока, и майора.

До чего же, однако, пустынно, безжизненны здешние места! Где, черт побери, крестьяне, солдаты, обитатели этой большой деревни? Время от времени появлялись люди в мундирах — то у ворот какой-нибудь усадьбы, то в тени двора; из лавки, единственной, которую он увидел, вышла женщина и скрылась в боковой улочке.

Для Райделя, разбиравшегося в военной обстановке, Винтерспельт не был ни пустынным, ни безжизненным. Он знал и видел, что они проходят мимо санитарной части, вещевого склада, склада оружия и боеприпасов, полевой кухни, домов, где расквартированы отделения. От его натренированного и зоркого глаза не укрылось ничего — ни ходячие больные, игравшие в карты в саду возле медпункта, ни оба кладовщика, считавшие одеяла, ни солдаты, чистившие картофель во дворе у сарая, где скрыта полевая кухня. Он знал, что и они заметили его, хотя их глаза не были такими натренированными и зоркими; уйти в двенадцать часов дня с линии фронта и привести с собой штатского, да еще такого приметного типа, — это событие. Шушеры из откомандированных в роту снабжения ему опасаться нечего — они даже не окликнули его, чтобы спросить, а только молча глазекуют; на это ему плевать с высокого дерева, и все же он мысленно заготавливал ответ — вдруг кто-нибудь из тех, кто был ночью в наряде и сейчас не спит, начнет задавать дурацкие вопросы. Есть ведь такие — простоят полночи на посту и все

равно спать не могут, бродят днем по деревне, как привидения. И когда они спят? Впрочем, скорее всего, они не рискнут приставать к нему с расспросами. «Ты распространяешь ужас вокруг себя». Это были привидения, дрожащие от страха.

Из взводов новобранцев нигде никого не слышно и не видно, хотя занятия должны были кончиться в двенадцать. Видно, инструктора опять взялись за дело всерьез, наверно, хотят по ордену заработать. Райдель представил себе бледное, потное лицо Борека.

Какая сонливость, летаргия, по сравнению с суетой в Маспельте, где все время то выстраивались, то расходились группы солдат, колоннами по одному отправлялись на позиции или возвращались с позиций, чистили оружие под открытым небом, возле своих квартир, среди бела дня уезжали на джипах в Сен-Вит, когда были свободны от дежурства; там кипела жизнь — совсем другая, на американский лад; эти долговязые парни двигались не спеша, беспечно, не заботясь о выправке, скорее стараясь казаться равнодушными; они носили форму из какой-то мягкой ткани — не штатскую, о нет, — и battle-jacket<sup>1</sup>, и легкие ботинки на толстой резиновой подошве не были штатскими, а составляли военное обмундирование, которое не должно больше напоминать о закованном в броню солдате, чеканящем шаг по чужим странам, а должно лишь вызывать смутную тревогу у окружающих и придавать динамизм тем, кто в него облачен, и сейчас этим динамизмом был заполнен Маспельт, наводненный оливковым цветом и цветом хаки. Музыкальным оформлением служили тяжелые, модулирующие глоттализированные и нёбные звуки, создаваемые оттянутым к нёбу языком, — этот удобный выговор, рожденный созерцанием Миссисипи.

Поразительно, что они не считают нужным маскироваться! Если они и задирают голову, то лишь затем, чтобы посмотреть вслед собственным самолетам, летящим в небе — высоко, далеко, со стальной неудержимостью. Эти новички из Монтаны вообще не могут представить себе войны, ведущейся с воздуха. Что, пожалуй, легкомысленно, подумал Шефольд, вспомнив, как пессимистически оценивал положение майор Уилер.

Хайншток сказал ему, что майор Динклаге — мастер маскировки. Вид Винтерспельта подтверждал это. Но здесь было еще что-то, выходившее далеко за пределы маскировки, игры в прятки, маскарада, жизни в катакомбах. Нечто, напоминающее

---

<sup>1</sup> Походная куртка (англ.).



сон и сновидения. Нечто, быть может, похожее на смерть. Здесь, в Винтерспельте, на деревенской улице, майору Динклагге удалось создать впечатление не столько безлюдья, сколько вымирания.

Американцы, заполнившие своим динамизмом Маспельт, в один прекрасный день оставят, как водится, эту бельгийскую деревню, в которой крестьяне говорят по-немецки; в сущности, это и не бельгийская, и не немецкая деревня, а просто деревня на границе, средоточие грязи, контрабанды и католицизма. Тем не менее очень красивая маленькая деревушка, гораздо меньше и красивее, чем Винтерспельт, немногочисленные, чисто выбеленные дома среди высоких дубов и вязов, под прикрытием поросших ивняком холмов, через которые пехотинцы Кимброу цепью, словно птичьи выводки, маршировали на свои позиции, расположенные по склонам Ура.

Мимо двух котят, игравших на крыльце дома, он пройти не мог. Шерсть их поблескивала на октябрьском солнце, у одного переливчатая, в черно-серую полоску, у другого, той же окраски, по спине проходила еще светло-рыжая полоса. «Трехцветная — скорее всего, самка», — подумал Шефольд, неплохо разбиравшийся в кошках. Котята гонялись друг за другом по ступенькам, обнимались, нападали друг на друга, нежно, бесшумно. Им было месяца по два, Шефольду удалось взять на руки котенка, такого же голубоглазого, как и он сам. Он ожидал окрика Райделя, чего-то неприятного, произнесенного неприятным тоном, свойственным этому человеку, но когда он обернулся, все еще держа котенка на руках, то увидел, что Райдель — наверно, он тоже обожал кошек — глядит на животное словно в трансе.

Неужели при виде этого существа у него пробудилось чувство человечности? Усомнившись в этом, Шефольд спустил с рук котенка, которому обязан был тем, что на сей раз не раздалось окрика.

Продолжая путь, он представил себе, как зимой две большие кошки, точнее, кот и кошка, брат и сестра, запаршивевшие, голодные, хищные, будут бродить по развалинам Винтерспельта.

Борек в Дании. Когда Райдель прибыл в Мариагер, Борек уже был в бараках, он принадлежал к числу новобранцев, из которых состояла едва ли не вся 416-я пехотная дивизия и на которых приходилось точно рассчитанное число старых обер-ефрейторов, являющихся костяком армии. Он вовсе не был

красивым парнем. Слишком длинный, тощий как жердь. Очковая змея. Он неподвижно стоял у окна, скрестив руки, и смотрел на дождь, пока Райдель раскладывал вещи в шкафчике. Он был такой худой, что Райделю показалось, будто дождь проходит сквозь него.

— Идиотизм,—сказал он вдруг Райделю,—что нам сегодня надо выходить на учения при такой погоде.

Конечно, Райдель не удостоил его ответом. Во-первых, он никогда не болтал лишнего, во-вторых, его разозлило, что этот щенок говорит тоном образованного, в-третьих, он просто онемел от изумления: неужели этот тип полагает, будто в дождь война происходит в помещении, притом полагает всерьез; он сразу почувствовал, что Бореk и не думает шутить.

Но потом с ним приключилось вот что. Увидев, как Бореk надевает сапоги, он заставил его снова снять их. Бореk: «Но зачем?» Райдель: «Я сказал, значит, снимай!»—и показал ему, как намотать портянки, чтобы не стереть ноги до волдырей. Да, он опустился на колени, поставил его ногу на кусок материи, объяснил, что под ступней все должно быть идеально разглажено, и так загнул четыре угла вокруг пятки, щиколотки и пальцев, что портянка легла плотно, без складок. Такого слюнтяйства по отношению к новобранцам он себе еще не позволял. При этом на них смотрело несколько человек. Он заставил Борека повторить эту операцию, и тот делал все так бестолково, что дальше некуда, словно у него не руки, а крюки; Райдель встал и, желая вызвать у всех, кто наблюдал за ними, уважение к себе и показать, какого сорта обер-ефрейтор и группенфюрер появился в бараке, сказал самым неприятным своим тоном:

— Изволь вечером вымыть ноги, да как следует!

Он проследил за этим. Ноги Борека вовсе не были особенно грязны, во всяком случае, не грязнее, чем у большинства, но для Райделя это была возможность—под предлогом, что он следит за гигиеной,—пойти в умывальную и посмотреть, как Бореk, в одних кальсонах, поднимает в раковину свои невероятно длинные ноги. Подумать только, что его мог распахнуть этот тип, этот студентик! Хотя он со времени своего поступления в армию ни к кому больше не прикасался, если не считать пустячного случая в бункере «Западного вала», его всегда—или, во всяком случае, он думал, что всегда,—привлекали красивые мальчики, тугие, гибкие, с кошачьими движениями, особенно если ростом они были не выше, чем он сам. И вдруг вот этот тип, даже не скелет, а просто длиннющий восемнадцатилетний парень; правда, кожа у него такая, что можно представить себе, как сквозь нее льет

дождь. Он подошел и, не проронив ни слова, встал рядом с ним, суровый, замкнутый, строго официальный. И вдруг этот неженка, эта каланча позволяет себе величайшую наглость.

— Убирайся! — сказал ему Бореk.— Когда я моюсь, мне надзиратели ни к чему.

Райдель так опешил, что повернулся и вышел из умывальной. У него было такое чувство, словно его застали на месте преступления. Потом, обдумывая последствия своего поведения—те самые, которые сегодня, час назад, помешали ему выстрелить в Шефольда, так что этот подозрительный тип стоял теперь перед ним, живой и невредимый, на улице Винтерспельта, держа на руках и поглаживая маленького котенка, от которого нельзя было оторвать глаз,—Райдель, спрятавшись за развернутой газетой у стола в бараке Мариагера, пришел к выводу, что, пожалуй, окажется в проигрыше, если дело с Бореком дойдет до скандала, до рапорта командиру взвода. В служебные обязанности обер-ефрейтора не входило наблюдение за тем, как ведут себя во время мытья солдаты его отделения. Во всяком случае, в уставе сухопутных войск об этом ничего не говорилось.

Непостижимо только, как этот желторотый птенец, не имеющий ни малейшего представления об уставе, сразу смекнул, как защищаться. Такой тип мог себе позволить разводить критику: и по поводу полномочий своих начальников, и по поводу учений в дождь. И самое потрясающее было вот что: ему все сходило с рук—и в умывальной его оставляли одного, и слово «идиотизм» он произносил так, что действительно возникало сомнение, имеет ли смысл назначать поход при такой дерьмовой погоде, какая была в тот день, когда Райдель прибыл в 416-ю, расквартированную в Дании.

Окраина Маспельта—во всяком случае, с военной точки зрения—тоже была совсем не похожа на окраину Винтерспельта. Когда Шефольд ездил в Сен-Вит или—что тоже случалось—посещал в Мальмеди, Ставелоте или в долине Арденн членов клана ван Реетов или другие семьи, которые у него ассоциировались с принадлежащими им коллекциями картин, он иногда буквально рот открывал от изумления при виде полчища танков, заполонившего вдруг всю долину. Построенные рядами и, по сути дела, заброшенные, охраняемые лишь несколькими часовыми, пустые, никому не нужные, стояли, словно в дреме, военные машины. Или он видел: площадки, уставленные громоздкими орудиями, целые гектары, покрытые прямоугольными ящиками

(боеприпасы? продовольствие?), замаскированными сетками,— пейзажи, состоящие из крошечных серо-зеленых куполов; видел аэродромы, на которых стальными стаями выстроились тупоносые, приземистые самолеты (истребители?). Ну и богаты же эти американцы! Всякий раз, когда Шефольд убеждался в богатстве американцев, он вспоминал политический анекдот, услышанный в одном из трактиров в Эйфеле. Он кончался вопросом: «Да, но знает ли об этом фюрер?»

Кстати, в отношении политических анекдотов люди тут не стеснялись, надо было только соблюдать определенные правила. Убийственный по сути своей вопрос: «Да, но знает ли об этом фюрер?» — задавать было можно, но ему надлежало так и повиснуть в воздухе, остаться без ответа, ибо если кто-нибудь, сам рассказывающий или один из слушателей, был настолько лишен юмора, что вздумал бы продолжить: «Боюсь, что придется ему сказать», или тем более: «Да он и не желает знать», то тем самым этот человек нарушил бы правила и наверняка мог поплатиться жизнью.

Районы, где были в ходу политические анекдоты, оставляли желать лучшего в смысле военного оснащения. К этому не слишком глубокомысленному заключению Шефольд пришел, глядя на те места, по которым бродил. Вокруг Айгельшайда, Хабшайда, вплоть до самого Прюма, куда он однажды решил добраться, приняв сумасшедшее решение позвонить своим родителям во Франкфурт, он ни разу не видел ничего, кроме мелких подразделений тыловых служб — тепленьких местечек, куда многие рвутся, как объяснил ему Хайншток; грузовики, снабжавшие главную полосу обороны продовольствием, приезжали издалека, они могли пользоваться шоссейными дорогами только ночью.

— Соберите же наконец все свои ресурсы,— сказал он как-то майору Уилеру,— и покончите с войной!

— А, вы о том, что здесь у нас видите! — Уилер посмотрел на него, сочувственно улыбаясь такой неосведомленности. — Да это же ровным счетом ничего не значит,— сказал он и щелкнул пальцами. — Это главным образом пришедший в негодность списанный хлам. Мне очень жаль, что я не могу показать вам полностью оснащенную американскую армию. Или хотя бы дивизию. — Он вдруг помрачнел, откинулся на спинку кресла. — К сожалению, не могу,— сказал он. — Вот в чем дело. Более уязвимо пункта вы и отыскать не могли, господин доктор! — Он говорил «господин доктор», потому что разговаривал с Шефольдом по-немецки и не называл его, как Кимброу, просто «док». — Я имею в виду, что, если вы рассчитывали найти здесь у нас

какую-то опору... Если немцы перейдут в наступление, у меня даже не будет времени написать вам прощальное письмо.

Шефольд посмотрел на него недоверчиво.

— В наступление? Немцы?!—воскликнул он.—Да по ту сторону ничего нет, уверяю вас: ничего. По ту сторону фронта полнейшая пустота. Я еще ни разу не видел там танка или хотя бы двух-трех орудий. А вы видели хоть раз немецкий самолет? Я—нет.

— Случайно я знаю самые последние данные о производстве самолетов у немцев,—сказал Уилер.—Нам сообщили русские. Три тысячи в месяц. Это весьма внушительно. И потом, у немцев есть «тигры», а они почище всех наших танков. Ах, доктор Шефольд,—добавил он,—в военном деле вы дилетант.

Он встал и провел рукой по карте, висевшей за его креслом—разговор происходил в кабинете Уилера в штабе полка,—обозначив треугольник между Мозелем и Рейном, западнее Кобленца.

— Если немцы,—сказал он,—соберут на этом участке, ну скажем, двадцать дивизий,—а это они еще могут, им нужно только определенное время на подготовку, недели четыре, и мы им их дадим, уже дали, мы так щедры,—то они прорвут наш фронт. И притом именно здесь, где мы с вами сейчас находимся. С абсолютной точностью—именно здесь. Я не просто предчувствую,—добавил он.—Я это почти наверняка знаю.

Уилер ошибался, по крайней мере тогда. Довольно скоро он получил более точную информацию, как мы узнаем из его разговора с Кимброу. Против трех американских дивизий, занимавших участок фронта между Моншау и Эхтернахом, генерал-фельдмаршал фон Рундштедт—в период с 12 октября по 16 декабря 1944 года—сосредоточил на исходных позициях не двадцать, а сорок одну дивизию.

— Если бы вы заметили танковые подразделения, даже мелкие—их называют передовыми отрядами,—или увидели, что оборудуются артиллерийские позиции, были бы вы готовы сообщить нам *это*?

Ударение, с каким Уилер произнес слово «это», объяснялось тем, что Шефольд отказался производить разведку немецких позиций. Позднее ему с насмешкой напомнил об этом Кимброу. А тогда, во время первого разговора с Уилером, Шефольд сказал:

— Стоит мне представить себе, что вы накроете это место артиллерийским огнем или направите туда ваши самолеты...

Теперь же он ответил не сразу, долго думал и лишь потом сказал:

— Конечно. Я сразу же пришел бы к вам. Но,—добавил он,—в этом никогда не будет надобности. Вы переоцениваете Германию, майор. Ей конец.

Майор Роберт («Боб») Уилер, начальник разведки 424-го полка, подписал, полусмеясь, полувозмущаясь, пропуск Шефольду и, когда тот вышел из его кабинета, посмотрел ему вслед примерно с теми же чувствами, с какими смотрел ему вслед Хайншток, когда он отправлялся по дороге к Айгельштайду, могучий, с плавными движениями, словно наслаждавшийся тем, что погода прекрасная, дорога пустынная, а война окончена.

Уилер и Хайншток были бы вполне удовлетворены, если бы узнали, о чем думал Шефольд на пустынной улице Винтерспельта: столь реальной, осязаемой война еще не была никогда. И: Германии еще не конец. Такие и подобные мысли проносились в его голове, и ему так и не удалось успокоиться, даже когда он вспомнил, что самое страшное уже позади и что через несколько часов он вернется в Маспельт, хотя, так сказать, и не с немецким батальоном в кармане, как он надеялся.

Приведенным выше диалогом закончился разговор, происшедший 20 сентября, всего через три дня после того, как штаб 424-го полка разместился в Сен-Вите. Бельгийская контрразведка известила Уилера о том, что в Хеммересе находится некий Шефольд, но майор, возможно, и не проявил бы так быстро интереса к этому субъекту, если бы Шефольд вскоре после того, как американцы заняли Маспельт, не появился у Кимброу и не попросил разрешения переходить через линию фронта, когда ему заблагорассудится.

— Что он за тип?—спросил Уилер по телефону.

— Провалиться мне на этом месте,—сказал Кимброу,—если он шпион.

— Ты, должно быть, действительно хороший адвокат, Джон,—сказал Уилер,—разбираешься в людях. У бельгийцев он на отличном счету. Дай ему одного из твоих людей и пришли его ко мне.

Ибо в любом случае необходимо было подвергнуть Шефольда проверке; «screening»<sup>1</sup> прошла во всех отношениях удовлетворительно, но пропуск через американскую линию обороны Шефольд

---

<sup>1</sup> Проверка (англ.).

получил главным образом потому, что отказался заниматься военным шпионажем и не настаивал на своем принципе, если дело примет серьезный оборот. Американцев вполне бы устроило, если бы этот человек время от времени сообщал о настроениях среди немецкого населения. Это он обещал.

— Для вас было бы лучше,— сказал ему Уилер,— если бы вы пока убрались в Брюссель или куда-нибудь еще, где безопаснее.

— Видите ли,— ответил Шефольд,— в Брюсселе я знаю каждую картину. Мне там уже скучно.

Уилер сказал ему, что он историк, и Шефольд осведомился о состоянии исследований по истории искусств, проводимых в США, а также о судьбе некоторых эмигрировавших в Америку немецких ученых. Уилер почти ничего не мог ему сообщить. История искусств не была его предметом.

Он позвонил Кимброу и сообщил о результатах своего разговора.

— Я распоряжусь, чтобы мои люди пропускали его,— сказал Кимброу.— И объясню им, что он не из тех немцев, которые занимаются для нас шпионажем.

— Договорились,— сказал Уилер. Он тоже хотел, чтобы с Шефольдом обращались как можно лучше.

В противоположность майору Динкляге, капитан Кимброу не испытывал ни малейших сомнений по поводу того, может ли он называть «своими» людей, которыми командовал (3-ю роту 3-го батальона).

Из-за своего роста—1,85—Борек был в роте правофланговым. Фельдфебель уже начал цепляться к нему.

— Вы что, не умеете стоять прямо, рядовой Борек?

— Нет.

Рота затаила дыхание.

— Повторите!

— Нет.

— Как надо сказать?

— Нет, господин хауптфельдфебель.

— Повторите еще раз, громче!

— Нет, господин хауптфельдфебель.

— А громче вы не можете?

— Нет, господин хауптфельдфебель.

— И стоять прямо вы тоже не можете?

— Нет, господин хауптфельдфебель.

— Почему не можете?

— Из-за душевной предрасположенности, господин хаупт-фельдфебель.

Несколько человек засмеялись. Райдель, не отличавшийся высоким ростом, стоял на левом фланге и не смеялся; он восхищался Бореком, Борека отколол номер, против которого ротный фельдфебель был бессилен; он мог написать рапорт на этого новобранца, но потом началось бы долгое расследование насчет душевной предрасположенности; офицеры и лекари в чинах, у которых хлопот по горло — венерических подштопывают, — с интересом слушали бы его; ясно, куда Борека метит: хочет, чтобы его перевели на тепленькое местечко.

— Молчать! — заорал фельдфебель. Он снова повернулся к Бореку: — Трижды вокруг строя бегом, марш!

И пока продолжалась утренняя поверка, Борека трижды обегал вокруг строя. Каждый раз, когда он пробежал мимо Райделя, тот замечал, что лицо юноши становится все бледнее. Стекла его очков запотели. Хотят доконать, подумал Райдель; если им удастся довести его до того, что он откажется выполнять приказ, тогда ему крышка. Он обратил внимание на то, что, когда Борека после третьего круга встал в строй, у фельдфебеля хватило хитрости воздержаться от каких-либо торжествующих замечаний. Теперь этот молокосос попал в черный список, такие вещи Райдель знал точно.

И Райдель решил позаботиться о том, чтобы убрать парня, так сказать, с линии огня, иными словами: чтобы Борека при построении стоял не первым, а третьим и не так бросался в глаза.

Для этого Райдель обратился к фельдфебелю Вагнеру, который с ним согласился, но при этом поглядел на него с удивлением.

— Что это с вами, Райдель? — спросил он. — Вы обычно и пальцем не пошевелинете ради такой мелюзги.

— Просто не хочу, чтобы мое отделение вечно было на плохом счету, — сказал Райдель.

Но на следующую ночь, лежа без сна на своем соломенном тюфяке, вытянув руки вдоль туловища, сжав кулаки, он вспоминал того человека, который в давние времена, в том самом дюссельдорфском отеле, сказал ему: Придет время, и ты сам начнешь гоняться за мальчиками.

Шефольд вспомнил, что в прошлую субботу после полудня Маспельт выглядел таким же сонным, как этот Винтерспельт сегодня и, наверно, каждый день. В условиях почти мирной



жизни, которую вел 3-й полк 106-й американской пехотной дивизии, по субботам после полудня никого не назначали в наряд, кроме, разумеется, часовых на высотах Ура. Большинство людей Кимброу околачивались в это время в трактирах Сен-Вита. В канцелярии 3-й роты 3-го батальона находился лишь один ефрейтор. Всякий раз, даже теперь, Шефольд кипел от возмущения, вспоминая ленивое, скучающее лицо этого человека, который продолжал потягиваться на своем стуле даже после того, как Шефольд сказал ему, что должен сделать капитану Кимброу сообщение чрезвычайной военной важности.

— Это действительно важно? — спросил ефрейтор, до армии служивший в налоговом управлении в Батте, штат Монтана. Он привык, что люди, которых ему приходилось выслушивать, всегда считали чрезвычайно важным все, что они говорили.

— Хотите пари, — сказал Шефольд, — что, поговорив со мной, капитан сразу поедет в Сен-Вит, в полк?

Даже теперь, проходя по улице Винтерспельта, Шефольд считал, что слово «пари» явилось, так сказать, магическим сигналом, заставившим того ефрейтора оторвать от стула свой толстый зад — а зад счетовода 3-й роты *rfc*<sup>1</sup> Фостера действительно был тяжелым, — и двинуться в путь. Он не догадывался, что сразу же убедил Фостера, тонко разбиравшегося в интонациях, и что Фостер медлил лишь потому, что никак не мог решиться побеспокоить шефа в момент, когда тот пишет письма. По субботам после полудня Кимброу занимался своей личной корреспонденцией и распорядился, чтобы его беспокоили лишь в том случае, если начнется война. Шефольд, этот профан в военных делах, и не подозревал, какие мысли теснились в голове у испытанного служаки.

Ефрейтор запер канцелярию и оставил Шефольда ждать возле дома. Шефольд около часа дня попрощался с Хайнштоком, наскоро перекусил в Хеммересе и перешел по деревянному мостику на другой берег Ура. Дощатый мостик скрипел, и вода в реке была такой же темной и прозрачной, как всегда. С часовым на высотке он обменялся несколькими словами. Ему теперь не приходилось предъявлять пропуск — все его знали. Полный нетерпения, он пересек холм с его пастбищами, за которым находился Маспельт. Было три часа пополудни, когда он увидел Кимброу, который шел не то чтобы медленно, а словно как-то бесцельно, неохотно; следом за ним шагал ефрейтор; Кимброу, худой, черноволосый, в *battle-jacket*, длинных брюках и легких

---

<sup>1</sup> Private first class — ефрейтор (англ.).

ботинках, пилотку он держал в руке, волосы падали ему на лицо, и только две silver bars<sup>1</sup> на плечах куртки выдавали, что он офицер; он посмотрел на Шефольда своими фиалковыми глазами и сказал:

— Хелло, док!

Ефрейтор Фостер почувствовал облегчение, уловив, что не напрасно потревожил шефа. Джон Кимброу вообще не разозлился—он был даже рад отложить едва начатое письмо. Поняв всю бессмысленность своих попыток описать в письмах впечатления от Европы, всю невозможность достоверно отразить события здешней жизни, он стал рассматривать свои эпистолярные занятия по субботам, которым раньше так радовался и которые надеялся превратить в нечто тайное и личное, просто как обязательные упражнения. Иногда он всерьез думал о том, не перестать ли ему вообще подавать голос. Его адресаты это переживут. Он тоже переживет, если не узнает, что происходит в данный момент в Саванне, штат Джорджия. На протяжении веков были войны, во время которых институт, подобный полевой почте, вообще не был известен. Боб Уилер возразил ему, объяснив, что, например, во времена крестовых походов рыцари писали домой длинные письма. Ну что ж, это их дело. Он считал, что молчание более соответствует происходящему ныне.

Он разместился со своими письменными принадлежностями в парадной комнате крестьянского дома, где был на постое. Она напоминала комнату в доме Телена в Винтерспельте, только меньшего размера. В Маспельте все было меньше и потому темнее, чем в Винтерспельте. Кимброу не мешало, что иногда в комнату заходили хозяин или его жена, разговаривали друг с другом, он не понимал их языка, не знал, что их немецкий могут понять лишь очень немногие немцы. Зато ему мешали мухи. Письмо к Дороти, написанное недавно,—тоже одно из этих обязательных писем!—он оборвал на фразе: «Я хотел бы написать тебе еще, но, пока я пишу, мне на правую руку все время садится муха».

На Фостера вполне можно было положиться—Кимброу со всей тщательностью подбирал счетовода канцелярии,—так что выяснять, какое впечатление произвел на него Шефольд, было, собственно, незачем.

— Он был взволнован?

По некоторым разговорам с Шефольдом Кимброу знал, как

---

<sup>1</sup> Серебряные полосы (англ.).

легко приходит в волнение этот грузный немец, например когда дело касается картин.

— Я думаю,—сказал Фостер,—он пришел неспроста.

Так, в высшей степени свободно, мы переводим почти непере译имое идиоматическое выражение, универсальное значение которого в обиходном языке американцев основано на слове trouble-maker<sup>1</sup>. Ефрейтор Фостер сказал, что у него не сложилось впечатление, что Шефольд—trouble-maker. Выражение «возмутитель спокойствия», которое хоть как-то передает значение этого американского понятия,—прекрасное выражение, но именно потому, что оно так прекрасно и—диалектически—одновременно благозвучно и сложно, оно не пригодно для перевода идиомы столь универсального характера. К тому же выражение «возмутитель спокойствия» не скомпрометировало бы Шефольда в той же степени, как слово trouble-maker (если бы он был таковым, причем в этом случае против него пришлось бы пустить в ход так называемого trouble-shooter<sup>2</sup>, ибо понятие это настолько универсально, что вызвало к жизни контрпонятие). Придав своей мысли отрицательную форму («I think he's no trouble-maker»<sup>3</sup>), он охарактеризовал Шефольда как нельзя более положительно: если последний не был trouble-maker, то, значит, он пришел неспроста, у него было что сообщить.

Кимброу и Фостер взглянули друг на друга. Потом Кимброу взял пилотку, лежавшую возле него на скамье, но не надел ее.

Как известно, последующий разговор—он происходил в кабинете рядом с канцелярией, ибо у капитана Кимброу, как и у майора Динклагге, был отдельный кабинет,—жестоко разочаровал Шефольда. Всего три часа назад, то есть около двенадцати, он, беседуя с Хайнштоком, утверждал, что Кимброу остолбенеет от изумления, едва узнает о намерении Динклагге, и, когда Хайншток, настроенный весьма скептически, спросил, уверен ли он, что американцы вообще пойдут на это предложение, безмерно удивленный, воскликнул:

— А почему бы им не пойти?

Но Кимброу повел себя *странно*, как вынужден был Шефольд признаться Хайнштоку в воскресенье утром. Удивился ли он, а тем более остолбенел ли от изумления—определить было невозможно—ни по его лицу, ни по тому, что он сказал.

<sup>1</sup> Человек, причиняющий беспокойство (англ.).

<sup>2</sup> Человек, улаживающий конфликты (англ.).

<sup>3</sup> Не думаю, чтобы он просто хотел причинить беспокойство (англ.).

Быть может, виновата в этом была комната. В нее проникало мало света, потому что в нескольких метрах от окна начинался склон холма, под которым лежал Маспельт. В полутьме, царившей здесь, лицо Кимброу, на которое падали черные пряди волос, казалось еще бледнее, чем на улице.

— По ту сторону стоит немецкий пехотный батальон,— сказал Шефольд.— Это вы знаете. Командир батальона со своей частью хотел бы сдаться в плен американцам.

Он заранее решил говорить как можно спокойнее и по-деловому, на безупречном английском языке, без американизмов, и не пытаться использовать военную лексику, которой не знал.

— Откуда вам это известно?

— От моего друга Хайнштока. Я уже рассказывал вам и майору Уилеру о Хайнштоке. Без него я не мог бы свободно передвигаться на той стороне.

— Откуда это известно ему?

— Этого я не знаю. Известно—и все.

Быстрое чередование вопросов и ответов. После первых информирующих фраз—никакой паузы, свидетельствующей об удивлении.

— Для нашей разведки было бы не бесполезно узнать, откуда у этого Хайнштока такие сведения.

— Если бы вы знали Хайнштока, вы бы не сомневались, что его словам можно абсолютно верить.

Только на следующий день, благодаря оговорке, которую допустил Хайншток, Шефольд смог сообщить Кимброу об источнике этих сведений.

— Вы знаете этого офицера?

— Нет. Я никогда его не видел. Он майор. Фамилия его Динклагге.

Кимброу пододвинул Шефольду блокнот.

— Напишите мне, пожалуйста, его фамилию!

Пробежав глазами написанное, он произнес:

— Динкледж.

— Нет,—сказал Шефольд.— Динк-лагге. По-немецки это произносится «Динклагге».

— Динклагге,—повторил Кимброу тоном послушного ученика.

— Опытный офицер, фронтовик. Он сражался в Африке и в Италии, получил высший немецкий орден.

— Рыцарский крест?

— Да.—(Значит, это они знают!)

Впервые в разговоре возникла пауза—Кимброу долго смотрел в окно, потом задал вопрос, все же выдававший некоторое

удивление, хотя в языковом отношении сформулированный чрезвычайно сухо и скупо:

— What makes him tick?

Иными словами, он осведомился о часовом механизме, заложенном в майоре Динклагге, словно механизм этот привели в действие и теперь срок действия истекал; в ответ на это Шефольд пожал плечами, ибо у него просто не было желания объяснять молодому американскому капитану, почему немецкий офицер без пяти двенадцать пришел к мысли, что пора сделать выводы. Проходя мимо громоздких неуклюжих домов Винтерспельта, Шефольд понял, что сделал ошибку. Непременно, просто непременно, и притом очень терпеливо, надо было объяснить Кимброу, что за механизм заложен в Динклагге, что за часы в нем поставлены на определенное время, которое теперь истекало, хотя и с гигантским опозданием. Так что наверстать упущенное уже было невозможно. Вместо этого он спрятался в раковину своей эмигрантской ранимости, своих чувств и убеждений, заставивших его уже в 1937 году завернуть в упаковочную бумагу картину Клее и сесть в скорый поезд Франкфурт—Брюссель, в котором, имея соответствующий паспорт, тогда еще можно было беспрепятственно покинуть Германию. Годы эмиграции. Все эти Динклагге не постеснялись бы намекнуть, что он провел их не в крайней бедности. Человек, вернувшийся к ним, был вполне упитанным.

Но к чести Шефольда надо сказать, что вопрос, который задал ему Кимброу, он не оставил вовсе без ответа. Пожав плечами, он все же попытался объяснить поведение Динклагге:

— Вероятно, он считает войну проигранной.

Кимброу подумал, что сам майор Динклагге, оказавшись он сейчас здесь, объяснил бы свои действия не иначе, чем этот искусствовед, понятия не имевший о том, что такое военное мышление. Подготовка офицеров—по таким предметам, как теория, логистика, военная история,—была, по-видимому, во всем мире одинакова, и если немецкие офицеры следовали тому, чему обучились у Клаузевица—Кимброу слушал в Форт-Беннинге лекции одного преподавателя Вест-Пойнта об этом прусском военном теоретике,—то большинство из них, кроме самых больших идиотов, должны были знать, что война для Германии проиграна.

— Это недостаточное объяснение,—сказал он.—Я полагаю, что почти все немецкие офицеры считают войну проигранной. Но никто из-за этого не приходит к мысли сдаться противнику.

— К сожалению,—сказал Шефольд.

Этот тяжеловес бредил картинами и любил вкусно поесть. Кимброу считал описания картин, которые давал Шефольд, плодом его воображения. Только в последнее время, установив, что сам он не в состоянии описать картины собственной жизни, передать их в письмах, он стал испытывать некоторые сомнения на этот счет. Нужно бредить наяву, как Шефольд, чтобы сделать картины зримыми.

К тому же Шефольд не шпион, а всего лишь бежавший от этого монстра немец, который самым сумасшедшим образом обгонял события, слишком рано вернувшись на родину.

— Вы принимаете желаемое за действительное, док,—сказал он.— Что было бы, если бы каждый строевой офицер, считающий войну проигранной, вздумал самовольно капитулировать!

Было это его точкой зрения или просто автоматическим рефлексом, выработавшимся, когда его обучали дисциплине? Сейчас он и сам не мог бы сказать. Во всяком случае, будучи еще молодым адвокатом, он уже научился скрывать свои мысли, соглашаясь с клиентами. Клиентам незачем знать, что их адвокат думает о делах, в которые они его посвящают. Только шарлатаны демонстрируют своим клиентам искреннее участие; хорошие же юристы, даже если они сочувствуют клиентам, ведут себя по-деловому, сдержанно, не вселяя надежд.

— Итак,—сказал Кимброу,—почему именно он?

— Я не знаю,—ответил Шефольд раздраженно. И нехотя пояснил:—Может быть, он наконец понял, что Гитлер—преступник и что нельзя сражаться за преступника.

— После того как он годами сражался за него? Это, по-моему, исключается,—сказал Кимброу.

Вдруг он стал разговорчив.

— Видите ли,—сказал он,—есть очень простой психологический закон, мешающий немцам выйти сейчас из игры: они упустили момент, когда еще могли это сделать. Готов побиться об заклад, что не только этот майор Динклагге,—Кимброу постарался правильно выговорить фамилию,—но и почти любой немецкий генерал держит в кармане собственный, сугубо личный план сдачи в плен. Но он не вынимает его из кармана, инстинктивно чувствуя, что уже поздно. И дело тут вовсе не в том, что они боятся потерять свою честь, а в... в... в стиле, да, в хорошем вкусе. Если бы после того, как мы высадились в Европе, а русские отвоевали Украину, немецкие генералы покончили с войной, это был бы хороший стиль, а теперь время упущено, слишком

поздно. Это не принесет им авторитета. Это уже дурной стиль.

— Разве спасти жизнь сотен тысяч людей—дурной стиль?—спросил Шефольд.

— Вы не можете заставить себя мыслить по-военному,—возразил Кимброу, слегка поклонившись. В разговорах с людьми, которые были старше его, тяжеловеснее, неподвижнее, он умел находить какой-то особенно дружелюбный тон.

— Не смотрите на меня с таким отвращением, док,—продолжал он,—я не военный. Мне хотелось бы, чтобы вы поняли, что здесь дело не в политике, а в психологии. И я хочу только разобраться в мотивах, которые движут этим майором. Почему именно он извлекает свой план из кармана? Кто он—человек, лишенный вкуса, или глупец, который надеется спастись в последний момент? Поэтому я и спросил, знаете ли вы его.

Шефольд ответил не сразу. Если подумать, то у него была только одна причина хоть в какой-то мере доверять майору Динклагге: то, что в это дело включился Венцель Хайншток. Как-то Хайншток положительно высказался о военных способностях Динклагге и даже сообщил о нем некоторые скупые сведения, например, пожав плечами, бросил вскользь, что Динклагге, как и он, «связан с нерудной горнодобывающей промышленностью» (это высказывание имело прямое отношение к раздумьям о том, как случай управляет склонностями Кэте Ленк), или иронически процитировал высказанное Динклагге пожелание познакомиться с «образованным» марксистом.

— Нет, я с ним не знаком,—сказал наконец Шефольд.—Судя по тому, что я о нем знаю, он образованный немецкий бюргер, если, конечно, вы представляете себе, что это такое, капитан.—И добавил:—Если хотите, то же можно сказать и обо мне.

Ему показалось, что американский капитан сделал вид, будто не слышит его последнего замечания.

— Тогда должны быть особые причины, объясняющие, почему он вздумал осуществлять свой план именно теперь,—сказал Кимброу.—Личные, я имею в виду. Может быть, кто-то из его близких убит Гитлером?

— Это была бы политическая причина.

— Политически-личная.

Гадать о возможных политически-личных причинах подобно-го рода было бессмысленно. Во всяком случае, Джон Кимброу, который, несмотря на свою молодость, был уже уважаемым адвокатом по уголовным делам, отреагировал именно так, как

реагировал обычно: он стал искать мотивы, которые можно было бы использовать при защите обвиняемого. В этот момент он, правда, еще сам ясно не сознавал, что уже взялся вести дело — дело Динклагге.

Они начали спорить.

— Вы, кажется, не в восторге,—сказал Шефольд.

— Я не могу себе представить, чтобы армия пошла на это. Значит, Хайншток был прав.

— Как? Не может быть!

Сухо, методично Кимброу начал перечислять тактические причины, препятствующие тому, чтобы армия пошла на предложение Динклагге. Шефольд их не запомнил. Это было для него как урок математики в гимназии, когда он с самого начала, лишь только приступили к алгебре, ничего не понимал, не хотел понимать.

Он перебил Кимброу и сказал:

— Это такое дело, от которого вы не можете отказаться.

Кимброу разозлился, что Шефольд апеллирует именно к нему. Если бы он сказал «they»<sup>1</sup>, вместо «you»<sup>2</sup>, все было бы в порядке. Ведь он из упрямства уже решил было согласиться.

— Чепуха,—сказал он.—Мне незачем братья за безнадежные случаи.

— Странно,—сказал Шефольд.—Вы говорите о майоре Динклагге так, будто он преступник.

— А он и есть преступник. В любой армии мира то, что он намерен сделать, квалифицируется как преступление.

— И вы бы не стали его защищать?

— Возможно, я и стал бы его защищать. Но вы требуете, чтобы я участвовал в его преступлении.

Да, Хайншток всегда был прав. Жаль, подумал Шефольд, что этот молодой американец, который — правда, не из пацифизма, а по причинам, связанным с историей Америки,—настроен против войны, не может, видимо, мыслить иначе, чем интернационал офицеров.

— Я же в нем участвую,—сказал Шефольд.

— Вы человек штатский,—возразил Кимброу,—и немецкий патриот. Вам все позволено.

---

<sup>1</sup> Они (англ.).

<sup>2</sup> Вы (англ.).



Утверждение, что он немецкий патриот, потрясло Шефольда до глубины души. Он был убежден, что последние семь лет систематически отучал себя любить Германию.

Кимброу размышлял о праве. Он знал, что по отношению к Шефольду он действовал не в соответствии с нормами права, а лишь в соответствии с правилами игры, принятыми в определенной группе общества. В Emory's Lamar Law School<sup>1</sup> ему внушали, что со времен провозглашения республики лучшие американские юристы всегда боролись против притязаний привилегированных групп.

— Ну ладно,—сказал он и встал,—я поеду в Сен-Вит и доложу об этом деле. И удивятся же там.

Только теперь, говоря о третьих лицах, он признал, что дело Динклагге может вызвать удивление. Сам он—если не считать этого задумчиво-сухого «what makes him tick?»—не выказал ни малейших признаков удивления.

— Собственно, мне следовало сначала обратиться к командиру батальона,—сказал он.—Но я пойду к Бобу Уилеру, потом вместе с ним к полковнику. Конечно, получу нагоняй, но не всегда же соблюдать установленный порядок.—И спросил:—Почему вы не пошли с этим сразу к майору Уилеру, док? В конце концов, он ведает такими делами, вы ведь знаете.

— Не всегда же соблюдать установленный порядок,—сказал Шефольд.

Кимброу рассмеялся.

— Нет,—сказал он,—просто вы справедливо опасались, что Боб сразу откажет. Если же дело попадет к строевому офицеру, оно пойдет дальше по инстанциям. Я не только доложу о нем,—добавил он,—я буду его защищать. Я буду настаивать—чего вы не смогли бы сделать,—на том, чтобы Боб сообщил об этом деле полковнику Р. Не потому, что я в это верю, а просто потому, что мне интересно, какотреагируют на него наши предводители (он сказал: «brass-hats»<sup>2</sup>).

«Во всяком случае, игра эта достаточно интересная, чтобы сыграть ее до конца»,—подумал Кимброу. Понял ли он, почувствовал ли уже тогда, в тот момент, что от этого дела («это такое дело, от которого вы не можете отказаться») ему, в конце концов, никуда не деться, мы не знаем.

---

<sup>1</sup> Юридический факультет имени Лэймара университета Эмори (англ.).

<sup>2</sup> Высокие чины (англ.).

— Не можете ли вы взять меня с собой в Сен-Вит? — спросил Шефольд. — Мне надо нанести один визит.

— Охотно, — сказал Кимброу, — только обратно я вряд ли смогу вас подвезти. Насколько я знаю нашу армию, ей понадобится полночи, а может, и целая ночь, чтобы расхлебать кашу, которую вы предлагаете заварить.

Нельзя недооценивать армию. Если уж она возьмется за дело, то основательно. Полковник Р. обратится в дивизию, но даже командир дивизии не примет решения, не связавшись с начальником штаба армии.

— Не важно, — сказал Шефольд, — я найду водителя, который захватит меня на обратном пути.

Решился ли полковник Р. еще в ночь с субботы на воскресенье подняться с постели командира дивизии, а тот — начальника штаба армии, так и останется в потемках истории. Майор Уилер только насмешливо посмотрел на своего друга Кимброу, поняв, что молодой капитан совершенно серьезно считает, что в связи с делом Динклагге объявят VI степень боевой готовности (и темпы тоже будут соответствующие).

Но даже Уилер не мог предусмотреть, сколько времени понадобится штабам, прежде чем они в конце концов сообразовывают принять решение.

«Если бы я, — подумал Шефольд, — в прошлую субботу примирился с тем, что Кимброу не выказал ни малейшего восторга, услышав мое сообщение, то сейчас мне не пришлось бы идти рядом с этим типичным нацистским солдатом через вражескую деревню. Надо было только внимательно слушать и тогда же отказаться от этого дела. Хайншток несколько бы не огорчился».

Он лежал и читал! Правда, проверяя посты, он нашел Борека там, где его поставил, на опушке леса. Но Борека не стоял: он лежал на траве и читал книгу. И даже не вскочил, когда перед ним оказался начальник караула, не схватил свою винтовку, не попытался сделать вид, что хочет встать навытяжку, а остался лежать, только вопрошающе поднял глаза, оторвавшись от своей книжонки.

Проступок был настолько серьезен, что орать на Борека не имело никакого смысла.

— А ну, — сказал Райдель скорее тихим голосом и с той знаменитой язвительностью, от которой всех остальных словно льдом сковывало, — поднимай свой мешок костей!

Борек встал. Он распрямил конечности и сразу оказался выше Райделя на целую голову.

— Убери свою книжонку!

Книга была маленькая, тоненькая, умещалась в кармане френча.

— Возьми карабин!

Теперь, когда Борек снова стал похож на часового, Райдель сказал:

— Это тебе дорого обойдется — получишь четырнадцать суток гауптвахты.

На этом все было кончено, всякая дальнейшая болтовня была излишней, и вдруг он слышит, как Борек заявляет:

— Что за бред! Я хоть и читал, но продолжал следить. Никого не было. Ближайшие крестьянские дворы в пяти километрах отсюда. На эту пустошь вообще никто никогда не приходит. Разве что появится иногда подвода с дровами. А уж это я бы увидел и услышал, можешь не сомневаться!

Рота проводила снайперские стрельбы на пустоши под Райн-нерсом, и Борек, как очень близорукий, не видящий без очков и потому не пригодный для стрельбы, был назначен в караул — охранять местность. Собственно, даже не столько местность, сколько штатских датчан, которые могли получить пулю в лоб, если бы зашли на полигон. Вместо того чтобы стоять на посту, Борек лег себе на травку и стал читать. Тут и толковать было не о чем, все ясно. Но Борек посмел ему возражать, притом так, что было видно: если Райдель пустит в ход свой язвительный тон, этот не наложит в штаны от страха.

Охотнее всего Райдель сейчас прикоснулся бы к нему рукой. Но устав не допускает, чтобы старший по званию дотрагивался до подчиненного. Штатскому можно было врезать как следует, дать хорошего пинка — хотя, наверно, он совершил ошибку, дав пинка этому зазнавшемуся типу, который шагал теперь рядом с ним по Винтерспельту, — но подчиненному — никогда.

— Заткнись! — сказал он. — Со мной этот трюк не пройдет.

— О чем ты? — спросил Борек.

— Брось прикидываться дурачком! — Он передразнил Борек: — «Из-за душевной предрасположенности».

Он почувствовал, как Борек внимательно посмотрел на него.

— Это ты называешь «трюком»?

— Ясное дело, — сказал Райдель. — Хочешь попасть на тепленькое местечко, больше ничего. Ради этого готов даже на четырнадцать суток гауптвахты. Чтобы тебя потом на комиссию и отправили куда-нибудь, где ты не будешь мешать службе. Там уж

ты сможешь спокойненько почитать свои книжонки.

— Другие тоже так обо мне думают?

— А то нет! Все убеждены, что у тебя только это на уме.

Наступило томительное молчание. Они стояли друг против друга, Райдель чувствовал, что Бореk смотрит на него, но сам не решался посмотреть на Борека. Летний день на датской пустоши обжигал кожу.

— Две недели гауптвахты я получу,—сказал Бореk,—только если ты обо мне доложишь?

— Доложить я обязан,—сказал Райдель, тон его вдруг стал угрюмым.—Шнапс шнапсом, а служба службой.

— Господи,—сказал Бореk,—ну и поговорки у вас!

Каждый раз, вспоминая, что с того дня рядовой Бореk стал изo всех сил стараться, Райдель удивлялся. Не столько из-за «душевной предрасположенности», сколько из-за физической слабости Бореk, конечно, так и не стал образцовым солдатом—марши с полной выкладкой, занятия на местности (например, перекатывание после тройного прыжка) или рытье окопов могли довести его до состояния полного изнеможения, но, если не считать этого, он являл собой радостную для начальства картину служебного рвения (не подлизываясь при этом), весьма успешного старания не отставать, дисциплины в сочетании с высшей добродетелью солдата—способностью не привлекать к себе внимания.

Даже фельдфебель заметил это.

— Нет,—сказал он как-то фельдфебелю Вагнеру,—это просто невероятно.

Вагнер рассказал это Райделю и добавил:

— Я думаю, он вычеркнул Борека из своего черного списка.

Во избежание путаницы необходимо со всей ясностью указать, что речь здесь идет о хауптфельдфебеле 3-й роты, а не о батальонном фельдфебеле, штабс-фельдфебеле Каммерере.

Все звали ее Мирей—«Мирей, еще две кружки светлого!». Имя это к ней не подходило, потому что она была не девушкой, на которую можно глядеть с восторгом, словно на маленькое чудо, а опытной женщиной с жестким характером; и если эта ее опытность, жесткость не выступали на передний план, то лишь потому, что у нее было асимметричное, худое лицо, она вообще была такой истощенной—то ли от работы, то ли от болезни, то ли просто от природы,—что только влюбленный мог бы счесть ее стройной или, если он звался Шефольд, внушить себе, что она

словно сплетена из прозрачных теней и напоминает то темное место на гравюре, где как бы сконцентрирован, сосредоточен дух художника, хотя на самом деле облик ее скорее всего определялся просто тем, что она носила черное платье (может быть, она была вдовой? Но нет, он ни разу не видел на ее пальцах колец), что ее желтоватая кожа казалась смуглой из-за темных волос (Мемлинг!), а в этом трактире был всегда тусклый свет.

Ради нее Шефольд обрек себя на то, чтобы с половины шестого—то есть с того момента, когда капитан Кимброу посадил его в Сен-Вите,—пить горькое пиво, читать газету за столиком с крышкой из коричневого пластика в этой пивной, настолько низкоразрядной, что для американских солдат она была *off limits*<sup>1</sup>, около семи часов съесть ужин, состоявший из стекловидного картофеля, плававшей в воде фасоли и ватной колбасы—его передергивало, когда он об этом думал,—растянуть свое пребывание здесь до девяти часов, чтобы наконец, в последний раз подзвав к себе официантку, расплатиться и уйти. Против ожидания, он не нашел никого, кто доставил бы его обратно в Маспельт, так что весь путь до Хеммереса ему пришлось проделать пешком. Но ночь была прекрасная. Прекрасная и к тому же поучительная, потому что отсюда, с высоты, где так легко дышалось, с этой дороги, ведущей из Сен-Вита в Люксембург, он видел и слышал войну,—войну, которая там, в глубине, где находился Хеммерес, была скрыта от него. Он смотрел, как взмывали вверх и гасли сигнальные ракеты, на несколько мгновений заливая светло-серым светом поросшие лесом горы, а севернее на небе желтоватыми сполохами обозначалась битва в Хюртгенвальде—даже сюда доносился ее грохот. Великолепное зрелище, великолепное для одинокого путника, который может не опасаться, что осколки гранаты попадут ему в голову или в живот или обломают ели возле его окопа, оставив изуродованные пни, накрыв разлапистыми ветвями того, кто, скорчившись в этом своем окопе, безмолвно заклинает неведомое существо: «Господи, только не прямое попадание, умоляю, умоляю, только не прямое попадание!»

В прошлую субботу Шефольд мгновенно сориентировался и попросил Кимброу захватить его в Сен-Вит. Ведь в ближайшие дни ему предстояло бывать только у Хайнштока и у Кимброу, а потом отправиться к Динклагге. Он знал, что у него не будет времени ни на что другое,—в субботу была последняя возможность еще раз увидеть эту женщину. Лишь сегодня вечером он

---

<sup>1</sup> Запрещена (англ.).

сможет наконец доставить себе удовольствие снова повидать ее.

Странно, но в ее присутствии у него всегда появлялось ощущение, что те приемы, с помощью которых он скрывал от женщин свои чувства, на нее не действуют. Хотя он тщательно старался не смотреть на нее, никогда не следил за ней взглядом, тем не менее считал, что она может совершенно неожиданно, именно тогда, когда он к этому будет меньше всего подготовлен (например, молча приняв у него заказ), вдруг спросить: «Чего вы, собственно, от меня хотите?»

Этого момента он боялся, ждал его, мысленно прикидывал ответы, готовился сказать: «Познакомиться с вами».

Это смягчило бы ее вульгарно-раздраженную реакцию, не позволило бы выгнать его из трактира. Ни один человек не может возражать, если другой хочет с ним познакомиться.

Как она себя поведет?

Он надеялся, что она в ярости выкрикнет: «Нечего со мной знакомиться!», и только потом повернется и уйдет. В этом случае он уже наполовину выиграл. Кто же может упустить такой шанс, отказаться, когда предлагают познакомиться? Уж во всяком случае, не эта Мирей, от которой бедные родители ждали маленького чуда, а из нее вышла всего лишь официантка в захудалом трактире, изможденная и похожая на тень.

Но о том, чем все обернется, если дело дойдет до того, что она позволит ему, Шефольду, познакомиться с ней, он думать не хотел. Узнать ее можно, лишь оказавшись однажды ночью с ней наедине.

Но об этом, конечно, не могло быть и речи.

И вот только что, по дороге в Винтерспельт, он, к своему безмерному удивлению, вдруг подумал, что это не так уж и невозможно.

«Когда у вас свободный день? Я хотел бы с вами познакомиться».

«Оставьте меня в покое!»

«Но я непременно хочу познакомиться с вами».

Он мысленно повторил этот диалог. Вполне возможно — и даже очень просто, — что он сам начнет разговор.

Менее просто было представить себе, как бы он решился остаться с ней наедине, а ведь всякое взаимное узнавание в конце концов выливается в то, что он и она встречаются в какой-то комнате, где ночь и темнота, хроматическая гамма из серых цветов, хотя и здесь бывают свои протуберанцы и свои затмения; да и что, собственно, мешает ему в сорок четыре года приобрести новый жизненный опыт?

Мысль, которая прежде показалась бы ему чудовищной, возникла вдруг сама собой, пока он шагал рядом с Райделем (имени которого не знал) последний отрезок пути перед входом в Винтерспельт.

«Когда у вас свободный день?»

Даже если он получит отказ, все равно достаточно задать этот краткий вопрос, чтобы шагнуть в страну, остававшуюся белым пятном на карте его жизни. Этими пятью словами он нарушил бы принцип молчания, продолжавшегося всю его жизнь.

Она была темноволосая, жесткая, ее худое лицо, словно высеченное из топаза, обладало своеобразной привлекательностью.

Он решил, что вознаградит себя за этот переход через линию фронта, приобретя новый жизненный опыт.

— Нет,—сказал Кимброу, когда Шефольд зашел к нему в воскресенье после полудня,—из полка до сих пор ничего нет. Штабы опять не торопятся.

Шефольд сообщил, какое требование выдвигает Динклагге. В разговоре с Хайнштоком он решительно отказался его выполнить («я с удовольствием сделаю все, но я не хочу попасть в руки нацистских солдат»), и Хайншток, хотя и с пониманием отнесшийся к этому условию, не сделал ни малейшей попытки уговорить его. В конце их беседы, сегодня утром, он ушел от этой темы, заявив, что американцы не станут участвовать в игре, а следовательно, Шефольду не понадобится переходить через линию фронта или идти к Динклагге по какой-либо другой, менее рискованной дороге.

Реакция Кимброу поразила Шефольда. Он думал, что Кимброу тут же отклонит наглое требование Динклагге, возмутится, вспылит или — еще решительнее — ответит на поставленное Динклагге условие коротким холодным смешком.

А он лишь сказал без долгих раздумий:

— Это доказывает, насколько серьезны намерения этого kraut<sup>1</sup>.

Слова Кимброу прозвучали так, словно он испытывал облегчение. И казалось, он заметил растерянность, протест на лице Шефольда, потому что сразу же попытался предупредить все возможные возражения.

— Попробую поставить себя на его место,—сказал он,—и представить себе, что вот я решил бы сделать нечто подобное,

---

<sup>1</sup> Немец (англ., жаргон).

ну, скажем, сдать свою роту немцам, тогда мне тоже было бы недостаточно, чтобы какие-то американцы пришли ко мне тайно, утверждая, что они от немцев, что я могу на них положиться, потому что они настоящие честные американские партизаны и что они против Рузвельта... Извините, док,—сказал он,—я не хочу обижать вас. Я знаю, что вы немецкий патриот.

— Да перестаньте вы наконец называть меня немецким патриотом!—сказал Шефольд.—И кроме того, я за Рузвельта.

— А я нет,—сказал Кимброу.—Не следовало нам участвовать в войне. Но об этом сейчас не стоит. И это не побудило бы меня сдать свою роту немцам. Но, если бы я захотел это сделать, я потребовал бы, чтобы немцы представили мне доказательство—доказательство того, что я действительно разговариваю с ними, чтобы они дали мне знак, подтверждающий, что они действуют от имени немецкой армии. Как раз этого и требует от нас майор Динклаг.

— От меня, вы хотите сказать,—перебил его Шефольд.

— Да, конечно, от вас,—сказал Кимброу.—Само собой разумеется, только вы можете решить, принимать это условие или нет.

Он не пытался преуменьшить трудности, ожидающие Шефольда.

— Мне как командиру роты,—сказал он,—было бы легко устроить дело так, чтобы все прошло гладко. Командиру батальона это труднее. Он не знает людей, которые находятся на передовой, не знает, на кого можно положиться. Да,—добавил он,—даже командир батальона почти не бывает на передовой.

В его рассуждениях звучала озабоченность, он как бы проверял доводы, подтверждавшие, что Шефольду не стоит идти через линию фронта. Потом он сказал:

— Но если этот немецкий майор вообще осмеливается выдвигать такое требование, очевидно, можно рассчитывать, что он гарантирует вашу безопасность.

Впоследствии Шефольд не без чувства гордости вспоминал, что не показал своего страха, если не считать той фразы, которой он напомнил Кимброу, что знак должен быть передан через него, Шефольда.

Он переменял тему.

— Теперь я знаю,—сказал он,—от кого Хайнштоку стало известно о планах майора Динклага.

Он процитировал «оговорку» Хайнштока:

— От женщины.

Ему очень хотелось бы теперь посплетничать, высказать свои



предположения об этой «необычайной особе», которая «одновременно пользовалась доверием Хайнштока и майора»,— замечания, коими он утром привел в ярость Хайнштока,—или рассказать Кимброу, что он слышал в трактирах Айгельшайда и Хабшайда об одной молодой учительнице, считавшейся любовницей человека из каменоломни, но американский капитан не дал ему для этого никакой возможности, сформулировав вывод, который и следовало сделать в этом случае.

— Значит, от приятельницы майора,—сказал он,—которая хорошо знакома и с Хайнштоком.

— Очевидно,—сказал Шефольд.

— Стало быть, его решение было искусственно ускорено,—сказал Кимброу.

— Что вы имеете в виду?

— Все очень просто,—сказал Кимброу.—Он сделал ошибку, в один прекрасный день рассказав этой женщине о своем плане. Он не рассчитывал на то, что она знает, как его осуществить. Вот и попал в ловушку. Ему надо было держать свой план в кармане, как это делают другие немецкие офицеры, а он его оттуда извлек, показал ей. Этой женщине. Теперь он уже не может идти на попятный.

— Не слишком ли вы психологизируете?

«На этот вопрос я не отвечу,—подумал Кимброу,—потому что иначе он меня снова упрекнет, что я сравниваю этого *jeff*<sup>1</sup>, этого офицера, с преступником. Но я в самом деле не знаю ни одного преступника, который заранее не обсудил бы с кем-нибудь свое преступление—ограбление банка, убийство. Кроме, конечно, тех бедняг, которые совершают убийство в состоянии аффекта. Молчаливый убийца—изобретение авторов детективных романов. Уверен, что даже у Джека Потрошителя были сообщники. Человек сказал—и пути назад уже нет. Человек сказал, чтобы отрезать себе путь назад».

Вслух же он заметил:

— Почти напрашивается мысль, не хочет ли он внести в договор пункт, который сделает невозможным его подписание. Может, он создает искусственные трудности, чтобы вы, Хайншток, и эта женщина потеряли интерес к делу? Чтобы не он, а его партнеры пошли на попятный? Во всяком случае, со стороны это выглядит именно так. А если так, то я, видимо, ошибся. В

---

<sup>1</sup> Немец (англ., жаргон).

таком случае его условие означает, что он как раз не принимает все это всерьез.

Однако серьезность намерений майора Динклагге не должна была больше вызывать никаких сомнений. Тайнственная незнакомка информировала его о том, что американская армия все еще колеблется, откладывает решение на неопределенное время, но один из ротных командиров готов принять его план. Шефольд пошел к Хайнштоку еще позавчера, сразу после обеда, настоял на том, чтобы Динклагге известили об этом обстоятельстве, прождал в его домике до вечера, пока не вернулся Хайншток и не сообщил как-то нехотя, что майор ждет его послезавтра, в четверг, в двенадцать часов дня.

— Зачем? — проворчал он. — Чего он от вас хочет, если еще ничего не подготовлено? — Он похлопал себя по животу и добавил: — Поделом бы ему было, если бы его план отклонили, тогда бы вы ему вообще не понадобились.

Шефольд ответил ему словами Кимброу, только опустив фамильярное «kraut».

— Это доказывает, насколько серьезны его намерения.

— Ах, да что вы, — возразил Хайншток, — он просто дурак. Наверно, он воображает, будто может оказать давление на американцев.

И только потом, уже успокоившись, он добавил:

— Я умываю руки.

И вытащил схему, начерченную рукой Динклагге.

Причиной его чрезвычайно плохого настроения, его ворчливости, как назвал это про себя Шефольд, было не столько непонятное требование Динклагге, сколько фраза, небрежно оброненная Кэте, о том, что она не только сообщила майору о колебаниях американцев, но и передала ему, что полковник Р. назвал его предателем.

Правильно ли поступал Хайншток, умолчав об этом в разговоре с Шефольдом? Следует предположить, что Шефольд, будь ему известно, что Динклагге обладает такой информацией, не шагал бы сегодня по дороге в Винтерспельт. Оказаться лицом к лицу с человеком, которого так тяжело оскорбили и который это знал, он считал бы мучительным, невозможным. Даже просьба Кимброу не могла бы подвигнуть его на это. (Собственно, Кимброу никогда не просил его об услуге, а предоставлял ему решать, хочет он ее оказывать или нет; во время визита в Хеммерес он не отговаривал Шефольда от этого преждевременного во всех

отношениях похода к Динклагге, но можно предположить, что категорически запретил бы ему идти, если бы Шефольд мог сообщить, что слова командира его полка переданы немецкому майору. Легко представить себе смущение обоих мужчин, упреки, которые они обрушили бы на себя за то, что в приступе непростительной болтливости передали по цепочке — Кимброу Шефольду, Шефольд Хайнштоку — слова полковника Р., этого типичного службиста.)

Что касается Хайнштока, то передать это злое словцо Кэте его заставила не болтливость. (Шефольд прибавил его в качестве возмущенной сноски к своему рассказу о волоките в американских инстанциях.) Почему Хайншток, вернувшись из Винтерс-пельта, не сказал Шефольду, что майор знает о высказывании полковника Р. и что это оскорбление не заставило его отказаться от своих намерений и он по-прежнему требует, чтобы Шефольд явился к нему сегодня? Об этом странном противоречии между готовностью говорить (по отношению к Кэте) и молчаливостью (по отношению к Шефольду) можно только гадать.

Райдель иногда рифмовал: «Оказался дураком, а теперь все кувырком». Если бы тогда, на пустоши, под Раннерсом, я схватил его, все, может быть, сложилось бы по-другому.

Схватил не в том смысле, как это оговаривается в уставе.

Одно дело наброситься на парня летним днем на пустоши под Раннерсом, пытаться его обнять, поцеловать, другое дело ночью, в помещении, где спят вповалку, где такая вонь, что не продохнешь, протягивать руку к соседнему тюфяку, щупать спящего соседа.

Конечно, и тогда, на опушке леса, Борек отверг бы его, но это было бы совсем другое дело, и Борек бы понял.

Райдель не мог найти подходящее определение, точное слово для этого дела, поэтому он называл его «другим».

Он знал только, что тогда, когда датское лето обжигало кожу, ему надо было уступить самому себе, вместо того чтобы брать себя в руки, вместо того чтобы с железной холодностью смотреть мимо Борека.

Конечно, для Борека все это выглядело бы как использование ситуации, как шантаж.

«Вот оно что,—сказал бы он,—я должен сделать все, что ты хочешь, тогда ты избавишь меня от двух недель гауптвахты. Так?»

Но Райдель сумел бы ему доказать, что не станет подавать

рапорт о проступке во время дежурства, даже если Борек не отвечает на его чувства.

Во всяком случае, они были бы квиты. Райдель умолчал бы о его проступке, Борек — о домогательствах Райделя.

И тогда у них была бы общая тайна. Борек узнал бы о его чувствах, понял бы, почему обер-ефрейтор, который — как он выразился позднее — распространяет вокруг себя ужас, защищает его. Он, Райдель, мог бы рискнуть иногда сказать хоть какое-то слово, какую-то фразу с тайным смыслом, и это было бы лучше, чем ничего, чем эти годы безупречного поведения.

Как их назвал вчера Борек? «Годы, когда ты приспособлялся, только и делал, что приспособлялся, подлый ты трус!»

Борек назвал его подлым трусом.

О том, что он в свое время не стал доносить о его проступке, Райдель ему вчера не напомнил, когда они сцепились и спорили шепотом до иступления. Борек бросился в кормохранилище возле хлева, в котором они спали, и Райдель последовал за ним. Не было ни малейшего смысла напоминать Бореку, что он должен быть ему благодарен. Борек показал себя непримиримым, и его рапорт наверняка уже лежит в штабе батальона.

Борек сунул ему записку.

«Под мужеством,— прочитал Райдель,— я разумею то желание, в силу которого кто-либо стремится сохранять свое существование по одному только предписанию разума. Под великодушием же я разумею то желание, в силу которого кто-либо стремится помогать другим людям и привязывать их к себе дружбой по одному только предписанию разума».

Это было еще в Дании, когда Борек убедился, что Райдель не донес на него, избавил его от двух недель строжайшего ареста.

— Чепуха,— сказал Райдель.— Насчет великодушия — все это одна болтовня. Нет никакого великодушия и никогда не было.

— Но ты же проявил великодушие,— сказал Борек.

Лопнуть можно было от злости! Если бы этот чокнутый знал, почему такое неслыханное нарушение дисциплины сошло ему с рук!

— Как раз эту фразу я читал, когда ты пришел,— сказал Борек.

— Это философия? — спросил Райдель.

— Да. В том числе.

— И ради этого вас посылают в университеты?

— Не совсем. Это, например, даже запрещено в университете.

— Запрещено? Почему?

- Потому что это написал один еврей.
- И ты читаешь книжку, написанную евреем?
- Да. Тебя это смущает?
- Покажи-ка ее мне!

Борек, заметно удивленный, порылся в кармане своего френча—значит, он всегда носил эту книжку с собой,—вытащил ее и протянул ему

(маленький томик, выпущенный издательством «Реклам», найденный им уже во время войны в букинистической лавке в Бреслау).

Хотя и с удивлением, но не подозревая ничего дурного—чокнутый есть чокнутый,—видно, надеялся, что он, Райдель, действительно заинтересуется книжкой, но он, даже не взглянув на эту философскую брехню и ни секунды не помедлив, двумя-тремя движениями разорвал книжонку в клочья и бросил в мусорный бак, стоявший поблизости.

— Свинья!—услышал он голос Борек.

Взглянув на него, он увидел слезы за стеклами очков.

Тогда он назвал его свиньей, а вчера подлым трусом.

— На евреев мне плевать,—сказал Райдель.— Не хочу просто, чтобы кто-нибудь пронюхал, что ты читаешь еврейские книжонки.—Он перечислил фамилии людей из их роты и добавил:— Они все в партии.

Он смотрел, как Борек снял очки, как с трудом подавил слезы.

— Приятель,—сказал Райдель,—за это тебя упекут в концлагерь.

Но Борек больше не издал ни звука и только глазел на стену барака в Мариагере, тупо, как может глазеть такой придурок, как он.

«...Я буду рассматривать человеческие действия и влечения точно так же, как если бы вопрос шел о линиях, поверхностях и телах.

...были и выдающиеся люди... написавшие много прекрасного о правильном образе жизни и преподавшие смертным советы, полные мудрости; тем не менее природу и силу аффектов и то, насколько душа способна умерять их, никто, насколько я знаю, не определил. Правда, славнейший Декарт, хотя он и думал, что душа имеет абсолютную власть над своими действиями, старался, однако, объяснить человеческие аффекты из их первых причин и вместе с тем указать тот путь, следуя которому душа могла бы

иметь абсолютную власть над аффектами. Но, по крайней мере по моему мнению, он не выказал ничего, кроме своего великого остроумия...

Под добром я понимаю то, что, как мы наверно знаем, для нас полезно.

Под злом же — то, что, как мы наверно знаем, препятствует нам обладать каким-либо добром.

Чем более кто-либо стремится искать для себя полезного, т. е. сохранять свое существование, и может это, тем более он добродетелен...

Под мужеством я разумею то желание, в силу которого кто-либо стремится сохранять свое существование по одному только предписанию разума. Под великодушием же я разумею то желание, в силу которого кто-либо стремится помогать другим людям и привязывать их к себе дружбой по одному только предписанию разума.

Поэтому пускай сатирики, сколько хотят, осмеивают дела человеческие, пускай проклинают их теологи, пускай меланхолики превозносят, елико возможно, жизнь первобытную и дикую, презирают людей и приходят в восторг от животных, опыт все-таки будет говорить людям, что при взаимной помощи они гораздо легче могут удовлетворить свои нужды и только соединенными силами могут избегать опасностей, отовсюду им грозящих...» (Барух де Спиноза. 1632—1677. Этика, 1678. Сразу же после выхода в свет запрещена.)

— Американцы все затормозили!

Шефольд выпалил это, появившись у Хайнштока позавчера, огорченный, сбитый с толку теми трудностями, о которых ему рассказал Кимброу.

— Капитан Кимброу делает все, что в его силах,— добавил он,— но пока не продвинулся ни на шаг.

Хайншток решил не напоминать Шефольду, что предвидел все то, на что жаловался теперь Шефольд.

— Вам удалось узнать, почему они тормозят это дело? — спросил он.

— Якобы по военным соображениям,— сказал Шефольд.— Такие вещи я никогда не запоминаю.

Привычку держать в руке бамбуковую тросточку полковник Р. заимствовал у английских офицеров. Он, собственно, мог и не объяснять Кимброу причины молчания высших инстанций, это даже противоречило всем военным законам и обычаям, но майор

Уилер попросил его так сделать, а полковник Р. редко упускал возможность преподать неопытным молодым офицерам урок оперативного мышления.

— Предположим,—сказал он,—что с точки зрения разведывательной службы все в порядке—хотя это отнюдь не так!—и можно с полной уверенностью считать, что нас не ждет ловушка. Чтобы взять в плен немецкий батальон, занимающий этот район,—палочка совершила круговое движение по карте, висевшей за креслом полковника, от долины Ирена через Винтерспельт вдоль Ура и снова к долине Ирена,—мне пришлось бы двинуть почти весь мой полк. Другими словами: ради тактической импровизации мы должны были бы оставить на целую ночь тщательно продуманное, рассчитанное на долгий срок стратегическое положение. Пока полк не вернулся бы на свои исходные позиции, весь южный фланг дивизии по меньшей мере в течение двенадцати часов был бы оголен. К этому надо добавить, что мы не знаем, как немцы будут реагировать на этот неслыханный инцидент. Можно предположить, что они не только сразу же закроют брешь, но, будучи крайне раздражены, начнут на нашем участке наступление, чтобы скрыть провал и помешать другим последовать дурному примеру. А что это означает, можно не объяснять. Молитесь богу, капитан, чтобы немцам не пришлось в голову начать здесь у нас наступление!

Высказывать возражения, сомнения было немыслимо. Полковник сказал свое слово.

Полковник Р. хотел обезопасить себя. За долгие годы военной службы он пришел к выводу, что при сложном переплетении служебных инстанций никогда нельзя быть застрахованным от неожиданностей.

— И тем не менее,—сказал он,—я сообщу об этом в дивизию. Оттуда передадут в армию. Так что не рассчитывайте, капитан, что все будет решено в два счета!

— Так точно, сэр,—сказал Кимброу и подумал, до чего же он действительно молод и неопытен, если мог предположить, что план командира немецкого батальона будет принят в течение одной ночи. Вместо этого—со второй половины дня в субботу, когда к нему пришел Шефольд, до второй половины дня в понедельник, когда полковник Р. разразился нотацией,—прошло целых двое суток, прежде чем этим делом занялись хотя бы на уровне полка.

Впрочем, вряд ли можно допустить, что Кимброу пересказал Шефольду содержание этой поучительной речи. Хотя он считал

возможным не выполнить приказ, однако не считал возможным нарушить правила секретности. Вероятно, он только намекнул об этом Шефольду или заговорил с ним о военных причинах, которых не существовало и которые любой знаток военного дела — Хайншток, например, — расценил бы как бессмыслицу, но о которых Кимброу мог спокойно рассуждать, потому что заметил, что Шефольд почти не слушает, когда речь заходит о технике ведения войны.

Уже после нотации он спросил Боба Уилера:

— Ты не считаешь, что было бы достаточно моей роты, чтобы захватить в плен тысячу двести безоружных людей?

— Я считаю, что ты насмотрелся фильмов о Диком Западе, — ответил Боб.

— Должен тебя разочаровать, — сказал Кимброу. — Мой отец всегда очень огорчался, что я не ходил в Фарго в кино, когда там показывали вестерны.

Как уже упоминалось, Уилер после этого пытался отвлечь Кимброу от главного, во-первых, заявив, что не надо воображать, будто они, американцы, находятся здесь для того, чтобы избавить немцев или кого-нибудь еще от этого монстра, и, во-вторых, изложив ему свой тезис о создании защитного вала, до такой степени разозливший Кимброу, что он, рассказывая об этом Шефольду, заметил:

— Теперь у меня есть еще одна причина предполагать, что нам не следовало приходить сюда.

Кимброу вернул на землю Уилера, парившего где-то в высоких сферах своих исторических теорий.

— Ты тоже считаешь этого немецкого майора предателем? — спросил он вдруг.

— Нет, конечно, нет, — поспешно ответил Уилер. — Ты не должен осуждать наших людей за то, что они не разбираются в проблемах этих немцев. Большинство из них — стопроцентные американцы, они никогда не выезжали из Штатов, не имеют ни малейшего представления о Европе.

— Полковник сказал лишь то, что думают в армии.

— Не важно, — возразил Уилер. — Представь себе, что дело было бы сделано и Динклагге попал бы в наши руки. Можешь быть уверен, я защитил бы его от любых оскорблений. В первые дни он был бы мой пленный, я бы его допрашивал и потом передал бы в специальный лагерь в Англии. Слово «предатель» никогда не дошло бы до его ушей.



«Я стопроцентный американец,—думал Кимброу,—я никогда не выезжал из Штатов, не имею ни малейшего представления о Европе, не разбираюсь в проблемах этих немцев. Почему, спрашивается, я здесь?»

Когда Уилер и Кимброу уже стояли у дверей, отдавая честь, полковник Р. величественно изрек тоном, не допускающим возражения:

— Кроме того, мы не желаем иметь дело с предателем.

Если в связи с его лекцией об оперативных проблемах еще можно было решиться задать вопрос, высказать, хотя бы намеком, какое-то сомнение—разумеется, в положенной по уставу форме,—то о том, чтобы прокомментировать его последнее замечание, и думать было нечего.

— Соображения военного характера я не запомнил,—сказал Шефольд.—Запомнил только слова полковника: «Кроме того, мы не желаем иметь дело с предателем».

«Бог свидетель, у меня есть моральное право позволить этому Динклаге ввергнуть себя в катастрофу,—подумал Хайншток,—но, когда говорят такое, это уже чересчур».

— Тогда нам, пожалуй, лучше всего дать отбой,—сказал он.

— Да нет же,—возразил Шефольд,—Кимброу все еще считает, что более высокие инстанции решат по-иному. Его полковник, говорит он,—*block-head*<sup>1</sup>, но в штабах дивизии и армии сидят интеллигентные люди. Поэтому я и пришел. Нам надо выиграть время.

И, не обращая внимание на плохое настроение Хайнштока, он все же сказал:

— Эта дама должна внушить майору, чтобы он не терял терпения. Вы полагаете, ей это удастся?

— Боже милостивый, воители небесные!—воскликнул Хайншток.—Ну хорошо, я пойду сейчас в Винтерспельт. Подождите моего возвращения! Сварите себе кофе! Вы знаете, где стоит банка.

Ожидая возвращения Хайнштока, он сварил кофе, полистал книги по геологии и, несмотря на действие своего знаменитого кофе, даже немного поспал. Когда он проснулся, то увидел, что сыч сидит возле него на шкафу, где хранятся камни; серая маска

---

<sup>1</sup> Болван (англ.).

наблюдала за ним и не шелохнулась даже тогда, когда он открыл глаза; так они, не двигаясь, смотрели друг на друга.

В пять часов Хайншток наконец вернулся и заявил, что он умывает руки, потому что Динклагге полностью игнорирует нерешительность американской армии и упрямо настаивает на том, чтобы Шефольд явился послезавтра, в двенадцать часов дня, в штаб батальона в Винтерспельте. (Он скрыл от Шефольда, что Динклагге теперь знает, каким словом охарактеризовал его американский полковник.)

Он объяснил ему схему пути, которую Динклагге начертил для Шефольда и передал через Кэте, перенес чертеж на соответствующий кусок топографической карты, который он вырезал и вручил Шефольду. Шефольд посмотрел на чертеж, но уже тогда, как и позднее, когда сидел на пне, нашел его бесполезным; ему достаточно было, выйдя из Хеммереса и нырнув в сосновый лес, подняться на противоположный склон к востоку от долины Ура, от которой здесь ответвлялась долина Ирена, и он уже был на месте.

— Наверху, на высоте, для вас будет опасный момент,— сказал Хайншток.— Бессмысленно утаивать это от вас. Когда окажетесь там, прежде всего осмотритесь! Не бегите сразу вперед!

— В кофейнике еще есть кофе,— сказал Шефольд и ушел.

Он как раз успел добраться через лес до Хеммереса при последних лучах света. В серых сумерках он спотыкался о корни, но ему незачем было следить за тем, чтобы не нарушать тишину и двигаться осторожно,—он не боялся наткнуться на немецкие посты. По требованию Хайнштока майор уже несколько дней не высылал патрули в долину Ирена. С субботы Шефольд мог вести себя в этом лесу так, словно он член Эйфельского общества, ботаник, открыватель еще неведомого биотопа. (Интерес Шефольда к растениям и кошкам носил чисто эстетический характер.)

Хутор белел в полутьме. Шефольду вдруг стало совершенно ясно, что ему придется покинуть Хеммерес. Американцы не удержатся восточнее Ура. Даже если бы они решились в одну из ближайших ночей пробиться в Винтерспельт, то все равно поспешили бы сразу же вернуться на исходные позиции—Кимброу назвал это рейдом, внезапным нападением с целью захвата 1200 пленных, и можно было предположить, что за этим последует: Винтерспельт, Вальмерат, Эльхерат заняли бы новые немецкие части, и на сей раз, возможно—нет, не только

возможно, но даже наверняка,—выставили бы надежное охранение в Хеммересе, чтобы закрыть брешь в линии фронта, зиявшую как раз там, где находился хутор и лесная долина. Впрочем, незачем забегать так далеко вперед. Даже если ничего не произойдет, если американцы окончательно примут отрицательное решение и из этого странного, назначенного майором Динклагге на послезавтра разговора ничего не выйдет, тогда сам майор займет Хеммерес, закроет щель, через которую просачивались подрывные элементы. Заняв Хеммерес, он тем самым постарался бы похоронить воспоминание о своем неудавшемся предательстве.

Со вторника до четверга оставалось, таким образом, две ночи, которые он, Шефольд, мог провести в Хеммересе. Во второй половине дня в четверг, возвратившись из Винтерспельта после визита к Динклагге, он увидит хутор в последний раз.

Шагая по улице Винтерспельта, он снова задался вопросом—уже в который раз после вторника: что этот Динклагге хочет ему сообщить?

О чем бы ни шла речь, неразумно оставаться на ночь в Хеммересе.

«Надо надеяться,—подумал Шефольд,—что в обратный путь он даст мне другого провожатого. И если выяснится, что я должен явиться к нему еще раз, я откажусь идти через линию фронта». Взглянув на Райделя, он решительно и ожесточенно сказал себе: «Хватит одного раза».

Но, вообще-то говоря, он и представить себе не мог, что еще раз пойдет к майору Динклагге—будь то через линию фронта или любой другой, менее неудобной дорогой.

Дополнительные сведения о Хайнштоке—о том, как он во вторник после полудня заставил Кэте Ленк известить Динклагге о состоянии дел. Известно, что он пришел в ужас, причем настолько, что, как мы уже сообщали, глаза его от испуга стали совсем темными, когда Кэте, вернувшись (он ждал ее в доме Телена, парадная комната в этот будний день была пуста), рассказала ему, что не утаила от Динклагге слова полковника Р., назвавшего майора «предателем». Впервые Хайншток испытал чувство неприязни к Кэте; его внезапное сочувствие к майору Динклагге, этот порыв мужской солидарности, совершенно явно содержал в себе элемент протеста против Кэте.

Но был ли он при этом абсолютно честен с самим собой? Не должен ли он был в то же мгновение задать себе вопрос, который

позднее задавал сотни раз: не он ли виноват в случившемся, ибо, безусловно, было бы лучше, если бы в те послеполуденные часы он умолчал о роковом высказывании американского полковника? Почему же он не промолчал? Может быть, он думал, что Кэте утаит от Динклагэ это типичное для военных слово, ужасное для слуха офицера, оскорбляющее его честь? Нет, он не промолчал потому, что втайне, еще не отдавая себе отчета в побудительных мотивах, надеялся как раз на обратное: что Кэте — как позднее сформулировала она сама — сочла бы себя обманщицей, если бы скрыла от Динклагэ то, что он был вправе узнать. Причем Хайншток, по-прежнему не признаваясь в этом самому себе, заранее сделал выводы: он рассчитывал, что Динклагэ, услышав это, пожмет плечами и откажется от своего намерения.

Кэте верно угадала мысли Хайнштока, ибо в ответ на упрек, что она тем самым поставила под угрозу всю операцию, сказала:

— Ну, тебя-то это как раз бы устроило.

— Ты же никогда в нее не верил и продолжаешь считать ее бессмысленной,— сказала она.

— Разумеется,— ответил Хайншток.— Теперь — тем более. Теперь это вообще всего лишь эпизод, разыгрывающийся между двумя рехнувшимися офицерами. Все это антиисторично. Как марксист я не верю в подобные индивидуальные акции.

Она подавила желание ответить ему, хотя слова вертелись у нее на языке: что индивидуальная акция ей милее отсутствия акции. Аргумент этот, правда, был слишком на поверхности, чтобы не показаться сомнительным ей самой. И кроме того: если человек решил, как решила она, использовать ночь, когда пьеса майора Динклагэ будет разыгрываться на сцене, чтобы исчезнуть за кулисами, то он не имел права рекомендовать другим какие-либо акции, индивидуальные или любые иные.

Сорок часов длилось одиночество Шефольда на хуторе Хеммерес, от вечерних сумерек во вторник до десяти часов утра сегодняшнего дня, четверга, когда он покинул хутор; оно прервалось только визитом Кимброу в среду утром, как раз когда Шефольд собрался пойти в Маспельт, чтобы сообщить американцу, что Динклагэ потребовал встречи на следующий день, и спросить, что он об этом думает. После разговора с Кимброу Шефольд уже не пошел к Хайнштоку, а остался в Хеммересе, читал, готовил еду, думал, мечтал. Пожалуй, среда 11 октября была самым прекрасным из этих прекрасных октябрьских дней 1944 года; бывают такие осенние дни, когда для людей, которым

нечего делать, кроме как ждать, весь мир одевается в золотые и голубые тона.

Конечно, ему хотелось рассказать Хайнштоку о визите Кимброу: «Кстати, сегодня утром, когда я собрался в Маспельт, он пришел ко мне в Хеммерес. Я глазам своим не поверил. Позавтракав, я курил свою утреннюю сигарету, смотрел в окно и вдруг увидел, как из зарослей кустарника на той стороне появляется он, в сопровождении двух солдат. Все трое в касках. Они не остановились, а быстро пересекли луг и пошли по мостику. Когда я вышел из дому, Кимброу уже стоял у крыльца, оба солдата—чуть позади него, с автоматами наготове, а он небрежно, как всегда, ухмыльнувшись, протянул мне руку и сказал: «Doctor Schefold, I suppose?»<sup>1</sup> Я был настолько ошарашен, что даже не засмеялся. Вы только подумайте, господин Хайншток, ведь до сих пор американцы никогда еще не переходили этого мостика и не появлялись на немецком хуторе. Рыболовы, которые раньше спускались к реке, всегда оставались в прибрежных зарослях на той стороне. Это был прямо-таки исторический момент. Хозяин хутора и его жена, словно окаменев, стояли у входа в амбар; Кимброу попросил меня перевести им, что они могут заниматься своим делом, но и после того, как я им это передал, они не решались двинуться с места. Конечно, моей первой мыслью было, что он явился меня арестовать, так как они с Уилером пришли к выводу, что мне незачем здесь больше оставаться, но он сказал только, что хотел проверить, какие чувства испытываешь, когда ходишь по немецкой земле. Он прошелся по двору—туда и обратно, потом вернулся к дому и сказал: «Ощущение действительно совсем другое, чем когда ходишь по земле Бельгии. Или Джорджии. Вы не находите, док,—спросил он,—что границы—удивительная штука? Я люблю границы». Он внимательно все осмотрел—хутор, луг, яблони, реку, лес на склонах, канюка, парившего в небе,—потом сказал, что лучшего места я отыскать не мог. «Кругом война,—сказал он,—а здесь нет. Это как дыра в крыше, никто не хочет приложить усилие, чтобы заделать ее». Только виадук, повисший севернее над долиной, ему не понравился. Я посоветовал Кимброу отойти в укрытие, потому что он стоял как раз на том месте, которое лучше всего просматривалось, но он лишь покачал головой, наблюдая за маленькими фигурками часовых, то и дело появлявшимися из туннеля: слева—в оливковом, справа—в серо-зеленом. Это напоминало игру—они показывались и снова

---

<sup>1</sup> Я полагаю, вы доктор Шефольд? (англ.)

исчезали, словно чья-то рука затягивала их в черноту туннеля; вероятно, он до сих пор не подозревал об этом и, лишь когда я обратил на это его внимание, обнаружил, что там, наверху, на виадуке железной дороги, ведущей из Сен-Вита в Бургрейнланд, его люди и люди Динклагге пришли к молчаливому согласию, к обоюдной договоренности вести себя так, словно война кончилась столетия назад, а они — всего лишь напоминание о ней, как рыцари на башне замка в Лимале. Когда мы вернулись во двор, он сказал: «Для успеха операции очень важно, чтобы майор Динклагге убрал этих часовых наверху». Тут я, конечно, подумал, что он пришел сообщить мне, что его начальство все же решило принять предложение Динклагге о сдаче в плен. Вместо этого он сказал: «Уилер позвонил мне сегодня ночью и уведомил, что командование армии отклонило предложение».

Мы сели на скамью во дворе перед домом. Наверно, он заметил, как я разочарован, потому что не успел я рот раскрыть, как он сказал: «Еще ничего не решено. Вполне возможно, что начальник штаба Ходжеса не выполнит решение армии».

Генерал Ходжес — командующий корпусом. Я спросил Кимброу: «Сколько времени может пройти, пока мы это узнаем?»

Он пожал плечами. «Не знаю. Уилер тоже не знает. Возможно, дело дойдет до Брэдли, может случиться, и до Эйзенхауэра. Уилер сказал: то, что затевает этот немецкий майор, — не военная операция, а высокая политика».

«Поэтому у меня еще осталась какая-то надежда», — добавил он.

«Не знаю, разделяет ли майор Динклагге ваши надежды, — сказал я, — и вообще не знаю, что он намерен делать. Он потребовал, чтобы завтра в двенадцать часов дня я явился к нему».

Можете себе представить, господин Хайншток, что, услышав это, он просто онемел. Он только воскликнул «О!», потом встал, принялся расхаживать взад и вперед и, сев снова возле меня, сказал: «Может быть, это и хорошо, если вы пойдете. Вы должны теперь лично уговорить его дать нам срок».

Мы условились, что он сразу же известит меня, если еще перед моим походом к майору Динклагге получит окончательный ответ от своего командования».

Такого ответа капитан Кимброу своевременно не получил.

«Вы знаете, что он добавил напоследок? — сказал бы Шефольд Хайнштоку, если бы еще раз зашел к нему в среду. — Он добавил,

что ему очень хотелось бы осуществить этот рейд одному, силами своей роты, если армия действительно откажется.

Кстати, господин Хайншток, вы должны еще знать, что мы вели этот разговор хотя и не совсем шепотом, но невольно очень тихо, вполголоса, из-за двух часовых, стоявших все время рядом с автоматами наперевес, лицом к лесу, по которому я всегда к вам хожу».

Шефольд представлял себе, как отреагировал бы Хайншток, если бы он пришел к нему и рассказал эту историю.

«Но вы, вы могли бы на этом основании отказаться!» — воскликнул бы Хайншток раздраженно.

И тогда пришлось бы ему возразить:

«Нет, именно этого я и не мог сделать. Как же вы не понимаете!»

Так что бессмысленно снова, в последний раз затевать спор с Хайнштоком. Начинать новую полемику было слишком поздно.

Возможно, Хайншток действительно не понял, почему Шефольд в конце концов не вышел из игры. Правда, он очень быстро, не позднее вторника, сообразил, что это Кимброу не хотел отступать, предавался иллюзиям и, желая того или нет, не позволял отступить и Шефольду; это Хайнштоку стало ясно, когда Шефольд явился к нему с поручением передать майору, чтобы тот проявил терпение. Такая рекомендация не могла исходить от американской армии, она могла быть только плодом глупых фантазий Кимброу — вывод, который объясняет, почему Хайншток сказал Кэте, что все это «теперь лишь эпизод, разыгрывающийся между двумя рехнувшимися офицерами».

Что не помешало ему самому, Венцелю Хайнштоку, человеку, знавшему, что такое фашизм, опытному стратегу Сопротивления, сказать себе, что и он не сделал ничего, чтобы эта затея своевременно лопнула.

В среду он весь день ждал известий от Шефольда — вот-вот тот появится и сообщит, что Кимброу отменил его визит, самовольно назначенный этим господином в Винтерспельте. Когда Шефольд не появился, он понял, что ничего уже сделать нельзя. И всю ночь не спал, наблюдая за тем, как передвигается в темноте хижина сынч, в природе которого — не спать по ночам.

Кладовая для инструментов возле сеновала на одном из дворов Винтерспельта. На таких дворах все находится под одной крышей: амбар, хлев, жилье крестьянина.

Вчера ночью они стояли друг против друга в этом сарае, где горел фонарь, сплетавший в путаные жгуты теней конскую сбрую, оглобли, колеса, плуги, бороны, стремянки, мотыги. Порядок царил только возле одной из балок, к которой были прислонены винтовки и на которой аккуратно висели каски, портупеи, котелки, все наготове, равно как и сапоги, стоявшие возле винтовок,— стоптанные, со сморщенными голенищами, но начищенные до блеска.

Борек был в рубашке и кальсонах (из запасов вермахта), к которым пристали соломинки; Райдель же, прежде чем пойти за Борекон, успел надеть в темноте брюки. Чей-то сонный голос сказал ему: «Ты что, рань такая!»

— Свинья!

Думая о вчерашней стычке с Борекон, он вспомнил прежде всего о том, как тихо звучали их голоса, каким полным ненависти шепотом говорил Борек. Он не бушевал, не шумел, во всяком случае, не разбудил других, тех десятерых, которые спали рядом, не сделал их свидетелями его преступления.

— Я знаю. Ты это мне уже однажды сказал.

Но не имело ни малейшего смысла пытаться перевести разговор на то, что было раньше, изображать оскорбленного и непонятого. Ненависти в шепоте Борекон не поубавилось ни на йоту.

— Не потому ты свинья, что педик. Я знаю, что такое бывает. Но то, что такой вот рвет книги...— Он замолк, видно, не нашел слов. Потом передразнил его: — «На евреев мне плевать». И это говоришь ты!.. И потом рвешь книгу, без которой я в этом аду не могу жить.

— Тебе же сказано: я только хотел сделать так, чтобы тебя не упекли в концлагерь.

— За это я тебя туда упеку. Ты вообще-то знаешь, что делают с гомосексуалистами в концлагерях?

Он попал в самую точку. На это Райдель не решился ничего сказать.

— Коммунистам они нашивают красные метки, евреям— желтые, сектантам и священникам— черные, а гомосексуалистам— розовые.

Теперь была его очередь с ненавистью уставиться на Борекон. Кстати, Борек не открыл ему ничего нового; он сам уже слышал об этом или даже читал в какой-то газете. Взбесило его то, что кто-то посмел сказать ему это в лицо. Но Борек словно и не замечал, что Райдель с трудом подавляет свою ярость. Взгляд его



вдруг стал отсутствующим, он сказал:

— Хотел бы я знать, какой цвет они выделяют для меня, если я туда попаду?

Райдель подумал: «Это ты еще увидишь». Он выжидал.

Борек сказал:

— Самое время тебе получить розовую метку. Не потому, что ты приставал ко мне, а потому, что иначе ты никогда не узнаешь, где твое место. Тебе надо было бороться, сопротивляться, а ты вместо этого приспособливался. Наверно, ты еще и гордишься, что все эти годы приспособливался, только и делал, что приспособливался, подлый ты трус! И что из тебя вышло? Подлец, который только и умеет, что муштровывать других! Снайпер! Скольких людей ты прикончил?

— Я не считал.

Это была неправда. Он их считал.

Молчание. Собственно, говорить уже было не о чем. Но он хотел полной ясности.

— Значит, из-за этого ты хочешь подать на меня рапорт?

— Конечно. Только из-за этого.

Борек не поднимал шума, никого не будил. У него не было свидетелей. Но это ничего не значило. Запись в личном деле окажется сильнее, не помогут никакие отговорки. По сравнению с такой записью все остальное — чепуха. Из-за этого он не мог стать унтер-офицером. Даже унтер-офицером. Такая запись наверняка была в штабе батальона. Она решит его судьбу.

Борек, казалось, вдруг устал, ему сделалось противно.

— Мало того, что я угодил в солдаты, теперь еще ко мне пристаёт субъект вроде тебя...

После этого Борек начал нести всякую чушь, рассказывать, что думают о нем, Райделе, другие; главным обвинением было то, что он распространяет вокруг себя ужас, — со смеху помрешь от таких заявлений.

Теперь его отделяло всего лишь десять шагов от канцелярии этого кавалера Рыцарского креста.

«Не приспособливаться, сопротивляться — легко говорить такому сосунку, который знай себе книжонки почитывает, который никогда не служил в отеле», — подумал Райдель; но занимало его не это, а слова: «свинья» (один раз Борек уже это сказал в Дании, значит, с Дании он затаил на него зло за то, что он, Райдель, желая защитить его, разорвал ту еврейскую книжонку), «подлый трус», «негодяй, который только и умеет, что муштровывать других», «снайпер» (в его детском, восемнадцатилетнем

мозгу это, наверно, означало то же самое, что «убийца»); но хуже всего было услышать от этого сопляка слова «субъект вроде тебя» (гораздо хуже, чем прямые оскорбления);

всего этого, а возможно, и его рапорта я бы избежал, если бы смог произнести самую простую фразу, сказать которую было куда проще, чем пытаться ублажить его; сказать, что он хрупкий, весь прозрачный мальчишка-фантазер, с такой тонкой кожей, что через нее, кажется, может пройти дождь. Если бы он слышал это, он бы наверняка смекнул, в чем дело.

«Но у меня, видно, котелок не варит,—подумал Райдель.—Мозги—это тебе не пикирующий бомбардировщик, в точку не всегда попадешь.

Вместо всего этого я ни с того ни с сего стал его щупать. Определенно я был тогда не в своем уме».

Канцелярия батальона. Потрясающе, как все здорово получилось! А ведь казалось почти невероятным, что все пройдет так гладко. Ни разу на пути от окопа до командного пункта никто не остановил его, не потребовал объяснений и прочее.

Теперь будет несколько неприятных минут. Но с этими жлобами в канцелярии он уж как-нибудь управится.

Наконец-то он у цели! Времени разглядывать дом (полугородского типа, безликий, покрытый серой штукатуркой) у Шефольда уже не было; он поднялся по ступенькам ко входу, открыл дверь; Райдель, не отступая ни на шаг, молча, одним движением головы—отвратительный до предела!—велел ему пройти вперед. Остановившись в прихожей, он услышал лишь стук пишущей машинки.

«Логово льва,—подумал он.—Я в безопасности».

Вот, значит, как выглядит этот Шефольд!

Но удовлетворить свое любопытство, рассмотреть Шефольда—высокий, грузный, краснолицый, седые английские усики, почему Хайншток никогда не говорил ей, что он носит усы?—составить первое представление ей помешало то, что солдат, который его конвоировал, вдруг как-то невероятно злобно дернул головой, резко крутанул ею слева направо и вверх, как бы приказывая пленному (а он явно обращался с ним как с пленным) пройти вперед. Так, именно так вели они себя, наверно, в Ораниенбурге, судя по скучным рассказам Хайнштока: молча, резко, не допуская возражений, презрительно. Этот маленький жилистый обер-ефрейтор—она разглядела два сереб-

ряных уголка на его рукавах, но не его лицо, полуприкрытое тенью от каски,—наверняка отвратительный тип.

Но этот искусствовед, над которым явно нависла угроза, казалось, не обращал никакого внимания на то, что с ним объяснялись языком жестов, языком презрения и террора. Спокойно, с независимым видом, а может быть, просто ничего не подозревая, беззащитный, он поднимался по ступенькам.

Она стояла у окна большой комнаты Телена, у того самого окна, откуда однажды ранним утром, почти еще ночью, смотрела на майора Динклагге, ожидавшего ее. Теперь был дневной свет, полуденный свет неяркого солнечного осеннего дня. Кэте показало, что со 2 до 12 октября прошла вечность.

Всего лишь секунду, возможно, полсекунды длилась эта пантомима, ничтожная по своей продолжительности, своим масштабам, но, должно быть, тяжкая, невыносимая для Шефольда. «Одного поворота головы этого солдата оказалось достаточно,—подумала Кэте,—чтобы я мгновенно поняла то, что подозревала с самого начала: все было неправильно, я не должна была подчиняться требованию Динклагге, чтобы Шефольд пришел к нему через линию фронта». Она решила сразу же, как только переговоры окончатся и Шефольд уйдет—надо надеяться, не в сопровождении того же солдата!—зайти к Динклагге и объяснить ему значение этого кивка головой, этого быстрого движения вбок, слева направо и вверх. Надо очень точно описать его. Если ей это не удастся, Динклагге только пожмет плечами, скажет: «Ну, лишь бы у него других неприятностей не было, а уж плохое поведение солдата он как-нибудь переживет!».

Подумать только, что Шефольд ни за что ни про что должен терпеть дурное обращение со стороны этого солдата! Ведь то, что его вызвали сегодня сюда, не имело ровным счетом никакого значения для операции, было всего лишь странной идеей того, кто ее затеял («Нет, только запланировал, а затеяла ее я»,—подумала Кэте),—толку от этого визита не могло быть никакого. У майора нет ни малейшего шанса изменить положение. Ему не повезло. Его партнеры не спешили, возможно, они уже перестали играть в эту игру, потеряли к ней интерес; один из них даже оскорбил майора Динклагге. И если он все же потребовал прихода Шефольда, то лишь потому, что хотел назначить американцам срок, поставить ультиматум. Реакция, свидетельствующая о желании сделать по-своему. Кэте поправила очки и взглянула на дверь, которая закрылась за обер-ефрейтором. «Вообще говоря, странно,—подумала она,—не похоже это на Динклагге. Ему никогда не приходило в голову ставить ультиматум мне».

Если он через Шефольда передаст американцам свой ультиматум относительно срока, размышляла она, то, наверно, речь пойдет о сегодняшней ночи, ибо зачем ему ждать завтрашнего или послезавтрашнего дня? (Вот почему Хайншток был прав, когда примерно четверть часа спустя сказал Кэте: «Ты, видимо, все еще надеешься, что произойдет чудо и придут американцы — сегодня ночью».) Нет, такой надежды у Кэте, собственно, уже не было, только иногда она тешила воображение, вспоминая ночную встречу и свою первоначальную надежду, но, как только Райдель закрыл за собой дверь канцелярии и Кэте поправила очки, эта надежда исчезла.

Позднее, когда она узнает от Динклаге, что из его переговоров с Шефольдом ничего не вышло, ей останется одно: попросить, чтобы он приказал занять долину Ирена и хутор Хеммерес лишь завтра утром. Он выполнит это ее желание и наверняка даже не спросит о причинах.

Так что она пойдет к нему все же с другой целью — не только для того, чтобы объяснить этот кивок головой, в котором чувствовалась угроза.

Она вышла, взяла велосипед Терезы, прислоненный к стене конюшни. По дороге к Хайнштоку ей пришло на ум, как охарактеризовать Шефольда, и этой своей характеристикой она только разозлила Хайнштока. «Настоящий аристократ. Свергнутый властелин». И потом: «Какой-то особенно беззащитный».

Райдель резко постучал в дверь, за которой слышался стрекот пишущей машинки, и сразу же открыл ее.

Никто не сказал: «Войдите», — и ждать, пока это скажут, было незачем.

Райдель знаком велел Шефольду подойти и стать у стены справа от двери, отметил, что в канцелярии полно народу: батальонный фельдфебель, унтер-офицер писарь, приданный ему ефрейтор, унтер-офицер счетовод. Все они повернули головы к нему и к Шефольду; ефрейтор, когда они вошли, сразу перестал стучать на машинке; да, они тут в полном сборе, чернильные души. Райдель вытянулся по стойке «смирно» и, устремив взгляд на фельдфебеля, отрапортовал.

Тем временем Шефольд принялся рассматривать портрет Гитлера, висевший на стене за спиной Каммерера; Гитлер был изображен в виде рыцаря на лошади, прямо перед собой он держал меч, руки его лежали на рукоятке меча так, словно он приготовился к молитве, и из рыцарских доспехов XII века

выглядывало озабоченно-серьезное лицо почтового служащего — сравнение это Шефольд сразу отбросил, потому что любил почтовых служащих; нет, это было лицо палача, старающегося походить на почтового служащего; какой-то болван художник решил придать именно этой голове формы и краски, характерные для изображения рыцарских ритуалов и доблестей — посвящение в рыцари, умеренность, служение даме, возвышенная любовь, верность и христианское милосердие; это была самая скверная шутка, какую когда-либо видел Шефольд; может быть, из всех портретов Гитлера Динкляге выбрал для своей канцелярии именно этот — а повесить данного субъекта он должен был, не мог не повесить! — только потому, что это была скверная шутка, не более того...

...и лишь потом он обратил внимание на четырех людей в мундирах, сидевших друг против друга за двумя составленными вместе столами; сначала все они повернули лица к нему и только спустя секунду — к солдату, который как раз отдавал рапорт, так что теперь он наконец узнал его фамилию.

— Обер-ефрейтор Райдель, вторая рота, привел штатского, — рапортовал Райдель. — Этот человек появился возле окопов и утверждает, что на двенадцать часов у него назначена встреча с господином майором.

Какое-то время Каммерер молчал и, откинувшись на спинку стула, неторопливо рассматривал Райделя.

Затем он наконец соблаговолил открыть рот:

— Вы хотите сказать, Райдель, что самовольно отлучились с поста?

— Мне ничего не оставалось, — выпалил Райдель. — Прошу господина штабс-фельдфебеля принять во внимание, что сегодня невозможно было связаться ни с кем из вышестоящих начальников. Кроме того, — он рискнул, продолжая стоять по стойке «смирно», сделать головой кивок в сторону Шефольда, — этот человек предъявил не вызывающие сомнения документы.

Аргумент относительно невозможности связаться с вышестоящими начальниками пришел ему в голову как раз вовремя, на улице. Этому доводу просто цены не было. В глазах Каммерера он увидел недовольство.

Тем временем Шефольд позволил себе неслыханную вольность. Он решил не стоять больше в позе человека, доставленно-

го сюда принудительно, то есть на известном расстоянии от стены, возле которой его поставили, а прислониться к ней, небрежно выставив правую ногу. Точно скульптура: одна нога опорная, другая—несущая меньшую нагрузку. Левой рукой он вытащил из кармана пиджака пачку сигарет и зажигалку, спокойно подержал оба предмета, не глядя на них, потом вытянул правой рукой сигарету из пачки, сунул ее в рот, молниеносно поменял в руке положение зажигалки и пачки, какой-то миг сосредоточенно смотрел на пламя маленькой серебрян-ристой-черной зажигалки и только потом вновь оглядел канцеля-рию, в которую, он это чувствовал, его привел злой рок. Это не значит, что Шефольд не слушал внимательно диалога между Каммерером и Райделем, и тем не менее он вздрогнул от неожиданности, когда Каммерер обратился к нему. Поскольку Каммерер не добился толку от Райделя, а Шефольд разозлил его своей сигаретой и поскольку он точно не знал, можно запретить этому человеку курить или нет, он резко спросил:

— А вы? Как вы, собственно, оказались у наших окопов?

— Меня зовут Шефольд,—сказал Шефольд, отделяясь от стены и слегка кланяясь.—Доктор Шефольд. Я живу в Хеммересе. Могу я просить вас доложить обо мне господину майору Динклагге? Если он сочтет нужным, он наверняка сообщит вам все, что вас интересует.

Ответ этот не был случайным, именно о таком ответе они договорились заранее—он, Хайншток, эта дама и майор. Хайншток, ничего-не-упускающий-из-виду, предусмотрел и это:

— Сначала вы попадете к кому-нибудь из ближайших подчиненных майора, и тут может возникнуть ситуация, при которой вам не удастся от молчаться. Тогда спокойно скажите правду—что вы пришли из Хеммереса. Все остальное предоставьте майору. Тому, кто станет допытываться, он может ответить, что это дело начальника разведки. О задании, которое ему дает начальник разведки полка, он обязан молчать. «Очень разумно»,—заметил Динклагге, когда Кэте передала ему эту тактическую инструкцию.

Ни один из четверых не учел вот чего: что человек, не принадлежащий к числу ближайших подчиненных майора, но зато внимательно слушающий, начнет размышлять. Примерно так: мне он не сказал, что живет в Хеммересе. Если он живет в Хеммересе, то как же он познакомился с командиром? А делал

вид, будто знаком с ним, болтал о Рыцарском кресте. Откуда он знает, что у майора есть Рыцарский крест, если, живя в Хеммересе, никогда его не видел? Как он мог договориться с ним о встрече? Хеммерес отрезан, находится на ничейной земле, никто из наших никогда туда не ходит, как же все это получается?

«Тут что-то не так»,—подумал Райдель.

Но его размышления были прерваны, да и штабс-фельдфебель не успел осуществить свое нехотя принятое решение войти в кабинет Динклаге и доложить о Шефольде, ибо дверь, на которой висела табличка с надписью «Командир», открылась и появился майор; какой-то миг он стоял, опираясь на палку, потом совершенно запросто подошел, хромая, к Шефольду, протянул ему руку и сказал:

— Господин доктор Шефольд, не так ли? Рад с вами познакомиться. Проходите ко мне!

Оба господина обменялись рукопожатиями.

Вот теперь-то и вышло наружу, что они друг друга в глаза не видели. «У меня назначена встреча с командиром вашего батальона майором Динклаге». Райдель, понятия не имевший о том, что такое «знание людей», мог точно сказать, когда кто-то лгал, а когда—говорил правду. Итак, теперь ясно, что они ни разу не видели друг друга и все же условились о встрече. С какой целью и каким образом шеф условился о встрече со штатским, появившимся со стороны противника на передовой, у окопов? Очень уж все это подозрительно.

Каммерер, не задумывавшийся над тем, откуда к его командиру приходят посетители, или просто не сомневавшийся, что всегда сумеет это разузнать, остановил Динклаге, пока тот не исчез еще вместе с Шефольдом в своей комнате.

— Господин майор,—сказал он,—обер-ефрейтор Райдель осмелился отлучиться с поста, чтобы доставить сюда этого господина.

Динклаге повернулся на каблуках, посмотрел на Райделя и сказал:

— Ах, так это и есть Райдель!

Значит, Борек еще ночью написал свой рапорт и сразу же после побудки отнес его в канцелярию роты. В Винтерспельте ротному фельдфебелю достаточно было сделать несколько шагов,

чтобы положить бумагу на стол штабс-фельдфебеля. Просто потрясающе, как быстро они работают, когда сталкиваются с таким вот делом. Интересно, когда командир прочитал писульку, состряпанную Бореком? В девять, в десять, в одиннадцать? Во всяком случае, достаточно своевременно и потому мог теперь уставить на него и сказать, обращаясь не к нему, а ко всей канцелярии (или к самому себе): «Ах, так это и есть Райдель!» — с ударением на словах «это и есть», так что теперь уже можно не сомневаться: у них есть кое-что против него.

Динклагге снова повернулся к штабс-фельдфебелю.

— Ладно, Каммерер! — сказал он. — На сей раз, в виде исключения, обер-ефрейтор действовал правильно. Позвоните в роту и сообщите об этом!

Все вышло так, как он и думал! «Обер-ефрейтор действовал правильно». Обер-фельдфебель и Вагнер сдохнут от злости.

Тем не менее Райдель признался себе: он не рассчитывал, что все пройдет *так* гладко. Не потому ли все прошло так гладко, что и другие хотели этого? Впрочем, что означает «*другие*», спросил он себя, когда речь идет о командире?

Хорошим признаком было то — как сразу же понял Райдель, — что командир не глазел на него, как глазеет нормальный на педика, с отвращением, будто ему и подумать страшно, что такое бывает.

Как же он на него поглядел? Как педик на педика? Ничуть. Посмотрел просто так. Неплохо, в общем-то, посмотрел.

Но и это уже было ему знакомо — сочувствие офицеров, которые относились к нему снисходительно, спокойно, потому что прочитали запись в его личном деле. Этого он совсем не мог выносить. Каждый раз, когда ему демонстрировали благорасположение, он думал: «Пошел-ка ты куда подальше!» Унтер-офицером ни один из них его не сделал. Так далеко их любезность не распространялась. Уж лучше строгое начальство, за версту видишь, что эти господа запаха твоего не переносят, но зато с ними крутить не надо, им можно показать свою выправку, удаль, так что они в конце концов только плечами пожмут и сдадутся перед твоей хваткой.

Но в данном случае и в данный момент все, пожалуй, зависело вот от чего: тот факт, что он был педик, сам по себе не вызывал у



шефа раздражения. Возможно, он понимал, что и такой человек может иногда сорваться, хватить через край. Тем, кто бегал за бабами, они всегда сочувствовали: любое свинство, которое те учиняли, вызывало только хохот.

Словно вспомнив вдруг что-то, Динклаге снова остановился.

— Райдель останется здесь,— сказал он Каммереру.— Потом он отведет господина доктора Шефольда к тому месту, откуда его привел. Он знает это место.

— Слушаюсь, господин майор,— сказал Каммерер.

Райдель скорее почувствовал, чем увидел жест Шефольда, потому что взгляд его, как и взгляды всех остальных, был устремлен на Динклаге. Но он заметил протестующее движение руки, державшей сигарету, и приготовился к тому, что сейчас незнакомец начнет возражать, но Шефольд ничего не сказал— видно, передумал, подошел к столу, произнес: «Разрешите?»—и потушил свою сигарету в пепельнице Каммерера.

— Мы будем заняты час-полтора. Позаботьтесь, чтобы нам принесли поесть!—сказал Динклаге своему штабс-фельдфебелю. Затем, прикоснувшись к руке Шефольда, предложил пройти в кабинет и закрыл за собой дверь.

— Возьмите себе стул!—сказал Каммерер.

Райдель снял с плеча карабин, аккуратно поставил в угол между стеной и шкафом, так чтобы карабин не мог упасть, пододвинул себе стул и сел рядом со своим оружием; сидел он очень прямо, глядя перед собой, а четыре канцелярских оболтуса снова принялись за работу, не обменявшись, как ни странно, ни словом,—кроме стрекота машинки и шелеста бумаги, ничего теперь не было слышно.

Через какое-то время Каммерер снова откинулся на спинку стула—как совсем недавно, когда Райдель отдавал рапорт,—и пристально посмотрел на него. В тот же момент прекратился стук пишущей машинки. Райдель сидел не шевелясь.

— Ну и кашу же вы заварили,—сказал Каммерер.

Райдель тотчас вскочил, стал навывтяжку, прокаркал своим высоким, резким голосом:

— Докладываю, господин штабс-фельдфебель: рядовой Борек—враг рейха.

О Каммерере мы пока ничего не знаем, кроме того, что он родом из Тюрингии, штабс-фельдфебель 4-го батальона

3-го полка 416-й пехотной дивизии и член национал-социалистской партии. Предположим, что он уже до войны решил стать профессиональным солдатом («дюжинщиком»<sup>1</sup>), потому что его слесарная мастерская в Апольде себя не очень оправдывала. Далее, снабдим его семьей (жена и трое детей), которая значила для него немало, однако постоянно находится с ней не было его главным желанием. (Существуют ведь и чувства среднего накала.) По всей вероятности, фигурой и лицом он похож на большинство штабс-фельдфебелей, этих прямых, крепко сбитых, надежных людей, обладающих непрерываемым авторитетом у подчиненных; среди них — если иметь в виду среднестатистические данные — едва ли встретишь людей с чувственными губами, беспокойно бегающими глазами, мягким подбородком и пухлыми щеками, свидетельствующими о нерешительности, или с изборожденным морщинами от постоянных раздумий лбом. Зато для штабс-фельдфебелей характерна общая умеренность и твердость. На их лицах отдельные детали смонтированы очень прочно. Эти люди обладают особым даром ораторства и проявлять чувство справедливости.

(Надо признать: мы пытаемся здесь реабилитировать штабс-фельдфебелей. Их рычание знакомо всем. Что касается справедливости, то каждый солдат знал, что он найдет ее скорее у штабс-фельдфебеля, чем у фельдфебелей в частях. Например, когда речь идет о предоставлении отпуска. К тому же штабс-фельдфебели были взяточниками. Хороший штабс-фельдфебель обладал тонким чутьем, позволявшим умело все уравнивать. Вот что мы называем справедливостью.)

Мы вовсе не собираемся исследовать здесь, почему Ханс Каммерер, штабс-фельдфебель и владелец слесарной мастерской из Апольды (Тюрингия), состоял в партии, которую возглавлял человек, висевший у него за спиной в доспехах рыцаря. Или почему он — как констатировал майор Динклаг — еще в Дании перестал носить партийный значок. В данный момент это совершенно неважно, ибо, когда обер-ефрейтор Хуберт Райдель доносит на рядового Борека как на врага рейха, Каммерер даже не вспоминает про партию. Такой вывод можно сделать, если заметить (все, кто присутствует в канцелярии, замечают это, в том числе Райдель, в первую очередь Райдель), как меняется его взгляд, в котором сначала отражается неприятное удивление, потом откровенная антипатия и вслед за тем крайнее отвращение, пока он в упор смотрит на Райделя. Как правило, на лице

---

<sup>1</sup> Профессиональный солдат вермахта, завербованный на двенадцать лет.

его, отличающемся умеренной твердостью, нельзя прочесть никаких движений души. Зато сейчас можно. Оно даже покрывается—не румянцем, нет, а каким-то темным пигментом, цвет которого нельзя точно определить, пигментом омерзения. Если бы можно было услышать мысли Каммерера, то они почти наверняка звучали бы так: «Ну и подонок! Подобного свинства я еще не встречал! Если такие вещи начнут повторяться, батальону крышка!»

Так или примерно так. Через некоторое время он уже взял себя в руки.

— Мне, обер-ефрейтор, вы вообще не имеете права докладывать,—сказал он.—Держитесь служебного порядка. Но одно могу вам сказать: если вы финтите в надежде отвлечь внимание от собственного свинства, то знайте: этот номер у вас не пройдет.

— Так точно, господин штабс-фельдфебель!

— То-то же, а теперь проваливайтесь! Идите и получите свою порцию еды! Можете пока здесь не появляться! Вы нам отравляете воздух, обер-ефрейтор! Понятно?

— Так точно, господин штабс-фельдфебель!

Он взял карабин, повесил его через плечо, еще раз стал навтыжку, щелкнув каблуками, вытянул вперед правую руку, повернулся кругом и вышел из канцелярии.

Поскольку на голове у него была каска, он не снимал ее. Только пилотки полагалось снимать при входе в канцелярию.

Каммерер мрачно сказал ефрейтору:

— Позвоните в роту, чтобы они там не трогали эту сволочь. Сообщите, что ему приказано, как поест, явиться к командиру!

Писарь, наглый студент, спросил:

— Могу я употребить выражение «сволочь», штабс-фельдфебель?

— Посмейте только!—сказал Каммерер, даже не ухмыльнувшись.

Итак, во-первых, он действовал правильно. Динклагэ это подтвердил, все слышали. Во-вторых, его оставили для выполнения особых поручений командира. Он с нетерпением думал о том, не сорвет ли задание майора этот незнакомец, если пожалуется на него, категорически откажется идти обратно в его сопровождении. В-третьих, он сразу же нанес ответный удар. Штабс-фельдфебель с радостью бы его прикончил, но ему на это

плевать. Важно только одно — сразу и беспощадно нанести ответный удар. Он мог бы, конечно, притвориться дурачком, ответить: «Прошу господина штабс-фельдфебеля объяснить, какую кашу я заварил». С точки зрения служебного порядка это было бы правильнее, но ничего бы не дало, пустой номер. Теперь все они уже обмозговывали его рапорт, понимали, что на них надвигается очень и очень неприятное дело. Донос на Борека — это был удар в самую точку. Нападение — лучшая оборона. Даже у штабс-фельдфебеля котелок наверняка начал варить, и он смекнул, что Райдель, если его загнать в угол, не остановится перед тем, чтобы подать рапорт и на него, штабс-фельдфебеля, за то, что он, проявляя небрежность, не занялся сразу врагом рейха. За то, что отказывается считать беспредметным донос о мнимом гомосексуализме, поступивший от врага.

Довольный собою, Райдель шагал к полевой кухне. Свернув на хозяйственный двор, принадлежавший Мерфорту, он увидел, что новобранцы уже вернулись. Они стояли в очереди у полевой кухни, некоторые уже хлебали из своих котелков. Сегодня после обеда они будут заниматься чисткой оружия и починкой одежды. Это значило, что и после обеда часовых на передовой будет не густо, как и утром.

Он сразу же натолкнулся на Вагнера, выпуклые глаза которого при виде его чуть не вылезли из орбит; как и следовало ожидать, он сразу же выдал все, что положено («Вы как, собственно, здесь очутились?», «Нет, надо же, вы, значит, разгуливаете, когда обязаны быть на посту!», «Неслыханный проступок» и т. д.). Райделю теперь было на все это наплевать, он даже не стал придерживаться общепринятой формы ответа, а просто сказал:

— Справьтесь в батальоне, если вам что-то от меня надо!

Вагнер:

— Вы как, собственно, со мной разговариваете? У меня просто руки чешутся арестовать вас не сходя с места.

Но тут появился ротный писарь, что-то пошептал фельдфебелю, и тот, покачав головой, отстал от Райделя.

То, что Вагнер перед новобранцами накинулся на него, опытного обер-ефрейтора, объяснялось, конечно, тем, что он знал о рапорте Борека и решил, что теперь с Райделем можно вообще не считаться. Наверно, этот идиот вообразил, что он, Райдель, из-за рапорта Борека совсем свихнулся, ушел с поста и бродит теперь в полном отчаянии.

Райдель огляделся. Перехватил устремленные на него взгляды — люди тотчас отводили глаза. Видимо, все, кто стоял здесь, на этом дворе, уже знали про него. «Ну и идиот же я,— подумал Райдель,— вообразил, что инстанции — дело надежное, ничего не просочится».

Значит, Фриц Бореk был еще в состоянии дойти до полевой кухни, не остался на квартире, измочаленный, выжатый после учений «передвижение на местности». Он сидел на дышле, рядом с ним — другой новобранец. Когда Райдель подошел к Бореку и встал рядом, тот, другой, немедленно исчез.

Райдель сказал:

— В батальоне очень интересуются тем, что ты читаешь еврейские книжки. И что без них ты не можешь жить в этом аду.

Так как ответа не последовало, он добавил:

— И тем, что я, по твоим словам, приканчивал людей. И что я должен сопротивляться, вместо того чтобы приспособливаться.

Бореk поднял к нему лицо. Если бы сейчас начался дождь, подумал Райдель, он прошел бы сквозь его кожу.

— Я очень сожалею,— сказал Бореk,— что написал этот рапорт. Правда, теперь я жалею об этом. Ты наверняка думаешь, что я говорю так потому, что боюсь тебя. Но я тебя не боюсь. Что со мной может случиться? Ничего. Я ничего не боюсь. Я только хотел сказать тебе, что сожалею.

Райдель никогда не ошибался, всегда точно чувствовал, когда человек говорит правду.

— Слишком поздно,— сказал он,— теперь уже все слишком поздно.

Он спросил себя, что думают другие, видя, как они доверительно, почти дружески беседуют с Бореком.

И пошел с котелком за едой.

В половине первого, после того как ординарец принес обед для обоих господ в кабинет командира и снова ушел, в канцелярии остались только два унтер-офицера: писарь и счетовод. Штабс-фельдфебель и ефрейтор отправились на обеденный перерыв.

Счетовод вдруг прервал свою работу и спросил:

— Ты видел?

— Что? — переспросил писарь.

— А то, что этот,— он кивнул в сторону двери, за которой находились майор и Шефольд,— курил американскую сигарету.

Писарь лишь опустил уголки губ и поднял плечи.

— Слушай,— сказал счетовод,— это же потрясающе. Настоящая американская сигарета! Я ее не только видел, я чуял запах. Я достаточно долго работал в гамбургском порту, знаю, как они пахнут.

— Ладно, успокойся! — сказал писарь. — Я некурящий, ничего в этом не понимаю.

— Зато я понимаю,— сказал счетовод,— и говорю тебе, он курил американскую сигарету. Я даже видел пачку. Марку я разобрать не мог, потому что он все время прикрывал пачку рукой.

Тут у него возникла идея, он встал, подошел к столу штабс-фельдфебеля и начал тщательно рыться в пепельнице, потом вытащил окурок Шефольда.

— Вот она,— сказал он. — Можно не сомневаться, окурок от американской сигареты. К сожалению, он ее докурил почти до конца, марку уже не разобрать. Но такой табак только у американцев. Посмотри, какой светлый!

Он растер окурок в руках и протянул на ладони своему собеседнику, который бросил на него равнодушный взгляд.

— Откуда этот тип добывает такие сигареты? — спросил счетовод.

— Наверно, трофейные,— ответил писарь и снова занялся своим делом.

— Трофейные! С каких это пор у нас американские трофеи? Скорее, это у них — наши трофеи.

— Поосторожнее,— сказал писарь. — И кроме того: ну что тебе известно? На этой войне чего только не бывает!

Счетовод подумал, что действительно лучше не касаться этой истории с сигаретой, не докапываться, как она попала в их канцелярию. Он понюхал табак, оставшийся у него на кончиках пальцев. Запах напомнил ему о временах, когда он работал в гамбургском порту. Потом он стряхнул крошки табака — виргинский, подумал он, — в пепельницу штабс-фельдфебеля Каммерера.

## КАПИТАН КИМБРОУ

### *Маспельт, 13 часов*

Трудно было обижаться на этого немецкого майора за то, что он устал ждать и потому не мог заставить себя и дальше проявлять терпение, а ультимативно передал через Шефольда, что операция должна состояться следующей ночью. Следующей ночью или никогда. Кимброу был с самого начала на его стороне: по многим причинам это дело нельзя было откладывать в долгий ящик. Что, если Боб окажется неправ и в штабе армии в последний момент милостиво соизволят взять в плен полностью укомплектованный немецкий батальон? Для этой цели молниеносно и бесшумно вывести на исходные позиции резервы 424-го полка (он хоть полностью механизирован)? Не позднее 17 часов вернется Шефольд, снабженный тактическими указаниями и чертежами местности, которые ему даст этот майор, как же его зовут — Динклагге, Динклагге, Динклагге. Чертовски трудно выговорить это имя, если хочешь произнести его правильно, по-немецки.

Он еще не решил, как поступить, если в штабе армии откажут или просто не подадут никаких признаков жизни, отделаются молчанием, но приказал в 13 часов привести роту в полную боевую готовность.

— Все увольнительные отменить, — сказал он старшему сержанту. — Те, кто не на караульной службе, пусть сидят на квартирах. Чтобы я никого не видел на улице. Командирам взводов назначить чистку оружия.

«Хотя оружием пользоваться не придется,—подумал он.— Если раздастся один-единственный выстрел, все полетит к чертовой матери».

Он послал за лейтенантом Ивенсом, командиром первого взвода, и сказал ему:

— Люди из вашего взвода находятся в туннеле недалеко от Хеммереса. Сегодня необходимо особенно тщательное наблюдение за противоположным входом в туннель. Как только немцы уберут свои посты из туннеля, сразу же мне сообщите.

Ивенс, чрезвычайно удивленный, не удержался и спросил:

— Неужели jetties это сделают?

Из десяти старших по званию офицеров восемь ответило бы лейтенанту Ивенсу в подобном случае: «Делайте, что я сказал!» Или: «Никаких комментариев!» Капитан Кимброу считал такой тон в обращении с подчиненными неуместным.

— Да,—сказал он,—вероятно. Может так случиться, что они сегодня снимут свои передовые посты.

— Будем надеяться, мои люди смогут что-либо разглядеть! — заметил Ивенс.— Ночью разобрать, что происходит у входа в туннель, довольно трудно.

— Ничего! — сказал Кимброу.— В скором времени ваши люди там, наверху, будут играть с немцами в карты! Очень рекомендую вам, Ивенс, следить внимательно за тем, что происходит на виадуке!

Он распорядился соединить его с Уилером. Услышав в трубке голос Боба, он только сказал:

— Кимброу.

— Привет! — воскликнул Уилер.— Я тут постепенно дискредитирую себя. Дважды уже действовал на нервы адъютанту начальника штаба Ходжеса. Получу за это крупный нагоняй. В штабе полка и дивизии будут возмущены. В конце концов, я всего лишь разведчик, шпион.

— Что мне делать,—спросил Кимброу,—если майор Динклаг захочет покончить с этим делом сегодня ночью?

— Откуда тебе это известно? — В голосе Уилера прозвучала тревога.

— От Шефольда.

— От Шефольда? — Уилер произнес это с таким удивлением, недоверием, раздражением, на какое был только способен.— Но он же пока еще вне игры.

— Сейчас он как раз беседует с майором Динклаге.



После долгой паузы Кимброу спросил:

— Ты слушаешь, Боб?

— Да,— сказал Уилер.— Господи боже мой!

— Динклагге потребовал, чтобы он пришел к нему сегодня в полдень,— сказал Кимброу.— Я узнал об этом только вчера.

— Когда именно?— быстро спросил Уилер.

— Вчера в первой половине дня. Я был у него в Хеммересе, и он мне сказал.

— В таком случае у тебя был почти весь вчерашний день, чтобы доложить об этом мне.

Казалось, Уилер услышал по телефону, как Кимброу пожал плечами.

— Ким,— сказал он,— ты, конечно, знал, что я запретил бы тебе делать такую глупость.

— Я считаю, что мы, после всех проволочек, не можем не выполнить желания немца.

— Чепуха!— сказал Уилер.— Существуют неписанные законы войны, с которыми должен считаться этот немецкий господин майор. В соответствии с ними он должен теперь ждать, даже если ему кисло.— И процитировал:— «Увы, почти всю жизнь свою зазря стоит солдат в строю». Ах,— добавил он,— я забываю, что ты южанин. Да еще какой! У вас там свои понятия о чести! Одна ваша изысканная вежливость чего стоит! Потому вы и проиграли Гражданскую войну. Вам и в голову не приходило, что придется столкнуться с таким типом, как Шерман. Правда, вы держали рабов, но во всем, что не имеет отношения к рабству, вы были благородными рыцарями Юга.

— Боб,— сказал Кимброу,— занимайся лучше своим двенадцатым веком! Что касается Юга, то в нем ты ничего не смыслишь. Но Уилер не дал увести себя от этой темы.

— Рыцарь Кимброу, ведущий переговоры с рыцарем Динклагге,— сказал он насмешливо и вдруг взорвался:— Проклятье! Я запрещаю вам это самоуправство, капитан!

— Слушаюсь, сэр!— сказал Кимброу.

Он хотел добавить: «Мне очень жаль, Боб, но уже слишком поздно», однако Уилер больше не слушал— трубка была повешена. А Кимброу, продолжая держать трубку, вспомнил: ведь Боб так и не ответил на вопрос о том, что делать, если майор Динклагге даст знать, что ждет американцев сегодня ночью.

## Путь на восток

Двенадцать дней шел караван, сорок судов, из Бостона в Гавр. (Темп определял корабль, который шел медленнее всех.) Океан плотной серой массой вздымался вокруг, насколько хватал глаз. Монотонное зрелище. Только корабли оживляли пустынный горизонт: вид их создавал хоть какое-то разнообразие. В центре, в окружении эсминцев, минных заградителей, шли грузовые суда типа «Либерти», на которые погрузилась дивизия. Паек состоял из canned food<sup>1</sup>, пустые банки они выбрасывали за борт. По ночам в трюме, где они спали, офицеры и рядовые вместе, многих рвало, когда океан начинал проявлять характер. Днем Кимброу почти все время находился на палубе, разговаривал с людьми из своей роты, желая познакомиться с ними поближе, после обеда играл с Уилером и двумя другими офицерами в бридж на верхней палубе. Они ни разу не наткнулись на немецкие подводные лодки. Иногда кто-нибудь взволнованно показывал на мелькающие дельфины спины, принимая их за торпеду. Так вот, значит, каков он, Атлантический океан! Много лет назад, когда они с отцом стояли на берегу острова Сент-Саймонс и смотрели на океан, отец предостерегал его: «Держись подальше от Атлантики! Знаешь, чего хочет от нас Атлантика? Только одного: чтобы мы вернулись назад. Но мы, американцы, не для того приплыли в Америку, чтобы возвращаться туда, откуда мы пришли».

И вот теперь он, вопреки совету отца, плывет по этому океану, плывет «назад». Кстати, тогда, на берегу острова Сент-Саймонс, океан не казался ему таким уныло однообразным. «Странно,—подумал он,—как по-разному может выглядеть океан в зависимости от того, смотришь на него с суши или с борта корабля».

В гаврском порту, куда лишь несколько недель назад снова начали заходить суда, у них глаза полезли на лоб, когда они увидели гигантский щит—судя по всему, Supreme Commander<sup>2</sup> терпел его,—укрепленный на двух забитых в дно сваях: «Go West, boy, Go West!»<sup>3</sup>

Так армия демонстрировала свой юмор! Она умеет брать быка за рога, управляться с тоской по родине! Интересно, кто бы

---

<sup>1</sup> Консервы (англ.).

<sup>2</sup> Верховный главнокомандующий (англ.).

<sup>3</sup> Иди на Запад, парень, иди на Запад! (англ.)

рискнул оказаться настолько мелким, низким, чтобы действительно пожелать сейчас возвращения домой?

Руины Гавра. Ряды старых, однообразных французских домов, превратившихся теперь в ряды старых, однообразных французских руин; с какой-то тщательностью и методичностью здесь выгорело все, остались только фасады, затекшие черной смолой, которая толстыми жгутами свисала из оконных проемов.

Едва он ступил на сушу, его охватил этот недуг, эта неспособность передать то, что он видел, думал, чувствовал. Перечитывая, прежде чем запечатать конверт, свои письма к родителям, дяде Бенджамену, Дороти в Оахаку, он не обманывался: фразы безжизненны, фразы шуршали, словно сухие ветки.

Например, ему очень хотелось бы написать им о том, что он чувствовал, стоя во дворе одной из старых французских или бельгийских казарм, где они провели ночь, перед отправкой на фронт. Не среди сверкающих белизной бараков американских camps<sup>1</sup>, транспортабельных, складных, для «складных войн», не среди огромных палаточных городков, молниеносно возникающих и так же молниеносно исчезающих, а среди каменных стен для кадровых армий—серый камень, сизый камень, красный камень, с плотно заделанными пазами, с элементами средневековых крепостей—башенками, зубцами, которые делали их еще более безотрадными. На булыжнике учебных плацев, поджав ноги, опустив винтовки, широким каре сидели солдаты. Как обычно в армии, им приходилось ждать часами, пока их наконец расквартируют. (Разобраться, почему это так, вряд ли кому под силу.) Он, как офицер, мог коротать время, расхаживая по плацу и пытаясь читать старые французские и более новые немецкие объявления, плакаты, наклеенные у входов, но понять ему удавалось лишь некоторые выцветшие, размытые дождем французские слова. Потом гулкие коридоры. На следующее утро, когда роты снова выстраивались на плацу, он говорил себе, что никогда прежде не видел ничего столь мертвого, как эти казармы. Наверно, он ошибался, они не могли быть мертвыми—если бы он пригляделся, прислушался внимательней, он уловил бы еще отзвуки того рыка, что разбивался об эти стены, французского, немецкого, а теперь и американского, но он не слышал ничего. Ничего. Это даже нельзя было назвать молчани-

---

<sup>1</sup> Лагереи (англ.).

ем. Это было полное отсутствие жизни. Серый камень. Сизый камень. Красный камень. Каменный ящик с кубиками. Ничего другого.

Что-нибудь в этом роде он хотел бы написать домой, но он не мог найти нужных слов.

Леса в Арденнах, через которые они ехали в конце своего пути, были темнее, чем леса вокруг Форт-Дивенса, откуда они прибыли, но, если не считать легких цветовых нюансов, отличающих европейскую осень от североамериканской, догорали они с той же беспредельной торжественностью, что и леса в Массачусетсе. Разве что здешние не обрывались, как массачусетские, прямо над морем. Когда их посадили на корабли, идущие из Форт-Дивенса в Бостон, у Джона Кимброу мелькнула мысль, что он совершает это путешествие лишь для того, чтобы увидеть, как тонет за голубой стеной моря бабье лето Новой Англии.

На лесных прогалинах в горах западнее Конкорда ютились белые игрушечные деревни, а в тенистых лощинах Арденн прятались маленькие серые города или просто каменные церкви, замки, кузницы.

Уилер воспринимал эту страну совсем по-другому, не так, как он.

Когда они встречались вечером на своих квартирах, он восклицал: «Ты видел такой-то замок, Ким?» Название Джон Кимброу сразу же забывал. «Великолепно, правда?» И начинал рассказывать историю замка.

Что ж, это был его предмет. Армия предоставила майору Уилеру, специалисту по средневековой немецкой литературе, профессору Блумингтонского университета (штат Индиана), возможность совершить бесплатное путешествие с ознакомительными целями. Платой за такое путешествие могла, правда, стать его жизнь. Но для этого надо было, чтобы ему как-то особенно не повезло. Путешествие кончилось, когда они вышли из арденнских лесов. Перед ними находилось не море, а отлогие склоны холмов, горный край, необычайно пустынный, даже для Кимброу, который, живя в Фарго и на болотах Окефеноки, привык к пустынным пейзажам.

### **Маспельт, 14 часов**

Для изучения местности, где находились позиции его роты и где в один прекрасный день ему предстояло воевать—

если в результате какого-нибудь непредсказуемого решения одного из высших армейских штабов 424-й полк не снимут с этого участка и не перебросят куда-нибудь еще, прежде чем начнутся боевые действия,—капитан Кимброу пользовался той же бельгийской топографической картой (масштаб 1:10 000), которую раскладывал перед собой майор Динклаге, когда хотел уяснить положение подчиненного ему батальона. На карте были отмечены чуть ли не каждое дерево, каждый телеграфный столб, не говоря уже об овчарнях и проселках.

Кимброу в который раз принялся сосредоточенно обдумывать свой проект, позволявший обойтись без поддержки полка, а также без согласия дивизии, армии или группы армий.

Если майор Динклаге (точно разметив все на этой карте) уведомит его через Шефольда, что ровно в полночь немецкий батальон в Винтерспельте будет готов к сдаче, необходимо проделать следующее:

1-й взвод, используя туннель возле Хеммереса и оставляя слева населенные пункты Эльхерат и Вальмерат (правда, расквартированные там роты немецкого батальона будут выведены, но нужно ли рисковать), выходит к Винтерспельту через северные склоны. Расстояние (от туннеля)—три километра; продолжительность перехода, учитывая, что пользоваться дорогами не придется,—полтора часа.

2-й взвод собирается в Ауэле, переходит через Ур по еще сохранившемуся там деревянному мосту и приближается к Винтерспельту с запада—по пешеходной тропе, ведущей из Ауэля. Расстояние—немногим более двух километров, продолжительность перехода—максимум час.

3-й взвод переправляется через Ур южнее Ауэля. (Чтобы перебраться через Ур, не нужны надувные лодки; но, уж конечно, парни из Монтаны проклянут все на свете, когда им придется идти по пояс в воде.) Затем через весьма трудно проходимую местность (пашни, лес; майор Динклаге должен гарантировать, что там нет минных полей) с юго-запада приближается к Винтерспельту. Расстояние—пять километров, продолжительность перехода—минимум два часа.

12 октября, в два часа дня, то есть, так сказать, в последний момент, капитан Кимброу изменил свой план. 3-й взвод может идти тем же путем, что и 2-й, только перед самым Винтерспельтом он должен отделиться от 2-го и проникнуть в Винтерспельт с юга. Это гораздо проще.

Таким образом, ровно в полночь три взвода могут окружить с трех сторон место сбора немцев.

Для этого необходимы следующие условия:

1. Немцы действительно должны собраться в полном составе батальона к моменту прихода американцев, не считая, конечно, больных, которые остаются на своих квартирах. Основная же часть батальона должна быть на месте.

2. Между моментом сбора немцев и приходом американцев должно пройти не более четверти часа. Ничто не должно отвлекать немцев или вызывать беспокойство — необходимо, чтобы они стояли как стена. Захватить врасплох можно только абсолютно дисциплинированное войско. Следовательно, все зависит от точного timing<sup>1</sup>.

3. Место сбора батальона майор Динклаге должен выбрать так, чтобы немцы увидели американцев, но не заметили своего численного превосходства.

Взводы должны иметь сильные ослепляющие прожекторы и по сигналу (осветительная ракета?) включить их. При свете этих прожекторов он пройдет через плац к майору Динклаге и отдаст честь.

Короткая речь майора, обращенная к батальону.

Отход батальона поротно и повзводно, с достаточными интервалами между подразделениями. Наиболее пригодна для этого дорога, ведущая на север. Через Вальмерат и Эльхерат, которые теперь уже незачем будет обходить, затем через туннель. Охрана безоружного батальона вооруженной ротой — не проблема. После выхода из туннеля сбор на безлесном склоне над Маспельтом, где следует установить с разных сторон четыре пулеметные точки. Завершение операции около двух часов ночи.

Только вот, пока они там в полку сообразят, что произошло, потребуется немало времени. До рассвета колонна грузовиков из Сен-Вита, конечно, не появится.

А в остальном все пойдет как по маслу.

Разумеется, было бы преступно думать, что на этом масле нельзя поскользнуться.

Необходимо учесть возможность следующих инцидентов:

1. После первых же фраз, с которыми Динклаге обратится к

---

<sup>1</sup> Расчета времени (англ.).

своим солдатам («Камрады третьего батальона! Война проиграна. Поэтому я принял решение...»), один из младших командиров может вытащить пистолет и выстрелить в Динклагге. (Правда, рядовой состав будет построен без оружия, но унтер-офицеры, фельдфебели и лейтенанты всегда имеют при себе пистолеты — они бы заподозрили неладное, если бы им приказали явиться без оружия. Так что об этом и думать нечего.)

2. Подстрекаемые своими командирами, какие-то группы солдат попытались бы добраться до квартир, чтобы взять оружие. Это привело бы к тому, что через несколько секунд начался бы хаос — солдаты устремились бы в разные стороны.

В любом из этих случаев ему, Кимброу, пришлось бы дать сигнал к началу кровопролития.

И если ему не удалось бы еще на плацу, с помощью трехсот американских автоматов, перестрелять немцев, то в ночном Винтерспельте начался бы уличный бой. В этом бою его рота была бы уничтожена. Таким образом, ему оставалось выбирать между расправой с батальоном противника и гибелью своей роты.

3-а. Могло оказаться и так, что они наткнутся на сопротивление еще на подходе к Винтерспельту. Части немецкого батальона могут не выполнить приказа и остаться на своих местах согласно решению, самовольно принятому отдельными командирами рот или взводов, или же:

3-б. Младшие командиры, заподозрив что-то неладное, могут тайно саботировать приказ и, осторожно осведомившись в штабе полка, дать понять солдатам, что не следует спешить с его выполнением. Как бы случайного упоминания об этой странной операции во время телефонного разговора на самую обычную тему — например, о подвозе боеприпасов — было бы вполне достаточно, чтобы обезопасить себя и небрежно отнестись к выполнению приказа, не создавая необходимого для проведения боевой тревоги настроения. Конечно, мало вероятно, чтобы при этом возникла мысль о предательстве; самое большее — предположение тоже весьма неприятное, — что у майора сдали нервы. После этого, очевидно, речь пошла бы о вмешательстве не столько командира полка, сколько военного врача.

Но по крайней мере в случаях 1, 2 и 3-а наверняка проявится политический фанатизм, и было бы непростительно недоучитывать, какая тут может разыгаться сцена.

Итак, хотя среди предков Кимброу нет немцев и он мало осведомлен о немецкой истории, культуре или антикультуре, оценивая обстановку, он приходит к тем же выводам, что и Хайншток, на собственном опыте знающий, как ход мыслей у немца ведет к практическим действиям,—к выводам, которые Хайншток изложил в субботу утром Кэте, когда размышлял вслух о наличии «определенного процента фашистов среди младших командиров», об их слепом повиновении и готовности проявить бдительность, если они заподозрят неладное, или когда просто вспоминал, с каким скрежетом работает механизм армии. Конечно, тут нечему особенно удивляться: Кимброу каждый день читал в «Старз энд страйпс» о немецком фанатизме. Ему запомнилась также фраза, услышанная им однажды в Форт-Беннинге во время лекции о причинах войны. «Помните,—сказал, заканчивая свои рассуждения, докладчик, военный журналист, специалист по Psychological Warfare<sup>1</sup>,—что это не мировая война, а мировая гражданская война!»

Вот они, янки, подумал тогда южанин Джон Кимброу, всегда они тут как тут, когда речь заходит о гражданских войнах.

Итак, полковник Р., которого он не любил, был абсолютно прав, заявляя, что для подобной операции придется ввести в действие весь полк. Он сразу же верно проанализировал положение. Пришлось бы мобилизовать как минимум все резервы полка. Немцы должны убедиться в подавляющем превосходстве противника—лишь в таком случае можно рассчитывать, что никакой осечки не будет. И тогда уж не имело бы никакого значения, если бы полк ворвался в Винтерспельт под лязг гусениц нескольких «шерманов» из числа имеющихся в наличии и под грохот cannon-companies<sup>2</sup>.

Эти мелькавшие перед глазами Кимброу и мгновенно растворявшиеся во тьме картины—лишенная поддержки рота, бесшумно подкрадывающаяся к Винтерспельту,—были почерпнуты из фильмов. Это был вестерн с обязательной кровавой резней в конце.

Если одного-единственного выстрела достаточно, чтобы Винтерспельт превратился в ад и вся операция с треском провали-

---

<sup>1</sup> Психологическому ведению войны (англ.).

<sup>2</sup> Артиллерийских батарей (англ.).



лась, то тогда абсолютно логично, что рота должна выполнить задание, не имея оружия. Безоружная рота берет в плен безоружный батальон.

При одной мысли об этом вся армия померла бы со смеху.

Конечно, вовсе не обязательно, что это сбило бы его с толку. И все же в этом случае требовался пусть неписанный, но договор. Однако и он ничего бы не стоил, подумал адвокат Кимброу; с юридической точки зрения такой договор—пустой номер, потому что единственный немец, который мог его подписать, не имел права подписи.

### **О реализме в искусстве**

— Неужели тебя совсем не интересует наше прошлое? — спрашивал обычно дядя Бенджамен, когда племянник в очередной раз отказывался смотреть вестерн в кинематографе на Броутон-стрит.

Teenager<sup>1</sup> Джон Кимброу не уклонялся от ответа. В зависимости от того, где задавался этот вопрос, он оглядывал мебель колониальных времен в лавке дяди Бенджамена или пароходы на реке Саванна и только потом отвечал:

— Мне просто не нравится, что там всегда столько людей падают и притворяются мертвыми.

— Что же им — действительно умирать? — удивленно спрашивал дядя Бенджамен.

— Но ведь и местность, и дома, и то, как они скачут на лошадях, и одежда, которая на них, все это настоящее, — говорил Джон. — Или по крайней мере почти настоящее. Только когда они падают с лошади или еще как-нибудь умирают, тут уж знаешь, что это не по-настоящему. Чушь какая-то.

Дядя Бенджамен смотрел на него поверх очков.

— Исторические события происходили на самом деле, — говорил он. — И при этом погибали люди. Надо же это как-то показать.

— Но я не вижу, чтобы люди погибали! — восклицал Джон. — Я точно знаю, что со лба или по груди у них течет не кровь. Если бы это и вправду была кровь, я бы не мог сидеть спокойно в кино.

— Смешной ты парень, — говорил дядя Бенджамен.

---

<sup>1</sup> Подросток (англ.).

То обстоятельство, что он был смешным парнем, помешало ученику High School<sup>1</sup> Оглторпа из Саванны ознакомиться с несколькими набегами Огалаллы, борьбой за форт Апачи, деяниями техасских «рэйнджеров», услышать волнующий бой барабанов под Могавком, а также узнать о героической защите Аламо; к сценам из Гражданской войны это не относится, ибо в изображении битв Гражданской войны американская кинопромышленность все равно заметно отставала. Ей приходилось считаться с чувствами зрителей-южан.

## **Самая большая картина в мире**

Самая большая картина в мире (400 футов в периметре) находилась в здании циркорамы Грант-Парка в Атланте. Она изображала первую битву под Атлантой, которая произошла 22 июля 1864 года и была выиграна южными штатами; последующие битвы за Атланту южане проигрывали. Осматривая картину—ибо, конечно же, в студенческие годы ему волей-неволей пришлось хоть однажды взглянуть на нее,—Джон Кимброу спрашивал себя, действительно ли битвы были такими, как на этом полотне, созданном в 1886 году немецкими художниками. Действительно ли они были такими красивыми. Возможно, облачка, вылетающие из ружей, и в самом деле казались сероголубыми и изящными. Возможно—во всяком случае, нельзя заведомо это отрицать,—погибшие, по крайней мере сразу после гибели, лежат вовсе не в ужасающих, а в весьма выразительных позах, как генерал Макферсон, сраженный пулей какого-нибудь служивого конфедерата и распростертый возле своего, также распростертого, вороного коня, судя по всему, чистокровки благороднейшей кентуккской породы. И хотя представление о вставших на дыбы конях устарело уже ко времени минувшей мировой войны, все же битва—*понятие* битвы!—ассоциировалась лишь с platoons<sup>2</sup> (южан), организованно наступающими против беспорядочно защищающихся превосходящих сил (северян). Джон, со всей серьезностью обдумав это, нашел подобное представление не то чтобы неверным, но просто неполным. Оно не включало в себя того факта—которого не было, кстати, ни в фильмах, ни на самой большой в мире картине,—что пули и штыки проникают в плоть живых людей.

---

<sup>1</sup> Средней школы (англ.).

<sup>2</sup> Отрядами (англ.).

Прекрасная смерть настигает человека в момент, когда он как раз пьет кофе. Словом, ужасно уже то, что против обычной смерти ничего нельзя поделать. Придя в результате своих раздумий к такому заключению, Джон заторопился покинуть здание циркорамы.

Годы спустя, когда они плыли через океан из Бостона в Гавр, он рассказал майору Уилеру, что терпеть не может изображений войны.

— Тогда хотел бы я знать, почему ты пошел в армию добровольцем,— сказал Уилер, смеясь.

— Потому и пошел,— сказал Кимброу.— Это же ясно.

— Извини, Ким, но это вовсе не так уж ясно,— сказал Уилер.

— Просто я понял, что приближается война,— сказал Кимброу,— это было не сложно. Ты наверняка тоже понял, что она приближается.

Он замолчал. Уилер не отставал от него.

— Ну и...?— спросил он.

— Это же настоящая война. А ее я, конечно, хотел увидеть.

## ***Маспельт, 15 часов***

Его комната на командном пункте роты выходила не на деревенскую улицу, а на противоположную сторону, на склон с пастбищами, так что Кимброу смог установить, чей джип ворвался в тишину полной боевой готовности, лишь тогда, когда майор Уилер распахнул дверь, тщательно закрыл ее за собой и сказал очень тихо, так что его слов наверняка нельзя было разобрать в приемной:

— Я приехал помешать тебе сделать глупость.

Он снял пилотку, потом battle-jacket и сел за стол напротив Кимброу.

— Рад тебя видеть,— сказал Кимброу.— Но ты мог бы не тратить время. То, что ты называешь глупостью, не произойдет.

— Однако ты привел свою роту в боевую готовность,— сказал Уилер.— Я беседовал с лейтенантом Ивенсом только что, когда подъезжал к деревне.

— Сигнал тревоги я распорядился дать на тот случай, если в полку все же решат участвовать в этой игре,— сказал Кимброу.— Ведь не исключено,— добавил он насмешливо, с подковыркой,— что полк в последний момент все же соберется с силами, а?

— Нет,—сказал Уилер,—это исключено. Выбрось это из головы, Ким.

Кимброу посмотрел на топографическую карту, которая все еще лежала развернутой на столе. Он сказал:

— Кроме того, мы ведь не знаем, что этому майору Динкледжу...

— Динклаге,—поправил его Уилер.—Старая вестфальская фамилия. Корень не имеет ничего общего со словом «Ding»<sup>1</sup>, а связан с «Thing», что у древних германцев означало народное собрание, суд. В средневерхненемецком «Dincflühtic» означало: человек, который бегством пытается спастись от суда, а «Dinclage» в таком случае должно было бы означать: человек, чье дело лежит в суде. Возможно, предки Динклаге были судьями. Но, не имея словарей, я могу это только предполагать. Надо дожидаться, когда я снова окажусь в Блумингтоне и смогу полистать соответствующую литературу. Или недели через две в каком-нибудь немецком университете.

— Очень интересно, господин профессор,—сказал Кимброу.— Благодарю вас!

Но Уилер не поддавался на его тон.

— Ужасно любопытно,—сказал он,—в каком состоянии находятся немецкие университеты. Вот было бы здорово—попасть в Гейдельберг или Гёттинген и достать там словарь Гримма. Хотя, вообще-то говоря, я надеюсь, что немцы надежно упрятали свои библиотеки, обезопасив их от бомбежек, и потом им останется только расставить все по местам.

Он еще какое-то время предавался своим мечтаниям, и Кимброу не мешал ему. Но затем напомнил:

— Да, кстати: мы ведь не знаем, с какими известиями вернется Шефольд. Может быть, этому немецкому майору пришла в голову какая-нибудь новая идея...

— Вот именно,—прервал его Уилер, сразу же возвращаясь на землю,—с тобой опасно иметь дело, Ким. Ты можешь очертя голову ринуться в авантюру, если этот джентльмен сделает тебе предложение, которое ты сочтешь приемлемым. Или если он заверит тебя, дав свое грандиозное честное слово, что все будет в порядке.

— Ты забываешь, что я юрист.

— То есть ты хочешь сказать: трезво мыслящий человек. Я знаю многих юристов, которые являются кем угодно, только не

---

<sup>1</sup> Вещь, дело (нем.).

трезво мыслящими людьми. Большинство политиков были юристами, прежде чем стали политиками.

— Я никогда не буду заниматься политикой.

— О господи,—сказал Уилер,—тебе сейчас только тридцать! Судя по твоим рассказам, ты в сорок первом пошел в армию потому, что не мог больше видеть, как расправляется с твоей любимой Джорджией этот тип, этот Юджин Толмейдж. А теперь ты не в состоянии мириться с тем, что армия ведет себя так, как обычно ведут себя армии. Ты сделан из того же теста, из какого делаются политики.

Кимброу покачал головой, но ничего не сказал. Боб Уилер не знал Окефеноки и потому не мог знать, что под маской капитана и адвоката, которую носил он, Кимброу, скрывается swamper<sup>1</sup>, а это уже достаточная гарантия того, что он никогда не будет добиваться финансирования избирательных кампаний, проводить митинги, пожимать руки. Конечно, он мог говорить с присяжными, когда на карту была поставлена жизнь человека, или вести себя как идиот в истории с этим немецким майором. Но какое отношение все это имеет к политике? Скорее, это полная противоположность политике.

## **Герб Уилера**

Худощавый, но не тощий, подтянутый, с упругими мышцами, среднего роста, узкая полоска усов, очки с сильными стеклами—в военной форме майор Уилер выглядит так, как хотелось бы выглядеть любому кадровому офицеру: мужественным, надменным, знающим свое дело. Впечатление он производит тем более сильное, что, будучи человеком, который, казалось бы, никого к себе не подпускает, может без малейших признаков высокомерия подсесть к любому студенту, младшему офицеру, разведчику, военнопленному и завести спокойный, деловой разговор, не утаивая своего интереса к собеседнику—интереса, иногда граничащего с любопытством. Впечатление, основанное на контрасте. Уилер умеет даже сделать так, чтобы особенно чувствительные, болезненно реагирующие собеседники—а ему все время попадают именно такие—не испытывали ощущения, что их специально выбрали для этой беседы, хотя, конечно же, их выбрали специально. И это вызывает к нему симпатию; у людей возникает не иллюзия, что их поняли, а убеждение, что

---

<sup>1</sup> Болотный житель (англ.).

этот человек спокойно, неназойливо, без апломба постарался их понять.

Именно так познакомился с ним и Джон Кимброу. Джон был чрезвычайно удивлен, что этот офицер, внешне надменный, высокомерный, презирающий других, все двенадцать дней, пока они плыли из Бостона в Гавр, посвятил ему. Уилер задерживался с ним после того, как кончалась игра в бридж, и, глядя на унылую водную гладь, втягивал его в серьезные разговоры. В первое время у него было впечатление, что профессор Уилер проводит с ним семинарское занятие на тему «Юг, Джорджия», выясняя исторические и социальные причины того, что он, конечно же, сразу охарактеризовал как изоляционизм Джона; но к концу путешествия Кимброу заметил, что приобрел друга, и заметил не только потому, что в один прекрасный день Уилер, в ответ на обычное обращение «Майор!» — воскликнул: «Ради бога, зови меня Боб!»

Чтобы понять майора, или профессора Уилера, надо представить себе Блумингтонский университет, штат Индиана! Он расположен среди унылых просторов северной части Среднего Запада (которые, быть может, — кто знает? — обладают своими скрытыми прелестями), южнее Чикаго; винтовой самолет покроет это расстояние за час; там нет ни весны, ни осени, а есть только серая ледяная зима и невыносимо жаркое, влажное лето. На Main Street<sup>1</sup> городка Блумингтона нет ни малейшего отпечатка великой американской мифологии, она просто скучна, запущена — пустырь, заставленный деревянными домами и рекламными щитами. На восточном конце этой улицы, уже за пределами городка, начинается парк со старыми деревьями, в нем прячется университет, бесформенное, но просторное, даже уютное здание, напоминающее своей уродливой архитектурой какой-нибудь роскошный городской или курортный отель 20-х годов (возможно, он таковым и был). Этот парк, этот дом — во всех отношениях остров, в том числе музыкальный остров, ибо своеобразие Блумингтона составляет его музыковедческий факультет. Совершенно очевидно, что университеты, затерявшиеся в степях — Индианы ли, Туркестана, — обладают собственной гордостью, собственной скромностью. Ученые, тоскливо мечтающие о местах, тесно связанных с историей, скорей откусили бы себе язык, чем сообщили редкому гостю с Востока, которого случай занес в Блумингтон, что по уровню исследований и преподавания их университет не уступает его старинному, знаменитому центру

---

<sup>1</sup> Главная улица (англ.).

культуры. (Да, мы советуем господам из Болоньи или Сорбонны избегать покровительственных интонаций во время их коротких, словно фейерверк, визитов!) Уилер не составляет в этом смысле исключения: неизменные *understatements*<sup>1</sup>, касающиеся Блумингтона, и сохраняющаяся—во всяком случае, вплоть до середины 30-х годов—безграничная вера в превосходство европейского образования. Ностальгические воспоминания о четырех семестрах в Гейдельберге (1925—1926).

Что побудило молодого Боба Уилера стать специалистом по филологии, по одному из германских языков и, кроме того, по медиевистике, мы не знаем: он стал им, и все тут. Его фундаментальная работа о Генрихе фон Фельдеке среди специалистов считается (наряду с работами Фрингса) лучшим исследованием взаимосвязей между античным материалом (истории Энея) и средневерхненемецким поэтическим языком, осуществляемых через посредство французских источников. После этого он в науке уже не выступал, а все больше и больше посвящал себя преподавательской работе в университете, а также поискам древних рукописей для Блумингтонской коллекции (что представляет собой абсолютно анонимную деятельность, ибо максимум десятков специалистов во всем мире знают, что на американском Среднем Западе находится бесценное собрание рукописей).

Таков майор-профессор Роберт («Боб») Уилер, ровесник Хайншток: пятьдесят два года, женат, двое сыновей, из которых старший служит во флоте на Тихом океане. Для армии, куда он был призван по схеме F (германистов—в офицеры разведки), он стал настоящей находкой: человек, который в такой степени обладает даром слушать, просто неоценим для работы в *intelligence service*<sup>2</sup>.

### ***Некоторые размышления о товариществе***

Отношения между майором Уилером и капитаном Кимброу можно охарактеризовать как товарищество: явление не коллективное (продукт мифа), а охватывающее две, иногда три, в редких случаях больше—но максимум от четырех до шести—индивидуальностей («души»). Товарищество существует только до тех пор, пока два солдата служат в одной части; как только одного из них переводят в другую часть, оно угасает. Товарищ

---

<sup>1</sup> Недооценки (англ.).

<sup>2</sup> Разведывательная служба (англ.).

(камрад)—это человек, с которым, часто сам того не сознавая, вступаешь в заговор против коллектива. Утверждение, что товарищество возникает на основе взаимной помощи в вооруженной борьбе против «врага», то есть на основе естественных актов войны, здесь опровергается. Доказательство: в большинстве случаев чувство товарищества и его проявления возникают вне системы понятий, связанных с «врагом». Не «враг» является врагом, а каторга военного коллектива, в котором ты живешь.

### **Продолжение: Маспельт, 15 часов**

Они вместе просмотрели карты, проверили все аргументы «за» и «против» операции, совместно пришли к тем же выводам, к каким уже пришел самостоятельно Кимброу.

— Я, черт побери, не понимаю, зачем ты только что спрашивал меня по телефону, что тебе делать,—сказал Уилер.— Даже этот проклятый майор Динклагге должен понять, что сделать ничего нельзя.

— Ах, это так, пустая болтовня,—сказал Кимброу.

— Это не была пустая болтовня,—сказал Уилер.—Я слишком хорошо тебя знаю, Ким.

Тон его стал строго официальным:

— Поскольку ты известил меня об этом преждевременном визите Шефольда к майору Динклагге, мой долг, как старшего по званию, приехать в Маспельт и проследить, чтобы не произошло ничего нежелательного для армии. Итак, я останусь здесь, пока не вернется Шефольд. Если ты после его возвращения примешь решение, которое я не смогу одобрить, мне придется временно отстранить тебя от командования и взять командование третьей ротой на себя. Мне очень жаль, Ким,—добавил он прежним дружеским тоном,—но, когда ты решил мне позвонить, ты наверняка уже четко сознавал, что с этого момента ответственность лежит на мне.

Кимброу сложил карту и отодвинул ее в сторону.

— Никто бы не узнал, что я тебя проинформировал,—сказал он.—Во всяком случае, от меня никто бы не узнал. Стало быть, ты мог спокойно дать мне возможность продолжать эту игру.

— Если ты говоришь серьезно, то обманываешь самого себя,—сказал Уилер.—Если бы ты решил провернуть эту штуку за спиной армии, ты бы мне не позвонил.—И, помолчав, добавил:—Ты позвонил мне, потому что хотел, чтобы я приехал.



## Биографические данные

Джон Д. (Диллон — по матери) Кимброу родился в 1914 году в Фарго, округ Клинч, Джорджия, в семье мелкого фермера (poor white<sup>1</sup>) Исаака Кимброу и его жены Нэнси, урожденной Диллон; у него есть еще сестра, старше его на пять лет. С отцовской стороны Кимброу происходит от шотландских переселенцев (отец его установил, что среди шотландцев, которые переправились в Америку в 1736 году и поселились на острове Сент-Саймонс, был и некий Кимброу), с материнской стороны — из пуритан, которые в 1752 году перебрались в Джорджию, но не из Англии, а из Южной Каролины. (В странах, история которых насчитывает не более семи поколений, еще существует большой интерес к генеалогии и легко установить свое происхождение; возможность внебрачных любовных афер и их последствия — например, во времена оккупации острова Сент-Саймонс войсками Де Сото в 1742 году какую-нибудь женщину из клана Кимброу врасплох застиг испанский солдат, о чем дама, при всем своем пуританском раскаянии, упорно молчала, а внебрачного ребенка подсунула мужу, — такую возможность народная генеалогия полностью игнорирует.) Итак, Джон Д. Кимброу вправе называть себя стопроцентным американцем. Прошлое, которым можно гордиться — во всяком случае, оно так изображается, что им можно гордиться, — осталось позади. Здесь не место объяснять, почему отец Джона, как и большинство фермеров в Фарго, — белый бедняк. Существуют обстоятельные исследования об упадке сельского хозяйства в южных штатах США после Гражданской войны (и до нее). Исаак Кимброу в молодости принимал участие в populist movement<sup>2</sup> и до 1908 года хранил верность Тому Уотсону. Сейчас ему шестьдесят пять лет, он все еще живет в своем ветшающем, как бы усыхающем на солнце деревянном фермерском доме между Фарго и краем Окефеноки. Тем, что он вообще сумел сохранить ферму, он обязан только стимулирующим мерам и кредитам рузвельтовского new deal<sup>3</sup>, а также тому, что Джон, став адвокатом, затем офицером, ежемесячно высылает отцу определенную сумму. Мать Джона скрючил ревматизм, и она теперь похожа на кривое дерево без листвы. Климат в Фарго убийствен для больных

---

<sup>1</sup> Белого бедняка (англ.).

<sup>2</sup> Популистском движении (англ.).

<sup>3</sup> «Нового курса» — системы экономических мероприятий Ф. Д. Рузвельта.

ревматизмом, а Нэнси Кимброу, естественно, не может позволить себе курортного лечения в Уорм-Спрингс.

Когда Джону исполнилось двенадцать лет, дядя Бенджамен Диллон принял решительные меры: просмотрев предварительно школьные тетрадки мальчика и переговорив с мисс Тиббет, учительницей в деревенской школе, он взял его к себе в Саванну. У дяди и тети Диллонов нет детей; они держат в своем доме на Куэй-стрит антикварный магазин, где продаются предметы искусства и мебель. Кроме того, дядя Бенджамен позволяет себе роскошь — издает журнальчик по истории родного края — «Хермитейдж». Обучение в High School до 1932 года. Комната с видом на реку, на корабли — здесь Джон делал уроки. Два первых студенческих года (freshmen и sophomore<sup>1</sup>) в государственном университете в Атенсе, а потом, когда он решил стать юристом, четыре года в университете Эмори в Атланте (юридический факультет имени Лэймара). «Том Уотсон изучил это ремесло между делом, работая в конторе, в двадцать лет уже имел собственную адвокатскую практику», — говорит обыкновенно Иссак Кимброу, когда сын рассказывает о своих занятиях.

В двадцать пять лет Джон начинает работать в адвокатской конторе в Саванне. Гражданские дела его не интересуют; возмущенный положением в уголовном праве и системой наказаний, господствующей в Джорджии, он занимается уголовными делами, защищает убийц и грабителей, которых навещает в пользующейся печальной известностью тюрьме Милледжвилла. Ему не повезло — он оказался адвокатом, да еще молодым, в годы, когда губернатором Джорджии был Юджин Толмейдж. Вся Америка читала в эти годы книги «I am a Fugitive from a Georgia Gang»<sup>2</sup> и «Georgia Nigger»<sup>3</sup>. Благодаря своему умению обрабатывать членов grand jury<sup>4</sup> Джон Д. Кимброу быстро приобретает известность, но наживает врагов, когда в серии статей, опубликованных в «Атланта джорнэл», нападает на систему суда присяжных, называя ее священной коровой американского судопроизводства.

Летом 1941 года, за полгода до Пирл-Харбора, он — к ужасу дяди Бенджамена — все бросает и идет в армию. После начальной подготовки ему предлагают стать офицером и, так как он не возражает, посылают в пехотное училище в Форт-Беннинг. Он

---

<sup>1</sup> Первокурсники, второкурсники (англ.).

<sup>2</sup> «Я — беглый каторжник из Джорджии» (англ.).

<sup>3</sup> «Ниггер из Джорджии» (англ.).

<sup>4</sup> Суд присяжных (англ.).

быстро продвигается по службе: в 1943 году становится первым лейтенантом, в начале 1944 года его переводят — уже в чине капитана — в 424-й полк, который комплектуется в Форт-Дивенсе (Массачусетс). Командование предпочитает направлять офицеров из южных штатов в части, состоящие только из белых, избегает командировать их в подразделения, где служат негры. Так Джон Кимброу попадает в свою роту, укомплектованную парнями из Монтаны, которых отправляют на европейский театр военных действий. Он предпочел бы Тихий океан. Хотя у него нет никаких иллюзий относительно суровости войны с японцами, он все же иногда мечтает о пальмах и коралловых рифах.

До сих пор он почти не выезжал из Джорджии, если не считать трех поездок в Нью-Йорк в 1940 году, когда он посещал Дороти Дюбуа, дочь убийцы, которого он защищал, впрочем, безуспешно. Он познакомился с ней в милледжвиллской тюрьме, там она навещала отца незадолго до его казни. Приехав ради нее в Нью-Йорк в третий раз, он ее уже не застает; позднее она пишет ему из Оахаки (Мексика). Сменяющие друг друга девушки в Саванне, Атенсе, Атланте, Саванне... *Easy-going*<sup>1</sup> — трудно переводимое слово. Он приятен и легок в обращении, кроме того, точен, отличается дружелюбием и сердечностью, это обычно импонирует присяжным и девушкам. Что касается внешности, то смотри портрет, нарисованный Шефольдом, пока он шел по дороге через Маспельт: худощавый брюнет, черные пряди падают на худое лицо, фиалковые глаза. Может быть, тут действительно не обошлось без того самого испанца из свиты Де Сото, что высадился на остров Сент-Саймонс в 1742 году? Или прав профессор Коултер, который — когда Джон Кимброу впервые появился в его семинаре по *case-history*<sup>2</sup> — воскликнул: «Ха, вот вам образчик гебридского племени, гэльской породы! Поглядите внимательней на этого кельта, мальчики! — закричал он. — Такие живут замкнуто, имеют свое мнение, но помалкивают». Профессор Коултер отличался склонностью к декламации. Относительно молодого Кимброу его оценка была верной лишь наполовину; хотя последний действительно держится замкнуто — например, не участвует в университетской спортивной жизни, не вступает ни в одно из *fraternity*<sup>3</sup>, — он не только всегда имеет свое мнение, но и высказывает его.

---

<sup>1</sup> Веселый, беспечный, легко сходящийся с людьми (англ.).

<sup>2</sup> Разбор, анализ судебных дел (англ.).

<sup>3</sup> Студенческая организация (англ.).

## **Маспельт и Фарго**

Здесьняя земля не выдерживала никакого сравнения с Югом. Например, дубы и буки здесь сегодня, 12 октября, уже почти голые, в то время как дубы на улицах Саванны еще несут всю тяжесть золотых узорчатых листьев.

А Фарго! Там сейчас как раз отцветал золотарник, еще благоухала жимолость. Сумах, наверно, только недавно зажег красные огоньки своих листьев. Красные дубы, желтые, золотые, багровые клены, сосны. Еще не умолкли цикады. В небе — длинные клинья канадских гусей.

А крестовник с желтыми листьями, ликвидамбар, тополя Каролины. Амирисы, коричник, сизые вяхиры.

Здесь воздух прохладный и crisp<sup>1</sup>, там — теплый, мягкий, навевающий сон.

Река Ур — темная, сверкающая, Сувонни тоже темная, но матовая, шелковисто-неподвижная, с берегами, очертания которых расплываются и еле просматриваются сквозь листву ледянца и виктории. Из лодки можно наблюдать за медно-красными лесными ибисами, которые пасутся в сумеречном свете среди стволов тупело.

Ветер там поднимается редко, свет по вечерам мягкий, словно пух, — лишь иногда откуда-то из Флориды или с океана налетает ураган.

Дым от костров одинаков — и здесь и там.

## **Недвижимость и blue notes<sup>2</sup>**

И бедность та же — бедность слишком маленьких крестьянских дворов, только здесь она упрятана в стены из бутового камня, скрыта под шиферными крышами, а там вялится на солнце или укрылась досками, потрескавшимися, утыканными ржавыми гвоздями, с облупившейся краской. Москитные сетки

---

<sup>1</sup> Бодрящий (англ.).

<sup>2</sup> Грустные заметки (англ.).

там очень густые, а на крыльце, ведущем к веранде, не хватает одной ступеньки; ее приходится перепрыгивать вот уже десять лет.

2 хлопковых поля

2 табачных поля

1 луг

1 огород

2 коровы

2 собаки (сеттеры, не совсем чистокровные)

1 свинья

Куры

Кошки (иногда 2, иногда 3)

1 дом (одноэтажный, с porch<sup>1</sup>)

1 амбар (вот-вот рухнет и почти всегда пустой, потому что теперь после сбора урожая приезжают торговцы на грузовиках и увозят товар).

Но еще с детских лет он помнил запах рынков в Гомервиле: в июле там продавали табак, в октябре — хлопок, и сотни фермеров стояли возле коричневых и белых тюков, обвязанных пеньковыми веревками.

Тогда, в 20-е годы, у его отца, как и у всех фермеров, был маленький черный «форд». По плохим сельским дорогам Джорджии ездили в то время только эти автомобили на высоких колесах. Позднее, когда разразился кризис, Исааку Кимброу пришлось продать свою машину.

Кроме того, на участке Кимброу стоят хижины Руфуса Мэгвуда и Джо Проктора. (Если бы капитан Кимброу увидел домик Хайнштока возле каменоломни, он бы воскликнул: «Можно подумать, что я пришел к Руфусу!») Электричества в них нет, а воду берут из колонки у дороги. Руфусу и Джо теперь тоже около семидесяти, но они и их жены — все еще *farm-hands*<sup>2</sup> у отца Джона. Джо может доказать, что его предки жили в Бонуа (Берег Слоновой Кости). (Рабы тоже занимаются генеалогией.) Из стеблей пальметто, которые Руфус приносит с болота, он умеет делать корзины, пользующиеся спросом в Фарго и окрестностях. Это маленький молчаливый седобородый человек в

---

<sup>1</sup> Крытым крыльцом (англ.).

<sup>2</sup> Сельскохозяйственные рабочие (англ.).

очках, он никогда не снимает войлочной шляпы. Негров — вот чего здесь нет, размышляет Кимброу. Он спрашивает себя, какой была бы эта земля, если бы здесь были негры, и слышит красивый баритон Джо Проктора, который поет под гитару «See, See, Rider»<sup>1</sup> и другие песни про рай. Редуцированные терции, короткие септимы долетают через хлопковое поле к дому фермера.

«Но это животные! Настоящие животные!» — услышал он как-то восклицание одного из посетителей, который разговаривал с его отцом о неграх.

Когда он ушел, Джон, сидевший возле сеттеров на полу, у печи, заметил: «Па, но ведь ты мне как-то говорил, что когда поживешь с собаками, когда узнаешь их как следует, то понимаешь, что они все равно как люди».

Отец, который тем временем уже снова взялся за одну из своих книг, сказал: «Да. Только более порядочные, доброжелательные».

Все это перейдет ему по наследству. Если он переживет войну и поселится в Саванне, став чем-то вроде подпольного адвоката — а он как раз и намерен так поступить: снять самое скромное конторское помещение на одной из боковых улочек в районе Броутон-стрит и вести безнадежные уголовные дела, — то после смерти отца на свои заработки он вполне сумеет сохранить ферму. Конечно, он ликвидирует хозяйство, даст хлопковым и табачным полям зарости, разобьет там нечто вроде сада. Последних сил Руфуса и Джо хватит на то, чтобы посадить деревья, посеять траву. Сам он будет приезжать в Фарго только по воскресным дням и, конечно, долгим, невыносимо жарким летом начнет потихоньку подправлять дом, а может быть, построит новый. Мать не станет возражать против таких перемен: она сыта фермерской жизнью. С сестрой он договорится: та вышла замуж и живет с мужем, владельцем бакалейного магазина, в Колумбусе, штат Огайо. Джон Кимброу всякий раз улыбался, представляя себе, что будет адвокатом с собственным загородным домом — если переживет войну.

Главное — купить новое каноэ. Когда он последний раз был дома — во время отпуска в августе приехал из Форт-Дивенса, — он обнаружил, что старое каноэ наполнилось водой. Почти

---

<sup>1</sup> «Смотри, смотри — всадник» (англ.).

затонувшее, лежит на краю болота у серых мостков, которые окончательно прогнили и вот-вот рухнут — сваи и доски старые, им полвека.

## ***Populist movement, civil war<sup>1</sup>***

Из критических, но благожелательных высказываний дяди Бенджамена об отце Джона:

— Твой отец читает и читает без конца — словно стоит в почетном карауле у гроба популистского движения.

— Об этом бледном, словно мертвец, Томе Уотсоне ходила легенда, что он целыми днями сидел на своей porch и читал стихи, а потом вдруг обрушился на страну, словно Иеремия. Говорят, он много стихов знал наизусть.

— Но мой отец не читает стихов.

— Охотно верю. И тем не менее.

— Том Уотсон совершил ошибку. Он хотел убедить белых бедняков, чтобы они позволили черным принять участие в мятеже. Когда он сказал, что реформы должны дать что-то и черным, белые от него отошли.

— Возможно, Руфус и Джо остались с твоим отцом только потому, что в Фарго было известно, что он и в этом вопросе на стороне Тома Уотсона. Скорее всего, это спасло вашу ферму. Без Руфуса и Джо он в начале тридцатых годов не выдержал бы.

— Но что за неудачник был этот Том Уотсон! Когда на выборах девятьсот восьмого года популизм потерпел окончательный крах, он ожесточился и ударился в демагогию. Стал опровергать то, что проповедовал раньше, и писать статьи против Юджина Дебса и социалистов, где упрекал их в том, в чем когда-то упрекали его. Он занимался подстрекательством против евреев, католиков и даже против негров, другом которых был прежде. Если хочешь, я разыщу тебе соответствующие номера «Уотсонс мэгэзин».

— Не надо, дядя! Скажи мне лучше, чем ты все это объясняешь?

---

<sup>1</sup> Популистское движение, гражданская война (англ.).

— Дебс ответил ему, написал, что мелкобуржуазные бунты, когда их подавляют, неизменно кончаются фашизмом. Мне такое объяснение ничего не говорит. Фашизм для меня—пустой звук. Популизм, кстати, тоже—я часто спорил об этом с твоим отцом.

— А ты как считаешь, дядя Бен?

— Я верю в человека. Если человек хороший, то все, что он делает, хорошо, как бы это ни называлось. Если человек плохой, все будет плохо, даже если он при этом начнет молоть всякий высокопарный вздор.

— Но в политике всегда побеждают плохие люди.

— Мальчик!—Дядя Бенджамен не мог прийти в себя от изумления, от ужаса.—Ну почему ты такой пессимист?

Сидя у себя на квартире в Маспельте, размышляя о том, как президент Рузвельт намеревался одержать верх над Гитлером, капитан Кимброу иногда задавал себе вопрос, не был ли все же прав дядя Бен, упрекая его в пессимизме. Президент Рузвельт, хотя и стоял у власти и проводил—на американский лад—широкую международную политику, все же был «хороший»—и, наверно, даже «великий»!—человек, подлость же немецкого фюрера не поддавалась описанию, она была столь безгранична, что его офицеры, люди вроде этого майора Динклагге, вынуждены были совершать просто безумные поступки. Правда, имело смысл задуматься, не получится ли в будущем так, что все, что исчезнет вместе с Гитлером, без него возродится вновь, и притом с триумфом; впрочем, в данный момент все это—как признался себе Кимброу—лишь бесполезные умозрительные схемы, бесплодные раздумья провинциала. Добро побеждало зло, и вследствие этого климат в мире внушал оптимизм.

— Твоего отца я знаю с того самого девятьсот восьмого года, и, должен признать, ему, по-видимому, было неприятно говорить о Томе Уотсоне. Я бы даже сказал, что он уже в то время производил впечатление человека сломленного, но, к счастью, вскоре женился на моей сестре, и у них сразу же родилась дочь, а пять лет спустя еще и сын. Но как раз в ту пору он взялся за чтение, только и знал, что читал. Я понимаю, надо радоваться, если фермер берется за книги. Только он при этом забросил свою ферму. Должен тебе признаться, что я не советовал своей сестре выходить за него замуж.

— Он не только читал. Иногда он вместе со мной путешествовал пешком по окрестностям.



— Очень мило с его стороны. Однако с каких это пор фермеры увлекаются прогулками?

— Этого тебе не понять, дядя! Ты ведь не болотный житель.

У Исаака Кимброу были и другие поводы прерывать чтение книги Арнетта «Популизм в Джорджии», «Аграрной революции в Джорджии, 1865—1912» Брука, «Мемуаров» г-жи Фелтон и множества других произведений, посвященных этой эпохе,— например, в те вечера, когда на его porch заглядывал то один, то другой фермер, живший по соседству, или чисто случайно, не сговариваясь, сразу несколько.

Юный Джон, которому тогда было лет десять, слушал, как они непрерывно говорили о войне. Не о закончившейся всего шесть лет назад мировой войне, а об отделенной от них более чем шестью десятилетиями Гражданской войне. Это было просто поразительно. Они толковали не о Вердене и не о танковом сражении под Камбре; с компетентностью стратегов, завсегдаев пивных, они обсуждали сдачу форта Самтер, поход Шермана к морю, самоубийство отборных войск конфедератов во время знаменитого фронтального наступления под Геттисбергом или битву в глухих лесах. Имена, мелькавшие в их разговорах, были имена не Гинденбурга, Фоша или Першинга, а Ли и Стоунуолла Джексона, Гранта и Мак-Клеллана. И хотя они чуть не до драки спорили о ценности или малоценности отдельных генералов — например, вполне профессионально и гневно полемизировали о том, удалось ли бы выиграть войну, если бы генерал Пембертон не капитулировал 3 июля 1863 года в Викасберге, — несмотря на такие разногласия, всегда наступал момент, когда они, прежде чем разойтись по домам, единодушно приходили к выводу, что Север в этой войне разрушил самые основы Юга. Тогда на них находило состояние какой-то тупой безнадежности, в их голосах, раздававшихся в темноте, появлялся отзвук сострадания к самим себе, что вызывало у Джона инстинктивное презрение. Ему казалось идиотизмом, что они вот так сидят тут вместе, в качалках или на ступеньках лестницы — тогда еще все ступеньки были целы, — время от времени отпивают глоток джина-самогона и заполняют ночь болтовней об этой давно минувшей войне. Смешно, что отец пытался вырвать их из этого состояния, убеждая, что для того, чтобы избавиться от последствий Гражданской войны, достаточно сохранять верность популизму. Они спорили с ним. Они утверждали, что бедны потому, что «Север сделал их бедными», и с исторической точки зрения — Джон это чувствовал — такое утверждение вовсе не было необоснованным,

но, подобно всему, что воспринимается как неизбежное, означало лишь одно: они бедны, потому что они бедны.

«Марш к морю, как и поход Шеридана в долине, был не чем иным, как хорошо продуманной и организованно осуществляемой акцией разрушения. Армия Шермана проложила полосу шириной в 60 миль через среднюю Джорджию, где она уничтожала все запасы и урожай на корню, забивала скот, так капитально разрушала хлопкоочистительные машины, хлопкоперирабатывающие фабрики и железные дороги, что ни о каком ремонте нечего было и думать. Уничтожалось действительно все, что как-то могло быть полезно конфедерации, а к этому еще и многое другое. Грабить частные дома строго запрещалось, но предотвратить грабежи было невозможно, и многие семьи Джорджии лишились таким образом всего своего имущества. Однако при этом было неожиданно мало преступлений в отношении отдельных лиц, по отношению к белым женщинам их вообще не было. «Ни одна армия никогда не пользовалась такой свободой и при этом не держалась в таких строгих рамках». Это был поход, который любят солдаты — много грабежей и разрушений, мало дисциплины и боев; прекрасная погода, мало вещевого имущества, которое надо нести на себе; на завтрак — тушеная индейка, на обед — жаркое из баранины, запеченные цыплята — на ужин». (S. E. Morison, Henry S. Commager. The Growth of the American Republic. Цит. по немецкому изданию: «Становление американской республики». Штутгарт, 1949.)

— После этой войны фермеры в твоём Фарго уже не будут рассуждать о Гражданской войне, — сказал майор Уилер, когда Джон однажды описал ему один из таких вечеров на веранде кимброуской фермы.

Джон готов был бы согласиться с ним — совершенно ясно, что вторая мировая война, в противоположность первой, вытравит кое-что из памяти обитателей Юга, — если бы майор не привел в подтверждение своих слов аргументы, которые его, Кимброу, не устраивали.

— До этой войны мы были просто самой богатой страной в мире, — сказал Уилер, — после нее мы будем самой могущественной. Кроме нас будут еще только русские. Представь себе: мы станем управлять всем миром. Готов заключить с тобой пари, что в этой ситуации любой американский петух добровольно расстанется со своей провинциальной навозной кучей.

— Ко мне это не относится, — сказал Кимброу. — Мне напле-

вать на американское мировое господство.

— Собственно говоря, мне тоже,— сказал Уилер.— Только нам никуда от этого не деться.

— Америка должна оставаться у себя дома.

— Это было бы прекрасно. Дали бы нам только такую возможность! Или нам надо было оставаться дома, не обращая внимания на этого Гитлера?

### **Продолжение: Маспельт, 15 часов**

Чертовски сильный аргумент, думал Кимброу, вспоминая этот спор, во всяком случае, куда сильнее, чем та утонченная профессорская болтовня о защитном вале, который американцы якобы должны воздвигнуть против русских, чем все эти изречения Уилера в прошлый понедельник, вслед за лекцией полковника Р., касающейся майора Динклага. Теория «защитного вала» и вопрос о том, не воображает ли он, Кимброу, будто «мы находимся здесь, чтобы избавить немцев или кого-то другого от этого монстра»,— это потрясающе, шедевр непоследовательности, и объяснить такое можно, только предположив, что Боб хотел помешать ему сделать глупость; это было началом стратегии, закончившейся сегодня тем, что он появился в Маспельте и сказал, что отстранит его временно от командования, если...

Хотя, с другой стороны, как на это посмотреть—ведь он мог бы остаться в Сен-Вите и умыть руки: пусть 3-я рота оказалась бы вовлеченной в невообразимую бойню. (Нет, в бойню, которую можно во всех деталях себе представить!)

### ***Segregation*<sup>1</sup>**

Когда они вели себя словно орда дикарей, мисс Тиббет восклицала: «Лучше бы я пошла в школу для ниггеров, чем в вашу!» (За это замечание многие белые родители на нее обижались.)

Школа для черных в Фарго была построена черными, как школа для белых—белыми, то есть собственными руками. Она и выглядела так же, как школа для белых: большой деревянный дом с одной-единственной классной комнатой, только находилась она не в самом Фарго, а на его восточной окраине, внизу, на

---

<sup>1</sup> Сегрегация (англ.).

Сувонни, где спускались к реке немощные, желтые от глины улицы coloured section<sup>1</sup>—одинаковые безликие дома из горизонтально уложенных досок, с треугольными фронтонами, навесами на тонких опорах, под которыми сушилось белье и стояли старые кресла-качалки и кадки с алоэ или горшки с геранью. Дети Руфуса Мэгвуда и Джо Проктора—они давно перебрались на Север, оставив родителей на ферме Кимброу,—рассказывали в свое время Джону, что из окон школы видели выдру или большую голубую цаплю, стоявшую в тростниках. Иногда они привирали и утверждали, что видели даже аллигатора, хотя так близко от Фарго аллигаторы не появляются.

Детей Руфуса и Джо, так же как и Джона, забирал по утрам автобус и отвозил в Фарго, только это был другой автобус, не тот, в котором ездил Джон.

Иногда Джон один или с приятелями бродил вдоль Сувонни, когда черные дети еще были в школе, и слышал доносившиеся оттуда взрывы смеха и крик, которые обратили бы в бегство мисс Тиббет. Сперва раздавались отдельные возгласы, потом присоединялись другие голоса, словно невидимый хор исполнял речитатив, и вот уже всех охватывала буря веселья. Белые дети на улице не говорят ни слова, даже не качают головой, а вихрь дискантов несется над медленно текущей рекою.

Днем музыка смеха, ритмичного похлопыванья в ладоши, по вечерам—веночек черных лиц вокруг керосиновой лампы. (Поскольку он был ребенком, его пускали в хижину.)

Или ночью, когда они с отцом возвращались с рынка из Гомервиля или откуда-нибудь еще,

...then we would pass in the dark some old truck grudging and clanking down the concrete, and catch, in the split-second flick of our headlamps, a glimpse of the black faces and the staring eyes. Or the figure, sudden in our headlight, would rise from the roadside, dark and shapeless against the soaked blackness of the cotton land: the man humping along with the crocker sack on his shoulders (containing what?), the woman with a piece of sacking or paper over her head against the drizzle now, at her bosom a bundle that must be a small child, the big children following with the same slow, mudlifting stride in the darkness (Robert Penn Warren. Segregation. New York, 1956)<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Квартал цветных (англ.).

<sup>2</sup> ...и тогда, в темноте, мы проезжали мимо какого-нибудь старого грузовика, пытящего и громыхающего на асфальте, и наши фары выхватывали на мгновенье

Он не мог наглядеться на их могилы. Иногда он бесцельно тратил часы на кладбище возле старой баптистской часовни. Могилы были неухоженные, земля вокруг осевших каменных плит, цементные кресты были покрыты листвой и бурыми высохшими ветками сосны. Негры не приносили на могилы свежих цветов, они раскладывали там ракушки, солонки и перечницы, банки из-под варенья, тазики для бритья, внутренности радиоприемников, старые будильники, автомобильные фары, перегоревшие электрические лампочки, гребни, тарелки, чашки, пепельницы, молочные бутылки, головы кукол, гипсовые фигуры. (Он обнаружил даже статуэтки, изображавшие Джеки Кутэна и Авраама Линкольна.)

На негритянской могиле все было разбитым.

«Жизнь разбита, сосуд разбит»,— сказал Руфус, когда Джон как-то спросил его, почему они так делают.

Кроме того, как объяснил он маленькому Джону, эти поломанные вещи мешали привидениям—он сказал «the ha'nts» — топтать мертвецов ногами.

Это было убедительно. Вечером, уже лежа в постели, можно было представить себе, как привидения чертыхались от боли, ступая босыми ногами по могилам негров.

## **Маспельт, 16 часов**

Стремясь как-то скоротать время, Джон рассказывал Бобу:

— Вчера получил письмо от дяди. Пишет, что никогда еще не было в Саванне такого бума, как сейчас. Знаешь, город уже несколько лет как захирел из-за подводных лодок, болтавшихся у побережья: они полностью блокировали порт, а для города это конец. Теперь они ушли, исчезли, и в порту настало, пишет дядя, такое оживление, что и представить себе невозможно, жизнь там сейчас куда активнее, чем до войны. На дорогах, ведущих к

---

черные лица и широко раскрытые глаза. Или, вдруг освещенная нашими фарами, у дороги выростала человеческая фигура, серая и бесформенная на фоне кромешной тьмы хлопковой плантации: мужчина, торопящийся куда-то с мешком на плечах (что он в нем несет?), женщина под морозящим дождем, прикрывшая голову куском мешковины или бумаги, прижимающая к груди сверток—должно быть, своего младенца, и дети постарше, следующие за ней во тьме все тем же медленным, тяжелым шагом (Роберт Пенн Уоррен. Сегрегация. Нью-Йорк, 1956).— (англ.)

порту, на многие мили стоят грузовики с военными грузами для кораблей, отправляющихся в Европу.

— Они придут слишком поздно,—сказал Уилер.—Когда они явятся сюда, мы уже покончим с jetties.

— Вот как?—сказал Кимброу удивленно, ибо Уилер обычно предсказывал, что война продлится долго, но возражать он не стал, сдержался. Все разговоры Боба сегодня явно были направлены на то, чтобы убедить его, что и с этой точки зрения взятие в плен одного немецкого батальона не столь уж важно. Если с jetties можно управиться в мгновение ока, то предложение Динкклаге лучше всего положить в ящик, хотя и в не слишком долгий.

— А еще,—продолжал Кимброу, меняя тему беседы,—дядя пишет: жаль, что я не могу видеть, как новый губернатор Джорджии наводит у них порядок. Дело в том, что у нас с прошлого года новый губернатор—Арналл, ему всего тридцать семь лет, это самый молодой губернатор в Штатах, и если то, что пишет дядя, правда, значит, подул свежий ветер. Заключенных избивать запрещено, и милледжвиллская тюрьма—это позорище—закрыта. Подкупы прекратились—при Юджине Толмейдже можно было купить и продать помилование для преступника, пойманного на месте преступления. Попытки управлять школами и университетами тоже остались в прошлом. Толмейдж—об этом ты, наверно, слышал даже в Блумингтоне!—увольнял и назначал ректоров университетов, когда хотел. Теперь Джорджия—штат, который больше половины бюджета тратит на образование: из каждого доллара налогов значительная часть идет на школу. Трудно поверить, но они даже ввели пенсии для учителей. И теперь этот Арналл затеял тяжбу с двадцатью железнодорожными компаниями, обратился в Верховный суд и возбудил против них дело о нарушении шермановского антитрестовского закона, поскольку они, договорившись о ценах, вступили в заговор, наносящий ущерб Югу. Что это значит, понять может только юрист. Интересно, добьется ли он своего.

— Кем был этот Арналл, прежде чем стал губернатором?

— Адвокатом,—сказал Кимброу.—Правда, в последнее время он был генеральным прокурором Джорджии,—добавил он, чтобы парализовать Боба, ибо знал, что теперь будет: Боб обязательно начнет разглагольствовать о связях между юридической казуистикой и политикой.

Но мысли Уилера скользили сегодня по обходным путям. Он только спросил:

— Ты жалеешь, что поспешил пойти в армию?

Было бессмысленно снова объяснять ему (в который раз!), что он пошел добровольцем не из-за положения дел в Джорджии. Трудность заключалась в том, что никому, даже самому себе, он не мог бы точно объяснить, почему не дождался призыва.

Уклонившись от прямого ответа, он сказал:

— Я не верю в большие перемены. Арналла выбрали, чтобы он провел несколько реформ, которые были уже просто необходимы, а потом все пойдет по-прежнему.

— Вот это — огромная твоя ошибка, — сказал Уилер. — Жизнь иногда развивается так, что вернуть старое просто невозможно.

И все же сегодня он как собеседник был не в форме, даже не воспользовался возможностью — от которой в аналогичных обстоятельствах никогда не отказывался — вытянуть ниточку интересующей его темы до конца, затеять большую дискуссию о демократии в Америке, пространно изложить свои соображения о взаимовлиянии прогрессивного и консервативного мышления.

Вместо этого он посмотрел на часы и сказал:

— Шефольд должен скоро вернуться.

## ***Еще одна учительница***

Из того, что писала ему Дороти, он ничего не мог бы пересказать Бобу, хотя в ее письмах было очень мало личного и уж тем более отсутствовали объяснения в любви. Если Дороти и писала о чем-то личном, то это были лишь фразы в таком роде: «Жаль, что ты не можешь как-нибудь заехать сюда», или: «Если бы ты был здесь, ты понял бы, что ваша вторая мировая война — не такое уж важное дело», или — самое большее: «Подумай, не стоит ли тебе приехать сюда, когда война кончится и ты снова будешь свободен. Ты мог бы нам очень и очень помочь». (Дороти работала в американской группе, которая занималась тем, что спасала культуру, язык, обычаи каких-то мексиканских индейцев. Из ее описаний Джон сделал вывод, что мексиканское правительство отнюдь не стремилось сохранить индейцам их язык. В государственных школах индейских детей учили испанскому, и правительству не очень-то нравилось, когда приезжали североамериканцы и основывали школы, в которых преподавание велось на языках индейцев; по-видимому, это был очередной хитроумный ход американских империалистов с целью помешать созданию единой мексиканской культуры.)

Дороти писала: «Несколько дней была в Оахаке, а сейчас снова нахожусь в своем горном гнезде. Оно расположено на высоте 7000 футов, и мне пришлось три дня ехать до него верхом — так что я могу только гадать, когда это письмо попадет к тебе. Оно попадет, конечно, — во всяком случае, будет сделано все, что зависит от нас, сапотеков. Представь себе, я отдаю его индианке, и она бредет босиком по тропе, по которой я скакала верхом, — бредет со своей тяжелой ношей, связками лилий, на рынок в Оахаку. Она несет цветы на лбу, то есть скрепляет носу вышитой лентой, которую повязывает вокруг головы. Маленькая, согнувшаяся, она идет очень быстро, на ней надето huipil, в каждой деревне — свое huipil, наше представляет собой просто длинную, до щиколоток, широкую белую рубашу, расшитую птицами и звездами. Я тоже носу такую здесь, в деревне, но от этого мало толку, потому что из страха перед змеями я не могу заставить себя отказаться от обуви. Говоря, что от этого мало толку, я имею в виду, что никогда не буду среди сапотеков по-настоящему своей. Они меня не принимают! Туфли, стекла в окнах моей хижины, книги на столе, зубная паста, мыло — все это отделяет меня от них. Или то, что я одалживаю у кого-нибудь лошадь и езжу верхом — женщина, которая ездит верхом! А еще я пишу письма, хотя это всего лишь ежемесячные отчеты, которые я посылаю начальству, да иногда письма тебе. Но ужасно во всем этом не то, что я остаюсь белой женщиной, а то, что они меняются с тех пор, как я живу среди них. Я это чувствую. В них что-то происходит, когда они сидят у меня и я записываю их слова, показываю им, как выглядит их язык, записанный нашими буквами. Письменность сапотеков — такого они еще никогда не видели; кстати, это довольно трудно — передать систему их звуков нашими буквами. Они сразу все понимают, но, пока они по очереди читают эти буквы и смотрят на вещи, которые меня окружают, в их глазах вспыхивает и снова исчезает что-то чужое, мрачное, и я спрашиваю себя, может быть, все, что я делаю, неправильно и не лучше ли оставить сапотекам их язык, не навязывая им письменности? Может быть, прав чиновник мексиканского правительства, который недавно сказал мне в отеле «Виктория» в Оахаке: «Чего вы, собственно, добиваетесь, сеньора? Мы не мешаем индейцам свободно развиваться. Мексика была освобождена и основана чистокровным сапотеком». Он прав: Бенито Хуарес родился недалеко от той деревни, где я живу. Но потом я снова думаю о Хулии Тамайо, которой я дам это письмо, и о том, как торговка в Оахаке сорвет носу с ее спины, сунет ей в руку за двести лилий пять — да, да: пять! —



песет. Это чудовищно!

И все же наша страна сапотеков тебе бы понравилась. Здесь в воздухе свобода, какой ты себе и представить не можешь. Как все здешние мужчины, ты стоял бы рядом со своей лошадью, и на твое лицо падала бы тень от сомбреро. Представь: ты мог бы ездить верхом среди горных джунглей, и тебя касались бы красные орхидеи на длинных, как мечи, стеблях, свисающих с гигантских сосен. Ночи ты проводил бы в хижинах людей, которые так бедны, что ты почувствовал бы, как им трудно предложить тебе несколько *tortillas*<sup>1</sup>. А днем были бы речные каньоны, песчаные банки, заросли агав, где ты мог бы проводить долгие часы... Это было бы не так плохо, ты не находишь?»

Получив это письмо, он первым делом попытался представить себе Дороти в длинной белой рубашке, вышитой птицами и звездами. Она была высокая стройная девушка. Темные струи волос, лицо, очень медленно покрывавшееся загаром, становившееся, если память ему не изменяла, не темнее светлого майса. Он пришел к выводу, что эта штука, которая называется *huipil*, наверняка ее красит. Во время их первой встречи в милледжвиллской тюрьме и потом оба раза, когда они встречались в Нью-Йорке, на ней был один и тот же серый костюм. Должно быть, в ней произошла большая перемена, если она теперь ходит по деревням, где у домов нет окон, в бесформенном, но, наверно, все же очень красивом одеянии.

Что же касается его желания видеть места, населенные сапотеками, то тут она изрядно ошибалась. Он родился на ферме, расположенной на окраине старого доброго Окефеноки, и у него не было иного желания, как вернуться туда. (Он не Бенито Хуарес!) Она не понимала, что ему не нужны индейцы, потому что он сам индеец. *Attorney-of-law, Captain US Army*<sup>2</sup> — конечно, но кроме того — нет, прежде всего! — он тот, кого имеют в виду жители Фарго, говоря: *swamper*. Что такое *swamper*, Дороти знать не могла, потому что она не знала старого доброго Окефеноки. Однажды он попытался ей это объяснить — четыре года назад, в октябре 1940 года, когда они сидели на скамейке в Трайон-парке и смотрели вниз на Гудзон, старую реку ирокезов, которая текла меж высоких лесистых берегов, словно в романе Джеймса Фенимора Купера, в этот сказочный город, совсем,

---

<sup>1</sup> Тонкие лепешки из кукурузной муки (*исп.*).

<sup>2</sup> Адвокат, капитан американской армии (*англ.*).

впрочем, невидимый с того места, где они сидели. До них доносился только шум, да и то различить отдельные звуки было невозможно—все сливалось в единый ровный звуковой слой, лишь время от времени менявший оттенки.

Дороти слушала его. Потом сказала:

— Мне очень жаль, Джон, я верю, что твое болото там, на Юге, очень красиво, но из-за этого незачем впадать в провинциальный патриотизм. «Мы—swamper» — звучит точно так же, как «мы—ньюйоркцы». Мне это совсем не нравится.

Его словно обдало холодным душем, выдержать который было не так-то просто. Позднее он понял, что она права, и всякий раз, когда на него находило это чувство «мы—swamper», он строил гримасу. И все же самому себе он не мог не признаться в том, что был живым опровержением мифа об американце, вечно находящемся в движении, вечно меняющем место жительства.

Теперь он мог бы сказать Дороти (хотя и не сделал этого), что она сама стала провинциальной патриоткой: хоть и грустила, что никогда не будет принята по-настоящему в семью сапотеков (критическое начало было ей свойственно), а все же говорила: «Мы—сапотеки» («мы—ньюйоркцы»),—и описаниями ландшафта, а также некоего одеяния, называемого *huipil*, пыталась соблазнить его, предлагая избрать своей родиной какой-то район на юге Мексики (как будто ему нужна родина; ему нужно было одно: Дороти, Дороти в Фарго, Дороти, которую он очень хорошо представлял себе в белом одеянии в его каноэ, затерявшемся на просторах Окефеноки), Дороти, упрятавшая в придаточное предложение (трогательно? изощренно?) признание, что он—единственный человек, которому она пишет письма.

Во время своего второго визита в Нью-Йорк, незадолго до рождества 1940 года, он набрался смелости и совершил бестактность, спросив ее, не согласится ли она все же как-нибудь приехать в Джорджию, хотя бы поглядеть на Саванну и Фарго. Они сидели в кафе на 57-й улице, ужинали, снежинки за окнами почти горизонтально летели через освещенную пропасть. Дороти ничего не ответила, только покачала головой, а потом даже всплакнула. Это было ужасно, но не мог же он все время ходить вокруг да около, ему хотелось убедиться в том, что она не сможет жить на той земле, где ее отца казнили на электрическом стуле. Но если она не в силах жить, так сказать, у могилы, на кладбище пользующейся печальной известностью тюрьмы, значит, он, Джон Кимброу, сможет добиться этой Дороти Дюбуа лишь в том случае, если решится стать кочующим американцем, обитателем

trailer<sup>1</sup>, одним из displaced persons<sup>2</sup>, завоевателей мира. Что угодно, только не это! И дело даже не в том, что он не может, не хочет этого делать ради Дороти, а в том, что это невозможно. Они не могли быть вместе, Дороти и он, и потому было вполне естественно, что они молчали и вместе смотрели на снегопад на 57-й улице. Дороти заплакала, но никто из посетителей кафе ничего не заметил.

Задерживаться на деле Дюбуа у нас нет оснований. Собственно, не такой уж трагический случай. Во время мирового экономического кризиса этот человек связался с преступным миром, стал грабить банки, то есть занялся профессией, которая, в общем, не является самой бесчестной, но ему не повезло: во время нападения на банк в Атланте он убил не одного, а сразу двух кассиров — обстоятельство, заставившее присяжных весьма сдержанно выслушать речь Джона, призывавшего ограничить наказание пожизненным заключением (вообще-то говоря, пожизненное заключение было ему так же отвратительно, как электрический стул). Однако не будем вспоминать об этом! Может быть, Дороти и не стоило так тяжело переживать эту историю, как она ее переживала, но отец есть отец, и тут уговаривать человека бесполезно, да Джон Кимброу и не пытался этого делать.

Преступление ли отца или его казнь подействовали так на Дороти, что она не только не приехала в Джорджию, но в конце концов вообще покинула США? От третьей поездки в Нью-Йорк (в феврале 1941 г.), которую предпринял Кимброу, поскольку его письма возвращались назад, он мог бы себя избавить, потому что люди, открывшие ему дверь на Кларк-стрит в Бруклине, не имели ни малейшего понятия о том, куда она выехала. Он подумал, не стоит ли отправиться в контору неподалеку от Сентрал-парка, где она раньше работала, но потом решил этого не делать. Если его письма возвращаются назад, если она не подает о себе вестей, значит, у нее есть на то свои причины, относительно которых она держала его в неизвестности весьма недолго, ибо, когда он вернулся в Саванну, его уже ждало первое письмо из Мексики. Она писала, в частности: «Подумать только, на какие деньги я училась три года в университете!» Довод трудно опровержимый; и вообще ее решение исчезнуть со сцены было разумным, логичным, хотя и напомнило Джону отца

---

<sup>1</sup> Фургон, прицепляемый к автомобилю (англ.).

<sup>2</sup> Перемещенное лицо (англ.).

Дороти, который, сидя в камере, отвечал адвокату, пытавшемуся найти смягчающие обстоятельства, всегда одно и то же: «Знаете, я из тех, кто всегда все доводит до конца».

Нелогично было лишь то, что через некоторое время она начала описывать провинцию Оахака в Мексике так, словно в один прекрасный день эта провинция могла заменить ему округ Клинч в штате Джорджия.

Как отреагировал бы Боб, если бы он рассказал ему эту историю, Кимброу знал заранее. «Ах, вот в чем дело! — воскликнул бы он. — Вот почему ты пошел в армию!» Подобные истории — да, впрочем, любые истории — легко могут привести человека к неправильным заключениям.

В тот день, когда он безуспешно искал Дороти в Нью-Йорке, он схватил воспаление легких, притом лишь потому, что, выйдя из дома, в котором она жила, сам того не сознавая, пошел по Кларк-стрит до самого конца, где она упирается в Ист-ривер, откуда дул такой колющий северо-восточный ветер, что любой другой заметил бы это и немедленно повернул назад. Он же остановился и стал смотреть на непроницаемые, словно сжатый кулак, башни за рекой, лишенные теней в этот час, — воплощение насилия, овеянное ледяными ветрами, дующими с разных сторон; он провел так несколько бесполезных и опасных минут, спрашивая себя, должен он ненавидеть Дороти и южный угол Манхэттена или восхищаться ими, потом наконец, но уже слишком поздно, почувствовал холод и побежал к ближайшей станции подземки. Когда он ехал в экспрессе, который с ревом мчался к мягкому, спасительному югу, у него стала повышаться температура — от Филадельфии к Вашингтону, от Ричмонда к Огасте. Он приехал в Саванну с температурой сорок, уверенный в том, что никогда больше не увидит Дороти Дюбуа. Вот все, что он мог бы ответить Бобу, и это не имело никакого, ровным счетом никакого отношения к тому факту, что несколько месяцев спустя он стоял на учебном плацу в Форт-Беннинге и со скептической ухмылкой прислушивался к рыку одного из сержантов армии Соединенных Штатов Америки.

### ***Маспельт, 17 часов***

Он посмотрел в окно, на луговой склон, за которым ничего не было видно и который теперь, в сумерках, был погружен в тень. Майор Уилер полчаса назад вышел на улицу

(«Надо немного размять ноги»,—сказал он)—и теперь вернулся, сел, закурил сигарету.

— Ну,—сказал он,—доктор Шефольд заставляет себя ждать.

— Не могу понять, в чем дело,—сказал Джон.

— Ты должен учитывать, что они могли заболтаться,—отозвался Уилер.—У них есть что сказать друг другу, у этого немецкого эмигранта и немецкого офицера, который хотел бы сбежать от своего высшего военачальника. По-моему, они могут проговорить много часов подряд.

— Но это наверняка означает, что майор Динклагге отказался от своей идеи,—сказал Джон и недоверчиво покачал головой.—Если же он не отказался, если в его календаре что-то значится на эту ночь, то он должен был бы известить меня возможно скорее.

— Это ты так считаешь. А он наверняка раздумал. Готов держать пари на пятьдесят долларов: он давно понял, что его операция не состоится.

— Принимаю пари,—сказал Джон.—Зачем бы он стал требовать к себе Шефольда, если отказался от своих намерений?

— Просто так,—сказал Уилер и выпустил дым от сигареты прямо перед собой.—Вплоть до прихода Шефольда он мог проигрывать свой план сколько угодно.

— Но зачем ему это?—спросил Джон.—Подвергать человека опасности просто так, без всякого смысла?

— Не знаю.—Какое-то время Уилер рассматривал стену за спиной Джона Кимброу, чисто выбеленную стену комнаты в Маспельте, на которой, кроме списка 3-й роты, ничего не висело.—Я полагаю, это его способ распрощаться с нами. Он хочет нас устыдить. Заставив прийти Шефольда, он говорит нам: «Видите, я этого хотел. Действительно хотел. А засим—адье!»

— Проклятье!—сказал Джон.—А ведь это было бы большое дело. Пожалуй, самое большое за всю войну.

— Какой смысл размышлять о невозможном,—сказал Уилер.—Ты же мне только что сам доказал, что из этого никогда бы ничего не вышло.

— Да, но только потому, что полк не желает участвовать. Вот если бы иметь перевес сил...

Уилер не дал ему договорить.

— Нет,—сказал он,—даже если бы мы имели численный перевес, нет никакой гарантии, что дело не дошло бы до кровопролития. А если погибнет хоть один солдат, наш или немецкий, майору Динклагге останется только пустить себе пулю в лоб. Это он знает абсолютно точно, и ты, Ким, тоже это знаешь.—Он подумал, потом заговорил снова:—Армия могла бы

пойти и на потери, если бы решилась осуществить крупную операцию. Препятствие не в этом. Но майор Динклагге не может себе позволить нести потери. Этим я не хочу, конечно, сказать, что армия действует так от великой мудрости, заботясь — как бы это поточнее выразить, — заботясь еще и о совести немецкого офицера. У армии, разумеется, совсем другие причины отказываться от предложения Динклагге. А возможно, нет никаких причин; возможно, это предложение просто ее не устраивает. Армии отличаются невероятной тупостью.

Он долго держал в руке зажженную сигарету и погасил ее, только когда она начала жечь ему пальцы.

— Пожалуй, армия, которая не отличается тупостью, это вовсе и не армия, — сказал он.

— Я беспокоюсь за Шефольда, Боб, — сказал Джон.

«Значит, он меня вообще не слушал», — подумал Уилер.

— Так тебе и надо, — сказал он. — Ты ни в коем случае не должен был допустить, чтобы он пошел. — И, желая успокоить Джона, добавил: — Скоро выяснится, где застрелял Шефольд. Что касается его безопасности, то мы, надеюсь, можем положиться на майора Динклагге.

— Нет, я все же не принимаю твоего пари, — сказал Джон. — Скоро уже половина шестого. Если Шефольд возвращается так поздно, значит, ничего не будет.

— С тобой только и заключать пари, — сказал Уилер. — Сперва принимаешь, потом отказываешься. Но, поскольку я от природы человек честный, не стану возражать. У тебя все равно нет ни малейшего шанса выиграть. Это с самого начала был пустой номер.

— Но тогда я не понимаю, зачем он вызвал к себе Шефольда! — воскликнул Джон. — Махнуть на нас рукой, устыдить нас, как ты сказал, — о'кей, но из-за этого не ставят на карту жизнь человека! Я просто не понимаю, Боб!

«Динклагге потребовал, чтобы Шефольд пришел к нему, а ты не помешал Шефольду пойти, потому что у прусских офицеров и американцев из южных штатов представления о чести весьма схожи», — подумал майор Уилер. Но эту свою мысль он не выразил вслух, а сказал только:

— Ему наверняка не пришло в голову, что он ставит под угрозу жизнь Шефольда. Этот господин привык к тому, что на подчиненной ему территории все происходит так, как он приказал.

«This gentleman»<sup>1</sup> — он произнес это уже вторично, не подоз-

<sup>1</sup> Этот джентльмен (англ.).

ревая, что переходит на тот же тон, каким Венцель Хайншток, желая охарактеризовать Динклагге, говорил Кэте Ленк: «Этот господин».

Поскольку склон за окном погрузился уже в сплошной мрак, Джон Кимброу включил настольную лампу и опустил черную бумагу, скрученную рулоном над окном. 12 октября между пятью и шестью часами на Эйфеле и в Арденнах освещение обычно такое, о котором можно лишь сказать: еще немного, и не увидишь, как из винтовки стрелять. Да и то только в том случае, если день выдался светлым, солнечным, как это было 12 октября 1944 года.

Постучав в дверь, Фостер чуть приоткрыл ее, просунул голову и спросил, не желают ли майор и капитан кофе: как раз есть свежий. Они ответили утвердительно, и через минуту он вошел и, поставив перед ними чашки, налил из эмалированного кофейника кофе с молоком.

— Вообще-то я с большей охотой выпил бы черного,— сказал с усмешкой Уилер, но лишь после того, как Фостер вышел; тем самым он дал понять Джону, что отнюдь не настаивает на черном кофе, а просто иронизирует по поводу мягкости царящих в роте «кофейных нравов».

— Они привыкли насыпать гору порошка,— сказал Джон.— Так что с молоком полезнее.

— Особенно для пожилых господ из штаба полка? Ты это хочешь сказать, не так ли? Господ, которые и без того склонны беспричинно волноваться из-за молодых офицеров?

— От подобных мыслей я далек,— сказал Джон.— Как ты знаешь, я восхищаюсь невозмутимым спокойствием и мудростью высших штабов.

Они подшучивали друг над другом, но мирно, лениво; потом вовсе перестали разговаривать и только прислушивались к звукам: треску разрываемого бумажного пакетика с сахаром, дребезжанью кофейной ложечки, щелчку зажигалки, которую Джон поднес к сигарете майора и своей собственной, невнятным звукам голосов и стуку пишущей машинки, доносившемуся из канцелярии.

«Состояние тревоги имеет свои преимущества,— подумал Джон.— Если бы все шло как обычно, мне сейчас полагалось бы находиться на улице, на вечерней поверке». И еще подумал: «При других обстоятельствах мог бы получиться уютный вечер. Уютно посидеть за чашкой кофе на этой уютной войне».

Майор Уилер выпрямился в своем кресле.

— Сколько времени надо Шефольду,—спросил он,—чтобы дойти от Винтерспельта до нас, следуя указанным путем?

Этот вопрос напомнил Джону вчерашнее утреннее посещение Хеммереса. Они еще прикидывали с Шефольдом, сколько продлится его поход.

— Обратный путь не займет много времени,—сказал тогда Шефольд.—Дорогу я знаю и к тому же буду спешить. Я полагаю, что на обратный путь мне понадобится не более часа. Так что если я выйду от Динклагге между часом и двумя, то смогу быть в Маспельте не позже трех.

Они сидели на скамейке возле хутора и говорили о посреднической миссии Шефольда как о воскресной прогулке. Джон Кимброу еще сказал:

— Пожалуй, будет хорошо, если вы пойдете, вам надо лично уговорить его не подгонять нас, дать нам срок.

Правда, после этих слов произошла какая-то заминка в разговоре, и Джон не решался взглянуть на Шефольда. Вместо этого, словно не замечая обоих своих солдат, стоявших на часах, он принялся рассматривать деревья в долине и представлял себе, как эти стволы прикрывают крупного полного человека, сумасбродно разгуливающего по Германии.

«Было бы мне легче,—спросил он себя сейчас,—если бы вчера утром Шефольд отказался идти к Динклагге, а не начал после короткой паузы обсуждать технические детали своего похода, даже не выказав колебаний или сомнений?»

— Максимум два часа,—ответил он Уилеру.—Да и то если будет брести не спеша, а он едва ли так пойдет. Он ведь знает, что важны каждые пятнадцать минут.

— То есть ты хочешь сказать, могут быть важны,—поправил его Уилер.—Не забывай, что я здесь и потому никакой важности все это уже не имеет!

У Джона так и вертелось на языке: «Ах да, Боб Уилер—великий предотвратитель!»—но он вовремя удержался: в конце концов, ведь Боб его начальник, находится он здесь со служебным заданием, пусть даже это задание он дал себе сам, руководствуясь высокой порядочностью, это Джон должен признать, ибо Боб мог бы остаться в Сен-Вите и умыть руки.

Еще одно соображение удержало его от спора с Бобом по принципиальным вопросам.

— Может быть, Шефольд задержался из-за того,—сказал



он,—что решил собрать на хуторе свои вещи, прежде чем вернуться.

Хмыкнув, Уилер посмотрел на него.

— Наверняка,—сказал Джон и повторил уже увереннее:— Наверняка.—Хотя мысль о том, что Шефольд должен покинуть хутор, возникла у него лишь сейчас.

Его охватила тревога.

— Если Динкледж,—от волнения он снова произнес это имя на английский лад,—решил махнуть на нас рукой, как ты говоришь, он, безусловно, задраит переборки. Как офицер он не может допустить, чтобы на его участке фронта оставалась брешь. Он прикажет сегодня же ночью занять Хеммерес. И у него наверняка хватит совести предупредить Шефольда, чтобы тот своевременно убрался. Как ты думаешь?

— Можешь быть уверен,—сказал майор Уилер.

Джон сидел на самом краешке стула. Упершись локтями в стол, он крепко стиснул ладони.

— Господи, как же я не подумал об этом,—сказал он.—Надо дать соответствующие инструкции часовым. Надо послать двух разведчиков вниз, чтобы они с близкого расстояния наблюдали, не появятся ли *jerries*. И конечно, как только они появятся, я прикажу взять хутор под минометный обстрел. Пусть немцы не думают, что им удастся удобно расположиться в Хеммересе.

— Надеюсь, ты этого не сделаешь, не запросив штаб батальона,—сказал Уилер.

Джон поглядел на него с яростью.

— А существуют, вообще говоря, решения,—спросил он,—которые командир роты может принять самостоятельно?

— Не валяй дурака, приятель!—сказал Уилер.—Как будто ты не выучил все, что положено, в первые же четыре недели в Форт-Беннинге! Бывают ситуации, когда у офицера есть возможность принимать решения самостоятельно,—добавил он и процитировал:—«Если в ходе боевых действий командир со своим подразделением оказывается полностью отрезан от вышестоящей командной инстанции...»

— То есть иными словами: никогда!—воскликнул Джон. И, заметив изумленный, даже ошеломленный взгляд Боба, смутился.

— Ты еще удивишься,—сказал Уилер.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Я хочу сказать,—медленно проговорил Уилер,—что через пару недель здесь у нас начнется величайшее за всю эту войну свинство.

Джон соображал быстро и решил не перечить гостю. Если офицер разведки, обладающий такими способностями, как Боб, говорит подобное, значит, у него есть основания.

Он воскликнул «*Whow!*»<sup>1</sup> и напустил на себя недоверчивый вид, чтобы заставить Боба разговориться.

— Немцы стягивают в район западнее среднего Рейна несколько армейских корпусов,—сказал Уилер.— У меня есть достаточно тому доказательств. Они совпадают с данными, которые имеются во всех полках, и с результатами воздушной разведки.

— Ну и что? — спросил Джон.— Что говорят по этому поводу наверху?

— Ничего,—сказал Боб.— Никаких комментариев.

— Но ты же не думаешь, что они будут спокойно смотреть, как несколько армейских корпусов двинутся на нас?

— Не имею ни малейшего представления,—сказал Уилер.

Они принялись обсуждать вопрос с профессиональной точки зрения. Возможно, три жалкие дивизии, стоящие между Моншау и Эхтернахом, своевременно отведут с позиций. Тогда немцы влетят в брешь между левым флангом Паттона и правым Ходжеса и будут взяты в клещи. Возможно также, что с юга двинутся американцы, с севера англичане и выйдут к исходным рубежам немцев, тем самым как бы обезвредив бомбу, чтобы она уже не могла взорваться.

— Все это теория,—сказал Уилер.— У меня такое впечатление, что Брэдли просто сидит себе и выжидает.

— А нас хочет бессмысленно загубить? — возмущенно спросил Джон.

Уилер пожал плечами.

— Может быть, он надеется, что несколько дней мы сможем продержаться,—сказал он.

— *Shit!*<sup>2</sup> —сказал Джон.

После чего оба погрузились в раздумье, и в комнате, слабо освещенной настольной лампой, воцарилась тишина.

— Когда все кончится, станут говорить, что не сработала разведка,—сказал майор.— Вижу перед собой фолианты, в которых будет доказываться, что армия была застигнута врасплох масштабами и мощностью немецкого удара. *Brass-hats*<sup>3</sup> начнут давать интервью, будут валить всю вину на нас, разведчиков. Я тебе

---

<sup>1</sup> Ого! (англ.)

<sup>2</sup> Дерьмо! (англ.)

<sup>3</sup> Высшие чины (англ.).

расскажу один секрет,—помолчав, заговорил он снова.—В полку получена инструкция, которая лишь потому еще не передана в штаб фронта, что у полковника Р., когда он ее прочитал, начался припадок бешенства. Там говорится, что войска должны вести себя так, чтобы спящая собака не проснулась. Дословно!

— Whow! — снова воскликнул Джон, на сей раз без оттенка недоверия, а просто озадаченно. Потом он вдруг ухмыльнулся. Он представил себе армию, которая ходит на цыпочках, чтобы не беспокоить соседей.

— Вот причина, по которой тебе не разрешат обстрелять Хеммерес из минометов,—сказал Уилер.—И я полагаю также, что это одна из причин, почему армия хранит молчание по поводу предложения Динклагге. Динклагге предлагает ей кусок пирога в тот момент, когда она—ну никак!—не хочет этот пирог есть.

— А Шефольд тоже подтверждал твои сведения о концентрации немецких войск?—спросил Джон.

— Ах, этот! — сказал Уилер и махнул рукой.—Он и понятия о таких вещах не имеет. Да ведь там, где он бывает, еще ничего не происходит. Вся эта местность за немецкой линией фронта входит в район, где будут разворачиваться отвлекающие действия; этот район будет занят в последний момент. Мы даже знаем кодовое название немецкой операции. Она называется «Вахта на Рейне». Тем самым они хотят нам внушить, что готовятся всего лишь к защите Рейна. И я уже встречал в штабе людей, которые в это верят.—Он помолчал, потом добавил:—Ну да, ведь даже майор Динклагге, вероятно, ничего не знает о том, какие силы скапливаются у него за спиной...

Кстати, вопрос Джона Кимброу напомнил Уилеру, что, пока он командовал разведкой 424-го полка, он отказывался от мысли включить хутор Хеммерес в число пунктов, служивших для заброски агентов в немецкий тыл. А почему? Только из-за Шефольда, который, вообще-то говоря, не был агентом, а был всего лишь поставщиком информации о настроениях, информации, скорее всего, неверной, ибо Шефольд сообщал лишь о том, что крестьяне и солдаты, с которыми он разговаривал, считают войну проигранной,—и ничего больше. Если верить Шефольду, то немцы—самый благоразумный, самый смирный народ в мире. Как у них мог появиться Гитлер, оставалось загадкой.

Сейчас, дожидаясь Шефольда, Уилер корил себя. Надо было использовать хутор Хеммерес с большей пользой!

Даже для самого Шефольда было бы лучше, если бы он,

Уилер, вежливо, но настоятельно попросил его исчезнуть из Хеммереса: «Марш-марш назад, в Бельгию, доктор Шефольд! Вы нам здесь не нужны! Здесь не место для искусствоведов, немецких романтиков, фантазеров!» Да, так было бы лучше. Вместо этого — сегодняшняя неразбериха, которая не кончится, пока Шефольд бродит где-то там, в сумерках, в начинающейся ночи, между линиями обороны!

Их беседа шла через пень-колоду.

— Кстати, не прикидывайся, будто ты так уж рвешься превратить Хеммерес в груды развалин, — сказал Уилер. — Пожалуй, тебе это меньше всех могло бы доставить удовольствие. Не поверю, что ты жаждешь снискать столь дешевую военную славу.

«Да, — подумал Джон, — это верно, и к тому же я еще вчера говорил Шефольду, что в Хеммересе война никогда не придет. Стоя там, внизу, перед хутором, я болтал что-то насчет дыры в потолке, которую никто не заделает. И всю эту чушь я нес потому, что увидел пару яблонь, луг, речку, канюка».

— Тогда просвети меня, — сказал он, — как добиться военной славы!

— Изволь, — ответил Уилер, не поддаваясь на его тон. — Взять в плен немецкий батальон и попасть за это под военный трибунал — это тебе бы очень подошло. Способ сделать военную карьеру вполне в твоём духе. Да, ты был бы разжалован и одновременно стал бы национальным героем. Через десять лет о тебе можно было бы прочесть во всех американских хрестоматиях.

— И этому ты хочешь помешать! — сказал Джон, смеясь. Уилер не засмеялся.

— Боюсь, что этому уже помешали без меня, — сказал он.

### ***Про аллигаторов...***

Он никак не мог научиться удить рыбу, но эту свою неспособность компенсировал хорошей стрельбой.

Сначала они стреляли в консервные банки, выставленные на бревне; потом отец стал подбрасывать эти банки в воздух. Через какое-то время Джон попадал уже в каждую банку. И попадал, когда она находилась в верхней точке траектории.

Возможно, даже наверняка, первоклассные результаты Джона в стрельбе способствовали тому, что он так быстро продвигался по службе в армии.

— Ого,—говорил отец каждый раз, когда банка отвесно летела с высоты на землю. Потом он оглядывал своего пятнадцатилетнего сына.

— Никогда бы не подумал,—сказал он однажды,—что так пойдет дело у человека, который сбежал в город.

Каное качалось на воде в тени прибрежных кипарисов, и они смотрели на отделенную от них тростниковыми «прериями» песчаную полосу у острова Чессер, где лежал аллигатор.

— Целься в глаз!—сказал отец.

Джон опустил бинокль и взял ружье. В бинокль он видел, что глаз у аллигатора закрыт. А пасть—приоткрыта. Это был крупный экземпляр.

Джон поймал глаз в прорезь прицела. Отсюда он казался кожаным.

— Сколько, по-твоему?—спросил он отца, который пытался удержать каное на месте, подтянув его к корню кипариса.

— Сто ярдов,—сказал старший Кимброу.

Джон прицелился чуть выше. Если хочешь попасть на таком расстоянии, цель должна находиться на миллиметр ниже мушки. Теперь он уже не видел глаза, а видел только бугорок над ним, и еще бугорки на панцире, и жаркую рябь болота.

Он опустил ружье и сказал:

— Не могу.

— Что значит «не могу»?—спросил отец.—Конечно, можешь. Для тебя это пустяк.

— Нет,—сказал Джон,—не могу.

Теперь отец понял, что имел в виду сын.

— Nuts<sup>1</sup>,—сказал он.—Давай стреляй! Ты должен этому научиться!

Джон покачал головой. Протянул ружье отцу. Они поменялись местами, и Джон удерживал лодку, пока отец вставал и целился.

Когда раздался выстрел, тело аллигатора выгнулось дугой, потом тяжело шлепнулось на песок и распростерлось. Пасть медленно закрылась.

«Совсем как рыбы,—подумал Джон,—те так же бьются и корчатся, когда отец снимает их с крючка и бросает в лодку».

---

<sup>1</sup> Ерунда (англ.).

Они подплыли к песчаной полосе и осмотрели мертвого аллигатора. Отец сказал, что придет в большой лодке с Руфусом и Джо, чтобы забрать животное.

По дороге домой — Джон греб, а отец управлял лодкой — они не проронили ни слова.

### **...и про дьяволов**

Вопрос о том, достиг ли капитан Кимброу такого же мастерства в снайперской стрельбе, как и обер-ефрейтор Хуберт Райдель, должен остаться открытым. Вероятно, Райдель был все же классом выше.

В отличие от Райделя, Кимброу видит в своем снайперском искусстве не более чем сноровку.

Мысль о том, что придется стрелять в людей, не причиняла ему душевных мук, как этого можно было ожидать после сцены на болоте Окефеноки. Убивать людей на войне значило следовать инстинкту самосохранения. С юридической точки зрения война и охота — вещи абсолютно разные. Животное ведь беззащитно.

В этом смысле все проблемы, которые ставила война, сводились к одной-единственной — проблеме мужества. Капитан Кимброу был полон любопытства, его буквально съедало желание узнать, окажется ли он мужественным.

Когда он однажды затронул этот вопрос в разговоре с дядей Бенджаменом, тот сказал:

— Мужество? Но для этого тебе не нужна армия. У тебя в жизни будет много возможностей доказать свое мужество.

Джон улыбнулся, подумав, что дядя Бенджамен говорит о различии между армией и жизнью как о чем-то само собою разумеющемся.

— Я знаю, — сказал он, — моральная стойкость и так далее. Но я не об этом. Я имею в виду обычную физическую стойкость.

В одном только случае, как вспоминал Кимброу, будущие офицеры на занятиях обращались в слух и сидели, затаив дыхание: это бывало, когда речь заходила о поведении офицеров в бою. Армия посылала в Форт-Беннинг офицеров с фронтовым опытом, участников первой мировой войны, и требовала от них, чтобы в работе они опирались на конкретные примеры, то есть рассказывали о войне. Во время и после таких рассказов, как

правило, наступало молчание. Остряки переставали задавать свои вопросы.

«В этот момент прекратилась артподготовка. Настало время атаки, но солдаты отказывались идти вперед. Крейтон видел, как метались по долине огненные змеи трассирующих пуль. Рвались гранаты. Это был ад крошечный. Понимая, что его люди не бросятся в эту смертельную ловушку, пока он не покажет пример, Крейтон поднялся и издал боевой клич пехотного училища в Форт-Беннинге: «За мной!»

Он помчался вниз с холма, убежденный, что в живых ему не остаться. Комья грязи и снег летели ему в лицо, пока он мчался вниз, в долину. Вдруг он увидел какую-то стену и бросился перед ней на землю.

— Так, с этим мы справились,—сказал кто-то возле него. Это был сержант Лав. У Крейтона точно гора с плеч свалилась. Теперь они могут атаковать следующую цель—кладбищенский холм. Он обернулся, чтобы взглянуть на своих людей. Но сзади никого не было.

— Боже, мы одни!

Его охватила неукротимая ярость. Страх как рукой сняло. Оба повернулись и стали карабкаться вверх, не обращая внимания на снаряды, свистевшие в воздухе. Солдаты сидели в своих окопах и молча смотрели на Крейтона и Лава.

— А теперь слушайте, вы, тряпки!—закричал Лав.—Все за лейтенантом, и чтоб не отставать. Иначе я вас всех перестреляю!

Крейтон и Лав побежали по траншее и стали вытаскивать оттуда перепуганных солдат. Крейтон снова пошел в атаку. На сей раз солдаты следовали за ним, потому что сзади с автоматом мчался Лав. Они побежали по долине, затем по ближайшему холму к кладбищу. Из небытия возникали вдруг белые фигуры и отходили к северу. Рота Фокса шла следом, слишком напуганная, чтобы стрелять или кричать. Через пять минут цель была взята. Кладбищенский холм был в руках роты Фокса» (John Toland. Battle: The Story of the Bulge<sup>1</sup>. Цит. по немецкому изданию: «Битва в Арденнах, 1944», Берн, 1960, с. 341).

Обыкновенной физической стойкостью обладал человек, который мог, например, при ураганном огне держать под контролем свою нервную систему.

---

<sup>1</sup> Джон Толанд. Битва: история прорыва (англ.).

Вопрос о мужестве касался прежде всего офицеров. Рядового солдата, попавшего в армию, как правило, по рекрутскому набору, нельзя было упрекать, если он думал лишь о том, как спасти свою жизнь.

Адвокат Кимброу всегда удивлялся, что люди, уклоняющиеся от службы в армии, не ссылаются на отсутствие обыкновенной физической стойкости, не используют этот аргумент. Они никогда не говорят: «Чего вы от нас хотите? Мы лишены основного качества, которого вы требуете от солдата, и вовсе не намерены его приобретать».

В глазах Джона Кимброу такое признание было бы убедительным доказательством моральной стойкости. Во всяком случае, более убедительным, чем ссылка на пятую заповедь или на учение Иисуса Христа.

«Офицер, который отступил прежде, чем выбыли из строя по крайней мере пятьдесят процентов его людей, не справился со своей задачей».

Поскольку в Форт-Беннинге их накачивали подобными сентенциями, Джон твердо решил не допускать возникновения комплекса вины, не страдать всю жизнь, если с ним случится то, что на армейском языке обозначалось понятием «не справился». *Справился* человек или нет — это дело, так сказать, чисто техническое, зависящее от физических данных, не более. (Выражение «дьявол попутал» он наверняка бы не принял.)

Он просто хотел разобраться в себе.

К различным гипотезам о причинах добровольного вступления Кимброу в армию — положение в Джорджии в период правления Юджина Толмейджа, неудовлетворительный исход отношений с Дороти Дюбуа, затем предчувствие, скорее общего характера, что война и события в Америке не минуют его и потому лучше участвовать в жизни активно, чем пытаться тихо пересидеть и обмануть время, — мы добавим предположение, что им двигало желание любой ценой разобраться в собственном существе, что это казалось ему невероятно важным.

Здесь — задним числом — можно предположить, что и неправильное с точки зрения тактики подпольной работы решение Хайнштока в условиях фашистской Германии взять на себя роль



курьера коммунистической партии было, по-видимому, вызвано теми же причинами. Возможно, Хайншток просто хотел подвергнуть себя испытанию. Мы знаем, что он это испытание выдержал.

В последние дни капитан Кимброу иногда задавался вопросом, не шел ли он, соглашаясь на операцию, предложенную майором Динклагге, навстречу своему тайному желанию избежать эксперимента, которому он намеревался подвергнуть самого себя. Задуманная операция была дерзкой, но она не могла служить доказательством обычной физической стойкости, необходимой при шквальном огне или штурмовой атаке.

Предсказание Уилера относительно того, что позднее получило наименование «Битва в Арденнах», очень взволновало его. Стало быть, его служба в армии не была *flor*<sup>1</sup>; значит, время, проведенное в армии, не закончится несколькими неделями безделья на границе, за которыми последует обычная муштра на оккупированной территории. Слушая Уилера, Кимброу вдруг почувствовал, как слабеет его интерес к операции Динклагге, и он спросил себя, осталось ли от этого интереса что-либо еще, кроме мучительного ожидания ответа на вопрос, куда запропастился Шефольд...

### **Маспельт, 18 часов**

Теперь им оставалось только строить гипотезы, которые объяснили бы его отсутствие.

— Если с ним что-то случилось,— сказал Джон,—то наверняка в самом начале. Когда он появился у немецких окопов. За все остальное, по-моему, майор Динклагге мог бы ручаться головой, но только не за этот момент. Если немецкий часовой начал палить...

Он не договорил фразу до конца, вспомнив нескольких солдат 3-й роты, известных своей неизлечимой страстью к пальбе из автомата. (Мысленно он выразил это словом «trigger-happy»<sup>2</sup>.)

Он сказал себе также, что не майора Динклагге, а его самого следует считать человеком, несущим ответственность за риск, которому подвергся Шефольд.

«Ни в коем случае,— подумал он,—я не имел права посылать его с такой миссией, когда мог возникнуть хоть один рискован-

<sup>1</sup> Провал, неудача, крах (англ.).

<sup>2</sup> Готовый стрелять, не думая (англ.).

ный момент, за исход которого я не поручился бы головой. Я лишь предостерег его. Этого было мало».

— У тебя на передовой слышно, если у немцев стреляют?— спросил Уилер.

— Исключено,— сказал Джон.— Они находятся не на высоте над Уром, как мы, а за высотой, и склон перед ними наверняка поглощает звуки. Я еще никогда не слышал оттуда ни единого шороха.

Он подумал о том, сколько часов провел на высотах, расположенных над Уром, глядя в бинокль на восток, рассматривая убранные поля, лесистые участки, пустынные склоны, дома из бутового камня. При этом ему не только не удалось разглядеть позиции или засечь хоть какое-то движение: он ни разу не слышал ни выстрела, ни грохота колес, ни лязга танковых гусениц. Война была не только безлюдной, но и немой, и он одобрял холодное молчание этого пустынного пространства.

Позднее—благодаря рассказам Шефольда, который черпал свои сведения от Хайнштока,—он понял, что эта пустота, это молчание являются отнюдь не необъяснимой особенностью таинственной войны, а, видимо, следствием того, что майор Динклагге оказался таким специалистом по маскировке; это-то и определяло обстановку перед 3-й ротой.

— Может, нам все-таки выйти на передовую и расспросить часовых?—предложил Уилер. И как бы в оправдание себе, добавил:—Любой разведчик—от природы Фома неверующий.

Джон кивнул. Он все равно уже не мог больше сидеть в этой комнате. Он посмотрел на часы и сказал:

— Люди, которые сегодня в полдень дежурили на участке над Хеммересом, потом отдыхали до четырех. Сейчас они снова в своих окопах там, наверху.

Они встали, надели куртки и пилотки.

В канцелярии майор Уилер остановился, повернулся к Джону и сказал:

— Я думаю, тревогу ты можешь отменить.

— Вы слышали,—сказал Кимброу старшему сержанту.—Тревога отменяется!

— Да, сэр,—сказал старший сержант.—Я передам приказ взводам.

— Я продолжаю считать, что майор и Шефольд просто заболтались,—сказал Уилер, когда они вышли на деревенскую улицу.

— Не думаю,— сказал Джон.— Сколько же можно.

Голоса их глухо звучали в темноте, сквозь которую еще пробивался прощальный свет, в пустынной тиши деревенской улицы, где пока не было людей: приказ об отмене тревоги еще не дошел до взводов.

— Есть у меня одно странное подозрение,— сказал Уилер.— Я готов допустить, что Шефольд решил остаться на той стороне. Он ведь безумно хочет домой. И вот он попадает к такому типу, как Динклагге. Это могло полностью изменить его планы.

Джон не ответил, да Уилер и не ждал, что Джон что-нибудь скажет.

— Два немецких патриота!— воскликнул он.— И оба брошены нами на произвол судьбы. Да,— добавил он, понижая голос,— Шефольд ведь тоже наверняка сказал себе, что мы, спокойно пожимая плечами, смотрим, как он идет к Динклагге; и еще он мог сообразить, что мы отправим его обратно в Бельгию, когда он выполнит задание, которое даже не было нашим заданием, и тем самым для него снова начнутся эмигрантские мытарства. Не очень-то роскошная перспектива, учитывая характер Шефольда и обстоятельства его жизни.

— Остаться на той стороне?— переспросил Джон.— Как ты себе это представляешь практически? У него нет документов.

— Во-первых, у него есть документы,— сказал Уилер.— И даже вполне пригодные, я их видел. Во-вторых, он входит в исправно функционирующую немецкую группу Сопротивления. Этот коммунист, например, о котором он нам все время рассказывал и который вовлек его в эту историю с Динклагге, мог бы наверняка без особых трудностей спрятать его. А если еще и майор сказал ему: «Оставайтесь! Я возьму вас под свое крылышко...»

— Шефольд, конечно, чуточку сумасшедший,— сказал Джон.— Но не до такой степени.

Он вспомнил, как выпрашивал Шефольда о Динклагге в прошлую субботу, когда этот грузный человек принес известие о плане майора. «Он был явно разочарован, что я не прыгаю до потолка от восторга,— подумал Джон.— И взволнованно защищал Динклагге, когда я называл майора (только в юридическом смысле, хотя этого он вообще не понял!) преступником. «Динклагге — образованный немецкий бюргер,— сказал он тогда. И добавил: — Такой же, как я, если угодно». Все это говорит в пользу предположения Боба о глубоком внутреннем понимании между этими двумя немцами, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Против этого говорит, собственно, лишь то, что доктор

с недовольным видом молчал, когда я спрашивал, что заставляет майора так поступать. У него не только не было объяснения на этот счет, но он и не хотел искать объяснения, это было очевидно».

— Тут дело не в сумасшествии,— сказал Уилер,— а в национальном чувстве.

Он сказал: «Feeling for one's country»<sup>1</sup>.

«Предположим,— подумал Джон,— я эмигрировал бы из Америки из-за американского Гитлера,— при мысли об этом у него перехватило дыхание,— тогда, наверно, я бы тоже не устоял, дай мне кто-нибудь возможность вернуться в Саванну, в Фарго, к старому доброму Окефеноки».

У него получилась (не переводимая на немецкий) игра слов: country<sup>2</sup> и county<sup>3</sup>, когда он сказал:

— У меня нет чувства родины. У меня есть только чувство родных мест.

Уилер испытывал соблазн прочесть ему лекцию о понятии «родина», защитить известный тезис, что не бывает национального чувства без чувства любви к родине, что чувство родины — всего лишь первый шаг на пути к национальному чувству, и так далее, но вдруг раздумал. В данном случае этого известного тезиса оказывалось недостаточно. Хотя молодой офицер, привлечший его внимание еще в начале военного похода, любил свое болото (которое, во всяком случае, было американским болотом) там, на юге, он тем не менее ни за что не давал уговорить себя, что из-за этого любит и всю Америку. Америка казалась ему слишком большой, чтобы ее можно было любить.

«Значит ли это,— спрашивал себя Уилер,— что чувство любви к родине может стоять на пути формирования национального чувства?» Парадоксальная мысль, совершенно не изученная, насколько он знал, гуманитарными науками и потому, пожалуй, достойная того, чтобы ею заняться. Например, в аспекте средневековья. В средние века — тут Уилер чувствовал себя уверенно — ощущение дома давала людям не национальная, а географическая общность.

Слова «гуманитарные науки» возникли в его сознании, разумеется, по-немецки (в английском такого выражения нет, соответствующий факультет университета в Англии и Америке называется «Arts» — «искусства» и противопоставляется «Scien-

---

<sup>1</sup> Чувство родины (англ.).

<sup>2</sup> Страна (англ.).

<sup>3</sup> Округ (англ.).

ces» — «науки», под которыми подразумеваются так называемые точные или естественные науки): так как Уилер был специалистом по немецкой средневековой литературе, он, оставаясь американцем, прежде всего ощущал себя все же немецким гуманитарием, а не англосаксом, занимающимся искусствами. И кроме того, это напрашивалось само собой: мысленно произносить слова «гуманитарные науки», шагая в синих сумерках на восток, по направлению к Германии.

С высоты они видели и слышали битву на севере, огни, кружившие в уже ночном небе, отдаленный грохот артиллерийских залпов. Битва на севере не затихала и с наступлением темноты. Иногда она успокаивалась днем, чтобы к вечеру разразиться с новой силой.

Окопы находились под силуэтами деревьев. Краски уже исчезли, остались только различные оттенки темноты — от абсолютной черноты листьев и серого цвета касок до бледных лиц солдат, обернувшихся к ним из окопов на звук приближающихся шагов.

Они выяснили, что сегодня в полдень никто ничего не слышал, даже отдаленного эха выстрела.

Они прошли еще несколько шагов — до того места, где сквозь призрачное переплетение лесного орешника можно было видеть внизу, в долине, хутор Хеммерес, словно слабо фосфоресцирующий кусок гнилушки.

Солдатам, стоявшим в окопах по обе стороны дороги, поднимавшейся вверх от Хеммереса, Джон сказал:

— Сегодня будьте особенно внимательны! Я жду доктора, который должен появиться вечером. Передайте это тем, кто вас сменил!

Он мог не сомневаться, что они знают, кого он имеет в виду. Для солдат 3-й роты доктор был фигурой знакомой.

Джон подумал: если бы операция состоялась, было бы весьма кстати, что ночь ожидается такая темная. Луна узеньким серпом виднелась на востоке; в одну из ближайших ночей наступит новолуние.

На обратном пути он снова погрузился в воспоминания о своем разговоре с Шефольдом в прошлую субботу. Тогда он еще не осознавал, что взялся вести дело — дело Динклаге. Это он понял лишь спустя какое-то время, хотя и довольно скоро — не позднее, чем на лекции у полковника Р.

Но сейчас, похоже, речь шла уже не о деле Динклагге, а о деле Шефольда, и если еще можно было сомневаться в том, действительно ли он взялся за дело Динклагге, то уже не могло быть никакого сомнения относительно того, что дело Шефольда так и останется за ним. Конечно, не он один виноват в том, что теперь появилось еще и дело Шефольда. Но его не утешало то, что другие — прежде всего майор Динклагге, потом этот коммунист, а также женщина, которая была посредницей между майором и коммунистом, — столь же ответственные за переход Шефольда через линию фронта, как и он, Джон Кимброу. В конце концов, довольно было бы одного его слова, чтобы предотвратить этот поход, из которого доктор, судя по всему, не вернется.

Пока еще он отгонял от себя предположение, которое в худшем случае, то есть если Шефольд не вернется, напрашивалось само собой, но зато он вдруг осознал различие между делом Динклагге и делом Шефольда. В деле Динклагге он мог только представлять, защищать его интересы как адвокат (не имеющий законного разрешения) перед высшими инстанциями, в то время как в процессе по делу Шефольда он принадлежал к обвиняемым и ему самому надо было подыскивать себе хорошего адвоката, который мог бы вытащить его, если начнется суд.

## **Регионализм**

Сколько лет ему было, когда отец взял его в большое путешествие по Окефеноки, вдоль заросшей соснами долины, до самого моря? Восемь? Девять? Десять? Он уже и не помнил точно.

Отец утверждал, что умеет различать все двадцать шесть видов пеночки-трещотки. Он показал Джону пеночек с золотистым оперением и с гребешками апельсинного цвета, обитающих в ветвях магнолии и мирта. Он говорил: «Пеночки-трещотки водятся только у нас, в Америке».

Отец знал также, где находятся глубокие пруды севернее острова Блэкджек; на их берегах пеликаны выхватывали из воды рыбу.

Они не встретили ни одной лодки. Пересекать водные «прерии» южной части Окефеноки было запрещено. Они питались рыбой и черепашьям мясом, которое жарили по вечерам на костре. Дым поднимался в небо над болотными кипарисами.

От полдневного зноя зеркало воды казалось потускневшим. Тишину нарушали только мокасиновые змеи: казалось, будто удары хлыста обрушивались на водную гладь.

В ветвях ликвидамбара спала пума. Каролинские попугаи были зеленые, красные и желтые.

Отец мог показать на какое-нибудь алое пятно вдалеке, на фоне серой стены кипарисового леса, и сказать: «Рододендроны». Или прямо из лодки сорвать с куста красный листок и сказать, как он называется. «Итея,— говорил он,— разновидность гамамелидовых».

Он не перебарщивал. Иногда просто упоминал название, ничего не объясняя.

По ночам, лежа в спальнях мешках, они слушали, как басовито квакают большие лягушки, издает глухие звуки аллигатор, как лопаются пузыри в гнилом иле. Ночи были наполнены шумами. Даже луна словно издавала в дымке какое-то жужжанье.

По утрам к краю лагуны, где стаями собирались цапли и дикие утки, подходили олени.

Через несколько дней отец нашел то место, где река Сент-Мэри вытекает из болота Окефеноки. Река петляла по болотистой местности меж заросших кубышками берегов, где в высокой траве здесь и там высились сосны.

Дальше к востоку—плантации: хлопок, табак, сахарный тростник. С деревьев в аллеях, тянущихся мимо старых негритянских глинобитных хижин к белым деревянным домам фермеров, свисали серые пряди лиан.

Потом занесенные илом устья рек, песчаные прибрежные полосы. Отец показал ему место, где высадили на землю рабов. Там и в самом деле еще виднелся мостик, в тростниках, у высокого берега, густо заросшего лесом, гнила большая лодка. Может быть, с тех времен?

Они перебрались с Сент-Мэри на реку Сатилла, плыли по тихим заливам между берегом и островами, потом вытащили каноэ на сушу у старых стен Форт-Фредерики, прошли по

острову до берега моря (куда не могли добраться на каноэ). Там, на берегу острова Сент-Саймонс, отец посоветовал сыну держаться подальше от Атлантического океана, потому что Атлантический океан хочет от американцев только одного: чтобы они вернулись. «Но мы, американцы,— сказал он,— прибыли в Америку не для того, чтобы когда-либо вернуться туда, откуда пришли».

## **Маспельт, 19 часов**

— Позвони мне, если он все же придет!— сказал майор Уилер.

Он уже не вернулся в канцелярию, а подошел к джипу и сел за руль.

На деревенской улице снова группами стояли солдаты—были видны их силуэты в темноте, слышались редкие возгласы, смех, возня молодых парней. (Некоторые солдаты из Монтаны были очень молоды.)

— Завтра я попытаюсь выяснить, что произошло,— сказал Уилер.— У меня есть кое-какие возможности.

Они кивнули друг другу. Он завел свой джип и уехал. Джон смотрел на красный свет сигнального фонаря, пока тот не скрылся из виду.

Ему ничего не оставалось, как продолжать ждать. Операция Динклагге провалилась, но еще была надежда, что Шефольд все же вернется.

## **Поздно ночью**

(Он привез Кэте Ленк в Сен-Вит, передал ее майору Уилеру и вернулся в Маспельт.) Прежде чем отправиться на ночлег, он остановился возле группы солдат, послушал, как один из них пел «John Brown's Body»<sup>1</sup>.

Этот солдат отлично пел и играл на гитаре. Он пел совсем не так, как Джо Проктор. Джо Проктор пел блюз, а «Джон Браун» — не блюз, а баллада.

Наверняка солдату и в голову не приходило, что он бросал вызов своему капитану, исполняя под звездным небом Маспельта победную песню северных штатов, да Джон Кимброу и в самом деле не придавал этому значения, ибо мелодия была прекрасна и пел солдат без пафоса, просто как бы констатируя, почти

---

<sup>1</sup> «Тело Джона Брауна» (англ.).



монотонно, словно он вообще не поет, а что-то рассказывает, и гитара в такт издавала свое «трень-трень».

«Они не подозревают, что этот Джон Браун был чудовищем,—подумал Кимброу.—Когда он допустил еще и эту бессмысленную бойню под Харперз-Ферри, на его совести уже была резня в Канзасе. Он был душевнобольной, фанатик, и ничего больше, и мы поступили абсолютно справедливо, когда его повесили».

Но, вообще-то говоря, не имело ни малейшего значения, каким героям, каким подвигам посвящались ночные песни всех военных походов мира. «Джон Браун», «Мальбрук в поход собрался», «Илиада» — в конечном счете все они звучали одинаково: монотонно, трень-трень, просто баллады.

# ДОКУМЕНТЫ, СНЫ, ПРИМЕЧАНИЯ КАСАТЕЛЬНО ПРЕДАТЕЛЬСТВА МАЙОРА ДИНКЛАГЕ

## *Документ I (вымышленный)*

Письмо д-ра Бруно Шефольда Венцелю Хайнштоку. Оно не было написано. Шефольд не имел возможности его написать.

Но мы попытаемся дать ему такую возможность. Представим себе следующее: к вечеру 12 октября Шефольд добрался до Маспельта. По дороге он еще раз зашел в Хеммерес, сложил свои вещи в сумку, попрощался с хозяевами. Переходя через темный Ур по мостику, доски которого по обыкновению приветливо поскрипывали, он обернулся, взглянул на хутор, решил, что после войны как-нибудь вернется сюда посмотреть, что стало с обоими чисто побеленными домиками, лужайками, мужчиной, женщиной, ребенком.

В Маспельте он встретил не только Кимброу, но и майора Уилера. Он рассказал офицерам о своем визите к Динклагге, передал Кимброу адресованное ему письмо. Затем попросил разрешения написать письмо Хайнштоку, и Кимброу предоставил ему для этого стол в канцелярии, которая—в отличие от того, что сказано в предыдущей главе,—не была забита людьми: там в это время сидел один лишь ефрейтор Фостер и молча составлял ведомости на денежное довольствие. Майор Уилер пообещал передать Хайнштоку письмо через одного из своих stragglers.

Когда Шефольд на какой-то миг переставал писать, он слышал приглушенные, невнятно звучащие голоса обоих офицеров, которые беседовали в соседней комнате о письме Динклагге.

Что касается стиля, каким писал Шефольд, тут мы вынуждены

гадать. Стиль этот, несомненно, вытекает из сущности Бруно Шефольда, который был доктором философии (диссертация на тему «Глубина и плоскость у Херкулеса Зегерса», защищена в 1927 г. у Вёльфлина), историком искусства, поклонником Стендаля, образованным немецким бюргером, немецким эмигрантом, крупным человеком с плавными движениями и беззаботным нравом, обладателем английских усов. Добавим к этому, что он рано поседел, был голубоглаз и весьма непрактичен. Такой человек, если ему надо написать важное письмо, во всяком случае, не будет спешить. Дадим же ему это фиктивное время, 12 октября вечером, в канцелярии 3-й роты одного из батальонов 3-го полка 106-й американской пехотной дивизии. Ведь он в этот день пережил немало.

«Маспельт (Бельгия), вечером 12 октября 1944 г.

Дорогой г-н Хайншток,

я очень надеюсь, что посыльный, который передаст Вам это письмо, будет в большей мере, чем я, держаться незаметно, в тени. Только с сегодняшнего утра, с того момента, как я узнал, что такое страх, я понимаю, что мое беспечное появление у Вас, среди бела дня и без всяких мер предосторожности, навлекало на Вас опасность. За это я теперь с опозданием прошу у Вас прощения. Г-на майора Уилера я настоятельно просил внушить straggler'у, которого он пошлет с моим письмом, чтобы тот явился к Вам под покровом ночи. Я представляю себе, как этот человек, в одну из ближайших ночей постучит к Вам в дверь—уверен, что Вы справитесь с внезапным испугом, услышав ночью стук,—как подойдете к двери, как молчаливый незнакомец протянет Вам письмо и тут же снова растворится в темноте.

Я не могу не передать последнего донесения Вам, не без основания сомневавшемуся и предостерегавшему нас,—spiritus rector<sup>1</sup> нашего заговора! Вы не просто имеете право на то, чтобы я рассказал Вам, как прошел мой визит к г-ну майору Динклагге,—это представляется мне непременно итогом тех совместных усилий, которые нас связали. Я надеюсь, Вы не обидитесь, если я буду рассматривать как своего адресата также и даму, оставшуюся мне, к сожалению, неизвестной. В результате весьма беглого, разумеется, изучения личности Динклагге у меня создалось впечатление, что даже ей удастся узнать о нем лишь очень

---

<sup>1</sup> Духовному главе (лат.).

немногое, да и то не до конца,—это, так сказать, наброски, сделанные тайнописью, которую она не сможет расшифровать, если не является выдающимся психологом. Впрочем, кто знает, может быть, она как раз и есть такой психолог?

Я не психолог, не интерпретатор человеческого характера; для меня г-н Динклагге остался загадкой.

В том, что мною овладел ужас, от которого я уже не мог избавиться до самого конца, он, кстати, не виноват. Помните, однажды я сказал Вам, что готов сделать все, только к одному не готов: попасть в руки нацистских солдат? Это было, когда Вы сообщили мне о желании—что я говорю? о приказе!—Динклагге, чтобы я пришел к нему через линию фронта. Так вот, там, наверху, на склоне одной из высот над Уром я попал в руки человека, для которого, как мне кажется, даже определение «нацистский солдат» недостаточно—вообще не уверен, применимо ли оно к нему. Я не заметил в нем никаких признаков политического фанатизма, зато обнаружил нечто другое—глубоко укоренившуюся способность внушать страх. Террор как человеческое свойство—Вам это наверняка знакомо! Но я за всю свою жизнь еще не встречал человека, который вот так, с первого же мгновенья, внушал бы столь сильный ужас. Единственное, что мне оставалось,—сказать себе, что ведь я добровольно отправился на поиски страха.

Поскольку Динклагге распорядился в своей приемной, чтобы этот человек сопровождал меня и обратно, наш разговор начался с того, что я, прежде чем мы успели сесть, настойчиво попросил дать мне на обратный путь другого провожатого. Он, конечно, сразу понял, в чем дело, стал задавать вопросы, я отвечал. Но я совершил ошибку: не сумел заставить себя рассказать ему, что подвергся физическим издевательствам. Вам, человеку, который долгие годы провел в концлагере, я могу без стыда признаться, что это низкорослое чудовище ударило меня сапогом в зад—так сильно, что я упал. Вам покажется непостижимым, что я утаил от Динклагге доказательство недостойности этого субъекта, умолчав, до какой степени он унизил меня. Я просто не мог. Разумеется, я промолчал не потому, что пожалел его. Поначалу я думал, что веду себя тактично, более чем тактично, оставляя майора Динклагге в неведении относительно поведения одного из его подчиненных: по всей вероятности, ему было бы неприятно узнать, чем с самого начала обернулось выдвинутое им требование. Несколько позднее—Вы, очевидно, понимаете, что обо всем этом я размышлял, уже разговаривая с майором совсем о другом,—я подумал, что, возможно, не хотел выставять себя в

неблаговидном свете. Пожалуйста, поймите, я стыдился сказать об этом пинке. Ведь мне пришлось его стерпеть! И этот стыд, в начале разговора еще очень неосознанный, мешал мне признаться майору, что меня доставили к нему, так сказать, с помощью пинка.

Наконец—извините за столь пространное описание этой истории, но мне надо с ней покончить, чтобы перейти к делу,—итак, наконец я понял, что был во всех отношениях прав, не упомянув о случившемся. Рассказ об этом сразу же внес бы диссонанс в нашу встречу. Вы знаете, как бывает, когда в беседу, которая должна пройти в дружеском тоне, с подъемом, вдруг врывается тривиальнейшая реальность. Как это парализует, как гнетет! Как сковывает ум необходимость заниматься мелкими конкретными вопросами вместо того, чтобы... ах, конечно же, я вижу ироническое выражение в Ваших глазах, покачивание головой, с каким пролетарий следит за беседой двух бюргеров, которым реальность представляется пошлой, а конкретные вопросы—мелкими! (Но можно ли назвать Динклаге и меня бюргерами, если верно, что бюргеры—бюргеры, и никто другой,—мыслят реалистически? Этому меня научила моя профессия, и я убежден, что это и в самом деле так.)

Конечно, Вы правы. Я совершил ошибку, умолчав о пинке. Поскольку, кроме этого, у меня не было особых причин жаловаться, поскольку я не был в состоянии описать тот ужас, который исходил от этого отвратительного существа, просьба моя выглядела весьма неубедительно. Я видел, что Динклаге, будучи человеком вежливым, не хочет показывать, что сомневается в моих словах. Он объяснил потом, что этот человек что-то натворил и потому лучше, чтобы он сопровождал меня, ибо—по праву—может надеяться, что с ним обойдутся не так сурово, если он безупречно выполнит задание командира. Я попытался выяснить, в чем проштрафился этот парень, но Динклаге отказался отвечать; когда же я продолжал настаивать, он сказал только, что провинность его не военная и не политическая. «Ага, значит, уголовная»,—сказал я, ибо как раз этого от него и можно было ожидать. «Нет, и не это,—возразил Динклаге.—Я не мог бы доверить Вас преступнику!» Я не знал, что и думать. Но так или иначе этот жуткий тип будет сопровождать меня и на обратном пути.

Только после этого мы сели. И только после этого я позволил себе внимательно рассмотреть г-на Динклаге. Нет, это не значит, что еще раньше, когда он появился в дверях канцелярии, подошел ко мне и пригласил в свой кабинет, я не сделал

мысленных пометок. Он хромал, опирался на палку—и все же какая, я бы сказал, металлическая четкость линий; или точнее, пожалуй, сказать так: маленький, изящный, в плотно облегающем мундире, в брюках, не имеющих ничего общего с английскими breeches<sup>1</sup>, а напоминающих иератические формы восточноазиатских костюмов (японцы тоже любят прусскую форму!), он казался отштампованным. Так или иначе он сразу же производил впечатление именно прусского офицера. Или оловянного солдата. «О,—подумал я,—с этим человеком тебе будет трудно». С другой стороны, все это было немножко смешно. Когда мы наконец сели друг против друга за его письменным столом, я попытался нащупать какие-то более индивидуальные черты. Это оказалось нелегко. Драгоценные минуты я провел, созерцая грудь майора Динклагге, прежде чем решился наконец посмотреть ему в лицо. Я не случайно избрал свою профессию. Когда меня сажают перед картиной, мне очень трудно побороть страсть к иконографии. Сейчас у меня было такое чувство, будто я сидел перед картиной. Формы и краски на фасаде немецкого офицера сочетаются по всем правилам искусства—если, конечно, отбросив фанатический пыл, признавать не только абстрактное «чистое» искусство, но и заложенную в нем функцию служить украшением, тягу к орнаментальности и декоративности. Художественный гений целых эпох растрачивался на украшение фасадов. Вы знаете это по Праге, дорогой г-н Хайншток! Конечно, фасад майора Динклагге не показался мне столь же гениальным, как фасад Клам-Галласовского дворца, но все же он меня захватил. К своему величайшему удивлению, я очутился в кругу проблем современного художественного мышления, ибо то, что предстало передо мной, не сведущим в военных делах, этот ансамбль—узкая цветная ленточка справа наверху (сторону я указываю с позиции человека, рассматривающего фигуру, а не с позиции самой фигуры), черно-красно-серебряные кресты и полосы, темно-зелено-серебряный герб, орнаменты из плетеного сурового шнура—все это на серо-зеленом, увы, лишенном вдохновения фоне было не чем иным, как абстрактными знаками, оптическими сигналами, которыми перегружают свои картины некоторые современные художники. Не говорите мне, что это просто орденские колодки, ордена, знаки отличия, эполеты, нашивки, петлицы! Даже я знаю, что все это предметы, у которых есть названия, предметы, которые имеют определенное значение. Кстати, знаки и сигналы на современных картинах

---

<sup>1</sup> Бриджи (англ.).

тоже что-то выражают, они не есть абсолютное ничто. Но в том-то и дело: и здесь и там не отражение, не имитация, а знак, символ, подлежащий расшифровке или не подлежащий,— иероглиф, ребус, абстракция. Мир как ребус. Странно только—и я воспринимаю это как предостережение,—что грудь майора Динклагге все же не вызвала у меня ассоциации с современной картиной. И с архаической тоже, к сожалению, нет! Ведь и в новейших картинах, пусть странно и неожиданно, светится еще воспоминание о мифах давно ушедших человеческих племен. А в этом мундире ничего подобного нет. Художника, который мог бы нарисовать этот мундир, не существует, никогда не будет существовать. А если бы таковой нашелся, где бы он отыскал кисть достаточно жесткую, краску достаточно сухую, какие здесь требуются? И кисть, и краска—они бы воспротивились, восстали».

За описанием эмблем, украшающих майора Динклагге, следует социологический экскурс—его мы здесь не воспроизводим—о «мире» (Шефольд подразумевает определенную общественную группу), в котором знаки отличия, ордена, чины, звания демонстрируются публично. «Ребячество! Претенциозность!»—пишет Шефольд. «Поверьте мне, это чистейшая безвкусица!»—уговаривает он Хайнштока (как будто последний и без того не убежден, что это безвкусица). Причину Шефольд видит в особых свойствах мужчин («у женщин, слава богу, другие интересы»), которые не могут обходиться без иерархии, так что жизнь большинства мужчин вертится вокруг взлетов и падений, только в гражданских профессиях все это не так бросается в глаза. «Судейская мантия, директорский клозет—сколько угодно, но эти петушиные повадки, это важничанье!»

К Динклагге он все эти обозначения не относит. Полное отсутствие тщеславия, сдержанность, заметная непритязательность этого человека не позволяют и думать, что он когда-либо мог добиваться повышения. Но феномен военной формы подчиняет себе и его. И Шефольд снова пускается в обсуждение деталей, подробно описывает воротник Динклагге (высота, ширина, твердость, геральдика петлиц): «Между нами, Хайншток, теперь я знаю, почему Германия проиграла бы эту войну, даже если бы сражалась за самое справедливое дело на свете: из-за этих петлиц!»

Потом:

«Среди всех этих знаков я обнаружил один, которому отказываюсь придавать символический характер. Я имею в виду,

конечно же, свастику. У Динклаге она была в трех вариантах: черная по черному в центре обоих его главных орденов — Железного креста I степени и Рыцарского креста, и серебряная, окруженная венком, который держит орел, на левой (для него на правой) стороне груди. В этом виде ее носят все немецкие солдаты — так называемая государственная эмблема. Когда я говорю, что свастика не символ, я имею в виду, что она ничего не обозначает. Она действительно ничего не обозначает. Попробуйте-ка хоть раз придумать, что могла бы символизировать свастика, и Вы поймете, что я прав. Она даже не символизирует собой те бесчисленные убийства, которые совершались от ее имени, ибо преступления нельзя превращать в символ. Убийство вызывает реальный ужас, и тот, кто, не желая назвать убийство убийством, просто рисует крест с крючками, свастику, тот остается фашистом, даже если его значки выведены тончайшими каллиграфическими линиями или нарисованы тушью на рисовой бумаге.

Если бы это клеймо обладало хоть пряной остротой, юмористической силой старинных тайных воровских знаков! Но еще до того, как упырь решил взять свастику на вооружение, никогда не вымирающая раса школьных советников, тщательно вычертив на миллиметровой бумаге в какой-нибудь мюнхенской комнатухе это геометрическое позорище, уже читала лекции об истории свастики, болтала о санскритском счастье и солнечных колесах!

Разглядывая свастики нашего бедного друга Динклаге — мне вдруг приходит в голову назвать его именно так, — я попытался представить себе, какие последствия имело для него то, что он носит их много лет подряд. Ордена оставим пока в стороне, но государственную эмблему он вынужден носить уже седьмой год. Учитывая все то, что мы теперь о нем знаем, я пришел не столько к духовно-политическому, сколько к банальному медицинскому заключению: в течение семи лет Динклаге ощущает вечный зуд на правой стороне груди. Да, я почти уверен, что были времена, когда он не мог противостоять желанию почесаться. Тогда он расстегивал мундир, задира л рубашку и до крови расчесывал ногтями то место, где обычно сидела государственная эмблема. А теперь представьте себе, мой дорогой господин Хайншток, что тысячи немецких офицеров (о солдатах я не говорю) страдают от такого же зуда! Я понятия не имею, сколько на свете немецких офицеров, но сто или хотя бы пятьдесят тысяч из них наверняка время от времени чешутся как безумные. Конечно, это не спасает их от чесотки. Но они просто не доходят до мысли вырезать раковую клетку. Или у них не хватает



мужества. А ведь это было бы так просто. Я имел возможность рассмотреть вблизи государственную эмблему майора Динклагге. Она просто нашита на мундир.

Оглушенный, не способный охватить все это оптическое изобилие — есть фламандские мастера, на картинах которых поначалу не воспринимаешь ничего, кроме драгоценностей и парчи, — я спрашивал себя, свойственны ли этому майору Динклагге какие-либо индивидуальные черты или он — лишь воплощение определенного типа. (Не знаю, дорогой г-н Хайншток, существенно ли для Вас выяснение этого вопроса. Ведь Ваше мировоззрение, как правило, довольствуется выявлением классово-типических черт. В беседах с моими коллегами-марксистами я всегда замечал, что они начинают скучать, когда я заговариваю о нетипичном, индивидуальном в произведениях искусства, об особой *душе* картины.)»

Будем исходить из того, что письмо это было написано и что Хайншток его получил; тогда мы должны будем представить себе и разговор Хайнштока с самим собой или, точнее, с отсутствующим Шефольдом, разговор, неминуемый из-за этого выпада, представляющего собой, если разобраться, веский аргумент против учения, которому Хайншток следовал. Теоретизировать он бы, вероятно, не стал. «Коммунистическая партия, — слышим мы его голос, — во всяком случае, коммунистическая партия, которую я знал, всегда отдавала себе отчет в том, что люди не одинаковы. Все товарищи были разные, и партия учитывала это. Даже в концлагере, где всех нас хотели превратить просто в номера, мы были настолько неодинаковы, что вы и представить себе не можете. Каждый реагировал на лагерь по-своему». После этого он сделал бы паузу и затем сказал бы: «Конечно, существует классовый враг, и его надо уметь распознать. Но и он очень разный. У него множество оттенков, и это партия тоже учитывает. Вы, г-н доктор Шефольд, вообще не являетесь нашим классовым врагом, хотя вы и бюргер». И уже под конец, почти неслышно Хайншток пробормотал бы: «Пошли они к черту, эти ваши коллеги-марксисты!»

«Может быть, его лицо могло убедить меня в том, что он не просто типичный представитель своей профессии? Но, откровенно говоря, я не нашел в этом лице ничего, кроме выражения энергии. Две тонкие линии морщин идут от носа к уголкам рта, и больше ничего, кроме напряженности и загара — по-видимому, результата строевой службы. Я искал в его лице — разумеется,

незаметно, не разглядывая его в упор,—признаки... да, я решаюсь назвать эти слова: признаки способности к страданию... но не нашел. Вы знаете: перенесенные страдания, даже страдания других, вызывают горячее чувство сопереживания, оставляют на лице следы. Несколько раз я замечал, что взгляд его становился отсутствующим; у него серые глаза, и вдруг, в разгаре беседы, притом отнюдь не тогда, когда речь заходила о важных вещах, они делались слепыми, на них словно появлялась катаракта. Но это, собственно, и все. В остальном он вызывает симпатию. Странно, что человек—не важно, как он выглядит,—может казаться симпатичным или несимпатичным. Я не мог определить, почему именно он кажется мне симпатичным,—это, наверно, невозможно. Существует нечто, выходящее за пределы таких понятий, как любезность, хороший тон, сдержанность, способность интеллигентного человека понимать другого. Жаль, что Вам не довелось познакомиться с г-ном майором Динклагге: готов держать пари, он и на Вас произвел бы впечатление человека симпатичного.

Я стараюсь быть как можно объективнее—это необходимо, ибо мне все время казалось, что я как-то невыгодно отличаюсь от него. Представьте себе: с одной стороны—я, располневший, грузный человек, по-своему любящий радости жизни, гурман, занятый, по существу, только восприятием красоты, эстетических процессов, задуманных и реализованных другими, пассивный почитатель женщин; а с другой стороны—он, стойкий солдат, даже на пороге капитуляции остающийся человеком сугубо военным, хваткий фронтовой офицер. Достаточно причин для всякого рода неприязненных чувств с моей стороны!

Но прежде всего мне хочется подчеркнуть, что он завоевал мою симпатию и что глаза его время от времени затягивала мутная пелена.

Однако это дает мне право сказать наконец то, что все время вертится у меня на языке, а именно: если бы я мог познакомиться с ним прежде, чем началась история, в которую он нас втянул, я, безусловно, стал бы Вас отговаривать и, уж во всяком случае, сам решительно отказался бы участвовать в ней.

На Вас все это наверняка производит странное впечатление, ибо Вы чувствуете, что этот вывод никак не связан с моими возражениями против плана Динклагге, продиктованными политическими и военно-техническими мотивами. Мои слова звучат так, словно я считаю Динклагге недостойным нашего доверия. Об этом, конечно, не может быть и речи. О майоре Динклагге можно сказать что угодно, но это человек надежный, строго последова-

тельный, быть может, слишком последовательный, если иметь в виду то, что он задумал и что требовал от меня. Нет, тут что-то другое, я не могу этого объяснить и не могу найти иного слова, кроме «чужой». Майор Динклаге для меня чужой, и я, или правильнее сказать: мы—чужие для Динклаге; именно это заставляет меня теперь, оглядываясь назад, рассматривать наши отношения с ним как ошибку, как недоразумение.

Попытаюсь объяснить Вам. Видите ли, дорогой г-н Хайншток, Вы, я и наверняка та дама, с которой, в силу Вашей привычки делать из всего тайну, я так и не смог познакомиться, все мы—если исключить сомнения делового порядка, критику, касающуюся технических деталей,—ринулись в это дело без долгих раздумий. Так сказать, без оглядки. Если позволите, я осмелюсь даже сказать: с радостью. Мы с первой же минуты действовали слаженно, работали сообща, образовали gang<sup>1</sup>—полагаю, я могу воспользоваться американским словом; да и капитан Кимброу, этот анархист-южанин, отбросив сомнения юридического порядка, сразу согласился участвовать в этом деле, хотя и шел на немалый риск. Четыре совершенно разных человека. Но, когда мы, при определенном стечении обстоятельств, оказались связанными друг с другом, выяснилось, что мы друг другу подходим. Только один не подходит—Динклаге. Вы знаете таких мальчиков—во время игры они всегда стоят в стороне, скованные, замкнутые, беспомощные. Предпочитают не участвовать в игре, а забиться в угол двора. Динклаге играл с нами неохотно—я отчетливо почувствовал это, когда наконец встретился с ним. Вы возразите, что игру начал он. Тут у меня есть некоторые сомнения, я восхищаюсь проницательностью Кимброу: когда я рассказал ему, что этот план передала Вам та-самая незнакомая мне особа, он сразу заявил, что решение Динклаге было ускорено. (Надеюсь, Вы не посетуете на меня за болтливость—в конце концов, Кимброу имел право узнать, что за всем этим не стоят какие-то сверхъестественные силы.)

Таким образом, я прихожу к выводу, что мы не должны были объединяться с Динклаге. Причины этого Вы, вероятно, сведете к тому, что он не сумел преодолеть свой офицерский образ мышления и не обладает достаточной политической зрелостью, чтобы без предубеждения сотрудничать с группой Сопротивления, состоящей из штатских лиц. И тут Вы наверняка будете правы. Ничто так не подтверждает Вашу правоту, как его требование, чтобы я явился к нему. Теперь, когда это испытание

---

<sup>1</sup> Группа заговорщиков, шайка (англ.).

позади, оно кажется мне еще нелепее и бессмысленнее, чем когда-либо. Ибо, дорогой г-н Хайншток, если бы Динклаг действительно разделял наш образ мыслей, он, конечно же, использовал бы методы подпольного сопротивления, а не пытался бы спасти лоскут военного знамени. (И все же я снова хочу отдать ему должное: поскольку американцы отклонили его план, он до конца жизни корил бы себя за то, что поступил в этой истории не как военный, без должной основательности. Он предложил капитуляцию одной армии перед другой. Почти в классической форме. Ее отклонили. Так что он теперь с честью вышел из игры.)

Но это только половина правды. Вся же правда состоит в том, что он мальчик, который не умеет играть с другими. Не хочет. Чувствует себя чужим. В рамках жесткого порядка такие люди вполне пригодны, тут они даже получают Рыцарские кресты и прочее. Но на свободном, так сказать, неогороженном пространстве? Я очень хорошо понимаю майора Динклаг. Я сам был мальчиком, который на школьном дворе забивался в угол, читал книжку, когда другие играли...»

«Оставался ли я таким мальчиком,—подумал бы, возможно, Шефольд, прерывая на мгновение это воображаемое письмо,—когда в тот мартовский день 1937 года запаковал картину Клее, покинул Германию и уехал в Брюссель? Или, наоборот, в тот момент я впервые вышел из своего угла и стал участвовать в игре, к концу которой оказался перед дулом нацеленной на меня винтовки?»

«Скованным, беспомощным назвал я только что поведение таких мальчиков, но в майоре Динклаг я не заметил и намека на подобные качества. Покончив со щекотливым вопросом относительно моего конвоира, хотя и разрешив его так, что меня охватывало беспокойство, стоило мне подумать об этом, он повел искуснейшую беседу; да я, собственно, только потому мог так подробно изучить его, что мы до обеда и во время обеда, который был подан ровно в половине первого, вели лишь светскую беседу. У меня было такое чувство, словно мы познакомились с ним на вечере в казино и уединились в уголке, чтобы спокойно поболтать. Я очень люблю невозмутимость—то, что французы называют словом «*désinvolture*»,—но что слишком, то слишком. О, нельзя сказать, что наш разговор не был дружеским, что он был лишен определенного подъема, о чем я говорил в начале письма. Но неужели ради этого стоило спускаться по тому

откосу, откуда сначала я не видел ничего, а потом увидел воплощенный ужас? Размышляя о том, в какое дело все мы оказались вовлеченными—я, Вы, та дама, Кимброу,—я жаждал, чтобы в нашу утонченную беседу ворвалась реальность, пусть даже самая банальная. Или, точнее: я с нетерпением ждал, когда майор Динклагге перейдет к делу. Если бы время от времени я не замечал легкого помутнения в его глазах—быстро исчезающий признак того, что мыслями он далеко,—я бы считал, что он ведет себя нагло. Или нелепо... Впрочем, все это действительно было нелепо! Ваше покачивание головой, как принято в простонародье, было бы здесь вполне уместно. Вообще из Вас получился бы куда лучший парламентар, чем из меня. Насколько быстрее, решительнее, непреклоннее, чем я, Вы бы покончили это дело с г-ном майором Динклагге!

Ах, дорогой г-н Хайншток, размышляя о случившемся, я чувствую, что мы все сделали не так—с самого начала!»

Один раз—но об этом Шефольд не упомянул в письме Хайнштоку—он уловил в глазах Динклагге быстро промелькнувшее выражение неодобрения. Это было, когда Динклагге пристально посмотрел на его красный галстук. Счел ли он это политической демонстрацией или просто дурацкой фантазией человека, принадлежащего к богеме? Был Шефольд красным или снобом? Укрепился ли Динклагге—при виде этого галстука—в убеждении, что он поступает правильно, решив до конца соблюдать военные нормы? Мысль, что этот галстук—всего-навсего украшение на шее, как и у него, только украшение веселое, а не мрачное, судя по всему, не пришла ему в голову.

«Так, мы беседовали о положении на фронтах (медилюбитель, внимающий специалисту по агонии, убежденному, что немецкая агония продлится еще целую зиму. «Войны никогда не кончаются летом или зимой,—сказал он,—они всегда кончаются весной или осенью»); о Гитлере (он назвал его самым заметным случаем паранойи в мировой истории, долго говорил о гипнотическом действии логически выстроенной системы бредовых идей; может быть, это должно служить оправданием для генералов?); об американцах (он высказал мысль, что мы не доживем до конца эпохи мировых держав, но настанет день, когда они уйдут—не из Германии и Франции, а с Эмса и из Оверни, старые провинции окажутся сильнее, они воспрепятствуют осуществлению всеобъемлющих планов американцев и русских; при этом русские внушают меньше опасений, чем американцы, ибо, как

чисто континентальная держава, Россия прекрасно понимает, что ей нечего искать в Бретани или на Сицилии; короче говоря, фантазии, грезы консерватора. Я слушал его не без тайной симпатии, потому что и я, горячий поклонник мировой живописи, мыслю, так сказать, категориями не стран, а провинций, то есть представляю себе, например, разницу света в Амстердаме и Урбино, хотя, будучи человеком, который всегда интересовался не только произведениями искусства, но и жизнью художников, я сразу же поправил себя, вспомнив, что не было у них большего врага, чем затхлый провинциальный дух того же Эмса, той же Оверни—всех эмсов и оверней на свете). Все, что говорил Динклагге, звучало не глупо, но словно доносилось из какого-то другого мира—мира, чуждого нашему, а уж Вашему-то и подавно, ибо Вы верите в победу организующего разума, рассматриваете ее как цель мировой истории, но чуждого и моему тоже, ибо, хотя я и говорю, что симпатизировал в душе некоторым его идеям, я все же верю во взаимосвязанность мирового искусства, в великий и свободный интернационал художников всех времен и народов, интернационал, который служит высшей идее человека, непрерывно напоминая ему о возможности свободного и прекрасного существования, так что, если бы этот интернационал искусства однажды исчез, человек сразу опустился бы на более низкую, уже почти недостойную жизни ступеньку бытия,—подобные убеждения должны были помешать нам вступить в союз с человеком, который, рассуждая о «паранойе» Гитлера, вдруг спросил меня: «Вы не думаете, что всякая политика есть паранойя?»—признавая тем самым, что ему—если додумать эту мысль до конца!—всякое человеческое действие представляется бессмысленным. (Я оставляю сейчас без внимания тот факт, что он, возможно, и прав. Может быть, всякая политика проистекает из навязчивых идей, неврозов, мании преследования; может быть, вследствие этого всякое действие в области политики—абсурдно?) Ах, если бы только мы узнали его раньше! Он крайний пессимист, он никогда не стремился действительно осуществить свой план. Он специалист по агонии. Что сделало его таким? Проклятая система, которую Вы называете фашизмом? Или в нем с самого начала была заложена такая склонность? Думая о нем, я испытываю чувство отчаяния.

Не стану описывать обед. Если немецкая армия поглощает невообразимое месиво, вроде того, какое было предложено мне, и притом еще готова и способна драться, то это можно назвать актом постоянного и наивысшего героизма. Или величайшего идиотизма. Но, что бы это ни было, геройство или глупость, я

считаю, что уже за одно это каждому немецкому солдату полагается Рыцарский крест».

Он мог бы описать, как, отодвигая в сторону тарелку и желая скрыть отвращение к нормальному рациону 416-й пехотной дивизии, он сказал: «Недавняя прогулка отбила у меня аппетит». После этого он закурил свою спасительную американскую сигарету, сначала предложив пачку «Лаки страйк» Динклагге, который также взял сигарету, с интересом закурил ее и снова впал в состояние прострации. Шефольд не был настолько хорошо знаком с биографией Динклагге, чтобы знать, что в этот момент майор просто предавался воспоминаниям об Англии.

«„Вы можете сообщить мне что-нибудь новое?“

Этим вопросом, когда обед закончился и ординарец убрал со стола, Динклагге оборвал беседу, оборвал не только неожиданно, внезапно, невежливо, поскольку в этот момент мы обсуждали наши личные послевоенные планы—я уже отчаянно искал новые темы для разговора,—но и вдруг изменив тембр голоса, так что я вздрогнул. Слышали бы Вы это внезапное изменение тона—от спокойного, скорее низкого к высокому, сдавленному, резкому! Какой-то миг мне казалось, что я снова стою перед тем солдатом наверху, возле окопа, слышу его: «Руки вверх!», его: «Заткнись!»

Заставив себя сохранять спокойствие, я начал обстоятельно описывать сложную систему американских инстанций и то, как Кимброу пытается через них пробиться. Собственно, я был, мягко говоря, возмущен. Как мог Динклагге спрашивать, нет ли у меня для него чего-нибудь нового? Он вызвал меня к себе в момент, когда, как знали мы все—в том числе и он!—ничто не было подготовлено для принятия решения. Стало быть, сообщить что-либо должен был не я ему, а он мне. Но я сохранял терпение. И знаете почему? Потому что, разговаривая с майором Динклагге, я вспоминал слова полковника Р. Майор не знает об этом нелепом оскорблении, он так и не узнал о нем, но я-то знаю, и всякий раз, вспоминая об этом, я говорил себе, что майор Динклагге заслуживает более тактичного отношения. Так что я занял выжидательную позицию, нарисовал скорее оптимистическую картину положения дел, передал ему просьбу Кимброу дать американцам еще какое-то время, потом вдруг впал в выспренный тон, стал называть имена Ходжеса, Брэдли, Эйзенхауэра, именно в том контексте, в каком слышал их от Кимброу, сообщил, что армия, правда, отклонила предложение...

Он перебил меня, притом снова в небрежном тоне, словно

говоря «ну-ну», чего я от него никак не ожидал.

«Это не важно,—сказал он.—Так даже лучше».

Теперь я уже не считал нужным скрывать удивление. Раздраженный его тоном, который был мне глубоко отвратителен, я со всей резкостью, на какую способен—в этом смысле мне не очень-то многого удалось достичь!—спросил: «Зачем же вы потребовали тогда, чтобы я пришел?»

Он ответил, притом снова своим обычным голосом, спокойным и низким: «Чтобы вы передали капитану Кимброу письмо».

Вам это покажется невероятным, дорогой мой г-н Хайншток, но больше ничего не было.

Мне нечего вам больше сообщить—ничего сообщить о том, что было сказано или что произошло после того, как майор Динклаге перешел наконец к делу.

Резкий вопрос, потом мои пространные объяснения, еще две скупые фразы—и конец.

Он открыл ящик своего письменного стола, вынул письмо, дал его мне. Через три минуты все было кончено.

Так что я даже не знаю, зачем он требовал, чтобы я пришел, не говоря уже о том, что я так и не выяснил, почему он сделал предложение о сдаче батальона, а когда оно не было принято, заявил: «Это не важно. Так даже лучше».

Сказано это было в том же небрежном тоне «ну-ну», за которым, правда, последовало свидетельствующее о мимолетной прострации помутнение взгляда, чему я, возможно, и обязан тем, что он снова заговорил со мной по-человечески.

What makes him tick? Не знаю. Я не психолог.

Его вопрос «Вы можете сообщить мне что-нибудь новое?» не должен был вызывать у меня раздражения. В ночной тишине американской канцелярии я начинаю понимать, что майор Динклаге до последнего момента надеялся на чудо. Может быть, он вопреки вероятности ожидал, что я появлюсь с известием, что американцы нынешней же ночью осуществят raid.

Значит, следует все же считать, что он был надежный союзник?

Этой загадки я не решу.

Майор Уилер час назад уехал в Сен-Вит; судя по всему, ему уже нечего предотвращать в Маспельте. Мы договорились, что завтра я передам ему это письмо для вас...

Кстати, мы какое-то время еще посидели вместе—Динклаге и я, не спешили разойтись в разные стороны. Когда я вспоминаю последние четверть часа, проведенные с ним, это напоминает мне вялые упражнения на фортепиано, неумело исполняемый этюд;



кто-то ударяет по клавишам, время от времени удается взять аккорд, часто возникают паузы. Мы действительно подолгу молчали, не испытывая при этом смущения.

Я сказал, как я сожалею, что наши усилия оказались напрасными.

«Это моя вина,—возразил он.—Было бы правильной, если бы я промолчал о своем замысле».

Сохраните его высказывания в тайне, дорогой г-н Хайншток! Совершенно не нужно, чтобы особа, которую я, к сожалению, вынужден обозначать как «эта дама», стала себя упрекать. Не хватает еще, чтобы она почувствовала себя ответственной за случившееся только потому, что решила помочь своим практическим женским разумом осуществлению планов одного мужчины.

Как упорно держится среди женщин легенда о том, будто мужчина—хозяин своего слова! А ведь нет более колеблющихся существ, чем мы. (Вас я исключаю, Венцель Хайншток!)

Майор Динклагге расспрашивал меня о жизни в Хеммересе, попросил, чтобы я описал путь через долину Ирена, заметил, что мне чертовски повезло—ведь я мог угодить в руки одной из его разведывательных групп. Если не ошибаюсь, в его словах действительно прозвучало сожаление, что меня не поймали! Судя по всему, он нажал вдруг не на ту клавишу, почувствовал это сам, сразу же исправился.

«Советую вам не задерживаться в Хеммересе больше, чем на одну ночь»,—сказал он.

Я не стал говорить ему, что и сам пришел к такому выводу во вторник вечером, когда, спотыкаясь, брел в сумерках из вашей каменоломни домой. Даже эту ночь, на которую он дал мне разрешение, я не проведу в своей постели в Хеммересе. «Заняв Хеммерес,—подумал я,—он осуществит первую из цепи акций, с помощью которых попытается схоронить воспоминание о своем несостоявшемся предательстве».

Но я хотел услышать это от него и потому спросил: «Отчего же? Вы собираетесь занять Хеммерес?»

К моему удивлению, он ответил: «Нет. Не я».

Я ждал хоть какого-то объяснения, но он молчал и смотрел в окно на крестьянский двор напротив—на прекрасную старую усадьбу, вид которой все это время был для меня настоящим утешением. Она мне напомнила белый домик на полотне Иеронима Босха «Искушение св. Антония», где среди чудовищ, химер, исчадий ада женщина стирает белье.

Наконец я услышал, как Динклагге сказал: «Скоро здесь разыграются важные события».

Я снова ждал, и снова он поборол себя не сразу — именно это слово я должен употребить, чтобы показать, какое впечатление произвел на меня майор Динклаг, когда, поднявшись и тем самым заканчивая нашу встречу, он заговорил, — да, ему пришлось именно побороть себя, это далось ему с трудом, и доказательством того, что следующую фразу он буквально выжал из себя, служит то обстоятельство, что заговорил он своим высоким, словно сдавленным, командирским голосом: «Это мое сообщение вы можете использовать!»

Дорогой г-н Хайншток, больше всего мне хочется расхохотаться, когда я думаю о том, что от всего гигантского, заранее запланированного предательства майора Динклага в конце концов не осталось ничего, кроме разрешения сообщить американцам, что предстоит немецкое наступление. План, претендовавший на то, чтобы перевернуть весь ход войны, — а в результате вот что! Гора родила мышь. Причем каким он казался самому себе — это было видно по лицу! — изменником, бунтовщиком, клятвопреступником, дезертиром или какие там еще слова есть в его лексиконе для обозначения всего этого. Он боролся с собой. Ей-богу, меня душит смех. И ради этого мы ставили на карту свою жизнь!

И все же — он снова предостерег противника. Какая противоречивость! Какая путаная смесь благородства и готовности идти на попятный!

Его разрешением я не воспользовался. Нет необходимости просвещать майора Уилера о предстоящем немецком наступлении: это известие ново только для меня. Но Вам я должен его передать. Теперь я выступаю в роли предостерегающего. Станьте еще более невидимым, чем Вы есть! Переживет ли Ваша хижина у каменоломни предстоящую битву? Я вернусь и посмотрю, когда все уже минует. Доставьте мне удовольствие и будьте на месте!»

Он не стал описывать Хайнштоку свой уход с командного пункта батальона в Винтерспельте, сцену между Динклаг и Райделем, которого майор вызвал к себе, передавая ему Шефольда, затем умело завершенные последние формальности в канцелярии уже среди внимательно наблюдавших глаз, чутко улавливающих каждое слово ушей, вдыхавших запах американского табака носов. И про обратный путь — снова через Винтерспельт, потом по дороге на север, к тому месту, где начинался склон, с которого он и Райдель спустились утром, — Шефольд не сообщает ничего... Мы только воображаем, будто он вообще что-то сообщил в письме Хайнштоку поздним вечером 12 октября 1944 года.

Но уж если мы дали ему возможность написать такое письмо, то теперь должны признать за ним право на усталость. Он сообщил то, что считал необходимым сообщить. Теперь он устал. Уже поздняя ночь, и ему ничего не остается, как быть кратким.

«На обратном пути этот человек вел себя так же отвратительно, как и утром. Я не должен был допускать, чтобы его снова дали мне в провожатые.

Один раз я чуть не вывел его из себя, но в последний момент решил этого не делать. Возможно, это была ошибка, возможно, мне следовало все же вывести его из себя, чтобы проникнуть в его сущность.

В конце концов, потеряв самообладание, я сам совершил безответственный поступок. Безумный поступок. Вы, г-н Хайншток, уж наверняка назовете то, что я сделал, безумием. Так и слышу, как Вы восклицаете «Вы с ума сошли?!» — наблюдая за тем, как я достаю бумажник, вынимаю десятидолларовую бумажку и протягиваю ее этому человеку. Ибо именно так я поступил, когда он нанес мне последнее, непереносимое оскорбление. «Проваливай, ты, шпион!» — сказал он, когда мы подошли к его окопу. И снова это движение головой, этот немой, начисто лишенный учтивости, резкий поворот головы — о, как я возненавидел его! С этим нельзя было мириться, с этим «Проваливай, ты, шпион!», с этим жестом крайнего презрения. Я прошу Вас понять, что смириться с этим было невозможно.

Не знаю, как мне пришла в голову мысль схватиться за бумажник. Задним числом мне кажется, что я схватился за него, как за пистолет. (Я, который вообще не способен пользоваться оружием!)

«Но неужели Вы не могли сдержаться? — спросите Вы. — Подумали ли Вы о Динклагге, о том, какие последствия будет иметь для него то, что этот человек, имея при себе американские банкноты, подаст рапорт?»

Вы покачаете головой. Я подумал о Динклагге. Под конец я думал только о Динклагге и совершенно не думал об отвратительном субъекте, стоявшем передо мной. О Динклагге, который вовлек меня в этот чудовищный абсурд. Ради письма, которое ничего не содержало, как выяснилось, когда капитан Кимброу вскрыл его. Я все это время знал, что оно ничего не содержит. Да, я не совладал с собой. Мысль о майоре Динклагге переполняла меня гневом.

«Вот! — сказал я. — За ваши не очень-то любезные услуги».

Я дал ему чаевые. Было слишком поздно пытаться завоевать

его добром—слишком поздно и абсолютно бессмысленно. Я добивался его расположения, да будет Вам известно! Несколько раз за этот день я добивался его расположения! Надо было видеть его лицо! Он был так ошеломлен, что взял бумажку.

Только после этого я пошел дальше. Я не оборачивался. Я шел вверх по склону, пока не добрался до сосен. Оказавшись наверху, под деревьями, я почувствовал, как отступает весь этот кошмар. Ведь я боялся, Хайншток, а теперь все страхи остались позади. Я был свободен. Свободен!»

Мы не станем воспроизводить здесь заключительные фразы и приветственные формулы. По всей вероятности, заканчивая письмо, Шефольд снова обратился бы к Хайнштоку с настоятельной просьбой позаботиться о картине Пауля Клее. Возможно также, что он осведомился о сыче: будучи человеком, в общем-то, отзывчивым, он знал, что птица—«сова», как он ее называл,—в настоящий момент была единственным существом, с которым еще общался Хайншток.

Потом он, скорее всего, решил бы еще ночью отправиться в Сен-Вит, чтобы подыскать какое-нибудь жилье. (Что касается Кимброу, то он, наверно, давно вернулся к себе домой, не говоря уже о Фостере. Но какой-нибудь дежурный всегда остается в канцелярии части, входящей в действующую армию.) Взглянув на часы, Шефольд установил бы, что уже нечего и рассчитывать на встречу с той официанткой. Все пивные в Сен-Вите были в эту пору уже давно закрыты. Но он наверняка порадовался бы возможности пройти по дороге, глотнуть ночного ветра, быть может, даже—кто знает?—увидеть в ночном небе отблески битвы на севере.

## ***Два сна Динклаг***

В ночь с 11 на 12 октября майору Динклаг

удалось заснуть лишь очень ненадолго. Какими бы лаконичными ни казались оба письма, которые мы воспроизводим ниже, они все же—или, возможно, именно поэтому—занимали его с полуночи до двух часов. Потом он лег, но заснул только около трех, а уже в пять его разбудили боли в бедре. Проснувшись, глядя в темноту своей комнаты, он пытался восстановить содержание двух сновидений, посетивших его. Ему казалось, что сны эти не прекращались все время, пока он спал.

Вместе с женой он ехал на машине вдоль реки. Кто была эта женщина, он не знал — знал только, что это его жена: во сне она все время оставалась невидимой. Дорога вдруг оборвалась, одна черная грязная колея набегала на другую, впереди простиралась равнина, поросшая кустарником, какой бывает на речных берегах. Из-за кустов неожиданно появился широкоплечий молодой человек, которого Динклагге никогда прежде не видел. У него было лицо сильного, здорового человека, светлые, выющиеся, зачесанные назад волосы. Динклагге спросил, не знает ли он дорогу на Фен. Они вместе развернули карту какой-то северной равнины, и молодой человек указал Динклагге на область, над которой было указано: «Большое Фенское болото».

Проснувшись, Динклагге долго раздумывал над словом «Фен», пока не вспомнил, что оно связано с воспоминанием о его матери. Мать его была родом из Восточной Фрисландии, из семьи голландских колонистов, поселившихся у канала в болотистой местности южнее Ауриха. Канал назывался «Гросефен-канал».

Динклагге так и не понял, кто был этот сильный молодой человек.

## 2

Он снова был в обществе женщины (только на сей раз они не ехали в машине), снова она никак не проявляла себя, но теперь это, возможно, была Кэте, он хотел показать ей улицу в Меппене, где находилась его школа и где он провел большую часть юности; чтобы сократить путь (как он подчеркивал), он выбрал освещенный подземный переход, вдоль которого тянулись продовольственные магазины; выйдя из него, он увидел нужную ему улицу, которая, однако, начиналась не так, как в Меппене, на углу площади, а по другую сторону лужайки, и вообще это была не та улица, о которой он думал, а совсем другая. Вместо ренессансной ратуши и гимназической церкви в самом начале улицы стояли две гигантские кариатиды (которые, правда, ничего не поддерживали), и он вдруг понял, что это не та улица, на которой проходила его школьная жизнь, а та, где он родился. Он не пошел по ней, а пошел по соседней, кстати, один, женщина (Кэте?) исчезла. На этой улице, собственно, не имевшей к нему никакого отношения, стояли развалины домов, правда, уже очищенные от щебня, будто даже отполированные. Руины

высились, словно большие скульптуры из терракоты. В стене дома, последнего на этой улице, зияла дыра, в которую просунул свою бородастую рогатую голову козел; козла целиком Динклагге не видел — только эту голову, которой тот непрерывно кивал. Другой козел пытался залезть на стену, чтобы добраться до дыры, из которой торчала кивающая голова, но это ему не удавалось — он все время соскальзывал вниз.

Истолковать этот сон Динклагге также не мог.

## **Документ II (невывымышленный)**

Письмо Йозефа Динклагге к Кэте Ленк. Указание места и времени отсутствует. Написано, по-видимому, непосредственно после передачи сообщения (приведенного здесь как «Документ III») капитану Кимброу, что явствует прежде всего из первой фразы («А теперь о нас обоих!»). Как ни странно, обращения нет вовсе. Можно только предположить, что слова «Дорогая Кэте» показались автору письма слишком сухими и что, с другой стороны, он не мог решиться на такое обращение, как: «Возлюбленная», «Любимая Кэте» или тем более «Моя любимая Кэте». Почерк по обыкновению аккуратный, буквы слитные, не очень крупные, без волосяных линий, книзу более удлинённые, чем обычно у Динклагге.

Письмо было передано в дом Телена уже знакомым нам ординарцем в четверг, после 14 часов. Похоже, что Динклагге точно рассчитал, когда Кэте его получит. Судя по всему, для него было очень важно, чтобы она получила это письмо только после ухода Шефольда и почти в тот же момент, когда по его распоряжению штабс-фельдфебель Каммерер должен был отдать приказ о выступлении батальона, то есть тогда, когда уже истек срок секретности приказа, поступившего из дивизии.

«А теперь о нас обоих!

В тот час, когда ты взяла осуществление моего плана в свои руки, ты совершила шаг, отдаливший тебя от меня.

Я не перестаю удивляться себе: ведь я что-то понимаю и все же не могу в это поверить.

Нет, конечно же, ничего я не понимаю. Уважая непостижимые для меня причины твоего решения, я ношу маску терпения. Мне кажется, она мне не к лицу.

Ты не должна была оставлять меня одного подобным образом. Ты дала мне слишком много времени для размышлений.

«Размышления» — не то слово. О «чувствованиях» тоже не может быть и речи. Как же назвать те часы, когда я ждал тебя и в мое сознание вползала правда о моем плане?

Если бы ты хотела показать мне, до какой степени нет смысла в том, чтобы что-то произошло, ты не могла бы выбрать лучшего способа, чем отдалиться от меня.

Ты хотела показать мне, до чего это просто — действовать.

А вместо этого показываешь, что гораздо проще не действовать.

«Реальность существует, стало быть, сама по себе, — подумал я. — Ее не надо организовывать».

Вчера ночью меня снова охватило ощущение бессмысленности всего сущего. Уставясь на лампу, на ящик с книгами, на кровать, я говорил себе: этого могло и не быть.

В такие минуты у меня всегда возникает чувство, что когда-то я уже пережил нечто подобное. В прошлой жизни. Какой тогда наступает мрак! С ним не в состоянии справиться даже лампа, которую ты мне принесла.

Сегодня ночью я отказался от проведения операции.

Но я не в силах отказаться заодно и от желания прикоснуться к тебе.

Й.

Post scriptum. Ах, да что там — план сорвался совсем по другим причинам. Дивизию отзывают. Выступать надо уже сегодня ночью. Это известно мне с понедельника. Соответствующий приказ по батальону я должен отдать сегодня в 14 часов.

Не упрекай меня, пожалуйста, и не говори, что следовало непременно сообщить тебе об этом еще во вторник, вместо того чтобы молчать и, выслушав твой рассказ о медлительности американских штабов, потребовать все же прихода Шефольда! Но даже если бы я не знал о подлых словах того полковника, я все равно пришел бы к выводу, что должен подать американцам последний знак.

Какое-то время я заблуждался, считая, что, послав Шефольда через линию фронта, они должны доказать, что относятся ко всему этому серьезно. Ты со мной не согласилась. Ты обратила мое внимание на то, что я не имею права чего-либо ожидать, чего-либо требовать от них. Хорошо. Я это понял. Но теперь я знаю — и, вероятно, знал с самого начала, — что хочу доказать им, насколько серьезно отношусь ко всему этому сам, и докажу, потребовав, чтобы Шефольд пришел ко мне через линию фронта. Ибо иначе я доказать этого не могу.

А доказать необходимо. Даже еще сейчас. Именно сейчас.

Еще один *post scriptum*. На совещании в понедельник командирам полков и батальонов было сообщено, что дивизию перебрасывают в северную Италию для борьбы с партизанами. Поскольку я не желаю участвовать в этом, я попросил полкового врача подать документы о моей демобилизации, что он уже неоднократно мне предлагал. Он заверил, что, учитывая характер моего заболевания и, как он выразился, мои военные заслуги, это не вызовет затруднений. Очевидно, меня еще во время переброски дивизии переведут в резервную воинскую часть и оттуда очень скоро уволят в запас. Кавалеры Рыцарского креста пользуются некоторыми преимуществами, и при демобилизации их избавляют от долгого, мучительного ожидания в казармах. Я рассчитываю уже в первые дни ноября быть дома.

Так что ты наверняка найдешь меня в Везуве, если приедешь около 5 ноября. Мы могли бы тотчас начать необходимые для заключения брака формальности, и я почти уверен, что успели бы обвенчаться еще в ноябре или, во всяком случае, до конца года.

Если ты решишь выбрать другой путь—а я подозреваю, что таковы твои намерения,—то обращаю твое внимание на то, что долину Ирена и хутор Хеммерес можно использовать для этой цели только ближайшей ночью. Дивизия, которая сменит нашу, состоит из эсэсовцев и значительно превосходит нашу по численности и оснащению; они ничего не оставят без внимания—ни одной лесной долины, ни даже самого уединенного хутора.

*Post scriptum*, обещаю, что последний. Просто, думая о тебе, я вспоминаю разные вещи. Хотя бы еще одно ты должна знать: кирпичные заводы семьи Динклагге не работают. Печи давно остыли, последние штабеля кирпича еще не вывезены. На лугах вдоль Эмса бродят теперь охотники с маленькими пятнистыми собаками—охотятся на фазанов. Луга черные, и в ноябре, когда ты приедешь, по краям будут стоять голые деревья. Вода в Эмсе очень темная, река, петляя, течет неторопливо. На ее берегах дети запускают воздушных змеев. Вспоминаю своего первого змея—небо в Везуве такое прозрачное, что ты и представить себе не можешь».



### Документ III (невывымышленный)

Сообщение майора Динклагге капитану Кимброу. Динклагге напечатал его на машинке двумя пальцами в ночь с 11 на 12 октября и, как мы знаем, вручил Шефольду для передачи; к Кимброу оно так и не попало. Английский язык Динклагге, безупречный с точки зрения синтаксиса, наверняка показался бы получателю немного комичным, ибо письмо несло на себе отпечаток казенного немецкого стиля с его склонностью к субстантивации, придающей ему что-то застывшее и помпезное. В обратном переводе делается попытка восстановить этот стиль, только обращение «Dear Captain» сохранено, ибо оно непереводаемо; по-немецки официальное письмо к незнакомому офицеру Динклагге не мог бы начать словами «Дорогой капитан», подходящим обращением здесь могло бы быть только «Господин камрад», что при буквальном переводе явилось бы совершенно неизвестной в англосаксонском военном обиходе лингвистической формулой. Динклагге, хорошо знакомый с правилами английской переписки, знал, что может обратиться к Кимброу со словами «Dear Captain» и что это не будет звучать чересчур фамильярно.

«Винтерспельт, 11 октября 1944 г., полночь

Dear Captain,

два дня назад я получил сообщение о том, что дивизия, в которую входит подчиненный мне батальон, ближайшей ночью будет снята отсюда и переброшена на другой участок.

В этих условиях намеченная нами операция отпадает.

Сожаления по поводу того, что она не осуществится—а она все равно бы не осуществилась, как я заключаю из поведения Ваших штабов, о котором Вы меня известили,—вследствие этого излишни.

Независимо от изменений, происшедших в общей обстановке, а также независимо от возможных решений Вашего командования я сам пришел к выводу, что реализация моего предложения не имеет особого смысла.

Считаю своим долгом довести до Вашего сведения, капитан Кимброу, результат моих размышлений.

Прошу Вас поверить, что слово, каким командир Вашего полка г-н полковник Р. охарактеризовал мои намерения и меня лично, никак не повлияло на мое решение. Поскольку так же назвал бы меня и Гитлер, я, обдумывая положение дел, не стал принимать это в расчет.

По двум причинам я отказываюсь от моего намерения. (Не от намерения, а от попытки его осуществить.)

Во-первых, этот эпизод не изменил бы нынешнего положения и дальнейшего хода войны.

Во-вторых, операция могла быть осуществлена лишь в результате чистой случайности. («А mere chance»,—пишет майор Динклагс.) Но если какое-то событие оказывается результатом случая, это значит, что оно могло произойти, а могло и не произойти\*.

Я понимаю, что перемена в моем отношении к операции покажется Вам признаком нерешительного и неустойчивого характера, и если я скажу Вам: я не жалею, что вовлек Вас в это дело, Вы сочтете мои слова беспомощной попыткой прикрыть свою нерешительность. И все же я говорю это, и я благодарю Вас за то, что, когда мое предложение было Вам передано, Вы не сразу его отвергли.

Упомянутая вначале акция объяснит Вам, почему я был вынужден попросить г-на д-ра Шефольда явиться ко мне в столь непонятный для Вас и кажущийся преждевременным срок.

То, что я вообще пригласил его к себе, оговорив, что для придания переговорам серьезности—серьезности с военной точки зрения—он должен быть послан ко мне через линию фронта, объясняется только одним: мне хотелось исключить всякое подозрение, будто я отношусь недостаточно серьезно к своему предложению. Или к своему отказу от него. Отказ—это лишь обратная сторона моего предложения.

Преданный Вам  
*Йозеф Динклагс*, майор».

## **Примечание 1**

\* С этой частью письма, где он намекает на вмешательство Кэте в его план («О, если дело только в этом»—словно осуществить этот план проще всего на свете), Динклагс возился дольше всего. На листке бумаги он набрасывал фразы, в которых пытался объяснить Кимброу свое неверие в рок, например: «Хотя я придерживаюсь мнения, что все, что мы делаем, случайно, и считаю всякую веру в судьбу (это слово он передает английским словом «destiny», а не «fate») грубой иллюзией, все же есть события, ситуации, обстоятельства, когда говоришь себе...» Здесь мысль обрывается, он не может сформулировать, что же «говоришь себе», ибо вдруг понимает, что подтекст этой

фразы может заставить его отказаться от своей позиции. И вот он оставляет лишь ту фразу, которая, как он сам прекрасно знает, философски несостоятельна, легко опровержима. «Кроме того,— думает он,— вообще бессмысленно посылать этому американцу философское сочинение»,— и рвет листок.

Что сказала бы Кэте по поводу второй причины его отказа, он хорошо себе представляет.

«Если ты считаешь,—слышит он ее голос,—что такое-то событие может либо произойти, либо не произойти, то дай ему произойти!» \*\*

## **Примечание 2**

\*\* «Человек—это прежде всего проект, который субъективно живет сам по себе; он не пена, не гниль, не цветная капуста; нет ничего, что существовало бы до этого проекта; ничего нельзя прочитать на небесах; и человек будет прежде всего тем, чем велит ему быть его проект. А не тем, чем он захочет быть»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Цитата из книги Ж.-П. Сартра «Экзистенциализм—это гуманизм».

## ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

— Жратва у вас опять такая—с души воротит!

Унтер-офицер из пищеблока только вытаращил на него глаза, словно онемел от такой наглости (он подаст об этом рапорт), но среди поваров был один, что за словом в карман не лез.

— В следующий раз надо будет как следует наплевать тебе в суп, ты, зануда гостиничная,—сказал он. Конечно же, он рискнул сказать это только потому, что вообразил, будто он, Хуберт Райдель, уже снят с линии, как проржавелый автобус.

Райдель ничего не ответил, отвернулся, подозвал сосунка, у которого одалживал котелок и ложку, и сказал ему громко, чтобы все вокруг могли слышать:

— Выплесни это дерьмо!

И пошел в сторону батальонной канцелярии, сопровождаемый взглядами собравшейся почти в полном составе роты—солдат и прочих воинских чинов.

Он снова снял карабин, аккуратно поставил его в угол между стеной и шкафом, сел рядом на стул, на котором сидел до того,—на сей раз без разрешения, поскольку в канцелярии не было никого, кроме писаря в чине ефрейтора, и он мог устроиться поудобнее, не дожидаясь приглашения. (Но он не стал устраиваться поудобнее—сидел, ни на секунду не забывая о выправке, и смотрел прямо перед собой.)

Батальонный фельдфебель, эта штабная крыса,—Райдель не

знал его фамилии (тот, кто не был прикомандирован к штабу, с батальоном не соприкасался), ах да, Каммерер, так обращался к нему командир,—этот Каммерер, стало быть, посоветовал ему выйти («Вы отравляете воздух, обер-ефрейтор!»), но Райдель и не собирался выполнять его пожелания. Не хватало еще, чтобы из-за этой задницы с галунами, из-за этого безмозглого типа он прозевал момент, когда командир и тот неизвестный покончат со своими делами. Надо быть совсем уж чокнутым, чтобы не оказаться на месте, когда вызовет командир. Как будто он не знал, что ждать его не будут и заниматься поисками тоже не подумают! Первый попавшийся дежурный унтер-офицер мог бы сделать все за него и переправить этого типа через передовую. Тогда — крышка, конец надеждам отделаться в этой истории с Бореком дисциплинарным взысканием, возможно, даже одним только предупреждением (ибо по какой-то причине, которую Райдель не мог назвать, но прекрасно чувствовал, командир взял бы его под свое покровительство, если бы он проводил незнакомца — Райдель забыл вдруг его имя — туда, где тот чуть не угодил под пулю). Тогда Райдель радовался бы уже тому, что ему не пришили дело о самовольной отлучке с поста.

Шефольд звали его. Доктор Шефольд — так было написано на той бумажонке, которую этот хлыщ сунул ему под нос там, наверху, на позициях, и так он назвался, когда пришел сюда. Вспомнив имя, Райдель почувствовал облегчение. На тот случай, если когда-нибудь станут допрашивать о визите этого странного клиента к командиру, неплохо будет назвать его имя. Райдель не стал раздумывать, почему вдруг пришла ему в голову мысль, что его станут допрашивать, — слово «допрос» просто возникло в его сознании как звук, пока еще отдаленный. «Расскажите-ка нам по порядку, как все было, когда вы привели этого человека к майору Динклагге». Он отчетливо *слышал* эту фразу.

«Доктор Шефольд». Как он произнес свое имя, тот же сытый тон, какой был у постояльцев, когда они представлялись в вестибюле гостиницы. «Могу я просить вас доложить обо мне господину майору Динклагге?» Тон был такой, будто он разговаривал не со всемогущим батальонным фельдфебелем, а с швейцаром в дюссельдорфском отеле «Рейнишер хof».

Сидя, словно аршин проглотил, и глядя в одну точку, Райдель сосредоточенно обдумывал, не лишит ли его Шефольд шанса безупречно выполнить задание командира, непосредственно дан-

ное ему, ничтожному маленькому обер-ефрейтору. Но, может быть, там, за дверью, на которой висит табличка с надписью «Командир», этот тип уже так основательно выпачкал его грязью, что ни о чем подобном не может быть и речи, и его вызовут туда, в лучшем случае чтобы дать взбучку, после чего ему останется только сматывать удочки и ждать, когда он окажется перед военно-полевым судом? (Предварительное заключение, скорый суд, разжалование, штрафная рота, до конца войны на хлебе и воде в командах смертников; утешением не могло служить даже то, что так же плохо будет Бореку, если удастся подставить и его.)

Если эта зараза расколется и скажет про пинок в задницу, то ему, Райделю, крышка. Тут его ничто не спасет. И в истории с Бореком ему хана: для них это будет последним доказательством того, что он агрессивен, склонен к насилию.

Он уже готовился к худшему. Он пойдет напролом — как танк. Не зря вояки придумали: не помрем, так крепче станем.

Кроме того, война вот-вот кончится. Пару недель он как-нибудь перетерпит. В России он убедился, что и в командах смертников можно жить.

Вошел фельдфебель, не обратив ни малейшего внимания на то, как Райдель рывком поднялся, встал навытяжку. Райдель снова сел. «Железного креста I степени у него нет,—подумал он,—а у меня есть. Зато у него аксельбанты, серебряные, почти такие же, как у швейцара в «Рейнишер хоф» в Дюссельдорфе».

Между двумя фразами: «Скоро здесь разыграются важные события» и «Это сообщение вы можете использовать» — фразами, вызвавшими у Шефольда острое желание расхохотаться, как он сообщил Хайнштоку (в том самом письме, которое не было написано), — Динклагге поднялся и дал понять, что их беседа окончена. Шефольд тоже встал. Он раздумывал, что бы сказать на прощанье. Надо поблагодарить майора за совет насчет пребывания в Хеммересе или, точнее, ухода оттуда.

— Одну минуту,—сказал Динклагге.—Мне надо еще проинструктировать этого болвана.

Он взял свою палку, подошел, хромая, к двери, открыл ее и сказал:

— Каммерер, пусть войдет Райдель!

Шефольд невольно покачал головой. Этот Райдель сидел у

майора перед носом — Шефольд видел его в дверную щель, — но Динклагге не обратился прямо к нему, а поручил ближайшему по званию третьему лицу позвать его. Военная иерархия состоит из перепоручений, и даже интеллигентному офицеру, командиру батальона и кавалеру Рыцарского креста, не пришло в голову нарушить эту систему.

Райдель уже стоял наготове, перекинув карабин через плечо, когда Каммерер мотнул головой в его сторону — вот так же мотнул головой Райдель, приказывая Шефольду подняться по ступенькам к командному пункту батальона, что безгранично возмутило увидавшую эту сцену Кэте.

Как он встал по стойке «смирно», этот человек! Он не то чтобы одеревенел — он напоминал окаменевшую серо-зеленую рептилию.

— Закройте дверь! — сказал майор.

Поворот кругом, намеренно беззвучный — в этом случае не шелкают каблуками, подумал Райдель, — и снова поворот кругом, маленький солдат, глаза-буравчики в упор глядят из-под каски, заляпанной для маскировки краской неопределенного цвета.

— Где вы получили Железный крест первой степени, Райдель? — спросил Динклагге.

— В России, господин майор, — ответил Райдель. — За полсотни иванов.

Шефольду не видно было, что отразилось при этом на лице майора.

— Вы их считали? — услышал он голос Динклагге.

— Нам было приказано считать, — доложил Райдель. — Это контролировалось.

«Фотографии лучших снайперов публиковались какое-то время в «Берлинер иллюстрирте», — вспомнил Райдель. — Мне и здесь не повезло. Я так и не попал в иллюстрированный журнал». Он с ожесточением подумал об унтер-офицере, на счету которого было 75 человек, когда его фото появилось на обложке.

— Как я слышал, вы плохо вели себя в отношении господина доктора Шефольда.

Ну вот, началось все-таки...

Он молчал. Отвечать он обязан только на вопросы.

— Это верно, что вы запрещали ему разговаривать и называть бранными словами?

И это все? Если не всплывет пинок в задницу, то пока еще не так страшно.

— Я принял этого господина за шпиона, господин майор.

Это была единственно правильная тактика—не отпираться, не искать отговорок, а признать ошибку: это может вызвать понимание. А то, что солдат на передовой принял за шпиона человека, идущего с вражеской стороны, безусловно, должно вызвать понимание.

Правдивый. Правдивый солдат, который не лжет своему командиру. «Подлость заключается в том, что он все еще считает меня шпионом»,—подумал Шефольд. «Я принял этого господина за шпиона». В его словах не было ни малейшего признака того, что он, Райдель, отказывается от своих подозрений.

Заметил ли майор эту опасность?

Но Динклаге лишь сказал:

— Судя по всему, вы слишком много думаете, Райдель.

Значит, не очень-то всерьез он болтал тогда, в Дании, о том, что ему нужны думающие солдаты. Офицерский треп, больше ничего. Райдель никогда этого всерьез не принимал.

Но то, что он не желает, чтобы Райдель думал, когда со стороны противника у самого его окопа появляется человек,—вот это потрясающе. «Он, видно, считает меня чокнутым»,—мелькнуло в голове у Райделя.

Он решил, что позднее надо будет как следует пораскинуть мозгами на этот счет. А сейчас важно лишь то, что пока никто и словом не обмолвился о том пинке. Так что почти наверняка майор понятия не имел, какой идиотский номер он, Райдель, выкинул, иначе ему бы первым делом ткнули под нос именно это, а не всякую ерунду, вроде того, что он сказал Шефольду, чтобы тот заткнулся, или назвал его задницей. «Наверняка я уже не стоял бы здесь, давно меня выдворили бы отсюда, если бы командир знал, что я дал его гостю хорошего пинка. Но почему он этого не знает?—спросил себя Райдель.—Ведь тот пожаловался на меня. Почему же он не рассказал все, почему не раздул свою жалобу?»

Неподвижный взгляд Райделя был устремлен на командира, но это не мешало ему краешком глаза наблюдать за Шефольдом. Вполне возможно, что тот как раз и разворачивает свое тяжелое орудие. Может, свой козырной туз он выложит в самый последний момент?



Этот ефрейтор, видимо, страшно перепугался в связи с рапортом своего дружка, иначе он не решился бы явиться сюда вместе с Шефольдом. Неслыханная дерзость—ведь он обязан был ждать, пока явится унтер-офицер, несущий караульную службу. (Это, правда, весьма задержало бы появление Шефольда в батальоне, так что, в общем-то, счастье, что Шефольд наткнулся на него. Райдель исправил ошибку, которую совершил он, Динклагге, убрав с передовой вместе с новобранцами и унтер-офицеров.)

Динклагге отвел Райделя в сторону. «Райдель—один из моих людей,—подумал он вопреки своей привычке избегать этой формулы,—а служебные дела не касаются посторонних». Конечно, это было бесполезно: в этой комнате невозможно разговаривать так тихо, чтобы кто-то третий не услышал. Но необходимо хотя бы соблюсти форму. У Райделя не должно создаться впечатления, что, помимо своего командира, он держит ответ еще перед кем-то, к тому же перед штатским.

— Вы хотите загладить свою вину,—сказал Динклагге вполголоса.—Только не думайте, что я не понимаю, почему вы, вопреки инструкциям, покинули свой пост и привели господина доктора Шефольда прямо ко мне. Вы не могли знать, что в порядке исключения действовали правильно. Или, возможно, вы это знали. Появление господина доктора Шефольда было для вас очень кстати. Он дал вам возможность обратить на себя внимание. А ведь вы именно этого хотели, Райдель, не так ли? У вас есть все основания стараться предстать передо мной в лучшем свете. Ради этого вы даже нарушили главную заповедь солдата: не привлекать к себе внимания. Но вы привлекли к себе внимание, притом показали себя с безобразнейшей стороны, Райдель, это я должен сказать вам прямо, и вы, не задумываясь, снова решили привлечь к себе внимание, раз этим можно улучшить свое положение. Во всяком случае, вы именно это вбили себе в голову. Так ведь, Райдель?

«Если бы он знал,—подумал Райдель,—что я чуть не кокнул его господина доктора Шефольда».

Но в остальном командир этот—сила!

Только он, Райдель, не может доставить ему удовольствие и ответить: «Так точно, господин майор!—потому что тогда он просто-напросто признает факты, содержащиеся в рапорте

«Борек против Райделя». А это исключено. Против этого рапорта он должен защищаться зубами и ногтями. Он сам не знал почему. Он даже не задавал себе такого вопроса. Ему достаточно было сказать: «Так точно, господин майор!» — и он почти наверняка выпутался бы из этой свинской истории, которая только раздражала майора. Но об этом не могло быть и речи.

По делу Борек надо было врать. В упор, стоя и лежа, в любом положении, не считаясь с потерями. Играть в искренность на сей раз смысла не имело.

— Господин майор, разрешите доложить!

— Я жду,— сказал Динклагге.

— Борек лжет,— сказал Райдель.— В рапорте Борек нет ни слова правды. Рядовой Борек — враг рейха. Своим рапортом он хотел только опередить мой рапорт относительно его высказываний против германского рейха.

Он произнес это громко, своим каркающим голосом — так же, как недавно в канцелярии. Он и не подумал воспользоваться возможностью, которую предоставлял ему командир, чтобы все это дело, во всяком случае формально, осталось между ними.

Он заметил, как незнакомец отступил на шаг, и от него не ускользнуло, как судорожно сжалась рука, которой Динклагге держал свою палку. Пальцы на сгибах даже побелели.

«Значит, он не только человек, внушающий ужас,— подумал Шефольд,— он еще и настоящий нацистский солдат. Я попал в руки нацистского солдата.

Что же здесь, собственно, происходит,— размышлял он.— Почему тот, другой, солдат, которому я симпатизирую, ибо он враг рейха, подал рапорт на это чудовище? Динклагге сказал, что у Райделя рыльце в пушку, но речь идет и не о военном и не об уголовном проступке (политический исключался после всего, что он здесь слышал). Что же, черт побери, происходит?»

«Я не доверил бы вашу судьбу преступнику». Был ли Динклагге все еще в этом уверен?

Рука разжалась.

— Может быть, вы этого и не заслуживаете, Райдель,— сказал Динклагге,— но я готов пропустить мимо ушей то, что вы сейчас сказали.

Благородно. Подозрительно благородно. Ведь он как-никак доложил, что рядовой Борек допускал высказывания против рейха. Это еще вопрос, может ли майор вермахта позволить себе пропустить мимо ушей такое донесение. Но уже следующая фраза показала, что командир идет по горячему следу.

— Райдель,—спросил Динклаге,—вы пытались шантажировать Борек, услышав его высказывания?

Подло. Сперва благородно, а потом так подло, что дальше некуда. Все они такие.

На антигосударственные высказывания Борек ему плевать. Он использовал их только в целях самообороны, потому что его загноили в угол.

Райдель смотрел на майора, не опуская глаз. На это он ему ничего не ответит. Такие вопросы может задавать только военно-полевой суд.

Шантажировать? Значит, речь шла о деньгах? Этого не может быть, потому что тогда было бы уголовное дело, а майор категорически это отрицает.

История с Райделем становилась все более темной.

— Ну, хорошо, оставим это,—сказал Динклаге.—Итак, я ошибся. Вы вовсе не собирались заглаживать свою вину. Но тогда объясните, почему вы сочли возможным отлучиться сегодня с поста и привести ко мне господина доктора Шефольда? Вы хотели заслужить награду, хотя она вам совершенно не нужна, ибо у вас совесть чиста. Не так ли, обер-ефрейтор?

Он шел по горячему следу, да, он — сила, этот хромой кавалер Рыцарского креста, и теперь главное — молчать в тряпочку. Райдель понял, что, сохраняя молчание, он все ставит на карту. Если бы он уступил, задание отвести назад этого Шефольда было бы ему обеспечено. А теперь — как знать.

Он решил сделать уступку, изобразив легкое смущение во взгляде. Это ему не удалось. Глаза его были для этого попросту не приспособлены. Они были светло-карие, почти желтые и такие зоркие, что, фиксируя какой-то объект, зрачок, по существу, не сужался. Светло-карие, желтые, острые, как буравчики, неподвижные глаза Райделя пристально смотрели на Динклаге. В них не было и следа смущения. Безжалостный взгляд птичьих глаз, лишенных ресниц. Почти желтых.

— Господин доктор Шефольд находится под моей защитой,— сказал Динклагс.— Вы отведете его теперь туда, где его встретили. Надеюсь, что по дороге вы будете обходиться с ним самым корректным образом. Вам понятно?

Значит, выгорело. Отлично!

— Слушаюсь (Сл-л-лушаюсь), господин майор!

Если этот тип ничего не сказал о пинке и ничего не скажет, то, пожалуй, с ним стоит обходиться прилично.

— Если вы выполните приказ как следует, я поговорю с вашим Бореком и попытаюсь убедить его забрать рапорт. При условии, что вы этого хотите. Вы этого хотите, Райдель?

— Так точно, господин майор!

Ему явно очень важно, не только чтобы гость был доставлен в целости и сохранности—куда, собственно? На ту сторону? К противнику? Странно, очень странно!—но и чтобы не был дан ход всей этой писанине про гомосексуализм и высказывания против рейха.

— Стало быть, вы не придаете большого значения своему рапорту на Борека?

Осторожно! Ни в коем случае не признаваться до конца, иначе тебе не поверят, а Бореку поверят.

— Я вовсе не желаю делать Бореку неприятности, господин майор,— сказал он.

Если несколько минут назад, когда он им все выложил про Борека, он буквально почувствовал, как они затаили дыхание, то теперь от него не укрылось, что они вздохнули с облегчением. Он готов был пощадить врага рейха—это очко в его пользу. Хоть и не ахти какое, но все же: он это видел по их лицам.

Ошибался он или в них действительно появилось что-то вроде сочувствия? Да от этого очуметь можно! Не хватало ему только их сочувствия.

Если это было сочувствием, то сочувствием к тому, которого отвергли.

В первый раз Райдель спросил себя, не знал ли уже и гость командира, какое имеется против него обвинение. Может быть,

командир рассказал ему об этом, чтобы не оставлять в неизвестности о главном свойстве его сопровождающего? «Человек, к которому вы попали, просто педераст». И вслед за этим — понимающая улыбка обоих.

— Ага,— сказал Динклагге,— я так и думал. Значит, я не совсем ошибался.

Голос его звучал теперь дружелюбнее. И он не стал объяснять, почему «не совсем ошибался». Но потом майор выдал одну штуку, которую он, Райдель, ему никогда не забудет.

— Только не воображайте, Райдель, что я собираюсь поговорить с Бореком, чтобы доставить вам удовольствие,— сказал майор.— Я сделаю это прежде всего, чтобы помочь этому молодому парню.

Значит, врагам рейха нужно помогать, а педерастам — нет. Собственно, он не так уж и рвался узнать все это. Теперь он это знал. Майор Динклагге сказал. Хотелось бы надеяться, что он сумеет ему за это отплатить.

Во всяком случае, сочувствия тут никакого не было, слава богу.

К тому же майор совершил ошибку.

Если он думал лишь о том, чтобы помочь рядовому Бореку, достаточно было вызвать его к себе и уговорить забрать рапорт. Тот не стал бы сопротивляться. («Я сожалею, что написал этот рапорт. Правда, очень сожалею!»)

Зачем в таком случае ему, Райделю, зарабатывать награду, переправляя этого неизвестного через линию фронта, вообще непонятно.

Но именно вокруг этого все крутилось, и к Бореку это не имело ни малейшего отношения.

Просто у майора Динклагге какой-то свой расчет, чтобы он, обер-ефрейтор Райдель, вообразил, будто должен первым делом завоевать его расположение.

Но тогда не надо болтать, что он только о том и печется, как бы помочь Бореку.

Командир совершил большую ошибку.

Ну да ладно. Он не мог пока разобраться, почему майор так хотел убедить его, что он, Райдель, ему бог знает как обязан. Главное, что все это здорово прокручено. Все получилось именно

так, как он рассчитал еще там, на откосе и по дороге в деревню. «В виде исключения он действовал правильно». И вот получил задание отвести обратно этого типа, к тому же не отступил со своих позиций ни на сантиметр. Историю с рапортом «Борек против Райделя» они теперь спустят на тормозах и еще будут рады, что он не откалывает никаких номеров, а ведет себя тихо и им не мешает.

Нет, не было никакого интереса устраивать Бореку неприятности. Его интересовало одно—остаться с Борексом, даже не имея никаких шансов.

«Я упустил все, ну буквально все возможности отвязаться от этого страшного человека. Даже когда майор упрекнул его за то, что он оскорблял меня, я еще имел возможность сказать про пинок. Или когда эта гадюка прошипела, что приняла меня за шпиона. Но потом вдруг все возможности исчезли! Между майором и этим солдатом происходило что-то, во что мне уже не позволено было вмешиваться. Уже было слишком поздно. Ведь каждому инструменту положено вступать в какой-то определенный момент. Я этот момент упустил.

Ах, да что там,—подумал Шефольд,—все это отговорки!

Мне следовало грубо вмешаться. Когда речь идет о вещах невыносимых, можно ни с чем не считаться. Решительно и беспощадно я должен был возразить против того, чтобы этот субъект меня сопровождал».

Но столь же невыносима для Шефольда была мысль, что он еще и сейчас мог пустить в ход аргумент, который помешал бы обер-ефрейтору Райделю стать его провожатым. Хорошее воспитание (воспитание в доме образованного немецкого бюргера) и чувство формы (чувство, побудившее его заняться изучением истории искусств) сыграли с ним злую шутку. Они были сильнее, чем страх. И дело не в том, что они не позволили ему обнаружить свой страх. Они, может быть, и позволили, но когда было уже слишком поздно, когда было упущено время.

Динклагге окончил разговор. Он вышел первым в канцелярию. Райдель сразу последовал за ним. Шефольд вышел только тогда, когда понял, что на этом все кончено.

Майор, кажется, был недоволен собой. Он еще не понимал, что Райдель сказал себе: дело с рапортом утрясется без особых усилий с его, Райделя, стороны.

Свое недовольство он объяснял оскорблением, которое нанес

Райделю. «Это была ненужная жестокость,—подумал он,—сказать ему в лицо, что я больше заинтересован в том, чтобы выручить из беды этого Борека, чем его. К тому же это не так. Я был абсолютно готов помочь и ему. Доносам по поводу гомосексуализма я вообще не намерен давать ход».

Он обратился к Каммереру:

— Обер-ефрейтор Райдель потом вернется и доложит вам о выполнении приказа, который я ему дал.

Инструкция касалась прежде всего слушавшего ее Райделя.

— Есть, господин майор,—сказал Каммерер.

Маскировать все это было не только не нужно, но и неправильно. Это хорошо понимал тот самый Хайншток, когда посоветовал спокойно упомянуть про Хеммерес.

— Райделю дано поручение переправить через передовую доктора Шефольда. Доктор Шефольд живет в Хеммересе.

— Есть, господин майор.

Каммерер успел найти на карте этот Хеммерес, где жил самовольно доставленный Райделем человек (как сообщил сам незнакомец и теперь подтвердил майор). Странно. Может, действительно это связано с разведкой. Больше Каммерер на этот счет не задумывался. Майор сам объяснит ему, что к чему.

Что подумал унтер-офицер счетовод—тот самый, который при появлении Шефольда учуял запах американского табака (он тоже тем временем вернулся в канцелярию),—когда услышал все, что было сказано перед уходом Шефольда, останется во мраке истории, равно как и выводы, которые, вопреки настойчивым предупреждениям, возможно, позволил себе сделать уже дважды упоминавшийся унтер-офицер Рудольф Драйер из оперативного отдела штаба главнокомандующего группы войск «Запад» на основе того, что ему приходилось слышать и записывать.

Вот так, запросто, как бы между прочим, упомянуть о Хеммересе—в этом и заключался трюк. Но с ним, Райделем, такие штуки не проходят.

Только бы ему оказаться наконец в своем окопе, чтобы как следует поразмыслить над этой подозрительной историей!

Он надеялся, что, несмотря на уже происшедшую смену часовых, в его окопе никого нет. А если и есть кто, он его за ноль целых ноль десятых секунды выставит оттуда. Пустых ячеек сколько угодно, потому что и к вечеру на передовой будет мало

народу, раз новобранцев освободили от караульной службы.

Его самого этот знатный господин своим заданием переправить хлыща за линию обороны практически приговорил ко второй смене в карауле. Но ему от этого ни жарко ни холодно. Напротив. Он и не подумает вернуться, как письмо с обратной почтой, в канцелярию, чтобы доложить, что выполнил приказ. Первым делом он залезет в свой окоп и подумает над тем, что, собственно, произошло.

«Теперь у меня уже нет возможности поблагодарить его за то, что он посоветовал мне покинуть Хеммерес. Теперь уже ни на что не остается времени. Почему майор не нашел еще минуту, не отослал этого человека и не объяснил все, что с ним связано? Это дало бы мне последнюю возможность заявить решительный протест».

Он снова перекинул плащ через плечо, нащупав при этом письмо, которое сунул в боковой карман пиджака. Конверт, вспомнил он, был без адреса и заклеен.

— Желаю вам благополучно добраться до Хеммереса, господин доктор! — сказал майор и пожал ему руку.

Шефольд должен был что-то ответить. Он предпочел бы уйти молча. Но это было невозможно из-за устремленных на него взглядов.

— Прощайте, господин майор, — сказал он. — И большое спасибо за гостеприимство.

— Пустяки, — сказал Динклагге. — Прошу прощения за еду, она была чудовищная. — И, повернувшись к штабс-фельдфебелю, сказал: — Каммерер, я полагаю, настало время вам заняться кухней.

Шефольд вынудил себя улыбнуться. Они разыграли спокойное, беззаботное прощание.

Этот Райдель снова распахнул перед ним дверь, снова пропустил его вперед, но на сей раз совсем по-другому — не так, как недавно, когда они сюда пришли; он проявил даже нечто вроде учтивости, хотя и не совсем такой, как по отношению к майору; но все же он чуть-чуть подобрался, как и положено по отношению к штатскому, с которым приказано обращаться «самым корректным образом», притом на глазах у того, кто отдал такой приказ.

Так открывают дверь перед постояльцем, приняв стойку в ожидании чаевых.



Когда они ушли, Динклагге посмотрел на часы.

— Половина второго,— сказал он.— Можете теперь передать в роты приказ о выступлении, Каммерер. Через двенадцать часов батальон должен быть готов к маршу. Уже известно, когда придут машины?

— Полк обещал прислать их в двадцать часов, господин майор.

— Ну, тогда считайте, что они придут не раньше двадцати двух. Часовым, конечно, оставаться на передовой, пока их не сменит новая часть. В остальном все ясно?

— Все ясно, господин майор. Короткие же у нас здесь были гастроли.

— Радуйтесь этому, Каммерер! Я предполагаю, что здесь не будет ничего хорошего.— И направился к двери.— Пошлите мне наверх денщика!— сказал он.— Пусть поможет уложить вещи.

Когда он ушел, все, кто находился в канцелярии батальона, переглянулись с довольным видом. Командир у них— что надо. Хоть он и кавалер Рыцарского креста, а не делает тайны из того, что, как и они, рад покинуть эти места, где, судя по всему, не предстоит ничего хорошего.

Пока денщик не появился, Динклагге лег на койку и стал смотреть в потолок.

Кэте, как они условились, должна прийти к нему, чтобы справиться, чем закончился разговор с Шефольдом,— не сразу, а позднее, ближе к вечеру. Об этом он попросил ее, делая вид, что заботится о камуфляже, а на самом деле— чтобы выиграть время. Он хотел, чтобы она, прежде чем прийти сюда, прочитала его письмо. Он собирался послать его с ординарцем, как только упакует ящики, на что потребуется не более получаса. Из письма она поймет все про Шефольда и про операцию, так что, когда придет к нему, ей останется только сообщить, согласна ли она (или отказывается) поехать на Эмс. Если она примет его предложение, он даст ей короткую записку к своим родителям.

Рассматривая потолок, он думал: в двадцать два часа машины, смена, новая часть, СС (тут уж не обойтись без «германского приветствия»), выступление среди ночи. Конец операции. «О, если дело только в этом!» (Ах, Кэте!) Что осталось от операции? Ничего, кроме этого мягкого человека, симпатичного искусствоведа, безусловно, эстета, который в сопровождении исключительно несимпатичного парня, эдакого низкорослого дьявола, шел сейчас по дороге и через холмы.

Кэте. Винтерспельт. Кэте.

Она поедет не на Эмс, а в Линкольншир.

Сегодня обед приготовила Тереза, потому что Кэте слишком поздно вернулась из каменоломни. Семья уже обедала, и Кэте села за стол так, чтобы видеть дом напротив; потом она вышла во двор, разложила мокрые полотенца на скамье у входа, соломенной метлой подмела камни у порога. Когда в дверях командного пункта батальона один за другим появились Шефольд и солдат, который его привел, и спустились по ступенькам на улицу, она быстро отошла в узкую полосу тени. Жилые строения находились в восточной части двора, и в два часа пополудни там уже лежала тень—узкая, но очень темная полоса, наверняка скрывшая Кэте.

Она сразу же почувствовала беспокойство, увидев, что тот самый солдат, который тогда так отвратительно мотнул головой—она еще мысленно назвала его «страшным типом»,—сопровождает Шефольда и в обратный путь. Йозеф Динклагге просил ее выждать час, прежде чем прийти к нему, но она решила пойти сразу, как только кончится его беседа с Шефольдом, чтобы, объяснив значение этого быстрого кивка головой слева направо и вверх, сказать, что ни в коем случае нельзя подвергать Шефольда такой опасности. Неужели Динклагге, пленник своего военного мышления, системы приказов и повиновения—*структуры*, подумала Кэте,—так плохо разбирается в людях, что не обратил внимания на устрашающую сущность этого человека? Возможно—от военной системы этого вполне можно ожидать,—Динклагге и не видел его, безымянного солдата, который все это время сидел в приемной и ждал, пока какой-нибудь писарь не приказал ему отвести Шефольда туда, где он с ним встретился.

И все же, когда Шефольда вели в штаб, все разыгрывалось, по-видимому, не совсем так, ибо, судя по всему, в отношениях между этими людьми что-то изменилось. Теперь уже исчез язык жестов, выражавший понукание, немой террор: вместо этого появилось нечто, напоминающее скорее готовность приспособиться. Да, отчетливо было видно, что теперь солдат приспосабливался к походке, к манерам Шефольда. Шефольд между тем совершил нечто, по ее мнению, невероятное. Пройдя несколько шагов, он вдруг остановился, похоже, совершенно беззаботно, порывшись в кармане пиджака, вынул пачку сигарет и, поднеся зажигалку ко рту, закурил. Солдат тоже остановился, не стал ему выговаривать, а ждал, пока Шефольд двинется снова, при этом

он не смотрел, как Шефольд закуривает: наоборот, он, кажется, отвернулся. Удивительно! Об этой перемене в отношениях надо обязательно рассказать Хайнштоку, когда тот придет сюда узнать, все ли в порядке.

Усадьба Телена была угловой. Оба человека — большой, грузный, с плавными движениями, хотя и выглядевший словно поверженный властелин, но уже не казавшийся столь беззащитным, как два часа назад, и маленький, жилистый, утрашающий, вынужденно вежливый — скрылись из виду за пристройкой к сараю. Кэте сняла очки и прислонилась к чисто выбеленной стене дома, где ей предстояло прожить еще несколько часов. Двор с навозной кучей, деревенская улица, полугородской безликий дом напротив, несколько деревьев — все это превратилось в расплывчатое нагромождение белых, серых, коричневых, зеленых или ржаво-красных пятен. Не было никакой необходимости идти к Йозефу Динклагге и что-то ему объяснять: движение головы и прочее. Винтерспельта больше не существовало. Только это переплетение неясно очерченных цветовых пятен.

Он подумал, не предложить ли сигарету этому, как его, Райделю, да, именно так, Райделю. В памяти возникло выражение «выкурить трубку мира».

Ах, да что там, сказал он себе, это не игра в индейцев. Он убрал пачку. Вспомнив предостережения Хайнштока, он, как и тогда в канцелярии, прикрыл сигарету ладонью.

(Шефольд не знал, что немецким солдатам, в отличие от американских, запрещалось курить не только на посту, но и на улице.)

Теперь этот тип еще остановился и закурил сигарету! И нельзя ему запретить! Малейшая ошибка — и он повернется, пойдет в канцелярию и потребует, чтобы его сопровождал кто-нибудь другой. «А ну, поторапливайся, здесь не курят!» Нет, нельзя подливать масла в огонь.

Постоялец в отеле предложил бы ему сигарету. Но, конечно, лишь в том случае, если бы с ним обращались не так, как с этим типом.

Райдель не был заядлым курильщиком. Он выкуривал свой рацион, эту солому, которую им выдавали, но не страдал, когда курева не было.

Он представил себе, как вынул бы сигарету из протянутой ему пачки, но не стал бы прятать ее в нагрудном кармане (что было

ему разрешено, хотя курить ее тут он не имел права), а на глазах у этого типа бросил бы на дорогу.

Жаль, что у него не будет такой возможности. Этот гость ему такого шанса не даст.

Лучше всего остановиться и не смотреть в его сторону.

Искусство состояло в том, чтобы, не глядя, все же определить, что тот курит сигарету фабричного производства. Где, интересно, он их достает? Если он шпион, все объясняется просто. Но если не шпион, то, видно, располагает немалым количеством витамина «С» — связями.

Какие могут быть связи у человека, живущего в Хеммересе?

Шефольд двинулся дальше. Он хотел было идти медленно, чтобы разозлить своего провожатого, но скоро отказался от этого намерения: чем медленнее он будет идти, тем дольше от него не избавится. А ведь весь этот день Шефольд думал об одном — о той минуте, когда избавится от Райделя.

И все же он остановился, когда они проходили мимо крыльца того дома, на ступеньках которого недавно, около двенадцати, играли, нападали друг на друга, обнимались мягкими лапками два котенка — черно-серый в полоску и светло-рыжий.

Он огляделся и сказал:

— О, как жаль, их уже нет!

Ответа он не получил, но заметил, что и Райдель жалеет об исчезновении котят. Это подтверждалось хотя бы тем, что он не глядел равнодушно или нетерпеливо в другую сторону, а, как и Шефольд, искал взглядом животных.

«Два маленьких котенка — и он становится человечнее, — подумал Шефольд. — Ну что ж, это уже кое-что».

Возле усадьбы Мерфорта беседовали несколько человек из его роты. Увидев, что он идет по улице со штатским, они сразу же прекратили болтовню. Дошло, видно, до них, что тот, кто идет прямо из батальона по заданию штаба, еще не полностью выпал из игры. Ни один из этих мерзавцев не решился что-нибудь ему крикнуть. Стояли себе и глазели, как идиоты.

Солдаты в деревнях. В Маспельте. В Винтерспельте. Какими будут эти деревни, когда в них не останется ни одного солдата?

Будут ли они напоминать тогда сезанновские пейзажи или кубики из известняка и мха, как у Алберта ван Ауватера,

лишенные отпечатка времени? Пока же через них шла история, складывавшаяся из отдельных эпизодов, событий. Покинутые солдатами деревни обходились без слов. Они являли собой картины, немые картины.

Надо прикинуть, как сложится его жизнь в роте, когда все будет позади. (Когда майор отделается от Борека, покончит с этим рапортом.) Одного уже не исправишь: все теперь знают, что он такое. Никуда ему от этого не деться. «Райдель? Да он педик». Он уже не будет распространять вокруг себя страх. С этим покончено.

И ничего уже не исправишь. Помочь может только перевод в другую часть. Если майор не дурак, он его переведет. Но быть переведенным означало потерять из виду Борека.

Однако может случиться, что после ухода солдат Маспельт и Винтерспельт вовсе не станут живописными полотнами, во всяком случае, не будут напоминать картины Сезанна или Ауватера, а превратятся в пустыню или в ландшафт с руинами в стиле Альтдорфера.

Какое чудо, что он видел Маспельт и Винтерспельт еще почти невредимыми! Кое-где царапины, небольшие ранки, шрамы, но ничего, что всерьез нарушило бы их жизнь. А ведь здесь противостояли друг другу две гигантские армии. (Нет, даже не армии, а всего лишь рота Кимброу и батальон Динклагге.) Просто невозможно поверить, что вместо Маспельта и Винтерспельта далеко в тылу с лица земли исчез большой город Франкфурт. Наверно, отец преувеличивал.

Он уже не мог справиться с собой, дожидаться, когда снова окажется в своем окопе, чтобы разложить наконец все по полочкам, разобраться как следует в гнусной истории, в которую он влип.

Ясно было одно: майор хотел помочь ему, потому что он помог майору.

Рука руку моет.

Но почему было так необходимо, чтобы одна рука мыла другую?

В этом вся загвоздка, из этого и надо исходить.

Забегая вперед, сформулируем результаты напряженных раздумий Райделя: до самого конца он так и не сумел взять в толк, почему майор Динклагге считал, что должен ему помочь. Динкла-

ге думал о благополучии Шефольда и предполагал, что Райдель, оказавшись в затруднительном положении, сделает все, буквально все, чтобы безупречно выполнить порученное ему задание. Счастливый случай, так сказать,—Динклаг не мог уяснить себе, почему Шефольд этого не понимает. Он сразу сообразил, что с Райделем Шефольду не грозит никакой опасности.

Он так и не осознал, что допустил ошибку, сказав Райделю, что стремится прежде всего помочь Бореку.

Райдель мыслит четче, чем он: если майор хочет помочь не ему, а Бореку, то достаточно заставить того забрать свой рапорт. Тогда с этой историей будет покончено, и нет ни малейших причин рассчитывать на его, Райделя, услуги. Доставить Шефольда на передовую мог любой другой.

Необдуманные слова Динклаг, сказанные в порыве неприязни к Райделю, помешали Райделю понять, почему майор упрямо настаивал на своем: что он — и никто другой — наиболее подходящий человек для столь секретного дела.

Едва он подумал о Франкфурте, как на него нахлынули воспоминания, словно слетели с ясного, лишь местами подернутого легкой дымкой неба: он вспомнил последний разговор с родителями.

Телефонная cabina на почте в Прюме. Где-то на шоссе под Хабшайдом торговец скотом Хаммес вдруг остановил свой автомобиль и спросил: «Вас подвезти, господин Шефольд?» Это было, когда майор Динклаг еще не превратил главную полосу обороны в зону молчания. Тогда Шефольд еще мог почти свободно рассказывать повсюду, какое-то время это была территория, принадлежавшая немцам, по ней проходила линия фронта, которая все время менялась, была неопределенной. Только в сентябре началось это окостенение, и Хайншток сразу же стал настойчиво рекомендовать Шефольду ограничиться — если уж ему так необходимо разгуливать — дорогой, ведущей через долину Ирена.

— Да нет, спасибо, — ответил он.

— Я еду в Прюм, — сказал Хаммес. — У вас есть время? Хотите проехать?

Он тут же сел в машину. Добраться до Прюма — о такой прогулке по Германии можно было только мечтать. Во время поездки у него вдруг возникла идея позвонить из Прюма родителям. (Он мог бы позвонить им из любой деревенской гостиницы. Но это никогда не приходило ему в голову. Для этого нужен был Прюм, нужно было представить себе здание почты.)

Маленький серый городок в глубокой лесистой долине. На улицах совсем мало людей. Прюм почти вымер, но почта еще работает.

Он подошел к окошку, заказал междугородный разговор с Франкфуртом, за семь лет он не забыл номер: 27 5 11; оказалось, что номер не изменился.

— Франкфурт на проводе!

Он вошел в кабину, закрыл за собой дверь, снял трубку. Маленькая серая кабина в маленьком сером городке. В Германии.

10 июля 1944 года. Дата, которую легко запомнить, день, когда он впервые за семь лет снова говорил по телефону со своими родителями.

— Кто это?

Голос отца.

— Это я, Бруно.

— Где ты?

Никакой паузы, никакого удивления, ни малейшего признака, что от неожиданности он не может прийти в себя.

— В Прюме. В Эйфеле.

— Что ты там делаешь?

Сухие вопросы. Такой уж он человек. Его отец, член суда низшей инстанции, офицер резерва, кавалер Железного креста I степени, полученного в первую мировую войну, никогда не позволял себе проявлять эмоции.

А возможно, он был просто осторожен. Разговор могли подслушивать.

— Собственно говоря, ничего, отец.

— Почему ты не остался за границей?

Он словно допрашивал обвиняемого.

— Как ты поживаешь, отец? Как мать?

— Спасибо, мы здоровы.

— Отец, я так рад, что скоро снова буду с вами.

— Да. Мы тоже рады встрече с тобой.

Хоть бы он добавил: «Бруно»!

— Я совершенно не могу себе представить, каково это — снова жить во Франкфурте.

— Ради Франкфурта ты можешь не возвращаться. Франкфурта больше нет.

Значит, вот в чем дело? Возможно, отец не в состоянии думать ни о чем другом, кроме того, что Франкфурт разрушен? Наверно, они пережили нечто ужасное.

Он подумал, как лучше ответить. Правильно ли сказать: «Мы восстановим Франкфурт»? Нет, это было бы не то.

Он вспомнил, что его отец имел обыкновение говорить: «Оптимизм—это просто синоним глупости». Его отец высоко чтил Гёте, но любимым его писателем был Шопенгауэр. (В вопросах литературы он тоже был патриотом родных мест.)

Вдруг отец забыл про всякую осторожность.

— Если ты болтаешься там в Эйфеле только потому,—сказал он,—что не можешь дожидаться возвращения в Германию, то это очень глупо с твоей стороны, Бруно. Ты уже не найдешь Германии. Германии больше нет.

Ах, наконец: «Бруно»!

Он был избавлен от ответа, потому что на другом конце провода вдруг послышался шепот, шушуканье. Трубку взяла мать.

— Мальчик,—сказала она,—не слушай его. Твой отец просто ожесточен.

— Мама!

— Надеюсь, ты соблюдаешь осторожность, мальчик?

— Да, да, мама, не беспокойся.

— Ах, как я рада слышать твой голос, Бруно!

— Смотрите хорошенько друг за другом, мама! Я хочу увидеть вас в добром здравии, через несколько недель.

— Ты думаешь, это будет так скоро, Бруно?

— Скорее, чем все мы думаем.

— Это было бы прекрасно.

Выходя из кабины, он улыбался. Он был взрослый мужчина сорока четырех лет, такой крупный и грузный, что в телефонной будке его охватил страх перед замкнутым пространством. Но взрослым он не был—на самом деле он был ребенком.

«Ему крупно повезло, что я его не пристрелил. Да и мне тоже. Представить невозможно, как бы со мной разделался майор, если бы я прикончил этого типа.

Все же котелок варит. Вовремя сообразил: если он шпион, можешь заработать орден! Доведи его только живого до места! Дело ясное»,—подумал Хуберт Райдель.

Дерьмо. Не думал он ни о чем похожем. Это он сейчас хорохорится. В штаны наложил от страха. О рапорте «Борек против Райделя»—вот о чем он подумал. О том, что влип бы еще в одну историю, если бы не сумел повести себя прямо-таки образцово, когда случилось чрезвычайное происшествие, а дал бы волю своей страсти палить из винтовки. И тихо надеялся, что избавится от дополнительной неприятности, если по инструкции



(или не совсем по инструкции) доставит на место человека, внезапно появившегося наверху, под соснами.

Особенно если выяснится, что он шпион. Ведь вполне естественно — увидев человека, появившегося на передовой со стороны противника, подумать, что это вряд ли случайный прохожий. «Судя по всему, вы слишком много думаете, Райдель!»

Как на это поглядеть?

И все же, пожалуй, это была ошибка из ошибок, потому что такого быть не может, чтобы командир якшался со шпионами. Да это просто невероятно. Говорят, что и среди офицеров бывают предатели, но так открыто они этим наверняка не занимаются. Командир должен был совсем уж спятить, чтобы встречаться с вражеским шпионом у себя в канцелярии. И вообще, провалиться ему на этом месте, если майор Динклаг — предатель.

А может, все наоборот? Может, этот Шефольд — немецкий разведчик? («Наш разведчик», — подумал Райдель.) «Но и это невероятно. Для разведчиков штатских есть своя система инстанций и командных пунктов; там все строго секретно и никаких контактов с частями действующей армии. Не будут же наши среди бела дня посылать разведчика через собственные окопы! И не станет он появляться на командном пункте батальона. Разве только его отзывают, потому что он примелькался и не может больше оставаться на той стороне? Но ведь этот-то возвращался назад среди бела дня через собственную линию обороны! Разве такое бывает?»

Значит, верить тому, что было в письме, которое ему показал этот незнакомец?

«Д-р Бруно Шефольд. Памятники искусства».

Со смеху сдохнешь!

Все не то. Единственное, за что можно зацепиться, это несколько фраз, но и они становятся все более необъяснимы, чем дольше о них думаешь.

«У меня назначена встреча с командиром вашего батальона, майором Динклаг». «Ваш майор — кавалер Рыцарского креста». «Господин доктор Шефольд, не так ли? Рад с вами познакомиться».

Как они могли договориться о встрече (если он не был ни вражеским шпионом, ни немецким разведчиком)? Как Шефольд узнал, какие ордена у командира? Откуда они знали друг друга по фамилии, если между ними — линия фронта?

И что, собственно, было командиру обсуждать с человеком,

который появился на передовой со стороны противника?

Фельдфебеля этот Шефольд сказал: «Я живу в Хеммересе. Могу я просить вас доложить обо мне господину майору Динклагеру?»

Хеммерес отрезан, находится на ничейной земле, никто из нас никогда не ступал на эту землю. Как же это получается?

Держи ушки на макушке!

В Институте Штеделя он занимал всего лишь должность ассистента; хотя ему было тогда уже тридцать семь лет, но научных сотрудников в Институте насчитывалось всего пять, а места хранителя и главного хранителя музея уже давно были заняты.

У Хольцингера он был на хорошем счету, с тех пор как предложил убрать таблички с надписями возле картин.

— Это только отвлекает,— сказал он.— Когда люди читают название картины, имя художника, даты, они уже не видят картины, а размышляют об истории искусств.

Хольцингер с интересом посмотрел на него и спросил:

— Вы думаете, это не важно — узнать, что был такой человек по имени Адам Эльсхаймер?

Эльсхаймер был любимый художник Хольцингера.

— Если я влюблен в манеру Эльсхаймера, в то, как он изображает ночь, как решает проблему темноты, то я заинтересуюсь и тем, как зовут этого художника,— сказал Шефольд.— Тогда я, возможно, постараюсь выяснить, что он заимствовал у Караваджо и как повлиял на Клода, может быть, даже на Рембрандта. И узнаю, что этот сумеречный блеск, который умеет создавать только он, происходит оттого, что он писал на меди. Но для этого ведь существуют каталоги, книги. Прежде всего я должен увидеть, как он словно прикасается лучом света к своим крошечным фигурам. Увидеть! Ах,— добавил он,— мне милее те посетители, что приходят снова и снова и сразу же бросаются к одной или двум картинам, от которых не в силах оторваться, нежели те, что заводят со мной профессиональные разговоры о стилях и эпохах, дают советы, как лучше развешивать картины, и при этом норовят рассказать что-нибудь об «историческом жанре» и «синхронизации». Ужасно! Давайте оставим картинам только номера, господин профессор! Кто хочет узнать больше, чем говорит сама картина, может заглянуть в каталог.

Он знал, что Хольцингер охотно осуществил бы его предложение, не раздумывая. Но этим директор вызвал бы изрядное

неудовольствие совета учредителей Штеделевского института искусств.

Хольцингер придумал другую причину, чтобы уклониться от этого предложения. Смеясь, он сказал:

— Художники тщеславны. Со старыми мастерами мы это можем сделать. Но живущие! Бекман швырнет мне свою кисть в лицо, если я приду к нему в мастерскую и сообщу, что возле «Железного мостика» больше не будет висеть табличка, на которой каждый может прочесть, чья это работа.

Шефольд вспомнил разговор с Хольцингером, и ему показалось, что он снова очутился во Франкфурте.

Кстати, разговор этот происходил, по-видимому, тогда, когда Макс Бекман еще преподавал в Штеделевской художественной школе во Франкфурте, то есть до 33-го года. Позднее Хольцингер уже не мог бы говорить о табличках возле картин Бекмана. Ибо со стен были сняты не только таблички, но и сами картины. Хольцингер превратился в молчаливого, замкнутого человека, а Бекман эмигрировал, как и он, Шефольд, только тремя годами раньше.

Когда Шефольд в один из апрельских дней 1937 года пошел в запасник, чтобы отыскать Клее, он увидел на полках и картины Бекмана. Добавить к Клее еще и Бекмана он не мог. Вот теперь Бекману мстили большие форматы его картин — их нельзя было спасти!

Месяц спустя Шефольд прочитал в одной брюссельской газете, что картины Бекмана, и Нольде, и Кирхнера, и Кокошки, и Файнингера, и, кстати, Клее из немецких музеев продаются с молотка в Швейцарии. Вот, значит, о чем шла речь в той бумаге из Берлина, где Институту Штеделя предписывалось такие-то и такие-то картины — список прилагался — приготовить к определенному сроку для вывоза! А они думали, считали неизбежным, что картины будут уничтожены! Хольцингер несколько дней не появлялся в музее, заперся дома, ни с кем не желал разговаривать. Но нацисты не уничтожили картины, а продали их с аукциона! Это было ужасно, однако, вообще-то говоря, не настолько, чтобы считать, что произошла трагедия, уходить в себя, думать о конце мира. В один прекрасный день немецкие музеи снова скупают эти картины; Шефольд мысленно потирал со злорадством руки — суммы, которые придется выплачивать, приведут не одно городское управление на грань банкротства! Придется, как никогда, кланяться у меценатов!

Но потом он вдруг вскочил со стула уличного кафе на

бульваре Анспа, поспешно расплатился и ушел, потому что не мог больше сдерживаться, не мог сидеть, внезапно поняв, что означало это известие для него, Шефольда. Не было необходимости спасать Клее. Возможно, Клее уже сейчас висел бы в какой-нибудь швейцарской или американской частной коллекции, и с ним уже ничего не могло бы случиться!

Из этого, далее, вытекало, что он, Бруно Шефольд, мог оставаться во Франкфурте, ибо если не нужно было спасать Клее, то не было и причины покидать Франкфурт. Где переждать это время — во Франкфурте или в Брюсселе, — принципиальной разницы нет.

Он чувствовал себя обманутым, словно кто-то насильственно лишил его способности поступать благоразумно. И ему вовсе не обязательно было идти сейчас по бульвару Анспа. Его эмиграция основана на недоразумении.

Прошло много времени, прежде чем он избавился от этого чувства.

Если бы он остался во Франкфурте, его в самом начале войны призвали бы в вермахт: научный ассистент в художественном музее — не та профессия, без которой нельзя обойтись.

И он оказался бы солдатом, как тот, что шел сейчас рядом с ним.

Нет, таким он все равно бы не был.

Вместо того чтобы остаться во Франкфурте, он снял Клее с полки запасника, пошел наверх, в свою ассистентскую комнату под крышей музея, завернул картину в оберточную бумагу; она была в такой плоской раме и такая маленькая, что он мог сунуть ее в портфель, где она сошла бы за подшивку документов, втиснутую между пачками почтовой бумаги, брошюрами, каталогами выставок. На границе таможенники даже не потребовали открыть портфель.

Прежде чем покинуть Институт Штеделя, он даже не выглянул из окна своего кабинета. Утренний поезд в Брюссель отправлялся через полчаса. Но вид из окна он никогда не забудет. Майн — и на том берегу длинный, прерываемый только Леонхардскирхе фронт белых зданий классической архитектуры (в воспоминании они казались ему чисто белыми, хотя на самом деле, конечно, были светло-серые или выцветшие желтоватые), а за ними колокольни, рыжевато-серая громада собора (который в архитектурном отношении, надо признать, не был выдающимся творением песчаниковой готики, но какое это имело значение);

этот вид, открывавшийся на город, на реку, не уступал Флоренции, Парижу, Дрездену (нет, Дрездену он, пожалуй, все же уступал!), и к тому же это была не просто декорация, а одна из граней вполне реальной субстанции — свободного, богатого и так тесно застроенного города, что отдельные названия архитектурных сооружений воспринимались лишь как примеры, вкрапления: Старая ратуша, Либфрауенкирхе, Катариненкирхе, Кармелитерхоф, Векмаркт, Бухгассе, Гроссер-хиршграбен...

«Франкфурта больше нет». Отец, безусловно, преувеличивает. Он ожесточен, потому что, наверно, кое-что действительно разрушено. Но субстанция, материя Франкфурта, конечно же, не могла исчезнуть! Фронт домов вдоль Майна, Старая ратуша, церкви — они переживут войну. Дом, где родился Гёте, — груда развалин? Нет, представить себе это невозможно!

Чепуха — еще как возможно! Вполне можно представить себе, что он вернется не во Франкфурт, а на сцену, где кулисами окажутся рухнувшие стены, глядящие в небо оголенные балки, пустые глазницы окон, все изменившееся до неузнаваемости, где бродят оставшиеся без крова уцелевшие жители, безропотные, не способные понять, что перед ними уже другой город — город, не похожий на их Франкфурт.

Он возвратит им Клее. (Хоть эту картину им не придется покупать.) Может быть, от Института Штеделя сохранились подвальные помещения. Он войдет в запасник, расположенный в подвалах, и положит картину Клее на ту же полку, откуда он ее взял. Поскольку Шефольд был влюблен в свое дело, он вознесся в мыслях так высоко, что возомнил, будто Клее может компенсировать уцелевшим жителям Франкфурта дом, где родился Гёте (если он превратился в кучу щебня). Маленькая акварель — 30×28 см. Семечко. Полифонически очерченное белое поле. Из него мог вырасти новый город.

Какая жалость, что он сегодня утром упустил возможность порыться в его бумажнике. Упустил, растяпа, момент, когда мог все у него перерыть. Может, как раз там и спрятано то, что ему требуется, тогда уж он бы их раскусил. Да, тут явно дело нечисто!

В какой-то момент — предположим, когда они приближались к концу деревенской улицы, — Райдель подумал: а как бы он повел себя, если бы ему удалось раскусить Шефольда (и майора). (Хотя он пока и ведать не ведал, с какой стороны к этому подступиться. Он только гадал, принюхивался, было у него какое-то недоброе

чувство, «подозрение как таковое», если нечто подобное вообще существует.)

И вдруг он пришел к удивившему его самого выводу, что ему на все это наплевать. Что бы там ни оказалось, он не побежит в канцелярию и не станет бить тревогу. Ему надо блюсти исключительно собственный интерес, а этот его интерес подсказывал ему, что должна существовать прямая связь между готовностью майора Динклагге не давать хода рапорту «Борек против Райделя» и тем фактом, что майор пошел с этим господином доктором Шефольдом в свою комнату и закрыл за собой дверь. И разгадать эту таинственную зависимость двух независимых друг от друга событий было бы невозможно, если бы он вздумал трезвонить о том, что ему удалось бы разузнать и что не имело никакого отношения к его конфликту с Бореком.

Проникнуть в эту тайну было бы здорово. Но только в том случае, если бы он мог использовать это в своих целях. Не устраивая большого шума. Втихую, украдкой, осторожно.

Даже в том случае, если бы под угрозой оказалась безопасность армии; если бы выяснилось, что клиент не только подозрителен, но и на самом деле шпион, тайный агент, с которым сотрудничает их командир, сотрудничает с предательскими намерениями. Но какими? Нет, исключено; скорее можно предположить, что у этого типа было задание шпионить за командиром, подвести его под монастырь. Но даже в таком случае он, Райдель, не побежал бы, как последний дурак, и не стал бы устраивать шум. Он не идиот. Во-первых, надо еще прикинуть, на руку ли ему это—устраивать шум. Скорее всего, ему от этого никакой пользы. Он может раскрыть любой заговор—службист, вроде штабс-фельдфебеля Каммерера, не бросит из-за этого в мусорную корзину рапорт Борека. Каммерер посмотрел бы на него ледяными глазами и спросил бы: «А какое отношение имеет одно к другому?» Он получил бы официальное поощрение, а потом против него начали бы процесс. Они же такие справедливые.

Нет, что бы ни обнаружилось—если вообще что-то обнаружится,—все должно оставаться между ним и командиром. Даже и представить себе нельзя, какие шансы открылись бы для него, Райделя, если бы оказалось, что у командира рыльце в пушку. Нет, не может быть, чтобы ему так подвезло!

На безопасность армии ему плевать. С безопасностью все равно покончено. Ей угрожают совсем другие, притом давно.

Потому-то теперь и конец не только безопасности, но и самой армии. Достаточно поглядеть на эту часть, куда его забросило. Майор может хоть из кожи вон лезть, чтоб заставить эту ораву подтянуться, все его старания — коту под хвост. Если начнется заварушка, пропадет она, эта 416-я, как пить дать. Максимум, что с ней еще можно сделать, — это сгубить в боях! И сделают это те, кто поставил на карту безопасность армии, притом уже давно...

Вот почему теперь главное — обеспечить собственную безопасность. Старые обер-ефрейторы, вроде него, знают, как смыться с передовых рубежей, тем более с неумело выбранных позиций, прежде чем начнется крупная заваруха. Старые обер-ефрейторы не дают себя бессмысленно загубить. Они вовремя рвут когти.

Тщеславного желания завоевать политические лавры, вскрыв что-то очень важное, у него не было.

Никогда не было. Он вспомнил солдата, чью пьяную болтовню услышал как-то в бункере «Западного вала» в начале войны.

Размахивая бутылкой из-под водки, солдат кричал: «Хайль Черчилль! На этой навязанной нам англичанами войне!»

Райдель не донес на него.

На политику он плевал. Образцовым солдатом он стал только для того, чтобы никто к нему не смел придирааться.

Его не касалось, что Борец — враг рейха. Ему до этого не было никакого дела. И если он все же донес на Борека, то лишь из соображений самообороны. Потому что этот идиот просто-таки заставил его это сделать. «Надо было бороться, оказывать сопротивление, а ты вместо этого приспособился. Наверно, ты еще и гордишься тем, что все эти годы приспособливался, только и делал, что приспособливался, подлый трус!»

Внешне — да. Внешне он приспособливался. Но внутренне — нет. Никогда.

Он просто маскировался. Аккуратнейшим образом. Люди вроде него должны маскироваться. Да, он был весьма горд своей маскировкой. Может, для него это — форма сопротивления. Борец ничего не понял.

Борец думал, что такой человек, как он, Райдель, должен быть еще и врагом рейха, но тут он основательно ошибался: во времена вроде нынешних не только достаточно, но и единственно правильно хорошо замаскироваться и спрятаться, чтобы остаться тем, что ты есть.

(Огромные, окрашенные в серый, зеленый и бурый цвет камуфляжные сетки, которые они натягивали над позициями на Верхнем Рейне!)

Его маскировка оказалась недостаточно хороша. Или его поведение в условиях маскировки. Лишь однажды, единственный раз он не остался в укрытии, показался противнику. И вот, пожалуйста. Сразу ярлык: розовый кружок.

Из-за этой проклятой метки он и не сумел добиться в этой лавочке, которая теперь полностью обанкротилась, даже звания унтер-офицера.

Идя рядом с Шефольдом по длинной улице Винтерспельта, он, возможно, задумался на мгновение над тем, не шагает ли он сейчас навстречу такому времени, когда сможет выйти из укрытия. Времени, когда педик позволит себе быть педиком. Пусть он по-прежнему вызывает ухмылки, но пусть его терпят, пусть ему дадут существовать. У всякой птички свои замашки.

Плевал он с высокого дерева на их терпимость. Их скрытая ухмылка для него невыносимее, чем угроза штрафной роты.

В одном Шефольд, во всяком случае, ошибся, предположив, что обер-ефрейтор Райдель — не просто человек, вызывающий ужас, но еще и настоящий нацистский солдат.

Этот подозрительный субъект ничего не сказал майору о пинке. Чудно. А ведь уже было протестующе поднял руку, когда майор распорядился, чтобы он, Райдель, проводил его туда, откуда он пришел! Почему же он снова опустил ее, потушил сигарету — и все?

Наверно, ему было неприятно говорить об этом. Райдель знал клиентов такого сорта. Они лучше удавятся, чем заговорят о том, что им неприятно.

Ну, за это можно обойтись с ним прилично.

Этот Райдель вел себя теперь корректно. Был ли он по-прежнему враждебно настроен, как утром, как с самого начала, — разобраться в этом Шефольд не мог.

Может быть, он мрачен просто оттого, что вынужден вести себя хорошо.

Интересно, что он думает про меня, кто я такой?



То, что Шефольд всего только раз задал себе этот вопрос, пожалуй, самый важный в его положении, да к тому же мысленно сразу его отбросил как нечто второстепенное, незначительное, характерно для этого человека, великодушие которого граничило с беспечностью. Ему бы надо всегда иметь возле себя кого-нибудь вроде Хайнштока. Хотя обычно он даже предостережения Хайнштока оставлял без внимания. Если погода была хорошая, а дорога пустынная, Шефольд считал, что и война исчезла — тут уж Хайншток мог себе хоть мозоли на языке натереть. (Чего, впрочем, этот человек из каменоломни все равно никогда не делал, ограничиваясь короткими репликами, неодобрительным молчанием, пристальным взглядом прищуренных глаз.)

Он со своей стороны очень хотел бы знать, что такое Райдель. Майор дал ему в дорогу неразрешимую загадку. У Райделя рыльце в пушку, но майор не снизошел до того, чтобы объяснить, какого рода проступок числился за Райделем. Не военное, не политическое, не уголовное преступление — в чем же тут, черт возьми, дело?

Угрюмый солдат. Немой офицер. Шефольд сожалел, что оказался среди людей, которые, судя по всему, потеряли дар речи.

Правда, майор вел с ним светскую беседу, но о том, что по-настоящему важно, он молчал. Загадка «Райдель» была не единственной, которую он ему задал.

Ни слова о сегодняшней ночи. Ведь не только он, но и капитан Кимброу предполагал, что майор что-то планирует на ближайшую ночь. В конце концов, именно это и побудило их пойти на требование Динклагге. Тот передал нечто вроде приказа — перейти через линию фронта, да еще приложил план местности. Что-то должно же было за этим скрываться!

Ну, в Маспельте выяснится, что именно, — когда капитан Кимброу вскрыет письмо. Шефольд все время чувствовал это письмо у себя в боковом кармане, хотя оно оказалось таким тонким, что совершенно не было заметно.

Вряд ли в нем написано много. Что еще могло быть в этом письме, кроме напоминания о необходимости торопиться, кроме советов, слов, выражающих нетерпение, возможно, упреков?

«Впрочем, и это вряд ли возможно, — подумал Шефольд. — Когда я сказал Динклагге, что американская армия отклоняет его предложение, он ответил: «Это не важно. Для меня так даже

лучше». И потом: «Было бы правильной, если бы я не проронил ни слова о своем замысле».

Динклагге предупредил его, что нельзя больше оставаться в Хеммересе.

Все это явные доказательства того, что он отказался от своего плана.

«Странно,—подумал Шефольд,—он потребовал моего прихода уже после того, как отказался от операции. И никакого объяснения своих действий—эта оскорбительная манера из всего делать тайну! К концу беседы—несколько брошенных мимоходом реплик, весьма существенных, безусловно, но ничего, что объясняло бы необходимость моего появления. Зачем мне надо было переходить линию фронта, если его вполне устраивает, чтобы вся эта затея лопнула?»

Проходя мимо последних домов Винтерспельта, Шефольд посмотрел на часы. Четверть третьего. Если округлить, то майор Динклагге целых два часа занимался с ним светской болтовней.

Светская, отвлекающая от главного часть их беседы с Динклагге включала в себя размышления вслух о том, что они будут делать после войны.

— Можете себе представить, я собираюсь остаток жизни посвятить обжигу кирпича,—заметил майор. (Он рассказал о Везуве. Обычный обмен сведениями о происхождении. Эмс. Франкфурт.)

Но ведь этот человек был примерно лет на десять моложе его, Шефольда. «Остаток жизни». Это звучало так, будто он уже заканчивал свой жизненный путь. Или ему казалось невероятным, что после войны начнется что-то новое? Или вместе с Рыцарским крестом он как бы снимал с себя и собственную жизнь? Шефольд попытался представить, как выглядел бы Динклагге в штатском. Но не смог. Что носят люди, занимающиеся изготовлением кирпича? (Те, которые обжигают кирпич не сами, а нанимают для этого людей?)

— Обжигать кирпич, наверно, прекрасно,—сказал он.—Хотел бы я это уметь.

— Приезжайте ко мне, когда война кончится,—ответил Динклагге.—Я вам покажу, как это делается.

Легкомысленная любезность: едва прозвучали эти слова, как оба смутились. Они поняли вдруг, что, если им доведется встретиться после войны, они не смогут избежать темы, которой майор так упорно избегал сейчас. Обжиг кирпича интересовал бы их уже во вторую очередь.

Шефольд отогнал эту неприятную мысль.

— Если работа в музее позволит,—сказал он.

— В музеях я, наверно, понимаю еще меньше, чем вы—в производстве кирпича.—Майор воспользовался возможностью отойти от темы послевоенного бытия.—Как ни странно, я никогда не интересовался картинами. Никогда не хожу в музей.

Жаль. Очень жаль. Впрочем, в тоне майора, когда он сообщил, что не ходит в музей, не было никакого самодовольства.

Недостаток немецкого бюргерства. Бюргеры интересуются лишь теми картинами, которые как-то связаны с событиями их жизни и, следовательно, имеют воспитательное значение. Картины должны быть «более понятными, близкими по мировоззрению», только тогда бюргер готов ими «заниматься».

Интересно, что висит дома у Динклаге? В столовой—пейзаж или натюрморт, что-нибудь более или менее сносное из нидерландской массовой продукции; в так называемом «кабинете» хозяина дома—один или два семейных портрета в стиле «бидермайер», если дела шли хорошо и если вообще семья Динклаге была родовитая. Картины были для майора всего лишь обычными вещами, которые, словно по какому-то давнему, никем не контролируемому соглашению, висели на стенах.

Он отказался от ответного маневра, не стал говорить: «Загляните как-нибудь ко мне в музей. Я вам все там покажу».

Его музей. Он надеялся, что, когда вернется домой, ему дадут музей. Нет, он не просто надеялся—он жил этой мыслью. Он был полон решимости завладеть каким-нибудь музеем. Без всякого стеснения воспользоваться тем, что он—знаток музейного дела, вернувшийся из эмиграции и имеющий специальное образование. «Диссертант-эмигрант»,—мрачно подумал он. Они не смогут ему отказать. Найдется музей, который они ему дадут. Он это заслужил.

Конечно, не Институт Штеделя. Подобные музеи его не прельщали: слишком велики. К тому же он окажется там преемником. Иногда он словно пробовал на вкус цепочку имен: Сварценский, Хольцингер, Шефольд. Ведь это то, к чему стремятся все люди его профессии. Ах нет, тут же говорил он себе, пожалуй, все же не надо.

Он мечтал о небольшом провинциальном музее с не слишком маленьким фондом, который можно было бы расширять. Он отыщет несколько хороших картин, которые висят у всех этих провинциальных Динклаге, и купит их. Он найдет богатых людей, меценатов, которые будут жертвовать картины и давать

деньги на их приобретение. Он мог бы в этом музее создать и некоторые специальные отделы, о которых в Институте Штеделя или музее Вальрафа — Рихарца никто и не помышлял и которые позднее окажутся очень ценными. Но главное — найти настоящих современных художников. Купить у них картины, прежде чем торговцы начнут взвинчивать цены. Провинциальный музей мог бы опережать торговцев картинами, открывать новые имена.

Он мечтал о том, что через десять, двадцать лет будут говорить: «Вы видели, какую экспозицию устроил этот Шефольд в таком-то городе? Один из лучших *маленьких* музеев Германии!»

Шефольд ненавидел теории, направленные против музеев. Людям нужны картины, а где еще они могут их увидеть, кроме как в музеях? Он верил в то, что картины нужны всем людям. (Может быть, не всем. Ведь были и такие, как Динклаге.)

А зачем нужны картины? Не для того, чтобы установить, что такой-то художник в таком-то веке выразил «жизнеощущение зрелой готики или барокко». И дело даже не в том, что художники верили (или не верили) в бога, изображали блеск королей или страдания угнетенных, деревья, дома, человеческое тело (главным образом женское), полное жизни или одряхлевшее, или если они выбирали беспредметные формы, то по манере, в какой они это делали, можно было бы заключить о Платоновой или Аристотелевой основе их образа мысли, а в том,

что рядом с определенным красным цветом у них возникал определенный зеленый. Что в верхнем правом углу голубизна переходила в оттенок серого — прием, которому тремя сантиметрами левее центра картины соответствовало превращение другого голубого оттенка в почти черную сепию. Что на рисунке они обрывали линию именно там, где глаз требовал ее продолжения. Но они свободно давали ей затеряться на белом поле.

Вот в чем дело.

Именно поэтому, и ни по какой другой причине — в этом Шефольд был убежден, — людям необходимы были картины, и притом так же настоятельно, как хлеб и вино. Или, если угодно — он предпочитал это сравнение, — как сигареты и шнапс.

Именно поэтому даже такие, как Динклаге, нуждались в картинах. Просто они этого еще не осознали.

Примерно в то время, когда Шефольд и Райдель миновали последние дома Винтерспельта, Тереза вошла в кухню, где Кэте мыла посуду, и сказала:

— Представь себе, они уходят.

Кэте не сразу поняла, о чем речь, и спросила как-то бездумно, а может быть, просто размышляла в эту минуту о другом:

— Что такое? Кто уходит?

— Наши квартиранты,—сказала Тереза.—Весь батальон. Сегодня ночью придут другие. Один солдат из тех, что квартируют у нас, только что мне сказал. Они уже укладываются. «Завтра утром последние из наших уйдут»,—сказал он.

Кэте поставила на стол тарелку, которую держала в руках.

— Этого не может быть,—сказала она.

— И все же это именно так,—сказала Тереза.—Солдат вовсе не хотел меня дурачить, я видела это по его глазам.

Они молча посмотрели друг на друга.

— Неужели твой майор тебе ничего не сказал?—спросила Тереза.

Произнося «твой майор», что иногда бывало, Тереза отнюдь не стремилась придать словам оттенок насмешки или неодобрения. Как и Кэте, когда говорила: «твой Борис»—добродушно, невольно понижая голос и, пожалуй, с некоторой озабоченностью.

— Нет,—ответила Кэте.—Он мне ничего не сказал.

— Странно,—заметила Тереза.—А я уже хотела тебя упрекнуть. Ну и скрытная же ты, хотела я сказать: давно знает, что они уходят, и словом не обмолвилась. Ты действительно ничего не знала?

— Действительно,—сказала Кэте,—я действительно ничего не знала.

Миновав большой амбар на околице деревни, Шефольд снова попытался определить, где находится каменоломня Хайнштока. И снова безрезультатно. Он не видел ничего, кроме мягких контуров холмов, простора полей, лесов, пустынных выгонов, едва заметных подъемов и спусков, словно затянутых голубой дымкой.

И все же где-то там, правее и севернее, должен находиться этот человек с совой, философской птицей.

Он не удержал его от сегодняшнего бессмысленного похода. Правда, он не советовал идти. Но и не удерживал. Никто не запрещал ему идти. Решать они предоставили ему самому.

Ему надо было вести себя как сова. Закрывать глаза и подавить в себе мысль, что за ним наблюдают. Сказать себе, что он не пойман, не стиснут их взглядами, что за ним не следят, что он один и свободен в своем дупле—Хеммересе.

Мысль о Хайнштоке успокоила его. Воплощение твердости с

фарфорово-голубыми глазами. Все знающий, все учитывающий человек из каменоломни. Тут уж ничто не могло сорваться. Да и не сорвалось.

Сорвался только план Динклагге.

Американцам следовало ковать железо, пока горячо.

Непостижимо, что они этого не сделали.

Собственно говоря, отреагировал — и к тому же сразу — один только Джон Кимброу. Хотя и он не проявил восторга, не высказал ничего, кроме сомнений. Юрист, как отец. Главное — не показывать эмоций!

Человек, который не желал понять, что американцы обязаны были включиться в эту войну. Который считал, что немцы должны сами решать свои проблемы.

«Сами избавляйтесь от своего Гитлера!»

И как раз он-то и загорелся, узнав о плане Динклагге. А вовсе не те, кто понимал, что немцы не могут сами избавиться от своего Гитлера.

И это тоже было непостижимо.

В ночном небе над планом Динклагге с самого начала стояла несчастливая звезда.

Красный галстук был бы идеальной мишенью. Взять красный галстук под прицел, потом перевести чуть ниже и нажать спусковой крючок.

И как только можно разгуливать по местности, вырядившись таким образом! У него явно не все дома!

Тем не менее Райдель решил, что после войны купит себе такой же галстук. Огненно-красный! Потрясающая приманка! Кое-чьи взгляды сразу устремятся на него. Это будет его знак.

В этот момент он не осознал, что желание купить красный галстук — такой, как у Шефольда, — было его первой и единственной мыслью о жизни после войны.

Теперь оставалась только белая дорога меж холмов. Справа — откосы, ведущие к делянкам винтерспельтских крестьян, за ними окопы и пулеметные гнезда второй линии обороны, которую велел создать Динклагге и о существовании которой Шефольд не подозревал; слева над Уром поднимались пологие склоны, по которым они утром вышли на дорогу. Сейчас они снова окажутся

на этих пустынных уступах. Слышны только их шаги. Освещение изменилось, воздух уже не сухой, прозрачный, как утром, и вот-вот начнет смеркаться—вдали уже намечаются сумерки.

Она прочитала письмо Динклагге.

«Вот как,—подумала она,—вот как, значит, обстоит дело».

Тереза окликнула ее:

— Слышишь, Кэте, тут посыльный с письмом для тебя.

Кэте уже кончила мыть посуду, вытерла руки. Она вошла в большую комнату, и денщик майора передал ей письмо. Он тут же повернулся и исчез.

Когда она вскрыла письмо и стала читать, Тереза вышла тоже.

«Ты не должна была оставлять меня одного...»

Об этом она поразмыслит позже.

Упреки! Она понимала, что сейчас не время отвечать на упреки.

«Реальность существует сама по себе. Ее не надо организовывать».

Да, но переход Шефольда через линию фронта надо было организовывать! Опасность, навстречу которой двигался Шефольд, была вполне реальной. Она существовала не «сама по себе».

Он потребовал прихода Шефольда, хотя знал, что уходит вместе со своим батальоном. А почему? Чтобы доказать американцам, насколько серьезны его намерения. Серьезность и честь Йозеф Динклагге ставил столь высоко, что ради них потребовал доказательств от американцев. За счет Шефольда.

Ее охватил безудержный гнев.

«Конечно, он точно знал, что я помешала бы Шефольду пойти к нему,—подумала она.—Если бы он сказал мне, что батальон уходит, я позаботилась бы о том, чтобы Шефольд остался в Хеммересе. Или прогуливался бы где угодно, только не ходил через линию фронта к Йозефу Динклагге. Еще вчера вечером было время сказать мне это. Я подняла бы на ноги Венцеля, заставила бы его пойти ночью в Хеммерес, отменить эту затею с Шефольдом».

Она попыталась обуздать свой гнев. «Может быть, я просто обижена,—подумала она,—потому что он утаил от меня приказ о

выступлении своего батальона?» И снова и снова приходила к тому же выводу: он утаивал это от нее только потому, что не желал, чтобы что-то помешало его встрече с Шефольдом. Другой причины для его молчания не было. Если он хотел условиться о свидании в Везуве, ему следовало поговорить с ней сразу же после того, как он узнал, что они уходят. Он должен был сказать ей все, а не писать, и притом сказать как можно быстрее.

«Нет,—подумала она с испугом,—теперь я лгу сама себе. Ни о чем я бы с ним не стала улаиваться».

Так что, возможно, было и правильно, что он *написал* ей про Везуве.

Он оставлял ей возможность выбора. Это было порядочно. Вообще, если не считать непростительного поведения по отношению к Шефольду, письмо было написано вполне порядочным человеком. Хотя что-то в нем ей не понравилось, она только не могла понять, что именно.

(Понял это Шефольд. В своем ненаписанном письме Хайншток он, характеризуя Динклагге, написал: «чужой». Ему было дано найти это слово, потому что он сам был чужой. Правда, чужой всего лишь для этой жизни—человек не от мира сего.)

Ей только показалось, что письмо несколько напыщенно. Собственно, сами слова не были высокопарными, но к ней они не подходили. Ей вспомнилось берлинское выражение. Когда кто-то выражался слишком выпрenne, ему говорили: «А у вас нет на номер меньше?»

Этого она, конечно, не скажет, когда пойдет к нему. Ей необходимо сдерживаться, нельзя быть дерзкой во время последней встречи.

И вдруг она поняла, что ей не нужно идти к нему. Он дал ей возможность выбора, и идти к нему, только чтобы сказать, что она уже сделала выбор, было излишне. Если она не придет, он поймет, что это значит.

Последней встречи не будет. Она никогда больше не увидит Йозефа Динклагге.

Но от этой мысли ей стало так тяжело, что она сняла очки и беззвучно заплакала. Она думала о Динклагге. Она думала о себе.

«Твой майор»—в этом что-то было.

«Дело в том, что между нами что-то произошло...» Между ней



и Йозефом Динклаге произошло то, что никогда не происходило между ней и Лоренцем Гидингом, Людвигом Теленом, Венцелем Хайнштоком. И никакое «Боже мой, Кэте!» не могло тут ничего изменить.

Она неясно различала дом напротив, словно прикрытый вуалью — из-за близорукости и слез. Если бы она еще раз пошла туда, она, возможно, не выдержала бы и сдалась.

Последние дни ей приходилось держать себя в узде. Он этого не понимал.

Она перестала плакать, взяла платок, вытерла глаза, надела очки. Она еще долго будет тосковать по Йозефу Динклаге.

Ей будет очень трудно отказаться от него.

«Я думаю только о себе, — мелькнуло у нее в голове. — Но если я буду думать о нем, я сдамся. Тогда я пойду в дом напротив и стану говорить с ним о Везуве».

Его желание прикоснуться к ней вдруг обожгло ее.

Слишком поздно. Первое предложение он сделал слишком рано, второе — слишком поздно.

Эта попытка соблазнить ее жизнью в Везуве так трогательна. Ведь замуж она вышла бы не за поэзию Эмса. А за человека, с которым, наверно, могло бы быть хорошо.

Она разорвала письмо. Слишком опасно хранить его, даже те немногие часы, что она еще пробудет в Винтерспельте. Она пошла на кухню, сняла конфорку с плиты и бросила туда клочки бумаги. В плите еще был жар.

Кэте поискала Терезу, нашла ее за домом, где та нарезала в миску бобы.

— Они действительно уходят, — сказала Кэте. — У меня теперь есть официальное подтверждение.

— Ты плакала, — сказала Тереза.

— Мне сделали предложение.

— Ты его приняла? — спросила Тереза.

Кэте с улыбкой посмотрела на нее и покачала головой.

— Почему нет? — спросила Тереза. — Он такой видный мужчина. И ведь он тебе нравится!

— Скажите, господин Райдель, что, собственно, с вами произошло? Я слышал, что вам сказал господин майор. Расскажите, в чем вас упрекают! Меня это интересует. Поверьте, интересует!

Он остановился прямо посреди дороги, вынудив тем самым остановиться и Райделя. Если еще была возможность объясниться с Райделем, то только здесь, на дороге, пока они не добрались до склона.

«Расскажите, в чем вас упрекают!» Он хотел показать, что Динклаге ему ничего не рассказал. Формулу «в чем вас упрекают» он продумал очень точно. Она оставляла открытым вопрос о том, было ли вообще за что его упрекать. «Что вы натворили?» прозвучало бы менее казенно, но выражало бы, что он не сомневается в том, что Райдель что-то натворил.

Результат сложных раздумий.

Это не было простым любопытством. Его мог встретить и отвести обратно любой другой человек. И весь этот поход мог оказаться чисто техническим делом, конечно, не лишенным опасности, но последнее хотя и играло определенную роль, все же зависело от случая. Встретившись же с Райделем, он словно оказался вовлеченным в чужую судьбу, судьбу этого неприятного человека—он это понял,—и следовало хотя бы попытаться выяснить, какие недобрые силы тут переплелись, иначе он не может. Он не решался поверить, что все кончится хорошо. Но по крайней мере он хоть приоткроет завесу, постарается понять смысл происходящего. Чтобы уяснить, во что он дал себя втянуть, когда принял поручение Динклаге (и Хайнштока, и Кимброу, и неизвестной дамы),—воспоминание об этом не покинет его всю жизнь!—важно осветить темный угол, о который он споткнулся. Который ни он сам, ни другие не сумели предусмотреть.

Переплетение теней. Ему достаточно было вспомнить о решении, которое он принял сегодня утром насчет той официантки в Сен-Вите, чтобы осознать, какое значение для всей его последующей жизни приобретал этот поход через линию.

Господин. Господин Райдель. Уже много лет так к нему никто не обращался.

— Заткните пасть!—рявкнул Райдель.—Не ваше собачье дело!

Утром «глотка», теперь «пасть».

«Неужели этот человек так и остался серо-зеленой рептилией? Или теперь он всего лишь раздраженный маленький солдат? Я коснулся чего-то, что его глубочайшим образом (и в высшей степени) раздражает,—подумал Шефольд.—Что же это такое, что не является моим «собачьим делом»?»

Он заставил себя быть кротким.

— Но, может быть, я сумел бы вам помочь,—сказал он.

Сочувствующие начальники. Это он особенно любит.

«Педик я».

Он вдруг понял, что этому человеку можно запросто сказать такие слова. Для него не будет тут ничего особенного.

Выходит, майор ему и вправду ничего не рассказал.

Очко в пользу майора. Значит, этот хлыщ может больше не приставать.

Господин доктор Шефольд. Интересуется. Этим.

— Не нужна мне помощь!—сказал Райдель.—Тем более от шпиона.

«Словами „тем более“ он признал, что нуждается в помощи,—подумал Шефольд.—Это ясно и так, если вспомнить его разговор с майором Динклагем».

Все остальное сигнализировало об опасности.

— Я не шпион,—сказал Шефольд.—Как это могло прийти вам в голову? Я запрещаю вам говорить такое.

«У меня в бумажнике бельгийские франки, доллары,—подумал он.—Письмо Динклагем. Если он вздумает обыскать меня, я пропал. И Динклагем тоже. Я не смогу ему помешать. Я мог бы повернуть назад, пригрозить, что пожалуюсь Динклагем, но, если он, будучи нацистским солдатом, все поставит на карту и меня обыщет, я не смогу воспротивиться».

— Бьюсь об заклад, что вы шпион,—сказал Райдель.—Но мне на это плевать.

Это было самое поразительное за весь этот поразительный день. Всего ожидал Шефольд, только не такого заявления. Как могло быть безразлично этому чудовищу, является человек,

которого он сопровождает, шпионом или нет? А если ему это безразлично, значит, он не нацистский солдат. Или был раньше, но теперь деморализовался?

Шефольд мог бы почувствовать облегчение, но не почувствовал.

«Я педик. Он шпик. Два сапога—пара. Мне не в чем его упрекнуть.

Кроме того, если я буду помалкивать, это мне кое-что даст».

Нет, конечно, нельзя допускать, чтобы этот парень остался при своих подозрениях (или своей уверенности). Хотя бы в интересах Динклагге. Райделю может прийти в голову шантажировать Динклагге. Он способен пригрозить майору расследованием. Даже когда его, Шефольда, и след простынет.

«Вообще-то, Динклагге это заслужил»,—подумал Шефольд. Навязать ему этого ужасного человека на обратный путь—не самая гениальная идея. Какой-то заскок у господина майора. Не обер-ефрейтор, а его командир иногда излишне много думал.

Теперь надо просто солгать.

— Я передал вашему командиру ценные сведения,—сказал он.—Этого вы не можете себе представить?

Он не подозревал, что Райдель, в лексиконе которого выражение «разбираться в людях» отсутствовало, тем не менее всегда точно знал, когда ему врут, а когда говорят правду. «У меня назначена встреча с командиром вашего батальона, майором Динклагге». Это он принял без всяких сегодня утром. Но тому, что Шефольд передал его командиру ценные сведения, он абсолютно не поверил.

Значит, Шефольд не может быть немецким разведчиком. Немецкий разведчик, который имеет дело с начальником разведки, бывает на командных пунктах, получает точные инструкции, никогда не станет трепаться про «ценные сведения» или спрашивать, может ли он себе что-то представить. Такой бы ему сказал, притом резким тоном:

«Не вмешивайтесь в секретные дела командования», или: «Я подам на вас рапорт!»

А американский шпион? Американский шпион сказал бы то же самое. Потому что шпион получал точнейшие инструкции от

американской разведки, его обучали как следует. Он бы знал выражения врага. Выражения и как вести себя с противником, если дело примет щекотливый оборот. Уж они его как следует бы натаскали. Они бы выбили из него привычку спрашивать врага, может ли он себе что-то представить.

Значит, он не немецкий разведчик и не американский шпион. Тогда Райдель вспомнил про свое решение: плевать ему, кто такой Шефольд.

— Я себе вот что могу представить,— сказал он.— Чешите-ка вы отсюда, да побыстрее. Не то я вам помогу.

Это было уж слишком. Пожалуй, в такое бешенство Шефольда привели слова «да побыстрее». Но он снова постарался умерить свою ярость.

— Извинитесь сейчас же,— сказал он,—или я больше шага не сделаю вместе с вами!

Тон постояльцев отеля. И тон, и слова те же. «Где вы обучались таким манерам?», «Что вы себе позволяете?», «Извольте извиниться!».

Так они разговаривают. Он забыл об этом. Нет, он никогда об этом не забывал. И вот снова он слышит это, семь лет спустя.

То, что он твердо решил никогда и ни от кого больше не выслушивать.

По лицу этого типа он увидел, что тот не шутит. Похоже, что он действительно может повернуть назад.

— Ладно,— сказал Райдель.

— Что «ладно»?

— Извините.

Встал на задние лапки. Через семь лет. Встал на задние лапки, услышав тон, который, убегая из отеля в армию, дал себе слово никогда больше не слышать.

Эта шпионская свинья добилась своего.

Шефольд вздохнул. Он был не рад своей победе. Он зашагал дальше. Внезапно охватившую его усталость он объяснил тем, что с утра, кроме завтрака, почти ничего не ел. Обед майора

Динклагге. Лучше забыть о нем.

В Хеммересе он немного перекусит, прежде чем отправится с письмом к Кимброу.

Вместе они дошли до конца дороги, двинулись по склону горы.

Каким образом собирался Шефольд помочь Райделю? «Но, может быть, я сумел бы вам помочь». Что это было? Просто фраза, предусмотрительно снабженная оговоркой «может быть» и втиснутая в форму сослагательного наклонения, никого ни к чему не обязывающую, или за этим скрывалось нечто вполне конкретное, предложение практической помощи? Возможно, Шефольд очень растерялся бы, если бы Райдель согласился? Что он мог реально сделать для Райделя, если бы тот, вопреки всем ожиданиям, воспользовался его предложением, сделанным хотя и с легкостью, однако же не легкомысленно, а даже с некоторой торжественностью в голосе, и вдобавок выяснилось бы, что его преступление — не политическое, не военное, не уголовное, а какое-то таинственное — такое, что помощь была бы оправданна? Что за него при всех обстоятельствах надо было вступить? («Может быть, чудовище превратится в человеческое существо, если раскроет свою тайну, — подумал Шефольд. — В таком случае помочь ему — долг, от которого нельзя уклониться. Однако представить себе это трудно».)

Если мы хотим понять, что имел в виду Шефольд, предлагая Райделю помощь, надо вернуться к одному замечанию, которое Шефольд сделал, обращаясь к Хайнштоку. В своем — лишь воображаемом нами! — письме к Хайнштоку он сообщил, что был уже близок к тому, чтобы вывести Райделя из себя, но в последнюю минуту решил этого не делать. (Он размышляет, не было ли ошибкой то, что он этого не сделал. «Возможно, я все же должен был вывести его из себя, чтобы проникнуть в его сущность». Можно не описывать, как поползли бы вниз уголки губ Хайнштока, если бы он прочел такое типично буржуазное выражение, как «сущность», да вдобавок еще применительно к Райделю.)

Что он имел в виду? Как он собирался «вывести из себя» Райделя?

Скажем коротко: на обратном пути (предположим: когда он шел по дороге, прежде чем остановиться и спросить, в какой истории был замешан Райдель) Шефольд носился с мыслью уговорить Райделя дезертировать.

«Я хочу предложить вам: идемте со мной в Хеммерес! Тогда вы избавитесь от того, что вас угнетает».

Сразу заманивать его к американцам нельзя. Это было бы слишком легкомысленно. Образ Хеммереса еще содержал в себе что-то незавершенное, неясное, расплывчатое. Скрыться на ничейной земле—не то же самое, что перебежать к врагу. Все остальное устроилось бы в Хеммересе. (Страшно представить себе, что из-за своего необдуманного великодушия он был бы вынужден жить в Хеммересе вместе с Райделем. Но эта проблема решилась бы сама собой благодаря тому совету, который дал ему Динклагге относительно пребывания в Хеммересе или, вернее, ухода оттуда.)

Шефольд мог сделать так, чтобы это выглядело еще безобиднее и его вообще ни к чему бы не обязывало.

«Проводите меня до Хеммереса! Вы увидите, это совсем просто».

Он отверг эту формулу. Райдель ни за что бы не поверил, что после всего происшедшего между ними он вдруг вздумал задерживать своего провожатого хоть на миг дольше, чем это необходимо. Нет, сказать это следовало как-то по-другому.

При всех обстоятельствах это было бы абсолютное безумие. И идти на этот шаг можно было лишь в том случае, если Райдель действительно хотел любой ценой избавиться от того, что его угнетает.

Он попытался представить себе ответ Райделя.

«Вы думаете?»—говорит он, совершенно сбитый с толку. И тут же неуверенно: «Пожалуй, я мог бы это сделать».

Нет, не годится. Райдель и «сбитый с толку»—понятия несовместимые.

Гораздо вероятнее было бы другое.

«Вы все же шпион. Я это сразу понял».

Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

На какой-то миг, буквально на миг, он представил себе, какое лицо будет у Кимброу, если он вернется с немецким обер-ефрейтором, раскрашенным по всем правилам военной маскировки.

Эта мысль была столь фантастической, что он едва все не выболтал.

Безрассудный он был человек, этот Шефольд!

В конце концов он отказался от своего намерения, потому что вовремя вспомнил, какие последствия это могло иметь для майора Динклагге. Если Райдель не вернется с задания, предписывающего проводить Шефольда до передовой, там немедленно свяжут визит незнакомца, перешедшего линию фронта, к майору Динклагге с бесследным исчезновением немецкого обер-ефрейтора.

Хотя, с другой стороны, он был бы не прочь сыграть злую шутку с Динклагге!

В нем все еще тлел огонь возмущения против Динклагге. Время от времени он помешивал угли и раздувал огонь.

Продумывая ходы, которые должны были подвести Райделя к мысли о дезертирстве, Шефольд не учитывал одной неожиданности, одного трюка своего противника, который абсолютно ошеломил бы его: Шефольд не подозревал, не мог себе представить, что предложение дезертировать вовсе не вывело бы Райделя из себя.

Дело в том, что он уже и сам пришел к этой мысли.

«Вот это мысль,—сказал он себе (Когда? Еще в канцелярии? Или позднее, шагая с Шефольдом по Винтерспельту?),—это мысль—смыться вместе со шпионом! Через фронт и—в Хеммерес! Хотел бы я видеть при этом его морду! Как бы ему стало кисло, когда бы он смекнул, что я его прикончу, если он не проведет меня в Хеммерес, а потом своей тайной тропой к америкашкам. А тропу эту он знает, можно не сомневаться: наверняка сообразит, как убраться отсюда, если начнется заваруха.

Господи боже, вот это был бы номер! Война все равно уже не война, а анекдот какой-то. Лучше и не придумаешь способа покончить с войной!

А рапортом Борека пусть они подотрутся».

Ну а если окажется, что он не знает никакой тайной тропы, если он на самом деле простофиля, который попусту ошивается в Хеммересе, то я пойду дальше один. Это будет несложно. Надо немножко пошуметь, пошуршать в кустах, когда пойду по склону, где америкашки сидят, чтобы они не напугались.



Он извлек из памяти обрывки своего гостиничного английского. «Хелло, бойз!» — вот что ему надо закричать, поднимаясь по склону холма на том берегу Ура.

Мысль, что, прежде чем выйти к американцам, придется бросить где-то в кустах свой карабин, показалась ему почти невыносимой.

Ни на секунду ему не пришло в голову сказать об этом своем намерении, известить о своем желании Шефольда. Обсуждать дезертирство с Шефольдом — об этой возможности Райдель даже не думал, потому что для него она вообще не существовала.

Сам не зная почему, он отказался от своей лучшей идеи так же внезапно, как она возникла. Можно предположить, что у такого человека уже одна мысль сдаться врагу наталкивается на неодолимое сопротивление, под какой бы маской она ни подкрадывалась.

Так что, сказав: «Не нужна мне помощь», он, вопреки предположению Шефольда, действительно в помощи не нуждался.

Как он и ожидал, на передовой и теперь было мало людей. На всем пути вверх, к его окопу, они встретили только ефрейтора Шульца, который стоял в своей стрелковой ячейке, той самой, где утром стоял ефрейтор Добрин. В противоположность Добрину Шулец не был раззявой. Он, как и Райдель, редко раскрывал рот. Из него и клещами слова не вытянешь. Говорили, будто он откладывает свое денежное довольствие, эти вонючие полторы марки в день, которые получает ефрейтор, и отправляет домой курево, которое ему выдают, чтобы у жены было что выменивать на жратву для детей.

Когда они приблизились, Шулец, в отличие от Добрина, не вылез из окопа. Он только с интересом повернул голову, посмотрел на Райделя и Шефольда.

Райдель остановился и сказал:

— Приказано перевести его на ту сторону. Дело совершенно секретное.

— М-м,— промычал Шулец.

А сам подумал: «Что-то не припомню, чтобы тут, на фронте, доводилось сталкиваться с какими-то секретными делами».

У Шульца тоже был немалый фронтовой опыт: Балканы, Россия.

Подумал ли он при этом о чем-то еще, связанном, например, с Райделем, установить невозможно. Так как он принадлежал к тем немногим, кто не боялся Райделя, то вполне вероятно, что мысли о Райделе облек бы совсем не в те слова, которые хотя и не сорвались с губ ефрейтора Добрина, но зато наверняка засели в его слабо развитом мозгу («грязная свинья», «педик несчастный»).

Рассматривая Шефольда, он подумал: «Заблудился, наверно. Райдель просто набивает себе цену. Ну и на здоровье. Меня это не касается».

«Вот они, эти слова! — мысленно произнес Шефольд. «Совершенно секретно». Так следовало говорить с самого начала, чтобы произвести впечатление на Райделя».

Война голов. Уже у американцев он обратил внимание, что это война голов. Тела были запрятаны в землю. Снаружи торчали только головы.

Как же мне не повезло! Даже тот солдат с бутербродом, которого они встретили сегодня утром, был бы лучше, чем Райдель. А теперь вот этот! Его лицо больше располагает к доверию, чем все те, которые встретились мне за сегодняшний день.

Так нет же, я должен был попасть в лапы этого Райделя!

Шульц не поверил, пробурчал свое «м-м». Ничего, поверит, когда вечером вернется в деревню и начнет разузнавать. Можно потом и не спрашивать, поверил ли он наконец. Пошел он! Плевать мне, что он думает.

Дальше начинался можжевельник, за которым скрылась теперь голова ефрейтора Шульца, его спокойное худое лицо под каской. Они снова были одни.

У Шефольда возникла идея, которая показалась ему блестящей.

— Это действительно совершенно секретное дело, — сказал он. — Как вы сразу не поняли!

Ему казалось, что он еще должен что-то наверстать. Даже теперь, когда уже видел макушки сосен, под которыми стоял в одиннадцать часов утра.

Он не подозревал, что натворил, когда заставил Райделя извиниться.

Он считал, что после этого им еще было о чем разговаривать—ему и Райделю.

Шпионская морда. Как все сразу вылезло наружу: «совершенно секретное дело». Да тут со смеху сдохнешь.

Может, дать ему хорошую оплеуху?

Надо взять себя в руки, отвлечься.

Уже издали он увидел, что окоп его пуст. Никем не занят. Но теперь он и ему не нужен. Уже незачем залезать туда, чтобы все обдумать. Он теперь и так все знает. А может, и нет. Да наплевать, что тут происходит. Когда эта шпионская морда исчезнет, он без промедления вернется в Винтерспельт, доложит, что приказ выполнен.

Они подошли к окопу Райделя.

— А ну, пошел,—сказал Райдель,—проваливай, ты, шпион!

Он сделал резкое движение головой, рывком повернул ее вбок и чуть вверх.

Шефольд не мог этого так оставить. Не мог ни при каких обстоятельствах. Он не мог не отреагировать, остаться безразличным, пусть даже это не имело теперь никакого значения, потому что через минуту он окажется наверху, под соснами. Под соснами, а оттуда—в путь. Нет, этого нельзя было так оставить. Нельзя. Пусть даже ценой еще одной минуты. От этой одной минуты нельзя было отказываться. Ни при каких обстоятельствах.

Он мрачно посмотрел на Райделя.

«Чудовище,—подумал он,—чудовище».

И тут его снова охватила ярость против Динклагге. Это Динклагге навязал ему такое чудовище.

Он еще раздумывает, смываться или нет! Он еще останавливается и смеется! Если он сейчас же не исчезнет, я еще раз дам ему под зад.

День, проведенный с чудовищем. И ради какой цели? Никакой. Ради часа болтовни. Ради письма, в котором ничего нет. Не

может ничего быть. Просто смешно. Это просто смешно.

Жалкое ничтожество.

Чудовище, возможно, было всего лишь жалким неудачником.

Пламя его гнева против Динклаге разгорелось теперь вовсю. И это заставило его вдруг ощутить нечто вроде сочувствия к Райделю.

Что делает жалкого неудачника чудовищем?

Воспитание, которое дают все эти динклаге!

Он попытался успокоить себя. «Я преувеличиваю,— подумал он.— Есть вещи, не зависящие от воспитания.

Пора отделаться от этого человека».

Он сунул руку в задний карман брюк, вытащил бумажник.

Что он еще там делает? Зачем вытащил бумажник?

Райделя охватило вдруг крайнее возбуждение.

Шефольд порылся в бумажнике, нашел десятидолларовую бумажку, весьма потертую купюру, протянул ее Райделю.

— Вот!— сказал он.— За ваши не слишком любезные услуги.

Он посмотрел, как рука автоматически протянулась за банкнотой.

«Мне все равно, будут ли неприятности у Динклаге. Он ведь думает, что Райдель у него в руках. Пусть теперь сам управляется со своим чудовищем. Когда тот покажет ему доллары».

«Я взял деньги».

Шефольд уже повернулся и пошел, на ходу пряча бумажник. Он поправил плащ, брошенный через плечо. Было легко и удобно ступать по короткой траве склона. Она приятно шуршала под ногами. Он шел один. Прекрасный предвечерний час.

Райдель держал в руке десятидолларовую купюру. Посмотрел ли он на цифру, прочитал ли английские слова, рассмотрел ли изображенное на банкноте лицо?

Он бросил бумажку на землю.

Шефольду было жаль, что он не может обернуться— обернуться и помахать рукой. Тому, другому, солдату, который, выглянув из своего окопа, ничего не сказал, кроме «м-м», он мог бы помахать рукой, в этом Шефольд был уверен. Окажись у него

другой провожатый, сегодняшний день мог бы стать очень приятным.

Он шел вверх. Шел несколько медленнее, чем утром, потому что дорога вела в гору. Медленнее, но достаточно легко. Склон был пологим. Шефольд не считал шагов, его не интересовало, каково расстояние до сосен,—

Зато это интересовало Райделя. Тридцать метров. Сорок, пятьдесят шагов.

— и вот он уже под первыми зелеными зонтами, легкие тени в этот светлый предвечерний час.

«Господи, да ведь я боялся,—подумал Шефольд,—я весь день боялся. А теперь я больше не боюсь. Я свободен».

Свободен!

Тело Шефольда было доставлено в Винтерспельт около четырех часов. Двое санитаров несли его на носилках. За носилками шли Райдель, ефрейтор Шульц и два унтер-офицера. Ефрейтор Шульц и оба унтер-офицера держались на некотором расстоянии от Райделя.

Те немногие солдаты, что стояли в этот час у своих домов, с любопытством смотрели на группу с носилками, двигавшуюся по улице. Они не решались приблизиться к ней, потому что знали, что унтер-офицеры грубо одернут и отгонят их, если они попытаются это сделать.

Носилки были поставлены перед крыльцом командного пункта батальона, точнее, их опустили на землю, на немощеную деревенскую дорогу. Один из двух унтер-офицеров поднялся по ступенькам, исчез в доме.

Теперь из близлежащих домов вышли крестьяне — мужчины и женщины, — а также солдаты, они собрались вокруг лежавшего на дороге Шефольда. К ним присоединились и несколько русских пленных. Ефрейтор Шульц и оставшийся на улице унтер-офицер время от времени выкрикивали: «Разойдись! А ну разойдись!» Райдель стоял у самых ступенек.

Кэте не сразу узнала Шефольда.

Лицо его было желто-серым. Костюм весь покрыт пятнами уже запекшейся крови. Правая сторона его рта была разорвана: темная кровь стекала на шею, на рубашку. Глаза были еще полуоткрыты.

Ефрейтор Шульц прикрыл тело Шефольда плащом, но, пока его несли, плащ соскользнул и закрывал теперь только ноги.

Шульц нагнулся над Шефольдом, еще раз натянул на него плащ.

Унтер-офицер, который поднялся в дом, снова вышел на улицу, за ним штабс-фельдфебель Каммерер. Штабс-фельдфебель сказал что-то Райделю. Райдель что-то ответил. Стоящие вокруг не могли расслышать, о чем они говорили, потому что держались на расстоянии. Они видели, как штабс-фельдфебель с удивлением посмотрел на Райделя, потом повернулся, снова вошел в дом.

Вскоре один из писарей открыл дверь и кивком головы позвал Райделя. Райдель сразу же пошел наверх. Дверь за ним затворилась.

Тело Шефольда, прикрытое плащом, еще какое-то время лежало на земле. Плащ был примерно такого же цвета, как пыль на улице Винтерспельта. Затем санитары подняли носилки и унесли, должно быть, в медчасть.

Откуда-то появились двое солдат, одетые по-походному, встали под ружье перед командным пунктом.

Люди разошлись.

Мы не будем подробно описывать первую реакцию Кэте на неожиданное возвращение Шефольда в неожиданном виде.

Можно легко представить себе, что она воскликнула или подумала: «Но этого не может быть!» или: «Это какой-то страшный сон!»

Возможно также, что она не нашла слов и испытывала немой ужас.

Сразу после этого она отреагировала спонтанно.

Надо было потребовать объяснений от Динклагге. Он должен был ответить ей.

Один из часовых сказал:

— Туда нельзя, фройляйн!

— Но мне надо срочно к майору Динклагге!

— Очень сожалею,— ответил солдат.— Но у нас строгий приказ никого не пускать.

Через час, в пять, пришел Хайншток.

Она ушла вместе с ним.

Каммерер сказал Райделю:

— Я слышал, что вы убили этого человека?

— Я должен поговорить с майором,— ответил Райдель.

Он уже не следил за соблюдением формы. Предписываемая инструкцией формулировка должна была звучать так: «Прошу господина штабс-фельдфебеля разрешить мне поговорить с господином майором».

Определить расстояние было совсем нетрудно. Когда он дойдет до сосен наверху, расстояние будет составлять около тридцати метров.

Снимать с предохранителя и взводить курок можно было только в последний момент, чтобы между звуком взводимого курка и выстрелом прошли только доли секунды.

А пока надо подвести спусковой крючок к промежуточному упору.

Красный галстук уже не мог служить ему мишенью. Приходилось довольствоваться точкой на движущейся спине.

Десятидолларовая купюра, затертая, помятая бумажка, лежала у его ног, на земле возле окопа.

«Я взял их, эти чаевые».

Вокруг воображаемой линии между стволом карабина и точкой на спине Шефольда серым пятном, неподвижно и неумолимо, располагалось абстрактное социологическое понятие: класс людей, берущих чаевые.

В тишину прекрасного безветренного октябрьского дня громко ворвался сухой металлический звук рычага, передвинувшего первый патрон из магазина в ствол карабина.

Прежде всего он вытащил бумажник, стал рыться в нем, методично искать, нашел письмо. Один уголок письма был разлохмачен пулей. Он вскрыл конверт. Его гостиничного английского было недостаточно, чтобы понять, о чем говорилось в письме. Кроме того, он торопился. Но главное он понял: майор Динклаге написал письмо американскому офицеру.

Как много крови! Он не представлял себе, что будет столько крови. Он вытер руки о траву, спрятал бумажник и письмо.

Подошел Шульц. Райдель сказал:

— Так надо было. Это дело совершенно секретное. Пойди-ка приведи унтер-офицера!

— Что же это такое? — сказал Шульц. — Да что же это такое? Я не хочу иметь с тобой дела.

Он остановился, переводя взгляд с Шефольда на Райделя, стоявшего на коленях возле труп.

Райделю пришлось самому отыскивать унтер-офицера. Шульц

в это время сторожил Шефольда. Когда Райдель вернулся вместе с унтер-офицером, Шульца послали в деревню за санитарями.

Позднее к ним присоединился еще один унтер-офицер.

Коробчатый магазин улучшенной модели карабина К 98-к, принадлежавшего Райделю, был заряжен не полностью: он содержал лишь двенадцать патронов. О воздействии на живое человеческое тело вонзающихся в него двенадцати пуль со стальной оболочкой мы не знаем ничего, кроме того, что если они вылетают из ствола карабина тщательно прицелившегося, едва заметно поднимающего свое оружие снайпера высшего класса и рассеиваются по всему телу, от головы до живота, то ведут к немедленной смерти.

Так что, как принято говорить в таких случаях, Шефольд не страдал. Может быть, он пережил момент безмерного удивления, почувствовав, что в нем вдруг запылало сразу двенадцать огней, но момент этот был столь краток, что он наверняка не успел ошутить, как удивление превращается в боль.

Да, это все, что мы достоверно знаем о последнем мгновении Шефольда. Не исключено, что в минуту, когда его уже покидало всякое представление о времени, в нем могло происходить еще вот что. Если в том исключительном состоянии, каким является умирание, миг длится столько же, сколько вечность, то можно предположить, что перед его мысленным взором возникали какие-то вещи, картины, слова, не в определенной последовательности, конечно, а молниеносно, подобно вращающемуся шару из осколков света. Представьте себе этот крутящийся перед его мысленным взором клубок из прошлого и будущего не в виде плоского диска, а в виде тела с тремя измерениями, то есть именно шара, стремительно вертящегося на фоне касательных, ведущих в бесконечность!

Гипотеза, не более того. Поскольку никто еще не рассказывал нам, что с ним происходило, прежде чем он покинул сей мир, мы удовольствуемся тем, что скажем: Шефольд был мертв прежде, чем Райдель опустил свой карабин. И хотя тело его еще было теплым и кровь еще лилась, когда Райдель встал возле него на колени и принялся обыскивать, он в этот момент был уже частью неорганической материи.



## ДАННЫЕ О ПОТЕРЯХ

### *Свободен как птица*

В вечерних сумерках одного из ближайших дней Хайншток выпустил на свободу сыча. Сотрясение мозга у птицы наверняка давно уже прошло, и не было никакой причины держать ее у себя.

Он надел перчатки, в которых работают с камнем, обхватил крылья птицы и вынес ее на улицу. Сыч долбил своим кривым клювом кожу перчаток. Хайншток осторожно посадил его на землю, где тот какое-то время растерянно оставался сидеть. Потом он взлетел вверх и вправо, издавая пронзительное «кью-вик», и исчез за косым изломом известняковой стены. «Если он и дальше будет лететь в этом направлении,—подумал Хайншток,—он попадет в Эльхератский буковый лес. Ему придется поискать себе другой лес: в стволах буков редко бывают дупла».

Крик сыча распугал галок вверху на стене. Взмахнув крыльями, они взлетели и громко загалдели в наступившей темноте.

Хайншток вернулся в хижину, разобрал ящики, совиную башню, и вынес их на улицу. Управившись с этим, он осмотрелся в хижине. Теперь она выглядела так же, как прежде: стол, кровать, печка, полка с книгами и образцами окаменелостей.

## **Что остается за пределами повествования**

### **1**

Например, то, что произошло между Динклагге и Райделем.

В кармане Райделя лежало письмо Динклагге Кимброу. Неслышанно повезло Хуберту Райделю! У командира действительно оказалось рыльце в пушку. Вот теперь-то он, Райдель, ему покажет, где раки зимуют.

Нет нужды описывать, что извлек Райдель из этой ситуации. Ее легко себе представить.

Вероятно, он извлек даже чин унтер-офицера. Может быть, они пошли на компромисс: Райдель вручает Динклагге письмо и за это получает чин унтер-офицера и переводится в другую часть.

Чин унтер-офицера помог ему примириться с мыслью, что он больше не увидит Борека.

Возможно, конечно, что встреча Динклагге с Райделем проходила совсем по-другому.

Может быть, Динклагге велел на месте арестовать Райделя, потом пошел в свой кабинет, написал короткий рапорт полковнику Хофману и застрелился из пистолета.

Но об этом непременно узнал бы Хайншток, когда на следующий день пришел в Винтерспельт. Весть о самоубийстве командира батальона распространилась бы в Винтерспельте с быстротой молнии.

Возможно, конечно, что Динклагге приставил пистолет к виску только после ухода из Винтерспельта. Где-то в период переброски 416-й пехотной дивизии в Северную Италию, еще прежде, чем его настиг приказ явиться к полковнику Хофману, он мог во время одной из стоянок отойти в сторону и покончить с собой. В этом случае Хайншток ничего бы не узнал.

Предположения. Мы не решаемся остановиться ни на одном из них.

Выберите, какое покажется вам наиболее достоверным, учитывая все загадки и противоречия, присущие уже слегка потускневшему от времени образу этого сложного человека.

### **2**

Мы не станем описывать и то, какое воздействие оказало на Хайнштока известие о гибели Шефольда.

Вообще всю эту сцену между Кэте и Хайнштоком в пять часов вечера!

Стереотипный разговор онемевших людей. «Но этого не может быть», «Это просто страшный сон».

Их полная растерянность, неспособность понять причины.

Короткий спор. Пусть подождет, пока ее пропустят к Динклагге. Совершенно необходимо выяснить причины. Ее отказ. Она хочет уйти. С нее хватит. Она не желает терять время.

Первые тени, еще робкие, расплывчатые, тени наступающей ночи вины.

То, что теперь он больше не мог не отозваться на ее просьбы и должен был показать тайную тропу, которой пользовался Шефольд, совершенно очевидно. Он и не пытается возражать. Но даже если бы он пытался—от передачи этого диалога мы себя избавим.

### 3

Допрос, который Кимброу и Уилер устроили Кэте, был формальностью. Кэте не могла ничего объяснить, она могла только сообщить, что Шефольд убит.

После этого они сидели вместе и говорили о возможных причинах. Майор Уилер не упрекал ни Кэте, ни своего друга Кимброу. Он говорил о несчастном случае.

### ***Путешествие на запад: последний этап***

Хайншток приготовил ей и себе поесть. Они выпили кофе. Они убивали время—молчали или снова и снова гадали о причинах, побудивших Райделя убить Шефольда. (Райделя, ни имени, ни фамилии которого они не знали.)

Хайншток вернулся к своей теории о том, что у Динклагге нет опоры в массах, снова говорил о тех, кто всегда начеку, едва заподозрит что-то неладное, направленное против порядка, против фюрера и рейха.

— Вот на такого и налетел, наверно, Шефольд,—сказал он.—Другого объяснения нет.—Затем подумал и добавил:—Но упрекать Динклагге не в чем. Он не мог рассчитывать, что Шефольд налетит именно на такого идеального фашиста.

Снова Ханильвег, во второй раз. Неожиданные смерти.

Кэте подумала: «Значит, сегодня днем я не в последний раз была в хижине Венцеля».

Лампа освещала стол, у которого сидел Венцель Хайншток и курил свою трубку. Все остальное было в тени. Сыч, прятавшийся, вероятно, в пустом пространстве верхнего ящика, оставался невидимым.

В восемь часов они двинулись в путь. Хайншток все время думал о том, как они справятся с темнотой. Ночь предстояла очень темная, хоть глаз выколи, от луны оставалась крошечная четвертушка. Но о том, чтобы брать с собой карманный фонарик, не могло быть и речи.

Кэте была одета точно так же, как тогда, когда пришла со своего последнего урока английского языка: коричневый шерстяной костюм, тонкие серые шерстяные чулки, прочные туфли. Когда она хотела надеть светлый плащ, Хайншток сказал:

— Лучше не надо!

Летнее платьице, купленное в Прюме, она, как и все остальное, оставила у Теленов.

В руках у нее, кроме плаща, ничего не было. В одном из карманов лежал кусок мыла, зубная щетка, паста, расческа. Самым ценным ее сокровищем был футляр с запасными очками. Их ей никак нельзя было терять.

Они нырнули в сосновый лес в том самом месте, где Шефольд обычно выходил из него. Сначала их окружала сплошная мгла, и все же они ориентировались лучше, чем ожидал Хайншток. Пространство между черными вертикалями сосновых стволов было словно заполнено серым прозрачным веществом. Так как весь октябрь не было дождей, земля, покрытая иглами, сухо шуршала под ногами. Идти по ней было приятно, хотя двигались они медленно, черепашьям шагом. «Нам понадобится час до Хеммереса», — подумал Хайншток.

Время от времени Кэте ощупывала одну из черных вертикалей, чтобы убедиться, что это дерево. Она чувствовала кору, шершавую, неровную. На ладони у нее оставалась смола.

Один раз она остановилась, подождала, пока и Хайншток остановится, прошла три шага, чтобы оказаться рядом с ним.

— Ты думаешь, он приказал его убить? — спросила она тихо, почти шепотом.

— Исключено,—сразу же ответил Хайншток, не понижая голоса.— Это ты выбрось из головы.

Он сказал это так, что Кэте решила раз и навсегда отбросить эту самую черную из своих мыслей.

«Без Венцеля я бы пропала»,—подумала она.

Внизу, где кончаются ели, над ручьем есть луг, заросший арникой. Когда-то там было ущелье, а в нем—заросли ольхи, еще до того, как насадили сосну, этот скучный молодняк. Поэтому всюду, где земля не засыпана иглами, растут лесные фиалки и купена, мох и аронник.

Он обернулся к ней и спросил:

— Чувствуешь, как пахнет?

— Да,—сказала Кэте.— Как странно, этот цветочный запах здесь, в лесу.

— Это лунники, внизу у ручья,—сказал Хайншток.— Они цветут до поздней осени. И сильнее всего пахнут ночью.

Он старался теперь идти так, чтобы срывать попадавшуюся тут и там дикую герань, звездчатку, дрему, волчник, медвежий лук, норичник, валерьяну, аконит, цирцею, молочай, не забывал и дикие орхидеи, ятрышник, любку; выйдя из лесу, он побрел по известняку, собирая дубровник, яснотку, герань, солнцезвет, камнеломку, бедренец, живучку, пока не собрал прощальный букет, который она еще долго будет вспоминать.

«Йозеф Динклаге сейчас укладывает вещи,—подумала она.— Возможно, уже завтра он будет на пути к Везуве. Туда, где летают бумажные змеи».

Сев на пни, они стали смотреть на хутор Хеммерес, белевший на фоне темной стены гор на противоположном берегу Ура. Света не было видно, но наверняка не из-за светомаскировки, а потому, что хозяева Хеммереса уже спали.

— Там еще лежат вещи Шефольда,—сказала Кэте.

Хайншток пожал плечами.

— Знаешь, что они с тобой сделают, когда ты окажешься там,—сказал Хайншток, и слова его прозвучали не как вопрос, а как утверждение.— Они отправят тебя в лагерь для интернированных. А после войны бельгийцы вышлют тебя обратно в Германию. Вот и все, что из этого выйдет.

— Ах, оставь!—сказала Кэте.

Наверно, он был прав. Но не стоило отравлять ей последние полчаса.

— Как-нибудь уж я устрою, чтобы остаться там, можешь быть уверен,—сказала она.—А если мне действительно придется вернуться, то лишь для того, чтобы сразу снова уйти.

— Ты знаешь, где меня искать,—сказал Хайншток.

Словно извиняясь за то, что уходит, она показала в направлении, в котором собиралась двигаться дальше, и сказала:

— Кто-то ведь должен сказать им, что произошло.

— Обойди хутор слева!—сказал он.—В этой темноте мостик отсюда не виден, но, когда подойдешь к хутору, сразу его обнаружишь. Быстро переходи мостик, и, если от твоих шагов кто-нибудь проснется, немедленно в лес!

У него возникла было мысль довериться хозяевам Хеммереса. Крестьянин наверняка знал, как пройти к американским постам. Но, когда Кэте рассказала ему, что завтра утром, как она узнала из письма Динклагге, Хеммерес будет занят, он отказался от этого намерения. Нельзя было положиться на то, что крестьянин, когда хутор перестанет быть на ничейной земле, не станет болтать о своих ночных гостях. И тогда он, Венцель Хайншток, попался. Это была одна из причин, почему они так поздно двинулись в путь. Хайншток хотел быть уверен, что люди в Хеммересе будут спать, когда Кэте пройдет по их двору.

— Когда поднимешься, кричи что-нибудь по-английски. А еще лучше до того, как окажешься наверху.

— Ты думаешь, они будут стрелять?

— Вряд ли, если услышат женский голос.

«Как все было бы просто, если бы они поручили это мне. Вместо меня пришлось идти Шефольду. Через линию фронта».

Кэте поцеловала его в щеку.

— Если мне действительно придется вернуться, я навещу тебя,—сказала она.

— Счастливого пути!—сказал Хайншток.

Он смотрел ей вслед; вот она вышла из черноты леса на старые вырубki, лишенные всякой окраски, перешла луг и приблизилась к хутору. Он с удовлетворением отметил, что шла она бесшумно. Она дьигалась по равнине словно дух. Когда он услышал, как загрохотали мостки, она уже была летящей тенью.

Он спокойно сидел, наблюдая за тем, как хозяин Хеммереса вышел из дому, какое-то время глядел на мостик, потом снова вернулся в дом.

Хайншток подождал, не донесутся ли крики или выстрелы, но ничего не услышал. Вероятно, она наткнулась на передовой пост американцев на полпути,—так сказать, не успев и оглянуться.

Он встал и пошел обратно. В первый момент его ослепила темнота леса. «Сычом надо быть»,—подумал он.

## **Этапы превращения художественного вымысла в документ**

### **1**

Но что же произошло с 4-м батальоном 3-го полка 416-й пехотной дивизии?

В то время как Кэте шла в Хеммерес через линию американской обороны, он готовился к выступлению.

Весьма загадочно, что 416-я пехотная дивизия, которая только 5 октября была передана в распоряжение главнокомандующего войск на Западе для использования на спокойном участке фронта, не числится в списках группы армий «Б». А ведь тогда был только один спокойный участок фронта: между Моншау и Эхтернахом.

Должно быть, она состояла из призраков, эта 416-я.

Дадим ей и 4-му батальону ее 3-го полка возможность еще какое-то время сражаться с партизанами в Северной Италии. Все равно дело плохо. Если воспользоваться выражением Райделя, война—уже и не война вовсе, а анекдот какой-то. Правда, не для партизан Северной Италии и не для тех, кто пытается их одолеть.

«Когда в ночь с 20 на 21 апреля—в эту ночь Гитлер говорил со мной о заговоре, якобы раскрытом в 4-й армии,—я собирался покинуть зал совещаний в бункере, где в этот момент оставался только Гитлер, в дверь просунул голову посланник Хевель из министерства иностранных дел и спросил: «Мой фюрер, у вас есть для меня еще поручения?» Гитлер ответил отрицательно, и

Хевель сказал: «Мой фюрер, без пяти секунд двенадцать. Если вы еще хотите чего-то добиться с помощью политики, то сейчас для этого последний шанс».

Выходя из комнаты медленно, устало, еле волоча ноги, Гитлер ответил тихим, слегка изменившимся голосом: «Политика? Я больше не занимаюсь политикой. Она вызывает у меня отвращение. Когда меня не станет, вам еще придется много заниматься политикой» (ВД, раздел «Документы», Франкфурт, 1961).

Посланник Хевель из министерства иностранных дел обманул своего фюрера относительно времени. 21.4.1945 года не оставалось и пяти секунд до двенадцати. А в ночь с 12 на 13.10.1944 года, когда 4-й батальон 3-го полка 416-й пехотной дивизии уходил из Винтерспельта, все шансы уже окончательно были упущены.

## 2

А 3-я рота 4-го батальона 3-го полка (полк № 424) 106-й пехотной дивизии?

Остатки 106-й дивизии — два ее полка были захвачены на Шнее-Эйфеле в плен (как предсказывали капитан Кимброу и майор Динклагге) — попали в конце декабря в *goose-egg*<sup>1</sup> в районе Сен-Вита. Это подтверждается соответствующими военными документами.

При сопоставлении фактов, связанных с майором Динклагге и капитаном Кимброу, снова и снова обращает на себя внимание то обстоятельство, что номер дивизии последнего можно считать подлинным, в то время как номер дивизии Динклагге предположителен.

(Дивизии, состоящие из призраков, в высшей степени пригодны для игр на ящике с песком. Для повествований.)

Впрочем, в списках личного состава 424-го полка капитан Кимброу не значится. Поэтому мы не знаем, удалось ли ему в *goose-egg* в районе Сен-Вита узнать что-либо о своей физической выносливости и моральной стойкости.

Но почему, черт побери, остатки 106-й американской пехотной дивизии, а с ними Джон Кимброу, должны скрыться от нас в дыму Арденнской битвы?

---

<sup>1</sup> Окружение (букв.: гусиное яйцо) (англ.).



«Самое большое препятствие для союзников, с тех пор как наступил перелом, было создано ими самими: неумное и близорукое требование безоговорочной капитуляции. Оно помогало прежде всего Гитлеру, ибо укрепляло его позиции в немецком народе, а также позиции сторонников войны в Японии. Если бы руководители союзников обладали достаточным умом и дали какие-то гарантии относительно условий заключения мира, Гитлер еще до 1945 года потерял бы власть над немецким народом. Уже за три года до этого эmissары широкого антинацистского движения в Германии сообщили руководителям союзников свои планы свержения Гитлера, а также имена многих ведущих военных, которые были готовы принять участие в мятеже, если бы только получили от союзников гарантии относительно условий заключения мира. Но ни тогда, ни позднее никаких гарантий, даже намеков на таковые им не было дано, так что заговорщикам, естественно, трудно было найти поддержку для подобного прыжка в неизвестность». (Лиддел Гарт. История второй мировой войны. Цит. по немецкому изданию. Дюссельдорф, 1972.)

### 3

«Может быть, это должно служить оправданием для генералов?» — думал Шефольд, слушая теории Динклагге,

который, впрочем, был единственным, кто проявил готовность реализовать определенные военно-научные теории и принципы в конкретном действии на уровне командира подразделения.

### ***Прусское дворянство, или Досье трех генерал-фельдмаршалов (с примечаниями)***

«После того как фон Рундштедт был снова возвращен из отставки, чтобы принять верховное командование немецкими армиями на Западе, Гитлер сообщил ему, что в рейхе формируются новые дивизии, которые в ноябре будут готовы к боевым действиям. Действительно, уже к 19 октября фон Рундштедт получил несколько новых дивизий и другие подкрепления. Однако за минувшие шесть недель наличный состав, по его словам, сократился на 80 тысяч человек; он считал, что, включая войска укрепленных районов, его армии — 27 полностью укомплектованных пехотных и 6,5 танковых дивизий — составляют

примерно половину численного состава противника.

Но Гитлер и его штаб уже давно планировали контрнаступление, и 22 октября Гитлер вызвал в свою ставку в Восточной Пруссии начальников штабов фон Рундштедта (генерала Вестфалья) и Моделя (генерала Кребса). Там им было сообщено, что комплектование новых дивизий будет завершено в ноябре, но что они предназначены не для обороны, так как пассивная оборона не может предотвратить дальнейшую потерю важнейших районов рейха. Предотвратить ее можно только с помощью наступления. Поэтому Гитлер решил, что «ввиду малочисленности войск противника в этом районе» следует начать наступление в Эйфеле. Целью было уничтожение сил противника севернее линии Антверпен — Брюссель — Люксембург и, таким образом, обеспечение решающего перелома на западном театре военных действий. Захват немецкой армией Антверпена расколол бы вражеский фронт и разъединил бы англичан и американцев. 5-я и 6-я армии должны были осуществить главный удар; 7-я армия должна была прикрывать южный фланг. Все три армии были подчинены группе армий «Б».

Спустя десять дней фон Рундштедт получил письмо от Гитлера, излагавшего «основные идеи» запланированной операции, и приложенное к нему предостережение Йодля: «Использование столь крупных сил для захвата удаленного объекта неизбежно, хотя с чисто технической точки зрения, если учитывать имеющиеся в распоряжении силы, здесь возникает определенное несоответствие». Нельзя было изменить и диспозицию армий. Они должны были начать наступление бок о бок и одновременно. Гитлер категорически потребовал участия в наступлении некоторых дивизий, которые он перечислил поименно.

Узнав об этих планах, фон Рундштедт и Модель немедленно пришли к единому мнению, что осуществить поставленную Гитлером задачу имеющимися в их распоряжении силами невозможно. Они настойчиво пытались добиться, чтобы был принят план более ограниченных действий, но абсолютно безуспешно. Им было сообщено о решении фюрера, что «ни одна деталь операции не может быть изменена», и их повторные предложения «плана малых задач» были отклонены как «хилые». (Major L. F. Ellis. *Victory in the West*. Her Majesty's Stationery Office. London, 1968<sup>1</sup>.)

---

<sup>1</sup> Майор Л. Ф. Эллис. Победа на Западе. «Стэйшенери офис» ее величества. Лондон, 1968 (англ.).

*Примечание.* См. также: ВД, Мантойфеля, Вестфалья, Юнга, Эйзенхауэра, Алана Брука, Брэдли, Томпсона, Лиддела Гарта, Кальвокоресси — Винта, Элстоба и др.

«Заклучайте мир, глупцы!» (Телеграмма — находившегося тогда в отставке — генерал-фельдмаршала фон Рундштедта верховному главнокомандованию вермахта после битвы под Фалезом, лето 1944 г.)

«28 сентября штаб 1-й армии прислал мне великолепный бронзовый бюст Гитлера со следующей надписью: «Найден в штабе нацистов в Эйпене. Дайте 1-й армии семь боекомплектов и еще одну дивизию — и мы беремся доставить оригинал через тридцать дней». Однако, прежде чем прошли эти тридцать дней, Гитлер уже познакомил своих генералов с планом контрнаступления в Арденнах.

Однажды вечером в течение нескольких коротких часов 1-й армии даже казалось, что она сможет доставить оригинал раньше, чем можно было надеяться. Начальник разведки армии ворвался в фургон Ходжеса с донесением радиоразведки. Перехваченная радиограмма гласила, что полковник СС вручил фон Рундштедту в Кёльне приказ германского верховного командования немедленно перейти в контрнаступление. Фон Рундштедт отказался выполнить приказ, заявив, что это приведет к уничтожению его войск. Завязался спор, и полковник СС был застрелен. Далее сообщалось, что фельдмаршал отдал приказ войскам разоружить части СС и одновременно объявил, что берет на себя всю полноту власти в Кёльне. Далее он якобы обратился по радио к немецкому народу с призывом поддержать его и дать ему возможность заключить почетный мир с союзниками.

Все это оказалось блефом. Когда начальник разведки снова связался со своим подразделением радиоперехвата и потребовал подтверждения, то оказалось, что перехваченное сообщение исходило не из Кёльна, а от радиостанции Люксембург, которую 12-я группа армий использовала для так называемой «черной пропаганды, то есть для передачи ложных сведений, имеющих целью обмануть немецкий народ и подорвать его моральный дух». (Omar N. Bradley. A Soldier's Story. New York, 1951<sup>1</sup>.)

*Примечание.* В общем и целом честное предложение американцев господину фон Рундштедту.

---

<sup>1</sup> Омар Н. Брэдли. Записки солдата. Нью-Йорк, 1951 (англ.).

Иллюзии американцев! Они обманывали не немецкий народ, а самих себя.

Они всерьез полагали, что главнокомандующий, обладающий чувством ответственности, должен кончить войну, если она проиграна.

Его «ход мыслей в основном соответствует концепциям ОКВ»<sup>1</sup>, поэтому его предложение «лишь незначительно» отклоняется «от точки зрения фюрера». «Мне ясно, что сейчас все должно быть поставлено на карту. Поэтому я отбрасываю все эти сомнения» (а именно: сомнения, вызванные недостаточностью сил). (Письмо—уже не находящегося в отставке—генерал-фельдмаршала фон Рундштедта генерал-полковнику Йодлю, начальнику штаба оперативного руководства вермахта, от 3.11.1944. Цит. по: Герман Юнг. Наступление в Арденнах 1944—1945. Гёттинген, 1971.)

*Примечание.* Майор Динклаге: «Такого не было, чтобы я не подчинился приказу».

*Примечание.* Смягчающее обстоятельство: как в мышлении Райделя не были заложены слова «знание людей», так в мышлении фон Рундштедта отсутствовали слова «неподчинение приказу». Воистину речь идет о лингвистической проблеме.

*Примечание.* Зато в лексиконе немецких генерал-фельдмаршалов наличествовали слова «судьба» и «провидение».

«Мой фюрер, я считаю себя вправе утверждать: я сделал все, что было в моих силах, чтобы овладеть положением. Как Роммель, так и я, и, по-видимому, все другие командующие здесь на Западе, обладающие опытом борьбы против англо-американцев с их материальным превосходством, предвидели нынешний ход событий. Нас не слушали. Наши взгляды диктовались не пессимизмом, а простым знанием фактов.

Должны существовать средства и пути, чтобы положить этому конец и прежде всего воспрепятствовать тому, чтобы рейх оказался в большевистском аду. Поведение некоторых офицеров, попавших в плен на Востоке, остается для меня загадкой. Мой фюрер, я всегда восхищался Вашим величием и Вашим самообладанием в этой гигантской борьбе и Вашей железной волей, с

---

<sup>1</sup> Верховное главнокомандование вермахта.

какой Вы утверждали самого себя и национал-социализм. Если судьба сильнее Вашей воли и Вашего гения, значит, такова воля провидения. Вы вели честную и великую борьбу. Это свидетельство Вам выдаст история. Проявите сейчас такое же величие, положите конец безнадежной борьбе, если это окажется необходимым.

Я ухожу от Вас, мой фюрер, как человек, который, сознавая, что до конца выполнил свой долг, был к Вам ближе, чем Вы, возможно, думали.

Хайль, мой фюрер!  
Фон Клюге, генерал-фельдмаршал

18 августа 1944»

(ВД, 4-й раздел. Документы. Франкфурт-на-Майне, 1961.)

*Примечание.* Написал это и покончил с собой.

*Примечание.* С собой. Но не со своим фюрером.

*Примечание.* Генерал-фельдмаршал фон Рундштедт: «Глупцы!»

*Примечание.* Дал такую телеграмму и спустя всего два месяца взялся за осуществление порученного ему Арденнского наступления (которое какое-то время носило его имя: рундштедтовское наступление).

*Примечание.* Исключение, или остатки прусской славы.

Если Вы окажетесь в Берлине<sup>1</sup>, посетите Плётцензее!

В Плётцензее фон Витцлебен все еще придерживает брюки, стоя перед палачом.

Эрвин фон Винцлебен, генерал-фельдмаршал, казненный 9 августа 1944 года за участие в покушении на Гитлера.

### **Потери в живой силе во время Арденнского наступления**

I. С немецкой стороны	Погибших (из них офице- ров)	Пропавших без вести	Раненых
6-я танковая армия	3818 (146)	5940 (149)	13 693
5-я танковая армия	4415 (161)	8276 (129)	10 521
7-я армия	2516 (115)	8271 (385)	10 225
	10 749 (422)	22 487 (663)	34 439

<sup>1</sup> Имеется в виду Западный Берлин.

Невозместимые потери  
(погибшие и пропавшие без вести)

6-я танковая армия	9758 (295)
5-я танковая армия	12 691 (290)
7-я армия	10 787 (500)

Итого: 33 236 (1085)

По американским данным, во время Арденнского наступления ровно 16 000 немцев попало в плен. Их следует изъять из числа пропавших без вести. Оставшееся после этого число пропавших без вести — ровно 6500 — следует прибавить к числу погибших. В целом получаются следующие цифры потерь:

17 200 погибших  
16 000 пленных  
34 000 раненых

Итого: 67 200 человек

II. Со стороны союзников	Погибших	Пропавших без вести	Раненых
1-я американская армия	4629	12 176	23 152
3-я американская армия	3778	8 729	23 018
XXX британский корпус	200	239	969
	8607	21 144	47 139

Невозместимые потери (погибшие и пропавшие без вести)

1-я американская армия	16 805
3-я американская армия	12 507
XXX британский корпус	439
	29 751
плюс	47 129 раненых
Итого:	76 880 человек

(Герман Юнг. Наступление в Арденнах. Гёттинген, 1971).

Статистики потерь, понесенных гражданским населением, не существует.

«Остались две опустошенные маленькие страны, разрушенные дома и крестьянские хозяйства, мертвый скот, мертвые люди, мертвые души и мертвые сердца. Арденны превратились в гигантское хранилище костей 75 с лишним тысяч мертвецов». (John Toland. Story: The Battle of the Bulge. Цит. по нем. изд.: Джон Толанд. Битва в Арденнах, 1944. Берн, 1960.)

«На обочине дороги стоял замерзший американский солдат, протянув руки, словно нищий». (Джон Толанд, см. выше.)

## **Автоматы**

Арденнское наступление началось в утренние часы 16 декабря.

Приготовлений к нему Хайншток почти не заметил, если не считать трех танков «тигр», которые утром 14 декабря появились на узкой дороге, проходившей мимо его каменоломни. С низко нависшего неба падал снег, он лежал тонким слоем на дороге и лугах, вплоть до леса, поднимавшегося из долины Ирена. С высоты над каменоломней, стоя под соснами, Хайншток смотрел, как серые танки, скрежеща, шли один за другим по дороге. Люки их были закрыты, и длинные стволы пушек оставались неподвижны. Миновав каменоломню, они свернули на луг, где снег и земля приглушали железный лязг гусениц, какое-то время двигались рядом, потом исчезли в долине. Они оставили за собой веер черных следов на снегу.

## **Воскресший из мертвых**

Деревня Винтерспельт во время сражения в Арденнах дважды переходила из рук в руки. То, что от нее осталось, было в конце концов захвачено 20 января одной из частей 7-го корпуса 1-й американской армии.

Когда все кончилось, Хайншток пошел однажды на восточные высоты над Уром, чтобы осмотреть место, где был убит Шефольд. Он увидел Шефольда, стоявшего под сосной и курившего сигарету. Казалось, Шефольд его не видел — он курил, рассматривая покрытую снегом местность. Единственное отличие, по

сравнению с прошлым, заключалось в том, что теперь он был весь серый. Его галстук (Хайншток не знал, что он был огненно-красным) казался теперь густо-черным.

«Я сошел с ума»,—подумал Хайншток.

Установив вскоре, что с головой у него все в порядке, что психические его реакции остались прежними, он сказал себе: «Ну и прекрасно, теперь я по крайней мере знаю, где найти Шефольда, если мне захочется снова повидаться с ним».

### ***Брат и сестра***

Возможно, кто-либо, проходивший в январе или феврале 1945-го через деревню Винтерспельт, видел двух кошек, точнее, кота и кошку. Переливчатые, в черно-серую полосу (самка к тому же со светло-рыжим отливом), отощавшие, как скелеты, голодные, хищные, запаршивевшие, замерзшие, брели они по снегу и пеплу покинутой и разрушенной деревни.

На мягких лапах. Бесшумно. Словно тени.



# ОТЕЦ УБИЙЦЫ

ШКОЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Повесть

Перевод Е. Кацевой



# *DER VATER EINES MÖRDERS*

*Eine Schulgeschichte*

*Бездарный гимназист  
посвящает эту повесть  
высокоодаренному,  
тому, кто стал одним  
из крупнейших мастеров  
немецкой словесности,—  
своему сверстнику  
и дорогому другу  
АРНО ШМИДТУ*

Мы освободились от бандита,  
Слышу я, и не нужна здесь жалость,  
Ведь немало было им убито.  
Ничего добавить не осталось.  
Нет на свете этого бандита.  
Впрочем, знаю: много их осталось.

*Бертольт Брехт.  
На смерть преступника  
(перевод Д. Самойлова)*

Кажется, почти никто не чувствует, что преступления, ежечасно совершаемые по отношению к нашим детям, неотъемлемы от сущности школы. Но государства еще поплатятся за то, что превратили школы в такие заведения, где душа ребенка систематически убивается.

*Фриц Маутнер.  
Философский словарь*

Урок греческого должен был как раз начаться, когда дверь класса снова раскрылась. Франц Кин не обратил на это внимания; только увидев, что классный наставник, штудиенрат Кандльбиндер, смущенно, чуть ли не испуганно встал, повернулся к двери и спустился с двух ступенек, возвышающих его кафедру над классом,—чего он никогда не сделал бы, будь входящий лишь опоздавшим учеником,—Франц тоже с любопытством посмотрел на дверь, находившуюся впереди справа, около подставки, на которой стояла доска. И тут он увидел, что в класс вошел Рекс<sup>1</sup>. На нем был легкий светло-серый костюм, под расстегнутым пиджаком белая рубашка куполом покрывала живот, какое-то мгновение он светлым массивом помаячил на сером фоне коридора, затем дверь за ним закрылась; должно быть, кто-то, кто его сопровождал, но оставался незримым, открыл ее, пропустив его в класс, и снова закрыл. Она повернулась на петлях — и словно из автомата появилась кукла. Как на башне ратуши на Мариенплац выходят фигуры, подумал Франц Кин. Ошеломленный Кандльбиндер — он все еще выглядел так, будто бормотал «господи, помоги мне!», — запоздало крикнул: «Встать!», но ученики уже поднялись, не дожидаясь команды, и сели они тоже не тогда, когда учитель — опять пусть с секундным, но все же опозданием — выдохнул свое «Сесть!», а когда Рекс предупредительно поднял руки и сказал молодому штудиенрату: «Пусть

<sup>1</sup> Rex (лат.) — король, наставник; в немецкой школе — директор, ректор.

сдаются». Со сдвоенных скамеек, крепко сбитых со сдвоенными пюпитрами—между скамейками и пюпитрами они с трудом протискивались, ибо большинство из них в свои четырнадцать лет очень уж вымахали,—они наблюдали, как смущен был Кандльбиндер и как ловко Рекс отвел его попытку поклониться, протянув ему руку. Хотя Кандльбиндер был на полголовы выше тоже не малорослого Рекса (на взгляд Франца Кина—метр семьдесят), они все вдруг увидели, что их классный наставник рядом с пышущим здоровьем дородным обер-штудиендиректором попросту тощий, бледный и невзрачный человечиска, и внезапно поняли, что ничего о нем не знали, равно как и он о них ничего не знал и лишь ровным, почти никогда не повышавшимся и не понижавшимся голосом давал уроки, вероятно даже безупречные, но почему-то они, в особенности к концу, едва не засыпали. Боже праведный, что за скучняга этот Кандльбиндер, думал иногда Кин. И притом он ведь еще молод! Лицо бесцветное, а черные волосы всегда немножко растрепаны. Когда после пасхальных каникул Кандльбиндер принял их класс в младшее отделение пятого класса, Франц и все его однокашники с любопытством следили, не сделает ли он кого-нибудь любимчиком или козлом отпущения, но прошло уже почти два месяца, однако ничего подобного за учителем не наблюдалось. Вот только при столкновении с Конрадом Грайфом он едва не грохнулся, подумал Кин. Когда на переменках или на пути из школы они говорили об осторожности Кандльбиндера—что случалось нечасто, так как этот учитель мало их занимал,—всегда находился кто-нибудь, кто, пожимая плечами, замечал: «Да он просто всего боится».

Рекс повернулся лицом к классу; он носил очки в тонкой золотой оправе, из которых смотрели цепкие голубые глаза; сочетание золота и голубизны создавало на розоватом лице под прямыми белыми волосами впечатление чего-то искрящегося, живого, светящегося благорасположением, явной сердечностью, но Франц подумал, что Рекс, хотя и выглядел доброжелательным, вовсе не безобиден; его дружелюбию наверняка не следовало доверять, даже теперь, когда он, приветливый и тучный, смотрел на сидящих перед ним в три двойных ряда учеников.

—Так-так,—сказал он,—вот он, стало быть, мой младший «Б»! Рад вас видеть.

Он действительно Рекс, а не просто человек, чей титул в Виттельбахской гимназии сократили, превратив в это слово. В других мюнхенских гимназиях обер-штудиендиректоров тоже называли «рексами», но Франц сомневался, что все они выглядят

как короли. Вот этот — да, конечно. Весь светло-серо-белый, с безупречно лежащим на рубашке сияющим голубым галстуком, с округленным на углах золотисто-голубым визиром на лице, он стоял на фоне большой школьной доски, и, казалось, ни Кандльбиндера, ни учеников не задело, что он наделил класс притяжательным местоимением. Неужели только я, задался Франц вопросом, заметил, что он обратился к нам так, будто мы ему принадлежим? Он решил, что после урока спросит Хуго Алеттера, не находит ли и он наглостью то, что Рекс считает себя вправе называть их класс своим только потому, что он директор школы. Хуго Алеттер, его сосед по парте, не был его лучшим другом в классе — среди одноклассников Франц вообще не имел близкого друга, — но это был единственный мальчик, кому он мог бы задать подобного рода вопрос, потому что с Хуго он не опасался даже рассуждать — они много рассуждали о политике — во время перемен, в углу школьного двора, пользуясь лексикой, подхваченной из речей своих настроенных в духе немецкого национализма отцов. Потому-то, а не из дружбы, они сели за одну парту. Другие тоже слышали дома слова, из которых складывалась политическая болтология мюнхенского среднего сословия, но они оставались к ним равнодушными; эти дети, как презрительно называли их Франц и Хуго, не интересовались политикой, но даже Хуго, наверно, не поймет, думал Франц, что мне не понравилось в обращенных к нам словах Рекса *мой младший «Б»*, — я сам точно этого не знаю, да это и не политический вопрос вовсе. Он вдруг вспомнил отца, который в прошлую войну был офицером, хотя и офицером запаса; предаваясь фронтовым воспоминаниям, он тоже всегда говорил о *своих солдатах*, и мне еще ни разу не пришло в голову, подумал Франц, что это обозначение совсем не такое же само собой разумеющееся, как «мой отец».

— Греческий! — сказал Рекс. — Надеюсь, он дается вам легче, чем младшему «А»! — Он покачал головой. — Но может быть, они притворялись? Цэ-цэ-цэ! — прищелкнул он языком.

Он давал знать, что уже инспектировал параллельный класс; должно быть, только что — было одиннадцать часов, — ибо, если бы он заявился в младший «А» накануне или даже сегодня до первой перемены, учеников из «Б» уже предупредили бы их друзья из «А»: «Готовьтесь к приходу Рекса!» Ясно, что ректор хотел захватить всех врасплох, он, по-видимому, скрыл свои намерения от учительского совета, ибо даже Кандльбиндер понятия не имел о его предстоящем приходе на урок, иначе бы он так не растерялся.

Своим сообщением, в особенности заключительным прищелкиванием, ему удалось создать впечатление, будто он считает их способными разделить его озабоченность неважными успехами в параллельном классе. Он был огорчен и как бы призывал их разделить его чувства; класс «Б», разумеется, был полностью согласен, что негоже, просто-таки непонятно, как можно не успевать по греческому языку,—тут не болезнь, тяжелая, но излечимая, а порок, непостижимый, вызывающий горестное прищелкивание языком, будто этим и сказано последнее слово, во всяком случае, так Францу показалось, хотя из этого, кстати довольно неопределенного, впечатления он не сделал вывода, будто Рекс, возможно, плохой педагог. Напротив, он тоже попался на трюк с прищелкиванием, чувствовал себя польщенным доверием, оказанным им, и решил впредь более прилежно заниматься греческим.

Его не интересовало, как Кандльбиндер реагировал на те две фразы, которыми Рекс сообщил, что уже взвесил класс «А» и счел его чересчур легковесным. Увидел ли он в них угрозу, предупреждение о том, что ему, классному наставнику, грозит, если и его класс провалится на экзамене Рекса? Или, скорее, учуял в них шанс, потому что—ввиду его, правда перегруженных, но отличных, уроков, превосходные результаты которых были неоспоримы,—исключал возможность какой бы то ни было неудачи? Франц больше не думал об этом; этот тощий учителяшка, с чьими уроками греческого он пока с грехом пополам справлялся, не настолько интересовал его, чтобы сосредоточиться на нем и упустить из поля зрения Рекса, который, в отличие от штудиенрата, так увлекательно—угрожающе увлекательно!—щеголял собой.

— Не беспокойтесь, господин доктор!—сказал он.—Продолжайте урок.

«Продолжайте» —ничего себе, с возмущением подумал Франц, он ведь вошел в класс в самом начале урока, это же просто нечестно—делать вид, будто Кандльбиндер вообще его начинал. С другой стороны, он сразу же постарался поднять авторитет учителя в глазах учеников, подчеркнув его звание—«доктор». Это было новостью для класса. *Господин доктор*. В том, что в школе гимназисты обязаны называть всех учителей, от младшего стажера до седоволосого обер-штудиенрата, *господином профессором*, не было ничего особенного, но они достаточно разбирались в академических званиях, чтобы знать, что учитель, написавший диссертацию—как они, даже четырнадцатилетние, уже научились выражаться, подражая профессиональному языку своих

братьев или отцов,—представляет собой нечто большее, нежели штудийнрат, который, правда, именуется *господином профессором*, но, в отличие от их классного наставника, не написал докторской работы, не «защитился».

— Разумеется, господин директор,—сказал Кандльбиндер и вызвал к доске Вернера Шрётера.— Шрётер,—сказал он,—пойди-ка сюда!

Вот как, значит, они обращаются друг к другу, подумал Франц. *Господин доктор. Господин директор.* Нам они говорят «ты». Только в пятом классе с нами будут на «вы». Если я останусь на второй год—а я, наверно, останусь из-за единицы по греческому и математике, с единицей по двум предметам остаются на второй год,—тогда мне еще целый год будут тыкать. Да ладно. Мне это безразлично. Есть более серьезные вещи. Какие такие более серьезные вещи—этого Франц Кин не смог бы сказать.

— Шрётер,—сказал Кандльбиндер,—мы сейчас проходим фонетику. Напиши на доске сочетания согласных.

Кандльбиндер рехнулся, подумал Франц, он все еще не пришел в себя, его прямо-таки подкосило то, что Рекс инспектирует класс; это же чистое безумие—сразу выставить первого ученика, вместо того чтобы придержать его на случай, если кто провалится. Или чтобы позднее продемонстрировать его как гвоздь программы. Да и задачу он поставил перед ним детскую! Даже я смог бы написать эти три сдвоенные согласные. К тому же мы давно это прошли. Мы ведь уже проходим звуковые изменения в предложении, а в грамматике застряли на словообразовании. Кандльбиндер перескакивал в грамматике с пятого на десятое. Франц ухмылялся про себя. Если бы классный наставник догадывался, что в грамматике он знает немногим больше, чем названия глав, которые они как раз проходили! В домашних заданиях ему помогал старший брат, который продвинулся уже до младшего отделения седьмого класса Виттельбахской гимназии, продвинулся непонятным Францу образом—ведь по основным предметам, в особенности по иностранным языкам, его брат Карл был таким же отстающим, как и он сам. Как же это ему удалось добраться до седьмого класса? По мнению Франца, он пускает пыль в глаза своим потешным прилежанием, своим мелким, аккуратным, ровным почерком, каким исписывает страницу за страницей тетради для сочинений. Его домашние задания пестрят ошибками, как и мои, но они всегда словно выгравированы, а мне неохота этим заниматься, да я и не сумел бы так. Франц был мазилой, его почерк—сплошные крючки и загогулины, учителя качали головой, просматривая его домашние зада-



ния, а профессор Буркхардт, преподаватель природоведения, который хорошо к нему относился, хотя Франц не успевал и по его предмету, иной раз говорил: «Кин, постарайся хоть как-то улучшить свой почерк». Надо же, думал всякий раз Франц, это он-то говорит, а сам как мучается, когда старается нарисовать на доске очертания цветка, например лугового сердечника. Мел в руках у него все время крошится, потом он его отшвыривает, восклицая: «Раскройте Шмайля, там он есть!»

Когда вызвали к доске Шрётера, Рекс уселся за учительской кафедрой, взял лежащую на ней раскрытую греческую грамматику и углубился в чтение. Или он только делал вид, будто погрузился в учебный материал, который они сейчас проходили? Во всяком случае, казалось, он так же мало интересуется гимназистом у доски, как и тот—Рексом. Шрётер в своем репертуаре, думал Франц, глядя, как первый ученик сперва неторопливо начал вытирать угол доски, потому что он, конечно же, не мог использовать доску, которую дежурный по классу вытер только сухой губкой или тряпкой и которая поэтому не отливала, как положено, матовым блеском, а была грязно-серой. Не обращая внимания на присутствие властелина школы—обер-шейха, мельком подумал Франц, но Шрётер, конечно, мог себе позволить такое,—он невозмутимо направился к крану возле доски, смочил губку, слегка ее выжал и навел блеск на левый верхний угол доски, потом насухо вытер его тряпкой, а уже потом написал ξ, ψ и ζ, попутно называя, не дожидаясь требования Кандльбиндера, а словно в разговоре с самим собой, одну за другой эти буквы: «Кси, пси, дси».

Кандльбиндер, в мучительном смущении то и дело поглядывая на восседавшего за кафедрой Рекса, все еще занятого изучением грамматики, ожидал, пока Шрётер закончит. Теперь наконец настала его очередь.

— Добавлять «и»,—сказал он,—правда, принято, но, в сущности, неправильно. Речь идет о чистых сдвоенных согласных. То есть *кс*, *пс*, *дс*.—Он превосходно воспроизвел гортанные, губные и зубные звуки, начало лабиального «пси» у него получилось так замечательно, что Франц решил после урока переименовать его перед одноклассниками в «Кандль-п-индера». Он и не подозревал, что после этого урока ему будет не до шуток.

— Ну-ну, господин доктор,—сказал Рекс, подняв глаза от учебника грамматики и всего лишь двумя нёбно-глухими или, скорее, выпущенными через нос «у» отменив свое прежнее великодушно предоставленное Кандльбиндеру разрешение спокойно

продолжать урок,—так уж точно мы не знаем, как древние греки произносили свой греческий. Все это только теория, византийские предположения, возможно и неправильные...— Он пренебрежительно махнул рукой.

Ученики видели, что их классный наставник собирается возразить Рексу. Если кто и знает что-нибудь о произношении древнегреческого, то это он, подумал Франц, вспоминая нудные доклады, где учитель распространялся о каких-то людях, которых называл гуманистами, но Кандльбиндер не стал демонстрировать Рексу своих познаний. Вот трусливый пес, подумал Франц. Кандльбиндер только и отважился на то, чтобы тихо, осторожно произнести:

— Но сдвоенные согласные...

— ...фонетически, возможно, облегчаются,— закончил Рекс его фразу.— С этим я согласен.— Он сделал паузу, прежде чем положить конец всей этой, по программе давно пройденной и в особенности для первого ученика слишком легкой, истории со сдвоенными согласными.— Впрочем, классификацию звуков класс давно уже прошел,— сказал он.— Да и скверно было бы, если бы ваши ученики спустя шесть недель после пасхи все еще топтались на азбуке. Не так ли, господин доктор? На альфе и омеге!— Он засмеялся— коротко, сухо, без улыбки.— Вы ведь давно уже дошли до произношения, до звуков и акцентов.— Он снова засмеялся своим невыразительным смехом.— Атоны и энклитики! Очень хорошо, очень хорошо! Даже учение о предложении вы уже начали, господин доктор, инфинитив, как я вижу. Быстро же вы продвинулись вперед, ничего не скажешь!

Довольно-таки неприятно для Скучняги, подумал Франц. Рекс сразу раскусил его и прямо в лицо сказал, на чем мы остановились в греческом. Хотя слова его как будто выражали похвалу, в них слышались первые, еще отдаленные, раскаты надвигающейся грозы. Так по крайней мере воспринял их Франц. В этот момент не могло уже быть сомнения, что урок ведет Рекс. Отныне Кандльбиндер будет только пешкой, каковой он уже сейчас стоял возле Шрётера у доски.

Шрётер же отвернулся от нее и обернулся к Рексу, вежливо, спокойно ожидая сложных задач, которые сейчас, наверно, поставят перед ним. Вернер отличный парень, подумал Франц, он вовсе не выскочка, а просто все умеет и совсем не виноват в том, что все умеет. Франц Кин был с Вернером Шрётером ближе, чем большинство других, они единственные в классе обучались игре на скрипке—факультативному предмету, предлагавшемуся гимназией; два раза в неделю в конце дня они вместе с

несколькими учениками из других классов встречались в музыкальной комнате школы; сейчас они проходили третий регистр, у Вернера был более полный звук, чем у Франца. Может быть, его скрипка лучше моей, думал Франц, но, когда он смотрел, как Вернер клал инструмент между головой и плечом, сосредоточенно и умно, он понимал, что, когда какая-нибудь осваиваемая ими чередой нот у Вернера не так царапает ухо, как у большинства других, дело не в скрипке. Шрётер был не высокий, но и не маленький, не коренастый, но крепко сбитый, и в лице его тоже было что-то крепкое, гладкие черные волосы, темно-голубые глаза, нос широкий в переносице, но не толстый, а четко очерченный над твердым и прямым ртом, редко утруждаемым для разговора. Хотя и молчаливый, Вернер всегда был готов помочь; когда он видел, что Франц с чем-то не справлялся, он, не дожидаясь его просьбы, становился рядом и поправлял своего соученика, то и дело бравшего фальшивую ноту; молча и не выказывая никакого превосходства, он клал его палец на нужное место струны, которая извлекала из скрипки нужную ноту. А однажды он своими смуглыми крепкими руками чуть сдвинул подставку на скрипке Франца — на какую-то долю миллиметра, — и некоторое время она звучала красивее, чем прежде. Ах, Франц разочаровался в музыке, эти упражнения в первом регистре не принесли ничего похожего на то наслаждение, которого он ожидал, он не предполагал, что скрипка без аккомпанемента звучит так скучно, так, в сущности, пусто. Если бы я только мог учиться играть на рояле, как Карл, думал он, но в последние два года — 1927, 1928-й — у больного отца уже не было денег на преподавателя по музыке; Карл еще застал хорошие времена, часто думал Франц с завистью, для меня же хватало только на эти уроки игры на скрипке. То есть что значит «хватало»? Они вообще ничего не стоят, школа не требует за это ни пфеннига, а скрипку мне подарили Пошенридеры, она лежала у них в чулане. О господи, с каким видом они преподносили ее, они вели себя так, словно эта скрипчонка — святыня, только потому, что их покойный сын на ней играл.

Рекс отвлек его от воспоминаний о друзьях его родителей, чете Пошенридер, живших в мрачной фешенебельной квартире на Софиенштрассе, — приходилось часто навещать их по воскресеньям после обеда, даже в хорошую погоду; Франц отметил про себя, что Рекс на Шрётера не обращал никакого внимания, вообще не замечал ученика у доски, предупредительно, но без раболепства ожидавшего пожеланий, какие выскажет высокий гость, — более того, он продолжал свою критику общеупотребитель-

тельных в преподавании правил произношения, делая вид, будто он все еще погружен в учебник грамматики и говорит сам с собой.

— «Музыкальный акцент! — процитировал он, с явным усилием подавляя язвительный смех. — Слог, на который падает ударение, отличается от безударного слога большей высотой звука».

Внезапно он повернулся к классу.

— Только не верьте всему, что здесь написано! — воскликнул он, решительно ткнув правым указательным пальцем в книгу, которую все еще держал в поднятой левой руке. — По крайней мере не безоглядно! — Он сделал паузу, прежде чем продолжать. — Да, если бы грекам уже был известен граммофон...

Он снова задумался, затем, обратившись к Кандльбиндеру, многозначительно сказал:

— Пластинка с голосом Сократа — о большем и мечтать нельзя. Вы согласны, господин доктор?

Штудиенрат не мог придумать подходящих слов, он лишь кивнул — ревностно, как и в ответ на все, что произносил Рекс, — вероятно, он ждал только возможности продолжить наконец демонстрацию знаний Шрётера.

Ошибался Франц или Рекс и впрямь не проявлял интереса к Шрётеру? Не только интереса, но и симпатии, кажется даже, что Шрётер ему не очень нравится, думал Франц, да нет, наверно, мне это просто чудится, с чего бы ему иметь что-нибудь против Шрётера, во всяком случае, он нисколько не повернулся к Шрётеру, который только что повернулся к нему. Хочет он лишь положить конец демонстрированию лучшего ученика или же Шрётер ему не по душе? По крайней мере дружелюбного слова он мог бы его удостоить! Но оно не сошло с губ Рекса, и темноволосый, крепко сбитый, вежливый юноша тотчас положил мел, который все еще держал в руке, на бортик внизу доски и направился на свое место, услышав, как Рекс, осматриваясь вокруг, сказал:

— Теперь я хотел бы послушать еще кого-нибудь из ваших учеников, господин доктор.

Тон его уже не был приветливым. Отец школы, благосклонно заглянувший в один из своих классов, — с этим было полностью покончено; там наверху, за кафедрой, словно в засаде, сидел теперь охотник, явившийся на урок, как на охоту, толстый, неприятный, из породы жирных владельцев охотничьих угодий и метких стрелков. Тридцать учеников младшего отделения пятого класса, сидящие внизу в три ряда, по двое на скамье — последние ряды парт пустовали, — сжались. Меня Кандльбиндер не вызовет,

подумал Франц, не отдавая себе отчета, откуда, собственно, взялась у него эта уверенность, что его имя не будет названо на этом уроке. Конечно, Конрада, подумал он с облегчением, когда обернулся, чтобы увидеть, на кого классный наставник указывает, он вызывает одного за другим лучших учеников, никакой опасности, что очередь дойдет до меня, и он смотрел, как с последней парты правого ряда вскочил тот, кому Кандльбиндер сказал: «Пойди-ка сюда!» Франц задался вопросом, заметил ли Рекс, что Кандльбиндер не назвал этого ученика по фамилии.

Сама манера, в какой тот поднялся—быстро, но без рвения, нарочито вскинув верхнюю часть туловища и тем самым придав всему движению комический характер,—давала классу надежду, что предстоит потеха, и ждать ее пришлось недолго, ибо не по возрасту долговязый, неуклюжий парень, нагло ватно скособолясь, пробираясь между рядами парт к доске и подмосткам кафедры и, явно решив позабавиться, повторял:

— С большим удовольствием, господин доктор Кандльбиндер!

Это была типичная для Конрада Грайфа дерзость: в подражание Рексу назвать своего классного наставника только что услышанным титулом и по фамилии, да и вообще, вместо того чтобы молча выполнить приказание, ответить на него этим тщательно продуманным и произносимым с карикатурной вежливостью «с большим удовольствием». Гимназисты скалили зубы.

Один-ноль в пользу Конрада, думал Франц, вот что получил Кандльбиндер, вызвав Конрада только потому, что тот в греческом едва ли не сильнее, чем Вернер Шрётер. Кандльбиндер простак, он, наверно, вообразил, что Конрад воздержится, раз Рекс инспектирует класс, но тут он просчитался—именно потому, что здесь Рекс, Конрад и дал себе волю, как шесть недель назад, когда Кандльбиндер его впервые вызвал. «Грайф»,—сказал он тогда, ничего не подозревая, и Конрад встал, но не насмешливо, как сегодня, а надменно, холодно и бесстыдно сказал: «Фон Грайф, с вашего разрешения!» Кандльбиндер был вне себя, он побледнел как полотно, потом сказал: «Это неслыханно...», выскочил из класса и только спустя долгое время вернулся; с тех пор он редко вызывал Конрада, хотя тот все время поднимал руку и все задания по греческому выполнял на пять или пять-четыре, и никогда больше Кандльбиндер не называл его по фамилии. Так Конрад поставил его на место, но зачем это ему, собственно, ведь от нас же он не требует, чтобы мы называли его «фон Грайф», он знает, что нам наплевать на его «фон», мы говорим ему «Грайф» или «Конрад», и он не

возражает,—просто подло с его стороны воспользоваться теперь случаем и показать Рексу, как бесцеремонно он может обращаться с классным наставником; непостижимо, что Кандльбиндер не предвидел такого и вызвал его, как раз теперь ему бы остаться при своем принципе—не иметь любимчиков, но и не показывать, что кого-то он терпеть не может, вместо этого он сперва вызывает первого ученика, а потом единственного ученика, которого наверняка ненавидит, хотя и после того, как Грайф потребовал, чтобы учитель называл его фон Грайфом, он никогда не проявлял этого. Хотел бы я знать, что он делал тогда, когда выскочил из класса: пожаловался Рексу или спросил, что ему делать, или забежал в уборную, чтобы сблевать? Конрад все еще стоял на месте, когда Кандльбиндер, вернувшись в класс, сказал только: «Садись!»—и никогда больше не называл его по фамилии. Тем более глупо было сейчас его вызывать, этот идиот полагал, что Конрад поведет себя по отношению к нему корректно, а Конраду только того и надо, он только тем и одержим, чтобы опозорить штудиенрата перед Рексом. Но зачем, спрашивается? Вонючий аристократ! Этим наглым «С большим удовольствием, господин доктор Кандльбиндер!» он хотел вывести учителя из себя, спровоцировать на окрик «Грайф, что вы себе позволяете?», что снова дало бы ему желанную возможность перед лицом Рекса выдать свое «Фон Грайф, с вашего разрешения!».

Весь класс радостно предвкушал пререкания, которые должны были последовать—наверняка не в пользу классного наставника; гимназисты безжалостно наблюдали за побледневшим и онемевшим Кандльбиндером у доски, но они не взяли в расчет Рекса, который с такой молниеносной быстротой, какой Франц никак не ожидал от человека подобной комплекции, включился в происходящее.

— Ах,—сказал он, холодно смерив голубым в золотом обрамлении взглядом вышедшего вперед ученика,—вот он, наш молодой барон Грайф! Я уже много слышал о тебе, Грайф. Говорят, ты отличный грек. Но если тебе еще раз захочется сделать заявление о своем усердии, когда тебя вызовут, или если ты еще хотя бы один-единственный раз допустишь вольность по отношению к классному наставнику и скажешь ему «господин доктор» вместо положенного «господин профессор», я тут же накажу тебя арестом на час. Понял, Грайф?

Рекс, значит, знает Грайфа, подумал Франц. Стало быть, Кандльбиндер после стычки с Конрадом побежал к нему, пожаловался на Конрада. Или же он всех нас знает? Тогда он чертовски

деятельный, если знает каждого из нас. Имя и все прочее.

Как он отчитал этого Грайфа! В этот момент весь класс восхищался Рексом. Он применил ту же методу, что и по отношению к Кандльбиндеру: так же, как он пустил в ход докторское звание, чтобы вызвать к учителю большее почтение, он сперва повысил и Конрада Грайфа в титуле; он обратил внимание класса на то, что в лице Конрада они имеют в своих рядах не просто носителя частицы «фон», а нечто более значительное—барона, но если ученую степень штудиенрата он и дальше подчеркивал—«не так ли, господин доктор?»,—по крайней мере до сих пор и невзирая на то, что с тихим громоуханием в голосе предостерег его от попытки втереть очки по поводу изучаемого материала, то, назвав ученика бароном, он два раза подряд обратился к нему без всякой дворянской частицы, просто по фамилии. Отважится ли Конрад так же поставить на место Рекса, как шесть недель назад классного наставника?

Казалось, он хочет рискнуть это сделать.

— Но вы же сами...—начал он, но Рекс не дал ему договорить.

— Значит, так,—сказал Рекс невозмутимо, не тихо, но и не громко,—час ареста. Сегодня пополудни, с трех до четырех.—Он повернулся к Кандльбиндеру.—Мне жаль, господин доктор, но я вынужден испортить вам послеобеденное время,—сказал он, намекая, что классному наставнику придется надзирать за арестантом.—Однако подобного сорта господам нельзя ничего спускать.—Внезапно он рассмеялся.—Ну и барон!.. Заставьте его позубрить историю сегодня после обеда,—добавил он,—с историей он далеко не в таком ладу, как с греческим.—Рекс покачал головой.—Собственно говоря, странно, что человека, который так гордится своим дворянством, столь мало занимает история.

Он полностью информирован о Конраде, подумал Франц, он даже в курсе его успехов по другим предметам. Франц наблюдал за этой сценой, за Рексом, который явно наслаждался видом класса, пораженного тем, что Рекс знает Грайфа до мозга костей, за Грайфом, переставшим дурачиться, покрасневшим, никак не ожидавшим ареста на час.

Рекс снова непосредственно занялся наказанным. Он стал терпеливо, хотя, как показалось Францу, и коварно, поучать его.

— Ты хотел подчеркнуть, Грайф,—он снова произнес его фамилию без всякой частицы,—что я сам обратился к твоему классному наставнику «господин доктор». Возможно, мне следовало дать тебе договорить до конца, чтобы ты, как положено, сказал мне: «Но вы сами, господин обер-штудиендиректор», ибо

для тебя я ведь не просто кто-то, к кому ты можешь обратиться с одним только «вы», а все же твой обер-штудиендиректор, запомни это. Беда, что мы теперь в Германии не имеем права держать армию, иначе ты бы усвоил, что нельзя говорить «да», а только «так точно, господин лейтенант». Уж в армии тебе бы показали, что такое дисциплина,—сказал он.

Нелогично, подумал Франц, даже если бы мы имели настоящую армию, а не эти сто тысяч солдат рейхсвера, что нам разрешили англичане и французы, нас только после окончания школы научили бы, что лейтенанту нельзя сказать «да», а надо «так точно, господин лейтенант», нам ведь всего четырнадцать лет. И хотя Францу тоже хотелось, чтобы была армия, потому что его отец в войну был офицером, мысль об армейских порядках, сквозившая в тоне Рекса, была Францу не особенно приятна. Воевал ли Рекс тоже на фронте, как мой отец, трижды раненный, подумал Франц. Рекс никак не походил на фронтовика или человека, который хоть раз был когда-либо ранен.

— Надо надеяться, всем вам еще придется служить в армии,—добавил Рекс, обращаясь ко всему классу,—надо надеяться, рейх вскоре снова станет достаточно сильным.—И почти без перехода вернулся от воспоминаний о своей службе в армии к Конраду Грайфу.—Но даже если бы ты правильно обратился ко мне, назвав титул,—сказал он,—я не позволил бы тебе обратиться к классному наставнику так же, как я.—Его самого, видимо, утомили все эти «если» и «бы». Во всяком случае, голос его прозвучал чуть равнодушнее прежнего, когда он добавил:—Особенно неподобающе то, что ты называл господина профессора по фамилии. «Кандльбиндер»,—процитировал он.—Цэ-цэ-цэ! За одно это ты заслуживаешь ареста на час.

Чересчур уж долго и упорно распространяется он о погрешности Конрада против формы, подумал Франц; казалось, Рекс твердо решил не замечать, до какого состояния довел ученика, даже затылок Конрада густо покраснел. А прищелкивание языком опять прозвучало так, словно после этого и говорить не о чем, дело Грайфа признано безнадежным, оно закрыто, собственно, незачем дальше болтать, думал Франц, но Рекс продолжал, он не мог отказаться от того, чтобы не сказать еще:

— *Quod licet Jovi, not licet bovi*<sup>1</sup>, как ты учил по-латыни.—Он произнес это протяжно, чуть ли не смакуя, словно располагает уймой времени для поучений. Разве он все еще не заметил, подумал Франц, что довел Конрада до предела, все смотрели на

---

<sup>1</sup> Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку (лат.).



своего одноклассника, полностью утратившего теперь всю свою высокомерную насмешливость, он все еще стоял, широко расставив ноги, и они видели, как он сцепил за спиной судорожно сжатые руки. И тут-то оно и началось.

— Я не скотина,—выкрикнул он.—А вы не Юпитер. Для меня—нет! Я барон фон Грайф, а вы для меня вообще всего лишь какой-то господин Гиммлер!

Это превосходило все, чего мог ожидать класс. В комнате, и без того бледно-серой, повисла бледная пелена неподвижности и мертвой тишины, даже свет раннего лета, излучаемый растущим на школьном дворе каштаном, вдруг преломился на оконном стекле, далее не проникнув. Лишь предстоявший взрыв Рекса мог бы вывести учеников из охватившего их оцепенения; затаив дыхание, они ждали, в какой форме выразится потеря им самообладания.

Их постигло разочарование. Рекс сохранил выдержку, не разъярился—колоссально, как он держит себя в руках, подумал. Франц,—неподражаемо спокойно он покачал своей могучей, покрытой, как шапочкой, белыми волосами головой, цвет здоровой, несмотря на возраст, все еще гладко натянутой кожи на лице нисколько не изменился, и только по тому, как он положил наконец учебник греческой грамматики—беззвучно, внезапно, решительно,—можно было понять, что он не простит личного оскорбления, неслыханной дерзости, которую позволил себе Конрад Грайф,—во всей истории гимназии, носящей имя баварского королевского дома, никогда ничего подобного не случалось.

Но сперва он выказал себя знатоком, ученым, который просто для собственного удовольствия дает урок истории, хотя, как ректор школы, он и не обязан преподавать.

— Твое дворянство значит куда меньше, чем ты думаешь, Грайф,—начал он.—Грайф,—повторил он, сумев придать своему голосу высокомерно-деловитый тон,—это, собственно говоря, только прозвище, которым обзаводились многие рыцари. Грайф, Гриф, Грип—так они именовали себя, эти господа, по названию легендарной хищной птицы, большинство из них первоначально были не чем иным, как безымянными мироедами, которых какой-нибудь феодал назначал надсмотрщиками над своими деревнями. Их отпрыски становились рыцарями-разбойниками, эти Грайфы, они еще добавляли к своему имени название какой-нибудь местности. Грайф фон Оттуда-Отсюда. Вас же, Грайфов из Нижней Франконии, даже на это не хватило.

При словах «эти господа» его голос на какое-то мгновение зазвучал не деловито, а злобно, и, лишь дойдя до утверждения,

что предки Конрада были, в сущности, безымянными, он прекратил свои отвратительные поучения, начал мстить за слова Конрада Грайфа, что он для него «всего лишь какой-то господин Гиммлер». Но даже при этом он пытался изобразить из себя само добродушие, этот актер, подумал Франц и внезапно исполнился ненависти, услышав, как Рекс спросил:

— Знаешь, кто меня однажды просветил на этот счет, Грайф? Старый барин, твой отец! Я несколько раз имел удовольствие беседовать с ним. Он человек с очень здоровыми взглядами и нисколько не чванится своим аристократическим титулом.

С какой приторной любезностью он дал Конраду по морде, подумал Франц, стало быть, бывает и так, что можно кому-то дать по морде с приторной любезностью; он быстро глянул на Хуго Алеттера, чтобы проверить, возмутился ли Хуго так же, как он, Франц, но по бледному лицу Хуго ничего нельзя было определить, он лишь зачарованно наблюдал за сценой, разыгрывавшейся впереди, возле учительской кафедры, да и сам Конрад, казалось, не заметил оплеухи, а если и заметил, то стряхнул удар беглым движением тела, его ярость, казалось, выдохлась, его сцепленные за спиной руки разжались, он снова обрел речь.

— Мой отец всегда разыгрывает скромность.—Теперь уже Конрад поучал Рекса, поучал насмешливо, холодно.—Он на это мастер. Но в действительности...—Фраза повисла в воздухе, он только пожал плечами и продолжил:—У нас два замка, три сотни гектаров полей и три сотни гектаров леса.

— Я знаю людей того же сословия, что и твой отец, у которых три тысячи гектаров земли,—возразил Рекс; он хотел проявить находчивость, но не сумел, видно было, как он злится. Он злится не по поводу того, что сказал Конрад, а потому, что тот вообще что-то сказал, подумал Франц. В школе попросту не бывает, чтобы ученик возражал своему учителю—тем более Рексу!—да не только возражал, но еще и демонстрировал, что может разговаривать со своим учителем, как с любым человеком. Здорово же он это сделал! Рексу следовало одним движением руки отмахнуться от этого беззастенчивого бахвальства замками, полями и лесами, а вместо этого он пустился в пререкания с Конрадом и никак не может из них выбраться.—Ваши замки не очень-то старинны,—брюзгливо сказал Рекс, возможно уже понимая, что партия им проиграна.—Шестнадцатый век,—произнес он таким тоном, словно это пустяк. Да еще не удержался и похвастался:—Мы, Гиммлеры, намного старше.—Он поднял правый указательный палец.—Доказано существование очень старого верхнерейнского городского патрициата. Есть дом Гиммлеров

в Базеле и еще один в Майнце. На доме в Базеле указан 1297 год!

— Поздравляю! — сказал Конрад.

Наверно, он, как и все остальные, вряд ли знал, что такое «городской патрициат»; на уроках истории от второго до пятого класса им такое слово еще не встречалось, Франц скучал на этих уроках, ему не хотелось заучивать наизусть годы битв, в которых решались, как им втолковывали, судьбы народов или великих людей. «Городской патрициат», судя по тому, как произнес эти слова Рекс, должно означать нечто значительное, что-то вроде «дворянства», чего Конрад фон Грайф ни за что, конечно, не признает, для него ничто ведь и в подметки дворянству не годится, но он не мог спорить с Рексом по поводу незнакомого слова, да теперь ему было на все наплевать, думал Франц, потому что он хорошо знал, что ему не искупить оскорбления Рекса. Одним уж тем, что назвал Рекса по фамилии, он нарушил первейшее школьное правило: учителя не имеют фамилии, они имеют титул, в общении классного наставника с его учениками не может быть никакого «господина Кандльбиндера», есть исключительно только «господин профессор», а Конрад не только назвал Рекса по фамилии, но и прямо заявил, что тот для него *всего лишь* фамилия, Гиммлер,—такую тяжкую обиду ничем не загладить, Конраду теперь все безразлично, его не интересуют последствия, ему важно лишь испробовать, до какого предела можно дойти. У Кандльбиндера для него все равно все потеряно, а теперь и у Рекса потеряно безвозвратно, в сущности, он ничем больше не рискует, даже если сверхнагло поздравит его с «городским патрициатом».

«Поздравляю!» Это было уж слишком! Он преступил все границы.

Классный наставник, в течение всей сцены маячивший тенью у черной доски, наконец шевельнулся, хотел вмешаться, прийти на выручку высокому шефу, может быть, даже воскликнуть что-нибудь вроде «Это же неслыханно!», но и теперь его опередил Рекс, которому ничего другого не оставалось, кроме как мстить, не может же он проглотить это «Поздравляю!», подумал Франц и снова восхитился Рексом, который не вспылал, а остался спокойным, не обнаружил никакой раздраженности.

— Ну-ну,—сказал он, придав голосу равнодушный, почти усталый тон,—тут, кажется, уже ничем не помочь.—И он изрек приговор, который наверняка был вынесен уже тогда, когда Конрад Грайф назвал его всего лишь каким-то господином Гиммлером.—Я напишу твоему отцу и попрошу его забрать тебя

из этой школы,—сказал он.—Насколько я знаю, он не будет в восторге. Но он поймет, что для такого болвана, как ты, в моей школе нет места.

Его школа, подумал Франц. Словно она ему принадлежит! А она ведь такая же гимназия, как и все другие. Но он говорит «моя школа», «мой младший „Б“» так, будто может с ними делать что хочет.

Итак, Конрада исключили, хотя он «отличный грек», но такой наглый пес, что сам Рекс с ним не справился. У них еще не бывало, чтобы школьника исключали. Слово «исключить» означало для них темную угрозу наказания столь тяжкого, что оно никогда не применялось.

Поскольку Конрад все еще стоял спиной к классу, Франц не мог видеть, какое впечатление произвели на него слова Рекса,—по-видимому, никакого, потому что он не потерял дара речи, напротив, они услышали, как он без промедления почти весело сказал:

— В таком случае мне незачем сегодня отсиживать час ареста, не так ли, господин обер-штудиендиректор?

Наконец-то ему удалось вывести ректора из терпения—истинного или мнимого, подумал Франц,—Рекс поднялся из-за кафедры и прикрикнул на ученика:

— Садись, Грайф! Тебе придется еще подождать извещения школы. До тех пор изволь подчиняться ее правилам.

Они увидели, как Конрад, чуть помедлив, пожал плечами и повиновался приказу. Это выглядело так, словно он хочет сказать: «Тот, кто умнее, уступает». Собственно говоря, ему уже незачем уступать, подумал Франц, его выгнали, он мог бы сложить свои книги и тетради и удалиться, но Конрад повернулся и пошел на свое место, и лишь кривая усмешка напоказ выдавала, что он не совсем чувствует себя победителем, хотя и взял верх в этом единоборстве.

Рекс больше не садился. Он покинул возвышение позади кафедры, некоторое время постоял около классного наставника, они поговорили шепотом, наверняка о Конраде, подумал Франц; видимо, Рекс дает указания Кандльбиндеру, как обращаться с Конрадом, пока тот еще в школе; в классе зашумели, ибо напряжение спало, и Рекс не призвал их к порядку, но все сразу же затихли, как только он начал расхаживать взад-вперед между рядами—дородный мужчина в светло-сером костюме из тонкой материи, под расстегнутым пиджаком белая рубашка куполом покрывала живот, голубой галстук, безупречно повязанный и уложенный, все еще сиял, а из-за очков в тонкой золотой оправе

снова приветливо, даже благорасположенно смотрели голубые глаза, сквозь конский каштан на дворе изливался на закрытые окна классной комнаты свет прекрасного майского дня, Мюнхен светился, Рекс светился, и тем не менее все думали о том же, о чем думал Франц: теперь он выискивает новую жертву. Он больше не позволит Кандльбиндеру вызывать учеников, господа, подумал вдруг Франц, да он же и меня может поймать, его испугала сама мысль о том, что старый Гиммлер может именно его вызвать к доске, чтобы проверить его греческий.

Франц стал называть его про себя «старый Гиммлер», а не «Рекс», потому что, как только Конрад Грайф дал этой важной птице имя—так же как собаку кличут не «собака», а «Гектор» или «Буци»,—он вспомнил, что, когда поступал в гимназию, отец предостерегал его.

— Виттельсбахский обер-штудиендиректор—старый Гиммлер,—сказал он.—Берегись его! Вряд ли тебе, особенно в младших классах, придется иметь с ним дело, но, если придется, старайся не показаться ему в дурном свете. Это человек опасный!

Прошло уже добрых три года, и титул сам собой оторвался от фамилии, рекс был для всей школы именно Рексом, а всего лишь каким-то господином Гиммлером он был, по-видимому, только для Конрада Грайфа. Впрочем, отец никогда не говорил ему, почему считает *этого* человека опасным. Но Франц удивлялся, почему он называл его «старый Гиммлер», Рекс ведь старше отца не более чем на несколько лет! Но прежде, чем он успел расспросить его, он получил ответ посредством сравнения—отец упомянул «молодого Гиммлера», сына обер-штудиендиректора.

— Молодой Гиммлер в полнейшем порядке,—рассказывал отец.—Отличный молодой человек, сторонник Гитлера, но не ограниченный, он всегда приходит и к нам, людям Людендорфа, и в «Рейхскригсфлагге»<sup>1</sup>; из молодых ребят, которые часто у нас бывают, он самый толковый и надежный, спокойный, но с железной хваткой, родился в тысяча девятисотом, потому и не успел на фронт, но я думаю, в окопах он наверняка не сплывал бы, мне бы такого в роту. Он насмерть рассорился с отцом, старый Гиммлер состоит в Баварской народной партии, он церковник до мозга костей, считает себя, правда, патриотом, но в войну был «героем» тыла, да к тому же и не антисемит, вовсе не считает зазорным общаться с евреями—подумать только: с евреями!—поэтому сын прервал с ним отношения, молодой

---

<sup>1</sup> Один из многих созданных после первой мировой войны союзов бывших фронтовиков правого толка («Имперский военный флаг»).

Гиммлер ни за что не сядет за один стол с евреями, иезуитами и масонами. Старый Гиммлер карьерист,—добавил он.—Остерегайся всегда карьеристов, сын мой!—сказал он торжественно.—Он каждое воскресенье ходит к мессе в Михаэлискирхе на Кауфингерштрассе. Там ты их можешь увидеть всех разом, эти сливки мюнхенского общества.

Откуда он знает, думал Франц, слушая эти поучения, отец ведь протестант, насколько мне известно, он никогда не бывал на католической мессе, Кины—протестантская семья, мать отлучили от католической церкви, потому что она вышла замуж за протестанта, и детей—по требованию отца—крестили по протестантски. Франц Кин-старший—Францу при крестинах дали имя отца—был не только сторонником Людендорфа и антисемитом, но и набожным лютеранином. До моей конфирмации, вспомнил Франц, он каждое воскресенье посылал меня на детское богослужение в Христову церковь.

Тогда, три года назад, излагая сыновьям теории своего кумира, генерала Людендорфа, отец говорил живо, темпераментно, железным, исключаящим малейшее возражение голосом, который очень подходил к его горячей черноволосой голове с мгновенно вспыхивавшим лицом,—этот голос производил на Франца всякий раз сильное впечатление,—теперь же, спустя три года, голос ослабел, отец вообще казался Францу человеком сломленным, болезнь, которой он страдал, изменила его, он много времени проводил лежа, дела шли плохо, он уже не надевал своей формы капитана, когда отправлялся—правда, все еще молодцевато подтянутый, но в штатском костюме—на какой-нибудь милитаристско-националистский праздник, проводившийся в Мюнхене по любому поводу. Только орденская розетка в петлице костюма свидетельствовала, что в войну он был тяжело ранен и награжден Железным крестом I степени.

Расхаживавший между рядами парт Рекс не выглядел как человек, который когда-либо получал отличия за ранение. Он выглядит здоровым, думал Франц, толстым и здоровым, пусть и не из породы веселых толстяков, однако не болезненный, как отец, а ведь он старше отца не всего лишь на несколько лет, как я думал, но по меньшей мере лет на десять, ему, вероятно, шестьдесят, раз его сын вдвое старше меня и уже занимается политикой, во всяком случае, старый Гиммлер выглядит хорошо сохранившимся, только вблизи видишь, что лицо его не гладкое, а иссечено тысячью крошечных морщинок, и тем не менее кожа кажется упругой, светло-розовой, светло-розовое мясо под пря-

мыми белыми волосами, весь он светлый, гладкий, тошнотворно любезный и умопомрачительно чистый, как его белая рубашка, но не нравится он мне; мой больной отец, который уже не выглядит таким бравым, как раньше, мне милее, даже когда на него нападает приступ ярости и он кричит, потому что я опять схватил единицу по математике, хотя я ведь не виноват, что не в ладу с математикой, и тусклый, скучный Кандльбиндер мне все же милее, чем этот неприятный бонза, ни за какие деньги не хотел бы я быть его сыном, а его сына, который разругался с отцом и сбежал, можно понять, если ему постоянно приходилось выслушивать изречения, подобные тому, что «пластинка с голосом Сократа—о большем и мечтать нельзя». А то, как Сократ пьет из чаши яд,—это старый Гиммлер тоже мог бы послушать? Франц считает его вполне на это способным. Или Христос на кресте, его последние слова—фантазия Франца разгорелась,—да их же господин обер-штудиендиректор, церковник до мозга костей, как говорит отец, прокручивал и прокручивал бы на граммофоне, будь они тогда записаны, эти слова: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?»

С другой стороны, Рекс был человеком, который мог решительно ткнуть указательный палец в учебник греческой грамматики и заявить: «Только не верьте всему, что здесь написано!» Чтить Сократа и ставить под сомнение грамматику—как это совмещается в его голове? Или у него череп больше, чем у других учителей, например у Кандльбиндера, или же у него попросту мозги немножко набекрень.

Рекс очутился в проходе, где с краю парты сидел Франц Кин, и остановился возле него. Франц боялся поднять глаза, он сидел с опущенной головой, ощущая близость покрытого белой рубашкой живота и руки с белыми—или белокурыми?—волосками, поблескивавшими над коричневыми старческими пятнышками, на безымянном пальце правой руки Рекс носил широкое золотое обручальное кольцо—все это отмечал про себя Франц, отчаянно надеясь, что Рекс на него все же не нацелится, хотя в своей погоне за дичью он, как охотник, услышавший треск в подлеске, именно возле него и остановился.

Страстная молитва, застывшая в отведенном от лица Рекса взгляде Франца, казалось, и впрямь немножко помогла, ибо Рекс обратился не к Францу, а к его соседу—Хуго Алеттеру, но не с тем, чтобы его вызвать, а для того лишь, чтобы мимо лица Франца указать Хуго рукой со сверкающим обручальным кольцом.

— Сейчас же сними значок с куртки!—сказал он резко.

Несколько недель назад Хуго из тонкой позолоченной жести вырезал свастику, очень удачно, и он с гордостью носил ее на лацкане пиджачка. Насколько Францу известно, это мало что значило, Хуго носил ее только потому, что ему нравился значок, и его родители—как и родители почти всех гимназистов, немецкие националисты—не возражали. Конечно, если бы он раздобыл настоящий партийный значок гитлеровцев, этакую круглую штучку из эмали, они бы отобрали его, сочли бы чрезмерным, да и неподобающим для его возраста, а маленькую самоделку пускай носит, это же просто значок, мальчишеское баловство.

С облегчением—потому что не на него обратилось внимание Рекса—Франц посмотрел на Хуго, увидел, как покраснело его бледное прыщавое лицо и как он поспешно и усердно завозился со свастикой, пока не сунул ее в карман.

Рекс опустил руку. Он повернулся к учителю, который явно не мог оторваться от своего места у доски. Он стоит там как приклеенный, подумал Франц.

— Вам ведь известно, господин Кандльбиндер,—сказал Рекс,—что я не желаю видеть в своей школе никаких политических значков.

Он отбросил всю притворную вежливость, обратился к штудиренту уже без всякого «господина доктора».

— Я постоянно напоминал об этом ученикам,—возразил Кандльбиндер.

— Цэ-цэ-цэ!—Рекс нашел наконец случай пустить в ход свое знаменитое, пресекающее всякий разговор прищелкивание—словно кнутом взмахнул.—В таком случае я снова объявляю об этом у Черной доски. Все почему-то приходится повторять. Итак—никаких политических значков!—провозгласил он.—Вообще никаких значков! Запомните это!

Звучит убедительно. Стало быть, он имеет в виду не только свастику Хуго, когда запрещает ношение политических значков, вообще всяких значков. Хотя свастика наверняка его особенно раздражает, думал Франц, потому что он видит в ней причину ссоры со своим сыном, смертельной ссоры, как говорит отец. Они не встречаются друг с другом, старый и молодой Гиммлеры. Впрочем, Франц сомневается, что сын сбежал из дома только потому, что выбрал свастику. А может быть, он потому и выбрал свастику, что старик донял его и ему с ним стало невмоготу.

Но Рекс тут же обосновал свой запрет на ношение значков.

— Если я потерплю вот это,—заявил он, снова указав на пустой лацкан пиджачка Хуго,—то ничего не смогу сделать и с



тем, кто придет в школу с советской звездочкой. Конечно же,—добавил Рекс,—он сразу с треском вылетит из школы.

Ясное дело, подумал Франц. При виде советской звездочки Рекс не просто бы сказал: «Сними ее!», тут уж он заговорил бы другим тоном. Хотя в классе—нет, во всей школе—Франц не знал никого, ни одного ученика или учителя, в ком можно было бы заподозрить большевика. Таких просто не было. Как Рекс вообще мог вообразить себе что-либо подобное! Ну да он ведь думает обо всем.

Апостолов свастики в школе было немало, но было и несколько евреев, в младшем «Б» учился Бернштайн Шорш; Шорш Бернштайн был замечательным парнем, зимой он ходил с ними на лыжах и научил нескольким отличным приемам, например налепять кусочки кожи на поверхность скольжения, чтобы подъем давался легче, а как он совершал спуск с Браунэка, такого крутого и притом узкого,—просто высший класс, этот Шорш Бернштайн вообще не походил на еврея, кстати, его родители такие же немецкие националисты, как почти все другие родители; Франц однажды рассказал об этом отцу, и тот заметил: «Да-да, бывают и порядочные евреи, но ты все равно остерегайся их»; однако тут Франц не понимал отца, это же чистейшая бессмыслица, старый Бернштайн в мировую войну был фронтовиком, как и отец Франца, у него тоже Железный крест I степени, Франц не видел причины остерегаться Шорша Бернштайна, когда они шли, взмокшие от пота после спуска, по улицам Ленгриса и тот объяснял ему преимущества своего старомодного крепления. Может быть, молодой Гиммлер изменил бы свое мнение о евреях, встречайся он чаще с такими евреями, как Шорш Бернштайн? Франц считал это возможным, желал бы этого, потому что симпатизировал молодому Гиммлеру, хотя и не знал его; сын, который удрал от этой старой, заигранной и исцарапанной сократовской пластинки, чего-то стоит. Францу только не нравилось, что он примкнул к этому антисемиту, господину Гитлеру, словно тот может стать ему новым отцом; Франц видел фотографии Гитлера—такие лица его не интересовали. Лицо тупого и посредственного человека. Тут уж Франц был на стороне старого Гиммлера, не терпевшего свастики в Виттельсбахской гимназии,—он ведь не мог допустить, к примеру, чтобы Хуго Алеттер и Шорш Бернштайн подрались. Согласен, он слишком резко напустился на Хуго, хотя в школе предостаточно апостолов свастики, но с ними он связываться не хочет, а предпочел привести аргумент с советской звездочкой, против которого никто не мог возразить, он как бы прикрылся,

желая свастикой уравнять какой-то особый счет.

Внезапно мысли Франца Кина замерли—рука, только что указывавшая на Хуго Алеттера, опустилась на плечо Франца, и Рекс спросил:

— Ну, Кин, а как обстоит с твоим греческим?—Он сделал ударение на слове «твоим».

Исключено, подумал Франц. Этого не может быть. И тут же: вот оно! Все! Сейчас Рекс станет проверять мой греческий. Господи боже мой. Боже милостивый. Какое несчастье. Несчастье случилось. Так, наверно, чувствует себя человек, когда на него наезжает машина. Внезапно его толкает что-то железное, опрокидывает на дорогу. «Садись, лучше я за другого примусь!»—этой фразы никто не произнес, то была лишь безумная надежда, тут же угасшая, как только Франц поднялся, ибо ученику, к которому обратился учитель, положено подняться, Франц и поднялся, встал возле парты, потому что тоже вымахал не по возрасту и между скамьей и пюпитром стоять не мог. Он знал, что на вопрос, как обстоит с его греческим, ему незачем отвечать, просто не следует отвечать, да ему и нечего, совершенно нечего ответить, он стоял, оглушенный тем невероятным, что, подобно покрывалу, опустилось на него, и ему действительно показалось, будто в глазах помутилось, поле зрения сузилось, он едва ли замечал, как злорадно уставились на него сидящие вокруг одноклассники.

Вопрос, как обстоит с его греческим, прозвучал слегка снисходительно, так, будто Рекса лишь отчасти интересует, как Франц справляется с древнегреческим, но голос стал на тон жестче, когда он добавил:

— Надеюсь, к греческому ты приложил немножко больше труда, чем к латыни, в которой ты ведь не очень-то покрыл себя славой.

Тем самым он продемонстрировал классу, что успехи Франца Кина ему не менее известны, чем успехи Конрада Грайфа. По-видимому, он изучил табели каждого ученика, прежде чем направиться в класс, и заранее определил, за кого возьмется. Пусть класс знает, что он ничего не оставляет на волю случая, что он тщательно приготовился к встрече с ним,—он хочет, чтобы класс это знал.

Франц продолжал стоять. А может быть, Рекс все-таки не вызовет его к доске и дело ограничится несколькими устными вопросами? Какое-то мгновение он надеялся, что чудом избежит кошмара, так как Рекс сказал, хотя и с коварной усмешкой:

— Это достойно—восславлять Франца Кина.

Франц уставился на него как на привидение, нижняя губа от удивления отвисла. Что он хочет сказать, думал он, мы ведь не проходили ни единой фразы, в которой встречалась бы моя фамилия. Он разыгрывает меня. Он хочет смешать меня с грязью.

— Ты, кажется, удивлен,—сказал Рекс.—Будь добр, напиши вот эту фразу на доске. По-гречески, конечно. Вы ее проходили на последнем или предпоследнем уроке...—он полуобернулся к учителю, и Кандльбиндер воскликнул: «В прошлый вторник!»,—...как простейший пример употребления инфинитива,—продолжил Рекс.—Инфинитив в качестве обстоятельства образа действия. Ты знаешь, что такое «обстоятельство»?

Франц молчал, лучше ничего не говорить, чем сказать что-то неправильное, думал он, и Рекс, видимо, был того же мнения.

— Тебе и не надо знать,—сказал он, прежде чем добавить:— Но эту фразу ты должен знать. Вы должны были выучить ее к сегодняшнему уроку.

Повернутой кверху ладонью он, будто любезно приглашая, а на самом деле зловеще, неумолимо, указал на доску, Кандльбиндер отступил в сторону, освобождая темное грозное поле, почти пустое—на доске было только обозначение трех сдвоенных согласных, которое начертил Вернер Шрётер в левом верхнем углу и не успел стереть, когда поспешно вернулся на свое место, потому что Рекса мало интересовали первые ученики.

Рекс последовал за Францем—да он прямо-таки крадется за мной, подумал Франц,—но не сел за кафедру, а взял грамматику, посмотрел на раскрытую страницу и процитировал, повернувшись к Кандльбиндеру:

— «Обстоятельство образа действия при прилагательных»! Цэ-цэ-цэ—и это-то должны понимать четырнадцатилетние?! И еще тут написано: «Супин II, или дательный цели, или относительное придаточное предложение следствия». С ума сойти можно!—Его голос звучал неприкрытой издевкой. Обращаясь к классу, он спросил:—Кто-нибудь из вас знает, что такое «относительное придаточное предложение следствия»?—Ни одна рука не поднялась, и он снова повернулся к Кандльбиндеру:—Вот вам результат. Я, кстати, тоже не знаю этого, во всяком случае, мне надо хорошенько подумать, что сие могло бы значить—«относительное придаточное предложение следствия».—Он тяжело положил руку на книгу.—Ох уж эти авторы учебников!—прогромыхал он.—Они считают, что, если пишут для гуманитарных гимназий, надо всё и вся сводить к понятию.—Он остановился, покачал головой.—Пора мне наконец поискать грамматику, которая была бы доступна ученикам младших классов,

которая была бы наглядна. Учебный материал должен быть наглядным, иначе он просто мертвый груз.

Франц не слушал, из всего сказанного он ухватил только, что по крайней мере на сей раз может безоговорочно согласиться с Рексом, но на его рассуждениях он не сосредоточился, радовался лишь, что, пока тот произносит громкие укоризненные монологи, Францем он заниматься не будет.

Внезапно монолог оборвался. Острые голубые, обрамленные тонким золотым ободком глаза уставились на Франца, которому ничего другого не пришлось в голову, кроме как взять в руку кусочек мела. Рекс посмотрел на доску и лицемерно удивился:

— Как, фраза еще не на доске? Я думал, ты давно ее написал.

Франц беспомощно стоял у доски, наполовину повернувшись к Рексу, но с опущенными глазами. Он с трудом вспомнил фразу, не имея, однако, представления, как она выглядит в греческом начертании. Да, верно, подумал он, в прошлый вторник мы что-то такое проходили, но с тех пор я ни разу не заглянул в учебник, в такую чудесную погоду разве усидишь дома после обеда, а вечером я читал Карла Мая «По дикому Курдистану».

— Это достойно—восславлять Франца Кина, потому что он способный и прилежный ученик,—сказал Рекс с явным удовольствием.—Начиная с «потому что» мы имеем относительное придаточное предложение следствия, не так ли, господин доктор?

Францу не видно было, что стоявший у двери штудиенрат кисло-сладко улыбнулся. Только по торжествующей фразе Рекса: «Вот видите, как это просто!»—он мог заключить, что Кандльбиндер согласился со своим начальником.

— Итак, вперед!—сказал Рекс Францу.—Не задерживай нас. От «Франца Кина» я тебя, разумеется, освобождаю. Напиши попросту так, как написано в грамматике: «Это достойно—восславлять страну».

Заметив, что Франц не может подступить к началу фразы, он сообразовал прийти на помощь.

— Estin,—сказал он.

— Ах да,—вполголоса сказал Франц, тщетно пытаясь внушить Рексу, будто у него сейчас просто выскочило из головы то, что он, конечно же, выучил. И это «ах да» прозвучало смущенно-живо.

Все же ему удалось написать это слово на доске—εστιν. Совсем нетрудное слово.

Он опустил руку с мелом, напряженно вперил взгляд в доску, делая вид, будто ему надо подумать, но он вовсе не думал, он

знал, что нет смысла думать, все равно продолжение фразы не придет ему в голову. Никогда. Ни за что.

— Попробуй вслух произнести эту фразу, если уж написать ее ты не можешь,—предложил Рекс.

Ответом ему было мучительное молчание. Рекс потерял терпение.

— Да ты просто спал в прошлый вторник!—Он отчеканивал каждое слово, отдававшееся в ушах Франца и всех в классе как удар молотка:— *Estin... axia... häde... hä... chora... epaineisthai*<sup>1</sup>.

Слышал ли это Франц, еще скованный ужасом оттого, что его все-таки вызвали к доске? Во всяком случае, он запомнил, что за «*estin*» последовало «*axia*», и ему удалось написать это слово без ошибок—шпаргалкой послужили оставленные на доске Вернером Шрётером сдвоенные согласные, вовремя напомнившие ему, как пишется по-гречески «х», и удержавшие его от того, чтобы воспользоваться латинской буквой.

На двух словах, прозвучавших как козье бляение—*hä... hä*,—он застрял. Ему потребовалось слишком много времени, чтобы вспомнить, что в греческом нет буквы «h», и как раз в тот момент, когда он вспомнил, Рекс укоризненно сказал:

— В греческом нет глухого придыхательного звука. Это ты, надеюсь, знаешь?—Франц кивнул.—Ага,—сказал Рекс,—тогда ты, стало быть, не знаешь, как пишется «eta».

Он подошел к доске, взял мел и написал оба слова—*ηδε* и *η*. В твердом, волевом начертании они стояли рядом с несобраным, крючковатым, неуверенным *αξια*, которое накарябал Франц.

Подлость какая, подумал Франц, дал бы он мне на две секунды больше времени и я вспомнил бы букву «eta», я ведь хорошо усвоил греческий алфавит, иначе я не сумел бы хоть как-то написать на доске фразу, которую вообще не учил, ведь, когда мы после пасхи начали греческий, я алфавит учил с удовольствием, мне нравились буквы, они такие красивые, но потом, когда пошла зубрежка грамматики, у меня пропал интерес.

— Мне следовало бы отправить тебя на место,—сказал Рекс,—ибо уже ясно, что ты ничего не учил и ничего не знаешь. Но попробуем продолжить, Кин, мне хочется выяснить степень твоей лени и невежества.

Он не желает даже признать, что я—по крайней мере до сих пор—слова написал без ошибок. «*Häde*» и «*hä*» я бы еще тоже написал правильно. Но он опередил меня своим козлиным

---

<sup>1</sup> Это достойно—восславлять страну (*греч.*).

блеянием. Он хочет меня доконать. Как и проректор Эндерс.

Проректор Эндерс преподавал в младшем «Б» математику. Это был маленький неуклюжий человек с необычайно широкими плечами, лицо его покрывала желтая, словно дубленая, кожа. Однажды, раздавая стопку проверенных школьных работ—Франц, как всегда, ожидал свою привычную единицу,—он объявил на весь класс: «А Кин с грехом пополам заработал наконец тройку!»

— Давай побыстрее завершим наше грустное представление,—сказал Рекс.—Choga... choga... choga...—добивал он Франца, извергая из себя «ch» в начале слова как гортанный звук.

Францу и на этот раз удалось найти требуемое обозначение—правильное обозначение для «ch».

Он написал: χωρα.

— Черт возьми,—насмешливо сказал Рекс,—вот это достижение!—Похвала прозвучала так, будто Франц только что научился складывать два и два.—Теперь осталось еще только «eraïneisthai»,—продолжал он.—Ну а оно не составит для тебя труда.

Франц нерешительно подступился к этому длинному слову. Ему мешало то, что, пока он медленно рисовал на доске букву за буквой, Рекс поучал класс:

— «Eraïneisthai»—это и есть инфинитив, о котором толкует грамматика. «Это славно—восславлять страну»,—перевел он, находчиво ввернув пришедшую ему в голову аллитерацию.—Это так же, как в немецком. Не понимаю, почему ваш учебник представляет дело так, будто греки делали с грамматикой что-то несусветное.

— Нет, господин директор!—вдруг заявил о себе возмущенным голосом Кандльбиндер.

До сих пор класс частью равнодушно, частью насмешливо смотрел, как их классный наставник молча мирился с тем, что Рекс, вместо того чтобы наблюдать, стал вести урок, и Кандльбиндеру не удалось блеснуть в роли учителя—он стерпел это без сопротивления, но своей неуместной, по мнению Кандльбиндера, критикой учебника по грамматике Рекс преступил все границы, с этим нельзя, невозможно примириться. Смотри-ка, подумал Франц, Кандльбиндер встал на дыбы; он с интересом наблюдал, как специалист в учителе восполнял то, что природой ему не было дано: он обрел способность противоречить своему начальнику.

— Нет, господин директор,—сказал Кандльбиндер, и прозвучало это не только возмущенно, но чуть ли не оскорбленно.—Грамматика ставит здесь только задание: перевести немецкую

наречную форму «достойно» на греческий. И она хочет сказать, что прилагательное, употребляемое как обстоятельство цели, в греческом требует инфинитива, в то время как в немецком мы вполне могли бы воспользоваться и другими возможностями.

Он торжествующе подчеркнул «могли бы» — этот, как ему казалось, последний и самый убедительный аргумент в цепи его доказательства.

— Вы так думаете? — ответил Рекс. Он говорил кротко, в тоне осторожного сомнения. Он помолчал, затем голос его стал прямо-таки елейным: — Боюсь, господин коллега, здесь не место для спора о различии между «наречным» и «наречием». Ведь тогда наша беседа вышла бы за пределы этого вопроса. Не так ли, господин доктор?

Франц написал наконец тот инфинитив, о котором шла речь, и повернулся. Он переводил взгляд с Рекса на классного наставника — Рекс чувствовал себя победителем, а по Кандльбиндеру было видно, что он борется с собой: продолжать спор или придержать язык. Является ли слово «αἰα» наречием или наречным во фразе, которую Франц с таким трудом, но все же кое-как, хоть и с подсказкой, нацарапал на доске? Ему, Францу Кину, совершенно наплевать, лишь бы только спор между обоими учителяшками продолжался, хорошо бы до конца урока, пока резкий звонок в коридорах гимназии, словно по волшебству, не положит конец этому кошмару.

Но Рекс прервал дискуссию со студентом, заявив:

— Оставим! Все равно они будут проходить этот материал только в пятом классе.

Он снова повернулся к Францу, посмотрел, качая головой, на написанное им *επειμενοει*, подошел к доске, взял с полочки под доской тряпку, еще влажную после того, как ею пользовался Вернер Шрётер, стер «е» после «pi» и «theta», вписав вместо них «а», после чего в смеси разных почерков — неровного и вялого Франца Кина и строгого, уверенного старого Гиммлера — на доске предстало правильное *επειμενοαι*.

— Я ведь отчетливо произнес смену в слогах «ai» на «ei», — сказал Рекс. — Но кажется, ты не способен даже и слушать. Ты, — сказал он, подчеркнув это «ты» тоном, в котором безошибочно угадывалось намерение уже сейчас исключить Франца из класса, из сообщества его одноклассников, — ты не перейдешь в старшие классы.

Франц, хоть и едва заметно, пожал плечами. Последние минуты он больше не потел, скорее ему стало зябко. Рекс, значит, отказался от него. Не исключил, как Грайфа, для этого я не дал

ему повода, думал Франц, да я ведь и не строптив, как Грайф, но он отказался от меня. Хорошо, что он отстанет от меня с этим экзаменом и вызовет к доске другого. Если я все равно остаюсь на второй год, ему незачем сейчас меня экзаменовать.

— Нет, не стоит восславлять Франца Кина,—сказал Рекс.

Неостроумно, подумал Франц, но так задумано. Он и выискал-то эту фразу, чтобы, перевернув ее, ею меня колошматить.

Рекс снова оглядел доску.

— А ведь ты можешь, когда захочешь,—сказал он.— Но ты не хочешь.

Это утверждение тоже не ново для Франца. Он регулярно слышал его от отца и всех своих учителей. Оно опостылело ему донельзя. Чушь, думал он, чушь, чушь, чушь. Если они правы, почему же никто не спросит, *почему* я не хочу?

Я сам этого не знаю, подумал он.

Неприятно, что Рекс все не отставал. Вместо того чтобы движением руки отправить его наконец на место, он спросил:

— Задумывался ты, собственно, когда-нибудь, кем хочешь стать?

— Писателем,—сказал Франц.

Рекс оттолкнулся от кафедры, на которую облокачивался. Он выпрямился и уставился на Франца.

Он просто остолбенел, подумал Франц. Вот уж чего он не ожидал. Он думал, я опять ничего не скажу, буду только молча таращиться. Но я ему сказал, что хочу стать писателем, потому что это правда. Не хочу стать никем другим, только писателем.

— А?—спросил Рекс. Это обычное, почти вульгарное «А?» было первым звуком, который он произнес после заявления Франца. Оно слилось с хихиканьем, раздавшимся с некоторых парт. Но он тут же взял себя в руки, решив проявить понимание, благорасположение.

— Что же ты подразумеваешь под словом «писатель»?

Франц поднял и снова опустил плечи.

— Человека, который пишет книги,—ответил он.

Глупый вопрос, подумал он, Рекс считает, что, раз мне всего четырнадцать лет, я не знаю, что такое писатель.

— А какие книги ты хотел бы писать?—спросил Рекс таким тоном, что Франц не понял, обращается тот к подростку, у которого каких только не бывает фантазий, или Рексу и впрямь интересно, что ученик ответит, то есть принимает его всерьез. Вот была б потеха, если бы Рекс принимал меня всерьез!

— Еще не знаю,—ответил Франц.

Когда стану старше, я буду это знать, думал он. В восемнад-



цать или двадцать лет. Он взвешивал, рассказать ли Рексу, что писал еще маленьким мальчиком, но, конечно, и речи не могло быть о том, чтобы сделать это здесь, перед всем классом. Класс заржет. В отцовском книжном шкафу он нашел издание Шекспира и зачитывался им. Король Генрих Четвертый. Король Ричард Третий. У отца были листы желтоватой линованной канцелярской бумаги, и Франц исписывал их драмами в шекспировском стиле. Сколько лет ему было тогда—восемь, девять или десять? Ходил он еще в начальную школу или уже в первый класс гимназии? Во всяком случае, когда он вспоминал об этих удовольствиях, которым предавался втайне от родителей, от братьев, он любил считать, что был тогда маленьким мальчиком. В конце концов он пришел к убеждению, что надо подождать, пока станет писателем,—писать уже сейчас было бы ребячеством.

— Так, этого ты еще не знаешь,—сказал Рекс одобрительно.—Вполне рассудительный ответ, я даже не ожидал такого от тебя. Надеюсь, ты читаешь хорошие книги. А что ты читаешь особенно охотно?

— Карла Мая,—сказал Франц.

Рекс с отвращением подался назад.

— Ты погубишь свою фантазию!—воскликнул он.—Карл Май—отрава!

То же самое сказал Францу отец, застав его за чтением тома Карла Мая. Он отобрал у него книгу как раз на самом интересном месте—конец Виннету, Францу потребовалось две недели, чтобы достать книгу у соученика и дочитать ее. Он ненавидел тогда отца. «Карл Май—отрава». Да они ничего не смыслят! Он никогда не перестанет читать Карла Мая. Может быть, потом когда-нибудь. Но не теперь.

Рекс был разочарован полученным ответом—а что бы он хотел, чтобы я читал, подумал Франц, уж не Гёте ли, может быть, или Шиллера?—и снова заговорил—холодно, сухо—об отставании Франца в учебе.

— Если ты хочешь стать писателем,—сказал он уже без всяких церемоний, насмешливо повторив название профессии, которую собирается избрать Франц,—тогда я не понимаю, почему ты не даешь себе труда заниматься языками? Латынь! Греческий! Да ты должен всем сердцем любить их. Грамматика! Как может человек стать писателем, если его не интересуется грамматика!—Помимо его воли презрение вытеснилось возмущением.

Что это он вдруг распелся о грамматике, подумал Франц, ведь только что он говорил, что не следует верить всему, что написано

в грамматике, но речь вовсе не о том, речь о том, что я не хочу учить не только латынь и греческий, а вообще не хочу учиться, к математике у меня нет способностей—ладно, тут ничего не поделаешь, но по немецкому языку, по истории и географии я легко мог бы выжать лучшие отметки, чем эти вечные тройки, из которых не вылезая, даже на природоведении я клюю носом, хотя старый профессор Буркхардт мне симпатичен и я ему как будто тоже, да что там—игра на скрипке и то не увлекает меня, до чертиков скучно это пиликанье на низких тонах, а мне ведь так хотелось играть на скрипке. Всем сердцем любить? Еще чего. Только не в школе.

Но почему, почему, почему? Ведь большинство других учат же эту чушь, с легкостью разделяются со своими заданиями, есть, конечно, несколько человек, которые просто тупы, они могут напрягаться сколько угодно, но все равно ничего не добьются, а вот Вернеру Шрётеру вообще не надо ничего учить, он сразу все запоминает, на лету схватывает. И все-таки я мог бы, если бы захотел. Раз они все говорят, это, наверно, так и есть. Но я не хочу. Все они добиваются, потому что хотят. Надо только хотеть чего-то, тогда оно получается. Если же кто-то не хочет, он лентяй, и они правы, я ленив, я сижу как парализованный над домашними заданиями и что-то небрежно малюю или откладываю на вечер и бегу на улицу. В школе скучища, скучища, скучища! Буркхардт единственный, кто иной раз говорит мне: «Кин, опять тебя мечты унесли за окно!»

И сейчас, даже сейчас, после этих ужасных минут экзамена, он отметил про себя, что в окне за спиной Рекса сияет нежно-зеленый, переливающийся белыми и золотыми блестками свет, там, за окном, сейчас тепло, не жарко, а приятно тепло, как бывает в мае, самая подходящая погода, чтобы играть на воле, например, в «жандармы-разбойники». Франц научился с помощью бельевых жердей переноситься через стены задних дворов—разбег, подтягивание, переброс,—но по гимнастике в школе у него двойка, неудовлетворительно. Должно быть, он в этот момент сделал какое-то движение, по которому Рекс понял, что в мыслях своих он где-то далеко от доски, что он отключился от всей этой неприятной проверки его греческого.

— Оставаться на месте! Может быть, ты будешь так добр и поставишь знаки ударения на словах? Мы здесь ничего не делаем наполовину,—поучал он Франца,—в особенности в греческом. Греческие слова без ударений—это было бы...—Он замолчал, не найдя подходящего слова для обозначения чего-то омерзительного, что представляют собой лишенные знаков ударения греческие

слова. Затем добавил:— Может быть, ты сумеешь улучшить впечатление, которое произвел на меня, показав, что владеешь хотя бы акцентуацией греческого языка.

Этого еще не хватало, подумал Франц. Когда он повернулся спиной к классу, ярко-зеленый свет погас, доска была черной, грязно-черной, он опять прочитал фразу, утверждающую, что это достойно—восславлять страну; про ударения я и понятия не имею, ни малейшего понятия,—он наугад поставил акут на  $\epsilon$  в слове  $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$ , Рекс произнес «мгм», но, когда Франц хотел продолжить, перейти к  $\alpha\xi\iota\alpha$ , он остановил его и сказал:

— На « $\epsilon\sigma\tau\iota\nu$ » еще чего-то не хватает.

Чего тут может не хватать, раздумывал Франц, но неустанное глазение на слово ответа не дало, Рекс снова подался к доске и собственноручно поставил перед акутом еще какой-то знак, похожий на повернутый налево полукруг. Теперь на доске было написано— $\acute{\epsilon}\sigma\tau\iota\nu$ .

— Знаешь ли ты хотя бы, как называется этот знак?— спросил Рекс и, не получив ответа, сказал:— *Spiritus lenis*<sup>1</sup>. Это знак придыхания. Так как у греков не было буквы «h», они выражали ее знаком. Но забавно, что, если в слове им «h» не требовалось, они должны были выражать это знаком. Так,— сказал он,— а теперь перейдем к « $\alpha\xi\iota\alpha$ ».

Поскольку Рекс выделил второй слог, Франц быстро поставил акут на «i». Теперь на очереди были « $\h\ddot{a}de$ » и « $\h\ddot{a}$ », козлиное блеяние, но, прежде чем Франц подступился к проблеме расстановки знаков ударения в словах, звучавших так, будто из-за плеча на него со злорадной ухмылкой глядит древний грек, Рекс опять задержал его.

— Стало быть, слово, которое я тебе сейчас подсказал, звучит не « $\alpha\xi\iota\alpha$ », а « $\h\alpha\xi\iota\alpha$ »,—сказал он саркастически.

— Ах так,—сказал Франц и поставил только что выученное *spiritus lenis* на «a» из начального слога.

— Прекрасно,—сказал Рекс и призвал класс:— Переймите этот пример быстрой сообразительности!— Когда кое-кто захихикал, он добавил:— Я говорю это совершенно серьезно. Кин только что показал, что он может, если хочет.

Но перед « $\h\ddot{a}de$ » и « $\h\ddot{a}$ » Франц снова беспомощно застрял. Он смутно чувствовал, что недостаточно поставить акут на «ä» в « $\h\ddot{a}de$ », надо найти глухой придыхательный знак для буквы «h», которую древние греки произносили, хотя она и отсутствовала в их алфавите, но знака он не знал, хоть убей. Мне ничего не

<sup>1</sup> Слабое придыхание (лат.).

приходит в голову, думал он, потому что я никогда не слушаю, когда Кандльбиндер, этот скучняга, читает свои лекции. Он говорит, говорит, говорит, но ничему научить не может.

— Вот ты и стоишь как баран перед новыми воротами,— сказал Рекс,— потому что не знаешь, как греки выражали звук «h», когда это им нужно было для написания начального звука. А ведь ты должен это знать, ибо уже на первых уроках греческого вас этому обучали. Но тебе ведь незачем слушать. Не правда ли? Ах,—сказал он презрительно, так, будто напрасный труд— продолжать заниматься Францем Кином, но мел он все еще держал в руке и снова нарисовал полукруг над умлаутом «ä», на сей раз повернутый направо.— Вот так-то,—сказал он,—само собой напрашивающееся логическое рассуждение должно было бы навести тебя на мысль, что *spiritus asper*<sup>1</sup>—это всего лишь противоположность *spiritus lenis*.

Оборот «само собой напрашивающееся логическое рассуждение» устыдил Франца. Рекс прав, думал он, мне следовало это сообразить, но со мной часто случается, что я не могу сделать самых малых, самых простых выводов, другие бывают куда находчивее меня. Он поспешно поставил *asper* еще и на следующем за «hāde» одиноко стоящем «hā», со словом «choга» он справился легко, наконец-то в этой проклятой фразе оказалось слово, начинающееся согласной буквой, так что достаточно было снабдить «о» акутом.

— Тебе повезло,—сказал Рекс,—странно, что греки омегу в слове «choга» выговаривали кратко, так что здесь действительно достаточно акута.

Теперь оставалось еще только исправленное Рексом *epaineisthai*, здесь начальному «ε» не предшествовал никакой знак придыхания, и потому требовался лишь *lenis*, а так как Рекс, произнося это слово, выделил третий слог, акут следовало поставить на «ε» в «ει». Готово!

Но Рекс удрученно покачал головой.

— *Epaineisthai*,—сказал он, неестественно растягивая в длину «ει», и это звучало так, словно он отделяет гласные «е» и «i» друг от друга, его голос возвысился, сдвоенные гласные прозвучали пронзительно.—Здесь нужен другой знак ударения,—сказал он,—подумай, как следует, может быть, ты и вспомнишь его!—Он со вздохом стер акут над «ε» и вместо него начертил горизонтальную волнистую линию над «i».—Знаешь ли ты хотя бы, как этот знак называется?—спросил он.

---

<sup>1</sup> Сильное придыхание (лат.).

Какой смысл, думал Франц, продолжать делать вид, будто ответы на его вопросы мне просто сейчас не приходят в голову. Поэтому он тихо, но сразу же сказал:

— Нет.

— Он называется сиркумфлексом,—сказал Рекс, кивнув головой, словно заранее знал, что Франц понятия иметь не может, как называется этот знак.—Ударения приведены на третьей странице вашего учебника по грамматике. Вы это давно проходили. Оно и понятно—в греческом не продвинуешься ни на шаг, пока не сумеешь и во сне без запинки назвать ударения. Но ты,—сказал он,—ты все это пропустил. Что ты, собственно говоря, делал, когда вы проходили ударения? Алеттер,—вдруг крикнул он в класс,—загляни-ка в парту Кина, не лежит ли там какая-нибудь из этих бульварных книжонок Карла Мая!

Хуго, этот трус, предаст меня, подумал Франц, он сейчас вытащит из-под пюпитра «По дикому Курдистану», но Хуго не предал его, он перегнулся через сиденье Франца, долго рылся в его парте, затем поднялся и сказал:

— Здесь только несколько тетрадей, господин обер-штудиендиректор.

Здорово, подумал Франц. Хуго все-таки порядочный парень.

Рекса же это снова отвлекло от написанной на доске фразы, но теперь он не мог удержаться от желания еще раз прочитать ее Францу от начала до конца с правильными ударениями; он продекламировал ее со всеми ударениями, со всеми повышениями и понижениями.

— ἔστιν ἀξία ἥδε ἡ χώρα ἐπαίνεσθαι,—так она прозвучала, и Рекс восторженно воскликнул:—Вот это и есть язык Гомера и Софокла! Теперь ты понимаешь, что греческий немислим без ударений? Они создают мелодию этого языка, самую простую фразу превращают в творение искусства. Понимаешь ты это?

— Да,—ответил Франц, ответил смущенно, потому что в этот момент он в самом деле это понял.

— Трудно поверить,—сказал Рекс отрезвевшим, почти циничным голосом, в котором, однако, слышалось удовлетворение достигнутым муштрой успехом. И, словно в награду за то, что ученик что-то понял, Рекс раскрыл сокровищницу своих знаний. На свободной поверхности доски он начал чертить своего рода таблицу. Oxytonon, прочитал Франц, потом, вдоль перпендикулярно начертанной линии одно за другим Paroxytonon, Proparoxytonon, Perispomenon, Properispomenon.—Слышал когда-нибудь?—спросил Рекс. Не дожидаясь ответа, он сказал:—Конечно, слышал, классный наставник наверняка объяснял вам

слова, обозначающие место ударения в слове. Только ты, наверное, тогда тоже, ну, скажем так: мысленно отсутствовал.

Своим четким, твердым, уверенным почерком он закончил таблицу. Он даже заключил ее в рамку, внутри которой двумя перпендикулярными чертами образовал три рубрики. Франц прочел:

---

Oxytonon	Akut, Gravis	последний	слог
Paroxytonon	Akut, Gravis	предпоследний	слог
Proparoxytonon	Akut, Gravis	третий от конца	слог
Perispomenon	Zirkumflex	последний	слог
Properispomenon	Zirkumflex	предпоследний	слог

---

— Перепишите это все,—приказал Рекс классу. Услышав шелест тетрадок, он сказал Францу: — А ты, Кин, объясни им, что означает этот список.

Рукой, которая держала мел, он указал на слово oxytonon.

— Акут на последнем слоге слова называется oxytonon,—сказал Франц. Он произнес это запинаясь, но подумал: да это же так легко.

— Браво,—сказал Рекс.—Ты не глуп. Просто ленив. Quod erat demonstrandum<sup>1</sup>. Продолжай!

Франц хотел было приступить к объяснению слова paroxytonon, но не успел, так как в этот момент включился Кандльбиндер, специалист в нем—штудиенрате докторе Кандльбиндере—не мог больше выдержать Рексовых методов обучения.

— Нет, господин директор,—начал он, как раньше, но на сей раз не возмущенно или чуть ли не оскорбленно, а вынуждая себя к кротости и вежливости, так, словно он хочет по-хорошему убедить его,—нет, господин директор, ведь ряд ultima<sup>2</sup>, raenultima<sup>3</sup> и anteraenultima<sup>4</sup> обозначает не ударения, а слова целиком! Не ударение называется oxytonon, а все слово, в котором акут или гравис появляется на последнем слоге.

Рекс онемело слушал его речь. Затем случилось то, чего весь класс и наверняка сам штудиенрат никогда не могли бы ожидать от него: он потерял самообладание.

---

<sup>1</sup> Что и требовалось доказать (лат.).

<sup>2</sup> Последний слог (лат.).

<sup>3</sup> Предпоследний (лат.).

<sup>4</sup> Третий от конца (лат.).

— Замолчите! — закричал он на классного наставника. И еще раз: — Замолчите, господин Кандльбиндер! — Даже «доктор» он опустил, подумал Франц, так разъярился, что назвал учителя просто господином Кандльбиндером. Как он обрушился на него! И все из-за меня. Ну и свинья же я, раз мне нипочем, что Рекс так одернул Кандльбиндера перед всем классом. — Я вызываю ученика из вашего класса, — воскликнул гневно Рекс, — и что выясняется? Он не усвоил даже простейших основ греческого языка. С пасхи, вот уже шесть недель, он бездельничает на всех уроках, а вы, — в его голосе загрохотала неприкрытая лютая злоба, — вы вообще этого не заметили. Вы ничего не заметили, не отпирайтесь, иначе вы заставили бы его оставаться после уроков, пока он не почернеет, или пришли бы ко мне и откровенно, честно сказали: я не могу справиться с Кином. Ведь самое скандальное в этом Кине не то, что он лодырь, какого свет не видывал, — подобного рода лодыри есть в каждом классе, — а то, что до нынешнего урока он на ваших занятиях всегда умел выкрутиться. Цэ-цэ-цэ! И вы еще осмеливаетесь перебивать меня, когда я прошупываю его и пытаюсь, как это только что было, вдолбить ему простейшие правила, с помощью которых он сможет, если захочет, хоть что-то наверстать. Но, конечно, слишком поздно, потому что вы, господин доктор, целых шесть недель позволяли ему бить баклуши.

Обращение «господин доктор» свидетельствовало, что он снова взял себя в руки.

— Совершенно верно, вдолбить, — сказал он, оставляя в покое Кандльбиндера и начиная новый монолог. — В гимназии во Фрайзинге нам с самого начала безжалостно и беспощадно вдавливали эти *oxytona* и *perispomena*. И без хитроумных различий между словами и ударениями. Ударение на последнем слоге — это и был *oxytonon*, а циркумфлекс на предпоследнем — *properispomenon*, так нас учили в епископальной гимназии во Фрайзинге, и это правильно, потому что это просто. Ведь достаточно услышать только такое слово, как «*anthropos*», чтобы сказать себе: «Ага, *proparoxytonon*» — и поставить акцент на третьем от конца слоге.

Что касается всяких «ага» и «ого», подумал Франц, я бы тоже так говорил, если бы только мне подсказывали, хотя я никогда не слышал обо всех этих *oxytonon*-и-тому-подобной-ерунде, собственно, это вовсе не просто, скорее даже сложно — сперва надо подумать: *oxytonon*, прежде чем поставить акцент; он ожидает, что Кандльбиндер возразит в таком духе Рексу, но классный наставник был потрясен — правда, не крайне уязвимой аргумен-

тацией Рекса в учении об ударениях, а—нет никакого сомнения!—обвинением в полной педагогической несостоятельности по отношению к ученику Кину; в присутствии всего младшего «Б» его в такой форме отчитали, что он лишился дара речи, он знает, что дело будет иметь продолжение в кабинете ректора или на учительском совете. Боже мой, думал Франц, ну и заварил же я кашу!

Словно желая несколько уменьшить вину их учителя, Рекс снова ткнул пальцем в лежащую на кафедре книгу и сказал:

— Грамматика, которой вы пользуетесь, недостаточно проста. Если не найду лучшей, я сам напишу для вас более простую.

Вдруг он снова напал на Франца Кина.

— Попробуй-ка перечислить правила ударения,—потребовал он.—Но наизусть! Не глядя на доску!

— Охутопон,—начал Франц—сперва медленно, но потом все более бегло,—Paroxuтопон, Proparoxuтопон, Perisроmenон, Properisроmenон.—Он сам себе поразился; как это я справился, подумал он, наверно, дело просто в том, что мне этот ряд слов нравится. Он логичен и красиво звучит.

— Ну вот видите,—сказал Рекс, не показывая удивления, но и явно довольный, видно было, что он не сомневался в результате, он только прикидывался старым придирой, подумал Франц, почитателем Сократа, знатоком Гомера и Софокла, он воображает, что за пять минут втолковал мне греческое учение об ударениях, потому что я сумел с ходу пробубнить его формулу, но она же звучит как мелодия, как произведение искусства, тут он прав, а с Кандльбиндером мы зубрили только знаки, однако, если бы меня интересовал греческий, я все-таки учил бы его лучше уж по методу Кандльбиндера. Путем размышлений.

К чести Рекса, он не бросил торжествующего взгляда в сторону Кандльбиндера, а подошел вплотную к Францу, взялся за лацкан его пиджачка и заговорил с ним тихо, вроде бы шепотом, но этот шепот, подумал Франц, слышен всему классу, это просто ужимка, его шепот, он и не умеет говорить так тихо, чтобы не все его слышали.

— Знаешь, что делают умные ученики, если не хотят учиться?—спросил Рекс. У него был такой вид, будто он хочет выдать Францу тайну.

Франц был так оглушен внезапной близостью Рекса, доверительным тоном человека, который все время стремится доконать его, во что бы то ни стало доконать, что он даже не смог придать глазам выражение хотя бы вежливого вопроса. Он только чувствовал, что повис вместе с пиджачком на руке мощного



мужчины и что эта ухватка ему неприятна.

— Они выучивают наизусть,— прошептал Рекс. Он втягивал Франца в заговор.— Если бы ты дома выучил наизусть фразу, на которую я сейчас натаскивал тебя, ты с блеском обманул бы меня. Совершенно верно— даже меня! Возможно, я и не догадался бы, что ты ее не понял. И это стоило бы тебе не более трех минут твоего драгоценного времени. Три минуты— и ты отбарабанил бы эту «*estin axia*» без запинки.

Так же быстро, как он приблизился к Францу, он и отдалился от него. Он мне не нравится, подумал Франц, и он это заметил. А почему он мне, собственно, не нравится? От него не плохо пахнет, дыхание чистое, от него исходит запах свежевыбритого человека. Но мне не нравится его живот, покрытый белой рубашкой, живот, которым он прикасался ко мне.

Почему он вообще вцепился в меня? Что это ему вздумалось из сурового экзаменатора превратиться в подсказчика? Но сейчас я не попался, как несколько недель назад, в клозете. И поскольку я на этот раз не попался, он недоволен.

В первый— и до сегодняшнего дня единственный— раз Франц встретился с директором в туалете для школьников, Франц однажды на перемене отправился в клозет и, едва выйдя из кабины в писсуарную, столкнулся с только что вошедшим Рексом, это было смешно, Франц еще никогда не видел, чтобы учитель во время перемены воспользовался уборной для школьников, тут уж, значит, была крайняя нужда, когда человеку не до правил, но Рекс, похоже, не торопился, казалось, он просто собрался инспектировать отхожие места, как он сегодня инспектирует младший «Б», и точно так же, как сегодня, он тогда вплотную подошел к Францу, стал рассматривать его благожелательными голубыми в золотом обрамлении глазами, такими благожелательными, что Франц не только, как предписано, почтительно поздоровался, но и выжидательно улыбнулся; какой же я был идиот, подумал Франц, если полагал, что, раз Рекс приветливо посмотрел на меня в таком месте, он скажет что-то забавное, он и сказал нечто забавное, стоя ближе близкого, деловым тоном и громким шепотом, так что и другие ученики, оказавшиеся в писсуарной, могли отчетливо слышать:

— Ты еще не застегнул ширинку, Кин. Приведи себя в порядок!

Он знал мою фамилию, хотя я еще никогда не имел с ним дела. Вот так. Точно так.

Сегодня Рексу, правда, не удалось вогнать меня в краску, я не побагровел, как тогда, когда он в первый раз подошел ко мне

вплотную. Задним числом мне не в чем его упрекнуть, он правильно сделал, сказав про незастегнутую ширинку, хотя было бы, наверно, лучше, если бы спустя несколько минут Хуго или кто-нибудь другой осклабился и отпустил какую-нибудь шутку. Это было бы менее неприятно, чем взгляд Рекса.

Сегодня я охотнее всего сказал бы ему: снимите свой белый живот с моей куртки! Сказал бы, подумал Франц. Но я, к сожалению, не Конрад Грайф. Уж тот бы ему вмазал.

Да, теперь он, значит, заметил, что своим приближением, своим клозетным шепотом, своим хочу-выдать-тебе-тайну, своим дерьмовым советом насчет выучивания наизусть он ничего не добился, во всяком случае у меня, что я не принимаю его дерьмового совета, потому что не хочу быть умным учеником, вообще не хочу быть учеником. Ну а кем же я хочу быть? Черт побери, сам не знаю, я позднее это узнаю, позднее я буду знать больше, чем мне могут дать в своей треклятой школе этот тупица учителяшка и толстомясый директор, я сам играючи добуду это, ах, ерунда, одно хвастовство, я только годы упущу, если не засяду за зубрежку и не стану долбить сразу, сейчас же...

— Отправляйся на свое место! — сказал Рекс, но Франц тотчас почувствовал, что еще не вправе расслабиться; чтобы сообразить, что сцена еще не окончена, вовсе не требовался его сосед по парте Хуго Алеттер, который со сжатыми губами, качая головой, что-то озабоченно бормотал себе под нос.

«Тебе не следовало так открыто показывать, что терпеть его не можешь», — скажет ему Хуго спустя несколько дней, в один из последних, которые Франц еще провел в Виттельсбахской гимназии; Хуго ведь карьерист, и в ответ на это мудрое замечание Франц лишь пожмет плечами — что поделать, если старый Гиммлер ему несимпатичен.

Рекс спустился с подставки кафедры, некоторое время шагал взад-вперед вдоль первого ряда парт — молча, со скрещенными за спиной руками. Ну и позер, думал Франц; потом Рекс остановился, посмотрел на классного наставника и спросил:

— Что вы предлагаете, господин доктор?

Кандльбиндер отошел наконец на два шага от двери.

— Занятия с репетитором, — сказал он.

Рекс вынул руки из-за спины и пренебрежительно и резко махнул ими. Затем произнес слова, от которых лицо Франца еще раз жарко вспыхнуло.

— Уроки с репетитором дорого стоят, — сказал Рекс. — Его отец не в состоянии их оплачивать. Он не может вносить даже плату за обучение. По просьбе его отца мы освободили Кина от

платы за обучение в школе.

Вот собака, подумал Франц, подлая собака! Публично объявить, что мой отец не может вносить девяносто марок в месяц за обучение! Сто восемьдесят—вот сколько стоит школа, потому что и за Карла надо платить, а с тех пор, как отец заболел, он почти ничего не зарабатывает. Ну и скотина, думал Франц, это надо же—перед всем классом раструбить, что мы стали бедняками, скотина он, этот почитатель Сократа, сволочь, ну да черт с ними, пускай все знают, что Кины стали бедняками, пожалуйста, думал Франц, и лицо его снова стало нормального цвета, хотя он все еще продолжал про себя: вот собака! Даже последующее не лишило его спокойствия, он невозмутимо слушал, что говорит Рекс, только для видимости обращаясь к Кандльбиндеру:

— По просьбе его отца мы освободили Кина от платы за обучение в школе, хотя, согласно предписаниям, мы не имеем таких полномочий. Освобождение от платы за обучение можно предоставлять только выдающимся ученикам. Но я,—«я» сказал он сейчас, подумал Франц,—я думал, что могу сделать исключение для сына награжденного высоким орденом за храбрость офицера, который, вероятно, безвинно попал в трудное материальное положение.—Хорошенькое «вероятно», подумал Франц, мой старик ведь был лишь офицером запаса, и потому он не получает пенсии.—Я думал,—продолжал Рекс,—для такого ученика можно сделать исключение. И чем он отплачивает школе и своему бедному отцу?

Он сосредоточился, прежде чем подвести последнюю черту, а Франц настолько овладел собой, что мог при этом хладнокровно смотреть на него.

— Я даже позволил ему перейти в младшее отделение пятого класса,—сказал Рекс.—С единицей по математике и двойкой по латыни. Это была большая ошибка—я сам себя виню. Он ведь насилу одолел четвертый класс. Его успеваемость по латыни год от года падала. А теперь оказывается, что и с греческим он разыгрывает с нами такой же спектакль—ученик, который воображает, будто может просто не заниматься основными предметами.

Он снова зашагал взад-вперед—от холодной тусклой стены с дверью к светящемуся зеленым маем окну и обратно.

— Нет,—сказал он молчавшему Кандльбиндеру.—Это никуда не годится. Это просто никуда не годится. Ну скажите же: должны ли мы позволить ему еще целый год здесь сидеть, пока не выяснится, что и по греческому он получит единицу—единицу, и никак не больше?

Он задал вопрос не для того, чтобы получить ответ,— он его и не получил, разумеется, Кандльбиндер упорно молчал, склонив голову набок, теперь Рексу незачем даже говорить, что он напишет моему отцу, подумал Франц, как отцу Грайфа, теперь ясно, что меня выгнали, что еще только несколько дней мне нужно приходить в эту клетку, в Виттельсбахскую гимназию, вот здорово, подумал он вдруг, мне не нужно больше проделывать эту бесконечную скучную дорогу от Нойхаузена до Марсплац по Юта- и Альфонсштрассе, по Нимфенбургерштрассе и Блютенбургерштрассе до квартала казарм и пивоварен за Марсплац— до Артиллерийской казармы и пивоварни Хакера,— все сплошь пустынные улицы, которые я каждый день должен отмеривать, теперь с этим покончено, вот только отца жалко, это его подкосит, когда он узнает.

Рекс все еще стоял. Но смотрел он теперь не на Кандльбиндера, а на Франца.

— Твой брат Карл— такого же сорта,— сказал он.— Для меня полнейшая загадка, как он добрался до младшего отделения седьмого класса. Я потребовал, чтобы мне показали его последние домашние задания. Сплошные ошибки! Одним только красивым почерком ему не справиться с годичной программой.

Такого ведь быть не может, думал Франц, чтобы Карла тоже вышвырнули из гимназии! Обоих сыновей сразу! Отец этого не выдержит. Он ведь только этим и жил— надеждой, что мы поступим в университет.

Неожиданно Рекс сменил свой официальный и угрожающий тон.

— Как себя чувствует твой отец?— спросил он.

Франц опешил. Это же надо уметь, думал он, сперва выкинуть Карла и меня из школы, опозорив притом еще перед всем классом отца из-за платы за обучение, а потом справляться о его самочувствии! Подлый лицемер!

— Плохо,— сказал Франц угрюмо.— Он болен. Давно уже.

— О,— сказал Рекс,— мне жаль. Его не порадует известие о том, что его сыновья непригодны для обучения в высших школах.

Опять-таки ушат холодной воды! Немножко сочувствия, но только для того, чтобы показать: болезнь отца ничего не изменит в судьбе сыновей.

Как ни странно, вопреки опасениям Франца отец не принял плохую весть близко к сердцу. Он не разъярился, как обычно, когда Франц приходил домой со своими никудышными табелями. Франц решил, что сам сообщит об исключении из школы, он не хотел, чтобы отец узнал об этом из письма ректора. Возможно,

отец не расшумелся потому, что после ужина прилег на софу; он тогда уже начал по разрешению врачей из Швабингской больницы впрыскивать себе морфий, чтобы заглушить боли в правой ноге, жжение в пальцах, которые вскоре предстояло ампутировать, большой палец на правой ноге уже почернел, отец бледный лежал на софе, это был уже не тот горячий человек с мгновенно вспыхивавшим лицом под черными волосами.

Софа стояла изголовьем к окну, за которым уже чернела ночь, лампа с зеленым шелковым абажуром освещала обеденный стол, с которого была уже убрана посуда, мать Франца положила на стол струганую доску и раскатывала тесто для лапши, доставая его из большого глиняного горшка, Франц смотрел, как она это делает, он любил смотреть, как мать раскатывает тесто для лапши. Его брат Карл молча слушал, пока Франц не закончил рассказа о школе — рассказа, касавшегося и его, — затем подсел к пианино и, как каждый вечер в последние недели, стал разыгрывать никак не удававшийся ему экспромт Шуберта, но Францу эта музыка все равно нравилась; в одну из пауз отец сказал:

— О моем здоровье он справился только потому, что у меня Железный крест I степени.

Вполне возможно, размышлял Франц, эти «герои тыла» втайне питают какой-то страх перед фронтовиками, почему-то боятся, как бы солдаты-фронтовики не сквитались с ними, потому они и прикидываются их закадычными друзьями, справляются об их самочувствии. Значит, что-то тут кроется, хотя, с другой стороны, имеет место и зависть, Рекс наверняка завидует отцову Железному кресту I степени. Дальнейшие же рассуждения отца Франц слушал скептически.

— Кроме того, — говорил отец, — старый Гиммлер хочет быть в добрых отношениях со мной, поскольку знает, что его сын — мой товарищ по «Рейхскригсфлагге».

В этом отец глубоко ошибается, подумал Франц. Если бы Рекс действительно знал, что мой старик в хороших отношениях с его сыном, молодым Гиммлером, он именно поэтому терпеть не мог бы отца.

Тут вмешалась мать. Она тонко раскатала скалкой тесто и начала нарезать его острым ножом на узкие полоски.

— Разве нет госпожи Гиммлер? — спросила она. — Я хочу сказать, что если есть госпожа Гиммлер, то должна же она стараться, чтобы ее муж и сын ладили друг с другом.

Франц Кин-старший не ответил, он закрыл глаза — боли ли его понимали, или он уснул, этого Франц не знал, возможно, отец нарочно отключился, чтобы не отвечать.

Ответил Франц.

— Старый Гиммлер носит широкое золотое обручальное кольцо,—сообщил он ей, подумав при этом, что и обручальное кольцо Рекса только часть маски, которую нацепил на себя сей великий педагог и таскает всю жизнь.

Жаль, что отец уже спал. Франц охотно рассказал бы ему, каково у него было на душе, когда сегодня в полдень в вестибюле гимназии задребезжал звонок. Рекс тотчас же вышел, чтобы не попасть в бесцеремонную толпу сорвавшихся с мест школьников, он лишь коротко кивнул ученикам и Кандльбиндеру, и двери класса снова как бы сами раскрылись перед ним—ему не пришлось и дотронуться до них. Франц, как и все остальные, быстро собрал свои книги и тетради и запихнул их в потертый кожаный портфель, все вокруг кричали, но ему никто ничего не сказал, хотя никто и не обошелся с ним недружелюбно, ему казалось, что все отводили глаза, если случайно встречались с ним взглядом. Обменялся ли Конрад Грайф с ним взглядом? Утверждать это Франц не мог бы; только штудиенрат Кандльбиндер пристально и укоризненно смотрел на него все время, пока он находился в классе. Франц поспешил выбраться из школы—на дворе было тепло, солнечный свет заливал безлюдные улицы, никто из одноклассников не присоединился к нему по дороге домой, но вторая половина дня протекала как всегда, он играл на Лахершмидском лугу в мяч, никто из игравших с ним не посещал Виттельсбахскую гимназию, Франц играл плохо, он чувствовал себя вялым, все время думал о предстоящем вечере разговора с отцом.

Вместо дребезжания звонка в школе он слышал теперь брелчание на пианино, но и оно скоро оборвалось. Маленький брат—восьмью годами младше Франца—уже спал в кровати, стоявшей напротив Францевой. При свете карманного фонаря, подперев голову правой рукой, Франц еще почитал «По дикому Курдистану», потом выключил фонарь и откинулся на подушку.

Perispomenon, подумал он, засыпая, properispomenon.

## К ЧИТАТЕЛЯМ

### 1

Почему для пяти историй (представленная здесь—шестая), в которых описаны некоторые события моей жизни, я придумал человека по имени Франц Кин, персонажа, пережива-

ющего то, что в них описано? Разве не заявлял я уже несколько раз без обиняков, что истории о Франце Кине—это личные воспоминания, попытки написать автобиографию в форме повестей? Франц Кин—это я сам, но, раз так, почему же я беспокою его, а не говорю просто «я»? Почему повествую о себе в третьем лице, а не в первом? Ведь это *меня*, а не кого-то другого, старый Гиммлер экзаменовал по греческому языку и в результате скандального провала на этом экзамене выставил из гимназии. Почему же я, черт побери, прикрываюсь маской, этим Кином, каким-то именем, не более того?

Ответа я не знаю. Поскольку всякий изыск вызывает у меня такую же аллергию, как у школьника Франца Кина (моего второго «я») избитые сократо-софокловы тирады, произносимые обер-штудиендиректором, я прежде всего отказываюсь от отговорки, что Франц Кин обязан своим существованием моему желанию сохранить известную скромность. Самое сокровенное—так тешит себя автор—несколько утрачивает неловкий характер исповеди, если оно исходит из уст третьего лица, пусть и очень прозрачно замаскированного. Но на самом деле все как раз наоборот. Именно рассказ от третьего лица позволяет писателю быть максимально честным. Он помогает ему преодолевать скованность, от которой едва ли можно освободиться, если говорить «Я». То, что некий «Он» (например, Франц Кин в «Старой периферии») не сдержал данного друзьям слова, все же чуточку легче написать, чем напрямик признаться: я бросил товарищей на произвол судьбы. Так, во всяком случае, склонен считать автор. В конце концов, желание быть скромным относится к его лучшим свойствам, большинству читателей понятно это желание; им надоели авторы, все им выкладывающие, но автобиография не допускает, чтобы автор отчуждался, она не игра в прятки, кроме того, мне это ничего не дало бы, никто не поверит, что Франц Кин—это Франц Кин. Скажут: причуда, скажут с раздражением или пониманием, но это не оправдывает прикрывшегося ею автора, если он не говорит о себе.

Но когда вспоминаю, что для других автобиографических вещей я, не раздумывая, использовал форму рассказа от первого лица единственного числа, выбор нынешней повествовательной манеры представляется мне еще более загадочным. «Вишни свободы» и «Вещевой мешок»—это воспоминания. С другой стороны, я написал от первого лица роман «Эфраим», но в противоположность Францу Кину Эфраим вовсе не тождествен мне, он совсем не похож на меня, я настаиваю на этом. Кстати, та книга завершается размышлением, не является ли «Я» наилучшей

из всех масок. В работе писателя случаются такие противоречия.

Однако я подозреваю — и это единственная гипотеза, которую я позволяю себе по поводу существования Франца Кина, — что намерение вспоминать свою жизнь в повестях сыграло со мной злую шутку. Сама форма не то чтобы заставляет меня, но все же рекомендует воспользоваться Францем Кином. Он предоставляет мне известную свободу повествования, которую не допускает «Я», эта тираническая форма спряжения глагола. Я вижу — и это не позволяет видеть ничего другого, кроме того, что я вижу, видел или увижу, в то время как *ему* незачем так сурово сужать поле своего зрения. Я говорю здесь не о внутренней жизни Кина, не о роли фантазии в тексте — то и другое не вправе ни на волосок отклоняться от моей собственной внутренней жизни, от моей собственной фантазии, — а только о передвижных декорациях, выдвигаемых мной на сцену моей памяти, на сцену, на которой я позволяю ему играть. Приведу пример: эпизод с Конрадом фон Грайфом в «Отце убийцы» разыгрывался не на описанном в этой повести уроке греческого, а при других обстоятельствах. (В полной драм немецкой школе авторитарного воспитания никогда не было недостатка в случаях интерполяции сцены приспособления.) Если я выложу эту карту на стол, станет ли, согласно правилам автобиографии, повесть фальшивой, неправдоподобной? Не думаю. Напротив, благодаря этому она мне кажется более достоверной. Вообще автобиографии следует быть *только* достоверной — в пределах границ, которые ставит перед ней это требование, она вольна делать что вздумается. Что я хочу этим сказать? Если бы я утверждал, будто сам присутствовал при той истории со спесивым учеником на экзаменационном уроке, я не то чтобы солгал, но приврал бы. Однако я не вправе позволить себе даже такое невинное удовольствие. Кин же вправе выдавать себя за свидетеля. В его рассказе Виттельсбахская гимназия 1928 года предстает куда зримее, чем через строгое «Я» чистой автобиографии. У формы повествования сложные отношения с объектом жизнеописания. В таких произведениях остается нечто нерешенное, согласен. Но это даже входит в мои намерения.

Ну и довольно об этом Франце Кине. Строптивый он малый.

## 2

Единственные личные документы моего детства и юности, пережившие вторую мировую войну, — школьные табели. С подписанием обер-штудиендиректора Виттельсбахской гимназии:



Гиммлер. Без имени, и я не вправе придумывать его. Единственное, что мною придумано о нем,—его утверждение, что он учился в епископальной гимназии во Фрайзинге. У меня нет сомнения, что такой человек, как он, обучался в кадровой школе баварского ультрамонтанства: в Эттале, Андекссе или Регенсбурге—неважно где. От других же известных мне и достоверных сведений о нем, напротив, пришлось отказаться, к примеру от того, что позднее, когда его сын стал вторым человеком в Германском рейхе, он с ним помирился. Почетный караул СС произвел над его гробом салют. Но может быть, это произошло вопреки его воле? Может быть, старый Гиммлер на смертном одре проклял своего сына? Значит, такие дополнительные сведения не столь уж и достоверны. Франц Кин не мог их привести, ибо знал о Рексе только то, что ему рассказывал отец и что он видел и слышал на том уроке греческого языка и во время краткой встречи с директором в школьной уборной. Взгляд в грядущее, сфабриковать который с помощью, так сказать, кадров из будущего, технически не составляет труда, но это совершенно разрушило бы характер повести как безусловно автобиографической; Рекс и Кин (мое второе «я») в ней могут быть только теми персонажами, какими они были в определенный майский день 1928 года, и никакими другими. Только тогда они, а вместе с ними и повествование, останутся незавершенными. Рассказчик в определенный майский день 1928 года не знал, что с ним, не говоря уж о ректоре Гиммлере, станет, и он надеется, что и его читатели предпочитают незавершенную историю законченной. Не следует писать рассказы так, как составляют документы—торговый договор или завещание.

Лишь название повести проецирует ее на будущее, ибо фиксирует непреложную истину, что старый Гиммлер был отцом убийцы. Характеристика «убийца» для Генриха Гиммлера слишком мягка; он был не просто какой-то особо опасный преступник—насколько хватает моих познаний в истории, он превосходил всех когда-либо существовавших истребителей человеческой жизни. Но название, выбранное мною для повести, фиксирует только исторический факт; оно не претендует на то, чтобы раскрыть индивидуальную, внутреннюю сущность этого человека—Рекса. Было ли предопределено старому Гиммлеру стать отцом молодого? Должен ли в силу «естественной необходимости»,—согласно общеизвестным психологическим закономерностям, по законам наследования от поколения к поколению и по парадоксальной логике семейных традиций,—должен ли родиться у такого отца такой сын? Были ли оба, отец и сын, продуктами среды и

политической обстановки или, совсем напротив, жертвами судьбы — как известно, неотвратимой, по излюбленнейшему у нас в Германии определению? Признаюсь, я не знаю ответа на эти вопросы, более того, я заявляю со всей решительностью, что не рассказал бы эту историю времен моей юности, если бы точно знал, что изверг и педагог непременно связаны друг с другом, и понимал, как эта связь возникает. Или что связь эта взаимно не обусловлена. Но тогда эта пара не интересовала бы меня. Интерес, толкающий меня к тому, чтобы сесть с карандашом за стопку чистой бумаги, вызывают не до конца раскрытые характеры, а не те, о которых я все совершенно точно знаю еще до того, как начать писать. И милее всего мне люди, остающиеся не до конца раскрытыми, таинственными, даже после того, как я закончил писать.

Больше я ничего не хотел бы сказать о содержании своей повести. Этот фрагмент комментария вообще дан здесь лишь для того, чтобы исключить грубейшую ошибку в истолковании: не следует думать, что «Отцом убийцы» я заклеил весь род Гиммлеров, даже если Франц Кин в известном смысле это и делает, сочувствуя сыну, которого не знает, понимая его неприязнь к отцу, глубоко ему, Кину, несимпатичному.

На размышления наводит и тот факт, что Генрих Гиммлер — мои воспоминания об этом свидетельствуют — в отличие от человека, чьему гипнозу он поддался, вырос не в люмпен-пролетарской среде, а в старинной буржуазной, гуманитарно образованной семье. Разве гуманитарное образование ни от чего не защищает? Этот вопрос может ввергнуть в отчаяние.

Я спасся от него, попытавшись написать историю мальчика, который не хотел учиться. Но даже и в этом отношении она не однозначна — найдутся читатели, которые в столкновении между Рексом и Францем Кином примут сторону директора гимназии. Сам же я — ведь это мне позволительно — стою на своей собственной стороне.

### 3

По-видимому, прямая речь диалогов противоречит автобиографической и тем самым якобы документальной подлинности рассказа. Любой хоть сколько-нибудь критически мыслящий читатель заметит, что невозможно спустя более полувека помнить точный ход словопрений. Этих читателей я могу лишь просить еще раз подумать о функции образа Франца Кина, о возможностях, предоставляемых мне повествованием в третьем

лице и помогающих избегать сослагательного наклонения, многочисленных форм прошедшего времени — всяких там конъюнктивов претерита, плюсквамперфектов и кондиционалиса, которыми полна косвенная речь, способная с легкостью сдерживать темп рассказа, даже если для этого нет никаких причин.

Использованный для «Отца убийцы» способ повествования предельно прост — он совершенно линейный. Рассказывается, что происходило от первой до последней минуты на одном школьном уроке; только один раз в действие включается прошлое (сообщение о том, что Кин-старший поведал своему сыну Францу о Рексе) и один раз кадр из будущего (семейная сцена в конце). Ограничение повести единством времени и места и порождает, почти само собой, ту литературную форму, которую мы называем длинной новеллой.

Споткнулся я на проблеме сфер повествования. В этой истории их три. Первая — сфера писателя, то есть моя собственная; она обнаруживает себя в таких простых фразах, как «подумал Франц Кин», «думал Франц». Даже такая маленькая часть фразы, как эта, предполагает наличие кого-то, кто знает, о чем думал Франц Кин. Вторая, самая обширная, — сфера самого Кина; он не только носитель действия, но и относящихся к нему размышлений. И наконец, существует еще и третья инстанция, регистрирующая происшествие, — класс. Расположить эти три поля повествования таким образом, чтобы они друг друга покрывали, мне не удалось; и я думаю, что такая попытка и не может удалиться, разве только если применить совершенно иные способы воссоздания материала.

Почему же вы ими не воспользовались? — могут меня спросить. Да, почему? Потому что линейный метод, при всех его недостатках, в данном случае показался мне наиболее подходящим. Мне хотелось во что бы то ни стало вытащить на свет божий эту «фотографию на память»: «Класс с учителями».

Рексу и штудиенрату Кандльбиндеру не положены собственные повествовательные сферы. Они только объекты наблюдения, и это дает им то небольшое преимущество, что некоторые читатели могут думать, будто по отношению к Рексу и учителю совершается вопиющая несправедливость. Сам я этого не считаю, но сознаюсь, что и спустя более пятидесяти лет все еще пристрастен в своем суждении. Рассказывать, вспоминать — дело всегда субъективное. Что вовсе не значит — неправдивое.

Самой трудной задачей оказалась верная передача мыслей и речи Кина и его одноклассников. Здесь надо было прибегнуть к словам и оборотам баварских школьников конца двадцатых годов

и правдоподобно, а не как остроты, включить их в прозу. Так как я родился и вырос в Мюнхене и потому говорю по-баварски, напрашивался выход—изготовить этаким образчик диалектной литературы, но на это я не мог решиться. Я старался исключить все словечки нынешнего жаргона, что далось нелегко, ибо, поскольку тогда их у нас не было, пришлось отказаться от превосходного словарного запаса новейшей идиоматики. Я охотно позволил бы Кину говорить о Рексе как о «субъекте» или «фрукте», об учебной методе «слабака» Кандльбиндера как о «фигне», а класс привел бы к единодушному мнению, что Конрад Грайф вел себя как «пижон». Но тогда мы не знали этих замечательных метких выражений, и потому мне надлежало придерживаться словарного запаса своей юности, из жаргона которого, кстати, многое обрело известную долговечность. Я пытался окрасить повествование в тон среды, в которой оно разыгрывается, по возможности незаметно. Для этого достаточно нескольких брызг. Язык, я убежден, всегда обновляется за счет разговорной речи. Живая литература ищет свои трудные пути между литературным языком и просторечием. Требования, которые я сам себе предъявляю. Удалось ли мне их выполнить? Не знаю. Я действительно не знаю. Но как бы то ни было, пусть мои читатели знают, чего я хотел.

\*

Я благодарю госпожу д-ра Гертруду Марксер (Кихльберг) за дружескую помощь в воссоздании описанного урока греческого.

\*

Рукопись начата в мае 1979-го, закончена в январе 1980-го.  
Берцона (Валле Онзерноне)  
А. А.

# РАССКАЗЫ



Вошедшие в книгу рассказы опубликованы на языке оригинала  
до 1973 г.

# ЛЮБИТЕЛЬ ПОЛУТЕНИ

## 1

Сегодня мать что-то чересчур долго собиралась в дорогу; долгие сборы как-то не вязались с ней, она всегда была такой быстрой; в свои семьдесят три года она все еще казалась той же энергичной, решительной маленькой женщиной, какой он ее помнил всю жизнь. Лотар Витте должен был бы обратить внимание на эту ее странную медлительность, но он не обратил, и только к вечеру, незадолго до того, как произошло это несчастье под Баррентином, суждено ему было узнать, почему мать вопреки ее обычаю в то утро замешкалась в доме. Наконец она появилась на крыльце и пошла по садовой дорожке своей виллы во Фронау к «опелю», где Лотар, уже четверть часа назад уложивший в багажник их чемоданы, ожидал ее в какой-то досадливой полудреме. Он сидел и тупо смотрел на застроенную вилами и утопающую в зелени улицу, на серый, унылый дом, где он жил до конца войны и где его мать обитала до сих пор — теперь она большую часть дома сдавала, — и ясно сознавал, что он смотрит на годы, связанные для него с Мелани, не испытывая при этом особого волнения; вот уже несколько лет, бывая наездами в Западном Берлине, он мог спокойно навещать мать и бродить по этому дому, не опасаясь, что в памяти вновь встанет образ Мелани и он бросится сломя голову прочь, как бывало с ним в первые несколько лет после того злосчастного

утра в октябре 1947 года, когда Мелани так внезапно и бесследно исчезла. Теперь, через четырнадцать лет, это перегорело — очевидно, перегорело, раз Лотар мог спокойно подремывать в машине, ожидая мать, вместо того чтобы сразу запустить мотор и рвануть с места. Но он был далек от такой мысли, вообще давно уже был далек от мыслей о Мелани и давно уже перестал упоминать ее имя, беседуя с Рихардом Брамом, ее мужем; в один прекрасный день они оба, не сговариваясь, покончили с ее культом, перестали чтить память исчезнувшей навсегда, и ее тень — такая прозрачная и легкая, какую могло отбрасывать только ее хрупкое смуглое тело, всегда облаченное в легкие ткани любимых ею светлых, чистых, блеклых тонов, — возникала перед ними только тогда, когда им нужно было обсудить что-либо, касающееся детей. В таких случаях озабоченный Брам приезжал из Ганновера в Гёттинген и подолгу советовался с Лотаром. Дети были трудные, причиняли кучу забот и расходов, они с Брамом перепробовали много школ, но толку не добились. Дети были их общей мукой. Впрочем, с некоторых пор все это кончилось — дети выросли и жили теперь сами по себе, — так что и эта сторона дела отошла в прошлое. Но даже о детях не думал Лотар Витте в то утро. Если не считать тех минут, когда в памяти всплывала вчерашняя чрезвычайно неприятная сцена в приемной профессора Тилиуса — а Лотар уже наловчился гнать от себя это воспоминание, — то утро вообще выдалось удивительно спокойное, и нарушало гармонию разве только мучительное желание выпить, терзавшее Лотара. А поскольку мать все еще возилась со сборами, то он наконец не выдержал и отхлебнул коньяку из фляжки, лежавшей в ящичке для перчаток. Спиртное подействовало почти мгновенно; ему вдруг открылась привлекательность совершенно пустынной улицы, затененной сплошной зеленой кровлей, мостовой из серовато-синих каменных плиток, ничего не отражавшей и не пересеченной ни единой тенью, будто не имевшей отношения ни к чему иному, кроме самой себя, — сухой и чистой мостовой поселка Фронау на окраине Западного Берлина, покоящейся под мощной защитой крон, закрывших небо.

Наконец мать вышла из дому; прижав локтем перекинутый через руку плащ и держа в той же руке потертую кожаную сумочку и перчатки, она торопливо направилась к машине. Маленькая, худощавая, в строгом темно-сером костюме, она держалась подчеркнуто прямо. Типичная пруссачка, подумал Лотар, протягивая руку, чтобы открыть ей дверцу, и глядя, как быстро и решительно шагает она по дорожке; прежде чем



подойти к машине, она не забыла привычным движением захлопнуть за собой калитку. Мать, видимо, чувствовала себя слегка виноватой—ведь она заставила сына ждать,—что придавало ее лицу выражение еще более высокомерное, чем обычно; так было всегда, когда она теряла уверенность в себе. «На самом деле она вовсе не высокомерна,—подумал Лотар,—это только кажется, потому что она такая маленькая и подтянутая, да и нос у нее, будто она родом из аристократического семейства фон Квитцов или фон Коттвиц, а отнюдь не отпрыск простого сельского священника из Хавельской низины; а уж рот и вовсе—четкий и сжатый, как девиз в родовом гербе». «Точь-в-точь такой представляешь себе вдову прусского подполковника»,—обычно говорили друзья Лотара после того, как их знакомили с ней, на что тот сухо возражал, что сам подполковник, его отец, напротив, отнюдь не был похож на пруссака. «А на кого?»—бывало, вырывалось у кого-нибудь, и Лотар иногда вытаскивал фотографию, на которой отец был снят на польском фронте, незадолго до боя под Шамотулами в сентябре, где он и погиб,—крупный расплывшийся мужчина, настолько похожий на Лотара, что спрашивавший уже смущенно глядел на фото. Почему-то было неприятно видеть постаревшего Лотара в форме старшего офицера, с явным раздражением глядящего куда-то в сторону. Война ли была тому причиной, проступок ли какого-нибудь солдата или просто непогода, но старый Витте, по непонятным причинам оставивший одного-единственного сына—Лотара,—незадолго до своей смерти смотрел на то, что преподносила ему жизнь, точь-в-точь так, как Лотар подчас мог смотреть на кого-нибудь из своих друзей: с холодным, осуждающим интересом.

— Что это ты там застряла?—спросил Лотар, помогая матери устроиться на сиденье.

— Да так, ничего особенного,—ответила она немного взволнованно. Он не очень вслушивался в ее тон и счел вопрос исчерпанным, когда она, уже овладев собой, добавила:—Мне пришлось долго искать перчатки.

Уже на Тегельском шоссе Лотар вновь вспомнил о фляжке с коньяком и решил при первом удобном случае незаметно вынуть ее из ящичка для перчаток и сунуть в карман пиджака. Вдали под блекло-серым куполом неба четко вырисовывались плоские башни концерна «Сименс». «Приятный день сегодня»,—подумал Лотар. Он любил такую серую, нейтральную погоду. В такую погоду поездка в Гамбург—одно удовольствие. Его матери захотелось навестить тамошних родственников, и он сам предло-

жил отвезти ее туда на машине—у него как раз начались семестровые каникулы, и небольшой крюк на север очень его привлекал. Ведь они поедут через западные районы Бранденбурга и южные—Мекленбурга, так что у него, впервые после стольких лет, будет возможность увидеть те места, которые в прошлом так много для него значили.

Мать приняла его предложение, хотя и не без колебаний. «Ты ведь знаешь, я не люблю ездить на машине»,—напомнила она, но Лотар догадался, что она просто боится, не начал бы он в дороге пить.

— Пора бы тебе рассказать, чем кончились вчера переговоры,—начала она.—Получишь ты штатное место в Берлине?

Лотар отрицательно покачал головой. Ему пришлось лавировать в потоке машин, поэтому он ответил не сразу:

— Они не хотят меня брать.

## 2

Сказав это, он живо вспомнил, как сидел вчера в кафе на Курфюрстендамм в ожидании часа, назначенного ему профессором Тилиусом. Хотя день был солнечный, Лотар выбрал местечко в помещении—правда, не в темной глубине зала, а поближе к большим открытым окнам,—но все же не сел за один из столиков снаружи. Оттуда он мог наблюдать за жизнью на улице, не уподобляясь пещерному зверю, которого замечают по горящим во мраке глазам. Он сидел скромно и незаметно, в нейтральной полосе, где свет и мрак перемежаются, образуя полутень, в которой ему особенно хорошо думалось. Женщин, сидевших снаружи за столиками под большим полосатым тентом, он подолгу разглядывал, а гуляющих по бульвару провожал глазами, раздумывая, не познакомиться ли ему с какой-нибудь из них; но коньяк, который он между тем потягивал, уже подавил его волю; так он и сидел, грузно развалившись на стуле, а стопка купленных только что журналов лежала перед ним нетронутой—он хотел их наскоро проглядеть, да так к ним и не притронулся; мысли то крутились вокруг темы его лекций в Гёттингене, то перескакивали на женщин, на которых он время от времени украдкой поглядывал; платья и прически в его мозгу чередовались с отрывками из трактатов Амори де Бена, умершего в 1206 году, а фраза: «*Omnia unum, quia quidquid est, est deus*»<sup>1</sup>—вдруг отпечата-  
талась на фоне какого-то ярко-желтого портняжного шедевра,

---

<sup>1</sup> Все едино, ибо все сущее есть бог (лат.).

изготовленного в берлинском ателье и увенчанного прядями длинных темных волос, словно развеянных ветром по плечам в точном соответствии с требованиями моды. В голову лезли еще и соображения о том, насколько лучше было бы ему все же в Западном Берлине, чем в Гёттингене. Лотара отнюдь не тяготил провинциальный дух, царивший в Гёттингене, просто город этот ничего не говорил его сердцу, хотя пример Лихтенберга подчас и скрашивал его существование. Но в конце концов ведь и тот предпочел бы профессию в Берлине жизни в Гёттингене. Лихтенберг в Гёттингене был мертв и забыт, а вот Фонтане в Берлине странным образом все еще жил и процветал, и его процветанию почему-то не мешало, что и в Нойруппин, и в долину Доссе проезд был — к сожалению! — закрыт. Сидя в уютном кафе, Лотар думал о своих любимых авторах, сдержанных, суховатых, и воображал их на фоне шикарных авеню и живописных ландшафтов с соснами. Наконец ему удалось обменяться взглядами с хорошенькой светловолосой девицей, сидевшей за одним из столиков под тентом наискосок от него; но уже через несколько минут он остыл и вновь впал в ленивую полудрему. С тяжелым сердцем он в который уж раз признался самому себе, что на самом дне его склонности к трезвым суждениям и к полутени лежало нечто противоречившее этой склонности: ведь его погружения в царство полутени удавались ему, как правило, только с помощью алкоголя, а эта слабость, нередко доводившая его до непотребного состояния, как-никак была пагубной страстью. Он заказал еще одну рюмку «Реми-Мартена» — уже третью — и, прежде чем подняться и уйти, выпил ее маленькими глотками; время подошло к пяти часам, солнце скрылось, пора было идти в университет.

Еще в коридоре произошла его встреча с тучным, приземистым Тилиусом, человеком весьма тертым; рядом с ним Лотар казался почтенным прелатом из провинции, поглощенным своими научными занятиями и имеющим склонность к спиртному, провинциалом, коему ради некоего дела приходится заискивать перед бойким, изворотливым монсеньором из свиты кардинала. В душе он называл Тилиуса шарлатаном от философии, ловким захребетником, компилятором чужих идей, сочинителем книжек с зазывными названиями, блестящим дельцом, знатоком механизма научных учреждений и беспардонным карьеристом — вполне академичная ненависть Лотара к коллегам по профессии подказывала ему все новые и новые эпитеты для декана философского факультета. Их разговор протекал именно так, как Лотар себе заранее представлял: наигранно сердечное приветствие, госте-

приимно распахнутая дверь в кабинет, улыбающаяся секретарша. «Я рад, дорогой Витте, в кои-то веки видеть вас у себя!» — искусно-велеречивое многословие Тилиуса и столь же искусно, с легкой иронией в голосе и как бы между прочим заданный Лотаром Витте вопрос о возможности приглашения его в Западный Берлин на факультет; причем разговор этот с такой скрупулезной точностью следовал академическим правилам, что Тилиусу даже не было необходимости прямо отказывать Лотару. В эту церемонию вклинился лишь один короткий и быстрый обмен репликами, в котором — и они оба знали это — каждое слово имело вес и решало исход дела. Тилиус спросил: «О чем вы собираетесь читать в следующем семестре?» А Лотар ответил: «О некоторых формах движения спиритуалов в конце тринадцатого века. Рамон Люлль, Оливи и другие».

— Очень, очень интересно, — заметил Тилиус, но Лотар почувствовал, что его собеседник чем-то задет. Тилиус сразу как-то подобрался. — Несколько отвлеченная тема, — протянул он, — но вы, конечно, намереваетесь провести некоторые параллели с современностью... — Он не закончил фразы, заметив, что Лотар величественным движением головы уже дал отрицательный ответ.

— Напротив, — ответствовал тот с великолепной иронией владетельного князя, за которую на него постоянно обижались коллеги, — меня увлекает именно возможность показать такие ситуации, в которых обстоятельства не поддаются сравнению ни с какими другими. И вообще — в любом историческом процессе для меня представляет интерес лишь исследование степени его неповторимости.

Это был тот тезис, с помощью которого Тилиус легко мог вывернуться, и он, естественно, не преминул воспользоваться этим, с ходу пустившись в рассуждения о ситуации, сложившейся в Берлине. Лотар почти не вслушивался; разговор, в сущности, был окончен. Он сам наклеил на себя ярлык чудака-индивидуалиста, вечного приват-доцента, чьи историко-философские штудии иногда вызывали некоторый интерес, но в целом были все же слишком «отвлеченными», чтобы кто-либо рискнул предоставить ему штатное место. В рецензиях его называли то «одаренным, даже гениальным аутсайдером», то, повернув медаль другой стороной, «светлой головой, разменивающейся на мелочи». Как только Лотар заметил, что в тоне Тилиуса появились нотки смущения, а значит, и нетерпения, он поднялся и стал прощаться. Единственное отличие этого разговора от тех бесед, которые бывали у них с Тилиусом в прошлые

годы, состояло в том, что нынче ему очень уж хотелось получить место в Западном Берлине. Еще два года назад такая же попытка казалась ему вызовом судьбе—тогда его еще мучила мысль о Мелани,—и, получив из университета отказ, он облегченно вздохнул, поскольку считал, что груз воспоминаний сделает его жизнь в этом городе невыносимой. Все это теперь перегорело, и ему стало грустно при мысли, что с Берлином для него покончено. Может быть, стоит подать сюда на приват-доцентуру?—смутно мелькнуло у него в мозгу, когда он в сопровождении Тилиуса проходил через приемную.

Прощавшись с профессором и стоя уже в дверях, Лотар вдруг обернулся, почти решившись спросить Тилиуса о возможности получения приват-доцентского курса. И тут увидел, что секретарша заглядывала в открытую дверь кабинета Тилиуса, хихикая и опрокидывая в рот воображаемую рюмку. Лотар на миг замер, уставясь на нее пустыми глазами: до него даже не сразу дошло; она перехватила его взгляд и покраснела до корней волос, забыв опустить поднятую ко рту руку. Похолодев от бешенства, Лотар ринулся по коридору. В вестибюле ему пришлось присесть на скамью; лицо его побелело.

### 3

Остановкой у поста пограничного контроля в Штаакене Лотар воспользовался для того, чтобы достать фляжку с коньяком. Мать направилась к зданию поста, а он принялся вынимать чемоданы, но, когда краем глаза заметил, что она вошла внутрь, украдкой глотнул раз-другой и сунул фляжку в карман. Один из пограничников наблюдал за его действиями, но без особого интереса; по его лицу Лотар не мог понять, что тот подумал. Перетаскивая чемоданы к зданию поста, Лотар чувствовал на себе его взгляд. Пограничники молчаливо и тщательно перебирали их вещи, но не нашли в чемоданах его матери ничего заслуживающего внимания, лишь при осмотре содержимого его портфеля—книги, рукописи—они задержались подольше и вполголоса обменялись какими-то репликами, а потом—не без почтительности—вернули ему портфель. При выходе служащий проинструктировал их насчет ограничений скорости на трассе и вручил Лотару памятку, где было указано время, к которому он был обязан прибыть на пропускной пункт в Людвигслусте. Когда Лотар вновь укладывал чемоданы в багажник, погода все еще была по-летнему теплой, пасмурной и серой. После того как мать уселась, он попросил ее подождать минутку и отправился в

туалет. Там он еще раз приложился к фляжке и, прежде чем вернуться к машине, тщательно прополоскал рот. Тем не менее мать сказала ему, когда они уже проехали порядочное расстояние:

— Ты пил, Лотар!

— Только пару глотков, мама,— возразил он.— У меня что-то сосало под ложечкой.

Он понимал, что она сейчас напряженно соображает, следует ли ей забрать у него бутылку и держать ее у себя до конца поездки, но, зная свою матушку как самого себя, он мог побиться об заклад, что она решится на такое унижение собственного сына лишь в самом крайнем случае,— и оказался прав. Вполне вероятно, однако, что она промолчала лишь потому, что в этот момент—они проезжали как раз мимо казарм в Науэне—по встречной полосе двигалась колонна воинских машин—грузовиков с русскими солдатами. Хотя на дворе стояло лето, на них были длинные шинели, на головах—расширяющиеся книзу стальные каски.

Когда колонна проследовала мимо, на шоссе стало очень тихо. Встречные машины попадались все реже. Лотар чувствовал, что хмель создал какую-то невидимую преграду между ним и всем окружающим—как в машине, так и вне ее; развалившись на водительском сиденье, как в театральном кресле, он воспринимал мир как бы с некоторого отдаления, что создавало обманчивое ощущение безопасности. Но поскольку он и вправду отхлебнул всего два-три глотка, то отдавал себе ясный отчет в том, что это ощущение навечно спокойным, почти совсем пустынным шоссе и пониженной в соответствии с инструкцией скоростью. И все же было приятно, проезжая мимо, смотреть на дренажные канавы, пирамиды торфа и полевые дороги в окаймлении берез, ощущая себя чуть ли не их владыкой: на некотором удалении всегда чувствуешь себя зорче и увереннее. Лотар разглядел даже мельчайшую торфяную пыль, висевшую здесь в воздухе,—как бишь называл Фонтане ее цвет? Лотар долго думал, пока не вспомнил: цвет нюхательного табака, вот как назвал этот цвет Фонтане.

— Это Низина!—вдруг воскликнул Лотар.— Мама, подумай только, мы едем через Низину.

— Глупости,—возразила мать.— Мы подъезжаем к Фризаку. Хавельская низина расположена южнее, Вустрауская—севернее, недалеко от озера Руппин.

«Она здесь каждую тропку знает,—подумал Лотар,—ничего удивительного, она ведь выросла в этих краях. Как же называ-

лось это захоластье, где ее отец был пастором? Ага, Штехов!»

— Хочешь, заедем сейчас в Штехов, мама? — спросил он. — Всего-то двадцать километров в сторону.

— Боже упаси! — испуганно отмахнулась она. — Не делай глупостей, Лотар! Мне вовсе не улыбается перспектива закончить эту поездку за решеткой.

— А ведь как было бы хорошо поглядеть, — продолжал он, только чтобы еще немного ее попугать, — стоит ли еще пасторский дом, да и старая церковь тоже...

— Ничуть не хорошо, — возразила она. — Скорее неприятно. — Она умолкла, потом сказала, как бы подводя черту под этой темой: — В моем возрасте люди живут воспоминаниями. Но они вовсе не хотят, чтобы им напоминали о действительности.

Она взяла свою сумочку, и Лотар услышал шелест разворачиваемой бумаги.

— Сделай мне одолжение, — сказала она, — поешь немного.

Лотар взглянул на ее руку, протягивавшую ему половину бутерброда. Рука была худая, испещренная темными возрастными пятнами. Он взял бутерброд и откусил.

— Я знаю, ты не так легко пьянеешь, — сказала она, — но лучше все же чем-нибудь закусить.

Он знал, думала она как раз обратное тому, что говорила. Он знал, она думала, что он, как все алкоголики, пьянеет от каких-нибудь двух-трех глотков. Потому и дала ему бутерброд. Лотар ощутил приятный вкус хлеба и масла, но ветчина, которой были проложены ломтики хлеба, вызвала у него тошноту. Проглотив всего несколько кусочков, он почувствовал, что от еды пропало то светлое и благодушное настроение, в каком он пребывал после выпивки, и с отвращением положил недоеденный кусок рядом с собой на сиденье. Искоса взглянув на мать, он заметил, что она бросила на него огорченный взгляд и отвернулась. Она глядела теперь на местность, проносившуюся мимо них с предписанной скоростью. «Если бы мать не была воплощенной пруссачкой, — подумал он, — она бы сейчас заплакала».

— Я знаю Низину куда хуже, чем ты, — сказал он, чтобы ее отвлечь и доказать, что он трезв как стеклышко, — но зато я отлично знаю Руппинскую Швейцарию. — Он помолчал, а потом принялся вспоминать и перечислять тамошние названия: — Райнсберг, Линдов, Церников, Менцкий лес, озеро Мальхов...

Мать перебила его, начав декламировать детский стишок, которому учила Лотара, когда он был еще совсем маленьким:

— «Это к северу от Райнсбергских холмов? Или к югу от озера Мальхов?»

— «Холодна ли в Роттзиле вода? Ты на дно там не спускался никогда?» — весело подхватил Лотар, а мать умолкла и глядела на него счастливыми глазами. — «Возле Больтенмюля, в глубине, там волшебное кольцо лежит на дне».

Они разом прыснули, радуясь этим смешным, неуклюжим и милым стишкам и тому, что оба они после стольких лет вспомнили их, хотя считали давным-давно позабытыми.

Лотар первый оборвал смех, потому что эти названия вдруг с нестерпимой отчетливостью напомнили ему Мелани; да, слова обладали силой, какой уже не было у действительности: это доказал ему нынче утром вид дома во Фронау. Действительное существование того дома не вызвало никаких чувств в его душе, а вот от простого упоминания названий «Райнсберг» или «озеро Мальхов» он на миг как бы окаменел за рулем «опеля», у него потемнело в глазах. Эти названия напомнили ему о прогулках с Мелани в этих местах, о минутах, заполненных до краев ее редкостно смуглой кожей и шелком блеклых чистых тонов; об обрывках разговоров; о бухточках, заросших камышом; о взглядах; о поскрипывающих на ветру соснах и развевающихся волосах; о живом облике той, что стала тенью. Как это матушка выразилась? «Люди вовсе не хотят, чтобы им напоминали о действительности». Она стала мудрой, его мать. Не захотела поглядеть на отчий дом. Не захотела убить в себе воспоминания.

Им показалось, что Фризак ничуть не изменился, жизнь в нем словно остановилась и замерла в своем довоенном облике, несмотря на несколько лозунгов СЕПГ и памятник павшим воинам Красной Армии, возле которого на посту стоял солдат. Потому что все остальное: дом пастора, школа, городская управа, трактир — было прежним. Никаких новых зданий, сверкающих стеклами этажей. Мелочная лавка на углу с мавром из папьемаше и гирляндой серых нитей в витрине. Сплошь приземистые домики — темно-красный кирпич и черепица, потемневшее от времени дерево или глина — раскинулись под светло-серым небом. Городишко, затерявшийся на огромной равнине, простирающейся от прусских до славянских земель. Мимо.

В душе Лотара стало нарастать беспокойство — так бывало всегда, когда действие алкоголя ослабевало. Тоска отрезвления вырывала его тогда из благостного дурмана самоуверенности, вызванного хмелем. В присутствии матери он не мог вытащить флажку и заглушить подступающее похмелье. На пустынном шоссе за Фризаком он сделал судорожную попытку удержать благодушное настроение, в котором обычно пребывал после выпивки, и только благодаря мучительной остроте воспомина-



ний, навеянных названиями знакомых мест, ему удалось забыть о пустоте, заполнившей все внутри. Обрывочные картины того времени, которое Лотар иногда с усмешкой называл своей «героической юностью», проскакивали мимо него с такой же скоростью, как и торфяные разработки, поля ржи и дубовые рощи этого края, который был фоном его прошлого; и непреодолимое желание вернуть те годы, вырвать их, и Мелани из небытия — нелепая мысль, порожденная начинающимся похмельем, — где-то на шоссе за Фризаком вдруг подсказало ему, что через несколько километров будет развилка, от которой на север ведет дорога через Ринское болото на Нойруппин.

Он прикинул в уме, как вернее отвлечь внимание матери, и, заметив издали развилку с дорожными указателями, протянул руку к бутерброду и принялся жевать. Перед самым перекрестком он, как бы нечаянно, уронил его, и, пока мать нагибалась за бутербродом, поскольку он не мог бросить руль, он уже проскочил критическую точку и покатиł по дороге, отходившей в сторону от межзонального шоссе. Когда она протянула ему хлеб, предварительно самым тщательным образом отряхнув с него пыль, он поблагодарил и некоторое время пристально следил краем глаза за выражением ее лица. Она редко ездила на машине, поэтому не обратила внимания на то, что шоссе стало уже; даже участки, мощенные булыжником — а один был и вовсе без покрытия, — не заставили ее насторожиться; лишь один раз она отметила, что дорога стала хуже, но так, видимо, ничего и не заподозрила. Они проскочили с ходу несколько деревень. И, лишь заметив на выезде из какой-то деревни указатель «До Нойруппина — 15 км», она забеспокоилась.

Дотронувшись до его руки, она сказала:

— Мы поехали не по той дороге.

Лотар промолчал в ответ, и она нетерпеливо дернула его за рукав.

— По той дороге мы не должны были попасть в Нойруппин, — сказала она. — Ты совсем не туда поехал.

Лотар уже почти не ощущал действия алкоголя, но именно в такие минуты на него всегда находило какое-то дикое ожесточение и желание сорвать на ком-нибудь беспричинную злость, поэтому он не стал выкручиваться и оттягивать объяснение.

— Еду куда надо, — бросил он раздраженно. — Хочу сделать небольшой крюк.

— Сейчас же развернись! — приказала старая женщина, поняв, в чем дело. Она напряженно выпрямилась на сиденье. — Ты знаешь, наш проезд зарегистрирован. Если мы не попадем

вовремя на контрольный пункт...

Она оборвала себя на полуслове и, обиженно пожав плечами, погрузилась в гордое и скорбное молчание, как делают взрослые, поняв, что им не удастся с легкостью урезонить заупрямившегося малыша.

— Совсем небольшой крюк,—уже мягче сказал Лотар,—мы успеем вовремя на контрольный пункт в Людвигслусте.

Но мать не проронила в ответ ни звука, и он, не глядя на нее, чувствовал, что теперь, после вспышки возмущения, она вся сжалась в комок и испуганно замерла. «Я веду себя как последняя свинья,—подумал Лотар,—надо развернуться и ехать обратно». Но вместо этого продолжал катить вперед.

Они проскочили Нойруппин, никто их не остановил. У памятника Фонтане стояли два молодых полицейских, но они только спокойно поглядели им вслед. Просторные площади городка были пустынные в этот серенький день. За городской стеной Лотар свернул на шоссе, которое вело к озеру Мюриц, расположенному уже в Мекленбурге, потому что мало-помалу в его памяти отчетливо всплыл лесок на берегу озера недалеко от деревни под названием Клинк, где он как-то провел полдня с Мелани. Он мог бы поехать в Райнсберг или в десяток других мест, потому что все эти края были живы в его памяти прогулками с Мелани—иногда с ней одной, иногда в обществе ее мужа и детей, если удавалось вытащить Рихарда Брама. Но по какой-то причине, может быть по чистой случайности, в последние четверть часа память Лотара зацепилась именно за тот день на озере возле деревни Клинк, и теперь он вел свой «опель» туда, на север. Когда они выехали за пределы городка, он взглянул в зеркальце заднего вида, чтобы убедиться, что их не преследуют. Шоссе было пустынным.

Он слышал, что мать что-то сказала, но, погрузившись в свои мысли, почти не уловил смысла слов.

— Это добром не кончится,—сказала она. Звук ее голоса, хриплого и старческого, напоминал хруст хвороста.

#### 4

Лотар чуть не проскочил то место, которое искал, да и узнал-то его лишь благодаря тому, что, доехав до леса за деревней Клинк, увидел справа поблескивание озера. Он затормозил, чтобы оглядеться. Старый буковый лес—высокие гладкие стволы со светло-зелеными кронами, еще сохранившими весеннюю нежную окраску,—был такой же, как тогда, когда он гулял

здесь с Мелани, и так же, как тогда, вид на озеро открывался справа — там, где чаща переходила в редкий подлесок; и все-таки что-то неуловимо изменилось. Подумав, Лотар решил, что все дело в том, с какой стороны сюда попадешь: с Мелани он шел пешком от деревни Клинк, неся в руке ее пляжную сумку, а сегодня подъехал на машине — от этого перспектива несколько сместилась. Кроме того, он точно помнил, что в тот далекий довоенный день было ветрено и солнечно, а сегодня погода выдалась тихая и пасмурная; тогда озеро сверкало и искрилось, а сегодня только слабо поблескивало, отливая серовато-голубым сквозь дымку, теплую и неподвижную, как парное молоко в миске. Лотар нашел просеку, по которой они тогда спустились к озеру; он свернул на нее и осторожно поехал по перелеску. На берегу он поставил машину за кустами, так что с шоссе ее не было видно. Пока он делал все это, мать не произнесла ни слова; когда он заглушил мотор, она с независимым видом вышла из машины, опустилась на пень, подстелив плащ и поставив сумку у ног, и принялась молча смотреть на озеро — не очень большое, но все же создававшее впечатление простора. На противоположном берегу тянулись поля, перемежаясь лиственными рощами; домов нигде не было видно.

— Места здесь почти уже мекленбургские, — сказал Лотар, — хотя мы еще в Бранденбурге.

Но мать ничего не ответила.

Лотар вспомнил, что то же самое, слово в слово, он в свое время сказал Мелани; вскоре оказалось, что лишь эта фраза случайно удержалась в памяти: за ней так и не всплыл образ Мелани, как он ни старался представить ее на фоне этих мест. Наконец он вытащил из кармана флажку и посмотрел, сколько осталось. Эту плоскую, слегка изогнутую бутылочку французского коньяка, емкостью в четверть литра, он купил вчера в Берлине; оставалось еще больше половины. В присутствии матери он не решился просто приложиться к ней, а налил жидкость в алюминиевый стаканчик, которым завинчивалась флажка, и бережно выпил все до капли.

Шум приближающегося автомобиля они слышали уже издали и затаились не дыша. Лотар обернулся к дороге, но, как ни всматривался, не увидел проехавшей мимо машины: кусты совершенно скрывали от него дорогу.

— Мы здесь в надежном укрытии, — сказал он, когда шум затих вдали. Но в этот момент они вновь слышали нарастающий рокот мотора; это был, очевидно, грузовик. Он промчался мимо с тяжелым грохотом. Потом грохот стих, ни звука вокруг; они

вновь были одни в нежной молочновато-белой дымке, стлавшейся над водой и камышом.

Обстановка, в которой они оказались, и слово «укрытие» навели Лотара на смутные и странные мысли.

— Мы с тобой как партизаны,—сказал он, и его лицо скривилось в кислой усмешке.— Такое чувство, будто ты на фронте,—добавил он, помолчав.— Все же удивительно, что я всю войну провел в тылу. Ты не находишь?

Мать все еще хранила упорное молчание, и он продолжал думать вслух, не обращая на нее внимания; алкоголь уже начал разливаться по жилам приятным, успокаивающим душу теплом.

— И как ловко отсиделся-то,—сказал он, имитируя хорошо ему знакомый прусский солдатский жаргон,—ни дня не тянул солдатскую лямку, сумел-таки пристроиться, да и работенка была не пыльная.

Он понимал, как больно его матери слышать всю эту болтовню, но ему вдруг нестерпимо захотелось сорвать на ком-нибудь свою злость; так же внезапно это желание прошло.

— Впервые в жизни нахожусь в укрытии,—сказал он задумчиво и как-то растерянно.

Отец не принуждал его стать кадровым офицером, наоборот, уважал его духовные интересы. Позже, когда сословная гордость отца дала трещину, Лотар прижал его к стенке и вынудил старика через влиятельных друзей освободить его от воинской службы.

— Я ведь тогда просто струсил,—сказал он,—и заставил папу мне помочь. Ты помнишь, как это было?

Она все еще молчала. Лотар знал, что причиняет ей боль, напоминая об этих вещах. Кризис в душе старого Витте был в значительной степени делом рук сына: Лотар толкнул отца на шаг, несовместимый с честью офицера. Перед режимом старик еще мог изображать стопроцентного прусского служаку, но эта маска тотчас с него свалилась, как только Лотар без всяких церемоний воззвал к его больной совести и в семейном кругу возвел свое намерение уклониться от службы в армии в ранг политической позиции. Вероятно, тогда и появился у старого Витте тот взгляд, который запечатлела фотография, сделанная перед боем у Шамотулов: недовольный, раздраженный взгляд, полный холодного осуждения, взгляд сломленного человека.

Мать наконец решилась заговорить.

— Может, хватит?—спросила она.—Едем обратно, Лотар, и поскорее! Если повезет и полиция нас не задержит, мы еще можем вовремя попасть на Гамбургское шоссе.

— Лучше бы папа не освобождал меня от армии,—сказал Лотар.—Знал бы он, чем мне пришлось заниматься, чтобы только не угодить на фронт.

Ему дали возможность отвертеться от призыва, а поскольку он был историком, пристроили его в военный архив. «Попади я в армию,—думал Лотар, все еще чувствуя легкое опьянение и уставясь невидящим взглядом в камыши,—я был бы их жертвой, в архиве же я стал их верным слугой». Как и всегда, он постарался отмахнуться от мыслей о бумагах, которые ему тогда довелось прочесть. Он читал их, содрогаясь от ужаса, а потом регистрировал и каталогизировал. Он не хотел быть ни преступником, ни жертвой и бежал от того и другого; но ему не дали убежать и вынудили стать регистратором жертв, бухгалтером зверств. Презреннойшая из ролей.

— Все, что ты сделал, было сделано ради Мелани,—сказала мать.—Ты уклонился от армии, чтобы быть рядом с ней. Ты согласился работать в военном архиве, чтобы остаться в Берлине, подле нее. Она была твоим злым духом.

Он взглянул на мать как громом пораженный. Ни разу в жизни она не позволила себе говорить о Мелани в таком тоне. Правда, ее позиция сводилась к тому, чтобы вообще не выказывать своего отношения к связи Лотара с Мелани Брам. Что же заставило ее заговорить теперь, когда все давно кануло в прошлое?

— Притом Мелани вовсе не была злой женщиной,—продолжала она.—Я всегда ей симпатизировала. В сущности, она была даже добрая.—Мать помолчала, явно подыскивая слова.—Я хочу сказать,—вновь заговорила она наконец,—что у нее были задатки к добру. Но вы неправильно вели себя с ней, ты и Брам. Может, она и осталась бы с вами, если бы не видела воочию, что каждое ваше решение в конечном счете зависит от нее.—Вновь помолчав, старая женщина продолжала:—Может, она и не ушла бы от тебя после войны, если бы ты просто попал в армию по призыву, как все. Она чувствовала, что ты ведешь фальшивую жизнь только ради того, чтобы не расставаться с ней. Этого не вынесет ни одна женщина, поверь мне, а уж Мелани тем более!

Лотар не выдержал; ему невыносим был и звук ее голоса, и слова, которые она произносила. Он побрел прочь вдоль озера и устало растянулся на сухой гальке в какой-то узкой лощинке на берегу. Там он наконец всерьез приложился к бутылочке и пил медленно, размеренно, маленькими глотками, подолгу смакуя их во рту.

Тогда еще не ездили на машинах. Во всяком случае, в тех кругах, к каким принадлежали Брам и Витте, в те времена, перед войной, ни у кого не было машин, поэтому Лотар и Мелани пришли сюда пешком со станции в деревне Клинк, до которой, переночевав в Райнсберге, доехали на поезде. Лотар нес в руке—он вновь очень ясно это вспомнил—льняную сумку в коричневую полоску, где лежали ее купальник и туалетные принадлежности, и сейчас он, смакуя вкус коньяка во рту, размышлял о том, куда могла потом подеваться эта полосатая вежа в его памяти—наверно, валяется в сарае дома во Фронау, запыленная, выцветшая и неприглядная. Он лежал, не двигаясь, в своем укрытии и выжидал; но от того далекого, ветреного и солнечного дня, в который ему так хотелось вернуться, пляжная сумка, к его удивлению, осталась единственным живым и трепетным воспоминанием, в то время как такая же точная деталь того дня—платье спортивного покроя из серого шелка, которое в ту поездку было на Мелани, оставила его равнодушным: случайная зарубка в памяти, и только. Мать была права: посещение заветных мест оказалось не лучшим способом оживить прошлое. Приезд в эти края был так же бесполезен, как и опасен.

Значит, все перегорело. Лотар вновь повторил то, что сформулировал еще утром в машине, ожидая мать. Четырнадцать лет спустя все перегорело, вот именно перегорело, должно было перегореть: и бегство Мелани, и годы с ней, и каждая минута тех лет в отдельности.

Он спросил себя, не слишком ли он еще трезв, чтобы ждать от своей памяти толчка—без него не откроется дверь, за которой стоит Мелани и—может быть!—ждет его, поэтому он вновь глотнул из фляжки, но это не помогло, да он и сам знал, что не было толку напиваться: никакой двери не было, потому что не было и стены, разделявшей их. Была лишь огромная пустота, в которой он жил, пустота, в которой не было и следа Мелани.

Как нередко в таких случаях, Лотар попробовал было пришпорить свои чувства, начав перебирать даты: 1938 год, двадцатитрехлетняя Мелани отправилась с ним на прогулку к озеру Клинк; они познакомились в феврале того же года во время костюмированного вечера на какой-то груневальдской вилле; тогда она уже третий год была замужем за Рихардом Брамом и год назад родила первого ребенка, маленького Андреаса, которому теперь исполнилось двадцать четыре года и который в течение нескольких семестров изучал социологию,

историю и экономику, чтобы в конце концов без всякой охоты и интереса отдать свои блестящие способности службе в одном из ведомств Европейского экономического сообщества в Брюсселе. Даты начали выстраиваться в небе над соломенной желтизной полей и зелеными пятнами лиственных рощ на том берегу озера. Когда началась война, через год после той летней поездки на озеро, родился сын Лотара Гюнтер, мальчик, проявивший затем неожиданный интерес к практической сфере жизни, обучившийся типографскому делу и в свои двадцать два года уже ставший специалистом по книготорговле. В разгар войны, в 1943 году, родился еще один ребенок, дочь Рихарда Марианна; ей теперь восемнадцать лет, она похожа на мать и в будущем году окончит школу. «На первый взгляд кажется,—думал Лотар,—будто с детьми все обстояло благополучно, но на самом деле Рихарду и мне досталась тяжкая ноша: дети были такие трудные, какими только могут быть дети, да и бывают ли вообще легкие дети? Но наши были уж очень сложные, да, в сущности, такими и остались; но теперь они уже выросли и живут сами по себе. Да, с детьми было одно мученье». Лотар вновь отхлебнул из фляжки и подумал, что это озеро и впрямь скорее вяжется с мекленбургским ландшафтом. И еще он подумал: наверно, странное у Мелани было чувство, когда она решилась оставить троих детей и двух мужчин. Ей было тридцать два года, когда она бесследно исчезла в октябре 1947 года. Детям тогда было десять, восемь и четыре года. «Здорово все же. Просто бросила нас всех на произвол судьбы,—думал Лотар.—Ей теперь сорок шесть; каково на душе у сорокашестилетней женщины, когда она вспоминает, что где-то у нее есть трое детей—трое детей, о которых она ничего не знает?» Потягивая из фляжки, Лотар пришел к твердому убеждению, что он ненавидит Мелани.

«Пошли купаться»,—сказала ему Мелани, и он даже не удивился, что она вдруг оказалась рядом. Она сидела в своем белом купальнике, обхватив руками согнутые в коленях ноги и нетерпеливо вглядываясь в простор озера.

«Мне хотелось бы еще немного полежать»,—услышал он свой голос. Он посмотрел на свое крупное тело, прикрытое только плавками и уже в ту пору обнаруживавшее явную склонность к полноте. Лотар не был толстым, но в его громоздкой фигуре все было как-то несоразмерно; готовое платье он вообще не мог носить. Лежа под жарким, приглушенным облаками солнцем, он принялся разглядывать свою кожу, она казалась не бледной, а какой-то почти бесцветной—кожа его большого вялого тела, которому всегда было трудно раскачаться на любое действие,

требующее мускульных усилий, и которое больше всего любило покой и неподвижность. Его грузная плоть желала еще немного понежиться, прежде чем броситься в воду, но, взглянув на Мелани, он заметил, что освещение изменилось, исчезли мягкие полутени от плотного слоя высоких облаков, под которыми нынче весь день так парило. Теперь кругом все сверкало и искрилось под резким восточным ветром, как в тот день, промелькнувший двадцать три года назад, который напоминал гуашь в духе раннего Пехштейна: ультрамарин неба, хром желтой пшеницы и индонезийская коричневая ног, рук и плеч Мелани с белым пятном купальника посередине. Ее волосы, стянутые на затылке, свисали вдоль спины конским хвостом. Вся ее поза выражала нетерпение, жадную тягу к водной стихии, и Лотару волей-неволей пришлось подняться. Она прямо-таки вприпрыжку пустилась к воде по узкой полоске прибрежной гальки, с воплем бросилась в подернутую рябью воду и поплыла на спине, бесшумно и гибко, как рыба. Очутившись в воде, Лотар тоже почувствовал себя более гибким, похожим на какое-то крупное, медлительное, но не лишенное изящества морское животное. Он заплыл далеко и оттуда смотрел на берег, лес и воду, в которой отражались белые, гонимые ветром облака.

Внезапно Мелани вынырнула рядом, она подплыла к нему под водой и теперь так энергично отряхивалась, что с ее гладких темных волос во все стороны летели брызги. Они молча поплавали по кругу, потом Мелани сказала: «Здесь, должно быть, глубоко». В ее глазах проступил внезапный, необъяснимый страх, и она поплыла к берегу, но вскоре страх ее прошел, и они еще долго плескались в воде.

Потом, когда они лежали на берегу, подставив влажные тела солнечным лучам, Мелани не сказала того, что в последовавшие затем годы говорила иногда: «Жаль, что Рихарда нет сейчас здесь». Для таких слов тогда, в лето первого года, ее знакомство с Лотаром было слишком недолгим. И хотя с первых минут их тройственный союз был чем-то само собой разумеющимся, все же Мелани, скорее всего, не жалела о том, что Рихард Брам не питал склонности к природе и прогулкам пешком и куда охотнее отправлялся с Мелани на весь вечер в бар, чтобы побыть с ней наедине и рассказать о своих планах — планах удачливого дельца с размахом и вкусом к грандиозным проектам. У Мелани все находило отклик: и бар «Черное дно», и озеро Клинк, и коммерческие сделки Рихарда, и глубокий, напряженный интерес Лотара к историческим наукам. Мужчины заключили молчаливое соглашение, как только убедились, что питают друг к другу



симпатию; их политические взгляды тоже совпадали, и они смутно догадывались, что их треугольник был своеобразной формой неприятия своего времени с его тягой к власти, силе, богатству, подавлению личности и рабской приверженностью к ярму. Но времена становились все более мрачными, хотя изредка выпадали и такие дни, как этот день на озере, овеянный любовью и ветром.

«Когда-нибудь я от вас уйду, от тебя и от Рихарда,— сказала Мелани.— Наверняка уйду».

Лотар опять глотнул из фляжки. Освещение снова изменилось, исчезли мягкие, приятные полутени, все окрасилось в какие-то отвратительные блеклые, белесые, грязно-серые тона. Мать все еще сидела на пне в позе, выражающей обиду и озабоченность; сквозь кусты было видно, что она застыла, словно окаменев. Потом вновь вернулся тот, другой, сверкающий яркими красками день.

«Почему?— спросил он.— Откуда вдруг такие мысли? У тебя нет для этого причин».

Они лежали рядом, Лотар на спине, а Мелани на животе, скрестив руки и уткнувшись лицом в согнутый локоть; она о чем-то думала, потом вдруг подняла голову, взглянула на далекие рощи и сказала:

«Скоро будет война. А после войны начнется совсем другая жизнь. Когда она начнется, я от вас уйду».

Он ощутил спиной твердость прибрежной гальки. Пить он начал уже тогда, хотя и умеренно. Сейчас он уже не помнил, что ответил в тот раз Мелани. Впрочем, она частенько высказывала такие или подобные мысли; значит, ему, собственно, не в чем ее упрекнуть—она с самого начала не скрывала своих намерений. У него не было причин ее ненавидеть. И все же он ее ненавидел. Теперь он был уже достаточно пьян, чтобы вспомнить за что: за то, что так и не доискался, почему она бросила их всех—его, Рихарда Брама и детей—в 1947 году, в октябре.

Рихард и Лотар в те годы, когда они еще говорили о Мелани, сделали этот вопрос предметом чуть ли не научного рассмотрения. И конечно, первым делом подумали, не был ли другой мужчина причиной ее решения, но не нашли ни единого следа, ведущего в этом направлении. Что же ее в конце концов отвратило от них? Пристрастие Лотара к выпивке? Неумная предприимчивость Рихарда? Мелани принадлежала к тому типу женщин, которые либо принимают мужчину таким, каков он есть, либо отвергают; и ведь она приняла и Рихарда, и Лотара, жила с ними и умела ценить оборотную сторону их недостатков:

широту натуры, проявлявшуюся у одного в страсти к алкоголю, у другого — в склонности к рискованным комбинациям. Неужели и впрямь Мелани толкнула к бегству лишь какая-то неодолимая и наивная жажда новых ощущений, какая-то истовая вера в то, что новое время должно принести и новую жизнь? Лотар никак не мог в это поверить. Не мог, несмотря на то, что старания их обоих ее разыскать так и остались безрезультатными.

Значит, его мать была права? «Может, она и осталась бы с вами, если бы не видела воочию, что каждое ваше решение в конечном счете зависит от нее». «Каждое ваше решение» в устах его матери означало, конечно, решение Лотара принудить отца к бесчестному поступку; это означало для нее: ввергнуть отца в то состояние всепрезирающей меланхолии, из-за которого подполковник Витте искал и нашел смерть на поле боя. «Она чувствовала, что ты ведешь фальшивую жизнь только ради того, чтобы не расставаться с ней». Да, так оно и было, они оба вели фальшивую жизнь — Лотар был бухгалтером смерти, Рихард в конечном счете наживался на ней. Но разве Мелани их оставила потому, что они что-то ради нее делали? Не было ли у нее более глубокой причины, которой его матери не понять? Например, потому, что в той совершенно новой жизни, которая, по слепому убеждению Мелани, должна наступить, не было места для Лотара и Рихарда; потому, что то новое, о чем она мечтала еще в трясине мрачного времени, нельзя было делить с ними обоими, по уши погрязшими в старом. «Живет ли она теперь в этом новом, в этом чистом времени? — думал Лотар. — Я все еще живу в старом». «Впервые в жизни нахожусь в укрытии», — вспомнил он свои собственные слова. Но это была ложь. На самом деле он всю свою жизнь провел в укрытии. Он огляделся. В Пруссии с незапамятных времен жили в укрытии. Может, там, где теперь Мелани, она нашла новую жизнь, в которой люди могли свободно двигаться, не прячась в укрытия.

Он попытался было встать, чтобы призвать свою мать к ответу, еще раз спросить ее, как это у нее вяжется — называть Мелани сразу и «злым духом», и «доброй женщиной», но он выпил уже столько, что ноги его не послушались. Мелани, исчезнувшая было, вдруг вновь появилась. Она стояла на берегу, опять в том же платье из серого блеклого шелка; ее волосы, мокрые и гладко зачесанные назад, блестели на солнце: очевидно, Мелани еще раз купалась. Она стояла босиком, спиной к Лотару, у самой воды и выжимала свой белый купальник.

В этом движении ее гибкого и влажного тела виделись и смуглое изящество занесенной на немецкие озера таитянки, и

стянутая серым шелком тоска по новой жизни. Сидя на опушке леса, сильно захмелевший Лотар вдруг ощутил, что эта ее порывистость перечеркивала главную цель его существования — прожить жизнь в приятной полутени, в стороне от резкого света и движения, наблюдая и размышляя... В этом быстром, длившемся всего несколько секунд движении — в памяти от него остались только смуглость ее кожи и блеск воды — таилось больше силы, чем в самой сильной страсти его собственной натуры. Видение исчезло — Мелани так и не обернулась в его сторону, — и Лотар посмотрел на фляжку: на доньшке оставалось еще немного коньяку. Вот и это тоже имело власть над ним, тоже пересиливало его тягу к существованию в мягком, приглушенном свете, его стремление плавать в нейтральных водах жизни.

Наконец ему удалось подняться; он завинтил бутылочку и сунул ее в карман. Почувствовав, что сильно пьян, он подошел к кромке берега, сполоснул руки и, зачерпнув в ладони немного воды, смочил лицо и вытер его носовым платком. Потом побрел туда, где сидела мать, стараясь ступать как можно увереннее. Она взглянула ему в глаза.

— Что ты, собственно, хотела этим сказать про Мелани? — спросил он.

Ему удалось связно выговорить всю фразу, но он сам не заметил, что сказано это было грубо, сильным голосом пропойцы и прозвучало как пьяная угроза.

Мать не испугалась. Она встала.

— Дай мне твою фляжку, Лотар, — потребовала она. — Ты уже достаточно выпил.

Он так дернулся, словно хотел ее ударить. Конечно, он никогда бы ее не ударил, даже напившись до потери сознания, но в ясном и горячем свете, льющемся из-за облаков, вся эта сцена и так выглядела достаточно мерзко и постыдно.

— Со мной все в порядке, — рявкнул Лотар в бешенстве. — Я уже не ребенок. Во всяком случае — для тебя.

## 6

Она не обратила никакого внимания на его слова.

— Несколько дней назад я получила письмо, — сказала она. — От Мелани. Вот почему нынче утром я заставила тебя ждать, Лотар, а вовсе не потому, что искала перчатки. Я просто стояла и раздумывала, стоит ли взять письмо с собой, чтобы потом показать тебе.

В глазах Лотара вдруг все исчезло, кроме матери. На ней

было скромное серое платье-костюм, вполне подходящее для вдовы, но ему почудилось, что вся она вырезана из яркого картона и наклеена на лист белой бумаги. Вокруг было пусто и бело.

— И что же? — спросил он нетерпеливо. — Взяла ты его?

Она кивнула в ответ. Он помолчал, тупо уставясь на нее, потом потребовал:

— Дай его мне!

— Отдай мне фляжку, — сказала она, — и обещай, что мы тут же поедем обратно! Тогда получишь письмо.

Шагнув вперед, чтобы схватить ее сумку, все еще лежавшую возле пня на траве, проросшей между камнями, он зашатался. А нагнувшись, почувствовал давящую тяжесть в голове.

Тут произошло нечто из ряда вон выходящее: мать бросилась в бой за сумку. Эта вещица из потертой коричневой кожи была уже у него в руках, но мать вцепилась в нее и стала молча тянуть к себе. И в глазах ее читалась рвущая за сердце смесь ужаса и жалкой растерянности, а на лице было написано такое крайнее отчаяние, что Лотар, потрясенный, на миг даже почти протрезвел. Ни разу в жизни он не видел свою мать в таком состоянии. От изумления он выпустил сумку из рук.

Они все еще стояли друг против друга — Лотар с открытым от удивления ртом, мать — тяжело дыша от усилий, которые ей пришлось затратить, чтобы вырвать у пьяного сына свою сумку, — когда в кустах вдруг зашелестело. В тот же миг в глазах обоих проступила настороженность, и Лотар резко обернулся, а его мать испуганно уставилась в то место кустарника, где что-то зашевелилось.

Из кустов вышел приземистый человек. Он сразу не понравился обоим, хотя вид у него был вполне дружелюбный. Он сказал:

— Шел по шоссе, гляжу — вроде что-то стоит. Думаю, не машина ли. — В речи его чувствовался местный говор.

На нем был синий костюм — видно, собрался на праздник или на похороны, — на голове рыбацкая фуражка. Он внимательно и со знанием дела осмотрел машину, задержав взгляд на номерном знаке.

— А вы с Запада, — заметил он.

— Да, — подтвердил Лотар, — мы едем к родственникам.

Человек кивнул. Лицо у него было гладкое, упругое и упитанное. Казалось, он совсем не страдал от жары, хотя одет был тепло, не по погоде. Брови у него были белесые, глаза — водянисто-голубые, а губы — сочные и толстоватые; Лотар сразу

подумал, что такие губы должны смачно причмокивать.

— А куда вы едете? — спросил он таким безразличным тоном, что Лотар почуял за этим вопросом плотоядное причмокивание.

Вопрос застал Лотара врасплох, он все еще был сильно пьян, и, прежде чем собрался с мыслями, прошло несколько томительно долгих секунд; наконец он выдал из себя первое, что пришло на ум:

— В Пренцлау.

Тот удовлетворенно кивнул, видно поняв, что теперь добыча у него в руках.

— Ага, в Пренцлау,—повторил он, прикидывая что-то в уме.—Так вы совсем не туда свернули, если ехали по Берлинскому шоссе. Вы сейчас намного западнее. А почему вы не поехали через Ораниенбург?

— Хотели сделать небольшой крюк,—ответил Лотар. Вот сейчас и выяснится, враг он или нет. Лотар был готов к тому, что его собеседник в следующий миг вытащит полицейское удостоверение.

— Крюк — штука опасная,—сказал незнакомец. И после паузы добавил: — Когда ты в чужих краях!

Напряженность осталась. Незнакомец явно затягивал ее: подошел к берегу, поднял плоский камешек и, метнув его над водой, следил глазами, как он подскакивал над поверхностью озера, прежде чем потонуть. Видно было, что в этом деле он мастак. «Подлая тварь,—подумал Лотар, взвинченный алкоголем,—подлая тварь, шпик продажный». Он изо всех сил старался держаться прямо и не двигаться, чтобы не выдать своего состояния. Мать стояла, словно окаменев, с видом, выражающим холодное презрение, ставшее ее второй натурой.

Незнакомец вновь подошел к ним.

— Если вы предпочитаете вернуться на Запад,—начал он спокойно, но продолжил уже решительным тоном, не допускающим сомнений,—поскольку вы заблудились...—он закончил фразу советом: — Отсюда можно проехать более коротким путем.

Лотар облегченно вздохнул. Даже мать сделала какое-то движение, показавшее, что ее волнение улеглось. Значит, этот человек не враг, а, наоборот, как будто хочет помочь. Правда, он был не слишком приветлив — держался по-прежнему холодно и, по-видимому, с каким-то холодным причмокивающим наслаждением наблюдал, как рассеивался страх, вызванный его появлением,—но тем не менее...

Он подошел вплотную к Лотару.

— Проедете еще немного вперед,—сказал он, не понижая

голоса, но как-то приглушив его.— Не доезжая до Баррентина, влево, к озеру, есть дорога. Через озеро ходит паром. А там всего несколько километров до межзонального шоссе.

— На полицейских не нарвемся? — спросил Лотар. Он уже не таился.

Жесткие блекло-голубые глаза собеседника потемнели, но он сдержался и лишь пожал плечами, процедив: «Как повезет!» Он явно хотел помочь. «Самое удивительное,— подумал Лотар, которого алкоголь сделал пронизательным,— что от этого он не стал мне симпатичнее. Но несимпатичный помощник все же лучше, чем симпатичный враг, выбирать не приходится».

— А паромщик что за человек? — спросил он.

— С паромщиком все в порядке,— ответил тот.

Спрашивать было больше не о чем, но Лотар все не двигался с места, боясь, что незнакомец смекнет, в каком он состоянии. Сделай Лотар хотя бы шаг, тот сразу заметит, что он едва держится на ногах.

— Спасибо,— выдал он из себя наконец,— спасибо за совет!

Не сказав ни слова, незнакомец повернулся, опять подошел к воде и принялся швырять камешки. Лотар едва добрался до машины, рванул дверцу и плюхнулся на сиденье. Машина накалилась на солнце, и Лотар сразу покрылся потом. Он сперва опустил оконные стекла, потом уж завел мотор. Мать медленно последовала за ним и опустилась на сиденье рядом.

Незнакомец уже не швырял камешки, он стоял в двух шагах и наблюдал за Лотаром.

— Чем мне вас отблагодарить? — спросил Лотар.— Нужно вам что-нибудь? Деньги, к примеру? Западные марки? — Он выговорил все это отрывисто и грубо, заплетающимся языком; тон выдавал его неприязнь к этому человеку.

— Лотар! — одернула его мать.

Незнакомец только молча взглянул на Лотара холодными блекло-голубыми глазами на гладком упитанном лице. Рыбацкая фуражка сидела идеально прямо на его шарообразной голове. «С паромщиком все в порядке, говорит,— подумал Лотар,— но с ним самим не все в порядке». Что-то было в нем такое подозрительное. Не успев еще тронуться, Лотар вдруг, несмотря на хмель, опять почувствовал панический страх перед незнакомцем. Машина медленно, переваливаясь, поехала по просеке. В зеркальце уже не стало видно того человека.

Когда Лотар притормозил перед выездом из леса на шоссе, мать сказала:

— Лучше поедem обратно тем же путем!

— Но почему?—удивился Лотар.—Если только он не врет, маршрут более чем удачный.

Только теперь он задним числом спохватился, что мать во время беседы с незнакомцем не проронила ни слова. Все это время она стояла как каменная.

— У меня недоброе предчувствие,—сказала старая женщина. Лотар пожал плечами:

— Во второй раз нам Нойруппин не проскочить. Полицейские задержат.

И не успела еще мать закончить фразу: «Сейчас мне уже кажется, что лучше иметь дело с полицией...» — как он свернул направо, в направлении, указанном тем человеком. Он прибавил газу, а поскольку был пьян, то ехал сугубо по правилам: строго придерживался правой обочины и не отрывал глаз от шоссе, так что лес, с обеих сторон подступавший к дороге, воспринимался лишь боковым зрением, как нечто расплывчатое, светящееся зеленым и четко прорезанное серой лентой шоссе. Ни одной машины не попалось навстречу. Обогнав только женщину с тачкой, груженной хворостом.

Лишь спустя много времени он вспомнил о письме Мелани. Мысль эта пронзила мозг с такой внезапностью, что он сразу позабыл о руле и тут же заехал на левую полосу. Выправив машину, он спросил:

— Почему ты не дала мне письмо еще в Берлине?

— Оно адресовано мне,—ответила мать.—И мне предназначено. Я вообще не уверена, понравится ли еще Мелани, что ты его прочтешь.

— Смех, да и только!—Голос его звучал грубо и как-то деревянно.—Вся она в этом. Безусловно, ищет ход ко мне и к Рихарду. И только наводит тень на ясный день.

Он чувствовал, что сходит с ума от нетерпения. Это было выше его сил — знать, что письмо находится тут же, в машине, в сумочке его матери, стоит только руку протянуть. Лишь жалкие остатки самоуважения мешали ему остановить машину и выпросить у матери письмо. И чтобы выместить на ней злость за эту вынужденную сдержанность, он начал вытаскивать старые обиды.

— Все это уже было,—заговорил он язвительно,—помнишь, во Фронау, приходя ко мне, она заводила с тобой длинные светские беседы? И ведь знала, что я с ума схожу, пока вы с ней болтаете, что жду не дождусь, когда она придет ко мне, в мою комнату, но она нарочно тянула, находила темы для разговоров с тобой. Она ни разу прямо не сказала, но думаю, что она слегка презирала меня за то, что я, взрослый мужчина, все еще живу

вместе с маменькой.—И, чтоб уж долить чашу до краев, добавил:—Может, именно это и было причиной ее ухода. Ведь я и после войны еще долго оставался с тобой.

—Верно,—сразу согласилась мать, и, будь он трезв, он бы обратил внимание на отсутствие даже нотки обиды в ее тоне.—Вероятно, тебе следовало вовремя расстаться со мной и забрать Мелани к себе. Забрать ее у Рихарда.

Но Лотар уже не слушал. Он вдруг осознал, что как раз проскочил дорожный указатель с надписью «До Баррентина—2 км» и что незадолго до столба с указателем влево отворачивалась никак не обозначенная дорога. Он резко нажал на тормоза. «Не доезжая до Баррентина»,—сказал тот человек. Лотар оглянулся: столб был еще виден. Он начал осторожно подавать назад, но оказался слишком пьян для этого маневра: пока он добрался до развилки, машина несколько раз вильнула от обочины к обочине. А один раз, когда «опель» поехал почти поперек шоссе, Лотар убрал газ и несколько секунд сидел в полном изнеможении: его совсем развезло, и он только тупо смотрел в одну точку.

«Всего четверть литра коньяку—в сущности, ерунда,—но я пьян в стельку и, как все завязтые пьяницы, не привыкаю к алкоголю, а, наоборот, все быстрее хмелею. Два-три глотка теперь уже валят меня с ног»,—грустно думал он, уставясь невидящим взглядом в чашу леса; потом вновь взял себя в руки. Мать молча наблюдала за ним.

Дорога к озеру, через которое ходил паром, оказалась узким песчаным проселком. День уже клонился к вечеру, освещение изменилось, и небо, проглядывавшее между кронами, хоть и излучало по-прежнему ровный белесый свет, но солнечные лучи уже не пронизывали слой облаков, а преломлялись в них, и местность погрузилась в приятный сумрак, очень похожий на предгрозовую. «Значит, Мелани вернулась,—думал Лотар.—Пока только это письмо, но, в сущности, она вернулась. Я прочту его, как только доберемся до межзонального шоссе». Он оживился и вновь вполне овладел собой, у него теперь была ясная цель: паром, потом еще несколько километров по долине Доссе,—отличный совет дал им тот парень на озере Клинк,—потом шоссе на Гамбург. Выбравшись на шоссе, он остановит машину и прочтет письмо Мелани. Ничего странного не было в том, что в связи с этим письмом ему вспомнились обстоятельства ее ухода. Она позвонила ему как-то утром в октябре 1947 года, сразу после завтрака, и попросила приехать. Рихард был в отъезде, Андреас и Гюнтер в школе, только четырехлетняя Марианна была с Мелани дома. Мелани попросила присмотреть за Марианной до



обеда, когда его сменит приходящая прислуга, а вечером Рихард уже вернется, сказала она, но в первую половину дня некому побыть с ребенком, а ей надо уехать.

Лотар забеспокоился.

«Что это? — спросил он. — Куда это?»

«Мне надо уехать, — ответила Мелани, — просто уехать. Не знаю, вернусь ли».

Она была уже в пальто и, стоя в прихожей, еще раз пригладила щеткой волосы. Чемодан был уложен, и она ушла из дому, не взглянув напоследок на девочку, игравшую в гостиной. В то время, в 1947 году, даже семья Рихарда Брама жила в тесноте. Лотар прошел в гостиную и, выглянув в окно, увидел, как Мелани садилась в ожидавшее ее такси. Машина уехала, и улица, тихая улица в Западном Берлине, застроенная доходными домами, в одном из которых жило тогда семейство Брам, совсем опустела. Лотар отошел от окна и сел в одно из кресел; он долго наблюдал за Марианной, которая спокойно перебирала какие-то кубики, не обращая на него внимания. В те времена у детей было мало игрушек.

## 7

Дорога уперлась в большую, мощенную бревнами площадку на самом берегу озера. Вокруг валялись ошкуренные стволы и земля была усеяна кусочками буковой коры, которые трещали под колесами «опеля», когда Лотар подъезжал поближе к воде. Он увидел канат, протянутый через озеро, ширина которого в этом месте достигала примерно полкилометра. Паром — сбитый из бревен плот — стоял у противоположного берега; Лотар разглядел его, когда вылез из машины. На этом озере тоже не было домов — во всяком случае, с того места, где стоял Лотар, не было видно ни одного, лишь немного севернее над лесом торчала труба кирпичного завода.

Лотар сложил ладони рупором и крикнул: «Давай сюда!» Никакого результата; он крикнул еще раз. Потом вернулся к машине — мать так и не вставала со своего места — и нажал на сигнал. Звук его, хриплый и пронзительный, резанул слух. На том берегу появился человек; он вышел из леса и шестом неторопливо оттолкнул плот от берега. Паром двумя тросами соединялся с канатом, и Лотар смотрел, как паромщик тянул плот, перебирая по канату руками. В сером свете сумерек озеро лежало зеркальной гладью, и ему померещилось, что паром вообще не движется. Лотар посмотрел на камыши, окаймлявшие

тот берег, где он стоял; между ними кое-где вяло колыхалась пена, на гладкой, словно покрытой пленкой воде застыли щепки и куски коры; ни ветерка. Лотар принялся ждать, уставясь пустым взглядом в пространство. Он был не прочь допить остатки коньяка, но его так разморило, что даже на это не доставало сил.

Десять минут ушло у паромщика на то, чтобы пересечь озеро; когда он подъехал поближе, оказалось, что он тощ, долговяз и закутан в какую-то серую хламиду вроде средневекового плаща. Здороваться он не считал нужным. На бревна плота были настланы доски, и паромщик, пристав к берегу, спустил вместо сходен две плахи, чтобы машина могла въехать по ним на паром. После этого он молча стоял на плоту, наблюдая, как Лотар управляется с машиной.

— Примитивное устройство,—сказал Лотар матери, запуская мотор,—такое встретишь теперь разве что здесь, на Востоке.— В глубине души он был очарован и этим простым плотом, и этим ветхозаветным паромщиком, и таинственным, затерянным в лесной глухомани озером.

— Может, тебе лучше выйти из машины?—спросил он.

Она отрицательно покачала головой. Лотар искоса взглянул на нее, и у него вновь защемило сердце при виде ее отчужденно-замкнутого лица. Он понял, что машина представлялась ей каким-то убежищем, что эта поездка была для нее сплошной мукой, что ей хотелось отсидеться в этой норе из жести, пока все кончится и она вновь почувствует себя в безопасности. «Я вел себя как последний негодяй»,—подумал он.

Серый паромщик положил плахи точно по ширине колеи «опеля», и Лотару удалось с первого раза въехать на плот. С чувством облегчения от того, что так удачно справился с этой задачей, он вылез из машины. Паромщик уже втащил доски обратно и успел оттолкнуться. Лотар даже удивился, вдруг увидев между собой и берегом полосу воды, которая быстро росла. С помощью роликов тросы парома бесшумно скользили по канату. Чтобы тянуть плот, паромщику нужно было просто перебирать обеими руками по канату, и, хотя паром теперь под грузом машины отяжелел, казалось, что движение это не стоит ему особых усилий. Работая, он стоял спиной к пассажирам и глядел на озеро, но как будто не видел его.

Лотар стал рядом и принялся помогать. На ощупь канат был твердым и гладким. Тут паромщик вдруг заговорил:

— Не трогайте!—хмуро осадил он Лотара.—Тянуть надо умеючи. А без сноровки браться—беды не миновать.

Лотар испуганно отдернул руки. Впрочем, он и сам заметил, что настил под ногами слегка дрогнул, когда он взялся за канат. Но больше всего его поразил голос паромщика: это был голос дряхлого старика. Тот был тощ и долговяз, но все же производил впечатление человека хоть и старого, но крепкого, а вовсе не дряхлого.

Теперь озеро было видно во всю его длину; на юге оно упиралось в густые заросли камыша, сменявшиеся болотистой лощиной, над которой возвышались лишь одинокие сосны; на севере кончалось бухтой, окаймленной буковым лесом. Вдалеке сквозь зелень смутно проглядывались какие-то кирпичные строения: вероятно, окраинные дома Баррентина. Ни одной колокольни не было видно; труба кирпичного завода тоже исчезла из глаз. Тихое, словно зачарованное озеро едва серебрилось в сумеречном свете северного летнего дня. Лишь ролики слабо шуршали в тишине.

— Мы с Запада,—сказал Лотар. Молчание паромщика угнетало, и он решил его разговорить. Как и всех пьяных, Лотара тянуло к общению.

Ответа не последовало. Сведения такого рода, видимо, не интересовали старика. Впрочем, Лотар так и думал. Он попробовал расшевелить его, задав прямой вопрос:

— Давно вы здесь паромщиком?

Старик не повернул головы. Он продолжал тупо и равнодушно перебирать руками по канату. Но до ответа снизошел:

— Побольше пятидесяти лет.

Лотар прикинул в уме, получился 1910 год. Кайзеровская империя, Веймарская республика, нацистская диктатура, социализм. Разные системы правления. «Ему, наверно, под семьдесят. Потому и голос такой старческий,—подумал Лотар.—Простоял на пароме четыре системы».

— А в армии были?

— В первую войну,—откликнулся тот,—а на вторую уже не взяли.—Он выдал еще несколько слов—видимо, ему казалось важным это добавить:—Во вторую-то я вон как пригодился. Когда беженцы повалили...—Он не договорил, умолк.

Под действием хмеля у Лотара всегда наступали минуты озарения. «Чтобы писать историю,—думал он,—надо фиксировать свидетельства такого вот очевидца. Не копаться в сообщениях посланников, переписке государственных деятелей и мемуарах, а искать совсем иные источники. В каком свете представляются четыре системы правления, четыре мировоззрения на затерянном в глуши бранденбургских лесов пароме в середине

двадцатого века? Это же материал для диссертации! Если бы у меня были аспиранты, я бы вытащил их из архивов и послал в гущу жизни, к таким вот старикам». Он вновь с горечью вспомнил, что ему не приходится руководить аспирантами. Он всего лишь приват-доцент, занимающийся узкой отвлеченной тематикой, специалист по некоторым разделам истории религиозных вероучений средневековья, вбивший себе в голову, что в его задачи входит лишь выявление степени неповторимости того или иного исторического процесса, то есть тихий кабинетный ученый, тихий пьяница, любитель полутени, очевидно, неполноценный и как мужчина, ибо иначе Мелани...

Он не успел додумать до конца эту мысль, потому что вспомнил о письме и о том, что Мелани теперь, вероятно, вернется, и только собрался было подойти к тому окошку машины, возле которого сидела мать, чтобы рассказать ей о семидесятилетнем паромщике, работающем здесь с 1910 года,— история такой жизни польстила бы ее прусскому тщеславию,— как вновь ощутил легкое покачивание, колыхнувшее паром; оно передалось сначала в ноги, которые вдруг потеряли устойчивость. Он стоял на конце плота, обращенном к уходящему берегу, глядя на него теперь уже издали,—они доплыли примерно до середины озера—а поскольку ощущение неустойчивости в ногах не сразу прошло, он отступил на шаг и обернулся.

Возможно, что Лотар Витте, обернувшись, в тот же миг увидел, что машина, в которой сидела мать, катится к переднему краю парома. Возможно, но мало вероятно. Вполне вероятно лишь то, что на сетчатке его глаз отпечаталось изображение «опеля» — он и на самом деле тронулся с места и медленно, почти нежно покатился, но, поскольку расстояние, оставшееся ему до края плота, было ничтожным, «опель» покрыл его почти в неподвластное измерению время, так быстро шло это медленное откатывание. Машина достигла края парома, перевалила через него передними колесами, под тяжестью мотора наклонилась вперед и с коротким всплеском ушла под воду. Но мозг Лотара, видимо, не сразу воспринял изображение на сетчатке — слишком не вязалось оно с тем представлением о реальности, которое тогда у него было. Оно просто не умещалось в той жизни, которой он жил и которую, несмотря на пристрастие к выпивке и любовь к замужней женщине, можно было назвать тихой и упорядоченной. Только этим можно объяснить, почему Лотар, упав на колени от сильной качки, возникшей на плоту после того, как машина рухнула в воду, на некоторое время застыл в этой позе, опираясь ладонями о мокрые доски настила и тупо

уставясь на то место, где только что стоял «опель». «Опеля» не было, хотя было совершенно невероятно, что его не было.

С паромщиком происходило нечто похожее. Он заметил, что творится что-то неладное, потому что паром вдруг перестал поддаваться движению его рук, но по старческой неповоротливости не сразу обернулся, а когда плот сильно закачался, невольно ухватился за канат. Поскольку ему было за что держаться, он не упал на колени, как Лотар. Вряд ли он даже видел, как машина рухнула в воду. Когда качка прекратилась и паром выровнялся, он тоже обнаружил, что машина исчезла. Старик выпустил канат и молча смотрел на пустой настил. Ролики еще несколько раз со скрежетом поерзали по канату.

Только когда паромщик заметил, что Лотар поднялся с колен и сделал несколько шагов к тому краю плота, он подошел к нему и схватил его за руку.

— И не думайте,—сказал он.—Здесь сто метров глубины.

А Лотар и не собирался прыгать в воду и пытаться спасти мать, он хотел только взглянуть на то место, где машина погрузилась в воду, причем он тут же сказал себе, что, скорее всего, это было уже другое место, вероятно, паром успел продвинуться настолько, что то место было уже позади. Он перебежал на другой конец и поглядел вниз: вода везде была одинаковая, темно-зеленая. Он был еще не в силах представить себе, что там, внизу, тело его матери, но уже ничто не могло заставить его коснуться этой воды хотя бы рукой.

— А плавать она умеет?—донесся до него голос паромщика.—Если умеет, может, еще выплывет.

Лотар медленно повернул голову в сторону говорящего. Этот старик предлагал ему, значит, представить себе, что его мать там, внизу, пытается вылезти через окошко машины в надежде вынырнуть на поверхность, что она отчаянно борется за жизнь, из последних сил стараясь не захлебнуться, не дать воде проникнуть в легкие. Он опустил на доски настила и сгорбил-ся.

— Нет, навряд ли,—снова послышался старческий голос с сильным местным акцентом; паромщик вдруг осознал бессмысленность своего вопроса.—Тут глубоко, она уже захлебнулась.—Потом, помолчав, спросил:—Это ваша матушка?—И опять принялся тянуть паром. Плот стал легче, и через несколько минут они пристали к берегу. Лотар продолжал сидеть в той же позе.

— Пойду позвоню на спасательную станцию,—сказал паромщик.

Лотар поднял голову.

— Почему вы, собственно, не обратили внимания, что я пьян? — резко спросил он. Он говорил со стариком как со своим подчиненным. — Почему вы не обратили внимания, что я не поставил машину на ручной тормоз и на передачу, когда въехал на паром?

— Я ничего не смыслю в машинах, — сухо возразил тот.

Он еще что-то добавил, но Лотар уже больше не слушал. Он смотрел на воду. Только через какое-то время, когда паромщик уже давно исчез из виду, мозг Лотара наконец-то воспринял изображение, отпечатавшееся на сетчатке его глаз. Но там не запечатлелось ни катящейся по плоту машины, ни погружения ее в воду, ни белых пузырьков воздуха, с бульканьем всплывающих из темно-зеленой глубины, а только лицо матери, успевшей бросить на него взгляд в ту долю секунды, когда «опель» еще не клюнул носом и не утащил ее с собой на дно. Мать, очевидно, повернулась на сиденье, почувствовав, что машина катится. У нее уже не было времени крикнуть; она только обернулась, скорее всего крайне удивившись и, вероятно, даже не успев испугаться; она взглянула на Лотара, как бы прося у него объяснения, скорее в недоумении, чем в ужасе. Так она и исчезла — с невысказанным вопросом к сыну в глазах. Перед Лотаром стояло ее лицо. Сидя на дощатом настиле парома у берега Баррентинского озера, он почувствовал, что это лицо становится уже неотъемлемой частью его прошлого, и внезапно начал смеяться, приветствуя появление предсмертного лица матери в галерее лиц, хранящихся в его памяти.

Когда стемнело, прибыли спасатели из Витштока. Они привезли акваланги. С ними была и машина «скорой помощи». Лотару, который все еще смеялся, врач сделал укол. Когда его клали в машину, он уже спал.

## 8

От нервного шока он оправился довольно быстро. Его доставили в одну из берлинских тюрем и на всякий случай обращались с ним как с подсудимым, поскольку не очень-то понимали, что он за птица. Камера-одиночка освещалась круглые сутки, так что он спал мало и плохо. В половине одиннадцатого ему выдавали два одеяла и разрешали лечь в постель. Прятать лицо и руки под одеяло не полагалось, так что его будили, если во сне он нарушал это правило.

Он пытался объяснить, почему он оказался в стороне от межзонального шоссе, но на него смотрели непонимающими глазами. Во время одного из допросов следователь сообщил, что машину подняли и что ее конфискуют.

— Что с моей матерью?—спросил Лотар.

— Ее похоронили,—ответил следователь.—На кладбище в Витштоке.

— У нас есть семейная могила,—заметил Лотар,—на Гернгутерском кладбище, возле площади Блюхера.

— Вы можете позже произвести перехоронение,—сказал следователь.

Спустя несколько дней ему принесли вещи, найденные в машине,—главным образом вещи его матери, в том числе и коричневую сумку. Видно было, что все это долго пролежало в воде и затем подверглось тщательной сушке: вещи казались какими-то мумифицированными экспонатами, добытыми при раскопках.

В сумке он нашел письмо Мелани, оно пришло из Восточной Германии. Лотар повертел письмо, прочел адрес матери, написанный от руки; почерк Мелани почти не изменился. Чернила от воды кое-где расплылись. Не читая, он аккуратно порвал письмо на мелкие кусочки.

Через три недели его выпустили. Очень помог Тилиус, походатайствовав за него через своих коллег в университете имени Гумбольдта. Лотара доставили в машине к Бранденбургским воротам, где его встретил Тилиус, которого заранее известили. День был дождливый и прохладный. При этой встрече Тилиус показал себя с лучшей стороны—не было всех этих его деканских замашек, не было искусной велеречивости, он вел себя сдержанно, говорил мало и явно искренне сочувствовал горю Лотара. Когда они сидели в такси, он сказал:

— Прокурор перешлет бумаги на Запад. Вам придется еще выдержать процесс по обвинению в преступной халатности, приведшей к смертельному исходу... Но дело почти наверняка кончится условным осуждением,—добавил он.

Лотар попросил высадить его у вокзала Цоо. Прежде чем он вышел из такси, Тилиус сказал:

— Неужели не можете бросить пить, Витте?!

Он сказал это по-дружески, просто, как мужчина мужчине.

На вокзале Лотар посмотрел расписание межзональных поездов. Он решил утром следующего дня уехать на Запад. Потом зашел к какому-то маклеру и поручил ему заняться продажей дома во Фронау. Дом не был заложен, и маклер наобещал за него

кучу денег. Лотар прикинул, что эти деньги позволят ему на несколько лет оставить преподавание в университете и посвятить все время работе над книгой об Амори де Бене. Он отправился побродить по Курфюрстендамм и в конце концов завернул в «Бристоль». Терраса там отапливалась инфракрасными обогревателями. Лотар сидел под тентом в плетеном кресле с мягкой обивкой и рассеянно глядел на улицу. Было прохладно, блестящий под дождем бульвар пестрел дамскими зонтиками. После трех недель в тюрьме без капли спиртного Лотар еле дождался, когда принесут заказанные им две рюмки коньяку. Он выпил их с наслаждением, но больше заказывать не стал. Потом поднялся и ушел, чтобы снять номер в отеле на ночь.

## БЕСПРЕДЕЛЬНОЕ РАСКАЯНИЕ

Он уже отчитал «Confiteor»<sup>1</sup> и «Introitus»<sup>1</sup>, Евангелие и «Gloria»<sup>1</sup>, теперь он подошел к основной части мессы. Он склонился к алтарю, чтобы облобызать камень, после чего отвернулся и, слегка воздев руки, начал.

Он увидел, как они рассаживаются. «Dominus vobiscum»<sup>1</sup>. Хотя он уже десять лет как служил литургию, ему до сих пор не удавалось выделять из толпы отдельные лица: люди расплывались перед его глазами. «Почему я не могу различать людей,— думал он,— хотя они стали привычными для меня?» Привычными — это хорошо.

«А им тоже нужно привыкать ко мне? К моей уверенной, гладкой, затверженной манере, которая помогает мне держать их на расстоянии. Так или иначе, я все еще не умею различать людей. Вероятно, у меня до сих пор боязнь рампы». Он услышал, как служка произносит: «Et cum spiritu tuo...»<sup>1</sup> — и торопливо заключил: «Oremus»<sup>1</sup>. Церковь, единственная полностью уцелевшая церковь города, подхватила это слово и приняла под свои величественные барочные своды. Яйцевидная, жемчужно-серая, исчерченная золотым плетением алтаря и черной сеткой теней, она обволокла его призыв к молитве. «Мне надлежало бы произнести это на улице,— думал он,— на улице, среди развалин. Со вчерашнего дня мне ненавистна эта церковь.

---

© Перевод на русский язык издательство «Художественная литература», 1981.

<sup>1</sup> «Исповедуюсь»; «Взошедший»; «Слава»; «Господь с вами»; «И духом твоим...»; «Помолимся» (лат.) — названия частей католической литургии.



И вообще она давно уже действует мне на нервы. Я буду хлопотать о переводе в один из бедных приходов епархии. Наверху меня едва ли поймут. Но смею ли я принадлежать к соборному капитулу, после того как этот человек поколебал мою уверенность? Не веру мою, но совесть мою?»

Он надеялся, что, снимая покров с чаши и вознося дикос со священной остью, сумеет душой отдаться молитве. Но привычка и здесь сделала свое дело—его лицо не изменило выражения. «Я по меньшей мере две тысячи раз служил литургию,—размышлял он.—Поистине удивительно, что сегодня я не могу думать о том же, о чем думал еще вчера, совершая священный обряд. Сегодня я думаю лишь о нем, об этом человеке. Вчера,—мельком отметил он,—вчера в это время я еще вспоминал о статье, которую патер Евгений хочет получить от иезуитов для своего сборника, о ненаписанном отчете ученого совета для господина кардинала, о политиканах, которые осаждают меня в надежде выведать какие-либо тайны архиепископской кафедры, под конец даже о превосходном обеде у прелата Майера, куда я бываю зван каждую субботу. Вчера была суббота. Сегодня же я думаю только о нем, о том, кто был у меня вчера после обеда».

Он перешел на правую сторону алтаря и налил вино в чашу, которую держал перед ним служка. Губы его привычно пробормотали формулу: «О господь, чудесно сотворивший достоинство человеческой природы и еще чудеснее обновляющий ее»,—между тем как сам он разбавлял вино толикой воды. Потом, выскользнув из-под защиты парадного облачения, он вернулся на середину алтаря, чашей сотворил в воздухе крест и поставил ее на плат.

Неподалеку от церкви, среди развалин рухнувшего дома, играла девочка. Она не видела по-воскресному тихих улиц, потому что вскарабкалась на гору кирпичей и каменной россыпи и сидела посреди ровной площадки, которую сама для себя расчистила несколько дней назад. «Здесь хорошо играть,—думала она,—здесь мне никто не мешает. Я возьму свою тележку и буду играть в загородную прогулку. В Бунцлау мы часто ездили на загородные прогулки. Но только с мамой. Папа был солдатом и не жил дома. А теперь я поеду на прогулку с папой. Придется запрячь в тележку лошадь. Я возьму кирпич, вот и будет лошадь, толстая такая. Хорошо, что Улли не видит, как я играю, не то она задразнила бы меня. «Кирпич—это кирпич, а вовсе не лошадь!» Вот кусок известки, он похож на человека, он будет папа. Я поставлю его в тележку. Так, а теперь поехали! Н-но,

н-но, пошла! Кирпич слишком большой, мне его не поднять, поищу другой, поменьше. Этот, наверно, подойдет. Запрягу его в тележку. А ну, лошадь, вези меня и папу! Куда мы поедем сперва? Вон туда, к той каменной горке, это у нас будут Исполиновы горы. Папа все время вспоминает Исполиновы горы. В тех горах живет Рюбецаль. А вдруг там окажется Рюбецаль! Тогда папа за меня заступится. А с маленьким кирпичиком лучше получается. Надо бы взять с собой веревочку и привязать кирпич к дышлу. Одно колесо плохо крутится. Жалко, мамы здесь нет, не то она могла бы поехать с нами. Ой, как шелестит то дерево! А вдруг из него вылезет призрак!»

«Я побил свою маленькую дочку,—сказал ему этот человек, этот отец со смятенными глазами.—Я очень сильно ударил ее в лицо. Я пришел к вам исповедаться, но я понимаю, что этому нет прощения». «Поначалу я принял его за одного из тех кротких безумцев, которых порой влечет к нам»,—думал священник, держа над тазом сомкнутые ладони, покуда служка поливал их водой из графина.

— Омываю в невинности руки мои,—прошептали все еще лишенные выражения губы, но глаза заблестели, ибо видели перед собой то, другое лицо, явившееся ему вчера. Он слышал, как тот отец говорит: «Ах, если бы вы видели ее искаженное лицо. Она даже не заплакала. Надобно вам сказать, что до вчерашнего дня я ни разу ее не бил».

Вдруг он осознал, что произносит слова «о людях, на которых вина крови», предшествующие жертвоприношению святой троице. Но разве они не повсюду, эти люди? Не они ли собрались сегодня в его церкви? Быстрым шагом и без следов раскаяния вышли они из разоренных домов, прошли по исковерканным улицам, собрались под серо-золотым яйцеобразным сводом. Кто же они, эти люди, заполнившие его церковь? Убийцы, которые бросали бомбы; женщины, которые хуже блудниц, ибо даже и не продаются, а просто-напросто неверны; богачи, которые знают, что их богатство преступно; священнослужители, которые раздают святые дары, словно так все и должно быть: святыня, раздаваемая привычной рукой тем, кто больше о ней не просит. Выходит, я презираю людей, упрекнул он себя. Ведь есть среди них и такие, которых влечет к престолу господина истинная потребность. Но где и когда встречался мне человек, который, подобно этому, обвинял бы себя в неискупимой вине? «Может быть, ваша маленькая дочь сделала что-то очень скверное?—наконец ответил он этому человеку.—И если даже вы обошлись с

ней несправедливо, вы, как я вижу, раскаиваетесь в своем поступке. Почему же и вам не может быть даровано прощение?»

«Церковь прощает и большие преступления,—гласил ответ.— Но как маловажно все это. Мелкие проступки способны разрушить жизнь человеческую. Выслушайте же меня».

Те слова «Молитесь, братие», с которыми он воззвал к пастве, прервали нить его размышлений, но последовавший далее хвалебный и благодарственный хорал, а за ним—начальные строки канона вновь вернули ему возможность беспрепятственно отдаться ходу своих мыслей. Канон заключал в себе все сущее, заботы всех людей. Значит, среди других и заботу этого человека и его неотвязный шепот?

«Вот мы и добрались до Исполиновых гор. Надо бы выстроить церковь, это у нас будет монастырь Грюсау, куда мы всякий раз ездили с мамой. А папа никуда со мной не ездит. Но папа не виноват, просто теперь больше нет ни лошадок, ни повозок. Монастырь Грюсау—какая это была красивая церковь! Таких красивых здесь и нет вовсе. Здесь они все разрушенные. Мы с мамой там были. Играл орган, громко-громко. А впереди стоял священник, и платье у него было все из золота. Мальчик в белой одежде протягивал ему бокал. Я спросила, что в этом бокале. «Вино,—ответила мама,—он претворяет его в кровь Христову». Но ведь делать вино из крови нельзя. Мы недолго пробыли в церкви. Мы поехали дальше, в горы.

В лесу жил Рюбецаль. А вдруг начнется дождь? Как много стало облаков! Надо сделать для папы плащик. Вот листья упали с дерева, можно из них. Но сперва надо построить церковь. На башню придется найти камни, которые совсем белые. В Грюсау камни были тоже белые. Ой, как я испачкала фартук. Папа будет ругаться. А можно будет починить куклу, чтоб папа больше не был такой грустный? Ну вот моя церковка и готова. Поглядел бы на нее папа! Но ему не надо знать, что я здесь играю, не то он рассердится, он не любит, когда я играю одна. Он велит, чтобы я играла с другими детьми. А я больше люблю играть одна. Н-но! Держись, папа, лошадь может понести».

«Я подарил ей куклу, очень красивую куклу, из тех, что сейчас можно достать только на черном рынке. У моей дочери еще никогда не было куклы, хотя ей уже семь лет. Мы беженцы, живем здесь третий год. Живем очень бедно. Вот почему это была для меня большая жертва—купить ей куклу. Нас теперь всего двое—моя дочь и я. Мы очень хорошо ладим. Жена от

меня сбежала в прошлом году. Она была очень молодая, я не мог ее удержать. Впрочем, вы, как священник, едва ли в этом разбираетесь».

Губы, шепчущие молитву, на мгновение смолкли, чтобы ввести в нее конкретных людей и мысли. Когда же вновь раздался шепот, сопровождаемый приглушенным кашлем, шорохом одежд, шарканьем ног, голос того отца возник снова.

«Вот почему я вынужден каждый день оставлять дочку одну на много часов. Иногда за ней присматривает соседка, но не могу же я требовать, чтобы она это делала каждый день. И малышка либо сидит одна в комнате, которую нам выделили, либо играет в развалинах. Я устроился работать на почту. Целый день думаю о том, что она сейчас делает. Ваше преподобие, доводилось ли вам хоть когда-нибудь представить себе одинокого ребенка? Впрочем, я хотел рассказать про куклу. Вчера вечером, вернувшись домой, я увидел, что дочка сидит в полутемной комнате, у окна, на своем маленьком стульчике. Она оторвала кукле голову и, когда я вошел, как раз собиралась выпотрошить войлок, которым набито туловище куклы. Тут меня охватил слепой гнев, и я ударил ее. А она даже не заплакала».

Он услышал колокольчик служки и вновь механически сотворил крест над дарами. «Господи,—подумал он,—сейчас начнется претворение, а я к нему не готов, потому что этот человек все еще не отпускает меня». В его ушах снова зазвучал тот же голос: «Она оторвала кукле голову. А я за это ударил ее в лицо. Но кто ударит меня? И кто ударит того, кто ударил меня? Почему бог не перестанет нам все прощать? Ведь так все и пойдет. Кончится тем, что удар нанесут самому богу».

«Сейчас хлеб и вино претворяются в плоть и кровь,—думал он,—но могу ли я с их помощью даровать прощение грешникам?»

«Упали первые капли. Вот почему дерево так шелестело. Из него и вышел призрак. Призрак дождя. Скорей накинуть плащ на папу. Нет, просто так листья не держатся. Придется связать черенки и проткнуть их травинкой. Вот, теперь держатся. Надо ехать поскорей, как в тот раз, когда мы бежали от солдат. Тогда вдруг объявился папа. Он еще был в форме. Быстрей, лошадка, быстрей! Нам пора домой. А мы уезжали все дальше и дальше от дома. Плохо, что мама больше с нами не живет. Я принесу папе этот кусок известки в плаще. У него голова как у человека. Папа опять станет веселый и засмеется. Поведет ли он меня сегодня есть мороженое? Но мне нельзя

прийти домой в мокром платье. Постою у входа в подвал, пока не кончится дождь. Только у самых дверей. Заходить дальше я боюсь. Мало ли что там может быть».

Девочка, светлая и тоненькая, остановилась в дверном проеме, расчищенном от обломков, и ждала, пока кончится проливной дождь, который уплывал по небу вместе со свинцово-серыми облаками. Известковую куклу и деревянную тележку она прижимала к груди.

Бурный прибой претворения увлек его за собой. Вот-вот волны выбросят его на берег. Свершилось. Трижды прозвучал колокольчик служки, прежде чем священник преклонил колено и обеими руками поднял остию.

«Она оторвала кукле голову. Она так углубилась в свое занятие, она даже не сознавала, что делает. А я из-за этого осквернил ее лицо. Мне нет прощения!»

«Тогда зачем вы пришли ко мне? Только чтобы сказать это? Вас обуяла гордыня, в своей гордыне вы даже вообразили, будто милость господня не может объять и ваш грех. А впрочем, вы правы, я не могу отпустить вам грех, коль скоро вы сами не хотите прощения».

«И тогда он ушел. Этот житель развалин, этот переселенец, вообразивший, будто господь избрал его, чтобы свершить чудо и разорвать нескончаемую цепь греха и искупления, оставив на нем его вину. У него был смятенный от ужаса взгляд, такими, наверно, были и глаза его дочери, когда он ударил ее. Ему, именно ему, я должен был навязать прощение. Я должен был бежать за ним хоть на край света и умолить его принять от меня прощение. Раз в жизни,—думал священник,—я увидел перед собой человеческое лицо. Увидел, но не признал. Я не признал его. Я недостойн здесь стоять. И однако же сегодня я вновь служил литургию. Недостойн служить. Литургию».

Голос его стал беззвучным, когда он в третий раз преклонил колено и воздел чашу с дарами.

— Это чаша крови моей, нового и вечного союза, это тайна веры,—произнес его беззвучный голос в тишине церкви, но лицо его вопияло: «Почему ты бьешь нас, о господи?»

## ВМЕСТЕ С ШЕФОМ В ШЕНОНСО

Шоферу господин Шмиц заказал на первое «Terrine du Chef». «Вы ведь не откажетесь от супа, Йешке», но, к их общему

изумлению, на стол подали блюдо с холодной закуской: копченой ветчиной, колбасой и паштетом из гусиной печенки; гарсон, которого подозвал доктор, слегка пожав обтянутыми фраком плечами, пояснил на ломаном немецком, что это и есть требуемое. «Terrine,— рокотал господин Шмиц.— Да я мог бы поклясться, что это суп!» Ни один из троих—ни господин Шмиц, ни доктор Хониг, ни шофер—не говорил по-французски; французский был серьезным пробелом в образовании доктора, но, приглашая его с собой, господин Шмиц великодушно изрек: «Это не столь важно, французский рынок нам ни к чему, ткани у них у самих великолепные, на рекламу нашу они не клюнут». (Слово «реклама» он произнес на английский лад.) Однако сейчас, вспомнив об оказанном ему снисхождении, доктор Хониг болезненным уколом ощутил свою неспособность помочь шефу.

Йешке, сухопарый и смуглолицый, типичная картофельная душа, окинул блюдо мрачным взглядом, но, отведав одно-другое, признал, что ливерная колбаса превосходна; заявление это ввиду обычной неразговорчивости Йешке заслуживало внимания, оно позволило господину Шмицу больше не сдерживать свой аппетит и снять с закуски пробу; он и доктора Хонига призвал помочь Йешке, но Хониг предпочел дожидаться своих виноградных улиток, а покуда их не принесли, наблюдать за сотрапезниками: за чопорно вытянувшимся Йешке, который, не расстегнув ни единой пуговицы на своей форменной тужурке, с размаху втыкал вилку в очередной ломтик, и за упакованным в тугой упругий жир Шмицем—чуть ли не лежа на тарелке, он почти без умолку, однако вполне удобопонятно витийствовал, что не мешало ему быстро и со вкусом поглощать пищу; впрочем, не то чтобы он был толст—в такую примитивную формулу господин Шмиц не укладывался,—просто это был человек, который годами исправно питал себя, и только всем наилучшим, а это, как считал доктор, отнюдь не то же самое, что набивать брюхо. Между прочим, уже на пороге «Анн де Бойё» господин Шмиц спросил доктора, не пострадает ли его классовое достоинство от того, что с ними за один стол сядет шофер, и Хониг ответил, что это, пожалуй, серьезное посягательство, но он, так и быть, это выдержит. Господину Шмицу можно было и даже требовалось отвечать иронически, он не выносил льстивого поддакивания—«мне не нужны подбрехунчики»,—и это делало общение с ним терпимым, хоть и несколько утомительным.

Подкрепившись, они через Орлеанские ворота покинули Париж в машине господина Шмица; доктор Хониг сидел впереди, рядом с шофером, господин Шмиц сзади, один; обивка была

кожаная, бледно-лимонного цвета, а там, за безосколочными, тщательно протертыми синтетической губкой стеклами, лежал «обшмыганный», по меланхолическому замечанию господина Шмица, Париж. Вчера, в Версале, он пришел в неистовство, увидев, в каком состоянии находится дворец.

— Ну знаете, просто недопустимо, такую вещь и так обшмыгать,— кипятился он.

Он так и сказал о Версальском дворце—вещь. Доктор пробормотал что-то об изыске, который придает патина, но господин Шмиц не принял возражения.

— Какая там еще патина,—бушевал он.—Просто дерьмо! Если им действительно важно не потерять свое прошлое, пусть хранят вещь в том виде, в каком ее задумал Людовик Четырнадцатый, то есть новешенькой, пусть она сверкает, будто ее построили только вчера.

«Ах, вот оно что!»—воскликнул про себя доктор, тут же представив сверкающие фабрики господина Шмица в Крефельде; и хотя аргументация патрона до того обезоруживала, что и сказать-то было нечего, все же, поскольку возражение требовалось, он промямлил несколько замечаний насчет природы прекрасного, неизбежности износа, а также нечто по части эстетики и истории.

Но господин Шмиц оставался неколебим.

— Может, вам это и правда кажется красивым так, как есть, но лишь потому, что вы не способны представить себе все это новым.

И он принялся выкладывать, что знал—а знал он много—о технологии покраски домов во времена позднего барокко; доктор только диву давался.

«Это все-таки забавно»,—размышлял он, между тем как Париж уходил вдаль. Франция глазами немца, немецкого «чудо»-строителя, вот он одиноко сидит позади него в глубине сверкающей черной машины, на кожаном сиденье бледно-лимонного цвета, одинокий не только сейчас, нет, вообще окруженный некой неуловимой аурой одиночества, которое он явно переносит с трудом, ведь он и доктора взял с собой на затянувшийся уикенд лишь потому, что нуждается в обществе. В основном поэтому.

— Поехали, а?—предложил ему господин Шмиц.—Наши торгаши пусть сидят дома, а мы с вами устроим себе на недельку хорошую жизнь.

Однако доктор Хониг понимал, что господин Шмиц выбрал

его в спутники вовсе не потому, что находил его симпатичнее других людей из своего «оперативного штаба». Патрон отлично сосуществовал с теми, кого называл «торгашами», но, предпринимая поездку к очередному собору или замку, он охотнее брал с собой тех сослуживцев, которым платил за то, что они знают толк в искусстве. («Лишь по штату»,—протестовал обычно доктор, разворачивая перед шефом плакат, нарисованный Уэги, а шеф ему на это: «Вам и положено больше разбираться в искусстве, чем мне». Впрочем, совсем отучить господина Шмица разглагольствовать об искусстве было не в его силах, равно как и воспретить своим коллегам—как «торгашам», так и ведущим инженерам—называть себя «искусственный мед».) Нет, господин Шмиц отнюдь не считал его приятнее или неприятнее других своих приближенных, просто господин Шмиц был одинок, но плохо переносил одиночество, он не имел друзей, но нуждался в обществе; друзей не было, были *служители*: кто при машине, а кто при искусстве,—и он воспитывал в них спорщиков, ибо в мире, где поддакивают твоим мыслям и делам, успех невозможен. Когда же ты так преуспеваешь, как господин Шмиц, ты приговорен к одиночеству в глубине своего лимузина.

Оставался, конечно, нерешенным вопрос, почему бы в таком случае господину Шмицу не брать с собой спутницу. То, что он не достаивал этой чести свою спутницу жизни, объяснений не требовало: спутница жизни господина Шмица была супругой, она лишь нехотя покидала свой дом, обставленный мебелью под чиппендейл. Гораздо удивительней было то, что никто никогда не видел приятельниц господина Шмица. Всякий раз, как доктор Хониг задумывался над этой стороной жизни патрона, он бросал взгляд на кисти его рук: короткопалые, но изящной лепки, обтянутые бледной прозрачной кожей, они плохо сочетались с упитанным, источавшим успех крепким мужским телом—или то были шупальца, так сказать, инструмент для опробования успеха?

Оказалось, что в Шартрском соборе господину Шмицу хулить нечего. «Жаль только, что мы поздновато»,—думал доктор. Смеркалось, стылое октябрьское небо успело посереть, так что большое круглое окно уже потухло. К тому же еще с утра сильно похолодало, ветер только что не сбивал с ног, и, любуясь скульптурной отделкой Королевского портала, Хониг чувствовал первые признаки жестокого насморка. Ему хотелось скорее в машину, но господин Шмиц был неутомим: с энтузиазмом кружил он по собору, над которым свистел ветер.



Зато отель в Туре, хоть и считался первоклассным, был так откровенно «обшмыган», что при одном взгляде на линялые, протертые сетчатые занавеси и запятнанные скатерти господин Шмиц сбежал в ресторан, в сущности говоря, ресторанчик, ресторанишко, выдержанный в стиле «турень» и оснащенный пламенеющим раскаленным рашпером. Они ели куропаток *à la chasseur*<sup>1</sup>. Вино, поначалу рекомендованное кельнером, господин Шмиц отверг: то было крепленое сладкое луарское, но господин Шмиц не принадлежал к тем немецким туристам-простачкам, которым можно предложить все что угодно, нет, он был сыном человека, владевшего в долине Мозеля великолепными виноградниками, и кельнер, тотчас сообразив, что обслуживает не какого-нибудь парвеню, принес легкий сухой барсак. — «И чтобы комнатной температуры, никакого льда!» — распорядился господин Шмиц, — легкий сухой барсак, который после двух-трех бокалов слегка ударяет в голову. А господин Шмиц снова витийствовал, и опять почти беспрерывно и притом вполне толково, на сей раз о винах, о немецких и французских винах; он знал все о том, как виноград разводят, выращивают, обрезают, все о виноделии и даже об обряде, связанном с крещением вина. Дрожа легким ознобом начинающейся простуды, доктор едва воспринимал факты, которые приводил ему господин Шмиц, и только вновь и вновь удивлялся тому, что сам он, Хониг, человек, отлично разбирающийся в литературе и искусстве, в рекламе и рекламных проспектах, так мало знает фактическую сторону жизни. Свой доклад господин Шмиц неожиданно оборвал словами:

— В сущности, путешествовать можно еще только по Франции.

— Разве, — усомнился доктор Хониг, — а как же Испания? Достаточно было только зацепить господина Шмица, чтобы последовало словоизвержение; итак, какое-то время он обсуждал Испанию, заключив словами:

— Франция куда изысканней, фешенебельнее, спокойнее.

С изумлением доктор отметил неподдельную тревогу в голосе шефа, когда тот добавил:

— Если ее только окончательно не обшмыгают.

На сей раз Йешке не разделял с ними трапезы. В этом отеле доктор узнал кое-что о том, как шоферы живут в гостиницах: оказывается, они получают небольшую, но удобную комнатку где-нибудь на верхнем этаже и комплексное питание в специаль-

---

<sup>1</sup> По-охотничьи (франц.).

но отведенном помещении. Господин Шмиц оценивал качество отеля по тому, что докладывал ему Йешке о местном питании.

— Если Йешке жалуются на кормежку, на таком отеле можно поставить крест. Отель, где экономят на еде, как правило, никуда не годится,— пояснил он доктору.

Около одиннадцати, когда они, поднявшись наверх, стояли у номера господина Шмица и желали друг другу спокойной ночи, доктор увидел в уже приоткрытую дверь, как Йешке—по-прежнему застегнутый на все пуговицы—раскладывает для своего хозяина предметы ночного туалета. Наутро Йешке оплатил гостиничный счет; дорожную кассу господина Шмица он носил в бумажнике и распоряжался ею с той же немногословной уверенностью, с какой водил свой тяжелый «БМВ». В сущности, служителем, прислужником являюсь один я, пронесилось в сознании доктора, затуманенном горячечной бессонной ночью; другое дело Йешке, он слуга, то есть человек, живущий одной жизнью с хозяином, это уже явление симбиоза, подобно сожительству зуйка и крокодила; нужно быть очень богатым, чтобы иметь настоящего слугу, но господин Шмиц воистину богат, не рядовой, каких много, и не мульти, как некоторые из этих новоиспеченных миллионеров, чьими фотографиями пестрят иллюстрированные журналы,—нет, господин Шмиц просто очень богатый, действительно богатый человек. Он крокодил!

За завтраком доктор сидел с тяжелой головой, отупевший от насморка, жара, от саднящей боли в горле, но на улице ему сразу стало легче, такое стояло солнечное прохладное утро. Высокий и стройный, на фоне неба вырисовывался собор, а вокруг него за массивными стенами покоились в осенней дымке монастыри; в стенах были ворота, сквозь которые сновали монашенки и садовники. Луара привольно несла свои охранные воды мимо Тура. Оставив реку позади, они двинулись к Шенонсо. Там господин Шмиц ничего не ругал, но и не хвалил; в длинном зале, под окнами которого бежал Шер, его больше всего заинтересовала доска, на ней было написано, что в первую мировую войну здесь был лазарет. Господин Шмиц нашел, что для этой цели помещение совсем не пригодно. Видно, он с легкостью представил себе этот зал, уставленный койками с ранеными, наверно, ему даже слышались стоны в пустынном нетопленном замке. Доктор Хониг не мог не сознаться себе в том, что у него лично доска не пробудила бы ни единого чувства, не примись шеф разглагольствовать на эту тему. «Экая жалость»,— подумал он, так как предпочитал потолковать о Диане де Пуатье, о которой знал решительно все; в замке, кстати, висело два-три

ее прекрасных портрета школы Фонтенбло.

Затем Амбуаз, Шомон, а к обеду они уже были в Блуа. В Амбуазе господин Шмиц заинтересовался домиком Леонардо куда больше, чем замком, прилепившимся к высокой скале; модели летательных аппаратов Леонардо навели его на ряд компетентных высказываний. В Шомоне, на дворцовой площади, доктор, доведенный своим недомоганием до крайнего раздражения, спросил, неужели столь близкий ему, Шмицу, архитектурный стиль нельзя было изучить на виллах Рейнской области, на что господин Шмиц, не восприняв на этот раз иронии, стал вспоминать, что луарским стилем он восхищался еще в копиях времен грюндерства, и это тем более поразило Хонига, ведь шеф повсюду что-нибудь да охаивал. В особенности замок в Блуа, который, разумеется, тоже был совершенно «обшмыган»: его потемневший от старости фасад угрюмо взирал на шиферные крыши города и на мелководную, неторопливую, зеленовато-желтую речушку. В полдень Йешке повез их сначала в Шамбор и далее, к очередным замкам. Становилось все холоднее, над Туренью свистел ледяной ветер, и каждый раз, когда для осмотра замка нужно было выбираться из приятно обволакивающего тепла лимузина, доктор опасался, что простуда его перейдет в воспаление легких. Он завидовал Йешке, которому ничего не надо было осматривать, который мог остаться в машине, или выпить чашечку кофе, или пошататься по лавкам с сувенирами, в то время как он, Хониг, обязан был вместе с шефом «отрабатывать» одну достопримечательность за другой. Господин Шмиц не знал усталости и без конца делил памятники французского прошлого на «обшмыганные» и «ухоженные». Он все время что-то подсчитывал и к вечеру совсем приуныл, ибо сумма, какую, по его соображениям, нужно было потратить на реставрационные работы, превосходила все его ожидания. Да, французы чрезмерно хвалятся своей архитектурой, теперь ему это ясно.

В Шамборе они едва не поссорились. Увидев крышу замка, доктор остолбенел от восторга: это был маньеризм, вызывающий в памяти картины известных сюрреалистов и в то же время иллюстрации из истории искусств герцога де Берри; а на одном из окон — слова, нацарапанные Франциском Первым: «*Souvent femme varie*»<sup>1</sup>: тут-то и родилась у Хонига смелая мысль использовать все это для рекламы крефельдских фабрик искусственного шелка, принадлежащих господину Шмицу; когда они вернутся в Швейцарию, он сразу же обсудит свой замысел с Уэги.

---

<sup>1</sup> «Суть женщины в преображенье» (франц.).

— Знаете, что сказал о крышах Шамбора Шатобриан? — обратился он к патрону.

Тот очнулся от мрачного созерцания окон в первом этаже: они были заколочены необструганными досками.

— Понятия не имею.

— «Шамбор напоминает женщину с развевающимися по ветру волосами», — процитировал доктор без запинки, ибо только что просмотрел путеводитель.

— Вздор! — отрезал господин Шмиц. — Посмотрели бы лучше, в каком состоянии замок.

Доктор с тревогой отметил, что в голосе шефа проскользнула едва ли не личная неприязнь к нему, Хонигу.

— Над этой штуковиной двенадцать лет гнули горб две тысячи рабочих, — прибавил господин Шмиц. — Шамбор нелегко достался Франции. Вам известно, что этот король... как там его?

— Франциск Первый.

— Так вот, этот субъект организовал при своем дворе финансовый совет, обиравший страну, чтобы выстроить замок.

Доктор, разумеется, этого не знал, и господин Шмиц продолжал рокотать:

— Для меня, кстати говоря, это важнее, чем трепотня каких-то писателей и искусствоведов. Подумаешь, маньеризм! Заботились бы лучше, чтобы эта штуковина не приходила в упадок!

Опоясанный багряно пламенеющим парком, светящийся в вечернем полумраке на подстриженных лужайках, Шеверни несколько примирил его с отношением французов к своему прошлому, которое в целом было непозволительно «обшмыгано». «Обшмыганный», размышлял доктор, в изнеможении откинувшись на подушки рядом с шофером, который вел машину в Бурже, в этом вульгаризме есть древний германский корень, означающий на всех скандинавских языках «старый». Почему его так волнует, что старое естественно становится «обшмыганным», продолжал злиться доктор, вглядываясь в скользящую за окнами машины тьму; его опять зазнобило, голова стала чугуновой. Со вчерашнего вечера они «отработали» два собора и одиннадцать замков; доктор нервно посмеивался втихомолку: он, приверженец приятно-снобистского стиля в путешествиях, никогда не подумал бы, что может так влипнуть.

В отеле Бурже он, извинившись перед Шмицем, тотчас отправился к себе. И хотя он принял две таблетки аспирина, уснуть не удавалось, температура держала его в состоянии оцепенелого полузабытья. В просторном номере, где лежал

доктор, было темно, несмотря на раздвинутые шторы, так как улица ночного города не была освещена; лишь красный ромб фонаря на табачном киоске отбрасывал слабый ответ на потолок. Часов около десяти раздался стук в дверь, это господин Шмиц пришел справиться о самочувствии своего попутчика.

— Хорошенько пропотейте, и к утру все как рукой снимет,— посоветовал он.

— До потения, знаете, никогда не доходит. Температура у меня держится недолго, повысится чуть, редко когда побольше, и сразу же падает.

— Сильный жар, если сильно потеешь, куда лучше,— заметил господин Шмиц.

Вздыхнув, он пододвинул себе стул. У него явно кошки скребли на душе.

— А я тут побродил с часок,— сказал он.

— Господи, неужто вам еще мало?— удивился доктор.

Господин Шмиц пропустил вопрос мимо ушей.

— Побывал, кстати, у дворца некоего Жака Кёра. Уже совсем стемнело, но я все хорошо рассмотрел. В путеводителе сказано, что Жак Кёр был казначеем Карла Седьмого, того самого, которого посадила на трон Жанна д'Арк. Это правда?

Доктор кивнул.

— Да, Жак Кёр был действительно крупный делец. Субсидировал войны Карла Седьмого с Англией.

— Вот видите, даже Жанну д'Арк кто-то субсидировал. И заметьте, это не лишает ее величия. Ведь кому-то нужно было выложить деньги ради идеи. Всегда нужны люди, которые выкладывают деньги, чтобы идея стала действительностью.

Его голос звучал так, будто он сделал величайшее открытие, а не повторяет зады. Доктора разбирал смех, однако в грузном человеке, сидевшем у его постели в неосвещенном гостиничном номере, вдруг проступило что-то мучительно-тоскливое— господин Шмиц смахивал сейчас на нахохлившуюся грустную птицу,— и доктор не рассмеялся, решив, впрочем, не упустить возможности взять реванш за два собора и одиннадцать замков.

— А вы,— спросил он,— ради какой идеи вы выкладываете деньги?

Но Хониг недооценил Шмица. Правда, нахохленная птица пожала плечами, но ответ последовал незамедлительно.

— Дайте мне Жанну д'Арк, и я буду ее субсидировать,— отпарировал он.

К утру доктору стало чуть лучше. Улицы города наводняли девчушки в черных школьных платьицах, и двое мужчин двига-

лись, рассекая этот живой и теплый, этот щебечущий и гомонящий поток, в направлении собора, который напоминал гигантского престарелого слона, опустившегося на колени посреди города. Собор в Бурже и впрямь был самым «обшмыганным» из всего, что им пришлось увидеть за всю поездку, но выслушивать это от господина Шмица было невыносимо, ибо, с другой стороны, собор был великолепен в своем запустении, и слишком он был значителен в своей слоновьей усталости, чтобы этот капиталист, «чудо»-строитель, владелец фабрик искусственного шелка, этот крефельдский крокодил так о нем сокрушался. Вспомнив о своей обязанности перечить, доктор спросил господина Шмица, почему он не любит собором просто так, без всяких мудрствований.

— Послушайте,—изумился патрон,—ведь именно это я и делаю. Но нельзя же превозносить до небес то, что любишь.

Только сейчас доктора осенило. И, входя в церковь, он с бешенством вспомнил, как господин Шмиц разносил все подряд, все, что ни встречалось им на пути из Парижа. Почему он это делал? Ах да, ведь он не выносит, когда дорогие ему «вещи» ветшают и «обшмыгиваются», когда они чахнут в запущенных парках, зияя пустыми оконницами, молча и угрюмо гибнут, трескаются, обваливаются, ибо сияние, исходящее от крефельдских фабрик, до них не доходит, не освещает их; так вот она, мечта господина Шмица: сверкают фабрики, сверкают замки—феерия залитых огнями немецких фабрик и новеньких с иглочки французских замков, gobелен, где искрящиеся вязкозные нити настоящего и прошлого сотканы воедино; вот так бы вовеки блистать Крефельду и Версалью!

Но не было больше Святой Жанны. И негде было сыскать и намек на чудо, которое мог бы субсидировать господин Шмиц. Таинственно светились окна в доме Бурже—он этого не замечал. Взор его не отрывался от пыльного надгробия Жака Кёра. Когда они вышли из собора, их уже поджидал чернолаковый лимузин, в него можно было смотреться, как в зеркало, в этот обитый светло-лимонной кожей гроб. Йешке как следует его надрайл.

## ЖЕРТВЕННЫЙ ОВЕН

### 1

В прошлом году я много ездил. В середине февраля—в Швейцарию, чтобы забрать оттуда свою дочь, ей одиннадцать

лет. Жена в конце января отвезла ее в Монтану в дорогой интернат, и мы через неделю позвонили — узнать, как ей живется. Услышав мой голос, дочь расплакалась. «Ты что плачешь, тычинка-жердинка?» — спросил я ее. На десятом году она вдруг очень вытянулась. «Если ты и дальше будешь так расти, тебе придется выйти замуж за Жердя, и у вас народятся маленькие жерденята» — так порой поддразниваю я ее.

Она плачет от радости, вырвалось у нее, потому что все так здорово. Это звучало не слишком убедительно. «Хочешь домой? — спросил я. — Может, приехать и забрать тебя?» «Нет, — сказала она. — Все так здорово». Слово «здорово» она неестественно растягивала. Немного успокоившись, она сказала, что двое ребят у них в интернате заболели scarlatina. Мы с женой очень встревожились. Я связался по телефону с мадам Роллен; та объяснила, что заболевшие тщательнейшим образом изолированы, что у Моники все в полном порядке, она самая веселая из обитателей интерната и у нее превосходный аппетит. Через несколько дней мы опять позвонили, и Моника опять заплакала, но на этот раз призналась, что предпочла бы вернуться домой. Жена тоже с ней поговорила, а повесив трубку, долго думала и наконец сказала, что Моника, скорей всего, соскучилась по дому и от этого немножко переигрывает. Я знал, что жена права, но сделал вид, будто опасаюсь худшего. Укладывая чемодан, я чувствовал, как жена размышляет над моим отношением к Монике, но мне она не сказала ни слова. Возможно, она думала также, что неплохо бы мне раз в жизни выбраться во Франкфурт, провести Клауса; я знаю, она никак не одобряет, что я полностью игнорирую Клауса, но, когда время от времени она просит меня побывать у него, в ее голосе нет и тени упрека. И я умею это ценить. Несколько лет назад жена начала собирать фарфор и с тех пор заметно переменялась. Невольно кажется, будто семейные дела занимают ее теперь гораздо меньше. Меня же это вполне устраивает, ибо создает дома приятную прохладную атмосферу. Кстати, она заблуждается, если подозревает, будто я страдаю отцовским комплексом по отношению к Монике. Я считаю, что уже само наличие тоски по дому более чем тревожно и что никогда нельзя знать, как оно там, в интернате, на самом деле. Хотя, с другой стороны, странно, что я вообще так чутко реагирую. Раньше я оставил бы все как есть, не из равнодушия, а потому что существует инстинкт, который подсказывает человеку предоставлять некоторые события их естественному ходу и не вмешиваться, но с недавнего времени я этот инстинкт утратил. Отправляясь трансевропейским экспрессом

из Кёльна в Базель, я впервые явственно ощутил, что эта способность меня покинула. Меня очень тревожит сверхчувствительность, проявляемая мною в ряде ситуаций, но я ничего не могу с этим поделать.

Из Базеля я выехал скорым, которым удобнее всего попасть в Валлис с пересадкой в Лозанне. Когда я приехал в Монтану, было уже темно. Воздух там, наверху, почти всегда прозрачный и колет, как иголочками. Мне не очень-то по душе Валлис с его воздухом словно шампанское, с его вечной кристальной ясностью, не знающей туманов и промежуточных тонов. Области устойчивого высокого давления быстро мне надоедают. Возможно ли, чтобы и Моника испытывала то же самое? Вдобавок ко всему подобный воздух на высоте полутора тысяч метров над уровнем моря нарушает душевное равновесие. Я сразу пошел в интернат. На глазах у мадам Роллен, воспитательниц и детей Моника не рискнула броситься мне на шею, но она стояла подле меня, дрожа от радости. Она изрядно загорела. Я мог убедиться, что здесь и впрямь не свирепствует эпидемия скарлатины и вообще все в полном порядке. Мадам Роллен улыбнулась, когда я объявил, что намерен сразу же увести Моника к себе в отель. Мы ужинали вместе, как вполне благовоспитанные люди. Я выслушал Моника, впрочем, ничего особенно любопытного она мне рассказать не могла. Двенадцатилетняя девочка, с которой она живет в одной комнате, уже душится, по рассказам Моника. Это было все, что мне удалось из нее извлечь, да, пожалуй, ей и нечего было добавить. Ну о чем могут разговаривать или чем заниматься две маленькие девочки, которые начинают душиться? Я этого не знал и едва ли узнаю. Моника вполне бодро ушла в свою комнату; когда я спустя полчаса заглянул к ней, она уже спала мирно и безмятежно. За свои одиннадцать лет она успела закатить, как взрослая, несколько полноценных истерик, чтобы настоять на своем, но теперь она снова стала ребенком. Одна из косичек торчала в сторону. Придется завтра перед отъездом попросить горничную переплести Монике косы. Я относился к ее истерикам с сочувствием. Может быть, даже с чрезмерным. По пути домой, распрощавшись с высокогорным воздухом, который лишал ее душевного равновесия, она прочла две книги и сгрызла много шоколаду, а я тем временем размышлял, почему снова проявил такое сочувствие и пожертвовал ей целых два дня, хотя с деловой точки зрения был сейчас занят необычайно. Когда наш поезд стоял во Франкфурте, я решил в следующий раз непременно побывать у Клауса.



После этого первого приступа нервической сентиментальности, какой я прежде за собой не замечал, со мной в мае, в Голландии, случилось престранное происшествие.

В своей отрасли — высококачественные изделия из бумаги — я являюсь совладельцем фабрики в Альфене, а в связи с некоторыми процессами в странах Общего рынка возникла необходимость собраться, чтобы договориться о подлинной интеграции. Когда я занимаюсь делами, мне ничуть не мешает то обстоятельство, что моя нервная система стала гораздо уязвимее, чем прежде, скорей даже, наоборот. Директор де Фриз после конца заседания подвез меня к поезду в расположенный неподалеку Лейден. Обычно я езжу из Альфена до Кёльна на своей машине, но именно в тот период у меня ее не было, так как свой «мерседес» я уже отдал, а «лансию» еще не получил. Подобное желание, сменить одну марку машины на другую, я тоже задним числом отношу на счет тревожащих меня перемен в моей эмоциональной сфере. До их появления я ценил машины только за надежность и за высокие ходовые качества, но я хорошо помню, что с тех пор, как впервые увидел крупный, обтекаемый, словно птица, лимузин «лансия-фламиния», он сделался моей навязчивой идеей. Солидный, основательный работяга в моем гараже меня вдруг перестал устраивать, я помешался на машине, которую так и хотелось погладить всякий раз, как она попадалась мне на глаза.

Мы слишком рано приехали в Лейден — было всего три часа, а мой поезд уходил в четыре с минутами, и де Фриз надумал поводить меня по городу, который не очень велик и настолько голландский, что дальше некуда. Когда мы шли вдоль Рапенбургского вала, все и случилось. Рапенбургский вал — это грахт, другими словами, посередине улицы здесь проходит зеленый канал, вдоль канала растут липы, а по обеим его сторонам — мостовая, ширины которой хватает для одnorядного движения. Кое-где канал пересечен мостиком, под ним толпятся черные баржи. И на той и на другой стороне Рапенбургского вала стоят большие, старые, изумительно ухоженные дома, поистине не дома, а дворцы времен золотого века Голландии.

И вот эти самые дома — что я, собственно, и имею в виду, когда говорю «все и случилось», — эти самые дома перешептывались. Я больше не слушал, о чем толкует де Фриз, я отключился, поднял воротник плаща и, сгорбившись, пробирался мимо шепчущихся домов. Как я ни напрягал слух, мне не удалось разобрать ни слова из их шепота, но в том, что они тихо

разговаривают между собой, не было ни малейшего сомнения. Испуг пронзил меня; разумеется, я сразу же подумал о начале душевного заболевания, о первых признаках навязчивых представлений. Душевной болезнью так же можно заболеть, как, например, раком или лейкемией. Дойдя до конца Рапенбургского вала, де Фриз спросил, не захворал ли я, потому что внезапно так побледнел. Я ответил ему, что чувствую себя вполне здоровым, хотя по спине у меня бежал холодный пот.

Мне удалось распротиститься с де Фризом лишь возле касс Лейденского вокзала. Затем я вышел на перрон, но не стал садиться в поезд и, как только де Фриз отъехал, снова повернул к выходу. Убедившись, что машина де Фриза исчезла с привокзальной площади, я потихоньку вернулся в старую часть Лейдена. Тут я вновь вышел на Рапенбургский вал и удостоверился, что был прав. Дома все еще шептались. Теперь я медленно и с полным самообладанием шагал вдоль канала. Несмотря на страх, я время от времени принуждал себя остановиться и окинуть дома взглядом. У них были зеленые, и черные, и темно-красные двери и начищенные до блеска латунные дверные молоточки, а их большие окна с белыми рамами были врезаны в стены из побуревшего обожженного кирпича. У них был какой-то чужой вид. Прошлой ночью, в альфенском отеле, мне снился сон, содержание которого выскользнуло у меня из головы, кроме того обстоятельства, что в нем я все время был голый и покрыт кожей темно-зеленого цвета. И что казался самому себе таким же чужим, как теперь эти дома. Кстати, дома уже не шептались, они вдруг запели. Они пели тихо, чуть хриплыми монотонными голосами. Их пение звучало согласно, слаженно и угрожающе. Небо над ними отливало тихой и бледной голубизной — типичное нидерландское небо в мае. Изредка мимо меня проезжала машина. Мне было страшно. Я, бесспорно, стал жертвой навязчивых представлений.

Я свернул в переулочек, в конце которого виднелись деревья, и этим переулочком вышел в городской парк. День уже начал клониться к вечеру. Я сел на скамью и принялся курить маленькие голландские сигары. Они действуют на меня успокоительно. Обычно я курю либо черные сигареты «Галуаз», либо, особенно если мне надо снять напряжение, маленькие тускло-коричневые сигары с Суматры. Пока я курил, я мало-помалу осмыслил, чего мне хочется. Итак, мне хотелось остаться в Лейдене. Это был бурный приступ вполне отчетливого страстного желания исчезнуть для всего света. Сперва следовало заказать номер в отеле, а уж потом я попытаюсь снять комнату в одном из

домов на Рапенбургском валу, потому что мне позарез нужно проникнуть в тайну их пения, пожить бок о бок с их шепотом. Приступ через некоторое время сошел на нет. Я сообразил, что исчезнуть без следа будет очень и очень непросто. Людям незначительным это, может быть, и удастся, но я—ведущий промышленник в своей отрасли, весьма состоятелен и отягощен тем, что называют семьей, традицией, связями. Через некоторое время я снова начал воспринимать окружающее и увидел, что сижу в очень красивом саду со старыми деревьями, цветущим кустарником и газонами нежно окрашенных тюльпанов. Молодые люди с портфелями сновали мимо. Уходя, я понял, что это университетский парк. Когда в надвигающихся сумерках я поспешил к вокзалу, дома на Рапенбургском валу уже не шептались и не пели.

### 3

Столь серьезные галлюцинации меня с тех пор, слава богу, не посещали, но мне хватило и этой одной, чтобы после возвращения немедленно побывать во Франкфурте у профессора Тиле. Тиле уже много лет мой лечащий врач, он терапевт с мировым именем, но я хожу к нему вовсе не потому, что он такой знаменитый. Я не испытываю особого доверия к врачам, я вообще с каждым годом все меньше доверяю людям, но, общаясь с Тиле, я установил, что, когда он подозревает что-нибудь серьезное, у него меняется голос. Это великое преимущество, большинство врачей—искусные лгуны. Тиле обследовал меня и, судя по всему, остался доволен. «У вас появилась фигура, господин Йонен»,—сказал он и одобрительно кивнул. Несколько лет подряд я прибавлял в весе и не могу вспоминать этот отрезок своей жизни без отвращения. Но два года назад я вдруг, буквально за ночь, изменил свою жизнь. Без больших усилий я сел на довольно хитроумную диету и начал, сперва вполсилы, а потом все активней, играть в теннис. В результате я почти согнал живот, но по своей конституции я все-таки человек массивный, не какой-нибудь там легковес. Кардиограмма понравилась Тиле меньше, но он сказал, что если у меня нет жалоб, то и причин для беспокойства покамест тоже нет. Звучало вполне искренне. Еще он посоветовал мне меньше курить. Тогда я рассказал ему, что произошло со мной в Лейдене. Он выслушал меня очень внимательно и после этого некоторое время молча барабанил пальцами по крышке стола. «Критический возраст,—изрек он,—критический возраст мужчины. В этом возрасте всякое возможно.

Чуть рановато для вас, господин Йонен. Вам ведь только через два года исполнится пятьдесят». Я внимательно прислушивался к его интонации, но ничего подозрительного не уловил. «А как насчет половой жизни?—спросил он.—Все в порядке?—Вероятно, он и сам не рассчитывал получить ответ, потому что сразу же, без паузы, продолжал:—Вы могли бы, если пожелаете, сходить к психоаналитику. В вашем случае это было бы совсем нелишнее». На сей раз в его голосе зазвучало что-то потаенное, какая-то коварная настороженность. Тиле—он же не врач, он же тигр. Лежит себе, притаясь, а в нужный момент прыгает на пациента. «Причем речь может идти только о Цюрихе,—закончил он и дал мне адрес одного из цюрихских психоаналитиков.—Это обойдется вам в целое состояние,—сказал он,—но дело того стоит».

Снова очутившись на тротуаре холма Таунус, я облегченно вздохнул. Итак, в общем и целом я здоров, если отвлечься от неизбежных признаков старения. Душевные сдвиги, которые с некоторого времени у меня наблюдаются, не носят органического характера. О консультациях в Цюрихе на предмет их объяснения и устранения не может быть и речи: я достаточно долго живу на свете, чтобы собственными силами одолеть этот маленький невроз, или как это там называется.

И в то же мгновение моя свежеприобретенная чувствительность сыграла со мной новую шутку. Я вспомнил о Клаусе и твердо решил его навестить. Я часто бываю во Франкфурте и каждый раз думаю о том, что здесь живет Клаус, но до сих пор, несмотря на все просьбы жены, которая изредка его навещает и подсовывает ему деньги, отказывался с ним встречаться. Считается, что он учится здесь в университете, но, насколько я его знаю, он просто без разбору ходит на лекции, живет случайными заработками и загадочными благодеяниями каких-то подозрительных друзей. Он занимается нехорошими делами. Он на редкость способный: на что у других уходит два часа, он делает за десять минут, причем делает прекрасно, и еще он занимается нехорошими делами. Занимается он ими так, между прочим, а сам предпочел бы заниматься хорошими, великими, чистыми. У него нет выдержки. В принципе он всегда печален, беспредметная и неукротимая печаль наполняет его, но печален он без сентиментальности, а поэтому способен быть очень веселым, остроумным, интересным. На вечерах он, без сомнения, душа общества. Когда он почувствовал, что сыт нами по горло и что ничего нового для него дома не предвидится, он ушел, ушел за полгода до окончания гимназии. Сперва он пропадал всего одну

неделю и вернулся с очень даже покаянным видом, но еще через месяц он ушел окончательно. После второго ухода я не стал его искать и жену просил о том же. Лето он проболтался на юге, позднее мы узнали от знакомых, что он осел во Франкфурте. А еще позднее он и сам дал о себе знать. Судя по всему, ему приходилось несладко.

Уже сидя в такси, я с удивлением отметил, что помню его адрес. И не только адрес, но и его самого, точно таким, какой он есть. Это меня раздосадовало и вызвало какое-то неприятное чувство.

Оказалось, что Лейпцигерштрассе — провинциальная улица, непрезентабельная и шумная, вся в трамвайных звонках. От жены я знал, что Клаус живет в подвале дома номер семьдесят три. В подвале размещалось какое-то конструкторское бюро, но вид у него был запущенный и пыльный. Клауса я обнаружил в дальнем закутке подвала. Он все еще не вставал, хотя время уже приближалось к полудню, но, увидев меня, вскочил и оделся с быстротой молнии. Он не проявил ни малейших признаков удивления, но, судя по всему, обрадовался не на шутку. «Это ты, отец!» — воскликнул он. Несколько минут мы шли по Лейпцигерштрассе в одну сторону, потом тем же путем вернулись обратно, беседуя о его занятиях. Я сделал вид, что принимаю их всерьез. Клаус высокий, худой, темноволосый; в самом заношенном тряпье он ухитряется элегантно выглядеть. Не могу понять, откуда у него эта элегантность; во всяком случае, не от меня. Я расспрашивал его о девушках, но его явно ни одна всерьез не занимала. Покуда мы с ним так прогуливались, я понял, что помочь ему нельзя никакими средствами, ни при каких обстоятельствах. Но одновременно у меня возникла уверенность, что с этим мальчиком я что-то упустил, и упустил безвозвратно. Ужасное это было чувство. Я дал ему две стомарковые бумажки, и он принял их единственно правильным способом: без малейшего намека на подобоострастие и без высокомерия, просто тихо обрадовался, и все. Он закурил сигарету, я глядел, как он закуривает, и увидел, что у него дрожат руки. Стоя на улице, мы еще немного поговорили о всякой всячине, и все время у него дрожали руки. Мне это сверлило печенку; раньше, до того, как у меня начались приступы раздражительности, вид дрожащих рук Клауса не оказал бы на мою печенку такого воздействия. Должно быть, я все-таки находился в более или менее невменяемом состоянии, потому что даже не додумался пригласить его пообедать со мной. Вместо этого я спасся бегством. Я поспешно распрощался, сел в трамвай и поехал обратно, в центр.

Вернувшись в Кёльн, я рассказал жене о своем свидании с Клаусом. Она выслушала меня в своей обычной манере — внешне безучастно. Начав собирать фарфор, она стала холодной. Холодной и гладкой. Дело было после ужина, мы сидели в просторной living-room<sup>1</sup> нашего дома в Тиленбрухе. Шесть лет назад я заказал этот дом современному архитектору, и жена обставила его с большим вкусом; у нас не та обычная мешанина из международного ультрамодерна и барокко, какую можно сегодня увидеть на каждом шагу. Нет, у нас все выдержано в едином стиле: несколько старинных рейнских вещичек, сундуки из Эйфеля, шкафы из герцогства Юлихского — остатки семейного достояния с ее и с моей стороны. В современном доме эти предметы кажутся не громоздкими, как обычно, а спокойными и очень ценными. Отец жены владел фабрикой в Райне, изготавливавшей кирпичи и черепицу; другими словами, она тоже из старого промышленного рода, из той отрасли промышленности, которую, подобно бумажной, можно назвать скорее ремеслом, нежели промышленностью. Она невысокого роста, худая, всегда безукоризненно одета; несколько лет назад она начала сидеть и потому слегка подкрашивает волосы в темно-каштановый цвет. Она до сих пор неплохо смотрится, если не считать, что у нее почти нет подбородка; раньше это меньше бросалось в глаза, теперь это с каждым днем все сильнее меня раздражает. И украшений она слишком много на себя навешивает, отчего вся переливается и позвякивает, и это действует мне на нервы.

— Очень мило с твоей стороны, что ты наконец-то выбрался к Клаусу, — сказала она, когда я кончил свой рассказ. У меня уже вертелась на языке ответная колкость, но тут вошла Моника в пижаме пожелать нам спокойной ночи. Она прижалась ко мне и начала затяжную церемонию «пожелания-спокойной-ночи», которую затекает каждый вечер, чтобы подольше не ложиться. В нашей living-room — гостиной такую комнату при всем желании уже не назовешь — есть огромное окно, и, покуда Моника рассказывала о школьных делах, я глядел на красные светящиеся буквы большой пивоварни Вулле в Дельбрюкке. Когда я только отстроился, наш дом был окружен лесом. Два года назад город вырубил лес, и с тех пор мы по вечерам любимся из нашего смотрового окна красными буквами рекламы. Смеха достойно: человек построил себе дом, который обошелся в четверть

<sup>1</sup> Жилая комната (англ.).

миллиона, с тем чтобы смотреть по ночам на звезды, а вместо того ему приходится неотступно созерцать красное и сверкающее слово «Вулле».

— Моника, тебе действительно пора в постель,— сказала жена, и Моника послушно расцеловалась с нами, не делая никакого различия между моей женой и мною. Моника умная девочка.

Когда она ушла, я обратился к жене:

— Ты ни разу мне не рассказывала, что у Клауса дрожат руки. Если хорошенько вдуматься, ты мне вообще не рассказывала, как ему живется на самом деле.

— У него дрожат руки?— удивилась жена.— Никогда не замечала.

Вот уже много лет как у меня бывают связи с другими женщинами из нашего окружения. Эти страницы моей жизни неизменно открываются на вечерах, которые мы посещаем либо даем сами, как это у нас заведено. На первых порах подобные отношения бывают очень для меня привлекательны: чужая женщина—это всегда нечто таинственное, поначалу руководствуешься только интуицией, хотя в наших кругах это чаще всего не связано с большим риском. Не знаю, как следует расценивать это наше «живи-и-давай-жить-другим», то ли как признак высокой цивилизованности, то ли как особенно извращенную форму варварства. Между прочим, я мог бы дать профессору Тиле четкий и вполне успокоительный ответ на его вопрос. Потом я обычно испытываю радость, когда очередная история завершается, самая длительная из них тянулась целых полгода, и я до сих пор сохранил о ней самые сентиментальные воспоминания. Не могу догадаться, подозревает моя жена о моих изменах или нет, по ней, во всяком случае, ничего не видно. Увлечение фарфором, как мне кажется, всецело ее поглощает. Кто-то когда-то сказал мне, что страсть к собирательству легко может принять маниакальный характер.

— Ах, ты ведь знаешь,— услышал я смеющийся голос жены.— Наш Клаус—редкостный артист, он великолепно умеет вызывать жалость, когда захочет.

Я так ненавидел ее в эту минуту, что не мог на нее взглянуть. Вместо этого я устался на горку, где хранится женина коллекция фарфора, горка эта стоит у нас слева от нашего большого смотрового окна, но не вплотную к стене, чтобы ее можно было обойти кругом и осмотреть все экспонаты со всех сторон. Главным образом жена собирает Челси, но есть в ее коллекции и Альт-Берлин—несколько недурных вещичек. Моему

сердцу фарфор ничего не говорит, в лучшем случае я нахожу его приветливым, но жена моя от фарфора не стала приветливой, а стала только холодной и гладкой. Однажды я попытался внести в ее облик новые черты и с этой целью приобрел для нее на аукционе у Бёрнера китайскую безделушку, которая с первого взгляда бросилась мне в глаза,—очень старинную фигурку лежащего овна, покрытую глазурью нефритового оттенка, овна могучего и сокрушительно простого, без каких бы то ни было украшений. Жена эту фигурку оценила.

— Но знаешь,—сказала она,—это, разумеется, не фарфор, а керамика.

Тем не менее она согласилась терпеть этого овна в своей коллекции или, может быть, не рискнула его выставить, чтобы не обидеть меня. С тех пор погруженный в себя овен, чужеродный и грозный, покоится среди хрупких европейских чашечек.

Я вдруг встал и подошел к горке. Ключик торчал в замке, я открыл дверцы и достал овна.

— Ты что делаешь?—услышал я тихий и пронзительный голос жены.

— Я тоже артист,—сказал я,—вроде Клауса, разве что не такой редкостный.

Я все еще не глядел на нее, но знал, что она встала и, не спуская с меня глаз, стоит оцепенев, спиной к окну, за которым светится красное слово «Вулле».

Я со всего размаху швырнул овна на пол. Пол нашей living-room выложен плиткой, и в том месте, где я стоял, не было ковра. Овен разлетелся на тысячу кусков. Если бросить на пол кусок глины, он не расколется, он буквально рассыплется. Овен не сломался, он превратился в кучку глиняной пыли, его вдруг—как бы это получше выразиться?—его вдруг просто не стало. Он исчез словно по волшебству.

И тут я взглянул на свою жену. Она продолжала стоять в оцепенении, левую руку она стиснула в кулак и поднесла ко рту. Теперь я уже не мог видеть, что у нее вообще нет подбородка. Еще мгновение она простояла в той же позе, потом торопливо вышла, позвякивая украшениями.

Я еще минуту разглядывал место, где стояла жена, потом снова перевел взгляд на глиняные крошки у своих ног и неожиданно засмеялся. Я сделал нечто давно уже осмеленное карикатуристами: я бил посуду. То обстоятельство, что моей посуде две тысячи лет, что она из китайского захоронения и упоминается в трудах по истории искусств, ничего не меняло: я вел себя как типаж с карикатурного рисунка.



Я пошел на кухню, взял веник, взял совок и смел кусочки в одно место. Потом я освободил коробку из-под сигарет и пересыпал в нее останки овна. Я пошел к себе в кабинет — там я и сплю — и запрятал коробку под книжками. Я принял люминал. Я не только стал сверхчувствительным, думалось мне, я не только обзавелся очаровательным маленьким неврозиком, переходящим иногда в тихое помешательство, я вдобавок еще начинаю становиться форменным истериком. Мне пришлось пережить несколько тягостных минут, прежде чем люминал подействовал.

## Cadenza finale

Яблоки, желтые, желтые, желтые, красные: шафранный ранет — свежие и слегка пресноватые на вкус. Желтые, свежие, круглые. Желтое круговращенье. Прошел турникет: «Где здесь автоматы?» — «Да вон там». — «Спасибо!» Хмурый перрон кёльнского вокзала. Снаружи еле просачивается унылый, жидкий свет.

Когда бы я ни приехал в Кёльн, всегда одно и то же. Опустил в аппарат десять пфеннигов. Забыл снять трубку, и монета провалилась. Нельзя так волноваться, подумал я. Дурацкое солнечное круговращенье — хватит, довольно! Вернуться к реальности! Вот так. Я снова поднял трубку и потом только сунул в прорезь деньги. Не спеша, сосредоточенно стал набирать: семь, три, четыре, семь, шесть, ноль.

Жаль, что ей придется оторвать сейчас руки от клавишей и пойти к телефону. Руки одновременно на клавишах и руки, поднимающие телефонную трубку; руки, одновременно творящие музыку, и руки слушающие; вздор, в материальном мире нельзя игнорировать законы времени и пространства. Лишь в искусстве это возможно. Но во всяком случае, гаснущий звук и щелчок телефонного рычага могут слиться воедино, если она играет с педалью. (Неверно: стоит только убрать ногу с педали, и звук тут же исчезает.)

Итак, я стоял и слушал, как звенит телефон в ее квартире. Аппарат у нее в передней, на низком комодике, над которым висит зеркало. Длинные, прерываемые паузами гудки: вся квартира наполнена пронзительным звоном. На самой середине этюда! Шопен или, может быть, Бетховен? Да нет, дома она играет другое. Все официально признанное только в концертах.

Дома — запретное: Хиндемит, Шёнберг, Барток, и не слишком поощряемое: Дебюсси, Равель, Франк. И Черни, конечно.

Я оглядел свою шинель сверху донизу. Вещевой мешок лежал на полу телефонной будки. Третий долгий гудок прозвучал и затих. Я подумал: нет ее. Иначе давно бы уже взяла трубку. Как странно: телефон звенит в пустой квартире. Может, я неверно набрал номер? Я нажал на рычаг, услышал непрерывный гудок, монета выкатилась, я снова взял ее и опустил в третий раз: семь, три, четыре, семь, шесть, ноль.

Закрывая за собой дверь кабины, я почувствовал, что меня знобит. Не спал ночь. Нина в турне, подумал я. Перед вокзалом, как и всегда, неизбежно стоял собор. Скалистая, тупая громада. Ничего схожего со складчатым добродушием слона. Уж лучше бы разбомбили этот собор, а не церковь святого Гереона, святой Марии в Капитолии, св. Апостолов, св. Пантелеймона, святого, святого, святого... Я приехал из Берлина. Видел, как горел дом на углу Курфюрстендамм и Йоахимсталерштрассе. Воды не было, и дом, потрескивая, медленно догорал. В соседних домах все спали. Налет продолжался с полуночи до четырех утра. Командировка. Никак не мог найти поезд, чтобы выбраться из Берлина. Наконец сел на двенадцатичасовой в Кёльн. К Нине. Конечно, не было времени предупредить. Да и бесполезно. Либо она дома, либо в турне. А может, просто вышла что-нибудь купить? Но тогда был бы дома мальчик. Может, взяла его с собой? Декабрьское утро 1943 года. Я шел по направлению к Хоймаркту. Холодный, серый день. Воздух, пропитанный туманом, ватный воздух, ласковый воздух, нежное западное дуновение, воздух Нины. «Tombeau de Couperin»<sup>1</sup>. «Ах, лето, лето», — ободряюще сказал Нине Доле, когда они, дыша зимним воздухом, шли по Кёльну. Неплохая пародия на Голсуорси. Прежде она всегда заходила за ним в школу живописи.

На св. Мартине не было шпиля. Вспомнил: однажды зашли туда с Ниной. Она хотела показать мне церковь. Но Нина ходит в церкви и потому, что они церкви. Вошла и помолилась. Небольшое темное помещенье под огромной башней. Мистическая ячея под романским нагромождением камня. Войти бы сейчас и помолиться, что застаю Нину. Странно, я могу молиться, хотя и ни во что не верю. И ведь чаще всего помогает. Но сейчас нет времени. Сейчас — прямо к ней: Хоймаркт и оттуда на шестнадцатом трамвае.

<sup>1</sup> «Гробница Куперена» (франц.) — сюита Мориса Равеля, посвященная памяти французского композитора Франсуа Куперена.

(Не люблю, впрочем, испытывать действенность молитвы, когда все слишком неопределенно. Поймав себя на этой мысли, понял: не верю по-настоящему, что Нина в городе. Но тут же спохватился: здесь она. Здесь! Здесь! Внушить себе желаемое — значит приблизить его к выполнимому и, что важнее всего, не поддаться страху. Вроде бы воздействовать на судьбу. Подобные процессы в коре головного мозга — аналоги молитвы. Сродни суеверию. Суеверие и есть вера безбожников. Другие поступают иначе. Доле, никогда не говоривший о религии, всегда носил в кармане четки.)

Шагов за двадцать заметил идущего мне навстречу унтер-офицера и быстро вытащил руки из карманов. Слава богу, проследовал без дурацких замечаний. Все-таки пришлось козырнуть этому идиоту. Уф, пронесло! Трамвай подошел почти тут же. Устроился на задней площадке, оттуда прекрасный обзор, всю дорогу смотрел не отрываясь.

Мы ведь часто вместе ездили в город, а потом возвращались к ней, особенно в первое время. От первой до последней остановки молча сидели рядом и непрерывно глядели друг на друга. Люди в трамвае, вероятно, принимали нас за помешанных. Иногда, если набивался народ, я уступал место и стоял возле нее, глядя сверху на ее каштановые волосы. Сплошная лирика. Каштаново-скрипичная лирика ее волос. Рейн был изжелта-серый и широкий, как и всегда.

В то воскресенье, когда я появился у нее впервые, у Доле была увольнительная. Он приехал из Дюссельдорфа, служил там на зенитной батарее. Трамвай миновал городские окраины. Вот и усадьба, которую писал Доле. Густо положенная акварель. Висела у нее в комнате, где стоял рояль. Дверь в ванную была открыта, и она мыла ванну. Доле, сидя на краю ванны, рассказывал ей очередной анекдот про графа Бобби, тот, где граф заключает бесконечный рассказ о последней измене своей подружки Мицци словами: «Опять эта проклятая неизвестность!» Открыл мне Стефан, мальчик лет семи. «Мой сын», — представила она. Я сразу догадался. Такое же маленькое смуглое личико, твердое от залегших в уголках рта черточек скрытности. Но у нее над лицом вздымается копна этих переливчатых волос. Помешал ли я Доле? Перед тем как приехать, я позвонил. Доле не подавал виду и только осторожно ко мне приглядывался.

«Следующая остановка — Роденберг», — объявил кондуктор. Сейчас снова все это увижу, думал я. Только не будет Нины. Она в турне. Сидит сейчас где-нибудь в Мюнхене и репетирует с оркестрантами Бетховена. Утверждает под бомбами немецкую

культуру. Потом будет ужин у генерала М. и прослушивание иностранных радиостанций. Ритуальное обсуждение: возможно ли и когда; и если возможно, то каким образом, а если нет, то почему. А все из-за того, что наслушались Бетховена. Лучше бы переключились на Стравинского и хладнокровно предоставили бы подышать этой подвальной крысе, Гитлеру. В Стравинском — холодный артистизм. Все же Бетховен как-то защищал Нину. Первые такты из анданте соль-мажорного концерта нейтрализовали на несколько часов действие ее губной помады. Все это мелкие солдатские мыслишки; вечером же надо возвращаться в казарму.

А может, утром, пораньше, если Нина здесь? Я вышел из трамвая. Тот же навес возле остановки, те же поблескивающие рельсы, ничего здесь не изменилось. И я тот же. До сих пор все еще в солдатской шинели. А войне не видно конца. Я пошел вдоль ручья, бившего из бетонной трубы. Вода белесо-мутная, покрытая пеной. Дорожка раскисла от сырости. Особняки предместья стояли в туманной дымке среди едва различимых деревьев. Особняки с мертвыми декабрьскими палисадниками, погруженные в молчание. По другой стороне шла девушка с хозяйственной сумкой. В первый мой приезд Нина провожала меня к трамваю по этой самой дорожке. Тогда, правда, был март, солнечный день. С минуту я еще видел, как она то исчезала среди деревьев, то снова появлялась. На ней была цигейковая шубка приглушенного оттенка; высокая гибкая птица уходила от меня прочь. Ни разу не обернулась. Доле тем временем лежал в шезлонге на террасе и, наверно, еще не проснулся, до того был пьян.

Желтое круговращенье. Эльза, служанка, развешивала в саду белье. Удивительно теплый был для марта день. Я привез Нине бутылку граппы от одного ее знакомого из моей роты. Тогда, на севере Франции, у нас в солдатской столовке, как ни странно, можно было купить это итальянское питье. «Непременно зайди к ней,—сказал он,—редко такую женщину встретишь». В армии двое, когда случайно остаются наедине, всегда говорят друг другу такие вещи. Я знал только ее имя по афишам, и мне не терпелось ее увидеть. Доле чуть не взревел, когда увидал бутылку. Сам он принес виски—естественно, немецкое, но тоже ничего. Нина сняла фартук, и мы уселись втроем на террасе. Она почти не пила. Стефан принес для нее минеральной воды. Доле и я пили виски, не разбавляя. Я себя сдерживал, но Доле опрокидывал рюмку за рюмкой. Стефан, улегшись животом на расстеленный на полу тюфяк, читал Карла Мая. «Я тоже хочу виски!»—заявил он.

Нина протянула ему ликерную рюмку, полную до краев минеральной воды. У Доле были гладкие густые черные волосы и твердое смуглое лицо римлянина. Очки в черной толстой роговой оправе. Я приехал из Пикардии, огромного, безмолвного края: бесконечные дороги, на них неуклюжие двухколесные крестьянские повозки, широкие, пустынные площади Арраса таращатся на вас своими аркадами, таверны Бапома. Эльза принесла новую корзину белья. В очертаниях ее рта, вопреки кёльнскомуговору, затаилась какая-то австрийская мягкость. Доле сидел возле проигрывателя и снова и снова ставил одну и ту же пластинку, желая напомнить Нине о чем-то, что их связывало. Пластинка называлась «Where the lazy river goes by»<sup>1</sup> (фокстрот, Рей Нобл в сопровождении оркестра, Е. Г. 3879, О. А. 02162, Электрола, акц. общество, Берлин). Итак, ленивая река все катила мимо свои воды, меж тем как мы пили и сияло солнце. Я курил трубку, и Доле был мне удивительно симпатичен. Он мне определенно нравился. Я глядел на руки Нины, в которых жила музыка. В комнате стоял открытый рояль. Мы говорили о литературе. В отношении политики все между нами было ясно. Я прочитал на память Стефана Георге:

Печатью рабства заклейте всех,  
Кто тешится созвучьями пустыми  
И в розовых цепях над бездной пляшет.  
Вы с лавром сталь должны сплести, чеканя  
И стих и шаг грядущей битве в лад<sup>2</sup>.

Доле засмеялся, а Нина сказала: «Теперь я знаю, почему не люблю Георге». Положим, я сам его не люблю, но иногда он все же меня завораживает, и мне начинает казаться, будто в нем, пожалуй, что-то есть. Но это «чеканя и стих и шаг» просто безвкусно.

(Не следует никогда до конца растворяться в категориях окружающих тебя людей... Как бы ни были эти люди тебе приятны. Противоречие—вот главное. Строчки Георге были вторжением чуждого мира. Я именно этого и хотел. Хотел их раздражить. Нет ничего скучнее всеобщего единомыслия. Если на то пошло, уж лучше внести диссонанс. К тому же своего рода интеллектуальный соблазн. Благозвучно-чуждое небольшими дозами для Нины. Показать другие горизонты никогда не мешает.)

Доле самым банальнейшим образом спросил:

— Читали вы Томаса Вулфа?

<sup>1</sup> «Там, где течет ленивая река» (англ.).

<sup>2</sup> Перевод Ю. Стефанова.

Я:

— Читал.

Пауза.

— И нравится вам?

Ну и ну! Но после этого Доле, пожалуй, сделался мне вдвое дороже.

Встал немного размять ноги. Бросилась в глаза раскрытая нотная тетрадь на рояле. Вошел в комнату и начал ее перелистывать. «Серенада ля мажор» Стравинского. Заметил карандашные поправки в тексте.

— Вы правите Стравинского?—спросил я громко, чтобы было слышно на террасе.

— Не Стравинского,—объяснила она, входя в комнату, и открыла передо мной титульный лист.—Это первое издание. Очень небрежно напечатано. Вот взгляните.—Она указала мне нотную строку.—Здесь не отмечен переход от шести восьмых к семи восьмым, у Стравинского такое немыслимо. Мне пришлось потрудиться, прежде чем я разобралась.

Да. Вот она такая, Нина. Часами корпела над партитурой. Она проиграла мне этот отрывок в обоих вариантах. Было ясно, что она права.

— Вы понимаете, это ведь все меняет,—волнуясь, сказала она.

— Пожалуй, для вас, исполнителей,—произнес Доле с террасы.

— Что ты имеешь в виду?—спросила Нина.

— Слишком вы переоцениваете ремесло и все эти тонкости. Стравинский, когда писал, об этом и не думал. Писал как пишется. А потом оказывалось: все так и должно быть.

— Тебе же не безразлично, как ты кладешь краску, так или иначе?—напряженно спросила она.

— Конечно, не безразлично,—ответил он. Я услышал, как хлопнула пробка. Это он открыл бутылку граппы.—Но я не корплю и не прорабатываю все в том смысле, в каком ты имеешь в виду.

— Как же тогда?

— А... а... а...—блаженно простонал он.—Ужасно вкусная штука!—Бутылка тихо зазвенела, когда он поставил ее на стол. Потом:—Как дыхание, как вдох и выдох—вот что должно быть. И ты ведь играешь всего лучше, когда просто играешь.

Она:

— Это так, но ведь надо играть *точно!*

Но произнесено это было уже как бы отсутствующим тоном.

Она откинула назад волосы и взглянула на меня. Так прошла, быть может, минута. Я и теперь еще вижу себя стоящим возле рояля.

— Послушайте! — сказала она и заиграла что-то из «Серенады», сначала это был звенящий звук бутылки с граппой, варьированный в ля мажоре, затем все ниже звучащие перезвоны колоколов, холодно и точно воспроизведенные — так, как они звучат для человека, который, оказавшись в здании Корбюзье, не в силах забыть башенок Казани. И вновь наконец рояль превратился в ударный инструмент с чистыми сильными акцентами. Чистая, нежная, далеко рокочущая фантазия, проникнутая в исполнении Нины неистовой красотой. «Cadenza finale», — мимоходом пояснила она. Я раньше не слышал этой «Серенады». Я вспомнил волшебные колокола из «Жар-птицы» Стравинского.

— Совсем по-другому, чем в «Жар-птице», — сказал я. Она кивнула. Я смотрел, как она играет. Стефан беззвучно поднялся и ушел с террасы. Эльза тоже, должно быть, ушла. Белье висело на солнце. Доле не шевелился. Был март.

Нина завершила все тоникой ля и вышла на террасу. Я взял яблоко в вазе, стоявшей на низком столике. Откусил. Светло-желтое и красноватое яблоко. Шафранный ранет. Откусил сначала от красного. Свежесть. Свежесть, но словно бы чуть мало кислоты и сладости, вкус недостаточно полон, чего-то недоставало. Жуя, я подошел к двери на террасу.

— Ой, и мне тоже дайте! — сказала Нина.

Я взял два яблока и кинул им обоим: сперва Нине, потом художнику. Оба легко поймали их. Доле держал раскрытую ладонь над проигрывателем. Яблоко попало в самую середину ладони, он сжал пальцы, но ладонь качнулась книзу. И тут пластинка «Where the lazy river goes by» раскололась.

Нацеленное сквозь март, летящее, желтое круговращенье. Доле с мучительной гримасой отвернулся. Нина порывисто вскочила, опустилась перед ним на колени и поцеловала его. Поцелуй, прикрытый пеленой ее волос. Я все еще жевал кусок яблока, а тут сразу проглотил его. Глупо, что пластинки так легко бьются. Мне было не по себе. Когда Нина встала, я увидел, что она улыбается. Она вошла в комнату, и мы услышали, что она играет «Lazy river». Она сделала из фокстрота маленький траурный марш.

«Доле... — всплыло вдруг в памяти, когда я свернул на улицу, в самом конце которой стоял дом Нины. — Доле, бедняга!» Оба ведь мы были в одинаковом положении: она играла на рояле, а мы возвращались в свои казармы. Что ему было в ее траурном

марше — единственное, что могло его отвлечь, так это привезенная мною бутылка граппы. Вдруг в комнату ворвался Стефан, крича: «Горит!» Он выскочил на улицу, за ним Нина и я. Втроем мы бежали вдоль домов, и нам был виден огонь, плывший на слабом ветру, жадно вгрызаясь в заросли окостенелого, зимнего кустарника. Но ветки уже успели налиться весенними соками, лишь понизу горела трава, хотя вверх порой высоко взмывали алые языки пламени. Стефан испуганно прижался к Нине. «Этот ты зажег костер?» — спросила она. (Нина обладала каким-то даром ясновидения.) «Я, — ответил Стефан, — только совсем крохотный, и вдруг все как загорится».

Вот и дом наконец! Большой дом в два этажа. Она живет внизу. Жалюзи не опущены. Правда, это еще ничего не значило. Я знал, что она, и уезжая, никогда не опускает жалюзи. Окна, за мертвым отражением которых ничто не двигалось. С улицы видна была картина на стене. Она всегда висела на этом месте. Я вошел в подъезд.

Белый диск окружал черную кнопку на ее двери. Рука, которую я протянул к звонку, была в истертой серо-зеленой солдатской перчатке. Услышал, как коротко прозвенело. Звук донесся ко мне из квартиры, как из гулкого подземелья. Никого. Ни звука в ответ. В глубокой тишине слышно было, как жужжит наверху пылесос. Позвонил еще раз. Никого. Ясно. Еще подождал немного. Потом сошел по ступенькам с крыльца и снова очутился на улице.

На какой-то миг я ощутил к себе жалость. Солдатик, безвестный, в широкой неуклюжей шинели, стоит перед домом. Сантименты. Я пошел вокруг дома. Терраса. Подумал: сейчас увижу сидящего на ней Доле. Хотя я знал, что он убит. Осколком в грудь. Мне живо представилось, как он лежал, его смуглое лицо римлянина, мужественное и артистичное, с легкой гримасой страдания, как и тогда, в шезлонге. Видно, так ему было суждено. Может ли он там, где он теперь, писать картины и пить граппу? Катит ли там мимо него воды ленивая река? Едва ли...

Я отогнал печаль о погибшем и жалость к себе. Что ж, Нине не подходить к роялю только потому, что существую я? Мелковато. Повернул обратно к трамваю. К вечеру доберусь до гарнизона, до казармы, корпус три, второй этаж, спальня двенадцать, десять обитателей. Там я ожидал отправки на фронт. Войне конца не видно. Я окопался на этой войне довольно сносно, и ждать мне больше нечего. От Нины приходили письма. Иногда я даже с ней виделся. И другим ведь тоже приходилось не лучше. Я наблюдал, как они, прячась от налетов, сидят по подвалам, в



спальных казарм. Лабиринты без выхода. Война оказалась без дверей. Долго ли продлится война, долго ли продлится жизнь, не имело никакого значения. Живешь ради считанных мгновений, когда звучит гаснущий звон колоколов. *Cadenza finale*. Колокольный перезвон Игоря Стравинского. Жар-птица притаилась в углу и слушала. «Прощай!» Я сказал это вслух и поглядел в небо, которое было лишь серым воздухом без конца и края. «Прощай!»

## МОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ В ПРОВИДЕНСЕ

*(Схематичные наброски к роману)*

*Посвящается Вольфгангу Кёпшену*

### 1

Роман в виде записок из тюрьмы. Т. делает наброски к нему, находясь под домашним арестом в особняке на Бенефит-стрит. *Я кладу исписанные страницы в большой конверт из плотной оранжевой бумаги, который нашел в письменном столе Уильяма, и пишу на конверте: To whom it may concern...<sup>1</sup>*

### 2

Т. покинул Дом Гарднера в субботу, семнадцатого октября 1970 года, в половине девятого утра, не оставив никаких следов, если не считать регистрационной карточки в агентстве «Эйвис» (прокат автомобилей), расположенном на Кеннеди-плаза, из которой явствует, что он в четыре часа пополудни вернул машину марки «додж», взятую напрокат утром того же дня. В поведении Т. не было ничего примечательного, так что служащий агентства впоследствии с трудом его вспомнил.

### 3

Счет за прокат автомашины Т. оплатил клубной кредитной карточкой. В случае если Т. не объявится, Дайнерс-клубу придется взять этот расход на себя. Жена Т., проживающая в Западном Берлине,—впрочем, они с Т. расстались два года назад—отказывается платить по его счетам.

---

<sup>1</sup> Здесь: к сведению заинтересованных лиц... (англ.)

Дом Гарднера, прелестное кирпичное здание в колониальном стиле, используется университетом Брауна в качестве временного пристанища для приглашенных лекторов. *Я прожил там несколько дней в комнате, заставленной громоздкой старинной мебелью темного дерева; кровать была с балдахином, и мое одиночество — одиночество странствующего писателя — скрашивалось множеством книг и журналов, издающихся в Новой Англии.* В понедельник, девятнадцатого октября, Т. должен был читать отрывки из своих произведений студентам и преподавателям германского отделения филологического факультета здешнего университета.

## 5

Т. вынужден признаться, что, закрывая за собой сверкающие белой краской двери Дома Гарднера, не ощущал и намека на какие-либо недобрые «предчувствия». Напротив, в тот момент его мысли были всецело поглощены *неожиданным и резким похолоданием, наступившим семнадцатого октября и — по его собственным словам — проморозившим до костей бабье лето семидесятого года. Уже восемнадцатого клены утратили свой багрянец, а дубы — золотистость, что сразу бросилось мне в глаза, когда я впервые взглянул из окна, у которого сидел в наручниках, на сад, прилегающий к дому Элизы и Уильяма.*

## 6

Старинная красота университетского квартала в городе Провиденс, расположенного на склоне холма, — георгианский стиль, могучие деревья, библиотеки из фигурного бетона, — с которой Т. знакомится, дрожа от холода. Заставить его, что ли, купить себе пуловер, прежде чем он заберет машину, заказанную накануне? Боюсь, что энергии у него даже на это не хватит.

## 7

Очевидно, Т. объясняет факт своего исчезновения безлюдностью и связанным с ней однообразием американских улиц. *На них (на этих улицах) не увидишь пешеходов. На Георг-стрит и Колледж-стрит я не встретил никого, зато на Кеннеди-плаза, то есть в самом центре города, у вокзала я насчитал пять прохожих.*

Т.—западногерманский писатель средней руки. Настроение у него кислое, ибо он только недавно уразумел, что во время обычной для писателей его ранга поездки с чтением своих произведений перед германистами нескольких американских университетов он не увидит в Соединенных Штатах ничего, кроме этих самых германистов нескольких американских университетов. Финансировал его вояж западногерманский институт Гёте.

## 9

Машину он взял напрокат для того, чтобы разыскать отрезок побережья вблизи того места, где залив Наррагансетт переходит в открытое море и где он двадцать пять лет назад, летом и осенью 1945 года, содержался в лагере для военнопленных. *Желание еще раз посетить это место засело у меня в мозгу как навязчивая идея. И если уж начистоту, то придется признаться, что я только ради этой экскурсии и принял приглашение поехать в Америку.*

## 10

*У новехонького «доджа» была автоматическая коробка передач, так что машина трогалась с места, едва я выжимал сцепление. Верхняя часть ветрового стекла была голубоватого оттенка—чтобы хоть для сидящих впереди создать иллюзию вечно голубого неба. Однако семнадцатого октября небо и без того было голубым-голубым и таким чистым, словно его насквозь продуло пронизывающим восточным ветром.*

## 11

Несколько недель спустя Элиза показала ему папку, в которую складывала вырезанные ею из газет сообщения о безрезультатных (пока!) розысках Т. И Т. вспоминает: шестнадцатого октября он сдал в прачечную на Тэйер-стрит две смены рубашек, кальсон и носков. «Они тебе больше не нужны»,—смеется в ответ Элиза и рвет квитанцию.

## 12

Но и чемодан Т. тоже в свое время остался в его номере в Доме Гарднера. Профессор Карвер, глубоко огорченный

исчезновением своего гостя (несчастный случай? преступление?), сдал вещи Т. на хранение в полицию. Так что чемодан Т. из искусственной кожи каштанового цвета, не очень большой и обладающий неброским изяществом форм, теперь пылится в темном чулане полицейского участка.

### 13

Т. крайне изумлен тем, что, усевшись в машину, внезапно утратил всякую охоту ехать к месту своего пребывания в плену. Ему около пятидесяти пяти. В этом возрасте у людей случаются острые приступы хандры, когда ими овладевает ощущение пустоты, бесцельности и бессмысленности существования.

### 14

*Я сожалел, что воспользовался машиной лишь для того, чтобы еще раз покопаться в воспоминаниях. Жаль, что она была не моя и что у меня не было денег, чтобы с ее помощью ускользнуть от института Гёте. Может, тогда я махнул бы в Таллулу или в Ганнибал, а вовсе не к месту рождения рухнувшей утопии.*

### 15

*Свернув за Саундерстауном на ответвляющуюся от автострады Южную паромную дорогу, я без труда нашел тот склон, где некогда стояли белые бараки Форта-Карне. Кончается дорога немоощным участком, покрытым гравием и довольно круто спускающимся к бухте. Никакого парома на ней нет и, наверно, никогда не было.*

### 16

*Вдоль Южной паромной дороги тянулись не ряды villas и летних домиков, какими усеяны все берега залива Наффагансетт, а лишь ветхие хутора, полуразвалившиеся деревянные халупы, окруженные мелким кустарником и неряшливо убранными полями. Все это, вероятно, уже было, когда нас в 1945 году доставили в лагерь на грузовиках, крытых брезентом. Странно, что я, будучи военнопленным и живя у подножия прибрежных холмов, загораживавших вид в глубь суши, представлял себе окрестности Форта-Карне именно такими, какими наконец увидел их в тот октябрьский день 1970 года.*

Как-то весенним вечером 1971 года, когда Т. прочитал эти строки Элизе и Уильяму — а супруги Дорранс требуют, чтобы он каждый вечер читал им вслух написанное за день, — Уильям перебил его. «Думается, — сказал он, — в этом и состоит разница между твоим пребыванием в плену тогда и сейчас. Окрестности нашего дома тебе достаточно хорошо знакомы. Не так ли?»

*В том месте, где мы каждое утро просыпались под звуки песенки «О крошка, будь добра», исполняемой Дюком Эллингтоном и разносимой по окружающим холмам громкоговорителем, установленным на кухонном бараке, теперь раскинулся современный университетский спортивный комплекс штата Род-Айленд. В это время года комплекс был уже закрыт, нигде ни души. Только старый пирс, там, внизу, у самой воды, был такой же грязно-бурый, как тогда.*

*Я спустился к берегу. И вновь, как двадцать пять лет назад, глядел на белый маяк, указывающий фарватер, на низкие холмы острова Конаникет посреди залива, на выход из бухты в море. И ничего не ощутил.*

«Бедняга, — говорит Элиза. Удивительно, как в ее грудном голосе сплавляются теплое сочувствие и язвительная насмешка. — Может, нам стоит съездить туда еще разок, уже вместе? Может, ты был просто не в настроении? Ну конечно же, — продолжает она, обращаясь только к Уильяму. — Давай прокатимся с ним в его старый лагерь».

*Мой старый лагерь в свое время значил для меня очень много, если не все. И я ожидал от свидания с ним какого-то чудовищного водопада воспоминаний. Что ни говори, но после эпохи потрясений и взрывов именно в тихой заводи Форта-Карне я созрел для того, чтобы стать писателем.*

«Благодарю покорно!—возражает Т.—Но я не хочу!»  
Здесь, возможно, будет уместна первая ретроспекция: личная жизнь молодого Т., еще не переступившего порога своего тридцатилетия. Может быть, интерполировать сюда роман с Н., которую он, вернувшись, так и не смог разыскать.

## 23

*Погрузившись в воспоминания о Н., я нашел на каменистом пляже уменьшенную копию той громадной раковины, которую я в свое время тащил в ранце через полмира, чтобы подарить ей. Но даже воспоминание о Н. в этот день не расшевелило меня, равно как и место, где я находился. Может, все дело было в погоде, в этом ледяном, пронизывающем ветре под голубым небом, в излишне отчетливом освещении, лишенном воздушной перспективы?*

## 24

*В Форте-Карне, в стерильном пространстве этого образцового лагеря для военнопленных, я, кроме всего прочего, обучился демократии. «Демократия,—сказал нам профессор Смит,—есть метод творческого компромисса». Это определение показалось мне убедительным.*

## 25

Я не уверен, стоит ли заставлять Т. читать вслух и те места его рукописи, где речь идет об Элизе,—ну, например, такую фразу: «Удивительно, как в ее грудном голосе сплавляются теплое сочувствие и язвительная насмешка». Или какие-то другие пассажи в более поздних главах. Может быть, ему стоит опускать их при чтении—из робости или из нежелания задеть Уильяма. И все же лучше бы у него хватило духу предать их гласности.

## 26

Само собой разумеется, Элиза немедленно проявляет интерес к Н. и расспрашивает Т. о ней. Вышеупомянутая ретроспекция, таким образом, будет весьма органично вытекать из его слов. Позже Т. внесет в рукопись одну фразу, в которой признается, что Элиза—первая женщина, с которой ему мешают воспоминания о Н.

*Я проехал немного дальше—до мыса Джудит—и оттуда посмотрел на океан. При этом на память пришли лунные ночи на военно-транспортном судне «Самюэль Муди». «Дельфинов приманивают фосфоресцирующие бурунчики пены за кормой»,—объяснил мне один из матросов, когда я перегнулся через борт. Было это в ноябре, когда нас из Бостона переправляли в Гавр; война уже кончилась.*

Т. обедает в рыбном ресторанчике в Мэтьюнеке, потом не спеша катит сквозь осенние леса, мимо озер и в четыре часа дня возвращается в Провиденс. Здесь он сдает машину в прокатное агентство, подписывает кредитный чек Дайнерс-клуба на двадцать пять долларов и направляется в свое временное пристанище, в Дом Гарднера. По дороге он замечает на углу Колледж-стрит и Бенефит-стрит Атений и, обнаружив, что он открыт, входит в здание. В Атениее, построенном в 1838 году и увитом плющом до самой крыши, находится одна из старейших частных библиотек Америки; в архитектурном отношении здание представляет собой миниатюрную копию дорического храма.

На ум приходят слова Теодора Адорно, сказавшего мне однажды, что Пруст попирает ногами святыни—как-никак весьма примечательная метафора в устах всегда немного застенчивого, но отнюдь не робкого подвижника Критической теории,—в связи с тем, что, на мой взгляд, Эдгару По дозволено то, что, по Адорно, не дозволено Прусту. Во всяком случае, именно эти взгляды я внушаю Т., бродящему по Атенею: эти стены были свидетелями одного из амурных приключений Эдгара По. Библиотекаря, которую он расспрашивает о нем, показывает Т. стихотворение «Юлалюм», анонимно опубликованное По в «Америкен ревью» в декабре 1847 года, а также собственноручно написанное им посвящение Саре Элен Уитмен и не оставляет никаких сомнений на тот счет, что она лично находит связь По с этой красивой, богатой и уважаемой дамой из Провиденса просто-напросто возмутительной. При этом библиотекаря обводит взглядом узкие ниши книжных стеллажей из потемневшего от времени красного дерева, напоминающих по форме альков и тускло поблескивающих в полумраке галереи над главным залом.

Почтовая открытка, посланная Т. прямо из библиотеки в Баргфельд, район Целле, дом № 37,— «*Не знаешь ли подробностей о связи По с миссис Уитмен?*»—пока что последний след, оставшийся от Т. Поэтому полиция Провиденса опрашивала жителей домов, расположенных поблизости от библиотеки,—а значит, и супругов Дорранс,—не видели ли они субботним днем в октябре мужчину немного выше среднего роста, с нездоровым цветом лица, густой проседью и в очках без оправы, в светлом плаще. В качестве особой приметы полицейский инспектор Осборн обычно добавлял: «Он из Европы. Пошел прогуляться—и пропал».

## 31

Элиза обещает Т. разузнать о роли Сары Элен Уитмен в жизни Эдгара По. Естественно, я не совсем уверен, следует ли мне вообще включать в наброски романа, ведущиеся от лица Т., эти и другие эстетические отступления. Но для меня лично упоминание, к примеру, стихотворения «Юлалюм»—одна из причин, по которым Т. становится пленником супругов Дорранс.

*It was night in the lonesome October  
of my most immemorial year*<sup>1</sup>.

## 32

Выйдя из Атеней, я, несмотря на холод, не устоял перед очарованием вечернего неба в дымчато-розовых тонах и решил немного пройтись пешком по Бенефит-стрит. Белые, шоколадные, светло-голубые и медно-красные деревянные особняки XVIII и начала XIX века с их классическими карнизами и фронтонами, с их кисейными занавесками на забранных фигурными решетками окнах и кирпичными печными трубами тоже были необычайно хороши. На этой улице Провиденса, словно созданной для променада, я опять, как и во всех других красивейших уголках Верхнего города, был совершенно один.

## 33

На углу Бенефит-стрит и Гопкинс-стрит я увидел дом, который показался мне не только красивым, но и весьма таинствен-

<sup>1</sup> Моего незабвенного года

Был октябрь, и был сумрачен мир.—Перевод В. Брюсова.



ным, поскольку он весь, от крыши до фундамента, включая оконные и дверные карнизы, был выкрашен в темно-красный цвет такой густоты, что выглядел почти черным. Даже садовая ограда была выдержана в том же тоне. Обитатели этого дома как бы заявляли о своей решимости отгородиться от жизни монотонной завесой цвета мрачного пламени.

### 34

«Вот видишь,—замечает Элиза Уильяму после того, как Т. прочитал им это место рукописи,—я всегда говорила, что этот оттенок красного отпугивает людей».—«Но ведь мы по совету реставраторов воспользовались именно фалунской краской,—парировал Уильям,—поскольку краска эта натуральная и хорошо сохраняет древесину».

### 35

«Меня она отнюдь не отпугнула,—говорит Т.—Скорее наоборот». Я даже совершил нечто по здешним понятиям совершенно немыслимое: открыл садовую калитку и подошел вплотную к дому. Оклика не последовало, и я стал его огибать, но затем отклонился немного в сторону, заметив сбоку маленький огорожок — всего несколько грядок с зеленью,—посреди которого виднелись солнечные часы с надписью: *A garden that might comfort yield*<sup>1</sup>.

### 36

«Легко можешь себе представить, как мы перепугались, когда слышали твои шаги у самого дома,—рассказывает Элиза.—Мы тихонько подкрались к окну, и Уильям сказал — как сейчас помню его интонацию: «В сущности, у него вполне приличный вид». «Наверняка приезжий»,—добавила я.

### 37

Кто знаком со мной достаточно близко, знает, что я не верю в провидение, именуемое также судьбой или роком, и упорно придерживаюсь той точки зрения, что жизнь любого человека — это смесь предопределенности и случайности. Я привожу это свое кредо в сухом сообщении о событиях моей жизни лишь для того, чтобы отвести

---

<sup>1</sup> Сад может утешить в горе (англ.).

подозрение, будто я склонен рассматривать свое исчезновение в Провиденсе, столице самого маленького американского штата Род-Айленд, как событие, исполненное глубокого смысла только потому, что Провиденс означает «провидение». Из того факта, что я исчез в Провиденсе, вытекает только то, что я исчез именно там, а не где-нибудь еще.

### 38

Так, лишь чистой случайностью следует считать то обстоятельство, что Элиза Дорранс открыла дверь и пригласила Т. осмотреть дом и выпить чашечку чаю. Она никогда раньше не видела Т. и не могла рассчитывать на его появление в пять часов вечера семнадцатого октября 1970 года. Предопределенность же этой встречи состоит в том, что день был холодный, Бенефит-стрит пустынна, а во взгляде, которым обменялись Элиза и Уильям, прежде чем Элиза направилась к двери, читалось согласие.

### 39

Элизе около сорока, рост примерно метр шестьдесят пять, изящна (хотя и не слишком), спортивна, ясноглаза, прямодушна, весела, кожа лица чистая, прозрачная, волосы (какого цвета?) носит подколотыми узлом на затылке. По ходу романа Т. испытывает все более сильное чувственное влечение к Элизе. Надо будет показать, что чувство это возникает отнюдь не только оттого, что другого выбора у Т. нет.

### 40

Когда я последовал за Элизой, мне вдруг вспомнилось, как в Ирландии мы с женой однажды оказались подле большого помещичьего дома, прятавшегося в глубине парка. «Если бы владелец поместья сейчас открыл окно и пригласил нас войти и быть его гостями,— сказала тогда жена,— мы могли бы исчезнуть с лица земли совершенно бесследно. Ни одна живая душа не узнала бы, что мы с тобой в этот дождливый вечер по пути из Корка в Лимерик случайно попали в этот дом».

### 41

«И все-таки ты не замешкался ни на секунду, переступая порог нашего преступного логова»,— комментирует Элиза это

место. «Слишком был наслышан и начитан об американском гостеприимстве»,—возражает Т. «Ну и что же,—подает голос Уильям.—Разве мы не оказали его тебе в полной мере?»

## 42

За чаем я рассказал Доррансам о своей поездке в бывший Форт-Карне, таким образом обрисовав им вкратце всю свою жизнь. Потом пожаловался, что, вместо того чтобы сидеть за столом и писать—а у меня сейчас как раз самое подходящее для этого настроение,—мне приходится зачитывать вслух свои тексты перед ученой аудиторией. Не знаю, что заставило меня столь подробно распространяться о собственной персоне. Может быть, отличный чай с ромом, приготовленный Элизой?

## 43

«А вы возьмите и откажитесь!—вдруг заявил Уильям.—Кстати, я близко знаком с профессором Карвером. Он не обидится, если вы откажетесь. В Америке любой профессор литературы понимает, что писать—куда важнее, чем читать вслух то, что сам написал».

## 44

На «ты» мы перешли только на следующее утро. По-английски перейти на «ты»—значит просто начать называть друг друга по имени. Мне, однако, не пришло в голову именовать Уильяма и Элизу панибратски: «Билл» и «Лиз».

## 45

Источники доходов Уильяма Дорранса мне пока еще неясны. Какая профессия могла бы ему подойти? Во всяком случае, оба они—отпрыски состоятельных родителей, принадлежат к загложшим ветвям некогда процветавших семейств промышленных магнатов и живут на проценты с капитала.

## 46

Уильям Дорранс—ровесник Т. И значит, оба они лет на пятнадцать старше Элизы. В тот вечер на Элизе было вязаное платье из тонкой желтой шерсти поверх коричневого шелкового пуловера с высоким воротом.

Пока пили чай, стемнело; Элиза зажгла лампу. Уильям предложил: «Лучше я покажу вам дом завтра, при дневном свете». Я ничуть не встревожился и ничего не заподозрил, лишь решил, что мне можно будет прийти сюда завтра, и обрадовался, еще не сознавая, что вызвана эта радость присутствием Элизы.

Уильям был, как и я, в твидовом пиджаке и серых фланелевых брюках. Однако в отличие от меня он не курит трубку. Кроме того, он немного выше ростом, костист и жилист, глаза у него голубые, очков он не носит (а я ношу, и глаза у меня карие).

Чтобы не показаться Уильяму просто путешествующим саморекламщиком — у меня вдруг появилась потребность объяснять свои поступки, — я сказал, что предпринял эту поездку также и ради заработка, отнюдь не лишнего при уровне доходов европейского писателя средней руки. И этим, сам того не желая, укрепил Доррансов в их решении.

Супруги Дорранс не должны быть любителями литературы в обычном смысле этого слова. Однако Т. находит в их доме довольно большое собрание сказок, саг и мифов. Любимые книги: «Фалунские рудники» (у Уильяма) и «Рип ван Винкль» (у Элизы).

Мне очень жаль, заявил я, что не смогу пригласить гостеприимных хозяев дома на свое выступление в понедельник. Поскольку они не владеют немецким, присутствовать на моей встрече с читателями будет и бессмысленно, и страшно скучно. «Ваша встреча с читателями не состоится», — возразил Уильям. Я удивленно взглянул на него.

Среди мотивов, которыми руководствовались супруги Дорранс, бездетности следует отвести особое место. В романе

необходимо показать причины постигшего их несчастья и его последствия. Значит, опять понадобится ретроспекция: история брака этой пары.

### 53

Оригинальная гипотеза Айсадора Кориата и Зигмунда Фрейда относительно бездетности лорда и леди Макбет. «По этой теории леди Макбет... и ее супруг... психологически одно и то же лицо. Это — пример распада (деконструкции) личности, известного нам из мифологии и встречающегося иногда и у Шекспира» (Эрнест Джонс). Нельзя ли приложить к Доррансам эту теорию, противоречащую любой популярной психологии брака?

### 54

*Я проснулся на следующее утро, в воскресенье, восемнадцатого октября 1970 года, на чем-то вроде раскладной кровати; спал я одетым и был укрыт шерстяным одеялом; кроме этой кровати, в комнате ничего не было. Во сне я, видимо, повернулся на бок, поэтому глаза мои уперлись в посеревшие от времени еловые половицы. Оказалось, что запястья мои стянуты наручниками. И когда Элиза вошла в комнату, чтобы посмотреть, как я и что, я процедил сквозь зубы: «Если вам вздумалось поиграть со мной в «киднэппинг», миссис Дорранс, то я вынужден довести до вашего сведения, что вам не удастся найти человека, готового уплатить за меня выкуп».*

### 55

*«Меня зовут Элиза», — только и сказала в ответ она. За окном — хмурое утро. Она поинтересовалась, что бы я хотел получить на завтрак.*

### 56

Надо бы еще подумать, не слишком ли глупо выглядит вся эта уголовщина — снотворное (чай с ромом, приготовленный Элизой!) и наручники. Может, Доррансам вовсе не стоит прибегать к таким грубым приемам? Может, было бы достаточно нескольких слов, чтобы превратить Т. в своего пленника?

Правда, к Доррансам в этом случае нельзя было бы предъявить никаких претензий в юридическом смысле слова. Но именно этого я и не хотел подчеркивать. Читатель может, если захочет, рассматривать все происшедшее и как преступление.

Кроме того, наркотики и наручники—простые и понятные символы, значение которых читатель осознает сразу. И имеет все основания предпочитать применение такого «вещного» реквизита его дематериализации в метапсихологическом диалоге. В комедии «плаща и шпаги» должны наличествовать реальные плащи и шпаги.

Мотивы Доррансов стали бы понятны, если бы удалось показать—сиречь рассказать,—когда и при каких обстоятельствах Элиза Дорранс решила запереть в своем доме человека и как она сумела сделать собственного супруга сообщником. Значит, потребуется новый абрис прошлого этой супружеской пары. Трансформация анализа в повествование; повествование так же правдиво, как анализ, однако богаче его по смыслу; повествование не просто констатирует, а помещает констатацию в некое игровое пространство; повествование не дает ответов, а лишь ставит вопросы—все это сплошь прописные или азбучные истины, о которых писатель тем не менее должен постоянно помнить.

*На время завтрака (совместного!) наручники с меня сняли. В ванную и туалет тоже в конце концов пришлось пустить меня одного. После завтрака, вновь в железах, я сидел и ждал, что они учинят со мной, а пока смотрел через окно в сад, где клены утратили свой вчерашний багрянец, а дубы золото.*

Почему Т. допустил, что после завтрака на его запястьях вновь защелкнули наручники, вместо того чтобы

вскочить и удрать? Может быть, Уильям, не говоря ни слова, положил на стол возле своего прибора пистолет? Рукопись Т. не вносит никакой ясности в этот вопрос.

## 62

*Уильям показал мне дом, как и обещал. Я бродил за ним в наручниках из комнаты в комнату. Под конец он привел меня в ту, где я буду жить, и оставил одного.*

## 63

Нет нужды описывать дом Доррансов, поскольку любой знаток Провиденса давно понял, что я использовал в качестве модели дом Стефана Гопкинса, построенный в 1707 году (специфический красный цвет! Угол Бенефит-стрит и Гопкинс-стрит!). Теперь в этом доме музей; можете его посетить! Стефан Гопкинс входил в число лиц, подписавших американскую Декларацию независимости (1776).

## 64

Для своих целей я лишь окружаю дом Стефана Гопкинса большим садом — или маленьким парком, — поскольку именно там должны произойти первые любовные сцены между Т. и Элизой. В действительности при доме имеется лишь уже упомянутый Т. огороδικ с солнечными часами, сооруженными еще при прежнем владельце, знаменитом американском бунтаре и государственном деятеле. На самом деле этот дом, выходящий фасадом на улицу, с трех сторон окружен садами соседних участков.

## 65

*Они уже полностью обставили мою комнату. Простая кровать в колонизаторском стиле, застеленная белоснежными простынями и грубошерстными солдатскими одеялами, большой стол возле одного из двух окон, на нем — стопка бумаги и пишущая машинка — довольно дряхлая старушка «Ундервуд», как я сразу же про себя отметил, — а также стакан с десятком остро отточенных карандашей. В углу — кресло с журнальным столиком, на нем — пачка трубочного табаку, правда, не моей марки, а также воскресный номер местной газеты.*

*Хоть и с трудом, но мне все же удалось вытащить из кармана пиджака свою трубку, набить ее и раскурить. Усевшись в кресло, я принялся разглядывать еще пустую книжную полку и голые стены, оклеенные полосатыми серо-голубыми обоями приятного оттенка. При этом я заметил, что окна моей комнаты выходят в сад, а не на улицу, так что пытаться их открыть и позвать на помощь, скорее всего, не стоит.*

*Когда Элиза постучалась, я не встал с кресла, только бросил: «Войдите!» Она сообщила, что шкаф в коридоре за дверью. «Правда, он еще пуст,—добавила она, помолчав,—нам надо будет купить тебе кое-что из одежды; какой у тебя размер воротничка?»*

*«Сорок первый,—ответил я,—только это тебе ничего не даст». Она сходила за сантиметром и измерила окружность моей шеи, чтобы выяснить, какому американскому размеру она соответствует. Я по-прежнему сидел в кресле, поэтому ее грудь, обтянутая темно-синей блузкой, оказалась прямо перед моими глазами.*

*Решившись ничего не опускать при чтении рукописи, Т. не смеет взглянуть в лицо Уильяму после описания такой или подобной сцены. А Уильям, когда чтение заканчивается, как ни в чем не бывало задает чисто технические вопросы или пускается в обсуждение общелитературных проблем. Ничего личного он не касается. Прекрасная дама—Элиза—выслушивает песни своего трубадура весьма благосклонно.*

*Вечером супруги Дорранс оставили меня одного—им надо было ехать в гости. Они предоставили в мое распоряжение весь дом, но, прежде чем уйти, стянули мне руки за спиной. Я слышал, как они хлопнули дверцами машины и укатили.*



Я поднялся на второй этаж, подошел к окну, выходившему на Бенефит-стрит, и долго смотрел на улицу, но так ни одного пешехода и не увидел. Время от времени мимо проносились машины. Если бы появился прохожий, я мог бы привлечь его внимание, только постучав по стеклу, так как мне не удалось открыть окно—оно было чем-то заклинено, и силы рук, стянутых за спиной и лишенных опоры, не хватило.

Вскоре я оставил эти попытки и все время, пока ждал возвращения Доррансов, то просто стоял, то бродил по дому, то лежал ничком на софе в гостиной. Не мог ни читать, ни смотреть телевизор, ни хотя бы трогать или рассматривать какие-нибудь интересные вещицы.

Все же Т. мог бы без особых усилий схватить какой-нибудь тяжелый предмет, например чугунные каминные щипцы, и разбить ими окно в нижнем этаже. Тонкие деревянные планочки оконной решетки не выдержали бы двух-трех ударов ногой. И уже через несколько минут Т. был бы свободен.

После ужина Доррансы изложили мне свои предложения! Я должен жить в их доме как пленник, но зато писать могу совершенно свободно, отрешившись от всех житейских забот, финансовых затруднений, зависимостей, связей, традиций, а также общественных институций, в которых я, как писатель, доныне вынужден был «вращаться». Недостатка я ни в чем испытывать не буду.

Я спросил, как бы они поступили, если бы я не был писателем. «Как-то раз мы было ухватили одного парня,—ничуть не смущаясь, ответствовала Элиза.—Но выяснилось, что он коммивояжер, и мы его тут же отпустили на все четыре стороны, даже не попробовали лишить его свободы передвижения». Тут она взглянула на меня и добавила: «Так что ты для нас—сухая находка».

*Я потребовал, чтобы они предоставили мне два словаря синонимов (Дорнзайфа и Верле-Эггерса), этимологический словарь Клуге, грамматику Хойера и двухтомный энциклопедический словарь, изданный в ГДР. Уильям записал точные названия книг, а я указал ему книжный магазин в Нью-Йорке, где можно было их заказать. После этого они сняли с меня нафучники.*

## 77

Есть все основания полагать, что супруги Дорранс в то воскресенье не ездили в гости, а с какой-то удобной позиции наблюдали за домом, сидя в машине. Если бы Т. появился на Бенефит-стрит, для них игра была бы окончена. «Чтобы ты держал язык за зубами, мы собирались предложить тебе столько денег,—впоследствии призналась Т. Элиза,—что ты не смог бы устоять».

## 78

С точки зрения Уголовного кодекса речь идет, следовательно, о весьма незначительном случае насильственного лишения свободы. Опытный адвокат с легкостью представил бы его невинной шуткой и добился бы полного оправдания Доррансов. С другой стороны, нельзя не подчеркнуть, что Т., хотя и не пытался бежать и даже принял условия Доррансов, был подвергнут домашнему аресту не по своей воле и лишение свободы было для него не условным, а вполне реальным.

## 79

Т. решает использовать свое новое положение, чтобы заняться наконец проблемой структуры текста, основанного на свободной игре ассоциаций, которая его давно интересовала. Эта деятельность приводит к потрясающим результатам: оказывается, к примеру, что штутгартговскую пивоварню Вулле приходится переместить в Дельбрюк, а это обстоятельство позже, когда он опубликует свои опусы в серии красных брошюр Макса Бенса, приведет к возмущенному отклику постоянного читателя Т., некоего Юргена Беккера из Кёльна. В конце февраля (1971) он забрасывает эти экзерсисы и приступает к работе над рукописью «Мое исчезновение в Провиденсе».

Само собой разумеется, что после прочтения первых же разделов рукописи речь заходит о трудности ее будущей публикации. Уильям, Элиза и Т. понимают, что даже анонимное опубликование выдаст место пребывания Т. В конце концов, в Провиденсе исчез и разыскивается полицией один-единственный писатель.

## 81

Элиза помогает Т. в переводе кусков рукописи на английский, что необходимо для вечернего чтения и для чего Т. сначала показывает ей перевод, сделанный им самим, а затем она корректирует его текст с точки зрения лингвистической правильности и благозвучия. *Когда мы доходили до мест, в которых содержался намек на мои чувства к Элизе, мы прекращали чтение — но отнюдь не по тем причинам, которые подразумеваются у Данте в его знаменитой фразе «В ту ночь мы больше не читали». Элиза в этих случаях просто вставляла, говоря, что ей надо что-то сделать по дому.*

## 82

*Когда наступила весна, я по несколько часов в день проводил в саду. То помогал Элизе сажать клубни георгинов, то перекапывал землю между рядками малины. У меня сложилось впечатление, что для нее важнее урожай, чем красота самих растений.*

## 83

*Однажды, когда мы с ней подвязывали клематис и, стоя рядом, распутывали гибкие стебли, я обнял ее за талию, и она не страхнула мою руку. Слегка чмокнув меня в щеку, она как бы подвела черту под этим эпизодом и направилась к дому. Я не пошел за ней, хотя знал, что Уильяма дома нет.*

## 84

*На описание даже этой сцены Уильям никак не отреагировал. Он принял ее к сведению, как будто прочел в каком-то романе. Элиза тоже вела себя так, словно услышанное не касалось ее лично, и с невозмутимым видом продолжала разливать чай.*

Элиза начнет расспрашивать Т. о его жене: почему она живет отдельно, как они познакомились, есть ли у них дети и, если есть, не ездит ли он иногда из Мюнхена — Т., следовательно, живет в Мюнхене! — в Западный Берлин, чтобы с ними повидаться. Из вопросов Элизы и ответов на них опять выплывают эпизоды из жизни Т. Для Т. постепенно вырисовывается структура его будущего романа.

## 86

Т. снится, будто он из аэропорта Темпельхоф сообщает жене по телефону о своем возвращении из Америки раньше намеченного срока. Лишь повесив трубку, он вспоминает, что самолет, на котором он летел, потерпел аварию над Атлантикой. И когда служащий авиакомпании в свою очередь звонит его жене, чтобы сообщить о прискорбном факте, жена отказывается ему верить и утверждает, что это явное недоразумение: она только что разговаривала со своим мужем по телефону.

## 87

Т. расскажет Элизе о поэтическом семинаре, на который его пригласил профессор Карвер. Тринадцать студентов выпускного курса, в том числе два негра, анализировали два варианта двух строк из стихотворения Гёте «Свидание и разлука». В первой редакции эти строки звучали так:

И встала ты, душа рвалась на части,  
И я один остался вновь...

А во второй, предпринятой тридцать лет спустя, Гёте предпочел все помянуть местами:

Я встал, душа рвалась на части,  
И ты одна осталась вновь...<sup>1</sup>

## 88

*Я набросал для Элизы свою версию толкования обеих редакций. Она рассмеялась: «Ваш Гёте, видимо, отличался необычайным тщеславием».*

<sup>1</sup> Перевод Н. Заболоцкого.

*«А как было у вас с женой?—спросила она потом.—У кого из вас душа рвалась на части?—И добавила:—Уж я позабочусь, чтобы ты ушел в первой редакции, если когда-нибудь покинешь Провиденс!»*

## 90

Когда Т. читает написанное днем, Уильям слушает с интересом, но в принципе остается неудовлетворенным. «Удивительно,—заметит он однажды,—что, живя под домашним арестом в условиях полной свободы творчества, позволяющей, казалось бы, осуществить самые грандиозные из твоих замыслов, ты вместо этого занимаешься вещами сиюминутного свойства, да еще и излагаешь их прямо в лоб. Значит, ты остаешься субъективным. Что ж, очень жаль!»

## 91

Итак, Уильям жаждет объективной литературы. Мне еще не удалось четко определить, что он за человек. Но мало-помалу становится ясно, что его склонности должны привести его в сферу точных наук. Может статься, он проводит какой-то эксперимент.

## 92

В какой точке сошлись тяга Уильяма к науке и тоска Элизы по развлечениям (назовем это так)? Значит, нужна будет еще одна ретроспекция. Мотивы супругов Дорранс, очевидно, окажутся вообще наиболее обширной темой романа, если, конечно, твердо решить отказаться от само собой напрашивающихся банальных ходов садистско-мазохистского толка. Ибо от инфантильной сексуальности к той мечте, которую стремятся осуществить Уильям и Элиза, прямого пути нет.

## 93

Т. не удастся успокоить Доррансов, которых тревожит будущая публикация романа, хотя он и заверил супругов, что с юридической стороны гарантирует им невозможность идентификации. «Дело не в этом,—возражает Уильям,—а в том, что нам придется уехать из Провиденса, если эта история выплывает

наружу». Т. предлагает изменить имена и место действия, однако и сам не очень уверен, что ему удастся поменять Провиденс, скажем, на Саванну.

## 94

Впрочем, избрав местом действия дом Стефана Гопкинса, он уже внес в роман элемент вымысла! А может, и супруги Дорранс на самом деле вовсе не Дорранс? Правда, Провиденс остается Провиденсом.

## 95

*Мое влечение к Элизе довело меня до того, что ночью я иногда открывал дверь своей комнаты и в темноте ждал, не придет ли она. Может быть, она слышала скрип открывающейся двери и заметила, что вслед за этим повисала тишина? Комната, в которой спали Элиза и Уильям, расположена в том же коридоре, что и моя.*

## 96

*Цель моего первого выхода из дому — табачная лавка. Поскольку среди моих вещей, оставшихся в Доме Гарднера, были и трубки, а те, которые купил для меня Уильям, мне совсем не понравились, я настоял, чтобы мне разрешили самому купить себе несколько штук. Вот я и отправился как-то майским утром в табачную лавочку на углу Тэйер-стрит и Уотермен-стрит, а по дороге специально завернул в студенческий городок; там я то и дело останавливался и наблюдал бурление студенческой жизни, но так и остался неузнанным.*

## 97

*Вероятно, именно борода помешала студентам меня узнать. За зиму я отрастил настоящую бороду, которую подстригаю довольно коротко. Серьезный и бородатый, сижу я после обеда в гостинной темно-красного дома, читаю газету, смотрю телевизор или наслаждаюсь темперamentными руладами саксофона Пола Гонсалвеса в композиции «Mood Indigo» или «Come Sunday» — мои любимые пластинки из дискотеки Доррансов.*

## 98

*Иногда в комнату заходит Элиза; она останавливается подле меня и слегка дотрагивается рукой до моего плеча. В это время дня*

она обычно возвращается с теннисного корта в парке Блэкстоун и еще возбуждена игрой. От нее пахнет духами.

99

«Элиза»,—говорю я, не оборачиваясь. «Что случилось?»—спрашивает она своим грудным голосом, в котором, как я уже отмечал выше, сплавлены теплота и насмешка. «А ничего»,—отвечаю я.

100

Тем не менее я считаю почти невероятным, что Элиза сможет долго противиться моим домоганиям. Я сторонник того мнения, что ни одна женщина не упустит случая жить с двумя мужчинами сразу, коль скоро такой случай представится, и поскольку я не вызываю у Элизы физической неприязни... А медлит она потому, что догадывается: стоит ей уступить, и я перестану быть их пленником.

101

Когда у Доррансов гости, они просят Т. не выходить из его комнаты. У них есть еще летний домик на берегу полуострова Кейп-Код. «Там довольно пустынно,—говорит Элиза.—Но если тебя кто и увидит, это не имеет никакого значения».

102

На полуострове Кейп-Код мне работалось лучше некуда. К полудню обычно приходилось закрывать ставни, потому что дюны и море начинали светиться. И я невольно слышал тихую беседу моих стражей — Мецената и его супруги,—сидевших внизу в тени веранды.

103

Т. не раз возвращается к мысли написать роман от лица Уильяма. В этом случае получилась бы история научного эксперимента, то есть попытки Уильяма создать условия абсолютной и абстрактной свободы творчества. Предварительное название этой версии, которую Т. в конце концов отбрасывает, гласит: «Американская мечта».

*В душные лунные ночи на полуострове Кейп-Код мы все по примеру Элизы купались нагишом. Как-то раз, лежа рядом с ними в дюнах, я просунул ладонь между ее колен. Ей это, видимо, понравилось — она не отбросила мою руку; Уильям тоже не возражал.*

Т. окончательно разработал структуру романа. Первый набросок дает следующую картину:

1. Поездка по США.
2. Форт-Карне.
3. Воспоминание о Н.—о войне (ретроспекция № 1).
4. Прогулка по Провиденсу.
5. Исчезновение в Провиденсе.
6. Мотивы супругов Дорранс—I (ретроспекция № 2).
7. Жизнь в плену—I.
8. Мотивы супругов Дорранс—II (ретроспекция № 3).
9. Жизнь в плену—II.
10. Воспоминания Т. о жене—о послевоенных годах (ретроспекция № 4).
11. Жизнь в плену—III.
12. Мотивы супругов Дорранс—III (ретроспекция № 5).
13. Жизнь в плену—IV.
14. Полуостров Кейп-Код.
15. Концовка.

Как перед каждой новой большой работой, Т. раздражало, что такая жесткая схема втискивает его в рамки линейного повествования, не давая возможности переплавить различные временные уровни в единое время, время романа.

Я, пожалуй, позволю Т. немного повременить с решением вопроса, от чьего лица будет вестись рассказ. Сделать его самого рассказчиком или лишь лирическим героем автора? Могут ли меня испугать упреки в том, что я, словно бог-творец, создал его и вдохнул в него жизнь, и, следовательно, буду ли я прибегать к маскировке с помощью местоимения «я» или же спокойно воспользуюсь местоимением третьего лица единственного числа «он», полагая, что мои читатели как-нибудь разберутся и не наделят меня только за одно это атрибутами божества?



Относительно последнего пункта плана, то есть конца, наиболее уязвимого места любого романа, Т. на этот раз спокоен. (В противоположность повести и в особенности новелле или короткому рассказу роман не должен завершаться так называемым открытым концом.) Т. остается только решить, будет ли он писать роман в доме Доррансов (он считает, что ему понадобится для работы над ним от двух до трех лет) или же на свободе.

## 108

Итак, в один прекрасный день Т. кладет эту схему вместе с набросками отдельных глав в большой конверт из плотной оранжевой бумаги, который нашелся в письменном столе Уильяма, и пишет на конверте: To whom it may concern. Конечно, было бы правильнее, а по отношению к Доррансам и честнее, если бы он просто адресовал конверт своему издателю и обычным порядком сдал пакет в окошко почты на Кеннеди-плаза. Но он писатель и поэтому жаждет всего того, что неизбежно получится в результате этой мистификации: к дому Стефана Гопкинса подкатят полицейские джипы, вслед за ними появится телевизионный фургон, начнутся допросы, сообщения в прессе, интервью, фотографии — короче, скандал.

## 109

Во всей этой истории есть лишь одна заковыка: поскольку Т. описал вместо дома Дорранса дом Стефана Гопкинса, полиция окажется в полной растерянности, когда обыщет этот музей. Следовательно, Т. должен находиться в каком-то другом городе. Может быть, все же в Саванне? А Роланд Бартес в связи с этим происшествием заметит в одном из структуралистских журналов, что роман вполне логично использует для исчезновения Т. именно музей.

## 110

*После нашего возвращения с полуострова Кейп-Код я часто гуляю в красивейшей части Провиденса — в его Верхнем городе, который по-своему так же завершен и так же значителен, как Динкельсбюль или Сан-Джиминьяно. Теперь уже вряд ли можно сказать, что я лишен свободы передвижения. Правда, временами*

*Элиза еще делает слабые попытки напомнить мне о моем положении пленника — заслышав, что я выхожу из дому, она кричит мне вслед: «Смотри, как бы тебя не узнали!»*

## УТРО НА МОРЕ

Они решили, что во время отпуска будут рано вставать, чтобы приходить на пляж, пока там еще никого нет, но вместо этого спали долго и завтракали поздно. Дети вставали раньше, и сквозь сон было слышно, как они играют в саду за домом. Сад, собственно, был участком выкорчеванного леса, обнесенным проволоочной сеткой, с несколькими кустами на нем.

После завтрака его жена пошла с детьми, двумя маленькими девочками четырех и пяти лет, на пляж. Он наблюдал, как она укладывала большую красную пляжную сумку. На ней было короткое синее платье и полотняные туфли цвета ее выгоревших белокурых волос. Ее руки и ноги были покрыты загаром.

Плас-Гамбетта, с прилегающим к ней домом, который они снимали, трудно было назвать площадью, просто обширное песчаное пространство, поросшее соснами, где шли сейчас, направляясь к дюнам, его жена и дети. Сосны бросали на них светлые тени. Дети иногда поворачивались к нему и кричали что-то. Жена тоже обернулась и помахала ему. Большие темные очки делали ее и без того маленькое и суровое лицо еще меньше и суровее.

Он направился в дом за своей книгой. Дом был безвкусно обставлен новыми, изогнутыми металлическими стульями и мебелью с дешевой полированной фанеровкой. Все это стоило 1500 франков за три недели. Жене показалось слишком дорого, но он доказал ей, что они могут себе это позволить. Он был инженером по строительству подземных сооружений, служил в строительном управлении в Дортмунде. На эту свою отпускную поездку к Атлантическому побережью он потратил немногим более месячного заработка.

Установив зонтик от солнца таким образом, чтобы тот бросал на него тень, он опустился в шезлонг, стоявший перед домом. Он предпочел бы провести свой отпуск не на морском курорте, поскольку из-за повышенной чувствительности кожи не мог проводить весь день на пляже. Да и скучно было долго лежать на песке, подстелив купальную простыню. Ему докучали песчинки и солнце, он постоянно ворочался, без конца вскакивал и бесцельно слонялся по пляжу. Только купание доставляло удовольствие. Но жена любила морские курорты, море, похоже, и девочкам

ничего другого не нужно было.

Еще не начав читать, он понаблюдал за французами, шедшими через площадь к пляжу. Они появлялись семьями или целыми компаниями. Одиноких прохожих не было, как, впрочем, и супружеских пар. Манера французов держаться была увереннее, голоса резче, чем у немцев. Они были нацией. Его радовало, что мысль о принадлежности к какой-либо нации редко приходила ему в голову. Французские дети, проводившие каникулы в летних лагерях здесь в лесу, распевая, стайками тянулись через Плас-Гамбетта.

Он читал книгу о катарах<sup>1</sup>. Тема этой ереси заинтересовала его после того, как он посмотрел по телевизору научно-популярный фильм о культовых местах катаров на юге Франции. Катары признавали существование зла; они верили — по-видимому, верили, ибо были полностью истреблены, — что мироздание — это творение не бога, а сатаны. Он думал: если бы я был верующим, я стал бы катаром. Он взял эту книгу с собой, узнав, что морской курорт, куда они направлялись, расположен в тех местах, где в давние времена господствовала катарская вера. Но, поездив по округе, он не обнаружил ничего напоминавшего об этом прошлом. Возможно, ему следовало бы обратиться к краеведу, но и он, и его жена слишком плохо говорили по-французски.

Он прочел всего несколько страниц — никак не мог сосредоточиться. Небо над верхушками сосен было слишком ярким, слишком голубым, слишком плоским. Да и отдыхающие — молодежь на своих велосипедах, автомобилисты — не соответствовали теме. Он прошел в дом, выпил, хотя и не испытывал жажды, стакан минеральной воды, сел за обеденный стол, подтянул портативную пишущую машинку и написал письмо в свой банк, ибо не успел оплатить счета перед отъездом. Ему необходимо было оформить следующие счета: 231 марка 50 пфеннигов за свет и электроэнергию во втором квартале 1970 года, 4880 марок — проценты по закладной плюс платежи в счет погашения долга за дом в одном из районов на окраине Дортмунда, 115 марок 20 пфеннигов за техосмотр машины («фольксваген-1500», прошедший 25 000 км), 72 марки 80 пфеннигов за телефон и несколько небольших выплат в рассрочку. Дольше всего раздумывал он о доме. Чтобы приобрести его, взял ссуду

---

<sup>1</sup> Катары — приверженцы ереси, распространившейся в Западной Европе в XI—XIII вв. Катары проповедовали аскетизм, личную собственность считали грехом, выступали против феодального гнета, обличали пороки католического духовенства. В XIII—XIV вв. были истреблены инквизицией.

размером в 80 тысяч марок под 8 процентов годовых и каждые полгода платил 3200 марок и еще 2000 в счет погашения долга. (Таким образом, сумма хотя и незначительно, но уменьшалась постепенно.) Три года назад, когда он принял решение купить дом, жена отговаривала его, но он подсчитал, что если рассматривать проценты как квартплату, то в месяц они будут платить только 533 марки, а, к примеру, после двух лет погашения долга в рассрочку—только 480 марок. Да, сказала она, но ведь из-за процентов ты заплатишь в общей сложности больше стоимости закладной, тем самым дом обойдется по меньшей мере вдвое дороже. До замужества его жена была секретаршей.

Он заполнил счет, написал адрес на конверте и запечатал его. Он гордился тем, что регулярно оплачивал все счета из сбережений от своей зарплаты. Он вообще гордился собой, гордился своей совершенно упорядоченной жизнью. Несмотря на то что он учился только в техническом училище, а не в инженерно-техническом институте, ему все же удалось получить самостоятельную должность в городском строительном управлении. Когда-нибудь его примут и в государственное учреждение. После экзаменов он несколько лет проработал в частных строительных фирмах, однако их безудержная погоня за барышами вызывала у него отвращение, он инстинктивно стремился к надежности. Он был убежден, что строительство, к которому он причислял и ипотечные банки, должно по образу и подобию железных дорог и почты стать большим государственным учреждением. Именно по этой причине он и вступил в социал-демократическую партию. И хотя планы партии не предусматривали ничего подобного, он со своими мыслями чувствовал себя в ее рядах спокойно.

Сняв брюки, он надел плавки, потом опять брюки, запер дом и в сандалиях на босу ногу пошел к пляжу. С высоты дюны он, как всегда, с удовольствием отметил, насколько велик пляж: даже в разгар сезона он не был заполнен. Отдыхающие образовывали свободные, постоянно меняющиеся соединения-островки из тел и зонтиков, но желто-белое пространство между ними оставалось пустым, таким же пустым оно уходило на юг и на север, за горизонт из светло-серой водяной пыли. Сегодня море надвигалось длинными, катящими на большом расстоянии друг от друга валами, высоту пенистых гребней которых он не мог определить сверху, но, по всей видимости, они были не опасны, так как спасатели укрепили на мачте рядом со своим домиком зеленый флажок, разрешавший купание. Он на секунду сдвинул на лоб темные очки, чтобы определить настоящий цвет моря: оно представляло собой сплошную стальную массу, в сущности, бес-

цветную под матовым небом, таким же пустым и ничего не значащим, как детские голоса, доносившиеся с пляжа.

Жену и детей он нашел на обычном месте под голубым зонтом, взятым напрокат. Обе девочки радостно вскочили, увидев его; потом он прогуливался с ними около получаса, помогая им собирать ракушки. Когда они вернулись, жена лежала на солнце. Раздевшись, он сел в тень зонтика. Они побеседовали вполголоса о детях и об отдыхающих, сидевших и лежавших неподалеку. Ему было тридцать пять, родился он в 1935-м. Со своей женой он был знаком семь лет, значит—с 1963-го, поженились они пять лет назад, сейчас ей тридцать. Она сохранила стройную фигуру, цвет ее волос тоже не изменился: выгоревшие белокурые пряди, собранные в «конский хвост», падали на ее загорелую спину. Однажды он прочел где-то, что французы называют женщин с такими волосами «Fille aux cheveux de lin»<sup>1</sup>, а потом услышал по радио фортепианную пьесу Дебюсси с таким же названием. Он обзавелся пластинкой с этой записью, и некоторое время они довольно часто слушали ее вместе. Он решил, что, вернувшись домой, найдет пластинку и снова проиграет ее.

Она уже искупалась, так что он направился к воде без нее, девочки побежали следом. Он миновал спасателей, двух полицейских из Тулузы, прошедших курс спасения утопающих. Они стояли, как всегда—неподвижно, скрестив руки, и смотрели на море, два безмозглых идола. Один из них сказал ему: «Attention, monsieur!»<sup>2</sup> Он обернулся, заметил, что уже вывешен желтый флажок, призывавший купающихся к осторожности, и кивнул. Девочки остались у первых пенистых гирлянд.

Он видел, что первая—или последняя!—волна обрушивалась далеко впереди с гигантской высоты, и решительно двинулся к ней, сегодня он непременно хотел поплавать. Правда, развевающийся желтый флажок запрещал купание. Но у него уже был некоторый опыт, он уже немного изучил эти волны и купание в волнах, он знал, что, преодолевая их, нужно под них подныривать. Некоторое время он наблюдал за волной, за тем, как высоко вздымается она над ним. Потом, когда ее масса в очередной раз поднялась, он, вытянувшись, толкнулся в зеленую толщу, на секунду почувствовав ее тяжесть, затягивавшую в море, но тотчас сумел освободиться. И приготовился встретить вторую волну, пробил и ее и очутился в открытом море, которое

---

<sup>1</sup> Девушка с льняными волосами (франц.).

<sup>2</sup> Осторожнее, мсье! (франц.)

уже не сулило ему особых затруднений. Старательно загребая, он позволял волнам поднимать себя из глубоких впадин на самые гребни. Он знал, что опасность снова возникнет, когда он повернет к берегу, и, чтобы оттянуть это мгновение, плыл все дальше на запад. Он пробовал прикинуть, как ему справиться с силой откатывающих от пляжа волн, но так ничего и не решил.

Здесь, в открытом море, волны превращались в мертвую зыбь, с их высоты пляж выглядел узкой полосой, тонкой дрожащей горизонталью из зонтов и теней, он был очень далеко отсюда. Он повернул назад и был крайне удивлен, когда еще в открытом море, задолго до зоны прибоя, его ударила в спину волна с опрокидывающимся гребнем и швырнула в водоворот своего распада. Он слегка захлебнулся, высвободился, но только для того, чтобы узнать, что над ним нависла новая гигантская стена. Она придавила его, и он с ужасом почувствовал, что его тело начинает вращаться. Он потерял ориентацию, один раз даже ощутил песок морского дна, а потом вокруг него была только вода, текучая тяжесть, его глаза наполнились цветом Зелени.

## БЕГСТВО В ЭТРУРИИ

### 1

От нечего делать они обошли по кругу всю просторную, лишенную малейшей тени площадь. Собор на них особого впечатления не произвел. А падающая башня вызвала лишь ухмылку. Вернер сказал:

— Потрясающе!

В такую жару кители сдавливали грудь, точно тисками.

— Теперь бы сидеть в кафе у нас в Аальборге, лопать сбитые сливки и слушать, как за окном стучит по асфальту дождь,— размышлялся Эрих.

Родом он был из Гольштейна. Их дивизия прибыла сюда из Дании три дня назад. Но пятац Кавальери, обрамленная тесно прижавшимися друг к другу покинутыми домами шоколадного цвета, пришлась им обоим по вкусу. Пиза почти совсем обезлюдела. На берегу Арно высились груды развалин—следы бомбардировок.

— Флоренция куда красивее,— заметил Вернер.— Холмы там как бы сжимают город в объятиях. Всё там богаче, компактнее, уютнее. А здесь как-то разбросано по плоскости и лежит как на

ладони. Правда, это тоже очень красиво. В тридцать четвертом я побывал во Флоренции. Тогда на мне был штатский костюм песочного цвета, и я мог разгуливать, засунув руки в карманы. Десять лет прошло с тех пор. Теперь мне уже тридцать. Жаль все-таки, что нам нельзя вместе пошляться по Италии,— продолжал он некоторое время спустя.— Да уж ладно, скоро вся эта заварушка кончится.

Эрих только молча кивнул. Углубившись в тенистый переулок, они вдруг слышали звуки джаза, доносившиеся из винного погребка. Они вошли. Оказалось, играл оркестрион. Полутемное помещение напоминало узкий и длинный пенал, в глубине за столиками сидели итальянцы и громко о чем-то спорили. Вернер и Эрих остановились у стойки недалеко от входа. На полках поблескивали бутылки.

— Что есть из выпивки?—спросил бармена Вернер.

— «Чинзано», «Алеатико», белое, красное.

— Два «Алеатико»,—сказал Вернер.—Я его никогда не пил. Обязательно надо разок попробовать. А лучшее вино у них тут, в Италии,—это, конечно, «Орвьето сладкое»,—продолжал он, обращаясь к Эриху.—Вот было бы здорово, если бы наш путь на фронт проходил через этот самый Орвьето. Ну и городок, скажу я тебе! На самой верхотуре. Добираются туда по узкоколейке с зубчаткой между рельсами. Домики там все как один серые, горные склоны вокруг сплошь в оливковых рощах и потому серебристые, а в центре высится белоснежный собор. Вот там во всех погребках есть это вино.

Они выпили несколько стаканов «Алеатико»; темно-коричневая жидкость оказалась сладковато-терпкой и маслянистой на вкус. Потом зашли за своими самокатами во двор комендатуры и отправились в обратный путь. На широком бетонированном шоссе Пиза—Флоренция было довольно оживленно. Толпы местных жителей—кто пешком, кто на велосипеде, кто на крестьянской телеге—буквально запрудили всю дорогу. Время от времени Вернера и Эриха обгоняли армейские грузовики. На боковом шоссе, ведущем в Риполи, где стоял лагерь их эскадрон, они увидели замаскированные ветками дивизионные самоходки. В саду одного из домов на самой окраине Алекс возился со своим снаряжением. Он их окликнул.

— Уходим сегодня, как стемнеет,—сообщил он, когда они спешили.—Началось. Скорее всего—двинем на Неттуно. Видать, дело там дрянь. Нам положено прибыть туда через неделю. А тебе велено явиться к командиру,—добавил он, обращаясь к Вернеру.—Вы с ним поедете вперед, ты—за переводчика.

— Слушаюсь, господин унтер-офицер,—вытянулся Вернер.

— Чтоб я больше не слышал от тебя этого дурацкого обращения,—взорвался Алекс.—Для вас обоих я по-прежнему Алекс. Другое дело—при посторонних. Служба есть служба.

— Слушаюсь, господин унтер-офицер,—ухмыльнулся в ответ Вернер.—Надеюсь, американцы успеют проскочить через Нетту-но раньше, чем мы туда заявимся.

— Мне ты можешь это сказать,—процедил Алекс и пристально взглянул на Вернера. Он был высок, темноволос и смугл от загара. На его кителе красовался Железный крест.

— Знаю,—ответил Вернер с улыбкой, как бы не замечая этого сверлящего взгляда.—Потому что это и есть наш шанс,—добавил он, кивнув в сторону Эриха. Сняв пилотку, Эрих отступил на шаг от Вернера и молча стоял, глядя на шоссе. Его светлые волосы взмокли от пота, мальчишеское лицо побледнело и осунулось. Лицо Вернера, наоборот, покраснелось, щеки пылали. Кожа Александра по-прежнему светилась ровным шоколадным загаром.

Вернер и Эрих вскочили на самокаты и въехали в селение. Во всех дворах суетились однополчане: кто снимал палатки, кто свертывал полотнища и укладывал их кольцом вокруг котелка. Когда мимо проходили девушки, они отрывались от работы и долго глядели им вслед. Одеты девушки были ярко и вызывающе—юбки не доходили до колен, а блузки и пуловеры с предельной откровенностью обрисовывали грудь. Черные волосы свободно ниспадали на плечи. Эти ядреные, светлолицые и большеглазые горожанки были студентками Пизанского университета,—здесь, в сельской местности, они спасались от бомбардировок. Взявшись под руки по трое, по четверо, девушки спокойно дефилировали мимо солдат.

Вернер и Эрих расстались перед тракторией, где размещалась штабная команда их эскадрона.

— Махну-ка я сразу к шефу,—сказал на прощанье Вернер.—А ты, парень, не унывай. Отсюда до линии фронта не меньше четырех-пяти ночей. А к тому времени и фронта никакого не будет. Повезло, лучше и впрямь не придумаешь.

— А я и не унываю,—откликнулся Эрих.—Просто хочется, чтобы все это скорее кончилось.

Он свернул в сад, ведя самокат за руль. Когда Эрих скрылся за оградой, проем двери, ведущей в тракторию, в резком свете жаркого июньского солнца показался Вернеру черной дырой. Из-за ограды слышались голоса, звяканье металла. Вернер пока-тил по улице дальше и нашел командира эскадрона в саду дома,



где тот квартировал. Он сидел за круглым садовым столиком в обществе «капитано», как здесь именовали старосту селения. Командир у них был темноволосый и жилистый красавчик, только ростом не вышел.

— Срочно собирайтесь в дорогу, Ротт, мы с вами тронемся раньше остальных,—сказал он Вернеру.—Нужно найти место для стоянки эскадрона километрах в шестидесяти отсюда.

— Слушаюсь, господин обер-лейтенант!

— А сейчас переведите «капитано», что я благодарю его за гостеприимство, оказанное здесь моему эскадрону.

Вернер обменялся со старостой несколькими фразами по-итальянски. В прошлом солдат колониальных войск, старик казался ссохшимся и как бы изъеденным временем; но лицо у него было приветливое, а волосы седые и будто приклеенные к черепу. Потом Вернер перевел командиру ответ старосты.

— Старикан — мужик что надо,—одобрительно отозвался тот.

— Он много лет воевал в Триполитании,—сообщил Вернер.

— Среди итальянцев попадаются и классные вояки,—заметил обер-лейтенант.

Все с тем же приветливым и в то же время строгим и отсутствующим видом «капитано» неотрывно глядел на густую листву каштанов, росших в его саду. Вернер козырнул и вывел свой самокат на улицу.

Возле церкви он соскочил с седла и вошел в дом священника. Экономка провела его в комнаты. Как-то раз Вернер долго беседовал с хозяином дома, после чего тот показал ему церковь. Теперь Вернер сообщил священнику, что эскадрон уходит, и достал из кармана связку ключей. Они вместе направились в ризницу. Священник отпер дверь, ведущую в неф,—с тех пор как в их селении стояли солдаты, он держал церковь на запоре. Внутри было светло и прохладно, гладкие серые стены дышали строгостью, и лишь несколько алтарей эпохи Ренессанса нарушали это впечатление. Перед главным алтарем священник опустил-ся на колени и сказал Вернеру:

— Мы будем молиться, чтобы вы вернулись с войны в добром здравии. И еще—за ваших близких. Вы женаты?

Вернер отрицательно покачал головой.

— Но мать у вас есть?

Вернер кивнул и тоже опустился на одно колено: просто неловко было, что старик стоит на коленях один. Нечаянно задев сутану, он отдернул руку и никак не мог заставить себя сосредоточиться на молитве, все время думал: как все это странно! Потом оба вышли, и Вернер пожал священнику руку.

По дороге в trattoria он зашел еще в «дом антифашистов». «Капитано» показал ему этот дом сразу же, как только эскадрон вошел в селение, и просил обходить его стороной. Он сказал тогда: «Здесь живут враги войны и правительства». И Вернер тотчас подъехал к дому, сообщил живущим в нем людям, что никого не пошлет к ним на постой. Этот дом, окруженный огромным садом, казался вымершим. Жили в нем два торговца из Пизы со своими семьями. В прихожей, столкнувшись с Целией, он сказал, что их часть уходит; она поглядела на него с жалостью и быстро-быстро перекрестила его грудь. Останься мы здесь подольше, я бы, наверно, когда-нибудь поцеловал ее, подумалось Вернеру. Войдя в общую комнату, он попрощался с остальными жильцами. Все оживились и заговорили наперебой, желая ему счастья и уверяя, что война скоро кончится. Оказавшись опять в прихожей, он увидел, что Целия стоит и ждет его. Она протянула ему корзиночку вишен на дорогу. Он поцеловал ей руку и ощутил близость ее густых и блестящих черных волос и бледного миловидного лица.

Когда Вернер вернулся в сад при trattoria, находившиеся там уже закончили со сборами и всем скопом набросились на вишни, подаренные Целией. Было слышно, как за оградой подтягивались к trattoria приданные эскадрону машины.

## 2

Свечи кипарисов, за которыми скрылась последняя машина второго эскадрона, грузовик марки «пежо», казались более черными, чем кроны каштанов. Но лента шоссе ярко сверкала в лунном свете, а земля вокруг—это была южная часть долины Арно—тускло поблескивала, словно засыпанная горячим лунным пеплом. Каменистое дно высохшего русла реки выделялось на ней своей меловой белизной. Вернер стоял на мосту и курил. Заляпанную глиной каску он прицепил к поясу и снял с плеча карабин. Огонек его трубки был как живой—то разгорался, то потухал. Издалека до Вернера доносился глухой и ровный рокот: это колонны машин двигались по прибрежному шоссе—древней Аврелиевой дороге. Эскадрон должен был с минуты на минуту прибыть на место. Обер-лейтенант привез его сюда, навстречу своим, после того как место для дневной стоянки было выбрано, а сам опять вскочил на мотоцикл и исчез в южном направлении.

Настанет когда-нибудь такая ночь, подумал Вернер, когда я буду совершенно один и мне не нужно будет никого ждать. Один, окончательно и бесповоротно. Одинокий и свободный. Недосага-

емый для законов и приказов. Затерянный в ночи и глухих зарослях свободы. Осторожно пробирающийся сквозь высокую траву меж скал и деревьев. Снова играю в индейцев. Надо мной облака. Глухие выкрики где-то вдали. Вжимаюсь в землю. Прислушиваюсь. Цветы. Сон под открытым небом на склоне поросшего дроком холма. Ручеек. Тупой взгляд затравленного зверя. Ночь, день, еще ночь. Почему знать? Может, ночи и дни свободы окончатся новым пленом? Так возникает надежда на спасение.

Не так уж я одинок. У меня есть Эрих. Он молод, белобрыс и свободен. И у него светлое лицо мечтателя. Правда, свободен он лишь в мечтах, когда они, словно чайки, стремительно проносятся над запрудой где-то там, в глуши провинции Гольштейн, под тяжелым, перенасыщенным влагой небом, над прибрежной полосой, поблескивающей зеркальцами луж. Далеко-далеко от здешних кипарисов, змей и мраморных богов. Эти их обнаженные боги, такие обнаженные и такие земные, такие прекрасные и такие высокомерные! Эрих наверняка пойдет со мной. Италия! Что такое для нас сейчас Италия? Один миг свободы для людей, зажатых между законами этих и тех.

Он уже издали слышал их приближение—голоса, смех, чей-то выкрик, звяканье металла, шорох шин. Фельдфебель, ехавший во главе колонны, крикнул ему:

— Что случилось? Сколько нам еще трястись?

Эскадрон за его спиной остановился. Фельдфебель был пьян, унтер-офицер, ехавший с ним рядом,—тоже, в отделении связи, следовавшем за ними, все как один трезвые. Вернер видел, как Эрих выпрямился в седле, упершись длинными ногами в землю.

— Еще пятьдесят километров, господин фельдфебель,—сказал Вернер.—Сейчас будет поворот на Аврелиеву дорогу.

— Куда-куда?

— Ну, на прибрежное шоссе. Император Марк Аврелий некогда проложил тут дорогу. А теперь это современное бетонированное шоссе. Эскадрон делает дневную стоянку в пятистах метрах за населенным пунктом Рави. Вместо мостов—объезды; где именно—укажет военная полиция. Потому что все мосты полетели к чертям собачьим.

— Пропади все пропадом!—сплюнул фельдфебель.—Что ж, у нас уже и самолетов нет? Значит, ждем дальше. А вы, Ротт, снимите с грузовика свой самокат и выезжайте вперед.

Он подал знак продолжать движение.

Было приказано ввести на время марша так называемые «облегчительные меры». Поэтому все снимали каски, расстег-

нули кители и закатали рукава. И когда солдаты проезжали мимо него, он отчетливо видел их лица, их волосы. При ночном освещении волосы у всех казались одинаково темными, а лица — матовыми; выделялись лишь совсем светлые блондины — у тех волосы прямо-таки серебрились в лунном свете. Ехали все с одинаковой скоростью, лишь время от времени кое-кто вырывался вперед и потом тормозил. Лица у всех были застывшие, глаза уперлись в одну невидимую точку; но усталости пока заметно не было. Командиры взводов и унтер-офицеры, пьяные в стельку, ехали хоть и быстро, но зигзагами, иногда на всю ширину дороги, однако в последнюю секунду все же успевали отвернуть, чтобы не свалиться в кювет. Солдаты сохраняли дистанцию между собой и пьяными командирами, но так, чтобы колонна не прерывалась. Алекс не был пьян и держался в седле подчеркнуто прямо; проезжая мимо Вернера, он небрежно ему кивнул. Замыкали колонну два грузовика и санитарный фургон, ехавшие на малых оборотах. Вернер махнул одной из машин — той, что везла полевую кухню, — она притормозила, и ему выдали его самокат и боевое снаряжение. Несколько минут он опять провел в полном одиночестве посреди дороги — пока пристегивал снаряжение к багажнику и проверял шины. Все оказалось в полном порядке. Он вскочил в седло и с удовольствием ощутил под собой толчки вращающихся колес. Но вскоре заметил, что эскадрон движется довольно быстро — чтобы догнать, приходилось изо всех сил жать на педали. Когда голова колонны повернула на шоссе, он подъехал к Алексу.

Навстречу им по древней Аврелиевой дороге волна за волной откатывались отступающие части. Полная луна превратила Лигурийское море в огромный, отливающий серебром щит. Только ночью бывает такой молочно-белый призрачный свет. На этом молочном фоне, подернутом лунным серебром, там и сям сереют огромные и плоские пятна тени; зато под деревьями, где держится густой и пряный аромат акаций, тень такая плотная, что кроны деревьев кажутся тронутыми ультрафиолетом.

Но полнолунное и благоуханное отступление бешено мчалось по шоссе, по древней Аврелиевой дороге, не замечая ни луны, ни туч, ни пыли, окутавшей колонны, — оглушительный рев моторов, пронзительный, режущий ухо скрежет танковых гусениц, летящие по ветру волосы танкистов, с непокрытой головой стоящих в башенных люках своих машин. В этих летящих по ветру и пронизанных лунным светом волосах, в этих лицах, мрачно глядящих на север, в приглушенных пылью звуках команд задохнулся, развеялся в воздухе пыльный триумф, бледно-молоч-

ный и зыбкий триумф Южной армии, потерпевшей поражение.

— Это «тигры»,— на ходу бросил Вернер Алексу, вписавшись в призрачное скольжение согбленных фигур, в едва уловимый среди общего грохота перестук колес своего эскадрона. Тот кивнул, на миг обернув к Вернеру свое белое от луны и пыли лицо с резкими тенями под носом и подбородком, кивнул и показал глазами на луну, стоящую в зените.

— «Тигры»,— повторил Вернер и добавил:— И самоходки, и мотопехота, и противотанковая артиллерия, и саперы, и пехотные орудия.

Каски, висевшие на рулях самокатов, тихонько позвякивали на фоне мягкого шелеста шин, на фоне общего равномерного и призрачного скольжения эскадрона, овеваемого ароматом акаций и ехавшего навстречу колоннам, которые с грохотом отступали вдоль волшебного светящегося моря.

— Полный разгром,— обронил сквозь зубы Алекс.

— Эта война здесь, на юге, вообще веселенькое занятие,— откликнулся Вернер.— Жаль, что вскорости мне придется выйти из игры.

— Сколько дней у тебя в запасе?— спросил Алекс.

— Три-четыре.

— Надеюсь, все пройдет благополучно.

— Я в этом даже уверен.

Перед разрушенными мостами шоссе обрывалось. Проселки слева и справа успели уже превратиться в длинные объездные дороги, разъезженные и разбитые огромными, тяжелыми машинами, изрытые глубокими гусеничными колеями, обнажившими серовато-белую жесткую землю засушливых пастбищ; проселки вели то в сторону гор, то ближе к морю, то вдоль каменистых русл пересохших речушек или мимо безжизненных хуторов, но так или иначе пробирались к временным мостам, сооруженным из подручного материала. Кто-то из самокатчиков свалился в воду, послышалась брань, строй распался, двигавшиеся навстречу колонны тоже разделились на отдельные группы, каждый пробирался в одиночку. Вернер с Алексом проехали мимо батареи, расположившейся на отдых тут же, у самой дороги, даже не разложив костра,— одни спали вповалку прямо на земле, залитой лунным светом, другие курили в тени деревьев. Потом оба окунулись в толчею и давку на мосту, вынырнули из нее уже на другом берегу и увидели множество проселков, расходящихся во все стороны.

— Держитесь правее!— сказал им полевой жандарм с нагрудной бляхой.

И вдруг они остались одни. Кругом только ровное поле и тишина. Еще и светло, почти как днем.

— И все же ты со мной не пойдешь?—спросил Вернер.

— Ни в коем случае,—отрезал Алекс.—Не может быть и речи. И больше меня не спрашивай.

— Дело ведь пахнет керосином,—возразил Вернер и принял-ся тихо насвистывать себе под нос. Теперь они шли пешком, ведя самокаты за руль.

— Надо уходить, как ты,—ответил Алекс.—То есть с легкой усмешкой. А кто так не может, лучше не суйся.

Всерьез заблудиться здесь было нельзя. Все время слышался шум с шоссе, так что в любую минуту можно было повернуть в ту сторону. И все же они оказались вдруг одни, совсем одни среди полей и пастбищ, деревьев и кустов. Потом они увидели белую дорогу. Она огибала каменную ограду, за которой виднелись высокие кипарисы и пинии.

— Представь себе, мы с тобой могли бы здесь остаться,—начал Вернер.—За этой стеной наверняка усадьба или небольшой замок. Мы бы постучались и попросили разрешения переночевать. Нам отвели бы большую пустую комнату. В итальянских усадьбах всегда много пустых запущенных комнат с каменным полом и давно не топленным камином. На кроватях там вместо матраца мешок с сеном, а окна огромные, во всю стену. В таких комнатах всегда крепко спишь и видишь сны под тихое потрескивание растущих возле дома пиний. А завтра мы бы тронулись дальше, в Сан-Джиминьяно или Вольтерру. Пили бы вино, глазели на картины и болтали с девушками.

Каменная стена сияла в лунном свете. Небо казалось темно-синим и в то же время прозрачным куполом с блеклым расплывчатым пятном вокруг луны. Стена манила своей затерянностью в пространстве, своей явной покинутостью. Над воротами свешивалась густая путаница ветвей, выбившихся из крон растущих за стеной каштанов.

Они поехали по белой дороге в сторону шоссе.

— Но Эриха оставь в покое,—сказал Алекс.—Он еще слишком молод.

— Не оставляю. Парня я вам не отдам,—закусил удила Вернер. Впервые в его обычно мягком, бархатном, уклончиво-ироничном голосе зазвенел металл.

— Да разве ты сам не видишь, что он вовсе не хочет? Он еще слишком молод. Попросту не созрел для того, что ты затеял,—сказал Алекс.

— Он бы хотел,—возразил Вернер.—И ничуть бы не коле-

бался. Если бы ты пошел с нами, он бы не колебался.

— Не могу. Ты требуешь от меня невозможного.

— Мне бы тоже хотелось «не мочь»,—с горечью заметил Вернер.—Это прекрасно, лучше некуда. Быть своим среди своих. Делать общее дело. Чувствовать себя частью целого...

— Заткнись!—Алекс метнул в него злобный взгляд. Оба энергичнее заработали ногами. Они держались так плотно, что на ходу едва не задевали друг друга локтями.—Сам знаешь, что я не чувствую себя частью этого целого. Но мой долг—остаться с ними. Кому-то ведь надо остаться.

— Но не Эриху!—выкрикнул Вернер.—Хотя бы его одного я у вас отберу. Не вижу причин оставаться в одиночестве.

— Делай как знаешь,—подвел черту Алекс. В эту минуту они увидели выезд на шоссе и свой эскадрон, подтягивающийся к перекрестку в клубах пыли и грохоте. Алекс и Вернер тут же разъехались в разные стороны. Вернер направился в голову колонны. Кивнув Эриху, он скосил глаза на шоссе и процедил сквозь зубы:

— Видишь сам, что творится!

— Да, уходят все поголовно,—тихо ответил Эрих.—Наверно, нас для того и выдвигают вперед, чтобы прикрыть отступление.

— А ты заметил, что наши самоходки остались в Риполи?—не отставал Вернер.

— Тяжелое оружие хотят, видимо, приберечь.

— Зато нас посылают с карабинами против «шерманов»,—до шепота понизил голос Вернер.—И выгрузят нас в Карраре, потому что в Центральной Италии все железные дороги разрушены. Нам придется двигаться своим ходом, причем ночью, днем немецким солдатам лучше на шоссе не показываться.

Эрих ничего не ответил—в этот момент как раз дали сигнал трогаться. Под утро движение на шоссе улеглось. Оно как бы заснуло. Эскадрон катил мимо застывших танковых колонн. Молчаливые танки стояли в ряд вдоль обочины. На рассвете их отведут куда-нибудь в рощу, где они и простоят до темноты. Один раз самокатчики обогнали пехотное подразделение. Солдаты устало брели, едва передвигая ноги, строя и в помине не было; потные от натуги, они тащили на спинах все свое снаряжение, угрюмо глядя себе под ноги, и ругань, вспыхивавшая в их гуще, гулко разносилась в ночном воздухе, все еще пронизанном лунным светом. Луна теперь низко висела над морем и слегка серебрила вершины далеких гор. На эскадрон навалилась тяжкая усталость, унтер-офицеры и фельдфебели давно протрезвели. А там, наверху, в ночном небе, то и дело

слышался рокот авиационных моторов. Колонна переживала под деревьями, пока рокот не удалялся. Но самолеты и не думали снижаться—они летели дальше, на север.

Вдруг стало очень темно. Едва не засыпая на ходу от усталости, они тупо тащились на своих самокатах все вперед и вперед. Наконец на востоке вынырнула светлая полоса. Проехав селение Рави, они увидели, что на обочине стоит обер-лейтенант Витте и рукой указывает на боковую дорогу, ведущую в сторону большого соснового леса. Деревья встретили их гробовым молчанием. Не было ни малейшего ветерка, который расшевелил бы вершины пиний и заставил их заговорить.

### 3

Под вечер Вернер проснулся и поглядел вокруг. Все спали. Расстелили на земле плащ-палатки и спали мертвецким сном. С самого утра лежали они не двигаясь, лишь в полдень нехотя поднялись и побрели к полевой кухне. Но в такую жару суп никому не полез в горло; проглотив по две-три ложки, они вяло поплелись обратно. Нынче ночью многие скovyрнутся, подумал тогда Вернер, не тем кормят. Дать бы им сейчас печенье, шоколад и фрукты—съели бы за милую душу. Похлебав перлового супа, в котором плавали кусочки мяса, все опять завалились спать. Лежа под деревьями удушливо жаркого соснового бора, они хрипло дышали, ловя воздух широко открытым ртом. Оглядевшись, Вернер заметил, что даже часовой уснул. Прислонясь спиной к сосновому стволу и слегка согнув в коленях ноги, он спал крепким сном. Вернер поднялся, подошел к нему и разбудил.

— Не глупи!—сказал он.—Вот шеф засечет, угодишь под трибунал.

Еще плохо соображая со сна, тот что-то буркнул себе под нос и поправил за спиной карабин.

Вернувшись на свое место, Вернер увидел, что глаза у Эриха открыты.

— Давай оглядимся немного,—шепотом предложил Вернер.

Эрих кивнул и легко вскочил на ноги. Они осторожно пробрались между телами спящих. Пинии отбрасывали очень прозрачную кружевную тень, их кроны, словно мелкий фильтр, пропускали свет, задерживая внизу жару, удушливую, как в парилке. Огромные стволы раскинули высоко над землей могучие шатры из игольчатых лап, сквозь которые проглядывало голубое небо; но в просветы между стволами, словно в ячейки громадной



сети, нестерпимо палило солнце. Все, что было в лесу живого, стало по земле. Вернеру вспомнились сосны, которые писал Сезанн,—яркие, прохладные стволы, овеваемые чистым дыханием моря и светлые, как мысли. Здешний лес тоже дышал благородством и чистотой и в то же время казался сетью, жаркой сетью, брошенной им на свое подножие, насыщенное миазмами.

Было очень тихо; они видели у себя под ногами то скопище муравьев, то диких жуков, а то и ящерицу, скользнувшую в заросли падуба, прочертив на песчаной тропинке извилистый след. Они шагали сквозь ядовито-зеленые заросли папоротника на местах, открытых палящему солнцу, ныряли в тенистые кусты, где ветви лавра, цепляясь, карабкались вверх по стволам, охраняя созданным ими полумраком нежное цветение шиповника. У зарослей красавки, усыпанной ядовитыми плодами, Вернер остановился, сорвал одну голубовато-серую ягоду и раздавил ее пальцами. Эрих поглядел на него с отвращением и проронил:

— Придется потом как следует вымыть руки!

— Не так страшен черт, как его малюют! — отшутился Вернер.

Внезапно дорогу им перерезал широкий ров, на дне которого блестела вода. Оба остановились как вкопанные, и Вернер воскликнул:

— Вода! Будем купаться!

Вид спокойной воды миг заставил забыть обо всем: о лесе, об эскадроне, о войне. Ров густо порос камышом, а вдоль него тянулась песчаная насыпь. Двинувшись по ней, они вскоре вышли на открытое место. Ров расширился и распался на множество прудов с бухточками, тоже заросшими камышом — высоким, в рост человека, широколистным и ярко-зеленым камышом, который покачивался над серо-зеленой гладью воды под горячим небом итальянского лета. Дойдя до конца насыпи, они оглядели залитую солнцем равнину, упиравшуюся в невысокие горы — скорее не горы, а холмы. У берега они заметили старую, посеревшую от времени барку; ее голая мачта врезалась в голубое небо прямой стрелой, слегка выгнутой на конце. Острова воды, разбросанные вокруг, были, вероятно, следами старого русла реки, протекавшей в глубине долины. Здесь тоже было тихо и жарко, но в звенящем воздухе висел запах стоячей воды и высушенной солнцем древесины, а лес был так далеко, что казался уже голубоватым.

Они залезли в барку и, раздевшись догола, на миг замерли, нежась в пронизанном солнечными лучами воздухе, а потом разом скользнули в воду, инстинктивно стараясь производить как

можно меньше шума. Вода была теплая, как парное молоко, но все же немного освежала. На них вдруг нашло какое-то бездумно-веселое настроение, они словно ощутили себя соучастниками некой лихой авантюры.

— Не принесла бы кого-нибудь нелегкая,—буркнул Эрих.

Они поплавали в озерце, то и дело попадая в камышовые заросли и срывая кувшинки, стебли которых, длинные и скользкие, как черви, извивались в воде и липли к телу. Эрих рассказал, что, купаясь с Катриной в прудах за деревней, он всегда срывал для нее кувшинки: она любила украшать ими волосы.

— Купались мы там в мае, море было еще слишком холодное!

Вода ручьями текла по его лицу—лицу потомственного рыбака, подумалось Вернеру; да, молодо-зелено, совсем еще не созрел. Алекс прав. Когда они вылезли из воды, он спросил:

— А какая она, твоя Катрина?

И, сев на перекладину под мачтой, принялся вытираться рубахой.

Растянувшийся у его ног Эрих резко обернулся к нему и, помедлив, проронил еле слышно:

— Она светлая. Волосы у нее светлые, такие гладкие и матовые, без блеска. И вечно на лицо падают.

Он умолк.

— Ну а дальше?—подбодрил его Вернер.—Или это все?

— Да нет,—разлепил губы Эрих.—Кожа у нее тоже светлая. И тонкая, почти прозрачная, как пленка. Но это кожа, да еще какая...—Он опять умолк, но потом все же добавил:—И ноги у нее светлые. И длинные.

Вернер оглядел тело Эриха, распростертое у его ног и еще мокрое от купанья; в раскаленных добела и желтовато-бронзовых лучах солнца оно казалось светло-коричневым и было удивительно тонким в кости, даже веретенообразным—особенно по сравнению с его собственным, темно-красным и облупленным от загара, вяло привалившимся к мачте.

— Более или менее представляю ее себе,—сказал он.—И давно вы с ней знакомы?

— Мы? С Катриной?—удивленно переспросил Эрих.—Давно. То есть всегда. Они же наши соседи. Мы выросли вместе.

— Вот оно что, вместе выросли,—повторил Вернер.

— Сперва вместе ходили в деревенскую школу у нас в Кооге, а потом—в гимназию в Хузуме.

— И потом обручились?

— Обручились мы с ней тайком, еще в предпоследнем классе.

Каждый день ходили пешком со станции. Сперва огибали рощу Детлефсена, потом прямой дорогой между пастбищами шли и шли до самого Коога.

— А коровы за вами подглядывали?

— Очень может быть,—смущенно рассмеялся Эрих.

— Когда ты ее видел в последний раз?

— Год назад, когда был отпуск. И теперь как раз подошла моя очередь, а тут приказ выступать.

— И часто она тебе пишет?

— Раз в неделю обязательно. И всегда большое письмо.

— Ты с ней говорил о наших планах?

— Обиняками. Когда был в отпуске, еще не знал тебя и не думал об этом вплотную. Но намекнуть намекнул.

— И что она?

— В том-то и закавыка.—Светлое и теплое тело Эриха вдруг словно окаменело.

— И что она?—повторил Вернер уже настойчивее. У него зарябило в глазах, а потом все заволокло черным от прихлынувшей к горлу горечи.

— Она хочет, чтобы я сражался до конца,—выдавил наконец Эрих.

Значит, и она против меня, подумал Вернер. Алекс против меня, Катрина против меня, все против меня. Но он все равно пойдет со мной. Клянусь всем на свете, что пойдет. Он взглянул на Эриха и спросил:

— Почему она этого хочет?

Эрих не шевельнулся; он снова лежал в лениво-небрежной позе.

— Ясно почему,—спокойно сказал он.—Сперва она спросила: может, я трушу.

— И что ты ей ответил?

Эрих пожал плечами:

— Просто повернулся и ушел. И три дня с ней не разговаривал. Три дня из четырнадцати отпускных. Потом она сама ко мне пришла.

— И опять уговаривала?

— Нет, просто плакала. И сказала, что если я перейду на сторону тех, других, то домой уже не вернусь.

— Наоборот! Таким-то путем скорее всего и вернешься!

Приподнявшись, Эрих оперся на левый локоть и свесился над бортом, глядя вниз, в воду.

— Она не то имела в виду,—проронил он.—Она тоже понимает, что так у меня больше шансов вернуться. Но она

сказала, что тогда наши пути разойдутся. Она всеми корнями там и никуда оттуда не двинется. А я пойду своей дорогой. Это, мол, неизбежно.

— Твой путь—самый надежный путь к ней.

— Может, и так. Почему знать?—ответил Эрих.—Мы с ней выросли в одной деревне. Наши дворы стоят рядом сто лет. И вдруг я, точно бродяга какой, беру ноги в руки. У нас так не делают. Она чувствует, что больше не сможет надеяться на мою защиту. Ведь на войне мы сражаемся и за них, за женщин. Уйти—значит бросить ее в беде.

Что-то похожее говорил и Алекс, пришло в голову Вернеру. «Кому-то ведь надо остаться». Но Катрина еще хитрее. «Раз я не могу удрать, то и тебе не след,—говорит она своему возлюбленному.—Лучше увидеть тебя мертвым, чем знать, что ты делаешь что-то, не имеющее ко мне никакого отношения. Может, ты делаешь это даже ради меня. Но я не верю. Нутром чувствую, что ты хочешь удрать, потому что любишь жизнь и свободу. Свою мужскую свободу!» Она женщина, до мозга костей женщина! И логика у нее чисто женская!

Нет, я к ней несправедлив. Ведь они любят друг друга. А когда любят по-настоящему, один ничего не делает без другого. Она это чувствует. И он это знает. И его мучает совесть. Как может мучить совесть настоящего мужчину. Мне бы следовало вернуть его Катрине.

— Ну и что ты решил?—спросил он.

— Да вот, думаю пока,—ответил Эрих.

Вернер видел, что парень волнуется. Приподнявшись, Эрих взялся было за одежду, но тут же выпустил ее из рук и лишь прикрыл себе спину рубашкой. Потом уселся на борт и свесил ноги в воду.

— Жарища, просто мозги плавятся,—пробурчал он.

Под палящими лучами солнца спортивная рубашка в крупную клетку ярко-красным пятном выделялась на фоне небесной лазури и ядовитой зелени камышовых зарослей этого гнетущего, волшебного-яркого дня. Красная рубашка расцветила грудь, бедра и икры Эриха в розовые и тенисто-темные тона.

— В былое время парни уходили в далекие края, прежде чем жениться на своих суженых,—начал Вернер.—Наши годы странствий—война и плен. В один прекрасный день ты вернешься. И она будет любить тебя сильнее, чем прежде. Потому что ты придешь издалека и за плечами у тебя будет немало опасностей. А еще потому, что ты окажешься прав...

— Но еще до того мы потерпим поражение,—перебил его

Эрих.— Не забывай об этом! Я вернусь, и очень вероятно, что все останется как было. Вполне возможно. Но иногда я буду читать в ее глазах: «А тогда тебя со мной не было!»

— Значит, ты собираешься воевать только потому, что твоя девушка может тебя неправильно понять? — спросил Вернер. И ревнивая злость на Эриха вновь черной пеленой застлала его глаза.

— Просто теперь уже поздно, — возразил Эрих. — И не остается ничего другого, как держаться, выполнять свой долг до конца и делать все, что в наших силах.

Его слова вдруг как бы застыли в горячем и сонном воздухе. Он отбросил рубашку и встал. Вернер все еще опирался спиной о мачту и чувствовал, что все его тело горит. Солнечные ожоги словно проникли внутрь, в самую душу, и там все забурлило, забродило и вылилось в ощущение своей силы и в то же время — сильной ноющей боли, наполнившей все его обгоревшее до красноты и как бы обтянутое звериной шкурой тело горячей пульсирующей жизнью и жадным, тайным, сторожким ожиданием.

— Ты, значит, думаешь, что, когда мы вернемся, они нас не примут? — спросил он.

Эрих кивнул и отвернулся. Его светлое гладкое лицо было обращено теперь к воде, к этой неподвижной, серо-зеленой и мутной глади, к этому опаловому зеркалу под расплавленным небесным светилом.

— Мы никогда уже не будем чувствовать себя там своими, — сказал он.

— Пусть так! — взорвался Вернер. — Знал бы ты, до чего мне на это плевать. Значит, будем для них чужаками, только и всего.

Разговор больше не клеился. Никак не решится, думал Вернер. Не могу его убедить. Каждый раз ускользает из рук. Пойдет ли он со мной, когда пробьет наш час? Я для него не авторитет. Но одного слова Александра было бы достаточно, чтобы он сразу последовал за мной. Или одного слова Катрины. Я играю какую-то жалкую и смешную роль.

Они еще битый час провалялись на барке, все время откладывая возвращение к месту стоянки. Под конец они уже не ощущали ничего, кроме своих собственных тел, местами еще молочного-белых, местами блекло-красных, которые наконец-то дышали свободно всеми порами, и, словно большие кошки, потягивались и переваливались с боку на бок на сером от старости, но все еще пахнущем смолой дощатом настиле барки. И лишь когда солнце опустилось к самому горизонту, они начали одеваться.

Подняв с дощатого настила новую клетчатую рубашку, Эрих испуганно отшатнулся. Оба они как замороженные усталились на змею, лежавшую у их ног. Лежала она неподвижно, свернувшись спиралью, и по ее спине от головы до кончика хвоста вилась темная зубчатая полоса, как бы составленная из одинаковых узких прямоугольников, под углом прилепленных друг к другу. Этот черный орнамент немного отдавал багрово-красным, в то время как остальная чешуя змеи металлически поблескивала с розоватым или даже розовато-желтым отливом. Багровую зубчатую полосу обрамляли две темные линии, четко выделяясь на розоватом теле змеи и подчеркивая на сером фоне дощатого настила ее окраску, напоминавшую цвет адского пламени. Змея подняла голову — под роговыми надглазничными щитками стали видны до жути неподвижные глаза — и, злобно зашипев, пощупала раздвоенным язычком воздух, недовольная тем, что кто-то посмел нарушить ее покой под прогретой солнцем рубашкой.

— Гадюка! — прошептал Вернер. — Не двигайся!

Оба словно оцепенели. У них не было ни оружия, которым они могли бы воспользоваться, ни палки, ни камня. Поэтому они просто затаили дыхание и замерли. Но гадюка вдруг исчезла — одним-единственным движением, резким, как удар хлыста, она скрылась в щели настила. Напряжение, сковавшее их, сразу спало. Они поспешно оделись. И, прежде чем уйти с барки, Вернер опустился на колени и простучал настил. Гулкий звук выдавал пустоту.

— У этой лодки двойное дно, — сказал он.

Эрих молча кивнул, и так же молча они двинулись в обратный путь. Лес встретил их легким сумраком. Посвежело, вдали слышались звуки просыпающегося эскадрона.

#### 4

Когда Вернер брился у мраморного фонтанчика во дворе загородной виллы, затерянной среди холмов в окрестностях Пьомбино, в парке которой они провели весь следующий день, к нему присоединился обер-лейтенант, явившийся сюда со своими умывальными принадлежностями. Вернер хотел было изобразить нечто вроде приветствия, но командир небрежно махнул рукой и принялся за утренний туалет. Фонтанчик представлял собой довольно большой водоем из желтого узорчатого мрамора, при-мыкавший к стене дома; вода лилась в него из открытого рта скульптурной головы старика, выступавшей прямо из стены. Кроме них двоих, во внутреннем дворике виллы никого не было.

— Где вы, собственно, набрались столь обширных познаний в итальянском? — спросил командир.

— Я еще в мирное время бывал здесь, — ответил Вернер. Ни слова больше, в ту же секунду оборвал он сам себя. Ни в коем случае нельзя показывать, что ты в чем-то более сведущ, чем он.

— Вы слышали, что сделали англичане с итальянцами-перебежчиками в Африке? — опять заговорил обер-лейтенант. И, не дожидаясь ответа, сообщил: — Они вырезали им зад на штанах и в таком виде погнали обратно! Никогда они не научатся воевать!

Журчание тонкой струйки временами прерывалось — обер-лейтенант подставлял под нее голову и умывался, отфыркиваясь. Вернер очень пристально наблюдал за ним уголками глаз, пока рьяно скреб щетину на подбородке. Через некоторое время офицер вдруг заявил:

— Как только нас опять переведут в резерв, я позабочусь, чтобы вас произвели в ефрейторы, Ротт.

Значит, удалось, подумал Вернер. Командир ни о чем не догадывается.

— Премного благодарен, господин обер-лейтенант! — бодро отчеканил он. Тот милостиво кивнул.

Они одновременно закончили ритуал наведения чистоты. Вернер мог его себе нынче позволить, потому что ночью ему удалось немного поспать: накануне опять ездили с командиром на поиски места для дневной стоянки и обнаружили это поместье. Здешний густой парк, спускающийся по склону холма, днем мог служить надежным укрытием. На этот раз Вернеру разрешено было сразу же остаться на месте, так что до прибытия эскадрона — а он прибыл на рассвете — Вернер подремал на софе.

И теперь наслаждался ощущением бодрости во всем теле. Поэтому он ничуть не встревожился, услышав слова обер-лейтенанта, оброненные уже как бы через плечо:

— Нынче ночью вы мне не понадобятся. Батальон уже определил нам место следующей стоянки.

Это означало всю ночь жать на педали. Придется всерьез поговорить с Алексом и Эрихом, подумал Вернер. Надо еще раз обсудить все подробно. И все должно пойти как по маслу. Мне они не вырежут зад у штанов. Я читал их листовки. Они гарантируют хорошее обращение и быстрое освобождение после войны. Конечно, это все пропаганда. И я за нее гроша ломаного не дам. Но у меня нет выбора. В общем и целом это наверняка лучший вариант.

Уложив бритвенные принадлежности в ранец, он пошел

побродить по парку, где росли кипарисы такой высоты, какие он видел раньше только на вилле д'Эсте,—могучие черно-зеленые колоссы, полностью поглощавшие солнечный свет. Ухоженные дорожки были обрамлены лавровыми кустами, а тонкие черные плети давно отцветших глициний карабкались вверх по стенам. И опять на земле под деревьями вповалку лежали спящие солдаты, и сон их, овеянный легким ветерком, порхающим на этом южном склоне, был легок и приятен.

Когда Вернер останавливался, чтобы опершись на ограду парка, бросить взгляд на окрестности, он видел сначала лишь серебристые кроны оливковых деревьев, усеявших склон, и только потом заметил за ними, далеко внизу, белую ленту совершенно безлюдной дороги. В выемке холма по левую руку виднелось море—такое блекло-голубое и пустынное, что казалось, будто его еще никогда не бороздил киль корабля, и в то же время такое свинцовое и коварное, будто оно предвещало конец света. Со стороны моря по небу тянулась на восток эскадра серебристых самолетов с характерным воющим звуком моторов. Им навстречу летела эскадрилья других, двуххвостых машин, державших курс на юг. Обе группы, далекие и грозные, пролетели на средних высотах, не задев друг друга, будто ими управляли не люди, а автоматы, и оставили позади сиротливо колышущиеся поля пшеницы, пышущие невыносимым жаром и словно снедаемые мировой тоской сосновые рощи среди бесконечного моря хлебов и зачарованной замкнутости покрытых оливками холмов, вновь превратившихся в этрусские пустоши далекого прошлого.

На следующую ночь они увидели на обочине Аврелиевой дороги длинную вереницу обгоревших исковерканных машин, а к полуночи попали в залитый лунным светом пустой и холодный лабиринт городских улиц—Гроссето был полностью превращен в развалины и казался сплошь покрытым пылью уничтожения. Ночная езда выматывала, приходилось на одном дыхании одолевать больше ста километров, дорога то и дело круто поднималась в гору, попадались и донельзя разбитые объездные участки, так что они совсем обессилели, когда прибыли к месту очередной стоянки—плодовым плантациям неподалеку от бухты Орбетелло, где и поспешили укрыться, чуть не падая с ног от усталости. Вернеру так и не представилась возможность поговорить с Алексом или Эрихом с глазу на глаз: он увидел их обоих лишь вечером, возле полевой кухни, где эскадрон собрался перед тем, как опять тронуться в путь. С этого момента Вернер уже не отрывался от Эриха ни на шаг, а Алекс присоединился к тому



отделению, которым командовал.

К утру всех сморила страшная усталость, каждый ехал уже как бы сам по себе, строй начал распадаться на группы, эскадрон все больше растягивался в длину, встречные колонны довершили дело. В четыре часа утра Вернер кивком головы показал на сжатое поле, уставленное скирдами.

— Мы могли бы поспать здесь несколько часов, а утром догнать своих.

— А как же самолеты? — возразил Эрих. — Днем нам нельзя появляться на шоссе.

— Ерунда, — отмахнулся Вернер. — Нас же только двое. Как-нибудь проскочим.

Они уснули в ту же секунду, как только растянулись на снопах и ими же прикрылись. Около десяти часов утра оба проснулись с легкой головной болью — сон был беспокойный. И оба сразу же, прищурившись, взглянули на небо, заполненное сытым урчанием самолетов. Оказалось, однако, что самолеты были где-то далеко, ни одного в поле зрения. И руки их сами потянулись к самокатам. Жара толкала их в спину, словно ударами прикладов. Зато шоссе было довольно пустынно. Они находились в районе мареммы — на болотистой равнине, — и в одном месте им пришлось переправляться через реку по временному мосту. Как раз в ту минуту, когда они на него въехали, вверху раздался нарастающий рев моторов. Самих самолетов видно не было — деревья закрывали обзор. «Прочь с моста, быстро!» — крикнул им сапер, стоявший здесь на посту. Они нажали изо всех сил. Потом увидели прямо над собой звено «лайтнингов», бросились в кювет, сорвали с ремня каски и прикрыли ими головы. В мозгу у обоих билась одна и та же мысль — как бы летчики не заметили их самокаты, а легкие вдыхали влажные запахи земли и травы. Но самолеты, естественно, метили не в них, а в мост, и сбросили бомбы ближе к тому берегу. Вернер и Эрих увидели цепочку дымовых и земляных фонтанов и облегченно вздохнули. На длинном, открытом со всех сторон участке шоссе эта игра повторилась еще несколько раз. И они долго лежали в кювете уже после того, как опасность миновала. Доведенные жарой до апатии и полного изнеможения, они наслаждались вынужденным бездействием. Но через некоторое время Вернер все же собрался с духом и скомандовал: «Встать! Поехали!» Они с трудом поднялись.

— Никогда нам не догнать своих, — сказал Эрих голосом, в котором слышалось отчаяние.

— Ну и что с того, — злобно буркнул Вернер. — Значит, подведем черту на день-два раньше, чем они.

В полдень они увидели впереди на склоне холма Тарквинию. Над городом нависали огромные, словно сложенные циклопами древние этрусские стены из нетесаного камня, за которыми возвышался замок маркграфини Тосканской. Дорога поднималась к замку, змеей извиваясь по склону. А небо над серпантином, открытым палящим лучам солнца, от жары приобрело свинцово-белесый оттенок. При такой жаре близость моря совсем не чувствовалась, хотя оно было где-то рядом и с этой высоты должен был открываться его беспредельный простор. Но слепящий свет растворял в себе все окрест, изменяя до неузнаваемости, и о близости моря говорил лишь небольшой клочок неба на западе, где к режущей глаз мертвящей белизне знойного света примешивался слабый свинцово-серый грозовой налет. На три километра пути от подножия холма до центра города у них ушло битых два часа. Когда они туда добрались и присели отдохнуть на крошечной, обрамленной платанами площади, со стороны моря вновь налетели бомбардировщики. Видные издалика, сотни самолетов открыто летели целыми эскадрильями, летели так медленно и спокойно, что сердце у обоих сжалось от страха. Укрыться было негде, пришлось пережить налет на месте, и они инстинктивно спрятались за мощные стволы деревьев. Они видели, как у самолетов снизу открылись бомболюки, как оттуда выдвинулись кассеты, как из них высыпалось множество мелких бомб, как эти бомбы летели вниз, вращаясь вокруг своей оси и как бы ввинчиваясь в белые столбы раскаленного солнечного света, как они своим металлическим, леденящим душу воем создавали вполне соответствующее звуковое сопровождение невыносимому зною, низвергавшемуся с небес. Но Вернер и Эрих оказались в стороне, бомбы упали где-то далеко за пределами Тарквинии.

От знакомого солдата, оставленного в городе для связи, они узнали, что их эскадрон находится в городке Монте-Романо, в двадцати километрах к юго-востоку от Тарквинии. Дорога теперь повернула от побережья в глубь страны, и они проехали оставшуюся часть пути быстро и молча; к жаре они уже притерпелись. Вокруг тянулась пустынная холмистая местность, у перекрестков дорог попадались отдельные дома, стены которых до самых крыш были увиты розами. Поля вдоль дороги сплошь заросли маком; встречались и совсем дикие, необработанные участки, своим кроваво-красным цветочным ковром как бы взывавшие к милосердию раскаленного добела неба. Немного не доехав до Монте-Романо, они увидели своего командира, мчавшегося им навстречу на мотоцикле. Резко затормозив, он крикнул:

— Англичане в Риме! В полночь выступаем! Поднажмите, а то опоздаете! Завтра встреча с противником.

Они рывкнули:

— Слушаюсь, господин обер-лейтенант!

И покатали быстрее.

— Значит, пора. Откладывать больше нельзя,—сказал Вернер, когда они отъехали достаточно далеко, чтобы командир не мог их услышать. Эрих кивнул, но промолчал. Перед ними был Монте-Романо, уютный маленький городок без следов разрушений. У самого въезда расположился лагерь их эскадрон. Под деревьями у обочины дороги стояла полевая кухня. Они спешили и свернули на проселок, по обе стороны которого прямо на земле сидели и лежали солдаты. Алекс завидел их издали и ждал, прислонившись спиной к стволу каштана.

— Вы в курсе?—спросил он и в упор посмотрел на Вернера.

— Так точно, о великий полководец!—воскликнул Вернер. Его руки, судорожно вцепившиеся в руль, вспотели и словно приклеились к металлу. На взмокшем, покрытом потеками грязи, темно-красном от загара лице, увенчанном ежиком темных, коротко стриженных и торчащих во все стороны волос, напряженно жили только глаза, он буквально сверлил ими Алекса.

— Ты пойдешь с ним!—вдруг сказал тот Эриху, дернув плечом в сторону Вернера. Сказал со вздохом, словно подвел тяжкий итог.

— Но...

— Никаких «но»,—обрезал Эриха Алекс.—Пойдешь с ним. Так будет лучше.

И без того красное от загара лицо Эриха вмиг побагровело. От возмущения кровь бросилась ему в голову, но тут же и отлила. Все трое молча переглянулись.

— Все это уже не имеет никакого смысла,—наконец сказал Алекс и отвернулся.—Извините, мне пора, отделение ждет. Раздаем неприкосновенный запас.

Они долго глядели ему вслед. А меня это уже не радует, подумал Вернер. Теперь уже нет.

## 5

Все прошло необычайно гладко. Ровно в полночь эскадрон подняли по тревоге. Никто, ясно, не спал, и после первых минут лихорадочной суеты, уже на марше, все опять впали в обычное состояние хронического переутомления. Сначала их путь пролегал по извилистым полевым тропам, окаймленным

живой изгородью, где колеса то и дело застревали в толстом слое пыли. В эту ночь луна впервые светила не так ярко. Возле Ветраллы они выехали на Кассиеву дорогу, которая была забита колоннами, отходившими к Витербо; они продвигались вперед черепашьям шагом и в конце концов совсем застряли. Что с ними со всеми будет, когда наступит день — а он уже близок — и налетят самолеты? Их эскадрон был единственным подразделением, двигавшимся в обратном направлении; из колонн им вслед неслись насмешки. Для движения оставалась лишь узкая полоса на правой стороне шоссе, по которой они и протискивались мимо застывших машин.

Когда рассвело, они свернули на белую дорогу, отходившую вправо. Впервые они ехали при свете дня, но самолетов пока не было видно. При дневном освещении усталость немного развевалась, уступив место какой-то яростной лихости. Они в темпе промчались мимо ярко-голубого озера, которое мелькнуло сбоку за частоколом стройных тополиных стволов. Сегодня все совершалось с пугающей быстротой.

Потом дорога испортилась, стали попадаться участки, сплошь усыпанные крупным щебнем. Когда она снова пошла под уклон, Вернер, ехавший вместе с Эрихом в голове эскадрона, не стал тормозить, и его самокат запрыгал по камням. Вернер почувствовал, что заднее колесо спустило, и тут же ощутил удар обода о землю. Все, подумал он.

Крикнув «авария!», он вырулил влево и спешил. Он видел, что Эрих удивленно и растерянно вильнул рулем, но потом все же затормозил, как было между ними условлено. В эскадроне считалось непреложным правилом, что в случае аварии сосед по строю должен помочь потерпевшему. Фельдфебель, ехавший впереди, обернулся на ходу и крикнул:

— Догоняйте побыстрее, Ротт! Пункт сбора — Вейано!

Командир на своем мотоцикле давно укатил вперед, так что вся операция прошла на удивление гладко. Вернер с озабоченным видом сразу же перевернул самокат вверх колесами, и эскадрон пролетел мимо. Но Вернер видел, что Алекс их заметил — тоже отвернув влево, он медленно подъехал к ним. Он был унтер-офицером и кавалером Железного креста I степени, так что мог себе это позволить.

Эскадрон проехал, все трое глядели ему вслед, пока он не исчез за поворотом в блеске и стрекоте последних машин. Столбы поднятой им пыли медленно оседали на дорогу.

Вернер склонился над задней шиной и принялся искать повреждение.

— Камнями пробило,—сказал он.—Скорее всего, много мелких дырок. Надо бы к воде, а так их не найдешь. На починку уйдет несколько часов.

— Не мели чепуху,—сказал Алекс.—Нам-то зачем мозги пудрить?

Он сказал «нам», пронеслось в голове у Вернера. Неужели решил все-таки отобрать у меня парня? Передумал и хочет откататься от своих слов?

Выпустив из рук колесо, он отчеканил как можно тверже:

— Ты прав. Мне уже нет нужды пудрить кому-то мозги. Час пробил. И слава богу, что пробил.

— Если, конечно, не встретишь парочку лбов из полевой жандармерии,—ввернул Алекс.—Уж им-то придется пудрить мозги, да еще как!

Вернер постучал пальцем по карабину.

— Но ведь и эта штука пока со мной,—сказал он. И, добавив совсем другим тоном: «Давай переменяем пластинку!»,—достал из кармана трубку, тщательно набил ее и раскурил.—Спустя одиннадцать лет Вернер Ротт впервые курит трубку на свободе!—возвестил он.

— Хвастун!—обрезал его Алекс.—Лучше постучи по дереву. Ты отпетый хвастун, но везет тебе до неприличия часто.

Они смерили друг друга взглядом. Один—высокий, смуглолицый, сосредоточенно-хмурый, другой—багровый от загара, насмешливый и обидчиво-задиристый. Один оставался, другой уходил. И оба молча, одними глазами, боролись за светловолосого тощего парня, стоявшего между ними. Это был настоящий мужской поединок. И Александр сдался. Он спросил:

— Что я могу сделать для вас? Может, написать вашим родным?

— У меня нет родных,—отрезал Вернер.

А Эрих просительным взглядом вцепился в Алекса.

— Мы ведь уходим,—выдавил он наконец.

Сказано это было так, словно он только что открыл для себя нечто ужасное. У двух других заскребло на сердце от этого хриплого, прерывающегося голоса. Помолчав, Эрих добавил:

— Может, ты напишешь моим старикам... и Катрине?

— Ясное дело,—заторопился Алекс.—Погоди, только запишу их адреса.—Он вытащил из кармана блокнот и карандаш.

— Катрина Ханзен,—продиктовал Эрих.—Мельког. Почтовое отделение Хузум.

Названия его родных мест звучали здесь, среди южной природы, гулко и странно, словно далекий колокольный звон.

Алекс записал адрес Катрины, а потом и родителей Эриха.

— Напиши ей, что я обязательно вернусь,— сказал Эрих.— И что ушел ради нее.

— Надеюсь, в следующий отпуск я поеду туда и все ей объясню,— ответил Алекс.— Писать такие вещи не стоит, знаешь ли!

— В отпуск? Поедешь туда?— повторил Эрих с явным сомнением.— Боже мой, но ведь и я смогу, если не пойду с ним. Зачем же я это делаю?

В приступе крайнего отчаяния он совсем забыл об остальных, он говорил сам с собой. Вернер молча наблюдал за ними обоими и вдруг услышал, как Алекс сказал:

— Возьми себя в руки! Остаться или уйти—один черт. И теперь тебе придется делить с ним компанию. Назад хода нет.

— Почему же? Пускай остается, коли охота,—насупился Вернер.— Я его не держу.— И, повернувшись к Эриху, добавил:— Возвращаю тебе твое слово.

— Черт тебя побери! Зачем мучишь парня, ему и так несладко!—прошипел Алекс сквозь зубы.— Ослеп ты, что ли?

Дорога, на которой они стояли и разговаривали, была бела и абсолютно пустынна. Солнце приближалось к зениту.

— Ну, мне пора,—сказал Алекс.— Надо ехать. Думаю, скоро увидимся. Томми, наверно, быстренько приберут к рукам наш эскадрон. И выбрось эти мысли из головы!— Это было сказано уже Эриху.— Скоро мы все окажемся в плену!

Эрих покачал головой. Все трое поняли, что это—прощание, и пожали друг другу руки. Стиснув ладонь Вернера в своей, Алекс сказал:

— Желаю удачи! И береги парня! Похоже, бог тебя любит.

— Бо-о-ог?—Вернер постарался произнести это слово как можно циничнее.

— Да, бог,—повторил Алекс.

— Твой бог—нуль без палочки,—прогнусавил Вернер.

— А ты—дурак набитый!—рявкнул Алекс.

Но оба весело ухмыльнулись. Им казалось, что всю эту перепалку они только для того и устроили, чтобы развеялось грустное впечатление от слов Эриха. Впрочем, Алекс ничего больше говорить не стал. Просто молча вскочил в седло и умчался. И пока не скрылся за поворотом, все время оборачивался и махал им рукой. Они махали в ответ. Во взмахах их рук было какое-то торжество, какое-то отчаянное и прощальное и все же восхитительное торжество. А потом оно пропало, и осталась только дорога, пустынная, белая и беззвучная. И руки их сами собой опустились. Они были одни.

Эрих присел на обочину, и Вернер увидел, что лицо у него вытянулось и побледнело.

— Хочешь поехать с ним? — спросил он. — Вид у тебя неважный.

Эрих покачал головой. Пригладив руками волосы, он поднялся с земли. Потом шагнул к самокату и отвернул на заднем колесе вентиль. Из камеры со свистом вырвался воздух.

— Вот так! — сказал он. — А ты думал, я закачу истерику?

Там, где они стояли, дорога огибала подножие вытянутого в длину холма.

— Пошли! — оживился Вернер. — Давай поднимемся вон в тот лесок и завалимся спать до вечера.

Они с трудом втащили свои самокаты наверх — до лесочка было всего около ста метров — и нырнули под густую тень молодых акаций. Убедившись, что их не видно с дороги — на ней время от времени появлялись то связной, то грузовик, то группа отставших пехотинцев, спешивших нагнать свои отступающие части, — они повалились на землю и, устроившись поудобнее, тут же заснули. Иногда они просыпались и, жмурясь от солнца, проникавшего сквозь зеленый свод, провожали взглядом самолеты, которые на бреющем полете бороздили небо над их головами, выпуская пулеметные очереди по каким-то целям на дорогах.

В пять часов вечера Вернер решил, что пора двигаться дальше. Они поели немного печенья из своих запасов — а запаслись они печеньем и шоколадом на три дня — и стали готовиться в путь. Для этого они так порезали шины своих самокатов, чтобы всякому было ясно, что починить их нельзя; затем спустились к дороге и пошли по ней, ведя самокаты за руль. Самолетов почти совсем не было; лишь один-единственный раз им пришлось нырнуть в укрытие из-за «наблюдателя», шнырявшего над дорогой. В остальном все было тихо и спокойно, так что даже казалось, будто война взяла выходной. Иногда навстречу им попадались бредущие в тыл солдаты, но козырять друг другу никому и в голову не приходило, и лишь один-единственный раз их остановил фельдфебель — для того только, чтобы сообщить о высадке американцев во Франции.

— Сегодня утром сам слышал по радио! А теперь моя передвижная радиостанция валяется где-то там, — сказал он и махнул рукой в южном направлении. — Там тоже сплошь одни американцы. Тучи американцев.

— Но ведь и наших войск там, на юге, должно быть полным-полно, — заметил Вернер. — Не видели ли вы, господин фельдфебель, наш эскадрон?

— Самокатчики? — спросил фельдфебель и придирчиво оглядел их машины. — Да, видел там, — тот же неопределенный жест рукой, — кучку-другую таких вот бедолаг. Пожалуй, кроме них, там никого и не осталось... Я хочу сказать — в непосредственной близости к противнику. А вы поторапливайтесь, орлы, — хмыкнул он. — Не то опоздаете. Не ровен час, заприходуют там без вас ваших соратничков!

— Как-нибудь обойдется! — вяло отмахнулся Вернер.

А фельдфебель рассмеялся — хоть и раскатисто, но как-то невесело — и зашагал дальше.

Некоторое время дорога еще шла меж полями, потом ландшафт изменился, потянулись холмы, и дорога стала петлять, то поднимаясь по склонам, то ныряя к подножию. Из толщи холмов то тут, то там выступали целые скалы из светлого пористого камня с промоинами, образующими вход в пещеру. Перед одной из них стоял на посту часовой; он сообщил им, что внутри, в пещере, огромный склад боеприпасов. Природа вокруг становилась все романтичнее, а сумерки все гуще. Впервые за много дней небо в этот вечер затянуло тучами, стало пасмурно, задул порывистый теплый ветер, и они зашагали вперед довольно быстро. За одним из поворотов на дне долины неожиданно вынырнули домики Вейано. Они остановились, издав далеко настороженно взглядываясь в его улицы.

— Надеюсь, наших там уже нет, — вслух подумал Вернер.

В сгущающихся сумерках Вейано казался совершенно безлюдным. Из печных труб, торчавших над плоскими черепичными крышами, не вился дымок. Некоторые дома были явно разрушены при бомбардировке. Они решились и вошли в городок.

Дома, как и во всех маленьких итальянских городках, были высокие, серые, сложенные из грубо обтесанных камней; сейчас они казались заброшенными. Вернер с Эрихом углубились в узенькие переулки, в которых, кроме их собственных гулких шагов и звяканья самокатов, не слышалось ни звука. Внезапно оба встали как вкопанные, потому что в голову обоим одновременно пришла одна и та же мысль: а не пересидеть ли в этих домах, пока сюда не придут те, другие? В этих домах, наверно, есть и постели, и комнаты, где найдется укромный уголок, куда можно забиться и ждать. Осторожно вошли они в одну из дверей. Внутри было темно и душно, пахло соломой, холодным камнем и экскрементами. Жуткая тишина стояла в доме. Наверх вела узкая, слегка изогнутая лестница, облицованная холодным серым камнем. К стене была прислонена лопата. Не говоря друг другу ни слова, они разом повернулись и вышли на улицу.



Темные провалы окон были как бы перечеркнуты штрихами веревок, на которых обычно сушат белье или початки кукурузы. Один раз улицу перебежала кошка.

На выезде из города, там, где дорога спускалась к ущелью, высились полуразрушенные городские ворота. Они нависали над шоссе тяжелой, темной и грозной массой. Вернер и Эрих прошли под мрачными сводами и увидели белые фосфоресцирующие скалы, поднимавшиеся вверх с темно-зеленого дна пропасти, где—оба ясно расслышали тихое журчание воды—текла река. Они прошли по мосту, за которым начался медленный подъем: дорога вилась между скалами и пологими склонами, поросшими фисташковыми деревцами; их желтые цветы мягко светились в вечерней мгле.

Наверху перед ними раскинулось обширное плато, сплошь покрытое полями зреющих злаков. Было еще достаточно светло, чтобы разглядеть рассеянные тут и там небольшие соломенные шалашики, похожие на походные палатки,—итальянцы называют их «капаннас».

— Это как раз то, что нам нужно,—сразу сказал Вернер.—В шалашике и заночуем.

Он вытащил карту и начал ее изучать.

— Погляди-ка,—поднял он глаза на Эриха, тыча пальцем в карту.—Эскадрон двигался на Ориоло. Завтра он наверняка оттуда уйдет. Нам с тобой придется вот здесь свернуть направо и идти на юго-запад. На шоссе оставаться нельзя, оно—единственный путь, по которому бросятся наши, когда решат отступать. Здесь мы неизбежно столкнемся с ними нос к носу.

Он заметил, что Эрих его не слушает, и сложил карту.

— Теперь надо бы подыскать надежное местечко для ночевки,—сказал он, помолчав.

Справа от них склон спускался в другую долину. Свернув с шоссе, они долго шагали по полю, пока не наткнулись на «капанну», ее с дороги не было видно. Спрятав самокаты в высокой пшенице, они уселись у входа в шалаш и принялись за печенье и шоколад, запивая водой из фляжек. Открывавшийся перед ними ландшафт поражал величием, пустынностью и благородством форм; необъятное, затянутое темными тучами небо нависало над причудливыми изгибами горного пейзажа. Долины и хребты тянулись вдаль насколько хватал глаз, до самого горизонта, где желтоватое свечение долго не могло погаснуть. Изредка вдали полыхали зарницы. Оба вдруг ощутили свое одиночество.

На поверку «капанна» оказалась просто соломенной крышей, поставленной прямо на землю. Стен не было, так что внутри

было довольно тесно, и они лежали, прижавшись друг к другу. Вход они завесили плащ-палаткой, чтобы ночью не продрогнуть. Прежде чем заснуть, Вернер сказал в душную темноту:

— Вот ты и спишь под соломенной крышей, как у себя дома в Гольштейне.

И оба подумали о доме, а Вернер еще и о том, что его затея принесла бы ему куда больше радости, если бы не Эрих со своими страхами.

## 6

Проснувшись на следующее утро, Вернер увидел, что Эрих уже не спит и даже успел отцепить плащ-палатку, завешивавшую вход; свет свободно проникал внутрь. Эрих лежал на спине, вытянувшись во весь рост и уставившись в изгиб соломенной крыши над головой.

— Мне очень плохо,— сказал он.— Посмотри, что у меня тут.

Он с трудом приподнялся и высунул из-под одеяла левую ногу. Сапог он, видимо, еще раньше снял, а штанину закатал до колена. На голени чуть выше пятки вздулась плоская опухоль величиною с ладонь.

Вернера как подбросило.

— Дружище,— сказал он испуганно, оглядев опухоль.— Это тебя змея укусила.

Резко выпрямившись, он обвел взглядом шалаш. Он был пуст. Тогда он схватил Эриха за ноги выше колен и одним рывком вытащил на волю. Небо опять было безоблачное, а солнце только-только выглянуло из-за горизонта.

— Когда ты это заметил?— спросил Вернер.

— Примерно час назад я проснулся,— ответил Эрих,— но ничего такого не почувствовал. Просто показалось, будто колющей царапнуло. Сапоги я еще с вечера снял, потому что жали. Я решил, что укололся о колючую травку тут, в «капанне». Но потом стало жечь— все сильнее и сильнее.

— Этого нам только не хватало,— прошипел Вернер. И прикусил язык, увидев, что лицо Эриха побледнело и покрылось крупными каплями пота. Вглядевшись в опухоль как можно пристальнее, он принялся ее отсасывать, время от времени сплевывая слюну. Но потом понял, что только ее и сплевывает. Он не мог найти точку, куда вонзила жало гадюка, поэтому прощупал губами всю опухоль. На вид она лучше не стала. Тогда он подобрал с земли сухую щепочку и зажег ее спичкой с одного конца.

— Только не кричи!—приказал он.—Нас могут услышать.

Он прижал горящую щепку к ноге Эриха, но тот резко дернулся в сторону. Тогда Вернер набил табаком трубку. Раскурив ее, он навалился на Эриха всей тяжестью, ногами обхватил его плечи и прижал горящую трубку к опухоли, а потом еще и потер ее трубкой. Послышалось глухое рычание и сдавленный стон. Тогда он разжал ноги. Эрих едва успел отвернуться—его вырвало.

Однако опухоль ничуть не уменьшилась. Подгорела лишь ее поверхность; в воздухе запахло паленым.

— Лежи и не двигайся!—приказал Вернер. Перочинным ножом он отрезал от плащ-палатки длинную полосу и еще выше закатал штанину Эриха. Прижав камешек к внутренней стороне бедра, там, где проходит артерия, он изо всей силы перетянул ногу жгутом, чтобы пресечь доступ крови.

— Вот так!—выдохнул он.—А теперь тебе самое время хватануть литр шнапса, и все будет в порядке.

Заметив, что Эриха так знобит, что у него зуб на зуб не попадает, Вернер укрыл его обеими плащ-палатками. Проклятье, подумал он. Теперь мы засели здесь всерьез и надолго. Только бы не вляпаться из-за этого в нечто похуже.

И в этот миг он увидел спускавшегося по склону крестьянина—молодого итальянского парня, ведшего под уздцы тощую клячу. На нем были черные штаны, грязная рубаша и старая замызганная шляпа с широкими полями. Лицо у парня было загорелое, смазливое, над верхней губой пробивались лихие усики. Парень заметил их, и в его черных глазах мелькнуло холодное, слегка настороженное любопытство. Вернер подошел к нему и объяснил, что случилось. Итальянец взглянул на Эриха с интересом и сочувствием.

— Возьмите себе наши велосипеды,—сказал ему Вернер.—Только доставьте нас куда-нибудь, где моему товарищу смогут оказать медицинскую помощь.

— Велосипеды?—Итальянец недоверчиво завертел головой, и Вернер показал ему место, куда были спрятаны самокаты. Крестьянин жадно схватил оба велосипеда и очень ловко и быстро завел их подальше в глубь поля. Вернувшись, он жестом предложил Вернеру вдвоем поднять Эриха и положить его на спину лошади. Седла не было, и им пришлось привязать больного—он так ослаб, что все время соскальзывал. Итальянец зашагал вниз по склону, и вскоре они оказались в долине, где Вернер опять увидел те же самые острые светлые скалы. Места здесь были глухие, лишь изредка попадался обработанный клочок

земли, все вокруг заросло травой и кустарником, над которым то тут, то там возвышались могучие деревья, раскинувшие над склонами шатры своих крон.

— Здесь повсюду живут во временных хижинах крестьяне,— сказал парень.— Но они ничего вам не сделают, если вы скажете, что хотите к американцам.

— А наших полевых жандармов здесь не видать?— спросил Вернер.

Итальянец рассмеялся.

— На прошлой неделе двоих уложили,— сообщил он.— Совсем капут,— добавил он по-немецки.

— Слышишь, Эрих, мы уже в безопасности,— обернулся к товарищу Вернер. Но увидел, что Эрих лежит белый как мел и мокрый от пота, и понял, что тот ничего не слышит. Итальянец тоже начал озабоченно поглядывать на Эриха и погонять лошадь.

— Святая мадонна,— сказал он.— Ваш товарищ очень болен. Надо поторопиться.

Тропа теперь вновь вилась вверх по склону. Взобравшись на вершину холма, они увидели в лощинке маленькую хижину-временку. Каркас из жердей был кое-как обит досками и прикрыт соломенными матами, на крыше топорщилась гряда свежесрезанных веток. Строение это было едва различимо на фоне диких зарослей. Когда они приблизились, хижина сразу ожила: первой на пороге появилась старуха в широкой рваной юбке до пят, за ней — молоденькая хорошенькая девушка, стройные формы которой едва прикрывало некое подобие платья. Немного погодя из хижины вышел старик крестьянин с темным от загара лицом, словно сошедший с гравюры по дереву. Все трое с живым любопытством уставились на пришельцев.

Парень затараторил по-итальянски, сообщая о случившемся с Эрихом, потом они все вместе сняли его с лошади и внесли в хижину. Внутри было темно — свет проникал лишь в отверстие для входа. Вернер разглядел только, что у стены стоят две винтовки. Итальянцы опустили Эриха на топчан, устланный соломой. Старик взглянул на опухоль и покачал головой.

— Тебе бы сразу вскрыть это,— сказал он Вернеру на своем отрывистом и малопонятном диалекте.

— Ножа не было чистого,— огрызнулся Вернер.

Старик презрительно хмыкнул и бросил старухе:

— Разведи огонь!

Тут только Вернер заметил, что в хижине был чугунный котел. Старуха набросала в него щепок и подожгла. Помещение сразу наполнилось дымом. Старик взял в руки короткий нож с

острым концом и держал его над огнем до тех пор, пока кончик не накалился докрасна. Вернер с парнем держали больного, пока старик вспарывал опухоль. Из горла Эриха вырвался отчаянный клокочущий крик, и из раны тут же хлынула кровь вперемешку с гноем. Старуха уже успела поставить на огонь горшок, и в воздухе вдруг сильно запахло тимьяном. Когда варево вскипело, она окунула в него чистые льняные тряпки и обернула ими ногу Эриха. Парень принес откуда-то бутылку вина и начал понемногу вливать его в рот Эриха. Потом они укрыли его. С той минуты, как вскрыли опухоль, Эриху, по-видимому, полегчало. Старуха сидела в углу и время от времени подбрасывала в огонь полешки. Парень со стариком вышли. Вернер присел на низенькую скамеечку у изголовья Эриха и взял его правую руку в свои.

— Иди дальше один,—сказал Эрих.— Меня все время в сон клонит. Останусь здесь и отосплюсь.

— К вечеру ты будешь здоров. Каких-нибудь два-три километра—и мы у американцев.

— А помнишь ту гадюку?—вдруг спросил Эрих, помолчав.

— Да, именно на гадюку ты, видать, и напоролся,—подтвердил Вернер. Идиотство какое-то, подумал он про себя. Мне бы сейчас ноги в руки—и ходу. От этого юнца с самого начала одни неприятности. Без него у меня все получалось бы намного легче. Американцы уже под самым носом, а я сижу тут как последний дурак.

Девушка вошла в хижину и бросила на Эриха жалостный взгляд. Вернер машинально раздел ее глазами и подумал: лучше бы уж на ней вообще ничего не было.

По приказу старухи молодая сменила Эриху повязку. Но через некоторое время ему опять стало хуже. Он болезненно морщился при каждом шорохе, а от треска горящих веток или малейшего движения Вернера вздрагивал.

— Я почти ничего не вижу,—вдруг отчетливо сказал Эрих.— Тебя тоже не вижу. Только общие очертания.

— А тебе сейчас ничего и не надо видеть,—успокоил его Вернер.— Лежи спокойно и спи.

— Не могу заснуть. Нога сильно болит. И я боюсь. Как ты думаешь—я умру?

— Скажешь тоже! Гадюки вовсе не так уж опасны. Их укусы даже не для всех зверюшек смертельны. Самое позднее завтра утром ты будешь на ногах и в полном порядке.

— Думаешь, нам удастся перейти на ту сторону?

— Да мы уже перешли. Кругом все тихо. Самолетов почти не слышно. И с шоссе не доносится ни звука. Даже жуть берет.

— А где сейчас могут быть наши?

— Готов спорить, что нынче ночью, пока мы с тобой спали, наш родной эскадрон драпанул по тому же шоссе. А американцы еще не раскачались пуститься вдогонку. Так что мы с тобой оказались промеж тех и других, на ничейной земле.

— Значит, эскадрон скоро снимут с позиций и отправят на отдых.

— Пожалуй, что так. Да тебе-то что за дело до эскадрона? Пускай себе жмет на всю катушку! Лучше уж сразу пошел бы с нами. В полном составе.

— Я просто прикидываю, когда Алекс сможет написать и отправить письмо.

— Напишет, отправит, успокойся! Раз Алекс сказал, что напишет, так напишет. А потом поедет и все ей разобъяснит.

— Сможет ли она понять?

— Если любит, обязательно поймет.

— Не знаю. Этого я не знаю.

— Сам увидишь. Вернешься из плена и увидишь.

— Будет ли она мне верна?

— Если любит, обязательно.

— А если изменит?

— Значит, что-то ее заставило. К примеру, неизвестность. Или тяжкая жизнь. Или зов плоти. Ты не должен ни в чем ее винить. Придется просто завоевать ее заново.

— А я не хочу ее завоевывать, если она мне изменит.

— Прямо как маленький. Да ты вообще-то спал уже с ней?

— Какое тебе дело?

— Никакого. Но, если ты с ней спал, а до того она ни с кем другим не была близка, скорее всего, останется тебе верна.

— Я уже обладал ею.

— Ну, тем лучше, тогда все в полном порядке. А теперь поспи! Сон куда полезнее для здоровья, чем болтовня про баб.

Тяжело вздохнув, Эрих отвернулся к стене. В хижине было невыносимо жарко. Солнце, видимо, стояло уже в зените и палило вовсю, накаляя крышу из веток и листьев, а старуха продолжала поддерживать огонь, подбрасывая все новые и новые сучья. Потом пришел старик, на некоторое время ослабил жгут, перетягивавший артерию, потом вновь затянул его потуже. Эрих начал тихонько постанывать — тоненько, жалобно, на одной ноте. Дым от очага стлался под крышей светлыми прозрачными спиралями и исчезал в дверном проеме. Вернер глядел и глядел в темноту, где у огня, скорчившись, сидела старуха — наверно, уже слишком дряхлая и не пригодная для любой другой

работы,— в темноту, где к стене были прислонены две винтовки, где голова Эриха временами моталась из стороны в сторону от боли, где стоял и неотрывно глядел на них, а потом начинал писать письмо Алекс, где Целия держала в протянутой руке корзиночку с вишнями, где луна заливала светом Аврелиеву дорогу, где в небо, усеянное самолетами, вздымались скалы Тарквинии, в темноту, напомнившую Вернеру полумрак этрусских гротов, где он побывал несколько лет назад, тот таинственный полумрак могильных склепов Тарквинии, в которых свод покоился на двух колоннах в виде Тифонов, крылатых демонов смерти с ногами, переходящими в змеиные хвосты.

Первое, что он увидел, проснувшись, была рука Эриха, свесившаяся почти до пола; сквозь ее слегка согнутые пальцы он разглядел подол юбки и ступни старухи, неподвижно стоявшей у изголовья топчана. Когда он поднял глаза, то встретился с ее взглядом. Глаза у старухи были мутные, погасшие, и, когда Вернер перевел взгляд на Эриха, он увидел, что и у того глаза были такие же мертвые и погасшие, как у старухи. И он понял, что Эрих умер. Он опять взглянул на старуху и потом долго молча сидел не двигаясь. Наконец поднялся, вышел наружу и, увидев старика и парня с девушкой, сказал им:

— Мой товарищ умер.

Вместе с ним они вошли в хижину и посмотрели на Эриха. Старуха уже молилась, перебирая четки, и черные бусинки быстро-быстро скользили у нее между пальцами.

Когда все опять вышли, молодой крестьянин сказал:

— Было слишком поздно. Я сразу это понял нынче утром.

Старик показал рукой куда-то на юг и спросил Вернера:

— Видишь вон там большой дом?

Вернер посмотрел туда, куда указывал старик, и с большим трудом разглядел на склоне далекого холма группу каких-то удлиненных строений.

— Это Сан-Эльмо,— сказал старик.— Там живут монахи-бенедиктинцы. Иди к ним. Там найдешь американцев. А завтра мы и твоего друга привезем в монастырь, там его похоронят.

— Я хочу быть при этом.

— Нельзя,— возразил старик.— Американцы не разрешат. И здесь тебе тоже нельзя больше оставаться. Если тебя у нас найдут, всем нам несдобровать. Понял? А его пусть находят,— добавил он, кивнув в сторону хижины.— Он мертв.

Вернер недоверчиво взглянул на него.

— Это верно? Собираетесь похоронить его завтра на монастырском кладбище?— спросил он.— Тогда оставьте себе все его

вещи и деньги. Я возьму только часы и документы.

В ответ старик молча кивнул, и Вернер вернулся в хижину. Ему было трудно дотронуться до Эриха, но он переборол себя и рылся в его карманах, пока не нашел документы и записную книжку. Потом снял с запястья часы и сунул к себе в карман. Вернер попробовал уложить покойника поудобнее, но тут его пронзило такое щемящее чувство близости, что ему захотелось просто сесть рядом и погладить друга по волосам. Он чуть-чуть подвинул тело и подсунул немного соломы под ногу со смертельной раной. Лицо у Эриха вновь посветлело, а белокурые волосы все еще были слипшимися от пота. Вернер закрыл покойному веки, достал бритву, срезал с кителя эмблему рейха — орла со свастикой — и швырнул ее в огонь. Скрестив руки Эриха на груди, он вложил в них веточку тимьяна, найденную на полу хижины. Потом натянул одеяло до сложенных на груди рук. Сделав все это, он еще долго стоял и глядел на лицо Эриха, успевшее зарастить по щекам и подбородку мягким светлым пушком. Наконец закинул карабин за спину и вышел. В дверном проеме еще раз остановился и бросил на друга последний взгляд.

Солнце по-прежнему палило вовсю, но уже повеял свежий ветерок. Вернер попрощался со всеми за руку и всех поблагодарил. Сжимая руку девушки в своей, он подумал: до чего же молода, до чего хороша! Но желание в нем уже не шевельнулось.

Он двинулся прямо сквозь заросли, без тропы. За подъемами и спусками хижина вскоре пропала из виду. На карте Вернера вся эта местность была обозначена одним словом: «Пустошь». У его ног расстилались ковры из желтых и лиловых цветов. Нежный ветерок овеивал склоны, принося и золотисто-красных, ослепительно ярких бабочек, и аромат тимьяна и лаванды, который оседал на голубых цветах розмарина и больших желтых соцветиях мастиковых кустов. Солнце сияло в небе огромным золотым шаром, заливая ослепительным светом колеблемую ветром тимьяновую пустошь с одним-единственным пятном прозрачной тени, отбрасываемой одинокой пинией. Вновь открылись перед Вернером провалы ущелий с голыми отвесными скалами и белыми как мел высохшими руслами горных рек, на берегах которых застыл в молчании серебристо-зеленый кустарник. Вернер спускался в ущелья и с большим трудом прокладывал себе путь в густых зарослях. Пот ручьями стекал по его лицу. То и дело приходилось ему прибегать к помощи штыка, чтобы прорубиться сквозь густую и цепкую чащобу, кишевшую зелеными, серебристыми и красновато-бурыми змеями и ящерицами. Но наверху, на взгорьях тусколанских просторов, его вновь обду-



вало прохладным ветерком, он опускался на землю, усыпанную цветами, и ел, если был голоден, а потом смотрел на компас или на карту и обводил долгим взглядом ландшафт, открывавшийся на юге, где иногда—и теперь уже намного ближе, чем раньше,—можно было увидеть бенедиктинский монастырь. Далеко на востоке высились неприступные Апеннинские горы, неповторимые в своей дикой красе, а перед ними и намного ближе одиноко торчал голый гребень вулкана Соракте, окруженный свитой из холмов и возвышенностей. Гребень как бы плавился на солнце и развевался по ветру, благородный, угрюмый и мертвый—мертвый даже по сравнению с этой дикой и вымершей местностью, которая, как и любая глухомань, кажется забытой и покинутой на краю света, на краю жизни, там, где наша мертвая звезда висит под огромным пустым куполом небытия.

Ближе к вечеру Вернер добрался до обширного пшеничного поля, полого спускавшегося в долину. За деревьями на противоположном конце долины он различил домики селения и услышал грохот движущихся танковых колонн—высокий и ровный рокот американских двигателей и лязгающий скрежет гусениц по асфальту. Все звуки доносились глухо, из дали, окрашенной закатным багрянцем. Вернер снял с плеча карабин и зашвырнул его в высокие волны пшеницы. Потом отцепил с ремня подсумки, штык и каску и отправил все это туда же. И лишь тогда двинулся через поле. Внизу он опять попал в густые заросли кустарника. Продираясь сквозь колючую чащу, он исцарапал в кровь лицо. Путь был не из легких. Так что наверх он выбрался, еле дыша.

В лощинке на противоположном склоне долины он наткнулся на дикую вишню, всю усыпанную ярко-красными блестящими ягодами. Трава вокруг дерева была мягкая и по-вечернему сочно-зеленая. Нагнув ветку, он начал рвать вишни. Лощинка была похожа на келью: грохот танков едва проникал сюда. Придется вам еще немного обождать, господа хорошие, подумал он, покуда я поем вишен. У них приятный кисло-сладкий вкус. Я так долго был в плену. И хочу хоть несколько минут побыть на свободе, прежде чем попасть в новый плен. Уж потерпите как-нибудь! У диких вишен такой терпкий, такой острый вкус. Как бы я хотел есть эти вишни свободы вместе с Эрихом. И с Алексом. Но приходится их есть одному.

# СОДЕРЖАНИЕ

<i>Ирина Млечина. Прошлое не умирает .....</i>	5
<i>* ВИНТЕРСПЕЛЬТ. Роман. Перевод И. Млечиной .....</i>	25
<i>ОТЕЦ УБИЙЦЫ. Повесть. Перевод Е. Кацевой .....</i>	437
РАССКАЗЫ	
<i>* Любитель полутени. Перевод Е. Михелевич .....</i>	493
<i>* Беспредельное раскаяние. Перевод С. Фридлянд .....</i>	526
<i>* Вместе с шефом в Шенонсо. Перевод Л. Бару .....</i>	531
<i>* Жертвенный овен. Перевод С. Фридлянд .....</i>	540
<i>* Cadenza finale. Перевод К. Раевского .....</i>	551
<i>Мое исчезновение в Провиденсе. Перевод Е. Михелевич .....</i>	559
<i>Утро на море. Перевод И. Малютиной .....</i>	584
<i>Бегство в Этрурии. Перевод Е. Михелевич .....</i>	588

## АЛЬФРЕД АНДЕРШ

ВИНТЕРСПЕЛЬТ

Роман

ОТЕЦ УБИЙЦЫ

Повесть

РАССКАЗЫ

Составитель **Нина Сергеевна Литвинец**

Редактор *Е. В. Приказчикова*

Художник *В. Г. Алексеев*

Художественный редактор *А. П. Куцов*

Технический редактор *О. Н. Черкасова*

Корректоры *Г. Н. Иванова, Н. А. Лукахина*

ИБ № 3035

Сдано в набор 26.08.86. Подписано в печать 19.03.87. Формат 60×84<sup>1/16</sup>. Бумага офсетная. Гарнитура «Баскервиль». Печать офсет. Условн. печ. л. 36,27. Усл. кр.-отг. 36,27. Уч.-изд. л. 37,15. Тираж 100 000 экз. Заказ № 2981. Цена 4 р. 10 к. Изд. № 3312.

Издательство «Радуга» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

Москва, 119859, Зубовский бульвар, 17

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» им. А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

113054, Москва, Валовая, 28

